

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ
МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Современная славистика и научное наследие С.Б. Бернштейна

Тезисы докладов

международной научной конференции,
посвященной 100-летию со дня рождения
выдающегося отечественного слависта
д.ф.н., проф. С.Б. Бернштейна

15–17 марта 2011 г.
г. Москва

Москва – 2011

Г л а в н ы е р е д а к т о р ы :

А.Ф. Журавлев

д.ф.н. зав. отделом славянского языкознания Института славяноведения РАН

Н.Е. Ананьева

д.ф.н. зав. кафедрой славянской филологии
филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

Н а д к н и г о й р а б о т а л и :

А.Ф. Журавлев, Г.К. Венедиктов, Н.Е. Ананьева, В.П. Гудков, В.С. Ефимова,
К.В. Лифанов, Ф.Р. Миннос, Т.С. Тихомирова, Ф.Б. Людоговский,
О.А. Ржанникова, М.Н. Толстая, А.И. Изотов, М.М. Алексеева,
Д.Ю. Анисимова, Г.П. Тыртова, М.И. Леньшина, Н.Н. Старикова

Р е ц е н з е н т ы :

д.ф.н., в.н.с. Института славяноведения РАН

И.А. Седакова

д.ф.н., проф. МГУ им. М.В. Ломоносова

Е.В. Петрухина

Сборник «Современная славистика и научное наследие С. Б. Бернштейна» посвящен 100-летию со дня его рождения и содержит материалы более чем двухсот докладов. В сборнике представлены доклады по истории языка, этимологии, диалектологии, лексикологии и лексикографии, фразеологии, грамматике, социолингвистике, истории славистической мысли, методике преподавания языка, семиотике, теории перевода и литературоведению. Издание адресовано славистам самого широкого профиля.

The collection of articles «Modern Slavic studies and academic heritage of S.B. Bernstein» is devoted to 100th anniversary of his birth and includes more than 200 reports. This collection contains the reports about the history of language, etymology, dialectology, lexicology and lexicography, phraseology, grammar, sociolinguistics, history of Slavistic thought, methodic of language teaching, semiotics, theory of translation and literary theory. The publication is addressed to the broad specialists of Slavic studies.

ISBN 5-7576-0225-2

© Институт славяноведения РАН

© Авторы

Н. Е. Ананьева (Москва)

С. Б. Бернштейн – профессор Московского университета

В жизни С. Б. Бернштейна было два периода пребывания в стенах Московского университета. Первый, менее продолжительный, охватывающий 1928 – 1931 гг., когда С. Б. Бернштейн был студентом историко-этнологического факультета и получал фундаментальное славистическое образование под руководством таких выдающихся ученых, как А. М. Селищев и Г. А. Ильинский. И второй, начавшийся с 1941 г. и продолжавшийся почти 50 лет.

В 1939 г. С. Б. Бернштейн был приглашен в МИФЛИ (Московский институт философии, литературы и истории) для чтения лекций по славянскому языкознанию. В 1941 г. МИФЛИ слился с Московским университетом, и Самуил Борисович становится сотрудником филологического факультета. В 1941–43 гг., когда филологический факультет находился в эвакуации в Ашхабаде, С. Б. Бернштейн исполнял обязанности декана факультета и заведующего кафедрой славяно-русского языкознания. Но самый плодотворный для славистики период в университетской деятельности С. Б. Бернштейна начинается с 1943 г., когда он принимает активное участие в создании кафедры славянской филологии, с 1943 по 1947 гг. являясь номинально заместителем заведующего кафедрой акад. Н. С. Державина, а фактически организуя учебный процесс и формируя научно-педагогический состав кафедры. Затем в течение 23 лет С. Б. Бернштейн руководит работой созданного им научно-педагогического коллектива (1947–1970 гг.), а до 80-х гг. XX в. продолжает чтение лекций и руководство аспирантами славянского отделения в должности профессора кафедры славянской филологии.

Преподавательская деятельность С. Б. Бернштейна всегда была неразрывно связана с его научными устремлениями и интересами. Такой гармоничной связи в немалой степени способствовало одновременное руководство им двумя коллективами: академическим (сектором славянской филологии в Институте славяноведения АН СССР) и университетским.

В некрологе, посвященном памяти С. Б. Бернштейна, академик РАН В. Н. Топоров в научном наследии Самуила Борисовича, насчитывающем более 400 наименований, выделяет 10 направлений (Топоров 1997: 623). И каждое из указанных В. Н. Топоровым направлений сопрягается с преподавательской деятельностью С. Б. Бернштейна. Так, 1-е направление (Сравнительно-историческая грамматика славянских языков; Славянские языки – общие и частные проблемы) представлено курсами «Введение в славянскую филологию» и «Сравнительная грамматика славянских языков», которые Самуил Борисович читал до последних дней преподавания в университете. Многолетнее чтение этих курсов воплотилось в 2 фундаментальных тома: «Очерк сравнительной грам-

матики славянских языков» (1961) и «Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Чередования. Именные основы» (1974). Оба труда (особенно первый) были высоко оценены лингвистической общественностью. Первый том был переведен в 1965 г. на румынский язык, а второй вышел в 1985 г. на польском языке.

Занимаясь еще на студенческой скамье под руководством А. М. Селищева болгарской диалектологией, увлечение которой, как и вообще болгаристикой (см. 2-е направление, выделенное в научном наследии С. Б. Бернштейна В. Н. Топоровым), усилило пребывание после успешной защиты кандидатской диссертации «Турецкие элементы в языке дамаскинов XVII–XVIII вв.» в Одессе (в 1934–1938 гг. в качестве руководителя кафедрой болгарского языка и литературы в пединституте, а в 1939 г. как руководителя кафедрой общего языкознания в университете), С. Б. Бернштейн инициирует создание «Атласа болгарских говоров в СССР», в сборе материала к которому участвуют студенты славянского отделения МГУ, многие из которых впоследствии становятся известными славистами.

Подготовка будущих славистов не могла успешно осуществляться без соответствующих учебных пособий, программ и двуязычных словарей. С. Б. Бернштейн и сам является автором ряда университетских программ, пособий и неоднократно переиздававшегося «Болгаро-русского словаря» (10-е направление научно-педагогической деятельности С. Б. Бернштейна по В. Н. Топорову).

Под руководством С. Б. Бернштейна на кафедре стало выходить периодическое издание «Славянская филология» (вып. 1–11, 1951–1979 гг.), он написал вступительную часть в книге «Славянские языки» (1977 г.). Уделяя большое внимание истории науки, в том числе университетской, С. Б. Бернштейн принимал участие в редактировании серии «Замечательные ученые Московского университета», сам является автором ряда биографических заметок и брошюр (8-е направление по В. Н. Топорову), из которых особое место занимает работа о любимом учителе А. М. Селищеве, а также вышедшие посмертно мемуары «Зигзаги памяти. Воспоминания. Дневниковые записи» (2002).

Для преподавания старославянского языка неопределимое значение имеет книга С. Б. Бернштейна «Константин Философ и Мефодий. Начальные главы из истории славянской письменности» (1984) (7-е направление по В. Н. Топорову).

За более чем 50-летнюю педагогическую деятельность проф. С. Б. Бернштейн читал лекции по многим славистическим дисциплинам. Кроме уже упомянутых введений в славянскую филологию и сравнительной грамматики славянских языков, это история и диалектология болгарского, сербохорватского, чешского и польского языков, история болгарского литературного языка, болгарская лексикология и лексикография, старославянский язык, спецкурс по турецкому языку, курс лекций по общему языкознанию и даже история отдельных славянских литератур. Лекции Самуила Борисовича отличали четкая логика, умение говорить о сложных явлениях простым и ясным языком, без злоупотребле-

ния новомодными терминами. Своим ученикам проф. С. Б. Бернштейн неоднократно повторял, что если анализируемый материал укладывается в уже существующую теорию, не следует от нее отказываться. Поиски новой научной парадигмы надо предпринимать, если в рамках старой интерпретация материала невозможна.

Проф. С. Б. Бернштейн умел увидеть в студенте будущего исследователя, заинтересовать и увлечь своими лекциями слушателя. Не случайно среди его учеников были будущие академики Н. И. Толстой, В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев, создатель ностратики В. М. Иллич-Свитыч и другие известные в настоящее время слависты, в том числе зарубежные (Р. Эккерт, Г. Михаилэ). Будучи блестящим организатором научно-педагогического процесса, С. Б. Бернштейн сформировал дееспособный коллектив кафедры славянской филологии, на которой под его руководством трудились такие преподаватели, как создатель отечественной богемистической школы А. Г. Широкова, болгарист Н. В. Котова, палеославист В. В. Бородич, словакист Н. А. Кондрашов, полонист А. С. Посьвянская, сербокроатист Н. И. Толстой и другие. По инициативе С. Б. Бернштейна спектр изучаемых славянских языков пополнился двумя южнославянскими дисциплинами: македонистикой и словенистикой.

Кафедра славянской филологии в отнюдь не простых для развития славистики современных социально-политических и демографических условиях старается поддерживать традиции, заложенные ее создателем, сопрягать научные изыскания с дидактикой. Расширился круг славистических дисциплин, преподаваемых сотрудниками кафедры. За последние годы на кафедре защищены 7 докторских диссертаций. Возрождается диалектологическая практика студентов.

Надеемся, что сегодняшний коллектив созданной в 1943 г. кафедры славянской филологии сумеет продолжить то дело, которому проф. С. Б. Бернштейн посвятил свою жизнь – подготовку высокопрофессиональных славистических кадров.

Топоров 1997 – *Топоров В. Н.* Самуил Борисович Бернштейн (3 января 1911–6 октября 1997) // Балто-славянские исследования 1997. Сборник научных трудов. М., 1998. С. 619–623.

М. Ю. Досталь (Москва)

О значении трудов С. Б. Бернштейна в области истории славяноведения

С. Б. Бернштейн (1911–1997) известен прежде всего как выдающийся отечественный филолог-славист, болгарист, балканист, но нельзя забывать, что он является одним из зачинателей в СССР во второй половине XX в. особой отрасли науки – истории славяноведения. Его перу принадлежит более 50 работ в этом жанре.

Эта отрасль науки сформировалась постепенно по мере становления славянской филологии в СССР. С. Б. Бернштейн уже в 1940-е годы посвятил ряд статей известным филологам-славистам – И. В. Ягичу, А. И. Томсону, А. М. Селищеву и Н. С. Державину. Его мемуары этих лет «Зигзаги памяти» полны интересных рассуждений о развитии отечественной филологии и порой острых характеристик ее виднейших представителей. Он же первым проанализировал практику преподавания на кафедре славянской филологии в МГУ.

С. Б. Бернштейн одним из первых написал обобщающие очерки о развитии различных направлений отечественной славянской филологии. Таковы его статьи «Вклад ученых Московского университета в изучение болгарского языка» (1955), «Из истории изучения южных славянских языков в России и СССР» (1957), «Русское славяноведение о серболужицких языках» (1963), «Советской славянской филологии 50 лет», «Cyrillo-methodiana в России (1983), а также монография «Константин философ и Мефодий: Начальные главы из истории славянской письменности» (1984).

Не случайно, что именно он возглавил коллектив авторов в написании глав по истории славянской филологии в России в единственной пока коллективной монографии по истории науки: «Славяноведение в дореволюционной России. Изучение южных и западных славян» (1988). Здесь он последовательно отстоял и применил свой метод научной биографистики, показав историю науки в портретах ученых, а не в характеристике отдельных направлений, что отличало главы историков.

Жанр научной биографистики он последовательно разрабатывал в своих статьях, очерках, некрологах 1950–1980-х гг. Одним из первых в науке тех лет он дал обстоятельные творческие биографии П. И. Кёппена, И. И. Срезневского, В. И. Григоровича, П. С. Билярского, М. С. Дринова, а также Б. М. Ляпунова, В. Н. Щепкина (монография), Л. А. Булаховского, Н. К. Дмитриева, Р. И. Аванесова, О. Н. Трубачева, В. М. Иллич-Свитыча и др. Все эти работы отличались новизной использованного материала, оригинальностью, иногда оценочно-субъективными характеристиками. То же можно сказать и об очерках и некрологах зарубежных славистов и балканистов: А. Теодорова-Балана, Л. Милетича, А. Белича, М. Фасмера, Т. Лер-Сплавинского, В. Дорошевского, И. Лекова, С. Стойкова и др. На склоне жизни он стал большое внимание уделять проблемам нравственности и конформизма. Именно потому он задумал написать серию статей «Портреты моих современников», успев издать интересные, отмеченные психологизмом очерки о М. Г. Долобко, П. С. Кузнецове и А. В. Луначарском в контексте эпохи.

С. Б. Бернштейну принадлежит заслуга первым в истории славяноведения поднять сложную и актуальную проблему «репрессированной славистики». Ее он затронул в статье «Трагическая страница из истории славянской филологии (30-е годы XX в.)», положившей начало целому направлению исследований.

Таким образом, С. Б. Бернштейн внес своими трудами существенный вклад в разработку истории славянской филологии в России и за рубежом, в определение тенденций ее развития, в создание жанра славистической биографистики. Его труды, хотя и носят определенный отпечаток эпохи, в которую были написаны, но не потеряли своего научного значения. Об этом свидетельствует и подготовленный нами к печати сборник работ ученого «Труды по истории славистики». Написанные живым и образным литературным языком эти статьи и сегодня вызывают живой читательский интерес и являются творческим образцом для нового поколения историков науки.

В. Л. Ибрагимова, Л. А. Калимуллина (Уфа)

Славистика в Республике Башкортостан

Славистика в Республике Башкортостан развивается по двум направлениям: в плане научных исследований и в плане подготовки филологов-русистов. Что касается первого направления, то можно отметить, что славянские языки в Башкортостане изучаются в условиях межъязыкового контактирования, и это предопределяет два основных аспекта в их исследовании: сравнительно-типологический (в сопоставлении с тюркскими языками) и социолингвистический. Генетически неродственные славянские и тюркские языки обнаруживают на территории Республики Башкортостан значительное сходство (особенно в сфере диалектной лексики), вследствие чего на повестку дня встает проблема изучения славянских языков на широком культурологическом фоне. Лингвогеографическое изучение славянских языков и их диалектов ведется в основном на материале русского языка. По данному направлению завершен многолетний труд коллектива кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания Башкирского государственного университета по сбору, монографическому описанию, лингвогеографическому (в атласах) и лексикографическому (в словарях) представлению ценнейшего языкового материала – русских говоров Башкирии. Изданы монография «Судьба русских переселенческих говоров в Башкирии» (З. П. Здобнова), двухтомный «Атлас русских говоров Башкирии» (З. П. Здобнова), четыре выпуска «Словаря русских говоров Башкирии» (коллектив авторов под руководством З. П. Здобновой), переизданного в академическом издательстве «Гилем». Кроме того, с 1945 г. преподаватели и студенты филологического факультета Башкирского университета начали принимать активное участие в сборе материалов для «Диалектологического атласа русского языка» и «Лингвистического атласа Европы» (обследовано 5 населенных пунктов на территории Башкирии). В 60-х годах XX века русисты Башкирского университета под руководством З. П. Здобновой активно включились в работу по реализации международной научной программы по сбору, фиксации и обработке материалов для «Общеславянского лингвистического атласа» (обсле-

довано 22 населенных пункта в 11 областях России: Ленинградской, Архангельской, Рязанской, Тамбовской, Калужской, Орловской и др.). Они участвовали также в рабочих совещаниях по составлению карт «Общеславянского лингвистического атласа». Карты, составленные на кафедре общего и сравнительно-исторического языкознания, изданы в фонетическом томе указанного атласа в Югославии.

Второе направление – образовательное – реализуется в курсах современного русского языка, старославянского языка, истории русского языка и русской диалектологии. Славистика представлена также в плане практического изучения зарубежных славянских языков. Это направление стало оформляться в начале 60-х годов XX века в стенах Башкирского государственного университета и имело в основном характер распространения славистических знаний. Основная заслуга в создании и развитии славистики Башкортостана принадлежит Почетному академику АН РБ Заслуженному деятелю науки БАССР доктору филологических наук профессору Л. М. Васильеву. В учебный план филологического факультета были введены курсы практического изучения зарубежных славянских языков (вначале как факультативные, а затем как обязательные дисциплины), а также специальные курсы и семинары, разрабатывалась и реализовывалась тематика курсовых и дипломных работ по сравнительно-исторической и сопоставительной славистике, работал студенческий славистический кружок. Были созданы и реализованы в соответствующих лекционных курсах и учебных пособиях концепции важнейших для славистического образования учебных дисциплин введения в славянскую филологию и сравнительной грамматики славянских языков, разработан спецкурс по сравнительно-исторической лексикологии славянских языков. Создавалась соответствующая учебно-методическая база: приобретались учебники по практическим курсам славянских языков, научная литература, словари, формировался фонд периодической литературы. Включение зарубежных славянских языков в учебные планы одновременно с другой филологической дисциплиной – введением в славянскую филологию – имело целью расширение исторического цикла лингвистических дисциплин и углубление славистической подготовки студентов-русистов. В эти годы на кафедре общего и сравнительно-исторического языкознания воспитывались кадры, способные включиться в практическую и научную славистику. Все преподаватели проходили различные формы повышения своего профессионального уровня в странах изучаемого языка. В настоящее время на факультете преподаются одновременно четыре славянских языка: болгарский, польский, сербохорватский и чешский. Кроме того, студенты, специализирующиеся по лингвистике, проходят годичный курс обучения второму славянскому языку. Ежегодно проводятся традиционные вечера славянских языков и культур, которые завершают годичный цикл изучения славянских языков. Здесь звучит зарубежная славянская речь, песни, славянский фольклор, сту-

денческие переводы, демонстрируются альбомы, газеты, книги и т. д. Студенты нередко в качестве своей учебно-исследовательской работы выбирают темы по сравнительной славистике: так, изучаются гнезда родственных слов, семантика лексических групп и фразеология на славянском фоне, межъязычная омонимия на материале родственных славянских и индоевропейских языков, лингвистические аспекты перевода с русского языка на другой славянский и наоборот и др.

Научные, просветительские, методические аспекты славистики освещаются в статьях, докладах и выступлениях научно-практических конференциях, в диссертационных исследованиях, выполняемых на кафедре общего и сравнительно-исторического языкознания Башкирского государственного университета. За эти годы были опубликованы следующие научные сборники: Славянский филологический сборник, посвященный V Международному съезду славистов, 1962; *Germanica. Slavica. Turkica*, 2000; Теоретические проблемы общей лингвистики, славистики, русистики (Л. М. Васильев), 2006. В 2000 году увидела свет коллективная монография (проспект) «Языки народов Башкортостан» (под общей редакцией Т. М. Гарипова), которая содержит материал о русском, украинском и белорусском языках.

В годы перестройки в Республике Башкортостан было создано несколько славянских культурно-просветительских центров: белорусский, польский, украинский. В них ведется практическое изучение языка, истории, культуры славянских народов, а также творческая и научная работа. Преподаватели и студенты филологического факультета активно сотрудничают с Центром польской культуры и просвещения Республики Башкортостан «Возрождение», в создании которого кафедра принимала самое деятельное участие. В рамках этой работы кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания участвует в подготовке кадров учителей польского языка для Национальной польской воскресной школы имени уроженца республики А. П. Пенькевича и классов с изучением польского языка в лицее № 21, в реализации многих культурных программ (например, проведение Дней культуры Республики Польша в Башкортостане, которые посвящаются юбилеям выдающихся поляков, а также знаменательным событиям Польши, организация и проведение научно-практических конференций, издание сборников любительских переводов стихотворений славянских поэтов на русский язык). Кроме того, кафедра налаживает активные связи с общественной организацией «Дружба народов Башкортостан – Болгария», которая была создана в октябре 2009 года в г. Уфе. Целью Общества является развитие социальных, экономических, научных, образовательных контактов двух республик, поддержка связи с соотечественниками, проживающими в Болгарии, организация гастролей творческих коллективов, обмен выставками. Обществом проводится большая работа по знакомству жителей Республики Башкортостан с историей, культурой, обычаями болгарского

народа: так, в Болгарском культурном центре организуются выставки и конкурсы, музыкальные вечера, лекции и встречи по интересам. Центр активно сотрудничает с Посольством Болгарии в России и Фондом «Славяне», возглавляемым проф. Захари Захариевым.

Б. Ю. Норман (Минск)

50 лет белорусской лингвистической славистики (1960–2010)

С 60-х годов прошлого века славистические исследования в республике приняли организованный характер. Это было связано с созданием в Академии Наук Белорусской ССР отдела славянского и теоретического языкознания (позже – Отдела славистики и теории языка), а в Белорусском государственном университете – кафедры общего (позже – теоретического) и славянского языкознания. Нынче кафедры данного профиля существуют и в других вузах республики. Так, в Гродненском госуниверситете функционирует кафедра польской филологии, в Минском лингвистическом университете – кафедра славянского языкознания и т. д. Начиная с 1993 года, в Белорусском государственном университете осуществляется подготовка специалистов с основной специальностью «славянский язык и литература» (каждый год проводится набор на две специальности из числа следующих: польский, чешский, словацкий, сербский, болгарский, украинский языки и литературы).

Усилиями ученых-славистов, продолжающих традиции Е. Ф. Карского, в республике созданы основополагающие работы по белорусскому языку – академическая Грамматика белорусского языка (в двух изданиях, которые сильно ориентированы на русскую академическую грамматику). Имеется 6-томный Толковый словарь белорусского языка (под общей редакцией Кондрата Крапивы). Изданы солидные Диалектологический атлас белорусского языка и Лексический атлас белорусских народных говоров. Близки к завершению многотомные Этимологический и Исторический словари белорусского языка. Изданы частотный, обратный, ассоциативный словари белорусского языка. Продолжается издание памятников белорусской письменности, белорусского фольклора и т. п.

Заметны достижения белорусских филологов также в области сопоставительно-типологического и сравнительно-исторического славянского языкознания. Здесь особенно выделяются исследования В. В. Мартынова (славяно-германское взаимодействие и параллели, славянская этимология), А. Е. Супруна (этимология, полабский язык, история славянских числительных), Г. А. Цыхуна (типология языков балкано-славянского ареала), М. Г. Булахова (история и библиография славистики, история прилагательных).

Несомненно лучшим на советском и постсоветском пространстве пособием по курсу «Введение славянскую филологию» является книга А. Е. Супруна под

тем же названием (два издания, в том числе 2-е – в соавторстве с А. М. Калютой). За последние десятилетия в Беларуси издан ряд пособий по отдельным славянским языкам: польскому, болгарскому, сербскому, чешскому, словацкому, старославянскому и другим. Студенты в целом обеспечены учебной литературой по данному профилю.

Белорусские слависты из школы А. Е. Супруна занимаются Кирилло-Мефодиевской проблематикой, изучают наследие славянских просветителей (А. А. Кожина, Е. С. Суркова). Разрабатываются проблемы теории и истории славянских литературных языков (Н. Б. Мечковская, С. Н. Запрудский и др.), вопросы славянского словообразования и словоизменения (Н. Г. Пригодич, А. А. Лукашанец, А. В. Никитевич, Н. В. Супрунчук и др.). Развиваются в республике славянская фразеология, этнолингвистика, ономастика (В. И. Коваль, А. М. Мезенко, Е. Е. Иванов, Т. В. Володина, Н. П. Антропов и др.). Развертываются исследования в области компьютерной и корпусной лингвистики (В. А. Карпов, Е. Н. Руденко, Л. В. Рычкова и др.).

Естественно, весь этот фронт работ требовал определенных подготовительных усилий и поиска организационных форм. В частности, кафедра теоретического и славянского языкознания Белгосуниверситета была организатором 5 конференций по сопоставительному изучению славянских языков, 6 белорусско-болгарских лингвистических симпозиумов (все – с изданием соответствующих материалов), ряда польско-белорусских научных встреч. Вместе со своими немецкими коллегами белорусские слависты подготовили 6 томов функционально-когнитивной грамматики на материале славянских языков: «Персональность и лицо», «Модальность и наклонение», «Количественность и число» и др. Они изданы в престижном германском издательстве Harrasowitz Verlag; последний из этих шести томов – «Славянские языки в когнитивном аспекте» – вышел в 2010 году. Гродненский государственный университет был инициатором проведения ряда конференций по польской филологии (организатор – С. Ф. Мусиенко) и по славянскому словообразованию (В. М. Никитевич, А. В. Никитевич). Витебский государственный университет им. П. Машерова провел несколько научных конференций по сопоставительной белорусско-русско-польской проблематике.

Белорусские слависты активно участвуют в Международных съездах славистов и в работе комиссий при Международном комитете славистов. Очередной Съезд славистов состоится как раз в Минске в 2013 году, и подготовка к этому важнейшему мероприятию находится в самом разгаре.

Стоит упомянуть о сотрудничестве белорусских ученых с зарубежными университетами, особенно российскими, польскими и чешскими, а также о том, что славистика в Белоруссии развивалась при сильной кадровой поддержке со стороны других советских республик. Несколько послевоенных лет в Белоруссии работал Т. П. Ломтев, из Украины приехали В. В. Мартынов и Р. В. Крав-

чук, из Киргизии – А. Е. Супрун. В 60-е годы в ряды белорусских славистов влились несколько выпускников Ленинградского университета – Г. А. Цыхун, Н. И. Зайцева, Р. Н. Малько (Фондякова), Б. Ю. Норман, В. А. Карпов. В Белорусском госуниверситете читали спецкурсы В. П. Гудков и В. П. Григорьев, В. М. Мокиенко и М. Ю. Котова, в 1970 году на Всесоюзной конференции по лексикологии выступал с докладом С. Б. Бернштейн. В течение многих лет мы вместе с московскими, ленинградскими, киевскими и львовскими коллегами плодотворно участвовали в работе Научно-методического совета по славянской филологии, готовя и обсуждая учебные планы, учебные программы и пособия по славянским языкам и литературам.

Л. Писарек (Вроцлав)

Славистика во Вроцлавском университете

1. Начало современной языковедческой славистики во Вроцлавском университете связано с деятельностью Института польской и славянской филологии, созданного осенью 1945 г. Уже в 1946 г. в состав Института входили три кафедры: кафедра польского языка, кафедра славянского языкознания и кафедра восточнославянского языкознания, которая впоследствии стала зачатком вроцлавской русистики.

2. Организационные изменения на филологическом факультете (создание самостоятельной кафедры русской филологии в 1950 г.) и внутренняя реорганизация Вроцлавского университета (создание институтов на базе прежних кафедр) привели к образованию в 1969 г. Института славянской филологии Вроцлавского университета. Институт был создан на базе кафедры русской филологии.

3. В названии института (славянской филологии) были отражены и закреплены славистические традиции вроцлавской филологии, научные интересы и исследовательская деятельность членов бывшей кафедры русской филологии, а также были намечены перспективы развития славистики в более широком, чем русистика, смысле. Появились возможности исследования других славянских языков и обучения им студентов.

4. Преподавание других славянских языков (болгарского, сербохорватского, белорусского, украинского, чешского) сначала велось как второй славянский язык для студентов русской филологии. Со временем появилась дополнительная по отношению к русистике славянская специализация, включающая практическое знание языка, описательную грамматику с элементами истории языка, историю литературы. Начиная же с 2000 г., кроме русской филологии, в институте имеются самостоятельные славянские специализации: сербская / хорватская филология, чешская филология и украинская филология.

5. В связи с появлением самостоятельных славянских специализаций изменилась организационная структура Института славянской филологии. Вместо прежних трех секторов (славянских языков, славянских литератур и практического обучения языку) теперь в институте имеется шесть секторов: сектор русского языка, сектор истории русской литературы и культуры, сектор методики и практического обучения языку, сектор сербистики / хорватистики, сектор богемистики и сектор украинистики.

6. Краткая информация о лингвистических работах (прежде всего монографиях) сотрудников Института славянской филологии.

С. А. Рылов (Нижний Новгород)

Славистическая подготовка филологов-русистов в Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского на современном этапе

1. Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) как классический университет за время своей почти 95-летней истории накопил определенные традиции в преподавании славянских языков и литератур. Зарождение славянской филологии в нем относится, как об этом документально свидетельствуют архивные материалы Государственного архива Нижегородской области (фонд 377, оп. 1, д. 6, л. 123 об.), к первым десятилетиям XX века. В 60-е годы в Горьковском госуниверситете (ГГУ) начинается преподавание славянских языков (болгарского, польского, чешского) как самостоятельных дисциплин, предусмотренных учебным планом. Значительной вехой в развитии славянской филологии в ГГУ стала учебная и научная деятельность М. А. Михайлова – выпускника МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «Чешский язык и литература», ученика С. Б. Бернштейна. М. А. Михайлов стоял у истоков изучения и преподавания в ГГУ западнославянских языков. В 1973 г. в ГГУ была открыта первая в стране кафедра подобного профиля – кафедра истории русского языка и сравнительного славянского языкознания, которая поставила целью изучение и преподавание истории русского языка на фоне общего процесса развития родственных славянских языков. Создатель кафедры Н. Д. Русинов был убежден, что самобытность русского языка, его историю невозможно глубоко понять без знания особенностей других славянских языков. Эта убежденность стала главным принципом в практической деятельности кафедры в последние два десятилетия.

2. С начала 90-х гг., когда филфак ННГУ перешел на систему многоуровневого филологического образования, начался период «ренессанса» в славистической подготовке студентов ННГУ. Переход на обучение по программе «бакалавр филологии» открыл новые возможности для более основательного и глубокого изучения студентами дисциплин славянской филологии, поскольку славистическая подготовка стала рассматриваться как важная составная часть

классического университетского филологического образования и славистические дисциплины («Введение в славянскую филологию», «Старославянский язык», «Современный славянский язык») заняли достойное место как *обязательные* фундаментальные дисциплины. Достоинством учебного плана подготовки бакалавров явилось введение дисциплин, изучаемых студентами по выбору; в этот круг вошли и новые дисциплины славянской филологии («История славянских литератур», «Второй славянский язык»). Расширению и углублению славистической подготовки студентов во многом способствовали и происходившие в Европе в начале XXI в. глобализационные процессы.

3. Специфика преподавания славистических дисциплин в ННГУ определяется специфическими местными условиями и особенностями профессиональной направленности подготовки студентов-филологов.

3.1. ННГУ им. Н. И. Лобачевского – классический университет, в котором отсутствует специальность «Славянская филология». Студенты ННГУ, обучающиеся по специальности «Филолог. Преподаватель русского языка и литературы», изучают, помимо русского, один из современных славянских языков. Освоение филологами-русистами инославянского языка рассматривается как необходимый компонент славистической подготовки.

3.2. В связи с развитием экономических, научных, культурных связей между Нижегородской областью и Чешской республикой (в частности, Южноморавским краем), а также между ННГУ и университетами Чешской республики доминирующее положение среди изучаемых на филфаке славянских языков занял *чешский язык*, в преподавании которого ставятся собственно практические задачи – научить студентов активно владеть чешским языком. В научном плане делается упор на конформационное (синхронно-сопоставительное) изучение языковых явлений в русском и чешском языках, что проявляется и в тематике выполняемых студентами курсовых и дипломных работ.

3.3. В течение 5 лет (с марта 2005 г.) на филологическом факультете ННГУ функционирует *Чешский центр образования и культуры*, на базе которого осуществляется обучение студентов чешскому языку. Кроме этого, одним из важных направлений деятельности Чешского центра является расширение и популяризация в г. Н. Новгороде знаний о чешской культуре, истории Чехии. С этой целью в г. Н. Новгороде регулярно проводятся – при активном участии московского Чешского центра при Посольстве ЧР – дни чешской культуры, выставки, фестивали чешского кино, ретроспективы чешских фильмов. Все это позволяет студентам на практике применять знания и умения по чешскому языку.

3.4. В течение многих лет филологический факультет ННГУ успешно сотрудничает в области образования и культуры – на основе заключенных договоров – с Университетом им. Масарика в г. Брно (с 2003 г.), с Остравским университетом (с 2000 г.). На базе этих университетов филологи ННГУ ежегодно проходят месячные стажировки по чешскому языку.

4. Изучение современного чешского языка как важного компонента славистической подготовки студентов состоит из двух этапов и продолжается в целом 8 семестров. В 3 и 4 семестрах практический курс чешского языка дается как обязательный и представляет собой начальный этап изучения чешского языка (с экзаменом в 4 семестре). Основная цель курса на этом этапе – практическое освоение литературного чешского языка (фонетики, минимума словарного запаса, основ грамматики) – в сопоставлении с соответствующими явлениями русского языка. Второй этап (для наиболее подготовленных студентов) – углубленное изучение чешского языка в рамках дополнительной специализации «Иностранный (чешский) язык», которая имеет собственный учебный план и длится 6 семестров. Продвинутый этап включает такие предметы, как «Страноведение Чехии» (*České reálie*), «История Чехии», «История чешского языка», «История чешской литературы» и др. Но главная дисциплина дополнительной специализации – «Практический курс и грамматика современного чешского языка», которая «проницает» весь продвинутый этап. Цель обучения на данном этапе – подготовка специалистов-филологов, которые могут работать преподавателями в гуманитарных гимназиях, лицеях, на курсах, а также переводчиками-референтами в деловой сфере.

5. Опыт показывает, что преподавание чешского языка как иностранного – тем более в условиях ограниченного количества недельной учебной нагрузки студентов – должно строиться на основе интеграции процесса обучения вокруг системообразующей идеи. Такой глобальной системообразующей идеей является осознание роли языка в духовной жизни народа – носителя языка. Поэтому в процессе обучения чешскому языку особо важное место занимает *социокультурная* направленность. Без обращения к явлениям культуры народа и общества изучение языка во многом обедняется и сводится к усвоению его техники. Особую значимость приобретает социокультурный подход в славистической подготовке *филологов*, которые – в силу специфики своей специальности – должны постигать духовное наследие народа. Такой подход углубляет их профессиональную подготовку. В случае родственных языков, каковыми являются русский и чешский, социокультурный подход в славистической подготовке студентов тесно связан с конфронтационным принципом. Сопоставление и понимание различий (на фоне генетической общности) в социальных, культурных, этнических манифестациях иностранного языка способствует более глубокому пониманию жизненных реалий и культурных ценностей, отложившихся в изучаемом иностранном языке. Все это помогает филологам-русистам в лучшем освоении и чешского языка. Формирование социокультурной компетенции у студентов связано, следовательно, с познанием чешских реалий, культурных ценностей чешского народа в *диалоге культур*, т. е. с осознанием самобытности чешского языка, его богатств – на фоне русского языка и русской культуры.

Иван Стоянов (Велико Търново)

Славянските комитети и образователното дело в България (1858–1878 г.)

Формирането на Московския славянски комитет през 1858 година съвпада с активизирането на българските буржоазни среди след Кримската война (1853–1856 г.). Мнения на българи като Н. Геров, С. Филаретов, Н. Х. Палаузов, Х. Даскалов, С. Радулов и др. за сближаване с Русия съответстват на стремежите на определена част от руското общество и руското правителство за създаване на обществена организация, чиято основна цел е укрепване на връзките между Руската империя и покорените славянски народи на Балканския полуостров. Основните пътища за достигането на тази цел са осигуряване на помощ за църквите и училищата в славянските земи и привличане на будни южнославянски младежи и девойки за обучение и възпитание в Русия. Тази ясна и точна формулировка намира място в програмата на комитета, публикувана в «Очерки религиозной и национальной благотворительности на Востоке и среди славян» през 1871 г. от Нил Попов. Подобна е целта и на възникналите по-късно отдели на комитета в Петербург, Одеса и Киев.

В началото на 60-те години на XIX век Иван С. Аксаков – един от най-видните идеолози на славянофилството – предприема обиколка из славянските земи. Все по същото време видни представители на Московския славянски комитет подготвят и публикуват материали, имащи програмно значение по въпросите за работата сред южните и западните славяни. Особено значение в тези материали се отделя на обучението на славянските младежи в руските средни и висши училища, на условията, в които се осъществява това обучение и на резултатите, получавани в крайна сметка. Специално място в тези записки заема въпросът за обучението на българските младежи и девойки. Причината за това трябва да се търси най-вече в решителните действия на българите в борбата за независима църква, в набиращото сила националноосвободително движение и в положението, в което се намират те в сравнение с останалите славянски народи. Като вътрешна провинция на Османската империя България е лишена от контакти с останалия европейски свят, а това спъва и икономическото, и политическото, и духовното ѝ развитие. Това провокира Московския славянски комитет да постави по-близо до фокуса на своята дейност българите и да ги подкрепя в стремежа им към духовно еманципиране с останалите балкански и европейски народи.

През февруари 1860 г. М. П. Погодин публикува статията «Чем и как надо учить Болгар и Сербов в Москве». В края на 1861 или началото на 1862 г. Любен Каравелов подготвя материала «Чем можно помочь болгаром». Година по-късно – в края на 1862 или началото на 1863 г., Иван С. Иванов-Калаянджи – българин по произход, заемащ висока административна длъжност в Кишинев, подготвя и изпраща в Министерството на просветата в Санкт Петербург записката «О нравственных нуждах болгар вообще». Все по това време, но без ука-

зани дата и година се появяват още две записки. Авторството на първата принадлежи на Яков Онисимович Орел-Ошмянцев – член на Московския славянски комитет, и е озаглавена «Записка о необходимости расширения обучения болгар в высших учебных заведениях России». При съпоставянето ѝ с материала на Л. Каравелов «Чем можно помочь болгаром» се оказва, че българинът е заимствал редица моменти и идеи от нейното съдържание, което идва да подскаже, че тя е написана по-рано – т. е. през 1861 г. И още – разпространената версия, че И. Г. Прижов помага на Каравелов при съставянето на посочения материал се подлага на съмнение. По-скоро поправките са направени въз основа съдържанието на записката на Яков Онисимович Орел-Ошмянцев. Втората записка се съхранява в архивния фонд на Санкт-Петербургската духовна академия и дава представа за завършилите в руските семинарии и духовни академии българи и за моментното състояние на обучаващите се в тях.

На базата на тези и редица други документи, даващи представа за помощта на Славянските комитети за българското образователно дело в българските земи и селища, се обосновават и основните изводи и заключения за положителното въздействие на тези обществени структури, които, макар да преследват определени цели, дават значителен принос в развитието на българското образователно дело през третата четвърт на XIX век.

Р. П. Ускова (Москва)

О развитии македонистики в России

1. Македонистика в нашей стране развилась и стала одной из ведущих славистических отраслей в мире благодаря первым трудам по южнославянским языкам и диалектам известных ученых А. М. Селищева и его ученика С. Б. Бернштейна, которые считали македонские диалекты близкими к болгарским и сербским диалектам, но в результате длительного развития ставшими уже в древний период отдельными южнославянскими (и балканскими) диалектами.

2. В 1938 г. в 37 томе БСЭ была впервые опубликована статья С. Б. Бернштейна о национальном южнославянском языке «Македонский язык».

3. История развития македонских диалектов и создание литературного македонского языка отличалась уникальностью в славянском языковом мире: в течение тысячи с лишним лет (с VI в. н. э.) пришедшие на Балканы с северо-востока македонские славяне не имели собственного государства, но сохранили свою этническую идентичность и диалекты.

4. Литературный македонский язык был кодифицирован в 1945 г. как официальный язык Народной Республики Македонии в составе федеративной Югославии. В кодификационной комиссии литературного македонского языка 1945 г. ведущую роль сыграл гений македонской культуры Блаже Конеский – талантливый поэт и ученый, организатор науки и высшего образования в Македонии.

5. С 1945 г. до нашего времени литературный македонский язык очень интенсивно развивался и стал современным развитым литературным языком.

6. В 1945 г. С. Б. Бернштейн первым написал грамматику молодого литературного языка и его диалектов с краткой хрестоматией литературных и диалектных текстов – «Очерки по македонскому языку», в которой рассматривал македонский язык и его диалекты сопоставительно с другими южнославянскими языками и диалектами – болгарским и сербохорватским. Однако по политическим причинам книга не вышла из печати.

7. В 1948 г. в Вестнике Московского университета, № 2 была опубликована статья С. Б. Бернштейна «К вопросу о форме 3-го л. ед. ч. настоящего времени в македонском литературном языке». С. Б. Бернштейн охарактеризовал македонский язык в его историческом развитии, т. е., как и А. М. Селищев, рассматривал историю языка и культуры славянского македонского этноса в сравнительно-сопоставительном плане с другими южнославянскими диалектами.

8. Интерес к македонскому языку и его диалектам проявился и у других славистов – учеников Самуила Борисовича. В 1962 г. в ж. «Вопросы славянского языкознания», № 6, была опубликована статья В. М. Иллича-Свитыча «О стадиях утраты ринезма в юго-западных македонских говорах». Эта работа имела большое значение для истории славянского языкознания.

9. В 1963 г. в Москве вышел словарь македонского литературного языка: «Македонско-русский словарь» объемом 30000 слов, составленный В. М. Илличем-Свитычем и Д. Толовским, под ред. Н. И. Толстого, с грамматическим справочником, составленным Илличем-Свитычем. Этот словарь оказался первым лексикографическим исследованием молодого македонского литературного языка на начальном этапе его развития.

10. Немалый вклад в развитие македонистики внес ученик С. Б. Бернштейна Н. И. Толстой в исследованиях о лексике славянских языков на общеславянском фоне, о типологии литературных славянских языков и по вопросам взаимоотношений языка и культуры. Македонская наука высоко оценила научную деятельность С. Б. Бернштейна, избрав его одним из первых иностранных членов Македонской академии наук и искусств (1971 г.). Иностранным членом Македонской академии наук и искусств вскоре был также избран и Н. И. Толстой.

11. Благодаря С. Б. Бернштейну в Институте славяноведения АН СССР в 1960 г. была открыта новая научная специальность «македонский язык». Осенью 1965 г. Р. П. Усикова защитила первую в мире кандидатскую диссертацию «Морфология имени существительного и глагола в македонском литературном языке», после чего ей разрешили поехать в Македонию на десятимесячную стажировку.

12. В 1975 г. в МГУ открыта специализация «Македонский язык и литература», которая существует до сих пор и является единственной славистической специализацией в нашей стране.

13. В некоторых университетах нашей страны македонский язык преподается как второй славянский на славянском отделении, на русских отделениях и как спецкурс студентам других лингвистических специальностей (МГУ, Санкт-Петербургский университет, Университет г. Перми, Воронежский университет).

14. Продолжаются исследования по вопросам македонского языка учеными МГУ и других российских университетов. Так, в 1985 г. в Скопье вышло первое издание учебного пособия Р. П. Усиковой «Македонский язык» – грамматический очерк и тексты для чтения со словарем.

15. Коллектив российских славистов-македонистов издал в 1997 г. в Скопье трехтомный «Македонско-русский словарь», содержащий около 65 тыс. словарных статей. (Авторы-составители Р. П. Усикова, З. К. Шанова, М. А. Поварнищина, Е. В. Верижникова; автор грамматического справочника по македонскому языку – Р. П. Усикова.) Словарь отражал лексику македонского литературного языка 90-х гг. XX в., бурно развивающегося в течение тридцати лет с момента его кодификации.

16. В 2003 г. в Москве был издан новый македонско-русский словарь объемом более 40 тыс. словарных статей (составители – Р. П. Усикова, Е. В. Верижникова, З. К. Шанова, М. А. Поварнищина, под общей редакцией Р. П. Усиковой и Е. В. Верижниковой; грамматический справочник по македонскому литературному языку составлен Р. П. Усиковой).

17. В 2003 г. в Москве была также издана «Грамматика македонского литературного языка» Р. П. Усиковой – учебник по теоретическому курсу грамматики, и одновременно пособие для практического изучения македонского языка с текстами для чтения и словарем к текстам.

18. Российские ученые продолжают изучение македонских диалектов в рамках международного проекта общеславянского атласа. В Институте славяноведения РАН интенсивно изучается история македонского этноса, македонской культуры и литературы. Российские ученые по многим научным темам работают в содружестве с македонскими учеными и славистами других стран, участвуют в совместных научных конференциях и съездах. За 30 лет существования македонистики как одного из предметов славяноведения и балканистики в стране появились новые поколения ученых-лингвистов и литературоведов (Е. В. Верижникова, Н. В. Боронникова, З. К. Шанова, Е. Ю. Иванова, Е. В. Степаненко, А. Н. Соболев, М. Б. Проскурнина, А. Г. Шешкен и др.).

20. В 2005 г. Р. П. Усикова защитила докторскую диссертацию «Современный литературный македонский язык как предмет славяноведения и балканистики». В 2006 г. А. Г. Шешкен защитила докторскую диссертацию об особенностях формирования и развития македонской литературы. Д. ф. н. А. Г. Шешкен была избрана иностранным членом Македонской академии наук и искусств. В 1986 г. звание иностранного члена Македонской академии наук и искусств было присуждено Р. П. Усиковой.

Е. Н. Бекасова (Оренбург)

**О специфике чередований
с генетически соотносительными рефлексам
праславянских сочетаний в русском языке**

В современной русистике интерес к соотносительным элементам различного генезиса активизировался в связи с описанием морфонологической системы русского языка. Впервые И. А. Бодуэном де Куртенэ были представлены двуязычные корреляции, где «с фонетическим различием бывает связано какое-нибудь морфологическое или семасиологическое различие» (Бодуэн де Куртенэ 1963: 301). Особо И. А. Бодуэном де Куртенэ отмечается «отсутствие параллелизма между *šč* и *žd*», которое объясняется тем, что в древнерусском языке не было «сокращённого знака вместо **жд** вроде **щ** вместо **шт**» (Бодуэн де Куртенэ 1963: 315).

Определение места генетически неоднородных рефлексов И. А. Бодуэном де Куртенэ в альтернациях позволило учёным во второй половине XX в. изучать их наряду с другими с целью «всестороннего и полного описания всех типов морфонологических чередований в современных славянских языках и диалектах» (Бернштейн 1965: 51). Однако представление явлений, коренящихся в истории русского литературного языка, достаточно сложно вписывается в характеристику морфонологической системы современного русского языка. Так, чередования полногласных и неполногласных сочетаний носят преимущественно нерегулярный характер, например: *здоровье – здравица, здравница; голос – огласить* и под. (Гр. 80: 435–436). Наибольшие затруднения вызывает морфонологическое описание чередований с рефлексам **tj*, **dj* (Бернштейн 1974: 51). В исследованиях имеется несколько способов их представления. С одной стороны, описываются параллельные генетически неоднородные типы чередований (Лопатин 1977: 102), которые могут сопровождаться указаниями на определённую «ущербность» южнославянских по происхождению типов (Рус. гр. 1979: 116), с другой стороны – смешанные типы чередований (Земская 1973: 91). Возможно также рассмотрение *жд* и *щ* как лексических вариантов их восточнославянских по происхождению соответствий в чередованиях /т'–ч/, /д'–ж/ (Толстая 1975: 100) или отказ в самостоятельном статусе чередованию /д'–жд/ (Гр. 80: 660).

Исследование механизмов вхождения и соотношения генетически неоднородных рефлексов в систему русского языка показывает значимость прохождения южнославянских альтернантов морфонологического «фильтра», определившего их статус как «рудиментарных», сравнимых «с потухшими вулканами» (Бодуэн де Куртенэ 1963: 308). Среди них особым звеном, не подчиняющимся общим закономерностям морфонологической системы современного русского языка и характеризующимся особыми отношениями, являются чередования с рефлексам **dj*.

Существование более семи веков смешанного типа чередования (Бекасова 2008) способствовало преимущественной реализации -у в формах 1 л. ед. ч. В условиях разрушения смешанного типа, которое можно рассматривать как своеобразное восстановление южнославянской по происхождению альтернативы, альтернант /ж/ перед -у сохраняет свои позиции как нормы реализации в цепи образований с рефлексками /жд/ типа *возбуждать, возбуждённый, возбуждение*, но *возбужу*. Попытки кодификации 1 л. ед. ч. с *жд*, например в «Российской грамматике» М. В. Ломоносова, призванные установить идентичность использования альтернантов однокоренных образованиях и привести к той генетической чистоте реализации альтернантов с рефлексками *dj, которая наблюдается в чередованиях с рефлексками *tj, не увенчались успехом. Следствием этой попытки явилось лишь кратковременное сосуществование немногочисленных стилистически дифференцированных гетерогенных вариантов в XVIII в. и традиционная их фиксация в словарях и грамматиках XVIII–XIX вв.

Отсутствие сдерживающих и запрещающих фонетических и морфонологических факторов в группе дифтонгических сочетаний с плавными способствовало появлению большого количества гетерогенных вариантов и дублетов, устранение которых происходило в том числе и в результате стилистической или семантической дифференциации. Распад пар типа *город/град* в целом соответствовал тем особенностям альтернатив, один из членов которых был унаследован благодаря переводам богослужебных книг.

К группе полногласных/неполногласных примыкает разряд «отдельных слов», которые в результате своей «отдельности» обладали высокой степенью дублетности в древнерусских текстах. Однако если часть коррелятов устранилась по грамматическим причинам (*вижь – виждь, лечи – лещи*), то другие корреляты претерпела семантические преобразования в связи с укреплением с середины XVIII в. позиций южнославянского по происхождению рефлекса. Данный процесс в парах типа *ночь – ношь, вожь – вождь* можно назвать семантической «рокировкой», в результате которой сохраняется член в южнославянском облици с семантической структурой и формо- и словообразовательными возможностями исконного коррелята (Бекасова 2005).

Неоднозначность судьбы разных групп рефлексов на русской почве показывает действие различных механизмов включения унаследованных южнославянских по происхождению элементов, их взаимодействие с исконными соответствиями и отбора по законам принимающего языка, что обогащает его морфонологические, словообразовательные, семантические и стилистические возможности.

Бекасова 2005 – *Бекасова Е. Н.* Миф о превосходстве южнославянских по происхождению рефлексов в истории русского языка // Филологические науки. 2005. № 2. С. 42–49.

Бекасова 2008 – *Бекасова Е. Н.* О специфике трансплантации и ауто трансплантации в текстах церковнославянского и русского языков // Вестник Челябин. гос. ун-та. Сер. «Филология и искусствоведение». Челябинск, 2008. Вып. 21. С. 28–32.

Бернштейн 1965 – *Бернштейн С. Б.* О некоторых вопросах теории чередований // Советское славяноведение. № 5. 1965. С. 45–52.

- Бернштейн 1974 – *Бернштейн С. Б.* Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Чередования. Именные основы. М., 1974.
- Бодуэн де Куртенэ 1963 – *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Избранные труды по общему языкознанию. Т. 1. М., 1963.
- Земская 1973 – *Земская Е. А.* Современный русский язык. Словообразование. М., 1973.
- Лопатин 1977 – *Лопатин В. В.* Русская словообразовательная морфемика. Проблемы и принципы описания. М., 1977.
- Гр. 80 – Русская грамматика: Фонетика. Фонология. Интонация. Словообразование. Морфология. Т. 1. М., 1980.
- Рус. гр. 1979 – Русская грамматика: в 2-х тт. / V. Barnetova и др. Т. 1. Praha: Academia, 1979.
- Толстая 1975 – *Толстая С. М.* Морфонологические корреляции согласных в русском языке // Вопросы языкознания. 1975. № 6. С. 99–109.

Боряна Велчева (София)

Среднобългарското смесване на носовките

В доклада се подлага на критика приетото в българистиката тълкуване на т. нар. «среднобългарско смесване на носовките». Авторката твърди:

1. Явлението не е среднобългарско, а част от късна общославянска тенденция към промяна на предни гласни в задни след мека съгласна и *j*.
2. Правописът на юсовите в български паметници от XII–XIV век отразява диалектно явление.
3. Този правопис е бил установен в книжовен център, свързан със средновековния град Средец (днешна София) в края на X или началото на XI век.

В. А. Дыбо (Москва)

Классическая индоевропейская реконструкция и балто-славянская акцентология

Особенность традиционной индоевропейской акцентологии состоит в том, что праиндоевропейская акцентологическая реконструкция строилась и продолжает строиться на материале двух индоевропейских языков: древнеиндийского и греческого. Обнаруженные по закону Вернера отражения индоевропейского ударения в германском подтвердили индоевропейские истоки греко-арийского акцента, однако системно не были включены в индоевропейскую акцентологическую реконструкцию. Германские отражения, так же как и балто-славянские акцентные системы, традиционно рассматриваются как выводимые из греко-арийской акцентной системы, которой приписывается статус индоевропейской. При этом глагольная акцентуация индоевропейского восстанавливается исключительно по материалам древнеиндийского из-за явной вторичности ударения финитных форм греческого глагола. Есть, однако, основания думать, что акцентная система древнеиндийского также в значительной степени перестроена. Для доказательства первичности ведийского распределения ак-

центных типов глагола обычно приводят германские формы претерита сильных и презенса претерито-презентных глаголов, в которых видят отражение форм индоевропейского перфекта (ниже приводятся сближения из работы [Streitberg] с расширением материала по [Streitberg Got.], [Feist] и др.):

Презенс претерито-презентных глаголов:

Герм. praes. 1.sg. *aih* (< **aiha*) ~ 1.pl. *aigum* (< **aihm̃*) [гот. *aigan* ‘haben’; др.-исл. *aih* (источник?), *aig* K 7,13 ~ 1.pl. *aigum* L 3,8; J 8,41 ‘haben, besitzen’; др.-исл. *eiga*; praes. 1.sg. *á* ~ 1.pl. *eigo* ‘haben’; др.-англ. *āzan*; praes. 1.sg. *āh* ~ 1.pl. *āgon* ‘haben, besitzen’; др.-сакс. *ēgan*; praes. 1.pl. *ēgun* ‘haben, besitzen’] || др.-инд. 1.sg. *īśe*, 3.sg. *īśte* ‘besitzt, beherrscht, ist Herr über’; тохп. В *aik* ‘wissen’ || Streitberg Got. §§ 134, 222; Feist 20; Orel 6;

Формы претерита:

Герм. **tīhanan* ‘указывать’; praet. 1.sg. **taih* (< **taiha*) ~ 1.pl. **tigum* (< **tihm̃*) [др.-англ. *téon* < **tīhan*; praet. 1.sg. *táh* ~ 1.pl. **tizon* ~ part.praet. *tizen*; др.-в.-нем. *zīhan*; praet. 1.sg. *zēh* ~ 1.pl. *zigum* ~ part. praet. *gizigan*] || Streitberg 127; Orel 407; Holthausen AEEW 346.

Глаголов со следами «грамматического чередования» в претерите прагерманского больше тридцати, но они представлены не очень последовательно, так как к моменту фиксации прошел уже, видимо, достаточно длительный период выравнивания (унификации) морфем. Это вполне представительная группа, учитывая то, что «грамматическое чередование» этого типа могло возникнуть лишь в том случае, если глагольный корень оканчивался на глухую индоевропейскую смычную или сибиллянт.

Это чередование и восстановленную согласно ему акцентовку сравнивают затем с акцентовкой ведийского перфекта:

Др.-инд. sg. 1. *didéça*, 2. *didéçitha*, 3. *didéça*; pl. 1. *didiçimá*, 2. *didiçá*, 3. *didiçūr* || Streitberg 126.

В этом сравнении наличествует, однако, один слабый момент: накоренное ударение в единственном числе германской реконструкции осталось недоказанным. Если первоначально в единственном числе было, так же как и во множественном, конечное ударение, то соответствующая согласная озвончилась, но после редукции следующего гласного, попав в конец слова, должна была оглушиться, как это произошло в готском, где мы наблюдаем «грамматическое чередование» этого типа там, где оно никак не могло быть связано с акцентом:

Гот. inf. *ana-biudan*; praet. 1., 3. sg. *ana-bauþ* ~ 1.pl. *ana-budum* ~ part. praet. n. nom.sg. *ana-budan* || др.-инд. *bōdhati* ‘wacht, merkt, duftet’, авест. *baodaitē* ‘bemerkt’; греч. *πεῦθομαι* ‘erforsche, erfahre’ || Feist 41.

Таким образом, «грамматическое чередование» в этой категории указывает лишь на наличие в сильном германском претерите конечного ударения, но строго не свидетельствует о накоренном ударении в единственном числе, и реконструкция накоренного ударения в германском оказывается построенной под давлением показаний ведийского.

Связь чередования корневого гласного в этой и подобных категориях с возможным местом ударения позволила исследователям связать индоевропейский аблаут с ударением, которое толковалось как динамическое. При этом и сама связь аблаута с ударением рассматривалась как непосредственная: полная ступень огласовки связывалась с ударностью слога, нулевая («редуцированная») – с его безударностью. Рассмотрению акцентной системы как «настройки» над грамматической структурой слова способствовала генерализация подвижности ударения у греческих односложных атематических именных основ (хотя древнеиндийский явно указывает на наличие у этого вида основ и реликтов неподвижного акцентного типа). Подвижность ударения этого типа трактовалась как результат оттяжки ударения с основы на окончание. Однако характер окончаний, которые вызывали эту оттяжку (отличие их от тех, которые ее не вызывали), строго не рассматривался. Фигурировало утверждение, что ударение оттягивали окончания в полной ступени огласовки: др.-инд. gen.sg. *padás* (греч. ποδός) < **pod-os*, dat. sg. *padé* < **pod-ei*, instr. sg. *padā* < **pod-ō*, gen. pl. *padām* (греч. ποδῶν) < **pod-ōm*, dat. pl. *padbhyás* < **pod-bhyas*, gen.-loc. du. *padós* < **pod-ous*, dat.-abl.-instr. du. *padbhyám* (≠ греч. ποδοῖν) < **pod-bhyām*, – тогда как окончания в нулевой ступени огласовки ударение не оттягивали: др.-инд. acc. sg. *pādām* (греч. πόδα) < **pód-ŋ*, acc. pl. **pádas* (греч. πόδας) < **pód-ŋs*, nom. du. *pādā*, *pādau* (≠ греч. πόδε) – в др.-инд. перестройка из **pód-ə*. Но сама нулевая ступень огласовки рассматривалась как результат редукции в безударном положении. Налицо явное смешение причины и результата (следствия). Да и факты противоречат этому утверждению: имеются окончания в нулевой ступени огласовки, которые оттягивают ударение: др.-инд. loc. sg. *padí* (греч. ποδί) < **pod-i*, instr. pl. *padbhis* < **pod-bhis*, loc. pl. *patsú* (≠ греч. ποσί) < **pod-su*, – имеется также окончание в полной ступени огласовки, которое не оттягивает ударение: др.-инд. nom. pl. *pádas* (греч. πόδες) < **pód-es*. Вопрос, с каких корней ударение сдвигалось на окончание, а с каких не сдвигалось, даже не ставился, чему способствовало игнорирование реликтов неподвижного акцентного типа корневых основ в древнеиндийском, балто-славянском и германском. То же относится и к ударению глагола. Распределение акцента в формах древнеиндийского глагола в зависимости от ступени огласовки корня или элемента, предшествующего окончанию, как будто подтвердилось германскими формами претерита сильных и презенса претерито-презентных глаголов (см. выше). Так как продемонстрированное выше «грамматическое чередование» охватывает фактически все тематические глагольные основы, был, по-видимому, сделан вывод, что так же должны вести себя в праиндоевропейском все глагольные корни и вообще все корни (в том числе и именные). Это, однако не согласуется с акцентовкой имени в греко-арийском, где мы обнаруживаем два акцентных типа тематических имен, никак не связанных с вокалической ступенью корня, не обнаруживается жесткой связи с ступенью корня и у именных основ на *-i-* и на *-i-*. Это внутреннее противоречие греко-арийской акцентологической реконструкции еще боль-

ше высветилось после реконструкции балто-славянской акцентной системы, которая оказалась организованной как парадигматическая акцентная система.

Под *системами парадигматического акцента* или *парадигматическими акцентными системами* понимаются в Московской акцентологической школе такие системы, которые характеризуются двумя или несколькими типами поведения акцента *в слове*, именуемыми акцентными типами или акцентными (акцентуационными) парадигмами (а. п.), по которым распределяются *все слова* соответствующего языка следующим образом:

1. В корпусе непроемных основ выбор акцентного типа для каждого слова не предсказывается какой-либо информацией, заключенной в форме или в значении этого слова, а является присущим данному слову (приписанным ему) традиционно.

2. В корпусе производных основ выбор акцентных типов определяется акцентными типами производящих основ (обычно с соответствующей поправкой на словообразовательный тип).

Глагольная акцентная система в этих языках обычно построена подобным же образом: различные глагольные категории при этом рассматриваются как производные по отношению к глагольной категории, положенной в начало описания.

Таким образом, балто-славянская акцентная система существенно отличается от того, что удавалось увидеть из сравнения древнеиндийского и греческого языков и сравнения первого с рефлексом глагольной акцентуации протогерманского. Главным конструктивным элементом балто-славянской просодической системы оказалась корневая морфема: от ее, по-видимому, просодического характера зависело, какой акцентный тип выберет производное с данным корнем: одни корни не допускали сдвига акцента со своего слога и сохраняли накоренное ударение во всех словоформах и производных (если только какие-либо специальные фонетические обстоятельства не вызывали этот сдвиг), другие – позволяли сдвиги акцента, если за ними следовали морфемы (суффиксы или окончания), характеризовавшиеся просодическими особенностями, характерными для корней первого типа.

Предположение, что такого типа акцентная система лежала также в основе того, что просматривается в реликтах «греко-арийской системы», естественно разрешает те противоречия, которые мы наблюдаем в «греко-арийской акцентологической реконструкции». Тут возникают два вопроса:

1) В какой части фрагментов и рефлексов систем, положенных в основу «греко-арийской акцентологической реконструкции», сохранился парадигматический выбор акцентных типов в балто-славянском и каково их положение в греко-арийской системе? На этот вопрос постарались ответить С. Л. Николаев и С. А. Старостин в работе (Николаев, Старостин 1982).

2) Каково отношение глагольных корней, образующих тематические классы в германском и балто-славянском, связывающиеся в обоих праязыках с по-

движным (окситонированным) и неподвижным (баритонированным) акцентными типами, к общей массе глагольных корней? Существует ли достаточно мощный корпус глагольных корней, которые не образуют тематических классов, и каково их размещение в системах глагольных классов? Этой проблемой занялся в последнее время я, проведя ряд исследований по установлению рефлексов индоевропейского ударения в германском и пытаясь установить систему акцентных типов в германском глаголе (предварительные результаты см в [Дыбо 2010] и [Дыбо 2011]).

Аналогичные проблемы встают и в реконструкции именной акцентуации. Уже Б. Уилер обнаружил, что лишь две трети соответствующих между собой имен в греко-арийском совпадают по своей акцентовке (см. В. Wheeler). Он, правда, не придал этому существенного значения. Впервые на важность этого расхождения между языками, положенными в основу индоевропейской акцентологической реконструкции, было указано в совместном докладе С. Л. Николаева и С. А. Старостина «Некоторые соответствия индоевропейских долгот и ударений» (Николаев, Старостин 1978). Были приведены следующие отклонения в акцентовке древнеиндийских и греческих тематических имен:

1. др.-инд. *śankhá-* m., n. ‘Muschel’ ~ греч. κόγκος m., κόγκη f. ‘моллюск в раковине; раковина’ | Mayrhofer III: 290–291; Frisk I: 889–890;

2. др.-инд. *śyeháh* m. ‘Raubvogel, Adler, Falke, Habicht’ ~ греч. ικτίνοϛ ‘вид хищной птицы’ | Mayrhofer III: 385; Frisk I: 719;

3. др.-инд. *aṅkáh* m. ‘Biegung, Haken’ ~ греч. ὄγκος m. ‘Widerhaken des Pfeils, Klampe’, ‘загнутый конец стрелы’ | Mayrhofer I: 19; Frisk II: 347;

4. др.-инд. *āntrám* n. ‘Eingeweide’ ~ греч. ἔντερον n. ‘кишка’, pl. ἔντερα ‘внутренности’; герм. **énþrō* pl. n. [> др.-исл. *innr*, *íðr* pl. n. ‘внутренности’]; слав. **ětrā* > **ětrá* | Mayrhofer I: 74, 36, 35; Frisk I: 524–525; Barber 46; ср. Иллич-Свитыч: 122;

5. др.-инд. *kumbháh* m. ‘Topf, Krug’ ~ греч. κύμβος m. ‘Hohlgefäß, Schale’, κύμβη f. ‘чаша’ | Mayrhofer I: 234; Frisk II: 48;

6. др.-инд. *cakráh* m., *cakrám* n. ‘Wagenrad’ ~ греч. κύκλος m. ‘круг, колесо’, pl. также κύκλα; герм. **hvéhula-* < **k^uék^ulo-* (др.-исл. *hjöl*, др.-англ. *hwēol*), дат. *hjul* [ju:ʔ] ‘колесо’ | Mayrhofer I: 366; Frisk II: 44–45;

7. др.-инд. *udráh* m. ‘ein Wassertier’ ~ греч. ὕδρος m. ‘водяная змея’, ὕδρα f. ‘гидра’; лит. *údra* (1) ‘выдра’, слав. **vŷdrā* (а. п. а) ‘выдра’: русск. *вьѣдра*, укр. *вѣдра*, блр. *вѣдра*, болг. *вѣдра*, схрв. *вѣдра*; но лит. диал. *údras*, ном. pl. *ūdrai* (3) ‘выдра’ (Tiž, II, 474), лтш. *údrs* и *údris* ‘выдра’ | Mayrhofer I: 104; Frisk II: 957;

8. др.-инд. *kandaráh* m., *-ám* n., *-ī*, *-ā* f. ‘Höhle, Schlucht’ ~ греч. κάνδαλοι· κοιλώματα, βάθρα (Hes.) ‘впадины, полости; основания’ | Mayrhofer I: 152;

9. др.-инд. *gandharváh* m. Name eines mythischen Wesens ~ греч. κένταυρος m. ‘кентавр’ (фонетика последнего слова, видимо, изменена по аналогии с ταῦρος) | Mayrhofer I: 321; Frisk I: 819–820;

10. др.-инд. *śarabhāh* m. eine Hirsch-Art ~ греч. κίραφος: ἀλώπηξ (Hes.) ‘Fuchs’ | Mayrhofer III: 305; Frisk I: 857;

11. др.-инд. *kaṛanā́* f. ‘Raupе’ ~ греч. κάμπη f. ‘Kohlraupe, Seidenraupе’ (< **кṛpṛnā́*, Mayrhofer I, 154) | Mayrhofer I: 154; Frisk I: 774;

12. др.-инд. *stupāh* m. ‘Schopf, Haarschopf’ ~ греч. στύπη f. ‘Werg, grober Flachs’, также στύπος = στύπη (κάλοι ἀπὸ στύπου Gal.) | Mayrhofer III: 516; Frisk II: 814;

13. др.-инд. *darbhāh* m. ‘Grasbüschel, Buschgras’ ~ греч. δάρπη: σαργάνη, κόφινος (Hes.) ‘Korb’ (контаминация *тάρπη* и **дάρφη* Güntert IF 45, 347) | Mayrhofer II: 23; Frisk I: 350;

14. др.-инд. *ḡyá, ḡiá* f. ‘Gewalt, Macht’ ~ греч. βιά, βίη f. ‘Kraft, Gewalt’ | Mayrhofer I: 448; Frisk I: 235;

15. др.-инд. *dhākāh* m. ‘Behälter’ ~ греч. θήκη f. ‘Behältnis, Kasten, Grab’ | Mayrhofer II: 96; Frisk I: 670;

16. др.-инд. *divyāh, diviyāh* adj. ‘göttlich, himmlisch’ ~ греч. δῖος adj. ‘zum Himmel gehörig, göttlich’ | Mayrhofer II: 43; Frisk I: 396–397;

17. др.-инд. *saptamá-* adj. ‘седьмой’ ~ греч. ἕβδομος adj. ‘der siebente’ | Mayrhofer III: 431; Frisk I: 435;

18. др.-инд. *katarāh* ‘welcher von zweien’ ~ греч. πότερος, ион. κότερος ‘welcher od. wer von beiden?’; герм. **hwaparaz* ~ **hweparaz* (< **hwáparaz* ~ **hwéparaz*) adj. pron. (гот. *hwapar* ‘wer von beiden?’; др.-англ. *hwæder, hweder*; др.-сакс. *hwedar*, др.-в.-нем. *hwedar* ‘wer von beiden?’); слав. **kōtorъ* > **kotōrъ* | Mayrhofer I: 148; Frisk II: 586; Orel: 199; Feist: 283; БЕР 2: 679–680.

Сомнительно предполагаемое авторами отношение к этой группе: др.-инд. *dhūmāh* m. ‘Rauch’ ~ греч. θύμος m., θυμόν n. ‘Thymian’ (авторы не принимают сближения с греч. θῦμός m. ‘Geist, Mut, Zorn, Sinn’) | Mayrhofer II, 109; Frisk I, 693. Так как авторы не дали альтернативной этимологии греч. θῦμός, которая бы надежно устранила эту форму из традиционного сближения, она остается как первичная, а лат. *fūmus* m. ‘Rauch, Dampf, Qualm, Brodem’ может рассматриваться как дополнительный пример действия закона Хирта в латинском. Я не привожу здесь атематических основ, в которых различие древнеиндийской и греческой акцентовок может объясняться генерализацией разных акцентовок подвижной акцентной парадигмы, и форм *-i-* и *-u-* склонений, значительное количество разных акцентовок этих имен, устанавливаемых в германских языках по рефлексации согласно закону Вернера, вызвало предположение о наличии первично подвижного акцентного типа у этих имен, в дальнейшем «генерализовавшегося» в окситонезу или баритонезу.

В дальнейшем С. Л. Николаев, изучив акцентовку древнеиндийских производных имен с суффиксами I (доминантного) класса, пришел к выводу, что эти имена получали конечное ударение, если их корни относились также к I (доминантному) классу. Так как класс суффикса, по-видимому, определялся просодической характеристикой тематического гласного, включенного в данный

суффикс, С. Л. Николаев рассмотрел акцентовку установленных С. А. Старостиным древнеиндийских *nomina activa* и *nomina passiva*, у которых роль суффикса играл тематический гласный, и соответствующих им греческих deverbativov, что позволило ему создать следующую схему акцентовок при различных сочетаниях морфем:

Сочетание морфем		Древнеиндийский	Греческий
корень (кл.)	суффикс (кл.)		
I	I	<u>oxytona</u>	<u>barytona</u>
I	II	barytona	barytona
II	I	barytona	barytona
II	II	oxytona	oxytona

Примечание. Подчеркнута позиция, где греческая акцентовка отличается от древнеиндийской.

В греческом баритонированной является любая форма, где содержится морфема I кл., в древнеиндийском же баритонированными являются лишь формы, состоящие из морфем различных классов.

Греческий в этом отношении близок к балто-славянскому, в котором формы-энклиномены могут состоять лишь из морфем II класса, а присутствие в форме доминантной морфемы определяет ее оротонический статус (АССЯ: 69). С. Л. Николаев относит время возникновения этой акцентологической особенности древнеиндийского, по-видимому, еще к периоду индоевропейских диалектов, считая, что эту же особенность разделяет с древнеиндийским прагерманский, чему однако противоречат 1) герм. **hvéhula-* < **k^hék^hlo-* (при греч. κύκλος m., pl. κύκλοι и κύκλα, но др.-инд. *cakrá-* m., n. 'колесо'), 2) герм. **énþrō* pl. n. (при греч. έντερο-v 'кишка', pl. 'внутренности', но др.-инд. *āntrá-* n. 'entrail', 'внутренности, кишки' RV., *antrá-* n.), 3) герм. **hwáþaraz* ~ **hwéþaraz* (при греч. λότερος, ион. κότερος 'welcher od. weg von beiden?', но др.-инд. *kataráh* 'welcher von zweien').

Обследование именной акцентовки дардского языка шина, сохранившего в основных чертах индоиранское распределение акцентных типов, выявило в шина ряд баритонированных имен, которым в ведийском соответствуют окситонированные имена, но в греческом, балто-славянском и германском им соответствует баритонеза. Показания шина могут свидетельствовать о том, что данная особенность является лишь чертой ведийского, но не индоиранского и даже не индоарийского.

1. Sh. (jj.) *ózi* 'entrail' ~ др.-инд. *āntrá-* n. 'entrail', 'внутренности, кишки' RV., *antrá-* n. Suśr.; || но ср. греч. έντερο-v 'кишка', pl. 'внутренности'; герм. **énþrō* pl. n. [> др.-исл. *innr*, *iðr* pl. n. 'внутренности']; слав. **ětrā* > **ętrā* [схрв. *jětra* 'печень', диал. чак. (Нови) *jětra* pl. n. 'внутренности'; чеш. *játra*] || Bailey 1924: ?; Turner I: 53 (1182);

2. Sh. *cārkū*, gen. sg. *cārkāi*, pl. *cārkē*, gen. *cārko* m. ‘колесо для прядения, колесо, круг для точки сабли’ [cārk-ū-ě-āi-o, m., spinning wheel, wheel, machine for sharpening sword] ~ др.-инд. *cakrā-* m., n. ‘колесо’, | но ср. греч. κύκλος m., pl. κύκλοι и κύκλα ‘круг, окружность; колесо (pl. только κύκλα); обруч, обод, кольцо; диск’, герм. **hēhvula-* < **k^hék^hlo-* (др.-исл. *hjöl*, др.-англ. *hwēol*), дат. *hjul* [ju:’l] ‘колесо’, при подвижности в лит. *kāklas* ‘шея’ (4 а. п. с др.-лит., см. Иллич-Свитыч: 50; впрочем, вряд ли можно считать опечаткой форму *kāklū* в Библии 1755 г., два раза повторенную в тексте, которая указывает на 2 а.п.); | Bailey 1924: 135; Turner I: 246 (4538);

3. Sh. *ūzī*, pl. *ūzē* m. ‘выдра’ [ūz-ū-ě, m., otter] ~ др.-инд. *udrāh* m. ‘водяное животное (краб или речная выдра), | но ср. греч. ὕδρος m. ‘водяная змея’ или ‘уж’, ὕδρᾱ f. ‘гидра’, лит. *ūdra* (1) ‘выдра’, слав. **vŭdrā* (а.п. а) ‘выдра’: русск. *вьдра*, укр. *вiдра*, блр. *вiдра*, болг. *вiдра*, схрв. *вiдра*; но лит. диал. *ūdras*, ном. pl. *ūdrai* (3) ‘выдра’ (Tiž, II, 474), лтш. *ūdrs* и *ūdris* ‘выдра’; | Bailey 1924: 168; Turner I: 96 (2056);

4. Sh. *āzū*, gen. sg. *āzēi*, pl. *āzē*, gen. *āzo* adj.; n., m. ‘туча, облако, дождь; мокрый, дождливый, влажный’ [āz-ū-ě-ēi-o, adj. n.m., cloud, rain, wet, damp]; pales. *āzū* ~ др.-инд. *abhṛā-* n. (редко m.) ‘cloud, rainy weather’ RV; | но ср. греч. ὄμβρος m. ‘Regen, Regenguß, Gewitterregen; Regenwasser; das Naß’ < **ómbhro-s* | Bailey 1924: 130; Turner I: 25 (549); Frisk II: 384–385;

5. Sh. *kāṭ*, gen. *kāṭāi* m. ‘лес, дерево, древесина’ [kāṭ- gen. -āi, m., wood] ~ др.-инд. *kāṣṭhām* (при варианте *kāṣṭham* Mayrhofer) ‘полено’ | но ср. греч. κάστος · ζύλον (< **kalstom*, из-за греч. κάλον, κήλον < **калсон*, по Пизани); | Bailey 1924: 146; Turner I: 159 (3120);

6. Sh. *pīṭū*, pl. *pīṭē* m. ‘спина, задняя часть’ [pīṭ-ū-ě, m., back] ~ др.-инд. *pr̥ṣṭhām* n. ‘спина, хребет, верхняя часть, верх’ | но ср. лит. *pir̥štas* ‘палец, палец ухвата’ (2 а. п., представлена повсеместно по диалектам, первоначально n., см. Иллич-Свитыч: 52), слав. **p̣ṛstь* (а. п. d или b, см. Иллич-Свитыч: 128); | Bailey 1924: 158; Turner I: 474 (8371);

7. Sh. *gīri*, pl. *gīryē* f. ‘скала’ [gīr-i-yē, f., rock (ī is ī long)] ~ др.-инд. *giriḥ* m. ‘скала, гора’ | но ср. афг. *γar* m. ‘гора’ (barytonum, окситонированная форма отразилась бы как **γrā*), слав. **gora* (а. п. b): др.-русск., чеш. диал. *hūra*, польск. *góra*, лит. *girià* (2) ‘лес’, диал. *girė* (2); | Bailey 1924: 141; Turner I: 223 (4161);

8. Sh. *gīh*, gen. sg. *gīyāi*, pl. *gīyē*, gen. *gīyo* ‘масло, топленое масло из молока буйволицы’ [gī-(h)+ -yē-yāi-yo, butter, ghi] ~ др.-инд. *ghṛtām* n. ‘жир, сливки, масло’, | но ср. афг. *γwar* adj. ‘масляный, жирный’, m. ‘помада’ (barytonum); (класс корня глагола др.-инд. *jighartī*, греч. ἐθεῖρω ?); | Bailey 1924: 141; Turner I: 243 (4501);

9. Sh. *jip*, gen. sg. *jibāi*, pl. *jibē*, gen. *jibo* f. ‘язык’ [ji-p -bē-bāi-bo, f., tongue (not used for “language”)] ~ др.-инд. *jihvā* f. ‘язык’, | но ср. афг. *žāba* f. ‘язык’ (< **ziba* < **izba* < **hizbā* < **hizvā*, но может быть и заимствованием из новоиндийских, как предполагал Гейгер); | Bailey 1924: 145; Turner I: 288 (5228);

10. Sh. *pūc*, gen. *pūcai* m. 'сын' [pū́c- gen. -āi : pl. *dāri*, q.v., son] ~ др.-инд. *putráh* m. 'сын'; | Bailey 1924: Turner I: 468 (8265);
11. Sh. *ḡon* m. 'запах, аромат' [ḡon, m., smell] ~ др.-инд. *gandháh* m. 'запах, аромат, духи'; | Bailey 1924: 141; Turner I: 214–215 (4014);
12. Sh. *chalṭ*, gen.sg. *chálei*, pl. *cháli*, gen. *chálo* 'козлёнок' [chal-ṭ -i-ēi-o, kid] ~ др.-инд. *chagaláh* m. 'козёл' (возможно влияние производящей основы: др.-инд. *chāḡah* m. 'свинья' [sūr- -i, m., pig] ~ др.-инд. *sūkaraḡh* m. 'боров' | Bailey 1924: 164; Turner I: 780 (13544).

Таким образом, в ведийском мы наблюдаем, по-видимому, второй этап процесса передвижения акцента на ровных тональных платформах: в моем докладе на XIII съезде славистов (Дыбо 2003) я предложил для объяснения перевода тематических имен подвижной акцентной парадигмы в окситонированную передвижение акцента на один слог, это передвижение произошло и в греческом, и в древнеиндийском, оно естественно произошло на низкотональных платформах; ведийский, по-видимому, продолжил тенденцию сдвига акцента на конец ровной платформы, перенеся этот процесс на высокотональные платформы. В атематических основах, по-видимому, именно эти передвижения привели к четырем греко-арийским акцентным типам, которые восстанавливаются рядом исследователей как индоевропейские акростатическая, протеродинамическая, гистеродинамическая и амфидинамическая акцентные парадигмы.

- АССЯ – Дыбо В. А., Замятина Г. И., Николаев С. Л. Основы славянской акцентологии: Словарь. Непроизводные основы мужского рода. М., 1993. Вып. 1.
- БЕР – Български етимологичен речник. Т. I. София, 1971; т. II. София, 1979; т. III. София, 1986; т. IV. София, 1995; т. V. София, 1999; т. VI. София, 2002.
- Дыбо 2003 – Дыбо В. А. Балто-славянская акцентологическая реконструкция и индоевропейская акцентология. // Славянское языкознание. XIII Международный съезд славистов. Люблина, 2003 г. Доклады российской делегации. М., 2003. С. 131–161.
- Дыбо 2010 – Дыбо В. А. Акцентологическая система прагерманского глагола. (Первичные глагольные основы) // Индоевропейское языкознание и классическая филология – XIV. Материалы чтений, посвященные памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского. 21–23 июня 2010 г. Часть I. СПб.: Наука, 2010. С. 240–275.
- Дыбо 2011 – Дыбо В. А. Балтославянская акцентология и германская геминация согласных (В защиту теории Ф. Клуге) // Синхронное и диахронное в сравнительно-историческом языкознании. Материалы VII Международной научной конференции по сравнительно-историческому языкознанию (Москва, 31 января – 2 февраля 2011 г.). М., 2011. С. 75–88.
- Илич-Свитыч – Илич-Свитыч В. М. Именная акцентуация в балтийском и славянском. Судьба акцентных парадигм. М., 1963.
- Николаев, Старостин 1978 – Николаев С. Л., Старостин С. А. Некоторые соответствия индоевропейских долгот и ударений // Конференция: проблемы реконструкции. 23–25 октября 1978 г. М., 1978. С. 114–119.
- Николаев, Старостин 1982 – Николаев С. Л., Старостин С. А. Парадигматические классы индоевропейского глагола // Балто-славянские исследования 1981. М., 1982. С. 261–343.
- Bailey 1924 – Bailey T. G. Grammar of the Shina (Šinā) language. London, 1924
- Barber – Charles Clyde Barber. Die vorgeschichtliche Betonung der Germanischen Substantiva und Adjektiva. Heidelberg, 1932.

- Feist – *Feist S.* Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. Leiden, 1939.
- Frisk – *Frisk H.* Griechisches Etymologisches Wörterbuch. 3 Bde. Heidelberg, 1960–1972.
- Güntert IF 45 – *Güntert Hermann.* Kleine Beiträge zur griechischen Wortkunde // IF 45, 1927. S. 345–347.
- Hes. – *Hesychii Alexandrini Lexikon.* Ed. min. cur. M. Schmidt. Ed. II. Jenae, 1867.
- Holthausen AEEW – *Holthausen F.* Altenglisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1934.
- Mayrhofer – *Mayrhofer M.* Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. I–IV. Heidelberg, 1956–1980.
- Orel – *Orel V.* A Handbook of Germanic Etymology. Leiden; Boston, 2003.
- Streitberg – *Streitberg W.* Urgermanische Grammatik. Einführung in das vergleichende Studium der altgermanischen Dialekte. Heidelberg, 1943.
- Streitberg Got. – *Streitberg W.* Gotisches Elementarbuch. Heidelberg, 1910.
- Tiž – *Tauta ir Žodis.*
- Turner I – *Turner R.L.* A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages. London, 1966.
- Wheeler – *Wheeler B.* Der griechische Nominalaccent. Straßburg, 1885.

Андраш Золтан (Будапешт)

**Вопрос о древнейшем пласте
славянских заимствований в венгерском языке
и хронология деназализации носовых в славянском**

Говоря о хронологии деназализации носовых гласных в славянских языках, С. Б. Бернштейн в качестве ориентира привлекает свидетельство ранних славянских заимствований в венгерский язык; при этом он не замалчивает и некоторые трудности, связанные с тем обстоятельством, что общепринятая дата поселения венгров в Карпатском бассейне – конец IX века – очень близка к утрате ринезма в славянских языках. Таким образом, показательное число славизмов со славянскими носовыми гласными, «законсервированными» венгерским языком в виде сочетаний «гласный + носовой согласный», должно было войти в венгерский язык и укорениться в нем за слишком коротким отрезком времени. Вот что пишет по этому поводу С. Б. Бернштейн: «При установлении хронологии утраты ринезма в славянских языках исследователь сталкивается с известными трудностями. Дело в том, что на начало и полное завершение этого процесса приходится слишком короткий срок. Мы можем уверенно говорить, что в конце IX – начале X в. славянские языки носовые гласные еще не утратили. В конце IX в. на территории Паннонии появляются кочевники венгры [...]. Славянские элементы в венгерском языке свидетельствуют, что в конце IX – начале X в. в славянских говорах Паннонии ринезм еще не утратился (во всяком случае, в корневых морфемах)» (Бернштейн 1961: 243)¹. После приведения нескольких примеров из сло-

¹ Отражение славянских носовых в венгерском служит свидетельством их звучания в языке славян Паннонии также для Ю. Шевелева, ср. Shevelov 1979: 138–139 (= Шевельов 2002: 186–187).

варя И. Книежи (Kniezsa 1955)¹ – *donga* ‘клепка’ (< псл. *dogga*), *galamb* ‘голубь’ (< псл. *golq̄bь*), *gomba* ‘гриб’ (< псл. *gq̄ba*), *munka* ‘гриб’ (< псл. *moka*), *péntek* ‘пятница’ (< псл. *peŕtьkь*), *rend* ‘порядок’ (< псл. *ređь*), *szent* ‘святой’ (< псл. *svetь*), *szomszéd* ‘сосед’ (< псл. *sošěđь*), *toromba* ‘вязанка тростника, соломы или ивняка’ (< псл. *trq̄ba*) – С. Б. Бернштейн, цитируя Р. И. Аванесова, указывает на то, что «...передача названий днепровских порогов у Константина Багрянородного свидетельствует о том, что к середине X в. носовые гласные уже утратились» (Бернштейн 1961: 243). За такой короткий срок в несколько десятилетий, говорит С. Б. Бернштейн, весь процесс деназализации не мог завершиться. «Как же выйти из этого затруднения?» – задает он сам себе вопрос, на который он отвечает так: «Надо полагать, что деназализация началась раньше X в. Во многих славянских языках процесс шел в течение IX и X вв. (два столетия). Нет фактов, которые мешали бы нам принять эту хронологию для древнерусского языка. [...] Не дают нам оснований утверждать об отсутствии начала процесса деназализации и славянские элементы в венгерском. Они могут свидетельствовать лишь о том, что в определенных позициях славянские говоры Паннонии в начале X в. еще сохраняли носовые. Я бы определил эту позицию так: носовые гласные сохранялись в корневых морфемах» (Бернштейн 1961: 244).

Что касается этого последнего предположения С. Б. Бернштейна, т. е. тезиса о том, что носовые гласные сохранялись в корневых морфемах дольше, чем в других позициях, этому венгерский материал не противоречит, но и не подтверждает его, поскольку венгерский язык, по-видимому, не заимствовал из славянского формантов или слов с формантами, содержащими в своем составе носовые гласные. Единственным кажущимся исключением является топоним *Berente*, который основывается на славянском личном имени **Boreta* (Kiss 1997, 1: 200), представляющем собой субстантивацию причастия архаичного образования от **boriti* или **borti* (ЭССЯ 2: 201–202), производный характер которого к началу интенсивных славяно-венгерских контактов был, наверное, уже затемнен и в самом славянском.

Из затруднения, представленного в цитированных выше рассуждениях С. Б. Бернштейна, можно, однако, выйти также путем передвижки хронологических границ контактирования венгров со славянами, сохраняющими в своем языке носовые гласные.

Эти хронологические границы можно сдвинуть вверх, если принять, что в Карпатском бассейне во время прихода сюда венгров, наряду с другими поздне-славянскими диалектами, были представлены и диалекты болгарского типа. Есть основания принимать, что население, говорящее на таких диалектах, проживало здесь, и не только на юго-восточных окраинах, но также в центральных областях. В пользу такого предположения говорит общевенгерское (а не узко-

¹ Весь корпус венгерских славизмов с рефlekсами славянских носовых гласных представлен в работах Е. А. Хелимского (1988: 348–349, 2000: 417–418). Этот же материал использован и в работе: Richards 2003.

локальное или маргинальное) распространения таких славянских заимствований с явно болгарскими рефлексами праславянских сочетаний **kьbь*, **tj* и **dj*, как (уст.) *pest* ‘печь’ и ‘пещера’ (ср. ст.-сл. **пешть**, болг. *пец* ‘печь’ и ‘пещера’), а также топоним *Pest* (ныне левобережная часть Будапешта), *mostoha* ‘мачеха’ (ср. болг. *машеха* ‘то же’), *mezgye* ‘межа’ (ср. ст.-сл. **межда** ‘перулок’, болг. *межда* ‘межа’), *rozda* ‘ржавчина’ (ср. ст.-сл. **ръжда** ‘то же’) и некоторые другие. На основе этих заимствований явно субстратного характера можно допустить, что некоторые венгерские славизмы с рефлексами славянских носовых гласных могли быть заимствованы из тех же диалектов болгарского типа в центре Дунайского бассейна. Ведь в таком случае предки венгров могли слышать славянские слова с носовыми согласными у своих славянских соотечественников еще и на протяжении всего XI в., да еще и позже. Глубокий знаток болгарской исторической диалектологии С. Б. Бернштейн указал на то, что «болгарский язык занимает особое положение среди всех славянских языков в отношении судьбы носовых гласных. Здесь носовые гласные оказались очень устойчивыми. Первые признаки деназализации обнаруживаются sporadически в памятниках XI в. Резко возрастает число примеров в текстах XII в. [...] Процесс деназализации в болгарском шел медленно. Можно предполагать на основании имеющихся в нашем распоряжении фактов, что утратили ринезм раньше южные говоры. Здесь деназализация прошла в течение XII в. В северных говорах процесс шел медленнее. Данные языка семиградских болгар подтверждают, что северо-восточные говоры Болгарии еще во второй половине XIII в. сохраняли носовые гласные в корневых морфемах. Вероятно, весь процесс деназализации в болгарском завершился в XIV в.» (Бернштейн 1961: 245–246). У нас нет оснований полагать, что в диалектах болгарского типа в центральных областях Карпатского бассейна деназализация прошла бы раньше, чем в основном массиве болгарских говоров. Наоборот, лингвогеография подсказывает, что эти диалекты примыкали к северным говорам, в которых носовые звучали еще и в XIII в. Эта возможность, как мне известно, не учитывалась еще ни в венгерской, ни в славянской литературе предмета, поэтому венгерские этимологические словари при датировке славянских заимствований с рефлексами носовых гласных монотонно повторяют, что они были заимствованы «до конца X в.», что является несколько произвольным повышением хронологической границы деназализации в остальных – кроме болгарских – славянских диалектах в Карпатском бассейне или на его окраинах. К сожалению, из этих болгарских диалектов сохранилось не больше информации, чем та, которая имеется в самом старом пласте венгерских славизмов. Нет, однако, сомнений в том, что если такие были, они должны были находиться не (только) на окраинах, но и в центре Карпатского бассейна, так как нельзя не согласиться с Е. А. Хелимским в том, что «вряд ли есть нужда в том, чтобы, исследуя подобные возможности, уходить от наиболее простого и естественного объяснения ранних славянизмов венгерского языка как субстратных заимствований из языка тех славян, которые вошли впоследствии в состав венгерского этноса» (Хелимский 1988: 363, 2000: 432).

Существует возможность сдвинуть традиционные хронологические границы также вниз. В этом направлении работают венгерские историки и филологи, которые стараются доказать, что занятие венграми Карпатского бассейна было не однократным актом, а длительным процессом, начавшимся на два-три столетия раньше, чем окончательное завоевание венграми территории исторической Венгрии в конце IX в. При этом принимается, что сначала имела место инфильтрация «низов», служилых слоев венгерского общества, и эта миграция именно поэтому могла проходить незамеченной современными хронистами соседних земель. Эта теория, известная в Венгрии как «двойное приобретение Родины» и присущая венгерской историографической традиции издавна, в более новое время связывается с именем археолога Д. Ласло (ср., напр. László 1978). К данной теории присоединился и археолог Я. Маккаи, который в аргументации в пользу этой гипотезы использовал и ранние славизмы венгерского языка, указывая, между прочим, на необходимость передвижения вниз хронологических рамок заимствования венгерским языком славянских слов с рефлексами носовых гласных (Makkaý 2004).

К сторонникам этой гипотезы присоединился и видный венгерский славист П. Кирай, который просмотрел многочисленные средневековые документы, содержащие этноним «венгр» на разных языках до конца IX в. Многие упоминания о «венграх» при описании событий VI–VII в., приведенные у П. Кирая (Király 2006), не выдерживают критики, потому что цитаты взяты из памятников более позднего времени, где употребление этнонимов могло отражать реалии XII–XIII вв. (ср. рецензии: Balogh 2007, Zoltán 2008), тем не менее показательное число (свыше 60) личных имен с эпитетом «венгр» (*Ungarus, Hungaer, Hunger, Hungarius, Onger, Wanger*) в западноевропейских источниках VIII–IX вв. (в первую очередь, монастырских записях) едва ли можно толковать иначе, чем свидетельство о том, что выходцы из венгров появились здесь уже в это время. Трудно было бы представить себе, что эти «венгры» пришли бы, например, в Санкт-Галлен с южнорусских степей; намного вероятнее, что венгры жили уже где-то на территории будущей Венгрии, откуда некоторые из них могли попасть в не очень отдаленные оттуда монастыри Западной Европы. Если это так, то эти венгры, поселившиеся среди славян Паннонии без всякого «шума боя», могли уже в VIII–IX вв. заимствовать славянские слова с носовыми гласными и передать их с рефлексами этих звуков своим соплеменникам, пришедшим несколько позже, когда носовых в диалектах славян Дунайского бассейна – за исключением носителей говоров болгарского типа – уже не было, или они уже были близки к исчезновению.

Таким образом, если обе эти возможности передвижения хронологических границ верны, венгры на территории всего Карпатского бассейна могли контактировать со славянами, в речи которых звучали носовые гласные, по крайней мере, два столетия – VIII–IX вв., а на некоторых его частях – даже пять (VIII–XII вв.), что и устраняет все затруднения, о которых в свое время говорил С. Б. Бернштейн.

- Бернштейн 1961 – *Бернштейн С. Б.* Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961.
- Хелимский 1988 – *Хелимский Е. А.* Венгерский язык как источник для праславянской реконструкции и реконструкции славянского языка Паннонии // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. София, сентябрь 1988 г. Доклады советской делегации. М., 1988. С. 347–68.
- Хелимский 2000 – *Хелимский Е. А.* Компаративистика, уралистика: Лекции и статьи. М., 2000.
- Шевельов 2002 – *Шевельов Ю.* Исторична фонологія української мови. Харків, 2002.
- ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков: Общеславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. Т. 1–. М., 1974–.
- László 2007 – *Balogh László.* Új könyv a „kettős honfoglalásról” (Megjegyzések egy a magyarság korai történetét tárgyaló mű margójára) // Acta Universitatis Szegediensis, Acta Historica CXXV. Szeged, 2007. 3–19.
- Király 2006 – *Király Péter.* A honalapítás vitás eseményei: A kalandozások és a honfoglalás éve. Nyíregyháza, 2006.
- Kiss 1997 – *Kiss Lajos.* Földrajzi nevek etimológiai szótára I–II. 2. kiad. Budapest, 1997.
- Kniezsa 1955 – *Kniezsa István.* A magyar nyelv szláv jövevényszavai I/1–2. Budapest, 1955.
- László 1978 – *László Gyula.* A „kettős honfoglalás”. Budapest, 1978.
- Makkay 2004 – *Makkay János.* Korai szláv kölcsönszavaink keltezési kérdései és a honfoglalás. Budapest, 2004.
- Richards 2003 – *Richards Ronald O.* The Pannonian Slavic Dialect of the Common Slavic Proto-Language: The View from Old Hungarian. Los Angeles (=UCLA Indo-European Studies 2), 2003.
- Shevelov 1979 – *Shevelov G. Y.* A Historical Phonology of the Ukrainian Language. Heidelberg, 1979.
- Zoltán 2008 – *Zoltán András.* [Рец. на кн.:] A honalapítás vitás eseményei: A kalandozások és a honfoglalás éve. Nyíregyháza, 2006 // Magyar Nyelv 104, 2008. 355–359.

С. И. Иорданиди (Москва)

К истории некоторых непродуктивных суффиксов в русском языке

Большие успехи, достигнутые в разработке теоретических и методологических вопросов синхронного и сопоставительного словообразования славянских языков, не снимают вопроса об актуальности диахронно-синхронных дериватологических исследований. «Теоретическое» направление в его различных реализациях предоставляет надежный инструментарий и объективные методы для изучения и описания системных и структурных особенностей словообразования в отдельных языках Славии или их объединений. Однако абсолютное разграничение синхронии и диахронии в словообразовании, начавшееся с известного постулата Ф. де Соссюра, оставляет в стороне необходимость дать «описание того, что есть...», должноствующее «быть описанием того, как это стало...» (Grzegorzczkova, Puzynina 1959). Такой точки зрения придерживаются многие лингвисты. Так, акад. О. Н. Трубачев (1994) отмечает: «Всякая синхрония при ближайшем рассмотрении сползает в диахронию... Сейчас, пожалуй, словообразование как лингвистическая дисциплина страдает как раз от не в меру строгого разграничения синхронии и диахронии... Если строгость метода

(иначе – «чистота») метода вступает в коллизию с шириной охвата данных языка, мы предпочитаем широту...».

В своем подавляющем большинстве работы теоретического плана опираются на синхронный материал литературных языков; в них, как правило, не учитывается огромный массив диалектных данных, которые могут существенно обогатить, уточнить и расширить представления о возможностях словообразовательной системы.

Историческое словообразование русского языка за последние десятилетия пополнилось рядом монографий конкретного и интерпретационного характера, но до полного описания процесса развития русской деривационной системы еще далеко. Такая цель была поставлена И. С. Улухановым еще в начале 90-х гг., но не реализована до сих пор.

Диахронно-синхронные и диалектные дериватологические штудии дают неопценимый материал для теоретических обобщений. К образцовым исследованиям такого рода относятсяopus Ю. С. Азарх (1984, 2000), в которых наряду с описанием словообразовательных средств в их историческом движении представлен и богатейший диалектный материал.

Доклад посвящен описанию функционирования нескольких непродуктивных суффиксов (*-нь*, *-н(ь)*, *-ль* и др.) в русском языке, начиная с XI по XX вв., а также в диалектном распространении. Эти суффиксы относятся к периферийным участкам словообразовательной системы отглагольного имени в русском языке. Фрагмент для исследования был выбран неслучайно: задача заключается в том, чтобы продемонстрировать, как диахроническое исследование периферийных участков деривационной системы дает новые данные для решения части проблем исторической дериватологии. Основное внимание уделено изменениям семантической структуры некоторых словообразовательных типов в течение XI–XX вв. В более ранних наших работах было показано, что имена на *-тва* (*клятва*, *молитва*, *женитва* → *кляти*, *женити*, *молити*), относящиеся к праславянскому словарному фонду, уже в исходной системе древнерусского языка демонстрируют сложную семантическую структуру. В течение древне- и среднерусского периодов в этом словообразовательном типе наблюдается тенденция к ослаблению и утрате процессуального признака, в соответствии с тенденцией к снижению глагольности, действующей в истории *nomina actionis*. Процесс опредмечивания, конкретизации значения осуществляется как вытеснение на периферийные позиции транспозиционного значения действия. Как свидетельствуют наши материалы (исторические и диалектные), разного рода семантические преобразования характерны и для других непродуктивных словообразовательных типов отглагольного происхождения.

Думается, что полное дериватологическое исследование каждого из диалектных языков в историческом движении важно не только для констатации тех или иных изменений, но и для последующего выявления диахронических кон-

стант (в терминологии М. М. Гухман) или исторических хроноглосс (в терминологии Ю. Н. Караулова), что позволит получить наиболее точную картину системных преобразований в исследуемых языках, в том числе отношений мотивации (производности), утраты или формирования новых словообразовательных типов, расширения/сужения словообразовательного значения и т. п. Работа эта огромна и требует значительных усилий большого круга энтузиастов.

А. А. Лопухина (Москва)

О некоторых фонетических изоглоссах в одном из архангельских говоров конца XVI – XVII в.

До сих пор не было осуществлено полного описания архангельских говоров ни в синхронном, ни в диахронном аспектах. Между тем их изучение позволило бы с большей ясностью взглянуть на ряд вопросов, стоящих перед исторической диалектологией и лингвистической географией. Далее речь пойдет о шенкурских говорах (совр. Шенкурский р-н, Архангельская обл.), отражающихся в рукописях из Важского Богословского монастыря¹ XVI–XVII вв.

В частности, по ряду рукописей можно восстановить произношение звуков на месте фонем ⟨ц⟩ и ⟨ч⟩, являющееся яркой чертой фонетической системы говора и позволяющее нам определить место шенкурского диалекта среди севернорусских говоров.

Итак, в шенкурских рукописях описываемого периода встречаются следующие написания с *ц*: *кожицу мяти^нную* [2/43 – 2], *кути^н крицю² железа* [2/3 – 26], что без сомнения свидетельствует о мягкости звука [ц’]. Есть и написания с сочетанием *ци*: *рукавицы* [2/1 – 22, 23; 2/3 – 4, 5, 6], *нагавицы* [2/3 – 7, 8, 9, 11], *жи^нници* [2/17 – 1], и т. д., которые, скорее всего, говорят о том же. При этом имеющиеся орфограммы с *цы* (*не^нру^нке цы^нгину* [2/44 – 11, 12], *ивану дои^нцыну* [2/42 – 5], *рукавицы* [2/1 – 16], *ногавицы* [2/1 – 18] и др.) являются свидетельством следования писцами орфографической традиции центра [см. Копцов 1967: 192]. Что касается качества звука на месте общерусской аффрикаты ⟨ч⟩ в шенкурских говорах XVI–XVII вв., то из написаний *чюваева* (фамилия) [2/8 – 7], *чюдеса* [2/1 – 15], *ку^нчюю* [2/1 – 8 (2 р.)], *чя^нтые* [2/1 – 11], *ону^нчя^н* [2/1 – 19] мы можем сделать вывод о его мягкости. Единственный случай с *чы* – *месечыны* [3/8 – 23] – следует считать опiskой, так как буквы в соседних слогах написаны одинаково, т. е. писец мог написать *ы* в 3-м слоге, «предвосхитив» ту же букву в 4-м. При этом есть основания заключить, что звук, обозначаемый буквой *ч*, был свистящей аффрикатой, т. е. имело место мягкое цока-

¹ Хранятся в ГААО, фонд 829; при цитировании материала [№ описи/№ документа – № листа].

² Крица – (2) слиток, кусок металла определенного веса [СРЯ: 59].

ные. Об этом свидетельствуют примеры: *кобылу рыжу звали яи^снице^н* [2/47 – 2], *за кобылу яи^сницу* [2/47 – 4], а также написание *железа кричу* [2/23 – 47] (кричу, см. выше). В первом случае перед нами рефлекс *чн, реализованный в звуках [с'н'], что является нормальным для говоров с цоканьем [Копосов: 193] (С. П. Обнорский также писал, что «в среде цокающей *цн*, как нормальный эквивалент *чн*, в дальнейшем могло...измениться в *сн*» [Обнорский: 237]). Во втором случае мы имеем дело с гиперкорректной заменой правильной *ц* на *ч*. Подобная замена может объясняться стремлением писцов не отражать на письме одну из самых ярких диалектных черт¹. Необходимо отметить тот факт, что в северных русских текстах XVI–XVII вв. цоканье практически не отражалось, поэтому наличие примера с заменой *ц* на *ч* еще раз подтверждает ценность наших рукописей для реконструкции говора.

Цоканье сохранилось в шенкурском диалекте и в дальнейшем (см. Мансика: 100; Гецова: 141), так что само его наличие в XVI–XVII вв. (а не отражение в рукописях!) удивления не вызывает. Весьма интересным оказался другой факт: в шенкурских рукописях XVI–XVII вв. отразилось фонетическое явление, которое не является «ожидаемым» ни для описываемого говора, ни для архангельских говоров вообще. Речь идет о написании *считали* и *со^чкли* [2/41 – 14], *по книга^н...со^чкли* [2/14– 14; 2/48 – 7; 2/49 – 31; 3/5 – 4, 30; 3/12 – 13, 15; 3/13 – 6, 17, 18], *по книга^н соч^чкли* [2/14 – 11; 3/8 – 16], *соч^чкли* [3/5 – 6, 18], *за^чкли* ему [2/28 – 9], отмеченных в 9 рукописях, написанных разными авторами. С большой долей вероятности мы имеем дело с отражением реального произношения писцов, т. е. реализацией праславянских сочетаний *tl, *dl в *кл*, *гл*, что было характерно для говоров севернокривичского ареала, а также некоторых западнославянских (севернолехитских) [см. Соболевский: 233]. В псковских рукописях сочетания *кл*, *гл* на месте *tl, *dl отмечены уже с XIII в. (Зализняк 1993: 198–199), некоторое число примеров с таким рефлексом найдено в новгородских и двинских памятниках (Зализняк 1986: 121). При этом, как отмечает А. А. Зализняк, в древненовгородском койне даже в ранний период произношение [кл], [гл] на месте *tl, *dl не имело решающего преобладания над произношением [л] в той же позиции (Зализняк 1993: 199). В псковских говорах рассматриваемые рефлексy сохраняются вплоть до XX в., в шенкурских же говорах подобные рефлексy больше не отмечались. Таким образом, материал рукописей Важского Богословского монастыря позволил уточнить изоглоссу реализации *кл*, *гл* на месте *tl, *dl: в нее попадает и территория центральной и восточной части Шенкурского уезда Архангельской губернии².

¹ См. рассуждения об этом Л. Ф. Копосова. [Копосов: 193], а также свидетельство А. Грандилевского, писавшего о холмогорском диалекте начала XX в., что мужчины «изъять из полного подчинения звуку [ц]... в их распоряжении имеется звук [ч]», а также «для мужчин звук [ч] служит излюбленным показателем грамотности, начитанности, знакомства с умными и книжными людьми» [Грандилевский: 32–33].

² Это утверждение справедливо для периода с XII (начало колонизации архангельских земель новгородцами) до XVII в. включительно.

В исследованных документах XVII в. нам встретилось написание *ке^твери^к ржы* [2/80 – 12]¹. Мена букв *к/ч* нетипична для скорописи и больше в рукописи не отмечалась. Таким образом, мы можем предположить, что имеем дело с отражением фонетического явления. Очевидно, что слово *четверик* в говоре с цоканьем должно было произноситься *[ц'э^тв'е'р'ик], т. е. мы имеем дело с написанием *ке-* вместо ожидаемого *це-*, подобное написание может опосредованно указывать на отсутствие в говоре 2-го переходного смягчения заднеязычных. Известно, что «в русском языке переход начального *к > ц перед гласными переднего ряда наблюдается в пяти корнях: *цевка, цедить, целый, цена, цеп*; 3 корня из этих 5 представлены в современных северо-западных говорах с начальным к» [Глускина: 27]. Слово *четверик*, естественно, не попадает в этот список, однако произношение его с [к'] может объясняться аналогией, так что мы предполагаем, что в шенкурских говорах XVII в. слова *цеп, цевка* и прочие произносились с начальным [к'], вместо [ц]. В современных архангельских говорах отмечены слова без эффекта 2-й палатализации: *кэвка, кез, кезь, кэпы, кэлыть* [СРНГ]; А. А. Зализняк замечает, что такие слова встречаются лишь на основной территории древней Новгородской земли (Зализняк 1986: 113).

Итак, шенкурский диалект XVII в. сохраняет некоторые древние фонетические явления, а материал рукописей из Важского Богословского монастыря позволяет подтвердить тезис о происхождении архангельских говоров от новгородских и уточнить, что шенкурские земли заселялись, вероятно, выходцами из западной части новгородских земель (предположительно псковичами).

Гецова – *Гецова О. Г.* Диалектные различия русских архангельских говоров и их лингво-географическая характеристика // Вопросы русского языкознания. Вып. 7. Русские диалекты: история и современность. М., 1997.

Глускина – *Глускина С. М.* О второй палатализации заднеязычных согласных в русском языке (на материале северо-западных говоров) // Псковские говоры II. Псков, 1968

Грандильевский – *Грандильевский А.* Родина Михаила Васильевича Ломоносова. Областной крестьянский говор // Сборник ОРЯС. АН. Т. 83. № 5. 1907.

Зализняк 1986 – *Янин В. Л., Зализняк А. А.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). М., 1986.

Зализняк 1993 – *Янин В. Л., Зализняк А. А.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984–1989 гг.). М., 1993.

Зализняк 1995 – *Зализняк А. А.* Древненовгородский диалект. М., 1995.

Копосов – *Копосов Л. Ф.* Фонетика вологодских говоров XVI–XVII веков // Уч. зап. Моск. обл. пед. ин-та. Т. 204. Вып. 14. М., 1967.

Мансика – *Мансика В.* О говоре Шенкурского уезда Архангельской губернии // Известия ОРЯС. 1912. Т. 17. Кн. 2.

Обнорский – *Обнорский С. П.* Избранные работы по русскому языку. М., 1960.

Соболевский – *Соболевский А. И.* Важная особенность старого псковского говора // Русск. филол. вестник. 1909. Т. 62. № 3–4.

СРЯ – Словарь русского языка XI–XVII веков. Т. 8. М., 1981.

СРНГ – Словарь русских народных говоров. Т. 13. Л., 1991.

¹ Четверик – единица объема сыпучих тел, см. далее в той же рукописи: ...*да че^тверикъ жита* [2/80 – 12].

Ф. Р. Минлос (Москва)

Линейное положение притяжательных местоимений в славянских языках

Во всех славянских языках существуют согласуемые притяжательные местоимения первого и второго лица, а также возвратные притяжательные местоимения (*мой, твой, свой*). В качестве possessивной формы для третьего лица одни славянские языки используют формы родительного падежа личных местоимений (вроде русского *его*), а другие используют согласуемые формы (вроде рус. диалектного *евонный*), которые не являются общеславянскими. Кроме того, в болгарском и македонском в той же функции употребляются клитические формы местоимения (*ми, ти, си* и т. д.); они всегда стоят в постпозиции, и их линейное положение не может быть предметом изучения.

В некоторых случаях линейное положение согласуемых и несогласуемых местоимений различается. В древнерусских и старовеликорусских памятниках несогласуемые possessивы чаще находились в постпозиции, чем согласуемые. Это выглядит вполне естественным: они стояли там же, где и другие генитивы (генитивы – в отличие от современного языка – могли стоять в препозиции, но такое положение было всё-таки значительно менее частотным). С другой стороны, некоторые старочешские деловые тексты демонстрируют обратное распределение (так, в бумагах из архива господина Олджиха из Розенберка согласуемые местоимения находятся в препозиции примерно в половине примеров, а несогласуемые – почти в 85% примеров). Этот факт еще требует объяснения, но можно сделать следующий вывод: различие линейного порядка согласуемых и несогласуемых местоимений – отдельная нетривиальная тема, но так как они ведут себя по-разному, их анализ правильнее разделить. В настоящем докладе анализируются только **согласуемые** притяжательные местоимения.

В литературе высказывалось мнение, что положение притяжательного местоимения в какой-то степени определяется значением категории лица (т. е. что положение *мой* может отличаться от положения *твой*) или от возвратности (т. е. *свой* может отличаться от *мой* и *твой*). Возможно, некоторые корреляции такого рода существуют, однако они не очень значительны, и далее мы анализируем все согласуемые притяжательные местоимения (в том числе и новообразования вроде серб. *његов*) вместе.

Такую работу можно разделить на два направления:

- изучение количественного соотношения препозиции и постпозиции в разных славянских идиомах;
- изучение языковых параметров, с которыми коррелирует положение атрибута. Кроме выявления параметров, сюда входит их ранжирование (т. е. выяснение того, какой параметр сильнее в случае конфликта) и оценка силы параметров (сила параметра выражается в настоящем докладе как конкретное число).

Сравнительно-историческое изучение параметров, которые влияют на положение притяжательного местоимения, может привести, в частности, к ре-

конструкции некоторых из этих параметров для праславянского языка. Такая реконструкция может быть основана на согласованных показаниях славянских языков разных групп (другим возможным основанием может быть индоевропейское сравнение, но эта возможность достаточно гипотетична из-за недостатка индоевропейских данных).

Параметры, которые можно выделить для линейного порядка, будут подробнее рассмотрены в выступлении.

В настоящих тезисах, из-за недостатка места, оказывается возможным только обрисовать проблематику количественного соотношения двух порядков в славянских языках.

В живых славянских языках (кроме церковнославянского, если его можно считать живым) притяжательные местоимения обычно стоят в препозиции. В неподготовленной устной речи, о предварительном данным, притяжательные местоимения употребляются в постпозиции в 10–20% случаев. В частности, такие данные получила в результате обследования опубликованных материалов по русской разговорной речи Сара Тёрнер (профессор университета Ватерлоо в Канаде). Сходные результаты были получены мною на материале некоторых опубликованных славянских диалектных текстов: сербских диалектов окрестностей Белграда (15%), словацких текстов района Оравы (20%, но если убрать застывшее выражение *bože tvoj*, получается 12%), окрестностей города Тренчин (25%, но материал менее репрезентативный).

Косвенное свидетельство о доле постпозиции в устной форме древнерусского языка дают берестяные грамоты, в которых примерно одинаковое количество примеров с препозицией и постпозицией притяжательного местоимения.

В большинстве старославянских и церковнославянских текстов препозиция притяжательного местоимения составляла небольшую долю примеров. Количественное соотношение дух порядков в старославянских памятниках описал Радослав Вечерка. Наиболее «постпозитивными» являются переводы Нового Завета и Псалмов (базовые церковные тексты), в других памятниках была возможна значительно большая доля отклонений. Такой порядок в основном продиктован линейным порядком в греческих оригиналах (на самом деле, старославянские переводчики генерализовали греческую постпозицию, и редкие случаи препозиции в греческом часто передавали постпозицией).

Максимальный контраст с евангельскими текстами составляют светские деловые тексты православных стран: в них согласуемые притяжательные местоимения обычно находятся в препозиции. Так, в древнерусских юридических текстах (в Русской правде и в смоленских торговых договорах) препозиция составляет примерно 80%. Препозицию, достаточно последовательно представленную в подобных текстах, можно считать реализацией нейтрального порядка. Тогда более широкое использование постпозиции в берестяных грамотах – свидетельство более свободного использования инверсии в соответствующем регистре.

Многие светские славянские тексты католических стран (а также Великого княжества Литовского, которое нельзя однозначно отнести к католическим стра-

нам) демонстрируют превалирование постпозиции притяжательного местоимения. По всей видимости, это обусловлено влиянием латинского синтаксиса. Показательно, что средневековые хорватские грамоты отличаются большей долей постпозиции от сербских грамот.

Таким образом, изучение соотношения двух линейных порядков в разных славянских идиомах позволяет, в частности, изучить вопрос о проницаемости линейного порядка для иноязычного влияния. Для славянских языков естественна достаточно высокая доля препозиции атрибутов (в том числе и притяжательных местоимений). Поэтому иноязычное влияние можно обнаружить в тех идиомах, в которых распространяется постпозиция. На материале притяжательных местоимений особенно легко продемонстрировать, что греческий (через посредство старославянского) и латынь обусловили преимущественное использование постпозиции в определенных регистрах славянской письменности, соответственно, православных и католических стран. Вероятно, обычное положение атрибута легко усваивается при языковых контактах. Так, для болгарских диалектов на территории Румынии характерна постпозиция атрибутов, как в румынском и других романских языках, в то время как в большинстве собственно болгарских диалектов атрибуты обычно стоят в препозиции.

Кроме того, практический интерес представляет тот факт, что соотношение двух порядков может быть различительным признаком фрагментов текста – например, крайне редкое использование препозиции отличает галицкую часть Галицко-Волынской летописи от волынской части.

Йоханнес Райнхарт (Вена)

Севернославянские местоименные формы *tobě, sobě* и предыстория славянских личных местоимений

В восточно- и западнославянских языках формы дательного и местного падежей личного местоимения второго лица единственного числа и возвратного местоимения отличаются от соответствующих форм южнославянских языков. Восточно- и западнославянские местоимения имеют форму *tobě, sobě*, южнославянские – *tebě, sebě*. Формы *tobě, sobě* надежно засвидетельствованы в восточно- и западнославянских (= севернославянских) языках: др.-рус. *тобѣ, собѣ*, укр. *тобі, собі*, белор. *табе, сабе*, (др.-)пол. *tobie, sobie*, (др.-)чеш. *tobě, sobě*. Современный русский, словацкий язык, серболужицкие и вымерший полабский язык по аналогии с формами родительного и винительного падежей развили новые формы: рус. *тебе, себе*, слц. *tebe, sebe*, в.-луж. *tebi, sebi*, н.-луж. *tebjе, sebjе*, полаб. *tibě, sěbel/sibě*.

Существует целый ряд предположений о происхождении севернославянских местоименных форм. Маловероятными представляются фонетические объяснения. Вацлав Вондрак считал, что в результате ассимиляции *e-o > o-o* формы

творительного падежа **tebojǫ*, **sebojǫ* преобразовались в **tobojo*, **sobajo*; последние, в свою очередь, повлияли на формы дательного и местного падежей.

В объяснении, впервые выдвинутом чешским лингвистом Зубатым, исходной формой является родительный падеж **teve*, который перешел в **tove*. В таком случае необходимо расширить контекст действия звукового закона **eǫV > oǫV* на гласные переднего ряда, для чего, по всей видимости, нет оснований.

Морфологические теории возникновения рассматриваемых форм довольно сложны и требуют многочисленных промежуточных шагов.

Чешский славист Ольджих Гуйер предполагает существование предпраславянских притяжательных местоимений **soǫo-*, **toǫo-*. Сомнительно, однако, что такие формы, аналогичные формам в балтийских языках, когда-либо существовали в славянском.

Немецкий индоевропеист Гернот Шмидт в своей книге (1978) предположил следующее развитие: балто-слав. *tojǫ(n)* (срв. др.-прус. *māim < *mojǫ*) >> *tob^hojǫn* (-o- восходит к реконструированному местному падежу **toǫoi*, который якобы развился в др.-инд. *t(i)vé* [-u-, согласно этой гипотезе, заимствовано из форм двойственного числа *uváyoḥ* или **uvóḥ*]; славянское -b^h-, разумеется, опять из дательного падежа). В этой гипотезе, следовательно, предлагается следующее развитие: дат. пад. *tub^hio* – твор. пад. *tojǫ* – местн. пад. *toǫoi > tub^hio – tojǫ – tob^hoi > tob^hoi – tob^hojǫ(n) – tob^hoi > tobě – tobojo – tobě*.

В настоящем докладе мы попытаемся выяснить следующие вопросы:

- (1) Как звучала и.-е. форма дательного падежа – *tub^hio* или *tub^hio?*
- (2) Как звучала поздне-и.-е. форма творительного падежа, легшая в основу праславянских форм?
- (3) Откуда славянский гласный -o- первого слога – из творительного или из местного падежа?
- (4) Может ли окончание -ojǫ творительного падежа единственного числа личных местоимений быть заимствовано из женских основ на -a (теория Вондрака)?

Ответы на эти вопросы позволят представить более убедительную картину предыстории славянских личных местоимений.

Л. В. Табаченко (Ростов-на-Дону)

Приставочные позиционные глаголы в старославянском и русском языках: проблема происхождения

В праславянском языке пространственные приставки могли сочетаться со стательными основами, поскольку не имели еще значений предельности и результативности [1]. Развитие у префиксов этих значений привело к несовместимости семантики стательности и пространственной предельности и исчез-

новению соответствующих словообразовательных типов, остатки которых зафиксированы памятниками письменности славянских языков, в частности старославянского и русского. Это относится прежде всего к приставочным позиционным глаголам (положения в пространстве относительно поверхности – *стоять, сидеть, лежать*), составляющих ядро стальных глаголов, обозначающих «действия», не имеющие внутренней направленности на предел.

В старославянском языке зафиксированы следующие позиционные стальные глаголы с пространственными приставками: **възлежати** ‘лежать’, ‘возлежать (за трапезой)’, греч. ἀνωκεῖσθαι ‘лежать наверху’, ‘возлежать за столом’; **достояти** безл. ‘следует, полагается, надлежит’ (**достоѣше; достоятъ**), греч. προσήκει ‘простирается, доходить до чего-л.’, ‘приличествовать, подобать; безл. прилично, следует’, ἔξεστιν ‘позволено, возможно’, δεῖ, χρῆ ‘нужно, должно, следует, необходимо’, ἄξιον ‘достойно’; **застояти** ‘докучать’ (связано с пространственным значением: постоянными приходами, неотступным присутствием, «стоянием» создавать преграду, не давать уйти, таким образом докучать), греч. ὀπλιάζειν ‘мучить’; **належати** ‘лежать, находиться на чем-л.’, ‘отягощать, обременять’, греч. ἐλικεῖσθαι ‘лежать, находиться на чем-л.’; **настояти** ‘начинаться, наступать’, греч. παρίστασθαι ‘ставить, стоять возле’, ‘предстоять, наступать, быть близким, наставить’; **надълежати** ‘лежать на чем-л., поверх чего-л.’, ‘наступать, нависать’, греч. ἐλικεῖσθαι ‘лежать, находиться на чем-л.’; **облежати** ‘лежать, находиться вокруг чего-л., окружать’, греч. ἐλικεῖσθαι ‘лежать, находиться на чем-л.’, περικεῖσθαι ‘лежать вокруг’, κυκλώω ‘окружать’; **остояти (объстояти)** ‘осаждать’, греч. περιστασθαι ‘становиться, стоять вокруг, окружать’; **отгъстояти** ‘отстоять, находиться на расстоянии’, греч. ἀφιστασθαι ‘отстоять, стоять отдельно, вдали’, ἀπέχειν ‘отстоять, быть на расстоянии’; **присѣдѣти** ‘сидеть рядом с кем-, чем-л.’, греч. παρακαθῆσθαι ‘сидеть, находиться рядом с чем-л., с кем-л.’, προσεδρεύειν ‘сидеть при чем-, ком-л., ревностно заниматься чем-л.’, προσμένειν ‘оставаться при ком-, чем-л.’; **прилежати** ‘находиться около кого-, чего-л., прилегать’, ‘отдаваться, предаваться чему-л.’, ‘заботиться о ком-, о чем-л.’, ‘настаивать’, греч. ἐλικεῖσθαι ‘лежать, находиться на чем-л.’, ἐπιμελεῖσθαι ‘заботиться, иметь попечение о ком-, о чем-л.’, ‘усердно заниматься чем-л., упражняться в чем-л.’ (ср. μελέτη ‘забота, упражнение’); **прѣдълежати** ‘находиться пред кем-, чем-л.’, ‘быть предназначенным, предопределенным’, греч. προκεῖσθαι ‘лежать впереди; быть приготовленным, определенным, назначенным, существовать’; **прѣдъстояти (прѣстояти)** ‘стоять перед кем-л., чем-л., присутствовать’, греч. παρίστασθαι ‘стоять рядом, возле кого-, чего-л.’; **растояти** ‘отстоять’, ‘находиться между кем-, чем-л., разделять’, греч. ἀφιστασθαι ‘отстоять, стоять отдельно, вдали’, ἀπέχειν ‘отстоять, быть на расстоянии’; **състояти сѧ** ‘существовать, держаться’, ‘сосуществовать, составляться’, греч. συνιστασθαι ‘ставить, становиться, стоять вместе, соединять, сближать, составлять’, **сьлежати** ‘лежать, покоиться’, греч. κατακεῖσθαι ‘лежать (внизу, на земле, вообще на чем-л.)’;

у̀стоати ‘царствовать, господствовать над кем-л., чем-л., управлять кем-л., чем-л.’, ‘превозмогать, пересиливать’, греч. κυριε̑υειν ‘быть господином, владеть’, κατακυριε̑υειν ‘господствовать, повелевать’ [2].

В истории русского языка, кроме вышеприведенных, зафиксирован еще ряд приставочных позиционных глаголов в пространственных и (или) переносных значениях, развившихся на базе пространственных: *влежа́ти* ‘иметься, быть в наличии’, ‘служить основанием, причиной’, ‘принадлежать чему-л.; относиться к чему-л.’, греч. ε̑υκε̑τσιοι ‘лежать, находиться в чем-л.’; ι̑λο̑κε̑τσιοι ‘лежать или находиться под чем-л.’; *всѣдѣти* ‘оставаться в доме умершего мужа (о вдове)’; *восседать* (в качестве стательного) ‘торжественно, важно сидеть на почетном месте’; *достояти* ‘возвышаться до какого-л. предела, касаясь чего-л.; доставать до чего-л.’; *застояти* ‘заслонять, скрывать’, ‘задержать, не пропустить’, ‘простоять, пролежать где-л. дольше, чем нужно, застояться, задержаться’, ‘остаться без употребления’; *засидеть* ‘просидеть где-л. дольше, чем нужно, задержаться в гостях’, ‘надоесть, утомить’; *залежать* ‘содержаться, иметься, заключаться’, ‘лежать, находиться в укрытии, засаде’; *насѣдѣти* ‘сидеть на яйцах (о птицах)’; *надсѣдѣти* ‘сидеть сверху’; *надстояти* ‘располагаться вверху, над кем-, чем-л.’, ‘руководить, начальствовать, распоряжаться’; *обсѣдѣти* ‘сидеть, располагаться вокруг’, ‘обитать, населять’, ‘осаждать’; *подстояти* ‘находиться, стоять внизу’; *подсѣдѣти* ‘притаиться’; *подлежати* ‘лежать, находиться внизу’, ‘подчиняться, быть подвластным кому-л.’, ‘принадлежать’, ‘подлежать, подвергаться’, ‘надлежать’; *простояти* ‘стоять, находиться рядом’; *прѣдсѣдѣти* ‘сидеть перед кем-л.’; *разлежати* ‘лежать, находиться’; *усѣдѣти* ‘наседать, ложиться’. Большинство позиционных глаголов с пространственными приставками, кроме глаголов с приставкой *за-*, употреблялось преимущественно в памятниках книжно-славянской письменности, часто переводных, и, как в старославянском, в качестве не только семантических эквивалентов, но и калек соответствующих греческих глаголов. При калькировании могла усваиваться вся семантическая структура греческого глагола, напр., переносные значения глагола *подлежать* (ср. греч. ι̑λο̑κε̑σθαι ‘лежать внизу’, ‘лежать в основании, служить основанием’, ‘подчиняться’, ‘подлежать чему-л.’).

Остается открытым вопрос о том, являются ли приставочные позиционные глаголы с пространственными приставками в памятниках письменности старославянского и русского языка XI–XVII вв. остатками исконных словообразовательных типов или их книжно-славянской «реанимацией».

По мнению Ю. С. Маслова, М. В. Нефедьева, это праславянское наследство, реликты древних моделей. Однако не все ученые разделяют гипотезу их исконного происхождения, настаивая на старославянском (церковнославянском) происхождении (калькировании греческих и латинских образцов) таких глаголов, как *отстоять*, *обстоять*, *состоять*, *предстоять*, *надлежать*, *принадлежать*, *подлежать*, что, по мнению В. В. Виноградова, Н. С. Авиловой, А. А. Зализняка и А. Д. Шмелева, является основной причиной их видовой дефектности.

На наш взгляд, в целом модель, предусматривающая пространственное маркирование префиксами основ стальных глаголов, является праславянской, унаследованной из индоевропейского языкового состояния, однако уже к началу письменного периода она была утрачена из-за несовместимости развившейся предельности пространственных приставок со стальностью основ позиционных глаголов.

Омонимичные пространственным приставочные позиционные глаголы во временных и результативных значениях (напр., *отстоять* ‘защитить от нападения неприятеля, не дать врагу захватить’; ‘простоять до конца’, ‘утомить долгим стоянием’, ‘дать отстояться’ и др. глаголы) появились уже на русской почве.

1. Маслов Ю. С. Роль так называемой перфективации и имперфективации в процессе возникновения славянского глагольного вида. М., 1958; Нефедьев М. В. О проявлении значения предельности у глагольных приставок // Русистика сегодня. 1996. № 2. С. 55–65.
2. Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. 2-е изд. М., 1999.

Alenka Šivic-Dular (Lubiana)

On Consonant Palatalization in South Slavic Languages

The paper provides a systematic presentation of the theoretical points of departure, methodological procedures and ensuing findings about the phenomenological, areal and chronological aspects of the (positional) palatalization of the consonants preceding front vowels in South Slavic Languages. The systemic (phonologized) correlation in palatal consonants is limited areally (to one part of contemporary Slavic languages: Russian, Belarusian, Polish, Upper Sorbian and Lower Sorbian; to individual Slavic speeches: Eastern Bulgarian, Eastern Slovakian); to a particular number of palatalization pairs (e.g., in Ukrainian, Czech, Slovak), or is not explicitly exhibited (e.g., in Slovene, Croatian/Serbian). The initial axis for palatal correlation is represented by consonants that were palatalized by the right standing front vowels of the type E (i.e., K+E). This phenomenon is traditionally linked with a tendency towards syllabic synharmony and is explained either as an inherited general Slavic phenomenon (i.e., Early Common Slavic, Common Slavic from the time prior to the Slavic migration) or as an inherited non-general Slavic phenomenon (i.e., Common Slavic from the time after the migration) that either strengthened and phonologized or weakened and depalatalized in the time directly prior to the historical period of Slavic languages.

The core of the discussion is made up of a sketch of the areal distribution and typological classification of palatalized consonants and consonant clusters whose palatalization has not been influenced by *j/i* of any origin and which can be found in dialectological literature, literature on the history of language, and dictionaries of South Slavic Languages; both of these are thought to have facilitated delineation between the prehistoric and historic positional palatalization.

Н. Е. Ананьева (Москва)

**Фрагмент диалектной морфонологии
польского говора дер. Вершина под Иркутском**

С. Б. Бернштейн начинал свою научную деятельность как исследователь польских говоров на Волыни. Первая его научная публикация также посвящена польскому диалектному явлению – мазурению (Бернштейн 1941). С другой стороны, в 70-е гг. его интересовали проблемы морфонологии: он пишет ряд статей о чередованиях, значительное место альтернации занимают во втором томе его «Очерка сравнительной грамматики славянских языков. Чередования. Именные основы» (1974).

Поэтому вполне оправданным представляется предлагаемый в докладе анализ морфонологических явлений, зафиксированных в глагольной парадигматике польского говора сибирской дер. Вершина. Носители этого говора – потомки переселившихся сюда 100 лет назад жителей Домбровского бассейна и прилегающего к нему малопольского региона. В говоре сохраняются яркие особенности малопольско-силезского происхождения. О южном и юго-западном генезисе диалекта свидетельствует и морфонологическая структура презентных глагольных форм, функционирующих в речи вершинян. Ее отличия от общепольского (литературного) стандарта заключаются:

- 1) в отсутствии ряда консонантных и вокалических чередований;
- 2) в ином распределении альтернантов по членам презентной парадигмы.

Примеры 1-го:

а) Отсутствие чередований в настоящем времени глаголов типа *brać*, *prac*. В презентной парадигме этих глаголов представлен корневой гласный *e* и *r*-финаль основы: *b'ere* 'biorę', *b'ereš* 'bierzesz', *b'ere* 'bierze', *b'erymy* 'bierzemy', *b'erec'e* 'bierzecie', *b'erum* 'biorą'.

б) В глаголах типа диал. *išyc'* 'trzeć', *džyc'* 'drzeć' во всех словоформах презенса обобщился не вибрانت, а шипящий: *čše* 'trę', *čšeš* 'trzesz', *čšymy* 'trzemy', *čšec'e* 'trzecie', *čšum* 'trą'.

Примеры 2-го: консонантные чередования оформляют оппозицию 1 л. ед. ч., 1 л. мн. ч., 3 л. мн. ч. ~ остальные словоформы презенса, в отличие от общепольской оппозиции 1 л. ед. ч., 3 л. мн. ч. ~ остальные формы настоящего времени: *ide* 'idę', *idymy* 'idziemy', *idum* 'idą' ~ *idz'eš* 'idziesz', *idz'e* 'idzie', *idz'ec'e* 'idzecie'; *moge* 'mogę', *mogymy* // *mogemy* 'możemy', *mogum* 'mogą' ~ *može* 'może', *možeš* 'możesz', *možec'e*; *sadze* 'sadzę', *sadzymy* // *sadzemy* 'sadzimy', *sadzum* 'sadzą' и т. д.

В докладе приводятся и другие типы глагольных презентных морфонологических структур, а также варианты образования. Все они доказывают южно-польское происхождение диалекта.

Бернштейн 1941 – *Бернштейн С. Б.* К вопросу о диалектной основе польского литературного языка // Известия Академии Наук Союза ССР. Отделение литературы и языка. 1941. № 1. С. 99–105.

Тодор Бояджиев (София)

С. Б. Бернщейн за българските диалекти

Любим обект за приложение на огромната си научна ерудиция и широки научни интереси за С. Б. Бернщейн е била винаги диалектологията изобщо и преди всичко българската диалектология. Отбелязването на 100-годишнината от рождението му е добър повод да се осмислят и оценят идеите и концепциите в българистичните му научни приноси, заслугите му за организирането и подготовката на отряд от специалисти, способни да решават научните задачи на българската диалектология. Тя цени високо С. Б. Бернщейн, преди всичко за неговата огромна научна и организационна дейност за изучаване на българските говори в Украйна и Молдова. Усилията му в тази насока датират още от 30-те години на миналия век, когато като ръководител на катедрата по български език в Одеския педагогически институт и във Одеския университет започва работа за изучаване на българските преселнически говори в Украйна. На тези изследвания е съдено да станат първата крачка за широкото и системно изследване на българските преселнически говори.

По негова инициатива и под негово ръководство и активно участие в първите следвоенни десетилетия на миналия век се провеждат експедиции за широко и планомерно изучаване на българските говори в Бесарабия и Приазовието. Важно е да подчертаем, че името на Бернщейн е свързано с нов подход в руската славистика за диалектните проучвания. Той съставя програма, по която за пръв път в българистиката се осъществява масовото събиране на български диалектен материал. Благодарение на него имаме не само пълна характеристика на съвременното състояние на преселническите говори но и системна реконструкция на тяхното състояние в края на XVIII и началото на XIX век. Много важен като методологичен образец е съставеният под негово ръководство «Атлас българских говоров в СССР», който е първият опит за лингвогеографско картографиране в българската диалектология и нов етап в развитието на диалектологията.

Паралелно с работата по Атласа в Института за славяноведение под негова редакция започва да се издава сборника «Статьи и материалы по болгарской диалектологии», където се публикуват отчети за научните резултати от експедициите, речници и монографични описания за отделните говори и съпоставки с говорите в метрополията. Атласът безспорно е един от най-забележителните трудове, посветени на българските диалекти и много важен методологичен образец за съставянето на «Българския диалектен атлас», първият том на който е плод на творческите и плодотворни контакти между руските и българските диалектолози.

Обект на внимание за Самуил Борисович са и някои въпроси, свързани с говорите в България. На базата на данни от първия том на БДА той прави класификация на югоизточните говори (съвместно с Е. В. Чешко), като се имат предвид предимно морфологичните и акцентните им черти. Авторите отделят за пръв път източна група говори в Странджа и западнорупска група говори в източните Родопи и Хасковско. В статията «Об одной особенности глагольной флексии 1 л. ед. настоящего времени в юго-восточных говорах Болгарии» Бернщейн разглежда една характерна черта на южнобългарския диалектен ареал, за да направи съществения извод, че те «стоят в ряду с многими фонетическими, грамматическими и лексическими чертами, которые объединяют рупские говоры с западнобългарскими и македонскими».

Историята на българския език и неговата историческа диалектология е още една област, в която С. Б. Бернщейн внася своя значителен принос в нея. Откриваме го в кандидатската му дисертация за турските елементи в дамаскините от XVII–XVIII век и особено в докторската му дисертация «Разыскания в области болгарской исторической диалектологии», посветена на влахобългарските грамоти от XIV–XV век. В славянските говори във Влашко той установява характерни черти на народния език, които по признанието на всички обективни изследователи се считат за български и за първокласен източник на българската езикова история.

Широко място заемат данните от българския език и неговите диалекти и в двутомния му труд «Очерк сравнительной грамматики славянских языков», в който се разглеждат детайлно всички проблеми на славянската фонетика – от структурата на сричката до съдбата на особените съгласни и промените им в диалектите на южнославянските езици.

Научната дейност на проф. С. Б. Бернщейн в областта на българската диалектология го определя като един от най-изтъкнатите и авторитетни представители на славистиката в Русия. Почти цялата му творческа научно-организаторска дейност е била насочена към проблемите на българския език и неговото териториално вариране.

И. А. Букринская, О. Е. Кармакова (Москва)

Лексическая карта: структура и интерпретация (на материале ДАРЯ)

Конец XX века характеризуется выходом в свет большого числа лингвогеографических трудов: к ним относятся региональные и национальные атласы, атласы родственных и неродственных языков, существующих на едином географическом пространстве. Проблематика, связанная с интерпретацией лингвистических карт, была и остается актуальной в современном языкознании. Славянская диалектология и лингвогеография всегда были в центре интересов

Самуила Борисовича Бернштейна, который принимал участие в создании и изучении различных атласов и придавал им огромное значение, так как лингвогеографическая информация дает возможности для исторического, этимологического, семантического, структурного анализа.

Основная цель национального атласа – выявление максимального числа ареально значимых диалектных различий и их системное толкование. Общеизвестно, что системный подход при картографировании прежде всего и подробнее всего был разработан на фонетическом и морфологическом уровнях. Сложнее дело обстояло с лексико-семантическим уровнем, потому что важнейший для лексикологии вопрос о тождестве и отдельности слова приходилось решать на огромном диалектном материале, отражающем фонетическую, акцентологическую, словообразовательную, морфологическую и этнографическую вариативность. Установление типологии различительных признаков помогает при любой вариативности найти релевантные диалектные противопоставления и определить их взаимосвязь или взаимообусловленность. Именно подобный подход позволил сделать карты лексического выпуска Диалектологического атласа русского языка (ДАРЯ) многослойными, дающими возможность интерпретировать их в различных аспектах.

На лексических картах ДАРЯ, кроме семантических и этнографических различий, учтены мотивационные и словообразовательные особенности. Так построены карты, посвященные терминологической лексике. В них были отражены как противопоставления корневым морфем, так и способ мотивации: отглагольные и отыменные наименования.

Отглагольные номинации, как правило, отражают конкретные действия, совершаемые с помощью предмета, и носят закрепленный характер: *бич, било* (от *бить*), *молотило, молотилка* (от *молотить*), *тепец* (от *тепти* ‘бить’) ‘бьющая часть цепа’; *пральник* (от *прать* ‘бить’), *валек* (от *валать*), *колоталка* (от *колотить*) ‘орудие для выколачивания белья при стирке’; *гнет* – (от гл. **gnesti*) *гнеток, пригнет, пригнетка*; *жим, жимок, прижим, прижимка* (от *жать, прижимать*); *тяга, притяг, потяг; притиск, притисок; привяз, привязень* – ‘жердь, скрепляющая укладку снопов на возу’. Названия с предметной мотивацией нетерминологичны, одни и те же лексемы служат для именованья целого ряда реалий, сделанных из дерева: *палка, палица, дубинка* – ‘бьющая часть цепа’, ‘орудие для выколачивания белья при стирке’, ‘жердь, скрепляющая снопы или сено на возу’.

Лексические карты позволяют выявить территории, противопоставленные по преобладанию того или иного типа мотивации в зависимости от характера самой реалии и представления о ней в сознании диалектоносителя. Так, карта, посвященная номинациям бьющей части цепа, показывает преобладание глагольной мотивации, а предметная отмечена лишь в части говоров северного наречия. Напротив, при анализе названий ручки цепа видно, что преобладают наименования с предметной мотивацией: *матка, кадка, палка, дубинка, ручка*

и под. При этом отчетливо выделяются южнорусские говоры (курские, орловские, калужские, рязанские, воронежские), в которых наименования ручки цепа мотивированы глаголом *держать*: *держалень, держак, держальник, держалка, держальня*. В том же ареале южнорусских говоров в названиях ручки сковороды также представлена глагольная мотивация (от глагола *цапать/цеплять*): *цапля, цапля, чапельник, цапельник*. В остальных же говорах распространено название *сковородник*, образованное от названия самого предмета.

В докладе также предполагается рассмотреть интерпретацию семантических различий на примере карт, посвященных названиям участков земли (*нива, ляда, кулига*).

Таким образом, любая карта, в данном случае лексическая, представляя собой высшую ступень лингвогеографического обобщения диалектных данных, строится на принципах взаимодействия внутренней и внешней структуры языка и предполагает всегда, как минимум, двухмерное, но чаще многомерное описание.

Бернштейн С. Б. Из проблематики диалектологии и лингвогеографии. М., 2000.

Диалектологический атлас русского языка. Вып. III. Лексика. Синтаксис. Комментарии к картам. М., 1996; карты, ч. 1. Минск, 1997; карты, ч. 2. М., 2004.

Т. И. Вендина (Москва)

С. Б. Бернштейн и Общеславянский лингвистический атлас

Идея создания Общеславянского лингвистического Атласа возникла в начале XX в., когда пришло осознание ограниченности знаний, касающихся пространственной проекции многих праславянских явлений и стало очевидно, что эмпирические наблюдения над историей отдельных славянских языков имеют атомарный характер и требуют своей систематизации и интерпретации в пространственно-временном аспекте. Именно поэтому на I Международном съезде славистов в 1929 г. в Праге крупнейший компаративист XX в. А. Мейе выступил с докладом «*Projet d'un Atlas Linguistique Slave*», в котором говорил о необходимости создания атласа с целью изучения славянских языков методами лингвогеографии. В этом докладе С. Б. Бернштейн особо выделил один чрезвычайно важный, с его точки зрения, пункт. «Французские ученые предлагали рассматривать славянский диалектный континуум в аспекте **единого языка**. Таким образом, в докладе речь шла не о славянских языках, ... а о едином славянском языковом атласе» (Бернштейн 1990: 6).

Однако в тот период «еще недостаточно ясно осознавалось различие между лингвогеографическим изучением каждого славянского языка, с одной стороны, и Общеславянским лингвистическим атласом как работой нового типа, охватывающим целую семью родственных языков, – с другой. Кроме того, общая политическая обстановка 30-х годов в Европе не благоприятствовала проведению столь обширного международного начинания, поэтому оно не получило своего

развития» (Аванесов 1978: 5). И только лишь спустя десять лет после окончания Второй мировой войны этот проект вновь стал предметом обсуждения. В 1958 г. на IV Международном съезде славистов, проходившем в Москве, с докладами о создании Общеславянского лингвистического атласа выступили З. Штибер «O projekcie Ogólnosłowiańskiego atlasu dialektologicznego» и Р. И. Аванесов и С. Б. Бернштейн «Лингвистическая география и структура языка».

Однако уже при написании этого доклада между Р. И. Аванесовым и С. Б. Бернштейном возникли разногласия. «Один докладчик главную задачу видел в том, чтобы с помощью будущего атласа выяснить вопрос об отношении лингвистической географии к проблемам структуры языка. Основное внимание другого докладчика было направлено на конкретные проблемы сравнительной грамматики славянских языков» (Бернштейн 1990: 10).

Признав создание Атласа одной из важнейших задач славянского языкознания, съезд принял решение развернуть работу над Общеславянским лингвистическим атласом и рассмотрел организационные формы осуществления этого проекта.

Началась разработка Вопросника Атласа, его Программы. Работа эта велась в острой дискуссионной форме. Предметом дискуссий был вопрос о задачах Атласа, принципах составления Вопросника, о количестве охватываемым им населенных пунктов, о транскрипции ОЛА и др.

Разногласия участников международной комиссии Общеславянского лингвистического атласа выявились особенно четко после доклада С. Б. Бернштейна на первом заседании этой комиссии в 1959 г. в Варшаве.

При создании Атласа С. Б. Бернштейн предлагал исключить национальную атрибуцию диалектных фактов, поскольку славянский диалектный континуум должен быть представлен в аспекте **единого языка**, т. е. славянское должно быть противопоставлено неславянскому.

Основное внимание, по его мнению, должно быть уделено не диахроническому, а синхронно-функциональному аспекту, так как именно в этом проявляется главное отличие ОЛА от национальных атласов, в которых проблемы типологии не затрагивались.

Число населенных пунктов должно быть сравнительно небольшим – не более 350 пунктов.

Доклад С. Б. Бернштейна вызвал острую дискуссию. После этого доклада (особенно положений о национальной атрибуции лингвистических фактов) инициативная группа раскололась на два лагеря. Как пишет С. Б. Бернштейн, «проф. В. Дорошевский решительно и темпераментно выступил против всех положений моего доклада. «Если будут приняты положения доклада проф. Бернштейна, – сказал он, – я и члены моего коллектива не будем принимать участия в работе над ОЛА».

Следует отметить, что вопрос о национальной атрибуции языковых фактов остается болезненным до сих пор, и в истории ОЛА был период, когда вопрос

о национальной атрибуции диалектного материала, собранного в славянских диалектах на территории Греции и Турции, и соответственно самих этих пунктов, стал причиной международного конфликта, приведшего к выходу болгарской национальной комиссии из этого международного проекта (в настоящее время после 25-летнего периода отсутствия болгарская национальная комиссия вновь возвратилась в Атлас). Между тем, как представляется, этот вопрос является важным, особенно при изучении материала, собранного в переселенческих говорах на территории Венгрии, Румынии, Австрии, в которых вследствие сопротивления инодиалектному влиянию до сих пор сохраняются элементы архаики.

Другой, не менее болезненный вопрос – это вопрос о задачах атласа. С самого начала основания проекта С. Б. Бернштейн настаивал на синхронно-типологической или синхронно-функциональной ориентации Атласа. Однако именно этот синхронно-функциональный аспект, по его мнению, не учитывался при разработке Программы и соответственно Вопросника Атласа.

Между тем в процессе работы над Атласом этот синхронно-функциональный подход оказался все-таки реализованным. В обеих сериях Атласа – и в фонетико-грамматической и в лексико-словообразовательной – представлены структурно-типологические обобщающие карты.

Синтезируя и упорядочивая материал целого тома, обобщающие карты фонетико-грамматической серии Атласа являются по своей сути интерпретационными, поскольку на них репрезентируются результаты сопоставления современных континуантов с более ранними, причем факты, не являющиеся продолжением развития собственно праславянских единиц, авторами элиминируются. При этом на картах получают отражение не только рефлексы картографируемых праславянских гласных, но и их позиционное поведение (отношение к ударению, вокальному количеству, консонантному окружению и др.). Материалы фонетико-грамматической серии Атласа являются ярким свидетельством того, что ОЛА дает возможность не только для сравнительно-исторического, но и для типологического изучения современных славянских диалектов, выявления типологических особенностей их исторического развития.

Функциональный подход к интерпретации славянского диалектного материала лежит в основе и другой серии карт – грамматической, которая призвана показать дифференциацию славянских языков с точки зрения эволюции соотношения формы и функции праславянских морфосинтаксических конструкций, заданных в Вопроснике.

Не менее значимой является структурно-типологическая информация и лексико-словообразовательной серии Атласа. Сводные карты этой серии представляют в обобщенном виде различия либо в способах номинации, либо в словообразовательных средствах славянских языков, либо в мотивационных моделях и признаках. Расширение практики мотивационной картографии в ОЛА позволит отвлечься от формальных различий между языками и сосредото-

читься на выявлении **типологии мотивационных признаков** с целью разработки «мотивационного метаязыка», общего для всех славянских языков.

Синхронно-типологический аспект Атласа проявляется и в том, что его материалы дают исследователю возможность «реально представить» общую картину **механизма эволюции славянских языков**, которая оказывается разной на фонетическом и лексическом уровнях: если на фонетических картах довольно часто наблюдается четкое диалектное размежевание, своеобразные «разломы» на диалектном ландшафте terra Slavia, то на лексических картах таких резких обрывов изоглосс не прослеживается, так как здесь действует кумулятивный принцип развития лексического состава каждого языка, когда новое не устраняет старое, а прекрасно «сосуществует» с ним, усложняя эту систему во времени и в пространстве. Именно поэтому Атлас дает исследователю реальную возможность увидеть «в действии» принцип отражения диахронии в синхронии.

Синхронно-типологическая ориентация Атласа просматривается и в том, что его материалы дают возможность обратиться к **изучению типологии ареалов**, их величины, конфигурации, иерархии и задуматься над закономерностями, действующими в лингвистическом пространстве.

Таким образом, материалы Атласа являются ярким свидетельством того, что ОЛА дает возможность не только для сравнительно-исторического, но и для типологического изучения современных славянских диалектов, выявления типологических особенностей их исторического развития. В этом смысле Атлас полностью отвечает требованиям, предъявляемым структурно-типологическим подходом к интерпретации материала, о котором говорил С. Б. Бернштейн.

- Аванесов 1978 – *Аванесов Р.И.* Общеславянский лингвистический атлас (1958–1978). Итоги и перспективы // VIII Международный съезд славистов. Славянское языкознание. Доклады советской делегации. М., 1978.
- Бернштейн 1990 – *Бернштейн С.Б.* Общеславянский лингвистический атлас. Критические заметки // ВЯ. 1990. № 6.

Е. А. Галинская (Москва)

Диалектологический атлас русского языка как источник сведений об истории форм местоимения 3-го лица женского рода

Среди многообразных научных интересов Самуила Борисовича Бернштейна значительное место занимала лингвистическая география. Имея большую самостоятельную ценность, она является также одним из основных источников для истории языка. Это относится и к русской лингвогеографии, которая проясняет целый ряд вопросов исторической русистики.

Второй том Диалектологического атласа русского языка (далее – ДАРЯ) содержит разнообразные и ценные сведения о морфологическом строе русских

говоров. Обширный материал собран, в частности, по вариативности форм неличных местоимений (к которым с точки зрения истории языка относятся и местоимения, указывающие на 3-е лицо, – *он, она, оно*, принадлежащие ныне к разряду личных).

В исторической грамматике русского языка остается не до конца выясненным вопрос об образовании единой формы Р.-В. пп. местоимения 3-го лица женского рода *еѣ* (*неѣ*), представленной в литературном языке и целом ряде говоров: центральных, части южных и большинстве юго-восточных и северо-восточных.

Во-первых, здесь не отпал конечный гласный, рано ставший безударным в результате дефинализации ударения (о правиле отпадения конечных безударных гласных, если они не составляли отдельного морфа и не были защищены скоплением предшествующих согласных, см. Зализняк 2002; о дефинализации ударения см. Зализняк 1985: 143). Во-вторых, незакономерен гласный [’о] на месте древнего *ѣ* (исконными были формы: *еѣ, неѣ*), и его появление объясняется разными учеными по-разному. Так, А. А. Шахматов предположил, что конечный *ѣ* (*ѣ_з* или бывший носовой *ѣ*) после [i] рано изменился в русском языке в [e], откуда мог появиться [o] (Шахматов 1915: 113–114). Г. А. Хабургаев связал появление формы *еѣ* в значении Р. и В. пп. с категорией одушевленности, причем необъяснимое фонетически, по его мнению, финальное [o], появилось, с его точки зрения, именно в В. п. (имеется в виду новая форма В. п. *еѣ*, пришедшая из Р. п.), когда соответствующие местоимения выступали в субстантивной функции, в результате аналогического воздействия форм мужского рода *кого, его, того* (Хабургаев 1990: 244–247). Таким образом, имеющаяся в современном русском литературном языке и ряде говоров центра подсистема Р.-В. пп. с формой *еѣ* (*неѣ*) возникла из более ранней подсистемы Р. п. *еѣ* (*неѣ*) – В. п. *ю* (*ню*), несомненно, непростым и нетривиальным путем, объяснить который достаточно сложно.

Следует, впрочем, сказать, что старая подсистема Р.-В. пп. кое-где дожила до новейшего времени: в трех населенных пунктах в западной части Ладого-Тихвинской группы говоров по крайней мере в середине 50-х годов XX в., когда там производилось диалектологическое обследование для ДАРЯ, сохранялась древнерусская ситуация, правда, с закономерной для Р. п. инновацией: в В. п. употреблялась исконная форма *ю*, а в Р. п. – формы *у ей, у ней*, возникшие в старорусский период в результате дефинализации ударения и отпадения конечного безударного гласного (ДАРЯ II, карты 65 и 67).

Рассмотрение карт ДАРЯ позволяет заключить, что пути видоизменения исходной подсистемы Р. п. *еѣ* (*неѣ*) – В. п. *ю* (*ню*) в истории русских диалектов бывали и другими, чем образование единой формы Р.-В. пп. *еѣ* (*неѣ*), причем в некоторых случаях иной вариант развития подсистемы охватывает значительную диалектную территорию.

Можно выделить несколько типологических разновидностей развития подсистемы Р.-В. пп. местоимения женского рода.

1. В целом ряде говоров совпадение В. п. с Р. п. произошло, как и у других местоимений 3-го лица, и при этом осуществилось закономерное отпадение конечного безударного гласного. Сопоставление карт ДАРЯ (ДАРЯ II, карты 65 и 67) показывает, что есть обширная непрерывная территория в зоне новгородских, ладого-тихвинских, онежских и лачских говоров, где в Р. п. фиксируются формы типа *у ей*, *у ней*, а в В.п. – формы *ей*, в *ей*. Ареал этого явления на западе заходит и на север Гдовской группы, а на востоке – в крайнюю западную оконечность Вологодской группы. Подобная картина наблюдается еще в одном ареале – на севере Селигеро-Торжковской группы – и в отдельных разрозненных населенных пунктах на территории распространения южновеликорусского наречия.

2. Есть диалекты, где исходно форма В. п. заместилась формой Р. п.: Р. п. *еѣ* – В. п. *еѣ*. Далее в В. п. образовалось ударное окончание *-о* (*јеѣо*), но родительный падеж это уже не затронуло. В результате в целом ряде говоров южнорусского наречия, расположенных на территории Тульской группы, межзональных говоров типа А и Курско-Орловской группы (северной ее части), а также в отделе А восточных среднерусских акающих говоров соотношение интересующих нас форм таково: В. п. *еѣ*, в *еѣ* – Р.п. *у ей*, *у ней* (ДАРЯ II, карты 65 и 67).

3. В ряде диалектов так же, как в предыдущей подсистеме, форма В. п. заместилась формой Р. п., в результате чего формы совпали: Р. п. *еѣ* – В. п. *еѣ*. Однако ударного окончания *-о* в В. п. не получилось. При этом конечный гласный отпал только в Р. п. В итоге возникла следующая ситуация: В. п. *еѣ*, в *еѣ* – Р. п. *у ей*, *у ней*. Так произошло в говорах южной и центральной части Курско-Орловской группы, в оскольских говорах, в диалектах Верхнеднепровской группы, южной части Рязанской группы, северной части Смоленской группы, а также местами в диалектах, принадлежащих к межзональным говорам типа «А» южнорусского наречия. В сосуществовании с формами Р. п. *у ей*, *у ней* формы *у ей*, *у ней* при исключительно возможных формах В. п. *еѣ*, в *еѣ* отмечаются и на большой территории восточных среднерусских акающих и окающих говоров (ДАРЯ II, карты 65 и 67).

4. Имеется довольно крупный ареал, который располагается в западной части Псковской группы и несколько заходит в соседние новгородские и гдовские говоры, где в В. п. развилась инновация под влиянием формы И. п.: здесь представлены формы В. п. *оу́* (*ину́*, *яну́*, *ѣну́*), в *оу́* (в *ину́*, в *яну́*, в *ѣну́*). При этом в Р. п. в разных говорах данной территории есть различные формы: в одних говорах *у ей*, *у ней*, в других – *у еѣ*, *у неѣ*, в третьих – *у ей*, *у ней* (ДАРЯ II, карты 65 и 67).

5. В западной диалектной зоне к предыдущему ареалу примыкает и частично накладывается на него еще более крупный ареал несовпадения В. и Р. пп. Это Гдовская группа, а также южная часть Новгородской и Ладого-Тихвинской групп

с небольшим заходом в белозерско-бежецкие говоры. Для В. п. тут фиксируются формы *ёю, в ёю, ею́, в ею́*. А. А. Шахматов трактует форму *ею*, отмеченную им, в частности, в одной из двинских грамот (№ 7), как результат контаминации *еѣ* и *ю* (Шахматов 1957: 310). Возможно, здесь допустимо также усматривать влияние со стороны существительных *а-склонения. В Р. п. по разным говорам, так же как и в предыдущем ареале, фиксируются формы *у ей, у ней* и/или *у еѣ, у неѣ*, очень редко – *у ѣй, у ней*. Есть один населенный пункт к востоку от Пскова, где формы *ею, нею* отмечаются не только в В. п., но и в Р. п., то есть здесь произошло вторичное совпадение В. и Р. пп. (ДАРЯ II, карты 65 и 67).

Итак, в русских говорах по-разному сочетаются формы В. и Р. пп. местоимения 3-го лица женского рода. Существенно при этом, что диалекты, различающие в том или ином варианте В. и Р. пп., занимают достаточно большие территории. Такой ситуации нет у местоимений 3-го лица мужского и среднего рода, поэтому можно заключить, что перестройка в подсистеме Р.-В. пп. местоимения женского рода шла дольше и протекала намного сложнее, чем у местоимений мужского и среднего рода, где винительный падеж повсеместно заместился родительным.

ДАРЯ II – Диалектологический атлас русского языка (Центр европейской части СССР).

Вып. II. Морфология. М., 1989.

Зализняк 1985 – Зализняк А. А. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.

Зализняк 2002 – Зализняк А. А. Правило отпадения конечных гласных в русском языке // «Русское именное словоизменение» с приложением избранных работ по современному русскому языку и общему языкознанию. М., 2002.

Хабургаев 1990 – Хабургаев Г. А. Очерки исторической морфологии русского языка. Имена. М., 1990.

Шахматов 1915 – Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915.

Шахматов 1957 – Шахматов А. А. Историческая морфология русского языка. М., 1957.

П. Е. Гриценко (Киев)

Лингвогеография и сравнительно-историческое славянское языкознание

1. Существование лингвистической географии и сравнительно-исторического языкознания как двух отдельных направлений языкознания со своими объектами, задачами и приемами их решения не исключает их взаимодействия, что подчеркивают многие авторы. Однако немногим из них удавалось в своей научной деятельности практически соединять занятия в обеих областях – обобщать информацию о развитии славянских языков во времени и создавать лингвистические карты, наблюдая за развитием явлений в пространстве; к таким славистам принадлежали прежде всего С. Б. Бернштейн, З. Штибер, К. Дейна. Возможность взаимодополняемости (для лингвогеографии ценно рассмотрение синхронного состояния диалектного языка на фоне моделей развития явлений в диахронии, а для исторического языкознания – учет пространственного рас-

предела континуантов исходного состояния) является самоочевидной. Однако на практике корреляция информации о временных и пространственных характеристиках элементов языковой структуры редко оказывается воплощенной; более того, прибегая к сопоставительному анализу структур различных языков (к примеру, родственных славянских в сравнительных или историко-типологических исследованиях), лингвисты (по разным причинам) иногда ограничивают информацию сведениями, почерпнутыми исключительно или преимущественно из описаний литературных языков, не учитывая при этом различия, иногда весьма существенные, между литературным идиомом и диалектами. Если в недалеком прошлом – до подготовки атласов отдельных языков или групп родственных языков – такая ситуация могла быть объяснима, то в настоящее время – вряд ли приемлема. Когда за исходное состояние принимается моделируемый праславянский и с ним сопоставляются литературные идиомы (зачастую результат непрямого развития на базе соответствующих диалектов, осложненного внешними влияниями), вне внимания исследователей оказываются не только многие *типы* континуантов, но и причины, модели зависимостей, обусловивших определенное направление развития языков, диалектов.

2. В последние десятилетия возникла качественно новая ситуация в синхронном и диахронном изучении языкового феномена Славии, что явилось результатом не столько нового описания литературных языков или открытия новых памятников письменности, сколько подготовки атласов многих славянских языков, разработки концепции *Общеславянского лингвистического атласа* (ОЛА) и ее поэтапной реализации: впервые в истории славистики собран по единому вопроснику (что обеспечило высокий уровень сопоставимости) объемный новый диалектный материал, часть которого уже картографирована и интерпретирована. Сегодня многие сюжеты по славянской исторической фонетике (как рефлексация псл. *ě, *e, *o, *o, *ъ, *ь, сочетаний *ъr, *vl, *ьr, *ьl), по истории лексики ряда тематических групп могут быть рассмотрены с использованием карт и материалов ОЛА; в настоящее время продолжается подготовка других выпусков фонетической, лексико-словообразовательной, а также грамматической серий ОЛА.

3. Карты фонетических выпусков ОЛА прежде всего убедительно демонстрируют многообразие рефлексов, их несводимость к одному-двум более распространенным, что часто наблюдаем в сопоставительных (историко-сопоставительных) исследованиях по славянской фонетике, в которых не принято было объяснять *все* известные по различным источникам и отмеченные в различных фонологических позициях изменения исходной фонемы (см.: «*Oczywiście nie ma tu mowy o omówieniu wszystkich przegłosów samogłosek nie akcentowanych w językach i dialektach o silnym akcencie dynamicznym*» – Stieber Z. *Zarys gramatyki porównawczej...*, 1989, s. 60).

Такие *укрупненные* историко-сопоставительные описания (славянских) языков с вниманием к «важнейшим» явлениям, процессам, но без учета множества

других проявлений, оцениваемых как не столь существенные, структурно маргинальные, – распространенная, если не доминирующая, модель славистических исследований. Поэтому закономерен вопрос об эвристической ценности и сферах реального использования диалектного материала, привлекаемого диалектологами среди других релевантных дифференциальных признаков для характеристики языков/диалектов, однако зачастую оставляемого без внимания в синтетических исторических и сопоставительных штудиях.

4. Карта как информационно многоуровневый текст не только эксплицирует репертуар единиц, но также дает возможность определить иерархию ценности каждого представленного на карте элемента диалектного языка (преимущественно путем определения релятивной частотности фиксаций, а для лексического и словообразовательного уровней – и через мотивационные связи, наличие структурно производных образований), что способно вскрыть направления и условия динамики единиц диалектного языка. Карты отражают многие особенности, детали пространственного поведения языковых единиц (прежде всего характер реального пространства, занимаемого языковым знаком, конфигурацию ареалов и соотношение изоглосс различных картографируемых единиц, явлений), что оказываются зачастую скрытыми, нерелевантными в описательных исторических работах. Отметим, что в *укрупненном* виде ареалогическая информация присутствует в описательных работах по сравнительному славянскому языкознанию (С. Б. Бернштейн, З. Штибер и др.), однако без учета множества важных деталей.

5. Представлению диалектного материала на картах, в частности в ОЛА, предшествует его интерпретация, оценка относительно тех релевантных условий, которые повлияли (могли повлиять) на характер рефлексии исходных фонем; значительно реже удается установить причины формального или семантического развития номинативных единиц). Поэтому карта отражает не только противопоставление эксплицируемых языковых элементов, но также условий их появления и современного существования. К примеру, для рефлексов псл. фонемы */o/, оцениваемой на фоне континуантов других псл. вокалов как фонему с «более низким уровнем дифференциации диалектного ландшафта Славии», релевантным оказался ряд условий: сохранение или утрата в диалектах давних квантитативных различий; характер слога – закрытый или открытый (в украинских диалектах в закрытом слоге */o/ может измениться в [i], который зачастую палатализирует предшествующий согласный); отношение к ударению; характер следующего согласного (в польских диалектах перед исконно глухими согласными не происходит заменительное удлинение */o) и др.

Анализ фонетического блока ОЛА уже сегодня позволяет установить набор причин, обусловивших различия в развитии псл. фонем, сформировавших современные ареалы континуантов, что способно углубить историко-типологический анализ славянского языкового континуума; такая информация синтези-

рована на многих обобщающих картах, которые можно рассматривать как *картографические главы* новых историко-типологических исследований.

6. Для определения причин и направления динамики структур славянских языков особую ценность сохраняет пространственная характеристика каждого зафиксированного на карте элемента структуры, определение характера его пространственного поведения. Известно, что установление изоглосс, их типология (изоглоссирование) оказались ценной исследовательской процедурой при изучении отношений между отдельными диалектными зонами в пределах отдельного диалектного языка, группы родственных или территориально сопредельных диалектных языков, их современного или отдаленного во времени состояния.

Значимость изоглоссирования состоит в том, что: (а) устанавливается факт членения континуума на его территориально-языковые составляющие; (б) усиливается корреляция *изоглосса ~ ареал* (= микро-, макрозона, группа говоров); части континуума, отделяемые изоглоссой, обретают статус отдельного объекта изучения с последующим определением его языкового содержания; (в) проводится необходимость изучения языкового качества изоглоссы – синтопичности (или атопичности) относительно изоглосс других явлений, ее структурной ценности (иерархии явления в структуре диалектного языка, представленного изоглоссой), а также отношения к неязыковому делению континуума по различным признакам (этническим, этнографическим, историческим, административно-политическим и др.), которые могли иметь определяющее значение для формирования конфигурации изоглоссы/ареала; (г) предполагается проверка статичности/изменчивости локализации изоглоссы, наличия/отсутствия пространственного движения по сравнению с предыдущими состояниями; (д) в круг анализа вовлекаются единицы, явления и процессы, которым не уделялось надлежащего внимания в описательных исследованиях; такие внешне маргинальные явления в более широком пространственном контексте зачастую вскрывают новые важные черты исследуемых диалектов, их генетические и типологические характеристики.

Особого внимания заслуживают те случаи формального совпадения континуантов в дистантных зонах Славии, которые спровоцированы действием неодинаковых причин, иногда – и в различающихся фонологических условиях.

Таким образом, использование информационного потенциала лингвистического картографирования, в особенности карт ОЛА и опыта их составления и интерпретации, способно существенно изменить эмпирическую базу историко-сопоставительного изучения славянских языков, преодолеть неполноту, избирательность в представлении черт, процессов, интегрирующих и дифференцирующих славянский языковой континуум. С другой стороны, перечень тех нерешенных или дискуссионных вопросов генезиса структурных элементов славянских языков, которые просматриваются в дескриптивных трудах по истории и типологии славянских языков, представляет особый интерес для лингвогеографов.

Júlia Dudášová-Kriššáková (Иреуов)

**Atlas slovenského jazyka –
významné dielo slovenskej a slovanskej jazykovedy***

1. *Atlas slovenského jazyka* (ASJ) patrí k základným dielam o slovenčine. Vyšiel v štyroch zväzkoch v rokoch 1968–1984 a predstavuje zavŕšenie takmer polstoročných snáh slovenských aj českých (V. Vážný) jazykovedcov o lingvistický atlas Slovenska. Vydanie ASJ bolo významným míľnikom na náročnej, niekedy priam trnistej ceste za poznaním slovenčiny, slovenských nárečí a miesta slovenčiny v rodine slovanských jazykov. Slovenská i slovanská odborná verejnosť s napätím očakávala vydanie tohto kapitálneho diela o slovenských nárečiach. Vydanie všetkých štyroch zväzkov, v ktorých sa metódou jazykového zemepisu spracúvajú údaje zo štyroch jazykových rovín (hláskoslovie, tvaroslovie, tvorenie slov a lexika), vysoko ocenili domáci i zahraniční slovakisti a slavisti. Celý tento vedecký projekt vznikol na pôde Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave, ktorý pripravil na jeho realizáciu vedecké, organizačné, odborné a finančné zázemie. Roku 1987 autorský kolektív ASJ získal cenu Slovenskej akadémie vied. Roku 1995 bola udelená Jazykovednému ústavu Ľudovíta Štúra za tento významný počin v slovenskej lingvistiky Národná cena Slovenskej republiky v oblasti vedy.

Ako vyplýva z bibliografických údajov, každý zväzok atlasu pozostáva z dvoch častí – z mapovej a komentárovej časti, v ktorej sa okrem úvodu a komentárov publikujú aj iné dôležité materiály súvisiace s prípravou a realizáciou takéhoto kolektívneho diela. Všetky štyri diely spája jednotný metodický i metodologický postup, jednotná koncepcia a metóda spracovania materiálu. Každý zväzok zachováva istú kontinuitu s predchádzajúcimi zväzkami, najmä s prvým dielom atlasu, pretože všetci autori ASJ sa podieľali na príprave prvého zväzku, na príprave jeho koncepcie, na realizácii výskumu, na oponentúrach máp a komentárov. Tak ako na lingvistické mapy organicky nadväzujú komentáre, tak koncepcie i svojou štruktúrou prerastá jeden zväzok do druhého. Edícia tohto lingvistického diela uzavrela jednu veľmi dôležitú etapu v poznávaní a vo vedeckom štúdiu slovenských dialektov, ktoré majú nezastupiteľnú úlohu pri štúdiu a rekonštrukcii najstarších dejín slovenského jazyka. Zároveň položila základy pre prípravu ďalších základných diel o slovenčine, akým je napríklad Slovník slovenských nárečí, Etymologický slovník slovenského jazyka, Frazeologický slovník slovenčiny, nové vydanie Slovníka súčasného slovenského jazyka, ako aj ďalšie kolektívne lingvistické diela alebo monografie, ktoré sa pripravujú, resp. sa v budúcnosti budú pripravovať v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra a v úzkej spolupráci s univerzitnými slovanskými centrami v Slovenskej republike.

2. «Materiál sa spracúva a triedi podľa vnútornej súvislosti tak, aby sa sprístupnil úvahám o vývinových procesoch, ktoré sa v slovenskom jazyku odohrali. Tieto úvahy

* This publication is the result of the project implementation: *Retrofitting and Extension of the Center of Excellence for Linguaculturology. Translation and Interpreting* supported by the Research & Development Operational Programme funded by the ERDF.

by nemohli dospieť k pozitívnemu výsledku, keby sa v nich do dôsledkov neuplatňoval *celoslovenský porovnávací aspekt*. Paralelné spisovné formy zo slovanských jazykov, uvedené pri každom slove zobrazenom na mape, majú poslúžiť jednak ako orientačná pomôcka, jednak majú vyvolať u používateľov Atlasu komparatistické a konfrontačné zreteľa» (J. Štolc, II, 1978, 2. časť, str. 17)¹. Túto myšlienku slovenského bádateľa sme citovali z úvodu k 2. časti II. zväzku ASJ, ktorý je venovaný tvarosloviu (ohybným slovným druhom), ale táto metodická i metodologická zásada je platná pre všetky štyri zväzky. Tým, že v komentároch k jednotlivým mapám sa uvádzajú paralely z viacerých slovanských jazykov, resp. odkazy na etymologický slovník, či na ďalšie dialektologické diela, nadobúda ASJ široký porovnávací rámec, do ktorého sú zakomponované hláskoslovné, tvaroslovné, slovotvorné a lexikálne údaje o slovenských nárečiach. A tak pri štúdiu lingvistických máp v prvom zväzku nachádzame aj tie javy, ktoré patria do skupiny starších a mladších javov praslovanského pôvodu a ktoré svedčia o tom, že v stredoslovenských nárečiach sa koncentrovane vyskytujú javy nezápadoslovanského pôvodu, kým v západoslovenských a východoslovenských nárečiach sa v daných prípadoch vyskytujú javy západoslovanskej proveniencie.

Napríklad skupiny **rat-**, **lat-** ako reflexy za psl. **ořt-**, **ořt-** s cirkumflexovou intonáciou sa vyskytujú prevažne v stredoslovenských dialektoch (a v spisovnej slovenčine, ktorá bola kodifikovaná na základe kultúrnej strednej slovenčiny), kým striednice **rot-**, **lot-** sa nachádzajú v západoslovenských i východoslovenských dialektoch (strsl. **rakita**, **ražeň**, **rásporok**, **lakeť** proti vsl. a zsl. **rokita**, **rožeň**, **rosporok/-ek**, **locek**). (Porov. mapy č. 1–8 na str. 75–82, 1968, 1. zv. ASJ). Na ilustráciu z druhého zväzku ASJ uvedieme taký diferenčný jav, akým bol výsledok kontrakcie v slovenských dialektoch v tvaroch nominatívu singuláru adjektív stredného rodu z pôvodného psl. tvaru **dobr-oje** > **dobrō** > **dobruo** (v stredoslovenských nárečiach), **dobré** [(**<dobrō < dobr-oje**) v západoslovenských nárečiach] a **dobre** [(**<dobré**) v východoslovenských nárečiach]. Na území strednej slovenčiny sa však zachovali aj staršie

¹ Prof. PhDr. Jozef Štolc, DrSc., bol hlavným autorom a vedúcim pracovnej skupiny I. zväzku ASJ, autorom II. zväzku ASJ a spoluautorom *Dotazníka pre výskum slovenských nárečí I*, ktorý zostavil spolu s prof. PhDr. Eugenom Paulinym, DrSc. Dotazník vyšiel vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied v Bratislave v máji 1947 a celkove obsahoval 2355 slov a tvarov. Na základe tohto dotazníka sa v rokoch 1947–1951 konal výskum vo všetkých 2559 obciach na súvislom slovenskom jazykovom území a po vyhodnotení kvality zozbieraného materiálu sa stanovila jednotná sieť bodov pre všetky štyri zväzky s počtom 335 lokalít. Táto prvá časť dotazníka bola zameraná na výskum diferencovaných javov slovenských nárečí na rovine hláskoslovnej a tvaroslovnej (flexia). «Dosiahli sme veľké množstvo javov vo všetkých lokalitách, teda optimum, lebo slovenské jazykové územie je malé a do výskumu sme zapojili so zreteľom na veľkosť územia pomerne značný počet školených explórátorov, ktorých pracovné schopnosti a pracovná morálka bola na vysokej úrovni» (J. Štolc, 1968, 2. časť, str. 23).

Ako z uvedeného vyplýva, prvé dva diely ASJ boli zostavené na základe tejto prvej etapy výskumu slovenských nárečí. V roku 1964, čiže rok pred dokončením zväzku ASJ, vyšla vo vydavateľstve SAV druhá časť dotazníka pod názvom *Dotazník pre výskum slovenských nárečí II.*, ktorá pozostávala z lexikálnej časti (pripravil Anton Habovštiak) a zo slovotvornej časti (pripravil Ferdinand Buffa). Na základe výskumu v rámci druhej etapy slovenských nárečí realizovanej v rokoch 1965–1970 bol zostavený III. (Ferdinand Buffa) a IV. zväzok ASJ (Anton Habovštiak).

tvary typu **dobró, dobrŏ, dobro**, ktoré predstavujú staršiu vývinovú fázu a ktoré sú dôkazom toho, že stredoslovenský tvar **dobruo** sa vyvinul priamo z pôvodného psl. tvaru **dobroje** v dôsledku kontrakcie¹. [Porov. mapu č. 134 Nominatív sg. neutr. kval. adj. *dobré* (J. Štolc, II. ASJ, 1. časť, 1978, str. 145).] Podobne v ďalších zväzkoch môžeme sledovať jednak vnútornú diferenciáciu slovenských nárečí na tri základné makroareály (západoslovenský, stredoslovenský a východoslovenský) a v ich rámci členenie na menšie regióny, napr. severný a južný v oblasti západnej a strednej slovenčiny, a západný a východný na území východoslovenských dialektov, jednak príbuznosť slovenských nárečí (slovenského jazyka) s ostatnými slovanskými nárečiami (slovanskými jazykmi), napr. s českými (moravskými), poľskými, ukrajinskými nárečiami. Popri tradičnom trichotomickom členení slovenských nárečí priniesol výskum lexiky aj nové členenie slovenských nárečí: dichotomické členenie v smere juhozápadnom proti severovýchodnému, resp. dichotomické členenie v smere severozápadnom proti juhovýchodnému na základe výskytu takých lexém ako napr. **jačmeň/jarec, žito/pšeni- nica, izba/chiža, kobár, koberec/pokrovec** [porov. mapa č. 36: a) jačmeň, b) kukurica, str. 74; mapa č. 37: a) pšenica, b) raž, c) obilie/zbožie, str. 75; mapa č. 32: a) izba, b) dom, str. 206; mapa č. 46: koberec, str. 220, ASJ, IV, 1984]. Ako potvrdzuje výskum, staršie javy praslovanského pôvodu, ktoré sú zaznamenané na mapách vo všetkých štyroch zväzkoch, svedčia aj o príbuznosti slovenčiny s juhoslovanskými jazykmi (slo srbcínou a slovinčinou). Tretí diel ASJ, v ktorom sa podáva slovotvorná charakteristika slovenských nárečí, prináša veľa úplne nových zistení, pretože oblasť tvorenia slov bola dovtedy v slovenských dialektoch preskúmaná veľmi slabo.

3. Všetky štyri zväzky Atlasu slovenského jazyka majú veľkú dokumentárnu hodnotu a predstavujú významný zdroj poznatkov o slovenských nárečiach, o ich vnútornej diferenciácii, o príbuznosti slovenských dialektov s okolitými slovanskými i neslovanskými nárečiami. Hoci v ASJ je zaznamenaný synchronný stav slovenských dialektov, jazykovedci z neho môžu čerpať údaje aj pre výskum najstarších

¹ O pôvode týchto tvarov podobne ako o stredoslovenských tvaroch typu **rakita, ražeň, lakeť**, ktoré jednoznačne svedčia o príbuznosti strednej slovenčiny s juhoslovanskými jazykmi (najmä so srbcínou a slovinčinou), sa veľmi veľa diskutovalo najmä v medzivojnovom období. Genézu týchto javov nezápadoslovanského pôvodu v strednej slovenčine objasnil v tridsiatych rokoch 20. stor. Ľudovít Novák, zakladateľ modernej slovenskej jazykovedy a člen Pražského lingvistického krúžku, keď v intenciách myšlienok N. S. Trubeckého stanovil pomerné chronológie troch základných zmien z 10.–11. stor.: na jednej strane pre strednú slovenčinu [(1) zánik a vokalizácia jerov, (2) kontrakcia, (3) denazalizácia] a na druhej strane pre západnú a východnú slovenčinu [(1) kontrakcia, (2) zánik a vokalizácia jerov, (3) denazalizácia]. Porov. NOVÁK, L.: K najstarším dejinám slovenského jazyka (Bratislava: Veda 1980. 352 s.). V tejto súvislosti treba uviesť, že otázkam tzv. juhoslavizmov v strednej slovenčine, čiže javom nezápadoslovanského pôvodu, sa venoval aj Samuil Borisovič Bernštejn vo svojej knihe *Очерк сравнительной грамматики славянских языков* (M.: Издательство АН СССР, 1961). Prof. Bernštejn pokladal výskyt javov **rat-, lat-** za psl. **ořt-, oľt-**, s za psl. **ch'** v II. palatalizácii, splnutie mákkého **r** s tvrdým (**r' > r**), príponu **-ou** v instrumentáli singuláru feminín, datív – lokál singuláru **ruki, nohi** (namiesto **ruke, nohe**), zánik vokativu, korene **teb-, seb-** v tvaroch zámen a príponu **-mo** v I. osobe plurálu za stopy po prastarom kontakte slovinčiny a strednej slovenčiny. [Porov. KRAJČOVIČ, R.: *Vývin slovenského jazyka a dialektológia*. (Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1988, str. 9–12)].

dejín slovenského jazyka, keďže v jednotlivých dialektoch sa vyskytujú rôzne petrefakty, ktoré reprezentujú starší vývinový stav a ktoré sú svedectvom toho, ako sa realizovali jednotlivé zmeny v staršom i mladšom období praslovanského jazyka, ale aj v období samostatného vývinu slovenského jazyka. Ako je známe, z najstarších dejín slovenského jazyka, t. j. z 10.–15. stor., v priebehu ktorých sa vykonali všetky najdôležitejšie zmeny v starej slovenčine na všetkých jazykových rovinách, sa nezachovali súvislé písomné pamiatky. Z tohto obdobia sa zachovali iba jednotlivé slová, vlastné mená (miestne a osobné mená) v pamiatkach písaných po latinsky. Tieto jednotlivé slová majú veľký význam pri určovaní absolútnej chronológie zmien. Ale nemožno na základe ich výskytu rekonštruovať celý systém jazyka. Až moderná jazykoveda, opierajúca sa o základné princípy štrukturalizmu a využívajúca moderné výskumné metódy, ako sú vnútorná rekonštrukcia jazyka, metóda pomernej chronológie a jazykového zemepisu, postavila rekonštrukciu najstarších dejín slovenského jazyka na výskume slovenských nárečí.

- ŠTOLC, Jozef – BUFFA, Ferdinand – HABOVŠTIAK, Anton: **Atlas slovenského jazyka. I. Vokalizmus a konsonantizmus.** Časť prvá – mapy. 314 s. Časť druhá – Úvod – Komentáre – Materiály. 200 s. Prvé vydanie. Ved. red. E. Pauliny. Bratislava: vydalo Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1968.
- ŠTOLC, Jozef: **Atlas slovenského jazyka. II. Flexia.** Časť prvá – mapy. 316 s. Časť druhá – Úvod – Komentáre. 192 s. Prvé vydanie. Ved. red. E. Pauliny. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1978.
- BUFFA, Ferdinand: **Atlas slovenského jazyka. III. Tvorenie slov.** Časť prvá – mapy. 424 s. Časť druhá – Úvod – Komentáre – Dotazník – Indexy. 248 s. Vydanie prvé. Ved. red. J. Ružička. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1978.
- HABOVŠTIAK, Anton: **Atlas slovenského jazyka. IV. Lexika.** Časť prvá – mapy. 464 s. Časť druhá – Úvod – Komentáre – Dotazník – Indexy. 368 s. Prvé vydanie. Ved. red. J. Ružička. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1984.
- RIPKA, Ivor – BUFFA, Ferdinand – FERENČIKOVÁ, Adriana – NIŽŇANSKÝ, Jozef: **Slovník slovenských nárečí. I. A–K.** Ved. red. I. Ripka. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1994. 936 s.
- RIPKA, Ivor – FERENČIKOVÁ, Adriana et al: **Slovník slovenských nárečí. II. L – P (povzchádzať).** Ved. red. I. Ripka. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2006. 1066 s.
- Slovník súčasného slovenského jazyka. I. (A–G).** Ved. red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2006. 1134 s.

C. В. Дьяченко (Москва)

Система ударных гласных в русских говорах запада Воронежской области

1. В работе рассматриваются русские говоры запада Воронежской области с различением семи гласных фонем под ударением: говоры сёл Татарино Каменского района и Истобное Репьёвского района, исследованных в экспедициях 2009–2010 гг.

2. Ударная вокалическая система обоих говоров определена с помощью формантной сетки, предложенной И. И. Исаевым. Метод формантной сетки позво-

ляет представить аллофоны гласных фонем каждого отдельного говора в виде областей в системе координат, где ось X – значение F2 (ряд), ось Y – значение F1 (подъём) (Исаев 2010). Измерение формант проводилось в программе PRAAT.

3. Системы ударных гласных в архаическом срезе двух говоров (информанты 1910-х гг рождения) очень близки, гласные фонемы реализуются звуками, образующимися в одних и тех же зонах (ср. таблицы 1, 2).

В таблицы не включены области звуков, реализующих фонемы /ъ/ и /ω/, поскольку эти фонемы представлены в обоих говорах дифтонгами [йѐ] и [y̯]. Первая часть дифтонга [йѐ] образуется в области фонемы /и/, вторая – в области /е/, соответственно части дифтонга [y̯] образуются в зонах /y/ и /о/.

Системы, представленные в речи старших информантов двух говоров, близки не только в отношении ударного, но и предударного вокализма: после твёрдых согласных наблюдается архаическое аканье, после мягких – архаическое яканье задонской разновидности.

3. Однако анализ речи информантов 1930–40-х гг. рождения показал, что системы ударного вокализма этих говоров развиваются по-разному: 1) в говоре с. Татарино аллофоны фонем /и/ и /е/ продвигаются вверх и вперёд, зона их пересечения становится больше, в то время как зона пересечения аллофонов /е/ и /а/ исчезает. Зона аллофонов /и/ достигает 200–300 Гц по шкале F1 и 2800–2900 Гц по шкале F2, зона /е/ перемещается в область 300–500 Гц по шкале F1 и 2600–2700 Гц по шкале F2. Зоны образования звуков, реализующих фонемы /а/, /о/, /y/, не перемещаются; 2) в говоре с. Истобное зона образования звуков, реализующих фонему /е/, перемещается вниз и назад, достигая 600–750 Гц по шкале F1 и 1800–1900 Гц по шкале F2. Таким образом, сближаются области формирования звуков, представляющих фонемы /е/ и /а/, при этом исчезает зона пересечения аллофонов фонем /е/ и /и/. Зоны образования звуков, реализующих фонемы /а/, /о/, /y/, не перемещаются.

Системы предударного вокализма после твёрдых согласных, реализующиеся в речи этих информантов, совпадают (архаическое аканье), но после мягких согласных различаются: в татаринском говоре яканье обоянского типа, в истобнинском – задоского с примерами произношения [’а] перед ударными гласными среднего и нижнего подъёма.

4. Таким образом, изменения в системах ударного и предударного вокализма в обоих говорах, вероятно, связаны друг с другом. Причина того, что изначально одинаковые вокальные системы изменяются в разных направлениях, видится в различиях ритмической структуры слова в этих говорах. В татаринском говоре структура волнообразна: чередуются краткие и длинные слоги (Касаткин 2009: 98), в результате чего система предударного вокализма преобразуется в модель обоянского яканья, то есть звук [е] перед средними и нижними ударными гласными (более долгими, чем верхние и верхне-средние) заменяется кратким звуком [и]. Этот процесс вызывает сближение зон образования звуков [е] и [и], что отражается на системе ударного вокализма. В истобнинском

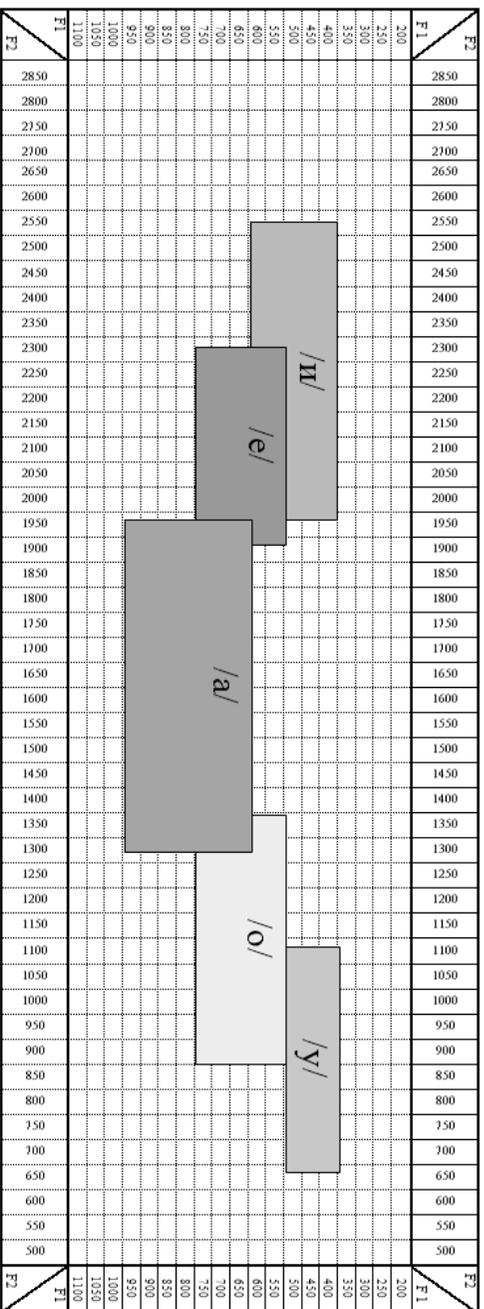


Таблица 1. Система гласных фонем говора с. Татарино

говоре структура слова иная: ударный и предударный слоги долгие, остальные краткие. Поэтому система предударного вокализма (задонское яканье) изменяется по пути удлинения и расширения предударного гласного перед средними и нижними ударными гласными. Так предударный гласный [e] сближается с [a], а затем это сближение происходит в системе ударных гласных.

Исаев И. И. Артикуляционное пространство и формантная характеристика гласных в русских говорах // Исследования по славянской диалектологии. Вып. 15 (в печати).

Касаткин Л. Л. К истории аканья-яканья // Актуальные проблемы русской диалектологии и исследования старообрядчества: Тезисы докладов Международной конференции 19–21 октября 2009 г. М., 2009. С. 96–99.

И. И. Исаев (Москва)

Артикуляционное пространство и формантная характеристика гласных в русских говорах

Несмотря на усилия комиссий, формирующих международный фонетический алфавит (IPA), транскрипция диалектной речи не является объективной фонетической картиной, а выражает, как правило, традиционные представления диалектолога о диалектной фонетике, зажатые в перцептивный эталон его собственного языка. Детальность и лингвистическая точность её зависит от многих факторов. Именно поэтому использование чужой транскрипции для детальных фонетических исследований оказывается практически невозможным.

Проблема определения инвентаря и системы гласных единиц в диалектах сегодня далека от окончательного решения. Плен перцептивных эталонов исследователя настолько силён, что даже квалифицированные исследователи диалектов иногда пропускают принципиальные диалектные фонетические черты.

Гласный является диффузным звуком, он образуется не в конкретной точке, а в некоторой зоне, которая задана артикуляционной традицией языка/диалекта. Такое артикуляционное поле гласного может иметь различную площадь в разных системах (Исаев 2010).

Процесс узнавания гласного звука по сложности выполнения работы мозгом человека сопоставим с узнаванием музыкальных нот в аккорде.

Для идентификации гласных важны первые две форманты, которые соответствуют подъему (F1) и ряду (F2) гласного. Если расположить частоты F1 на оси X, а частоты F2 на оси Y, то мы получим пространство артикуляционного тракта в привычных координатах треугольника гласных. Опытным путем было установлено, что цена деления шкалы 50 Гц достаточна для дистрибуции гласных.

На динамической спектрограмме гласного определяются частоты F1 и F2, которые заносятся в формантную сетку. Фонетический контекст гласного определяет его место в зоне: переднеязычные согласные, например, сдвигают его вперед, носовые согласные отодвигают в заднюю часть зоны.

Интонация фонетического отрывка может сильно менять гласный. Резкое движение основного тона тянет за собой формантную структуру гласного. Именно поэтому иллюстрация гласного в фонетических работах должна сопровождаться четырьмя параметрами: осциллограмма, динамическая спектрограмма, частота основного тона и огибающая интенсивности.

Важный фактор оценки системы гласных – напряженность или ненапряженность – может быть описан в рамках метода формантной сетки. Обычно исследователями констатируется напряженное или ненапряженное образование гласного, но единичный пример не дает права судить о свойствах всей системы. Вполне может оказаться, что отдельные слова по причинам, находящимся вне границ сегментной фонетики, могут иметь напряженные или ненапряженные гласные. Только поместив все примеры в формантную сетку, можно установить размер *зоны* гласного. Как правило, напряженность выражается в очень компактном распространении гласного в зоне. Необходимость размещения в артикуляционном тракте большого количества единиц требует четкой дистрибуции каждой из них. И напротив, меньшее количество единиц можно разместить просторнее, что выражается более широкой зоной гласного.

Метод «формантная сетка» позволяет определить не только зону образования гласных и их напряженность, но и зону неразличения гласных под ударением и без ударения. Кроме того, обнаруживается связь места гласного в зоне с интонацией, позицией и дискретным фонетическим окружением.

Кроме всего прочего, формантные сетки позволяют проследить зоны неразличения гласных. Это наблюдение имеет принципиальное значение для описания динамического компонента системы гласных. Методика, показывающая зоны неразличения, позволила С. В. Дьяченко проследить и описать изменение типов диссимилятивного яканья, основанных на архаическом принципе (Дьяченко 2010).

[ə]-редукция гласных после твердых согласных в непервом предударном слоге, которая работает в литературном варианте национального русского языка, объясняется как стремлением редуцированного гласного к состоянию покоя, к нейтральному укладу органов речи. Диалектный материал показывает, что примеры с гласным «покою» [ə] являются не фонетической необходимостью русской фонетики, а всего лишь одной из возможных систем нейтрализации. В меленковском говоре с. Синжаны представлена [ы]-редукция, которая требует большего напряжения и не может считаться стремлением гласных, удаленных от ударения, в «зону покоя» речевых органов.

Даваемые на слух характеристики гласных «открытый», «закрытый», «сдвинутый вперед», «сдвинутый вверх» и т. д. могут иметь исчислимые параметры. Применение метода формантной сетки дает возможность изменить позицию наблюдателя и позволяет переместиться на место диалектоносителя в оценке качества звука.

Сейчас появилась возможность создать альбом русских диалектных систем, схемы в котором составлены на материале объективных физических данных.

Така робота дасть диалектології обширний фактичний матеріал, який може бути картографований і інтерпретований.

Исаев 2010 – *Исаев И. И.* Формантная картина гласных в альбоме русских диалектных систем // Тезисы доклада на международной научной конференции «Фонетика сегодня» 8–10 октября 2010 г. М.: Институт русского языка им. В.В.Виноградова РАН, 2010. С. 57–59.

Дьяченко 2010 – *Дьяченко С. В.* Система гласных первого предупредного слога после отвердевших согласных в южнорусских говорах с архаическим вокализмом (на примере говора с. Веретье Острогожского района Воронежской области) // Тезисы доклада на международной научной конференции «Фонетика сегодня». 8–10 октября 2010 г.. М.: Институт русского языка им. В.В.Виноградова РАН, 2010. С. 51–52.

О. С. Іщенко (Київ)

Формантна динаміка східнополіського дифтонга *іє* в українській мові

Східнополіська діалектна зона цікава тим, що зберігає багато архаїчних фонетичних, граматичних та лексичних явищ української мови. Відтак актуальність вивчення мовленнєвих явищ говірок цього регіону безсумнівна. Одним із залишків фонетичної архаїки Східного Полісся є наявність складного голосного звука на місці прафонем **ě* – дифтонга *іє*, тоді як у переважній більшості діалектів *і*, як наслідок, в мові наддіалектного характеру на цьому місці українці сьогодні вживають голосний *і*.

Метою дослідження є експериментально-фонетичний аналіз дифтонга: вияв природи його неоднорідності і специфіки порівняно з однорідними за характером руху головних формант (F_1 , F_2) як фізичних корелятивів фонем.

Наші експерименти¹ (сонографічний аналіз) з вивчення спектральної картини дифтонга *іє* показали, що звукова неоднорідність досягається сильною динамікою формант. Упродовж усього звука головні його форманти (F_1 , F_2) змінюють свої частоти настільки, що голосний набуває якісно різного звучання.

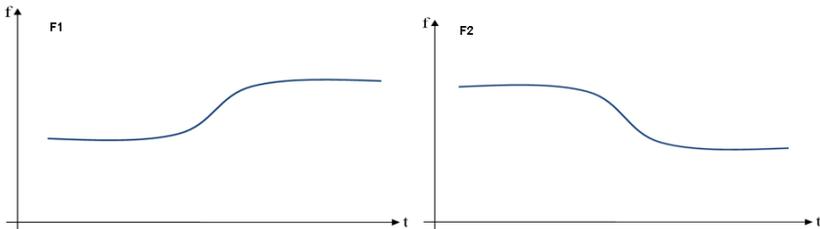


Рис. 1. Модель динаміки формант F_1 , F_2

¹ Сонографування здійснено за допомогою програмного забезпечення Speech Analyzer (www.sil.org). Матеріалом дослідження слугують записи діалектного мовлення Чернігівської області з Українського діалектного фонофонду (Інститут української мови НАН України).

На рис. 1 змодельовано специфіку руху перших двох формант дифтонга **іе**. Прийнято вважати, що в голосних однорідного творення (монофтонгах) динаміка формант – прямолінійна (наближено). Натомість у двозвукові контури руху формант являють собою криву, на якій фіксуємо дві рівнолінійні фази й одну перехідну (з'єднувальну).

Прикметно, що у дифтонгу **іе** значення формант першої фази відповідають F-картині звука **і**, а значення формант третьої фази – F-картині звука **е**. Друга фаза в акустичному плані є надто складною, бо в кожен момент часу значення формант змінюється.

Однак найцікавішим є те, що три фази динаміки обох формант не збігаються в часі: першою видозмінюється форманта F1, згодом форманта F2 (див. рис. 2). Такий формантний гетерохронізм (асинхронізм) дає змогу говорити про дифтонг як особливий звуковий сегмент, а не просте поєднання двох голосних, вимовлених як єдиний склад. Формантна динаміка дифтонгів та сполучення двох голосних є різною. Доречно зазначити, що експериментально-фонетичне вивчення дифтонгів в інших мовах (англійська, німецька, іспанська тощо) не засвідчує факту такого явища.

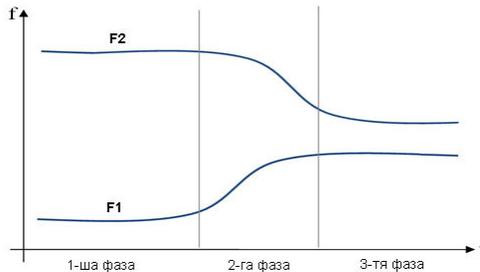


Рис. 2. Формантна реалізація дифтонга **іе** (модель)

Додамо ще й те, що формантний гетерохронізм інколи виявляється у звичайних голосних, які, проте, мають дифтонгічний відтінок. Скажімо, за дослідженнями Л. Бондарко¹, для літературного російського голосного **ы** властива невелика неоднорідність вимови (йдеться про наближення до рос. **и**), акустичним корелятом якої є незначна зміна руху другої форманти при відносній незмінності першої. Тож формантний гетерохронізм, попри те, що собою виражає звукову неоднорідність, водночас наближує дифтонги до монофтонгів у плані належності до одного типу сегментів – звука як фонетичного/фонологічного типу.

¹ Бондарко Л. В. Фонетика современного русского языка. СПб., 1998.

Л. Э. Калнынь (Москва)

Аффрикатизация фрикативных согласных как компонент типологической характеристики славянских диалектов по вокальности/консонантности

1. Согласно известной классификации А. Исаченко, славянские языки делятся на консонантический и вокалический типы в зависимости от количественного соотношения вокального и консонантного инвентаря в идиоме (Исаченко 1963). Типическое значение имеют и правила образования звуковой последовательности, поскольку они эксплицируют отношение системы диалекта к возможности повышения/понижения консонантности/вокальности общего речевого фона в данном идиоме. Явления такого рода можно наблюдать в диалектах, отнесенных как к консонантическому, так и вокалическому типам. Как иллюстрация этого, в данном докладе рассматриваются явления синтагматики шумных согласных, понижающие уровень консонантности идиома, с одной стороны, и поддерживающие уровень вокальности, с другой.

2. Шумные согласные расположены на разных участках шкалы «нарастания консонантного признака» (Трубецкой 1960: 172; Пауфошима 1983: 50). Наибольшая консонантность присуща смычным глухим согласным, а наименьшая – сонантам. В промежуточной зоне расположены аффрикаты и спиранты, причем звонкие менее консонантны, чем глухие. Эффект снижения уровня консонантности звуковой последовательности может достигаться сокращения сочетания до одного согласного, а также уменьшением контраста между согласными в результате ассимиляции. При этом согласный, получившийся в результате ассимиляции, сам по себе может быть более консонантным, чем тот, который он собою заменил. Значение имеет сам факт снижения контраста. Примером этого является аффрикатизация фрикативных согласных после смычных (прогрессивная ассимиляция) и перед смычными (регрессивная ассимиляция) – сочетания типа *pc, tc, čk, žg* характеризуются меньшим контрастом их компонентов и поэтому менее консонантны, чем *ps, ts, šk, žg* (мак. *pci, ocega, čorka, žgan*).

Аффрикатизация фрикативного согласного в соседстве со смычным фиксируется в зоне южнославянских диалектов. Так, в мак. диалектах *ps, pš > pc, pč; ts, dz, tš, dž > tc, dž, tč, dž; šk, žg, žb, zg > čk, žg, žb, zg* (см. FO 1981). В хорв. и серб. диалектах *ps, pš, bz > pc, pč, bz, sk, zg, šk, žg, žb > ck, zg, čk, žg, žb* (см. Ресо 1980; FO 1981). Аффрикате /z/ в этом регионе посвящена статья (Brozović 1988).

Особенность этих диалектов состоит в том, что в процессе ассимиляции стабильной остается смычная артикуляция. В диалектах северной Славии в сходных сочетаниях ассимиляции подвергается именно смычный согласный. Ср. польск. *żym'e, čšon, čćina* (OF 1983 № 314), русск. *ocsa'd'it', poč'syt'* и др.

Аффрикатизация фрикативных согласных снижает уровень признака консонантности в звуковой последовательности в южнославянских диалектах как

вокалического (хорв., серб.), так и консонантического (мак.) типа. Можно предположить, что в этом отражается существующая в южном регионе общая тенденция к повышению значения вокалического признака при организации звуковой последовательности.

3. Склонность некоторых южнославянских диалектов к аффрикатизации фрикативных согласных ведет и к стабилизации признака вокальности (голосности) в звуковой последовательности. Конкретно это выражается в охранительном отношении к артикуляции сонантов, которые по своей артикуляции являются наиболее голосными компонентами консонантизма. Снижение голосности сонантов возможно при соприкосновении в звуковой последовательности сонантов с шумными согласными (глухими и звонкими). Если в диалекте существует охранительное отношение к голосности сонанта, то это реализуется увеличением контрастом между сонантом и шумным согласным по уровню консонантности/голосности, т. е. как бы разделением их. На границе между сонантом и следующим спيرانтом образуется переходный элемент в виде смычки, комбинация которой со спирантом дает аффрикату. Дистанцирование сонанта от следующего спиранта имеет вид изменения: в мак. $nz, lz, rz > n\check{z}, l\check{z}, r\check{z}$; $n\check{z}, l\check{z}, r\check{z}$; реже отмечается аффрикатизация глухого спиранта ('*donci gu, selcki*). Появление аффрикаты перед сонантом отмечено в сочетаниях $zr, zv, \check{z}v$ (*z ruki, \check{z}vakat, zver*) (FO 1981: №№ 92, 96, 102 и др.). В последнем случае смычка не соприкасается с сонантом – она образуется как бы в предвидении следующего сонанта.

Сходная картина аффрикатизации спиранта в соседстве с сонантом показана в сербских диалектах (FO 1981: №№ 62, 73, 84).

4. Сказанное позволяет сделать следующий вывод.

В части диалектов южнославянского региона высока частота позиционно обусловленных аффрикат. С точки зрения типологической характеристики диалекта по признаку консонантности/вокальности появление аффрикат преследует сходные цели, но разными способами.

При ассимиляции спиранта смычному согласному появление аффрикаты, снижая артикуляционный контраст в сочетании, эксплицирует снижение уровня консонантности звуковой последовательности.

Аффрикатизация спирантов в соседстве с сонантами выражает стремление не допустить повышение консонантности звуковой последовательности, которое может наступить при снижении голосности сонанта в соседстве с шумными согласными. В этом случае появление аффрикаты отражает охранительное отношение к голосности сонанта.

Рассмотренные явления зафиксированы в диалектах, которые по классификации А. Исаченко отнесены как к вокалическому, так и к консонантному типу. Но все они локализованы на юге Славии.

Исаченко 1963 – Исаченко А. Опыт типологического анализа славянских языков // Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963.

- Трубецкой 1960 – *Трубецкой Н. С.* Основы фонологии. М. 1960.
 Пауфошима 1983 – *Пауфошима Р. Ф.* Фонетика слова и фразы в севернорусских говорах. М., 1983.
 Brozović 1988 – *Brozović D.* O fonemu /z/ u balkanskim jezicima // Јазичните појави во Битола и Битолско денеска и во миналото. Скопје, 1988.
 FO 1981 – *Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatosrbskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom.* Beograd, 1980.
 OF 1983 – *Opisy fonologiczne polskich punktów OLA. A.Basara, J.Basara.* Zeszyt 2. Warszawa, 1983.
 Peco 1980 – *Peco A.* Pregled srpskohrvatskih dijalekata. Beograd, 1980.

О. П. Карпенко (Киев)

Из русской диалектной лексики

Предлагаемая заметка посвящена этимологии русск. диал. *битюг*/*битюк* ‘ломовая лошадь’, ‘сильный здоровый человек’, объединенных М. Фасмером в одну словарную статью. Вслед за В. Далем, лингвисты традиционно связывают наименование лошади-тяжеловоза с названием реки Бетюк/Битюк/Битюг – л. пр. Дона (течет в Тамбовской и Воронежской обл.), где якобы в XVIII в. в результате скрещивания была выведена особая порода ломовых лошадей, т. е. ‘лошадь с реки *Битюг*’. Существующие тюркские этимологии гидронима и нарицательного слова не учитывают в полной мере их фонетическое своеобразие в русских говорах. Оставляя пока в стороне вопрос о времени появления ломовиков и соотношении компонентов в коррелятивной паре *Битюк* (*Битюг*) / *битюк* (*битюг*), обратимся к апеллятиву.

В русских говорах слово *битюг* (вариант *битюк*) имеет значение ‘рабочая лошадь крупной породы’. Отмечено (волог.) существительное *битюк* ‘битюцкая лошадь’ и (курск.) прилагательное (1849 г.) *битюцкий* в отношении ‘битюцкой лошади’, указывающие на стойко сложившееся представление о единстве названия лошади и места ее разведения – долина р. *Битюг* (истор. *Бетюкъ*).

Лексемы *битюг*/*битюк* фиксируются и с другими значениями, в частности, характеризующими человека. Территориальное распространение значения, характеризующее человека, гораздо обширнее, что позволяет проследить вокалические изменения основы. Ср. (псковск.) *битюг*/*битюк* ‘здоровый, сильный человек’ с пометой «перен.», а также ‘сердитый, угрюмый человек’, на Среднем Урале *битюг* – ‘ленивый, неповоротливый человек’, сюда же суффиксальное производное *битючук* ‘маленький, толстый человек’. В пермских говорах *битюк* – ‘вялый, апатичный человек’, а в курских – ‘крепкого сложения, коренастый человек’. Засвидетельствована еще форма (курск.) *бóвтюк* = *битюк*. С учетом этого можно предположить первоначальное *болтюк* < **bylt'ukъ*, восходящее далее к и.-е. **bhel-* ‘набухать, вздуться’. Интересно, что на территории Архангельской обл. *битюг* (*битюк*) то же, что *ботяк* ‘крепкий, здоровый и

крупный мужчина', ср.: «Стал брюхатой, *ботяк* – *ботяком*». В таком случае (арх.) *ботяк* – форма с абсорбцией плавного *-л-*, из *болтяк* < **bьlt'akь*. Это слово известно не только архангельским говорам, оно бытует в украинских воронежских говорах – *бовтяк* 'недалекий, глуповатый, несообразительный парень', а также 'перезрелый огурец, который обычно оставляют на семена', 'испорченное яйцо'. Суффиксальные варианты *бовтяк* и *бовтюк* 'испорченное яйцо' известны украинским говорам, ср. еще укр. диал. *блотяк* 'скандалист, буян' < **болтяк* (метатеза).

Для указанной праформы возможна и несколько иная, но в конечном итоге семантически близкая ('что-либо выпуклое, округлое'), характеристика человека. Ср. русск. (донск.) *бельтюк* [*бильтюк*] 'о кривоглазом человеке', *бельтюк* 'человек с дефектом глаза', 'человек с желтым или изрытым оспой лицом', (волог., сарат., донск.) *бильтюкъ* мн. 'о глазах', *бельтюшки* 'глаза'.

Итак, предлагая рассматривать рус. диал. *битюг/битюк* 'крепкого сложения, крупный и т. д. человек', сюда же блр. диал. *бицюк* 'неуклюжий', как формы с абсорбцией плавного, необходимо обратить внимание на различную вокализацию *ь* в группе *-ьл-*. На основе общей семантики 'что-либо толстое, вздущееся, округлое' приведенную лексику оправдано включить в этимологическое гнездо **bьlt-*, защищая тем самым исконность ее происхождения.

По нашим представлениям, от рус. диал. *битюг/битюк* 'плотный, толстый, здоровый человек' < **bьlt'ugь*/**bьlt'ukь* не следует отделять семантически близкое 'ломовая лошадь'. В этом плане показательно укр. *бендюг*, *биндюг* 'лошадь-ломовик', диал. *бендюг* 'желудок', *бэндюх* 'низенький, пузатый человек'. В последнем слове изменение согласного *-г* на *-х* – возможно, результат оглушения. Отличие приведенных форм (в которых наблюдается дентализация плавного перед последующим дентальным), восходящих к праформе **bьld'ugь*, и рассматриваемых здесь – в корневых детерминативах *-d-* и *-t-*.

Фонетические изменения в лексеме *битюг/битюк* – раннее явление в развитии славянских континуантов исходной праформы **bьlt'ukь*. Присущи они и ономастической лексике, ср. *Бельтюги*, *Бельтюки*, *Бельтюковская* (вариант *Бетюковщина*), *Бельтюковский* (2) – ойконимы в бывш. Вятской губ., *Бельтюков* – антропоним. Гидроним *Битюг*, прослеживающийся в историческом источнике XIV в. в форме *Бетюкъ*, уже утратил сонорный *-л-*, ср. еще *Битюг* – ойконим в бывш. Вологодской губ., *Битюк* – ойконим в бывш. Тульской губ., *Битюки* – ойконим в бывш. Смоленской губ., известный еще как *Битюково*, что позволяет квалифицировать его как производное от антропонима *Битюк*. Названия, возникшие на базе антропонимов *Битюг/Битюк*, встречаются в России повсеместно: *Битюгово* – ойконим в бывш. Вологодской губ., *Битюкова*, *Битюково* – ойконимы в бывш. Вологодской, Владимирской, Оренбургской и Уфимской губ., *Битюково*, XVII в. – пустошь возле Саввина монастыря Звенигородского у. Московской губ. и под. Тут же напрашивается вопрос об аутентичной форме гидронима, упомянутого на страницах Воскресенской летописи

(1450 г.) – «на Бетюковѣ рѣцѣ», т. е. не виключається можливість його виникнення від антропоніма (контактного топоніма), мотивованого відповідним апеллятивом.

В. О. Колесник (Одеса)

Раритетні слов'янські лексеми в болгарських переселенських говірках

Слов'янський мовний простір є унікальним серед інших європейських мов не тільки кількістю мов та мовців, а й особливостями історії та сучасного функціонування. Саме слов'янські мови зберігають дивовижну єдність, що свідчить не тільки про міцні генетичні коріння, а й про спільність особливої слов'янської ментальності, яка свідомо чи підсвідомо утримує ці коріння. Найбільш яскраво зазначена єдність відбивається саме у лексиці слов'янських мов, що становить їхню якісну специфічну ознаку на фоні інших, наприклад германських, де лексична близькість є значно меншою. Але саме лексика національної мови та її діалектів відбиває найсуттєвіші риси різних національних мовних культур як вияв національного духу народів.

Особливо цікавими і своєрідними виявляються лексичні особливості болгарських переселенських говірок (зокрема вільшанських та чушмелійських) на тлі інших болгарських говірок діаспори. Деякі лексеми зустрічаються тільки в цих говірках і відсутні в болгарських селах Бессарабії і навіть в словнику Найдена Герова.

Давньослов'янська за походженням лексема *штени* (однокорінна з українським *щени*) в бессарабських говірках фіксується тільки у Криничному, де представлені шуменські говірки. У вільшанських говірках ця лексема має значення 'дитина': *Два штенита у мене: сино и ъшитеря. Мойта штенита в Аде-са. Сино му утиди на штени*.

Повсякденний верхній одяг вівчаря – плащ з капюшоном у вільшанських говірках має назву *гуня* – єдина слов'янська назва для цього одягу в болгарських говірках. В болгарській літературній мові плащ вівчаря називається *ямур-лук*, а в говірках метрополії – *кебе*, *кепе*, *япунджак*. Всі вони турецькі за походженням.

Традиційний болгарський пиріг з бринзою або з сиром (*баница* або *милина*) у Вільшанці називається *пакета*. А лексема *милина* у вільшанських говірках має значення 'бадилля на баштані' і в переносному значенні – 'негарна дівчина, чужа': *Дувел руската милина*.

Серед інших найважливіших лексичних особливостей, що потребують окремого дослідження, слід відзначити лексеми: *буца*, *бучка* 'гора, гірка', *кэс* 'м'ясо', *макэ* 'худоба', *краватини* 'ткацький верстак', *лица* 'щоби', *вутла* 'лінивий', *луци* 'чужий', *балта* 'річка', *мочура* 'калюжа', *гэлаби* 'кукурудза', *зея* 'жінка старшого брата', *драгинку* 'брат чоловіка', *гислюк* 'суконна безрукавка', *гутэ* 'фартух', *кават* 'верхній жіночий одяг', *пузуник* 'жіночий пояс із шкіри з мета-

левими пластинками-прикрасами', *гивеч* 'яма для зберігання зерна', *чалкаме*, *писмедя*, *печие* та інші. Деякі лексеми є спільними для вільшанських і чушмелійських говорів Бессарабії, які порівняно з іншими болгарськими говорами мають більше слов'янських елементів в своїй структурі: *штени*, *талига* 'віз, підвода', *прозуц* 'вікно', *лица* 'щоки' та інші.

Етногенетичні чинники, специфічні історичні умови, а також суто мовні зміни спричинилися до складного багатопланового діалектного членування болгарської мови. Проникнення в суть ієрархії цих територіальних діалектних одиниць і ґрунтовна класифікація всього комплексу різнопланових виявів діалектного процесу вимагають постійної уваги науковців та застосування різних методів дослідження.

Е. В. Колесникова (Москва)

Общерусские прилагательные со значением цвета в русских говорах

Проблема цветообозначения в последние десятилетия активно рассматривается с различных позиций современной лингвистической науки (Х. Чирнер, Р. В. Алимпиева, Н. Б. Бахилина, А. Вежбицкая, М. А. Кожемякова и др). Однако семантика прилагательного-цветообозначения в диалекте практически не являлась предметом научного исследования за исключением отдельных статей некоторых ученых (Т. И. Вендина, Н. И. Волкова, В. А. Пищальникова).

Данная работа посвящена анализу семантической структуры общерусских прилагательных-цветообозначений *белый*, *черный*, *красный*, *синий*, *зеленый*, функционирующих как в литературном языке, так и в русских говорах.

«Общерусскими словами» мы называем такие слова, которые, по определению О. Г. Гецовой, представляются общими для литературного языка и диалектов, в последних они являются исконными, не заимствованными ни из литературного языка, ни из других языков.

Прилагательные-цветообозначения в литературном языке обладают широким семантическим потенциалом. Тем не менее, диапазон различий значений диалектного слова и литературного достаточно велик, в диалекте представлено гораздо больше значений, чем в литературном языке, кроме того, многие из представленных в литературном языке значений стилистически маркированы.

Необходимо отметить факт сохранения в диалекте многих архаических значений, бытовавших в древнерусском языке.

Анализ семантической структуры общерусских прилагательных-цветообозначений показал, что, как правило, в говорах и литературном языке совпадает только базовый оттенок цвета, который они обозначают, однако во многих случаях наблюдаются принципиальные отличия. «Это может быть следствием

древнейшего цветового синкретизма, когда не было четких границ между близкими цветовыми тонами» (И. В. Садыкова).

Обратим внимание и на то, что *черный* и *белый* в говорах гораздо более близкие антонимы, чем в литературном языке, а *белый* и *красный*, напротив, во многих контекстах и значениях выступают в качестве синонимов.

Подводя итоги нашей работы, хочется еще раз отметить, что наши материалы еще раз подтверждают выводы О. Г. Гецовой о том, что системы литературного и диалектного языка – это разные языковые системы, сформировавшиеся независимо друг от друга.

В. В. Леснова (Луганск)

Некоторые аспекты специфики выражения оценочности в украинском диалектном тексте

1. Оценка является одной из важнейших сторон интеллектуальной деятельности человека и, несомненно, находит своё отражение в языке, поскольку субъект оценивает все элементы действительности, а в основе интерпретирующей функции языка лежат ценностные параметры её отображения.

2. Семантическая категория оценки, принадлежащая к универсальным, по мнению Т. Космеды, является основной категорией лингвопрагматики и требует в этом ракурсе особого исследования. В лингвистике оценка как явление в первую очередь семантики и когниции проявляется на разных языковых уровнях: оценочную семантику реализуют интонация, аффиксы, слова, выражения.

3. Исследование оценочных значений представляет особый интерес на современном этапе развития лингвистики, когда проблема соотношения и взаимодействия семантики и прагматики стала одной из центральных.

4. Оценочные слова и словосочетания занимают важное место в речевой деятельности носителей диалектного украинского языка. Диалектная речь по степени экспрессивной насыщенности и эмоциональности часто превышает литературную речь, поскольку, существуя в устной форме и не подвергаясь кодификации, она дает значительно больший простор для проявления тех или иных эмоций носителям диалекта. В диалектной системе сосредоточен максимальный набор средств экспрессивно-оценочного выражения, свойственный каждой личности.

5. В речи существуют более разнообразные средства для детальной классификации плохих поступков, нежели хороших, плохих черт характера, нежели хороших, и т. д.; слова с семантикой негативной оценки объединены в более дифференцированные подклассы, нежели слова с семантикой положительной оценки. Особой проблемой является изучение взаимодействия этих оценок в диалектном тексте и возможного комбинирования их в пределах одного высказывания.

6. Связь оценочной семантики с внутренним миром человека и окружающим внешним миром определяет сложный характер средств выражения оценки, их семантики и структуры. Эти средства, представленные на всех уровнях языка и речи, являются вариативными в употреблении.

7. К оценочным средствам речи вообще и диалектной в частности мы относим: специальные интонационные конструкции восклицательного типа; специфическую интонационную окраску слов; фонетические средства выражения оценки (аллитерация); акцентное выделение соответствующего оценочного слова в предложении; суффиксы субъективной оценки; слова, семантически соотношенные с понятиями положительного или отрицательного плана (преимущественно имена существительные и качественные прилагательные); слова, употребленные в переносном – метафорическом или метонимическом – значении; слова-интенсификаторы (*очень, чрезвычайно*); местоименные слова (*какая красота!*); фразеологические единицы с ярким экспрессивно-оценочным оттенком (*ни рыба, ни мясо*); сравнения различной грамматической структуры; особые контекстные условия употребления слова (например, использование слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами для выражения отрицательной оценки).

8. К типичным оценочным средствам диалектного текста также относятся:

а) сочетания рационально-оценочного слова с наречиями меры и степени, указывающими на наивысшую степень оценки: *моя дочь страшно красивая, он дал ужасно сложное задание* и т. п.;

б) соединение рационально-оценочной единицы с плеонастическими словами *так, такой*, выражающими нужную говорящему интонацию: *мне так всё надоело, он такой умный* и т. д.;

в) субъективно-модальные синтаксические конструкции с оценочной семантикой: *И кому это нужно! Сейчас, бегу, аж подпрыгиваю!*;

г) жаргонизмы, имеющие оценочное значение: *у неё сын теперь крутой*.

Дарина Младенова (София)

«Загорский клин» в болгарском диалектном ландшафте по данным лингвистической географии

Термин *загорский клин* был введен в болгарскую диалектологию Л. Милетичем в 1902 г. (Милетич 1902: 29–34). Милетич обозначил этим термином около 50 деревень в юго-восточной Болгарии, диалект которых близок к мизийскому диалекту Шумена и Провадии, что приводит его к гипотезе о переселении из этих районов, состоявшемся, вероятно, в XVII в. Гипотеза о переселенческом характере этой группы деревень поддерживается как И. Кочевым (Кочев 1964: 14–15), но с коррекцией охвата ареала загорского клина, так и этнографами. Несколько иной точки зрения, принятой и в более поздних диалектологических публикациях, придерживаются С. Б. Бернштейн и Е. В. Чешко в ста-

тье 1963 г. о классификации диалектов юго-восточной Болгарии на базе данных первого и второго томов БДА. С. Б. Бернштейн и Е. В. Чешко употребляют термин *загорский клин* лишь условно для обозначения группы говоров, которые они считают новыми, образовавшимися в результате смешения местных, рупских говоров и забалканских, т. е. северовосточных говоров, и которые характеризуются «большой диалектной пестротой и отсутствием устойчивых границ» (Бернштейн, Чешко 1963: 298). В понимании С. Б. Бернштейна и Е. В. Чешко «*загорский клин*» намного обширнее, чем в понимании Л. Милетича и И. Кочева. Существует и третья точка зрения, согласно которой мы имеем дело с исконными говорами мизийского типа в юго-восточной Болгарии (эта точка зрения присутствует, напр., у Бернштейна и Чешко 1963: 295 как намек по отношению к восточной части «загорского клина», она представлена и у Кочева 1991: 76) или с исконными диалектами юго-восточного типа как к югу, так и к северу от Старой планины (Цонев 1937: 227, 231).

Возможности наложения и сравнения многочисленных диалектных карт, которые предоставляет компьютерное картографирование при помощи геоинформационных систем, позволяют на том же материале БДА снова поставить вопрос об охвате и характере загорского клина и о его месте в болгарском диалектном ландшафте.

Ареальной лингвистикой пока обнаружены три основных типа макрочленений болгарской языковой территории: (1) запад противопоставляется востоку; (2) запад и юг противопоставляются северо-востоку; (3) север противопоставляется югу (Mladenova 2010). Загорский клин высвечивается только при втором и третьем типе членения и квантитативное картографирование соответствующих членений показывает, что загорский клин является частью северо-восточного или, соответственно, северного ареала, точнее ядер этих ареалов.

К очень интересным выводам ведет квантитативное картографирование диалектных явлений, при котором загорский клин распадается на части, и анализ связей этих частей клина с другими болгарскими диалектами. Пока установлено существование пяти типов членения загорского клина:

(1) Небольшая северо-восточная часть клина ↔ обширная южная часть клина. Северо-восточная часть клина связывается прежде всего с мизийским ареалом (особенно с шуменским говором и со сыртским говором и прилежащим к ним еркечким говором), а также с рупским ареалом. Южная часть клина присоединяется к подбалканскому (сливенскому) говору.

(2) Небольшая северная часть клина ↔ обширная южная часть клина. Северная часть клина характеризуется явлениями, общими для мизийского, балканского и рупского ареалов, а южная часть клина опять связывается с подбалканским говором.

(3) Обширная северная часть клина ↔ небольшая южная часть клина. Северная часть клина имеет северо-восточный характер и связывается как с мизийским, так и с балканским ареалами (включая и подбалканский говор), а юж-

ная часть клина носит рупский характер и связывается прежде всего с тремя частями рупского ареала: с хасковским говором около г. Харманли, с говорами около городов Пырвомай и Чирпан и с тронкским ареалом южнее г. Средец (считается, что в этом ареале живут переселенцы из юго-западной Болгарии).

(4) Северная и южная части клина ↔ центр клина. Северная и южная части клина характеризуются одинаковыми явлениями, типичными для восточно-болгарского ареала в целом, выявляя при этом самые сильные связи с мизийским ареалом, а центр клина связывается с подбалканским говором.

(5) Восточная часть клина ↔ западная часть клина. Восточная часть клина имеет мизийский характер, а западная часть – подбалканский. Границей между двумя ареалами является река Тунджа.

Установленные типы членения загорского клина показывают, что мы действительно имеем дело со смешанным говором, но получился он не в результате взаимодействия северо-восточных и юго-восточных диалектов, как полагали С. Б. Бернштейн и Е. В. Чешко, а вследствие смешения двух северо-восточных диалектов – мизийского и подбалканского. В дальнейшем следует продолжить картографическую работу, уточнить ареал загорского клина и отграничить его от подбалканского говора, который в классификации С. Б. Бернштейна и Е. В. Чешко является частью загорского клина.

На базе разных типов членения загорского клина можно реконструировать три этапа заселения этого района:

(а) Членение (5) на восточную и западную часть отражает заселение мизийского населения из района около Шумена, Преслава и Провадии вдоль реки Тунджи, вероятно, не только на востоке, но и на западе от нее;

(б) Членение (3) устанавливает в самой южной части клина либо рупский субстрат, либо более поздний рупский же суперстрат, возможно, в результате переселения из области около городов Чирпан и Харманли;

(в) Как показывают членения (1), (2), (4) и (5), область загорского клина была залита миграционной волной с запада, из ареала подбалканского говора. В центральной и южной части клина утвердился подбалканский говор, но сохранился и тонкий слой мизийских диалектных особенностей.

БДА – Български диалектен атлас. София: Издателство на Българската академия на науките. Т. 1. Югоизточна България, 1964; Т. 2. Североизточна България, 1966; Т. 3. Югозападна България, 1975; Т. 4. Северозападна България, 1981.

Бернштейн, Чешко 1963 – *Бернштейн С. Б., Чешко Е. В.* Классификация юго-восточных говоров Болгарии // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 22. 1963. Вып. 4. С. 289–299.

Кочев 1964 – *Кочев И.* Населението на Югоизточна България. // БДА 1. 1964. С. 13–20.

Кочев 1991 – *Кочев И.* Любомир Милетич и проблемите на българското езикознание // Македонски преглед 14. 1991. Кн. 2. С. 72–79.

Милетич 1902 – *Милетич Л.* Старото българско население в Североизточна България. София, 1902.

Цонев 1937 – *Цонев Б.* Към подробната характеристика на източнобългарските говори: фонетика, морфология, речник. (Поправки и допълнения към Милетичевата книга

- „Das Ostbulgarische“) // Б. Цонев. История на българский язык. Б. Специални части. Т. 3. София, 1937. С. 195–300.
- Mladenova 2010 – *Mladenova D.* From Linguistic Geography toward Areal Linguistics: a Case Study of Tomatoes in the Eastern Balkans // *Balkanistica*. 23. 2010. P. 181–236 (with 15 maps).

О. А. Могила (Киев)

Лексическая интерференция в украинских говорах карпатского ареала

Последние десятилетия характеризуются пристальным вниманием лингвистов к проблемам интерференции языков и диалектов карпато-балканского ареала, традиционной культуры этого региона. «Карпатское языкознание видит свою задачу в постоянном обращении к балканскому материалу, исследуемому в полном объеме балканским языкознанием с целью установления в балканских языках явлений, корреспондирующих с карпатскими или, напротив, для констатации в обеих зонах несоответственных явлений» (Бернштейн 2000: 257).

Украинские карпатские говоры являются одними из наиболее архаичных в сфере лексики и семантики, поскольку они сохраняют как уникальные черты традиционной культуры, так и ряд соответствий в терминологии и обрядах. Нередко в карпатоукраинских говорах отмечаются такие лексические особенности, которые противопоставляют их всем остальным украинским диалектам, сближая с другими славянскими и некоторыми неславянскими языками. Исследуя лексические и семантические параллели в этих говорах, можно говорить о двух группах номенов: 1. слова праславянского происхождения, которые в разных славянских языках возникают параллельно, и 2. позднейшие слова, которые подробно показывают миграционные движения народов и проявляют лингвистические черты названий, которые адаптировались на украинской почве.

Интересными с лингвистической точки зрения являются дистантные карпатоукраинские-южнославянские параллели в метеорологической лексике, которые могут выступать как локальные соответствия, так и генетически родственные факты, сходные инновации, напр. укр. (закарпатские, гуцульские и бойковские говоры) *по'ледѣц'а*, *поле'дѣц'а*, *поле'д'ниц'а*, *поле'д'аниц'а* ‘гололед’; болг. *полѣдица*, *полѣдница* ‘гололед’, ‘снег с дождем’; макед., хорв., слн. *pole-dica* ‘гололед’ (Koseska: 56); укр. *п'рипарок* (Кинашев, Лоевая Ивано-Франк. обл., Ланы Львовская обл.); болг. *п'рипарица* ‘слепой дождь’ (Koseska: 57).

В украинских карпатских селах распространен сюжет о «мартовской» старухе, инвариант которого известен всем средиземноморским народам, а также их соседям по Балканам (Кабакова: 209). С этой легендой в карпатских говорах, возможно, соотносятся и наименования позднего весеннего снега, а также похолодания весной: *йагн'ачий сн'іг* (Брустуры Ивано-Франк. обл., Луг, Луги, Косовская Поляна, Черная Тиса Закарпат. обл.), *стри'жачий сн'іг* (Луг Закар-

пат. обл.), *тел'ачий сн'іг* (Брустуры Ивано-Франк. обл.), *ов'еча с'туд'ін'* (Черепковцы Черновиц. обл.). Аналогичные модели номинации наблюдаются и у южных славян: болг. *агнешки сняг* 'поздний снег'; схв. *kozoder, kozomor* 'плохая мартовская погода' (Koseska: 34, 73).

Большое число украинско-южнославянских параллелей фиксируется в названиях слепого дождя, который у различных народов мира связан с многочисленными поверьями мифологического характера, поскольку довольно часто «не наименование атмосферного явления, а название процесса, который происходит по народным представлениям, характерно для целого ряда славянских и неславянских диалектных систем» (Толстой 1976: 58). В некоторых названиях этого метеорологического явления прослеживается мотив свадьбы, причем в функции субъекта выступают цыгане: *ци'ганс'ке вес'і'л'е* (Косовская Поляна Закарпат. обл.), *ци'ганс'ке веремн'а* (Брустуры, Нижний Березов, Яворов Ивано-Франк. обл., Луги, Черная Тиса Закарпат. обл.; Милиево, Шепот Черновиц. обл.): *ци'ганс'ке веремн'а: ци'гани л'убл'ат' йак дошч па'де і сонце з'р'іє, бо во'ни то'д'і н'л'ашут* (Черная Тиса Закарпат. обл.). Македонско-румынско-молдавско-украинская изоглосса ⁺v()gem- 'погода (общее название)' при 'плохая погода' в сербском и 'хорошая/солнечная погода' в украинском относится к тем изоглоссам, которые интегрируют карпатские и балканские говоры (Гриценко: 34). Представление о том, что во время слепого дождя происходит свадьба цыган, свойственно и южным славянам: схв. *Цигани се жене; жени се Циганин; Cigani se ženiju; Cigani se ženidu* (Толстой 1976: 59); болг. *дяволь-тъ ся жени, се женеле егюпците* (Геров I: 383; Дополнение: 106). С этим верованием связано и название *ци'ганс'кий дошч*, которое спорадически фиксируется в закарпатских и полесских украинских говорах.

Особый интерес представляют названия слепого дождя, которые в карпато-украинских говорах отчетливо мотивированы так называемым культурным контекстом и образованы по одному и тому же принципу. Как правило, они представляют собой двустипшие, первая строка в котором стабильная *сонце з'р'іє, дошч па'де*, а во второй выражена собственно номинация того процесса, который по народным представлениям происходит во время дождя с солнцем: *босор'кан'а гада б'іє* (Колочава Закарпат. обл.), *босор'кан'а вош'і б'іє* (Дубовое, Лопухов, Нересница Закарпат. обл.), *д'ідо бабу од'а'іє* (Нересница, Турьи Реметы Закарпат. обл.), *бабу д'ідо прода'іє* (Пилипец Закарпат. обл.), *йурко ж'інку прода'іє* (Княжолуки Ивано-Франк. обл.). Эти названия в говорах функционируют как дублиеты к основным, хотя на их основе иногда образуются и регулярные самостоятельные наименования. Словесные клише, построенные на основе такой фольклорно-мифологической интерпретации, известны и южным славянам: болг. *дъждъ иде, слънце пече, дяволь-тъ ся жени* (Геров I: 383); схв. *киша пада, сунце сја, цигани се легу на бијеломе бријегу; киша пада, трава расте, цигани се жениду* (Толстой 1976: 59).

Таким образом, анализ метеорологической лексики показал, что в результате взаимодействия карпатоукраинских говоров с южнославянскими языками формируется корпус общих междиалектных образований.

Бернштейн С. Б. Из проблематики диалектологии и лингвогеографии. М., 2000.

Геров I – *Геров Н.* Рѣчникъ на българский языкъ. Т. 1. Пловдив, 1895.

Гриценко 2008 – *Гриценко П. Е.* Carpatho-balkanica в свете «Общекарпатского диалектологического атласа» // Карпато-балканский диалектный ландшафт: Язык и культура. М., 2008. С. 26–57.

Допълнение – *Панчев Т.* Допълнение на българския рѣчникъ отъ Н. Геровъ. Пловдив, 1908.

Кабакова 1994 – *Кабакова Г. И.* Структура и география легенды о мартовской старухе // Славянский и балканский фольклор: Верования. Текст. Ритуал. М., 1994. С. 209–222.

Толстой 1976 – *Толстой Н. И.* Из географии славянских слов. 8. ‘радуга’ // ОЛА. Материалы и исследования 1974. М., 1976. С. 22–76.

Koseska 1972 – *Koseska V.* Bułgarskie słownictwo meteorologiczne na tle ogólnosłowiańskim. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1972.

С. А. Мызников (Санкт-Петербург)

Лингвогеография и некоторые аспекты этимологических исследований

Работа над лингвогеографическим описанием неисконной составляющей русских говоров Северо-Запада (Мызников 2007), в сочетании с анализом их этимологии, может служить неплохим инструментом при анализе заимствованных или субстратных диалектных данных, а также способом верификации уже выдвинутых этимологических версий. Причем задачи лингвогеографического исследования должны быть следующими: 1) выявление субстратной и заимствованной лексики; 2) уточнение ареальных характеристик таких данных; 3) выявление соотношения ареалов исконной, субстратной и заимствованной лексики; 4) выяснение природы неисконных данных. Причем основной целью такого рода работы представляется отражение на уровне апеллятивной лексики результаты влияния не только прибалтийских языков и диалектов, которые же конечно доминируют в этом плане на обследуемой территории, но и следы коми языка, балтийский субстрат, тюркские заимствования, а также ареалы с доминированием русских данных.

Этимологический анализ лексических данных, традиционно рассматриваемых в качестве единиц финно-угорского происхождения, и новых материалов, собранных полевым путем, привели к выработке ряда методологических положений:

1. Наиболее продуктивен последовательный анализ выбранной тематической или лексико-семантической группы, а не алфавитный, часто разводящий фонетические или деривационные варианты, которые в этом случае рассматриваются раздельно, без соотнесения друг с другом. Особенно если фонети-

ческая вариантность не явная, не представляет собой исторические чередования или недостаточно полно описана.

2. Этимологический анализ диалектных данных неизбежно сопряжен с исследованием их этнографической составляющей.

3. Весьма действенный при выработке этимологической версии и при ее верификации (для диалектных данных) ареальный анализ должен базироваться на точной локализации слова.

4. Наиболее эффективен ареальный метод при верификации этимологических версий для субстратной лексики – поскольку большая часть таких слов представляет собой адаптированные реликты, обычно связанные с определенным субстратным типом со статичной и стабильной зоной распространения, указывающей на язык/диалект-источник.

В зонах высокой интенсивности субстрата довольно часто лексическая манифестация показывает доминирование какого-л. одного определенного типа, например лексема **габук** ‘ястреб’ в Обонежье и Белозерье.

Довольно часто при лингвогеографическом анализе лексических манифестаций какой-л. реалии или концепта фиксируется проявление различных видов и типов субстрата. Так, например, для реалии ‘брус оконной или дверной рамы’ фиксируются данные прибалтийско-финского происхождения: *ne'лька*, имеющая соответствие в вепском языке и карельских диалектах. Лексема **бель** образует ареал на востоке региона, в говорах, непосредственно контактирующих с коми языком, к удорскому диалекту которого она и восходит, ср. коми удар. *бель* ‘косяк’. Причем в литературном коми языке функционирует в этом значении лексема русского происхождения, коми *курич* ‘косяк’, *ödzös курич* ‘дверной косяк’, ср. русск. **курчина** ‘воронец’. Однако и слово *бель* в коми языке не исконно, а представляет собой древнее заимствование вепского типа. Еще одна лексическая манифестация – **зы'нза**. Основной, более частотный вариант **зы'нза** имеет значение ‘полка в доме над окнами во всю длину стены’. А. Подвысоцкий выдвинул немецкую версию происхождения данного материала, ср. *gesims* (Подвысоцкий: 57), к которой присоединился М. Фасмер, приводя также польск. *gzymś* (Фасмер 2: 109). Однако даже более близкое по форме нем. *Sims* ‘выступающий край, выступ на постройке’, связанное с латин. *sīma* ‘сточный желоб, верхняя часть колонны’ (EWD: 1634), вряд ли может служить источником для русского диалектного слова ввиду локальности и отдаленности его ареала. Следовательно, коми ижем. *сымзы* ‘шесты, устанавливаемые в чуме стоймя для подвешивания крюков над костром (к ним подвешиваются поперечные шесты)’ следует трактовать как источник для русского слова.

Мызников 2007 – Мызников С. А. Атлас субстратной и заимствованной лексики русских говоров Северо-Запада. СПб.: «Наука», 2007.

Подвысоцкий – Подвысоцкий А. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1885.

Фасмер – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1–4. М., 1964–1973.

EWD – Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Berlin, 1989. B. 1–3.

С. Л. Николаев (Москва)

Заметки о правостороннем дрейфе праславянского ударения в карпато-балканском ареале

В. М. Иллич-Свитычем было показано, что именные основы славянской окситонированной а. п. (а. п. *b*) соответствуют не индо-европейским окситонированным, как теоретически предполагалось, а исторически тождественным основам с баритонезой в балтийском, греко-арийском и германском. Был сделан вывод, что в праславянских основах а. п. *b* произошёл сдвиг балто-славянского автономного иктуса на слог вправо.

Первоначально В. А. Дыбо и В. М. Иллич-Свитыч считали сдвиг автономного ударения на слог вправо единым праславянским процессом (Иллич-Свитыч 1963: 157–160, Дыбо СА: 11–54). В дальнейшем автором настоящей работы была высказана гипотеза, которую принял В. А. Дыбо, согласно которой славянская единая неподвижная а. п. характеризовалась колонным ударением на корне, и лишь в позднепраславянских диалектах параллельно осуществился правосторонний дрейф ударения с кратких и циркумфлектированных слогов в тех или иных позициях (АССЯ: 18–21; Дыбо 2000: 65–96). По-видимому, наименее затронутой правосторонним дрейфом ударения является вост.-болгарская система. Например, в ст.-болг. памятниках ударение сдвигалось направо на краткий слог только в том случае, если за ним следовал долготный: ст.-тырн. ном.-асс. sg. **пѣсма** < *pĭsmę, gen. sg. **пѣсмене** < *pĭsmene, dat. sg. **къ пѣсмѣни** < *pĭsmeni, instr. sg. **пѣсменѣмъ** < *pĭsmenĕmъ, dat. pl. **пѣсменѣмъ** < *pĭsmenĕmъ ⇔ ном.-асс. pl. **пѣсмена** < *pĭsmenā; ном.-асс. sg. ст.-тырн. **плѣма**, Книги Царств **плѣме** < *plĕmę; gen. sg. ст.-тырн. **плѣмене**, Книги Царств **плѣмене**; dat. sg. Книги Царств **плѣмену** < *plĕmenu; dat. pl. **плѣменѣмъ**; instr. pl. Книги Царств **плѣменѣми** < *plĕmenĕmi; loc. pl. ст.-тырн. **плѣменѣхъ**, Книги Царств **плѣменѣхъ** < *plĕmenĕxъ, -ъхъ ⇔ ном.-асс. pl. Книги Царств **плѣмена** < *plĕmenā, gen. pl. ст.-тырн., Книги Царств **плѣменѣ** < *plĕmenĕ (см. ОСА: 166–168, 211).

В результате отнесения правостороннего дрейфа ударения к позднепраславянским диалектным явлениям, происходившим более или менее независимо в разных диалектах (аналогично широко известному другому общеславянскому процессу – «падению слабых еров»), возникла проблема реконструкции места в ряде основ, для которых теория предполагает альтернативные положения иктуса, а последовательно проведенный правосторонний сдвиг ударения в «классических» языках акцентологического сравнения, включая литературные сербскохорватский и русский, не позволяют выбрать однозначный вариант реконструкции. В таких случаях существенную помощь оказывают диалекты славянской периферии, в которых правила правостороннего сдвига ударения в тех или иных «микропозициях» действовали наперекор «общеславянскому тренду».

В частности, праславянские *o*-основы neutra а. п. *b* в традиционной реконструкции (например, у Хр. Станга) имеют окситонезу с насуффиксальным

иктусом: *rĕgò, *vĭnò, *lĭcĕ и т. п. Теоретически подобные основы могли иметь 1) доминантные корни, в таком случае до правостороннего дрейфа основы имели вид *rĕgo, *vĭno, *lĭce и т. п.; 2) рецессивные корни с доминантной темой (а именно такую маркировку имеет тема -o- при «вторичной тематизации»), и в этом случае их первоначальный вид *rĕgò, *vĭnò, *lĭcĕ и т. п.

По-видимому, первоначальную оппозицию форм neutra с автономным ударением на корне vs. суффиксе частично сохраняют староштокавские говоры Черногории, в том числе говор Пипери (Стевановић 1940: 104–117).

Краткосложные основы сохраняют первоначальное место ударения:

1) *čĕlo (рус. *челó*) > Пипери *čĕlo*; *lĕ(k)to > *lĕto* ‘врата на кошнице’; *rĕgo (рус. *перó*) > *pĕro*; *rĕšĕto (рус. *рушĕтó*) > *rĕšĕto*; *sĕlo (рус. *селó*) > *sĕlo*; *stĕklo (рус. *стеклó*) > *stĕklo* (наряду с *sklò*); *vĕslo (рус. *веслó*) > *vĕslo*;

2) *bedrò (рус. *бедрó*) > *bedrò*; *dobrò (рус. *добрó*) > *dobrò*; *dĕnò (рус. *дно*) > *dnò*; *ĕdrò (рус. *ядрó*) > *jedrò*; *pletjĕ (рус. *плечó*) > *plečĕ*; *rĕbrò (рус. *ребрó*) > *rebrò*; *sĕbrĕgò (рус. *серебрó*) > *srebrò*; *stegnò (рус. *стегнó*) > *stegnò*; *zĕlò (рус. *зло*) > *zlò*.

Неясно распределение иктуса в долгосложных основах; они представлены только окситонированными формами, но материала для выводов недостаточно: *krĭlò*, *pĭsmò*, *porieklò*.

Вследствие признания правостороннего сдвига ударения диалектным возникла проблема праславянской реконструкции срединных «акутов» в ортотонических основах типа *kolĕno, *lorata в случаях, если 1-й гласный краткостный/циркумфлектированный, а 2-й гласный имеет акутовую интонацию. Согласно теории, во всех позднепраславянских диалектах подобные основы с доминантным акутом во 2-м слове основы должны были иметь колонное «староакутовое» ударение (*korŭto, независимо от акцентуационной валентности 1-го слога), тогда как основы с рецессивным акутом во 2-м слове – ударение на гласном, предшествовавшем акутированному (*kòlĕno). Ударение в формах типа *kòlĕno (где ~ ортотоническое ударение «типа неоакута», ^ безударный акут) в позднепраславянских диалектах могло себя вести по-разному в зависимости от позиционных правил правостороннего дрейфа ударения. В языках «классического сравнения» формы типа *kòlĕno > *kolĕno, благодаря чему праслав. типы *korŭto и *kòlĕno акцентологически перестали различаться: серб.-хорв. *kòpito* (< *korŭto*), *kòljeno* (< *koljĕno*), русск. *копѣто*, *колѣно*.

В закарпатских ужанских говорах, относящихся к карпатоукраинскому (галицкому *sensu lato*) диалекту украинского языка, в отличие от остальной части восточнославянского диалектного континуума, праслав. акут имеет особые рефлексивы в ряде «микроразличий». В частности, двусложные «полногласные» основы со «старым акутом» в ужанских говорах имеют баритонезу: *móroz* < *mòrgzĕ (укр., рус. *морóз*), *hórox* < *gòrgĕx (укр., рус. *горóх*) – в отличие от неоакута, при котором ужанские говоры имеют окситонезу: *koról* < *kòrlĭjĕ, *xvorós(t)* < *xvòrstĕ.

В ужанских говорах в основах типа *копыто/лопата*, *колено/колиба*, по-видимому, сохраняется архаичная ситуация, при которой правосторонний сдвиг иктуса с 1-го слога не происходил, если 2-й слог имел интонацию «рецессивного акута»:

*kǒlěno > Люта, Т. Поляна, Новоселица *kǒl'ino*; *kǒġŭto > Люта, Новоселица *kǒcooto* (Т. Поляна *koróoto*, видимо, с заимствованным ударением); *rǒlěno > Люта, Новоселица *rǒl'ino*; *kǒl'iba > Ярок *kuǒl'iba* 'шалаш, времянка', Новоселица *kólyba*; *mǒġŭla > Ярок *tuǒlyla* (заимствованное ударение в Ярок *moŭyla*; Новоселица *moŭyla*).

Старое ударение на слоге с «доминантным акутом» сохраняется: *korŭto > Люта, Т. Поляна, Новоселица *koróoto*; *loráta > Ярок *lopáta* 'хлебная лопата', Новоселица *lopáta*; *motŭka > Ярок *moŭika*, Новоселица *motŭka*; *orkŭta > Ярок *rokita*, Новоселица *rokŭta*; *telěga > Ярок *teŭ'iga*, Новоселица *teŭ'iga* (Материалы КЭ).

Иллич-Свитыч 1963 – *Иллич-Свитыч В. М.* Именная акцентуация в балтийском и славянском. Судьба акцентуационных парадигм. М., 1963.

Дыбо СА – *Дыбо В. А.* Славянская акцентология. Опыт реконструкции системы акцентных парадигм. М., 1981.

АССЯ – *Дыбо В. А., Замятина Г. И., Николаев С. Л.* Основы славянской акцентологии. Словарь. М., 1993.

Стевановић 1940 – *Стевановић М.* Систем акцентуације у пиперском говору // Српски дијалектолошки зборник. Књ. X. 1940.

Книги Царств – ст.-торлакская (?) рукопись в сербской орфографии с акцентуационной системой, родственной вост.-болгарской, XV в., Одесская гос. народная библиотека.

Материалы КЭ – Материалы карпатских экспедиций Института славяноведения: говоры сел Люта Великоберезнянского, Новоселица и Турья Поляна Перечинского, Ярок Ужгородского р-на Закарпатской обл. Украины.

А. А. Плотникова (Москва)

Карпатская культурно-языковая общность в балканской перспективе

Работа над проектом с одноименным названием предполагает этнолингвистическое исследование неоднородной в генетическом плане карпатской культурно-языковой общности. В этой области у ученых Института славяноведения РАН уже накоплен значительный опыт этнокультурного и этнолингвистического изучения сходной по принципам формирования балканской общности. Для изучения балканской общности оперативным понятием уже много десятилетий служит термин «балканский языковой союз», а в последние десятилетия – «балканская модель мира» (Т. В. Цивьян). Карпатская зона может рассматриваться также и как севернобалканский ареал (работы Самуила Борисовича Бернштейна), поскольку по целому ряду лингвистических и этнокультурных признаков образует сложный по структуре карпато-балканский ареал, что подтверж-

дают данные «Общекарпатского диалектологического атласа», включающего и карпатскую, и балканскую зоны.

В последнее время общими для этнокультурного и этнолингвистического изучения карпато-балканской зоны становятся такие понятия, как «миоритическое пространство», «территория мастера Мано(й)ле». Первое – в связи с уникальным явлением румынского фольклора – балладой «Миорица», в которой выражена характерная для Балкан идея жертвенности в слиянии с окружающей природой, второе – на почве баллад с общим сюжетом: рум. «Мастер Маноле», венг. «Мастер Келемен», серб. «Мастер Маноиле», «Строительство Скадара», болг. «Замурованная невеста», греч. «Артский мост». Интерпретация возникновения общих для карпатской типологической общности явлений в языке и культуре неизбежно ведет к анализу соседствующих традиций, прежде всего, балканских, а также и восточнославянских, западнославянских. Это непосредственно касается вопросов «карпатской миграции славян» в позднеславянскую эпоху и обратного движения балканских народов на север в Средние века (работы В. М. Иллич-Свитыча, С. Б. Бернштейна). Изучение процессов формирования сходных (а зачастую и единых) или противопоставленных явлений в карпато-балканской зоне требует лингвогеографического подхода к диалектным фактам языка и культуры (основополагающими становятся принципы выявления культурных диалектов, заложенные в работах Н. И. Толстого).

Применение лингвогеографического подхода к фактам языка и культуры осуществляется на базе полевых исследований по этнолингвистическому вопросу. Этнолингвистический вопросник включает вопросы, сформулированные таким образом, чтобы собрать терминологическую лексику в генетически разных языках (принцип «от значения к слову»), а также и экстралингвистические сведения о самих реалиях, для чего введены темы для бесед по народному календарю, семейной обрядности (рождение, свадьба, смерть) и народной мифологии. Разработанная методика опроса предполагает выявление наиболее существенных для исследуемой традиции культурных явлений с последующим выяснением их местных наименований. Такие исследования активно проводились в балканославянских регионах – в Сербии, Болгарии, Македонии в 1997–2006 гг. (см., в частности, монографию А. А. Плотниковой «Этнолингвистическая география Южной Славии». М., 2004; публикации этнолингвистических материалов из балканославянских регионов в сборнике «Исследования по славянской диалектологии», вып. 7, 10, 12, и др.). В последние годы этнолингвистический вопросник (Плотникова А. А. «Материалы для этнолингвистического изучения балканославянского ареала», М., 1996; Переизд.: М., 2009) успешно применялся в регионах севернее Дуная, т. е. в зоне Южных Карпат в Румынии (регионы Вылчи и Буззу); Восточных Карпат на Украине (регион Верховины в Закарпатье, Коломыи и Верховины на гуцульщине), Западных Карпат в Средней Словакии (Малая Фатра и Орава). Эти опыты работы с этнолингвистическим вопросником севернее Дуная подтвердили исходное положение работав-

ших в полевых условиях ученых (А. А. Плотникова, Е. С. Узенева, Н. Г. Голант) о возможности применения данного вопросника, созданного первоначально для целей лингвогеографического изучения балканского региона, в карпатской зоне (см., в частности, публикации Н. Г. Голант и Е. С. Узеновой в сборнике «Карпато-балканский диалектный ландшафт. Язык и культура», М., 2008). Продолжение изучения карпатской общности в культурно-языковом аспекте направлено на выявление диалектной терминологической лексики народной духовной культуры и обозначаемых ею явлений в области народной мифологии, семейной обрядности и народного календаря в западноукраинских, румынских и венгерских селах.

С. К. Пожарицкая (Москва)

Конструкции с *было* (*был, была, были*) в одной диалектной системе

1. Наши наблюдения основываются на материале говором нескольких соседних деревень по течению р. Пёзы (Мезенский р-н Архангельской обл.)¹, которые можно рассматривать как моносистему и которые характеризуются высокой частотностью употребления *был, была, было, были*. Особенностью говора является существенное преобладание контекстов, в которых *был, была, было, были* согласуются с основной формой глагола-сказуемого, что дает основание предполагать в них сохранившуюся форму древнерусского плюсквамперфекта (ПКП). В совокупности с другими признаками это позволяет признать говор архаической системой. Исследованию подверглись контексты разной структуры:

1. конструкции с *было*, не согласованным с формой основного глагола, формально аналогичные литературному «антирезультативу» (типа *хотел было, но передумал*), с целью определения их статуса в диалектной речи;

2. конструкции с согласованными *был, была, было, были* (типа *вышла была замуж*), формально аналогичных плюсквамперфекту, с целью уточнения их значения и функций в сопоставлении с формами простого претерита;

Отдельно рассматривались а) конструкции с *было* + форма ср.р., в которых признак согласованности/несогласованности нейтрализован, б) конструкции с несогласованным *было* + формы муж., жен. рода и мн. числа, в) конструкции с формами *был, была, были*, согласованными с формами основного глагола.

«Классической» антирезультативной конструкцией мы считаем такую, которая передает разрыв логической цепочки событий в последовательности «на-

¹ В работе представлен материал собственных наблюдений автора и цитаты из статьи М. М. Громовой «Функционирование форм плюсквамперфекта в говорах средней Пёзы (Архангельская область)» // Вопросы русского языкознания. Вып. XIII. Фонетика и грамматика. М., 2010. Общий объем материала – около 200 цитат из магнитофонных записей.

мерение → действие → результат» и в которой имеется два предиката, соединенных сопоставительными либо противительными отношениями (*хотел было, но не пошел; пошел было, но вернулся; пошел было, но никого не застал*), а *было* в интерпретируется как частица, утратившая согласование. Предполагается, что в диалекте это может быть иначе, в частности, в связи с особенностями синтаксического устройства диалектного текста как разновидности устной спонтанной речи, в которой, как известно, слабо выражены синтаксические связи между отдельными клаузами.

II. 1. Большинство конструкций с *было* + форма ср. рода представляют собой безличные предложения (16 из 22). Только в одном из них второе сказуемое «антирезультативно» по отношению к первому (*Парализовало ей было, да отошло*), в остальных – либо первое сказуемое прецедентно, но не антирезультативно по отношению ко второму (*У нас лодки было начало вертеть и перевернуло совсем с мотором*), либо просто констатируется факт прошлого, не обязательно далекого (*У Марьи сейгод было скрыло [крышу], у Фёдора дровеник скрыло да*).

II.2. Из имеющихся контекстов с несогласованным *было* только в одном эксплицитно выражено антирезультативное отношение между клаузами: *председатель-от был тоже раненый был, но они тут было у нас пустили стадо оленей с председателем сельсовета, их потом привлекали к уголовной ответственности*. Результат действий «председателей» аннулирован действиями другого, не названного субъекта.

II.3. Семантика высказываний с согласованными компонентами и более чем одним предикатом (один из которых – условный ПКП) состоит в описании нескольких ситуаций, которые могут: 1) существовать одновременно: *Эта срублена, а эта выгнила была; Когда он был работал, еще был совхоз*; 2) находиться в отношении хронологической, но не логической последовательности, когда вторая ситуация не является ни результатом, ни «антирезультатом» той, в которой сказуемое имеет форму ПКП: *Был сын прибежал, опосле в Мезень позвонили*. При этом вторая ситуация может иметь место и в настоящее время: *Какой там взвоз – ступешки, лесенка, а раньше было на конях заезжают!* Отношение формы ПКП к форме второго сказуемого в этом случае имеет только таксисный характер; 3) отношение формы ПКП к форме второго сказуемого может иметь таксисно-результативную семантику: *его были посадили, дак жонка-та уехала*; 4) форма ПКП не является первой в последовательности действий или ситуаций: *были на похоронах, зимой-ту все были приехали, собирались*. Возможна, в том числе, и обратная последовательность действий: *как дом построили, сразу посадили были кусты*. Формы ПКП и простого прерита в этом случае грамматически синонимичны.

II.4. В высказываниях с одним предикатом, где последовательность смены состояний эксплицитно не выражена, переход от одного состояния к другому

может подразумеваться (*Или от бабка Баковска утерялась была* [известно, что потом нашлась]), но может быть лишь констатацией факта: *Я была на похороны ездила зимой; Мой муж был убил волка.*

III. В итоге следует признать, что антирезультативная семантика конструкций с *был, была, было, были*, представленная единичными контекстами, в диалекте не сформировалась. Значение формы условного ПКП может быть определено как в первую очередь результативное (70% форм от глаголов соверш. вида), во вторую очередь – таксисное.

Т. В. Попова (Москва)

О лингвогеографическом изучении восточнославянских диалектов

1. С начала 90-х годов XX в. силами московских диалектологов ИРЯ РАН (головная организация), ИнСлав РАН и филологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова ведется – впервые в славистике – изучение диалектов трех восточнославянских языков (русского, украинского и белорусского) в лингвогеографическом аспекте. В последние два года к указанной работе подключились и украинские диалектологи.

За это время вышло из печати 4 выпуска (1995, 1998, 2000, 2006) коллективного труда «Восточнославянские изоглоссы» (далее – ВСИ) и подготовлена к печати российско-украинская коллективная монография «Восточнославянские диалекты в лингвогеографическом аспекте. Теория и практика исследования» (далее – ВДЛА), сохраняющая преемственность по отношению к предшествующему труду ВСИ в плане общей проблематики и используемой методики.

2. Как ВСИ, так и ВДЛА представляют собой диалектологическое исследование нового типа: здесь, наряду с лингвогеографическим анализом отдельных явлений разных уровней языковой системы, уделено большое внимание их всесторонней интерпретации, а также вопросам, имеющим общетеоретическое значение и представляющим интерес для славистики в целом.

3. В основу исследования восточнославянских диалектов положена *диалектологическая и лингвогеографическая концепция*, разработанная Р. И. Аванесовым для ДАРЯ, ДАБМ и ОЛА и получившая дальнейшее развитие в таких лингвогеографических трудах, как «Атлас болгарских говоров в СССР» (М., 1958), «БДА. I. Юго-източна България» (София, 1964), КДА (М., 1967), ОКДА, инициатором которых и одним из ответственных редакторов был С. Б. Бернштейн.

Центральной идеей указанной концепции является признание того, что диалектное пространство, объединяющее диалекты разных языков (в данном случае – восточнославянских), рассматривается в качестве *единого и целостного объекта лингвогеографического исследования*. Это означает, что общая совокупность диалектов трех восточнославянских языков интерпретируется как отдельная сложная система (т.е. система диалектного языка, или диасисте-

ма), структура которой состоит из общих для всех диалектов и варьирующихся (т. е. различающихся в отдельных частных диалектных системах) звеньев.

4. Исследование восточнославянских диалектов осуществляется при помощи *лингвогеографического метода рекартографирования*, применяемого к материалам национальных атласов (ДАРЯ, АУМ и ДАБМ) и другим работам по восточнославянским диалектам. Для этой цели используется специальная сводная карта-бланковка восточнославянской территории. Эффективность и перспективность данного метода заключается, в частности, в том, что, не замыкаясь в границах одного языка, он дает возможность расширить пространство лингвистических наблюдений и глубже проникнуть в суть анализируемых явлений.

5. Все явления, показанные на картах, получают всестороннюю интерпретацию (описательную, ареалогическую, типологическую, историческую) в сопровождающих каждую карту развернутых комментариях-исследованиях.

6. Сопоставительный анализ восточнославянских диалектных явлений дает возможность при рекартографировании определить и обозначить на сводной карте неизвестные ранее ареалы (наряду с описанными прежде в работах по лингвогеографии отдельных восточнославянских языков), которые образованы различными диалектными явлениями разных уровней. Многие из этих ареалов локализируются не в пределах одного языка (русского, украинского, белорусского), а распространяются на соседние территории родственных языков, что подтверждает важнейший тезис лингвогеографии о нерелевантности понятия «языковая граница» в пределах определенного (в данном случае – восточнославянского) диалектного пространства. Все выявленные и показанные на картах ареалы в своей совокупности составляют *единый восточнославянский диалектный континуум*, а каждый из них является неотъемлемой его частью.

7. ВСИ и ВДЛА по своему характеру, в отличие от национальных и региональных атласов любого типа, выходят за рамки чисто лингвогеографического источниковедческого труда: в них, одновременно с непосредственно лингвогеографическими задачами, содержится и следующий, исследовательский (интерпретационный) этап работы. Комментарии карт в ВСИ и ВДЛА не только объясняют особенности построения карты и характеризуют качество материала (как это делается во всех типах атласов), но содержат и разностороннюю интерпретацию самих картографируемых явлений. В связи с тем, что необходимость интерпретационного подхода к диалектному материалу – как отдельная задача – до сих пор при создании атласов не ставилась (ср., например, ДАРЯ, АУМ, ДАБМ), труды ВСИ и ВДЛА представляют собой *новый тип* работы в области лингвогеографии, который совмещает источниковедческий и исследовательский (интерпретационный) аспекты.

8. Отметим, что прототипом лингвогеографического исследования с элементами интерпретации картографируемых явлений можно в определенной степени считать «Атлас болгарских говоров в СССР» (М., 1958). Программа «Атласа», созданная при участии и под непосредственным руководством С. Б. Бернштей-

на, предусматривала, наряду с чисто лингвогеографическими задачами, и необходимость определения тенденций развития тех или иных явлений, распределения вариантов по возрастным группам, выявления их частотности, привлечения некоторых исторических данных. По мнению С. Б. Бернштейна, данные сведения являлись чрезвычайно важной частью работы в процессе исследования сложной диалектной ситуации, которая была обусловлена наличием переселенческих болгарских говоров, относящихся к разным диалектным группам. Именно комплексный подход к интерпретации диалектного материала в «Атласе» позволил в дальнейшем создать убедительную, признанную и в Болгарии, классификацию болгарских говоров на территории СССР.

9. Из сказанного следует, что опыт картографирования и комментирования диалектных явлений в «Атласе болгарских говоров в СССР», вышедшем в свет в 1958 г., и сегодня не потерял своей актуальности.

Ю. Ю. Саввина (Елец)

Наименования растения ‘крапива’ в русских говорах (лингвогеографический аспект)

Издrevле человека окружают растения. Ареал распространения некоторых растений – повсеместно, другие эндемичны только для некоторых территорий. Анализ наименований фитонимов в русских говорах свидетельствует о разных мотивационных признаках, положенных в основу наименований растений, что, по словам Т. И. Вендиной, позволяет говорить о разнице в «мироощущении, мирочувствовании, мирозерцании и мироценке русского народа» (Вендина 2000: 33).

Целью данной статьи является рассмотрение наименований растения крапива на территории распространения русского языка, выявить словообразовательные различия фитонима в диалектном языке и мотивировочные признаки, положенные в основу того или иного названия.

Материалом для наблюдения послужили данные, собранные исследователями для составления Лексического атласа русского языка, а также собственные наблюдения автора, сделанные на территории, занимаемой елецкими говорами. Нами проанализированы ответы на вопрос Л 140 Программы для собирания сведений для Лексического атласа русских народных говоров (Программа собирания сведений для Лексического атласа русских народных говоров 1994: 24).

Материал, собранный для ЛАРНГ, показал, что для общего обозначения крапивы *Urtica dioica* в русских говорах существует 26 наименований, которые представлены простыми и только одним составным названиями: *жсалица, жсгучая, жсгучка, жсгала, жсгальник, жсгальница, жсгарь, жсгливка, жсгука, жсгунья, каприва, костра, кострика, крапива, крапивица, крапивник, крапивница, краснуха, крепива, крипица, кропь, скряпива, сретива, стрекава, стрекавая кра-*

пи́ва, стреку́чая. Из этих лексем словарь елецких говоров содержит: *жегала, крапива, кострика* (3 наименования). Однако елецкие говоры дополняют этот список ещё двумя названиями – *жалюга, глухая крапива*.

Все наименования, представленные в материалах ЛАРНГ, мы считаем общим обозначением крапивы. Согласно «Полному справочнику лекарственных растений» крапива как гипероним имеет 5 видов. Однако при опросе информантов выяснилось, что носители елецких говоров практически не видят различий в этих сортах. Исключение составляет номинант *крапива глухая*, которым жители Ельца и Елецкого района называют, как оказалось, совершенно другое растение *пустырник сердечный (Leonurus cardiaca L.)*.

На большей части территории употребляется, как правило, одна лексема крапива. В некоторых населённых пунктах сосуществуют 2, 3 наименования. Так, на территории Ельца и Елецкого района в некоторых населённых пунктах бытуют следующие лексемы: *крапива – кострика – жегала* (ст. Телегино, д. Казинка, с. Капани, г. Елец), *крапива – жалюга* (д. Аксёнкино, с. Паниковец). Сосуществование в одном и том же населённом пункте нескольких номинаций объясняется разным возрастным цензом жителей (люди старшего поколения склонны употреблять в своей речи диалектные названия, жители молодые – литературные слова, хотя многим и диалектные названия известны). Интересно, что употребление составного названия *глухая крапива* замечено нами повсеместно.

Таким образом, обозначение растения крапива в русских говорах, в частности и в елецких, представлено разными словами и их словообразовательными вариантами, а также различными словосочетаниями.

Большинство наименований крапивы связано со способностью жечься, обжигать тело человека маленькими волосками или возникновение наименования от существительного *костёр*. К первой группе наименований можно отнести следующие слова: *жалища, жгучая, жгучка, жегала, жегальник, жегальница, жегарь, жеглипка, жегука, жегунья, скряпи́ва, сретива, стрекава, стрекавая крапива, стреку́чая*. Ко второй – *каприва, костра, кострика, крапива, крапивица, крапивник, крапивница, крепива, крипица, кропь, скряпи́ва*. Особняком стоит один номинант *красну́ха*, в основе которого положен мотивировочный признак «след на теле человека, оставшийся после ожога крапивой».

От производящего слова *жалить* (корня *жал-*) образуется простое наименование женского рода *жалища*, от слова *жѣг* – *жгучая, жгучка, жегала, жегальник, жегальница, жегарь, жеглипка, жегука, жегунья*, от глагола *стрека́ть* «колоть, жечь» – *стрекава, стреку́чая*, от глагола *кропи́ть* – *каприва, костра, кострика, крапива, крапивица, крапивник, крапивница, крепива, крипица, кропь*.

Н. М. Шанский указывал на запах растения *крапивы* (Шанский и др. 1971: 218). Если это предположение верно, то растение крапива первоначально могло быть названо по запаху, поскольку перед употреблением в пищу её обдают кипятком, и она, как и другие душистые травы, сильно пахнет.

В русских говорах имеется и составное наименование растения, в которое входит указывающее на способность растения колотья, жечься: *стрекавая крапива*.

Таким образом, во всех номинациях растения крапива лежит мотивировочный признак – способность жечься, придавать нестерпимую боль человеку.

Вендина 2000 – *Вендина Т. И.* Ценности и оценки в пространстве словообразования // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 1997. СПб.: Изд-во ИЛИ РАН, 2000. С. 24–34.

Программа собирания сведений для лексического атласа русских народных говоров. Научно-методическое пособие. СПб.: ИЛИ РАН, 1994.

Шанский и др. 1971 – *Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В.* Краткий этимологический словарь русского языка. М., 1971.

Ю. В. Смирнова (Москва)

Системы южнорусского предупредного яканья на общевосточнославянском фоне

В южнорусских диалектах отмечается большое количество типов предупредного яканья. Для некоторых из этих систем предлагаются различные способы описания и объяснения их организации. Примером являются щигровский, суджанский и дмитриевский типы. Традиционно их относят к диссимилиативным системам, однако при этом в них наблюдается разная реализация гласных фонем в позиции перед ударными звуками одинаковой степени подъема.

Так, в щигровском типе на месте фонем неверхнего подъема перед ударными [e], [’o] (из *e, *b) произносится гласный [и], а перед [o] (из *o, *b) – [a]. Образование этого типа обычно связывается с совпадением в говорах фонем ⟨δ⟩ и ⟨o⟩ (в звуке [o] среднего подъема). Тот факт, что при этом закрепляется именно предупредный [a], может объясняться большей частотностью словоформ с *δ, см., например, [5: 76, сноска 18]. Действительно, фонетически нельзя объяснить обобщение именно гласного [a], поскольку при совпадении ударных фонем в звуке среднего подъема следовало бы ожидать перед ним произношения [и] (что наблюдается перед [e], [’o]).

Относительно суджанского типа высказывалось мнение, что при его формировании уже было утрачено различие ⟨δ̂⟩ и ⟨e⟩, но сохранялось противопоставление фонем ⟨δ̂⟩, ⟨o⟩ [5: 75], то есть наблюдались условия, обратные условиям образования щигровского вокализма (такая точка зрения применима и для дмитриевского яканья). Дальнейшее обобщение [a] в позициях перед *δ̂ и *o вновь объяснялось большей частотностью словоформ с ударной ⟨δ̂⟩ [Там же: 75, сноска 16].

У данных способов объяснения обнаруживается ряд недостатков. Так, нет надежных данных о существовании современных говоров с различием ⟨δ̂⟩, ⟨o⟩, но отсутствием различия ⟨δ̂⟩, ⟨e⟩ [2: 168–169]. Кроме этого, суджанское и

дмитриевское яканье встречается и в говорах с сохранившейся фонемой (ê) [там же: 153, 168]. Наконец, не вполне ясно, почему нет соответствующих систем вокализма в позиции после твердых согласных (хотя здесь тоже могло бы происходить обобщение произношения).

Относительно этих типов высказывалась и иная точка зрения – о возможном влиянии согласного, следующего за предупредительным гласным (то есть о действии так называемого принципа умеренности). Так, перед [o] (из *o, *ъ) и [ô] чаще всего произносятся твердые согласные, а перед [e], [ê] – смягченные, чем и может определяться качество предупредительного гласного – см, например, [3: 94–95, 100].

Для решения этой проблемы могут быть привлечены данные украинских и белорусских диалектов. Если в русских говорах диссимилиация является качественно-количественной, так как с изменением подъема гласного изменяется и его долгота [2: 157–158], [1: 36–37], то в ряде украинских и белорусских существуют типы, основанные только на количественной диссимилиации. При этом в таких говорах отмечены системы, в основе своей сходные с южнорусскими архаическим и жиздринским типами «чисто диссимилативного» вокализма – долгий [a] или [e] произносится в позиции перед звуками верхнего и верхне-среднего подъема, а в некоторых говорах появляется и перед гласными среднего подъема, см. [4: 242–250], [1: 32]. Типы же, подобные щигровскому, суджанскому или дмитриевскому, в этих говорах не обнаруживаются. Однако в украинских диалектах всё же отмечена неодинаковая реализация гласных фонем перед ударными звуками верхне-среднего подъема – долготы перед (ô) могут быть менее регулярными, чем долготы перед (ê) (данный факт соотносится с относительно поздним возникновением здесь фонемы (ô)) [4: 245]. Важно, что это наблюдается (в отличие от сходных явлений в русских говорах) и в позиции после твердых согласных, что подтверждает непосредственную связь с судьбой (ô).

Этими фактами может поддерживаться точка зрения, что в рассматриваемых южнорусских системах определяющим фактором в соответствующих позициях всё же следует считать не тип ударного гласного и различные обобщения, а тип последующих согласных звуков. Именно твердость или мягкость согласного может влиять на качество (в том числе подъем) гласного, и именно в позиции после мягкого гласные в русских говорах наиболее подвержены такому воздействию. Это позволяет объяснить тот факт, что данные системы не отмечаются как в позиции после твердых, так и в говорах с чисто количественной диссимилиацией – то есть в тех случаях, когда нет соответствующих условий для влияния согласного, или же когда система вокализма основана не на качественном, а только на количественном противопоставлении.

Тем самым такие типы яканья, как суджанское, щигровское и дмитриевское, могут быть поставлены в один ряд с частью других сложных систем южнорусского вокализма. Все они могут быть объединены в рамках *диссимилативно-умеренного яканья*, если использовать данный термин не в традиционном, а в

более широком смысле – применительно ко всем типам, сочетающим диссимилятивность и умеренность. Схемы некоторых из этих систем, основанные на рассмотрении позиций перед этимологическими ударными гласными, см. далее.

Щигровское:

и	ы	у	у
'ê			ô
'e		'o	о
'a	a		

Суджанское:

и	ы	у	у
'ê			ô
'e		'o	о
'a	a		

Дмитриевское:

и	ы	у	у
'ê			ô
'e		'o	o
'a	a		

2-й тип «умеренно-диссимилятивного» яканья:

и	ы	у	у
'ê			ô
'e		'o	о
'a	a		

3-й тип «умеренно-диссимилятивного» яканья:

и	ы	у	у
'ê			ô
'e		'o	о
'a	a		

1-й тип «умеренно-диссимилятивного» яканья:

и	ы	у	у
'u			y
'ê			ô
'e		'o	о
'a	a		

В схемах приведены традиционные названия типов (в данном случае их использование условно). Полужирным шрифтом выделены те ударные гласные, перед которыми произносится звук типа [и], перед прочими произносится звук типа [а]. Рамка указывает на те ударные гласные, перед которыми произношение [а] или [и] соотносимо с положением перед твердым или смягченным согласным.

Как видно, данные системы отличаются главным образом тем, на позиции перед какими ударными гласными распространяется область умеренности (умеренность чаще наблюдается перед звуками среднего и верхне-среднего подъёмов, диссимилятивность же наиболее устойчива в положении перед гласными верхнего подъёма).

1. *Войтович Н. Т.* К вопросу о путях развития яканья в восточнославянских языках. II // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1971. М., 1974.
2. *Князев С. В.* Структура фонетического слова в русском языке: синхрония и диахрония. М., 2006.

3. Кудрявцев Ю. С. Относительная хронология типов аканья по данным лингвистической географии // Язык и текст: Межвузовский сборник. СПб., 1998.
4. Назарова Т. В. Аканье в украинских говорах // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1975. М., 1977.
5. Хабургаев Г. А. Географическое варьирование системных отношений как материал исторической диалектологии // Русские говоры. К изучению фонетики, грамматики, лексики. М., 1975.

А. Н. Соболев (Санкт-Петербург)

Балканский языковой союз и славянские языки

Для балканской конвергентной группы языков (балканской лингвистической общности) традиционно используется термин «языковой союз». Необходимым и достаточным условием для признания языков конвергентной группой (союзом) мы считаем наличие регулярных соответствий в функциях лингвистических единиц всех языковых уровней (субстанциальные схождения при этом оказываются неизбежным сопутствующим признаком). Функциональные и субстанциальные признаки балканской лингвистической общности, именуемые балканизмами, определяются остенсивно как некоторая лингвистическая и благоприобретаемая сущность языков полуострова.

Славянские языки выступают в балканском языковом союзе как в роли донора, так и в роли реципиента. В обоих случаях на контактноиндуцированные языковые изменения накладываются ограничения, обусловленные структурными характеристиками взаимодействующих языков. В докладе рассматриваются антидонационные характеристики славянских языков и выдвигается гипотеза касательно причин их антидонационности.

А. В. Тер-Аванесова (Москва)

Подвижность ударения и счетная форма у существительных мужского рода в некоторых северо-восточных русских говорах

Подвижное ударение у существительных мужского рода в восточных русских говорах обычно сводится к двум основным акцентным типам (а. т.), представленным также в литературном языке: а. т. С (ударение на начальном слоге в формах ед. числа, кроме местного падежа, в счетной форме и в И. мн., ударение на окончании в формах косвенных падежей мн. числа и в М. ед.: *кóроб*, Р. (Сч.) *кóроба*, М. *в коробу́*, И. мн. *кóробы*, Р. *коробóв*, Т. *коробáми*) и а. т. D (ударение на начальном слоге в формах ед. числа, кроме М. ед, ударение на окончании в формах мн. числа и М. ед.: *сад*, Р. (Сч.) *са́да*, М. *в садú*, И. мн. *сады́*, Р. *садо́в*, Т. *сада́ми*). Хр. Станг считал, что различие двух типов подвижности ударения у слов мужского рода в русском языке восходит к различию акцентных кривых *o- и *u-основ праславянской акцентной парадигмы (а. п.) с,

что в целом подтверждается данными восточнорусских говоров и литературного языка, но неверно для западнорусских и ряда севернорусских говоров. Формально к а. т. D относятся также слова м. рода с ударным окончанием И. мн. *-á* (*бѣрегъ*, Р. (Сч.) *bѣrega*, М. *берегѹ*, И. мн. *берегá*, Р. *берегѡв*), однако слова этого а. т. принадлежали к разным акцентным парадигмам в праславянском.

Впоследствии было доказано наличие у существительных мужского рода в праславянском наряду с а. п. *a*, *b* и *c* особой «смешанной» а. п. *d* (обнаружена В. М. Иллич-Свитычем; начальное ударение (форма-энклиномен) в И. (В.) ед., нафлекссионное ударение в прочих формах парадигмы). В восточнорусских говорах слова праслав. а. п. *d*, как правило, перешли в а. т. С или а. т. D; однако горстка старых **u*- **i*- и консонантных основ сохраняет исконную акцентную кривую а. п. *d* (с рефлексамии форм-энклиноменов в И. (В.) ед. и ударением на окончании в остальных формах); к тому же отдельные слова мужского рода а. п. *d* характеризуются подвижностью ударения типов С или D, но при этом сохраняют, хотя бы в качестве варианта, нафлекссионное ударение в какой-нибудь из форм ед. числа, кроме М. ед. Специфика рефлексов а. т. *d* наиболее отчетливо проявляется в русских говорах с различием двух фонем «типа о».

Ниже приводится материал северо-восточных русских говоров д. Зя́яцево бывш. Усть-Выйского с/с Верхнетоемского р-на Архангельской обл. и д. Арзубиха бывш. Слободского с/с Харовского р-на Вологодской обл., в которых наряду с а. т. С и D имеются особые подвижные а. т. С₁ и D₁ у считаемих **o*-, **u*- и **i*-основ мужского рода с односложным корнем. А. т. D₁ у **o*- и **u*-основ характеризуется нафлекссионным ударением во мн. числе и в счетной форме (в сочетании с числительными *два*, *три*, *четыре*) и подвижностью ударения в ед. числе: нафлекссионное ударение представлено в М., а в говоре Зяяцева у отдельных слов сохраняется и еще в какой-нибудь форме ед. числа. У **i*-основ в говоре Арзубихи (и как один из вариантов – у основы *нос* в говоре Зяяцева) представлен а. т. С₁, отличающийся от а. т. D₁ начальным ударением формы И. (В.) мн. К а. т. С₁ и D₁ относятся слова праславянской а. п. *d*.

А. т. D₁ (Зяяцево):

бок, Р. *бока*, Сч. *бокá*, Т. *боком*, Д.-М. *бокѹ*, И. мн. *бокá*;

брус, Р. *бруса*, Сч. *брусá*, Т. *брусом*, (собирает. *брусѣ*);

гроб, Р. *гроба*, Сч. *гробá* / *гроба*, Т. *гробом*, И. мн. *гробы* / *гробá*;

горп, Р. *горба*, Сч. *горбá*, Т. *горбѡм*, И. мн. *горбы*;

крук, Р. *круга*, Сч. *кругá*, Т. *кругом*, нареч. *кругом*, И. мн. *круги* / *кругá*;

лист, Р. *листа*, Сч. *листа́*, Т. *листо́м*, И. мн. *листы́* ‘листок’;

лоп, Р. *с лѡбу*, Сч. *лѡба* / *лобá*, Т. *лобом*, И. мн. *лобá*;

нос, Р. *с нѡсу*, Сч. *носа́* / *носа*, Т. *под носом*, И. мн. *носы́* / *носа́* / *носы*;

плот, Р. *плѡда*, Сч. *плѡдá*, Т. *плѡдом* / *плѡдѡм*;

прут, Р. *прута*, Сч. *прута́*, Т. *прутом*, (собирает. *прутьѣ*);

рас, Р. *ни рáзу*, Сч. *рзá*, нареч. *рáзом*;

рок, Р. с *ро́га*, Сч. *рога́*, Т. *рогóм*, И. мн. *рога́*;
рят, Р. *ря́ду*, Сч. *ряда́*, Т. нареч. *рядом*, И. мн. *ряды́*;
рот, Р. с *ро́ту* / *ротá*, Сч. *ротá*, Т. *ро́том*, И. мн. *рты́*, Р. мн. *рто́ф*;
сат, Р. ис *са́да*, Сч. *сада́*, Т. *са́дом*, И. мн. *сады́*;
серп, Р. *се́рна* / *серпа́*, Сч. *серпа́*, Т. *серпо́м*, И. мн. *серпы́* / *серпа́*;
сук, Р. *су́ка*, Сч. *сука́*, Т. *су́ком* / *суко́м*, И. мн. *суки́* (/ собирает. *су́цьё*);
шак, Р. ни *ша́гу*, Сч. *шага́*, Т., нареч. *ша́гом*, И. мн. *шаги́*;
цяс, Р. до *ця́су*, Сч. *цяса́*, Т. *ця́сом*, И. мн. *цясы́*.

А. т. С₁ (Арзубиха):

гус, Р. *гу́ся*, Сч. *гуся́*, Т. за *гу́сьём*, И. мн. *гу́си*, Р. *гусе́й*;
груст, Р. *гру́здя*, Сч. *груздя́*, Т. *гру́здём*, И. мн. *гру́зди*, Р. *грузде́й*;

А. т. D₁ (Арзубиха):

клок, Р. *кло́ка*, Сч. *клока́*, Т. *кло́ком*, И. мн. *клоки́*;
рас, Р. ни *ра́зу*, Сч. *раза́* / *ра́за*, нареч. *ра́зом*, И. мн. *разы́*;
рок, Р. ниет *ро́га*, Сч. *рога́*, Т. *ро́гом*, И. мн. *рога́*;
цяс, Р. *ця́са*, Сч. *цяса́*, И. мн. *цясы́ дубóбрье* вам *пойи́ехат*;
шак, Р. ни *ша́гу*, Сч. *шага́*, И. мн. *шаги́*.

Кроме того, в Заяцове на существование в прошлом нафлексии ударения в Т. ед. у слов м. рода а. п. *d* указывает ударение наречий: *бе́гом*, *ладо́м*, *низо́м*, *верхо́м*, *сме́хом* 'в шутку', *веко́м* 'когда-то давно'.

Можно думать, что в обоих говорах нафлексии ударение в формах перечисленных слов восходит к колонному нафлексии ударению а. п. *d*. Материал также показывает наличие в обоих говорах особой счетной формы у значительно большего числа слов м. рода с подвижным ударением, чем в литературном языке. В приведенных примерах счетная форма отличается от Р. ед. нафлексии ударением, однако у многих слов она совпадает с формой И. (В.) мн., имеющей окончание *-á* (ударное); последняя представлена в рассматриваемых говорах шире, чем в русском литературном языке. Подобная распространенность особой счетной формы отмечена также в говорах верхней и средней Пинеги (дд. Лавела, Каскомень, Шотова Гора Карпогорского р-на Архангельской обл.).

Дыбо В. А., Замятина Г. И., Николаев С. Л. Основы славянской акцентологии. М., 1990; *Ониже*. Основы славянской акцентологии. Словарь. М., 1993.

Иллич-Свитыч В. М. Именная акцентуация в балтийском и славянском. Судьба акцентуационных парадигм. М., 1963.

Stang Chr. Slavonic accentuation. Oslo, 1957.

Е. С. Узенева (Москва)

Иден С. Б. Бернштейна о диалектном членении болгарского языка в свете современных полевых исследований

Одним из важных направлений научных разысканий С. Б. Бернштейна было изучение диалектов болгарского языка. Его интересовало состояние и специфика диалектов как в границах болгарского государства, так и вне их. Профессором С. Б. Бернштейном была подтверждена гипотеза, высказанная Ст. Стойковым, о существовании двух диалектных границ: «ятевой», проходившей с севера на юг от Никополя до Пазарджика, и другой, разделяющей восточные области на северо- и юго-восток и протянувшейся с запада на восток от Пазарджика до Бургаса (Стойков 1963: 113; Бернштейн 2000: 110–111). Позднее вслед за Ст. Стойковым (Стойков 1963/2) и Т. Бояджиевым (Бояджиев 1983) Д. Младенова развила идею о первичности членения болгарской языковой территории на северный и южный ареал (точнее на северо-восточный и «западно-южный» ареалы) и вторичности – на западный и восточный (Младенова 2001), в противовес противоположной концепции Г. А. Цыхуна (Цыхун 1999: 26).

Проведенные автором доклада с 1998 по 2009 г. полевые экспедиции в различные регионы Болгарии (25 сел) выявили деление болгарской языковой территории как на западный/восточный ареалы, так и на северный/южный. Исследование народной культуры проводилось по программе А. А. Плотниковой (Плотникова 1996), нацеленной на изучение терминологии различных сфер традиционной культуры: календарной, семейной и хозяйственной обрядности, народной мифологии, а также на сбор большого корпуса диалектных текстов, которые могут быть полезны для диалектологов, этнолингвистов, социолингвистов, антропологов и др.

Собранный материал обнаруживает следующие черты северного ареала в народном календаре: чествование 3 дней в феврале (*Трифонци*) около дня св. Трифона как «волчьих праздников», выбор «царя» виноградников в день св. Трифона, наличие обряда вызывания дождя *Герман*, наименование поминального обряда *помана*, существование группы персонажей *калушаре*, *русалии*, приходящих на русальную неделю для «излечения» больных «русальской» болезнью.

В сфере народной мифологии для северного ареала характерны термин *плетеник* ‘ходячий покойник, беспокоящий людей по ночам’, термин *самодива*, обозначающий женский мифологический персонаж (ср. ю.-болг. *юда*), а также словообразовательный вариант обозначения святочного демона *караконджо* – *каракончо*, что связано, возможно, с особым значением символики коня в северном регионе (ср. яркую «конскую» семантику праздника *Тодоровден* – субботы первой недели Великого поста).

Важно отметить и бытование видовых обозначений обрядового хлеба *кукла* и *кравай*, типичных для севера Болгарии в противовес югу, где известны тер-

мины *колак/колач*. Сюда же следует отнести и обозначения святочного периода (от Рождества до Крещения) как *Мръсници*, *Мръсни дни*. В Подунавье, в Северной Болгарии, известен и термин, обозначающий семейно-родовой праздник, – *служба*, тогда как для юга страны более характерен термин *стопан*, *наместник*.

Свадебная обрядность также весьма репрезентативна в интересующем нас аспекте: северный ареал характеризуют лексемы, образованные от корня *год-*, со значением договора сторон, в противоположность южному *глав-* (*годеж/углава* ‘помолвка’, *годеник/главеник* ‘жених’, *годежари/углавници* ‘сваты’), обозначения посаженных отца/матери *кръстник/кръстница* (ср. юж. *калитата/калимана*), приданого невесты – турцизм *чеуз* (юж. грецизм *прикия*) и др.

Анализ терминологии традиционной духовной культуры позволяет говорить о существовании в Болгарии нескольких ареалов: как традиционно выделяемого восточного и западного, так и северного и южного, что указывает на необходимость привлечения широкого историко-культурного контекста для определения диалекта, понимаемого как не исключительно языковой, но и этнокультурный идиом (Толстой 1995:21). Современные полевые исследования подтверждают верность данного тезиса.

Бернштейн 2000 – *Бернштейн С. Б.* Из проблематики диалектологии и лингвогеографии. М., 2000.

Бояджиев 1983 – *Бояджиев Т.* Принципи и методи за класификация на българските говори // Исторически развой на българския език. Т. 3. Сравнително езикознание. Диалектология. Превод. Доклади от I Международен конгрес по българистика. София, 23.05 – 3.06.1981. София, 1983. С. 205–215.

Младенова 2001 – *Младенова Д.* Към въпроса за относителната хронология на западно-източното деление на българските диалекти // Изследвания в чест на чл.-кор. професор Страшимир Димитров. София, 2001. С. 154–184.

Плотникова 1996 – *Плотникова А. А.* Материали за етнолингвистическото изучение на балканославянския ареал. М., 1996.

Стойков 1963 – *Стойков Ст.* Основното диалектно деление на български език // Славянска диалектология. Т. III: Доклади, съобщения и статии по езикознание. София, 1963.

Стойков 1963/2 – *Стойков Ст.* Към диалектния вокализъм на българския език. (Преглас на гласна *a* в гласна *e*) // Славистичен сборник (по случай V Международен конгрес на славистите в София). София, 1963. С. 285–296.

Толстой 1995 – *Толстой Н. И.* Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.

Цыхун 1999 – *Цыхун Г. А.* Ареалные аспекты диалектологической концепции Стойко Стойкова // Диалектология и лингвистична география / Съставители: В. Радева, Б. Велчева, Вл. Жобов, Г. Колев. Ред. В. Радева. София, 1999. С. 23–29.

Н. В. Боронникова (Пермь)

**Семантика показателей ближнего дейксиса
в македонском языке**

Основу дейктической системы македонского языка составляют три указательных местоимения *овој, тој, оној*. Трехчленной является и система македонского постпозитивного артикля (*-в, -т, -н*). Показатели с корнем *-в* указывают на близкий к говорящему предмет, с *-н* – на удаленный от субъекта речи предмет, если же используется местоименный корень с *-т*, признак *близкий–далекый* от говорящего нейтрализуется. Система указателей македонского языка соотносится с тремя грамматическими лицами: первый член указывает на сферу говорящего, второй – на сферу собеседника (нейтральную, с точки зрения пространственного дейксиса), третий – на сферу, безразличную к сфере к сфере говорящего и собеседника. В докладе будут рассмотрены семантика и функции показателя ближнего дейксиса *-в*.

Показатели ближнего дейксиса маркируют так называемое «личное пространство» субъекта речи. С их помощью говорящий указывает на находящиеся поблизости предметы: *Добро сте забележале, сѐ уште работиме на дефинирањето на предметиве* (= изложени експонати) *што ги гледате, па затоа под нив не стои соодветниот натпис за секој од нив* (ЛЕ); *Оваа бишка, што ја држиш во рацете и што ја гледаш на сликава...* (ЛЕ).

Кроме того, это могут быть части тела, предметы одежды и обихода, жилище, принадлежащие говорящему. В данном случае показатель ближнего дейксиса выступает как посессор: *Така ми гледаа тогаш очиве* (ПМА); *Еве, пусто, стара сум, нозеве не ми имет толку жили...* (ОХ); *Играфме петлици, дупче откопано и петлици со ноктов, со палецов онагви и дувај...* (ОХ); *Нокеска гром стрешти на нашава куќа и право удри на твоето место кај што спиеш ти...* (МНП).

Говорящий может описывать свой характер: *Ете, оној пат се заинаетив и не сакав да поминам преку мостот, но мојот стопан Тасе имал поголем инает од мојов магарешикиов* (ВН); собственное социальное пространство (сферу деятельности, интересы): *Ги рабирам луѓето, работав е специфична и бара голем ангажман* (ЛЕ).

«Пространство» субъекта речи расширяется не только за счет включения принадлежащих ему неодушевленных объектов, но и за счет людей, которых говорящий включает в свой «ближний» круг. Члены ближнего круга обычно маркируются лексемами *наш, мој*: *Тој Турчин, бег бил некој, на населението*

охридско бес-пари му давал јадејне... (ОХ); А, татко ми бил сирак и уш' еден брачед негов, од два-браќа деца, им умреле мајките млади, сеа, татковциве не-се-жéнеле... (ОХ); ... ќе излезам со другаркиве (ОХ); ...ми се мали децава (ОХ); Но, наброени се само споредните подрачја на мојот главен интерес – научна анализа на духовните култури на нашите претходници во компарација со овие нашиве, денешниве (ЈЕ).

Сфера говорящего расширяется «географически», как «свое» он отмечает не только пространство дома, но и место, где живет (квартал, город, страну, регион), произвольно расширяя границы пространства и «осваивая» его: *И читам, најголемиот процент од малолетните деликвенти во престолнинава, го повторувале кривичното дело... (СС); Нема ништо ново на југов, само работа за џабе (Б., Скопје).*

На основе первичной пространственной функции возникает временная функция дейктических единиц. Показатели ближнего дейксиса маркируют конкретный временной отрезок, в который происходят/происходили какие-либо события, связанные с говорящим (момент говорения или ближайший момент в прошлом). Ср.: *Потоа ме замоли во неврзан муабет да му кажам на што работам во мигов (ЈЕ); Како си? Јас, еве, низ дома. Попладнево спиев, па зборував долго на телефон и сега малку на Интернет (Е., Скопје); Но, наброените се само споредните подрачја на мојот главен интерес – научна анализа на духовните култури на нашите претходници во компарација со овие нашиве, денешниве (ЈЕ).*

В конкретной речевой ситуации дейктические слова приобретают коннотативные значения в соответствии с намерениями говорящего. Как правило, то, что оказывается в личной сфере субъекта речи, имеет положительную окраску, а то, что воспринимается как нечто чуждое, инородное, внешнее, далекое приобретает отрицательную коннотацию и намеренно исключается из личного пространства: ср. *Ни се заљуби и Јанчево, – велеше тетката Цона, со оној нејзин раздрдорен глас (БК). – Ма оста, се нервирам, онаа кокошкана ми ја утна фризурата, а 80 марки и платив... (РПС).* Однако и показатель **-в** может передавать отрицательные коннотации: *Сепак, не се воздржува а да не возрази, барем преку рамо, иако знае дека, некој од следните проекти ќе го работи токму под режија на овој мрсулко... (ДС); Тука селџациве кај нас појма немаат... (РПС).* – В данном случае выступает пейоративная функция показатель ближнего дейксиса.

Таким образом, основная функция показателей ближнего дейксиса – это формирование «пространства» говорящего.

В. Ф. Васильева (Москва)

Типологические аспекты сопоставительной лингвистики (на материале русского и западнославянских языков)

1. Типологическая и сопоставительная лингвистика: цели и задачи.

Целью типологической лингвистики является, как известно, установление типов языков, а также типов языковых элементов. На основе сходств и общности языковых элементов создаётся общая классификация языков, что является конечной целью типологических исследований. Установление языковых типов не входит в задачи сопоставительной (контрастивной) лингвистики. В сопоставительных исследованиях выявляются механизмы «работы» языковых моделей в одном языке на фоне другого (других) языка (языков) и устанавливаются функционально-семантические эквиваленты. Результаты сопоставительных исследований находят приложение в области дидактики, переводческой деятельности, лексикографии. Однако сравнение языковых явлений – это не просто сопоставление случайных фактов, лежащих на поверхностной структуре, но сравнение языковых явлений, находящихся во взаимосвязи с рядом других явлений в системе языка. Обращённость сопоставительной лингвистики к языковой системе «втягивает» её в орбиту типологической лингвистики. Данные, полученные в результате сопоставительных исследований, приобретают типологическую значимость. В докладе рассматривается типологическая значимость результатов сопоставительных исследований, выполненных на отдельных участках систем современных славянских литературных языков.

2. Специфика сопоставления близкородственных языков. Генетически родственные языки при максимальном системно-структурном сходстве имеют функциональные различия. И как отмечали ещё представители Пражской лингвистической школы, славянские языки в этом отношении являются «благоприятным полем для исследовательской деятельности». Именно потому, что при сопоставлении славянских языков функциональный метод оказывается приоритетным, сопоставительная лингвистика «обречена на сотрудничество» с функциональной типологией.

3. Деривационный потенциал славянских языков в ракурсе функциональной типологии. В типологических исследованиях неоднократно обращалось внимание на неодинаковый удельный вес деривационных процессов в славянских языках. По признаку деривационной активности они подразделяются на две группы. Один полюс образуют языки с практически неограниченной деривационной потенцией (чешский, словацкий). На противоположном полюсе находятся языки с заметно ограниченными деривационными возможностями и бóльшим удельным весом аналитических образований. Именно на этом полюсе располагается русский язык. Польский язык в предложенной схеме занимает промежуточное положение. Выявление межъязыковой дериваци-

онной асимметрии на материале языков, занимающих в общеславянском деривационном пространстве диаметрально противоположные позиции, имеет характерологическую значимость. Исследования, проведённые на синхронном уровне, позволяют сделать следующие выводы: 1) деривация как системообразующий фактор в русском языке является менее прозрачной, чем в западнославянских языках; 2) русский язык в знаковом отношении оказывается в большей степени атомарным, чем западнославянские; 3) объективация формы мысли (понятий) в русском языке, чаще, чем в западнославянских, реализуется без опоры на близкие смысловые отношения; 4) соотносённость логических и языковых структур в русском языке лишена той высокой степени структурной прямолинейности, которая характеризует западнославянские языки.

4. Транспозиция грамматических категорий как аспект контенсивной типологии. Результаты проведённых сопоставительных исследований некатегориальных значений грамматических категорий, и прежде всего категорий глагола, в славянских языках свидетельствуют о неравнозначности их семантических объёмов. Они находятся, как правило, в отношении перекрещивания. В этой связи представляется актуальным установление грамматических способов репрезентации понятийно тождественных смыслов и выявление механизмов взаимодействия понятийных и грамматических значений. Так, например, при языковой интерпретации понятийной категории желательности, русский язык может использовать императивные конструкции (*Имей я деньги, ...*), а чешский, соответственно, – инфинитивные (*Mít já peníze...*). При общей адекватности объективируемого понятийного содержания в родственных языках выражаются разные смысловые оттенки – побудительность в русском, стательность в чешском.

5. Сопоставительные исследования в аспекте квантитативной типологии. При выявлении типологических различий близкородственных языков особое значение приобретают статистические данные, касающиеся употребления той или иной грамматической формы (граммемы). Разная степень представленности одной из граммем системно соотносительных категорий при равных функциональных возможностях свидетельствует о неодинаковой системной значимости того или иного языкового элемента. Так, в чешском и словацком языках более последовательно, чем в русском, дискретная множественность получает выражение в форме мн. числа существительных. В русском языке отдаётся предпочтение форме единственного числа, что, в свою очередь, стирает представление о дискретности. Ср. чеш.: *Toužil jsem aspoň jednou v životě chytat rybu na velkých řekách* (O. Pavel) – *Я мечтал о том, чтобы хотя бы раз в жизни половить рыбу на большой реке/на больших реках*. Весьма показательна в этом отношении межязыковая асимметрия форм числа существительных, употребляющихся в разного рода назывных конструкциях. Ср.: *čekárna pro matky s dětmi* – *комната матери и ребёнка*, *Den učitelů* – *День учителя*, *Dům*

umělců – Дом художника, *továrna na výrobu umělých vláken* – фабрика по производству искусственного волокна. Примеры, количество которых можно свободно увеличить, свидетельствуют о большей структурной прямолинейности выражения количественных (числовых) отношений в чешском языке в сравнении с русским.

Васильева В. Ф. Семантическая характеристология в контексте сопоставительного изучения языков // Вестник МГУ, Сер.9. Филология. 2003. № 2.

Гак В. Г. Сравнительная типология французского и русского языков. М., 1983.

Молошина Т. Н. Типология некатегориальных значений категорий глагола в славянских языках // Типология грамматических систем славянского пространства. М., 2006.

Широкова А. Г. Методы, принципы и условия сопоставительного изучения грамматического строя генетически родственных славянских языков // Сопоставительные исследования грамматики русского и западнославянских языков. М., 1998.

Е. В. Верижникова (Москва)

Результативные будущие времена в македонском языке

В модально-темпоральной системе глагола в современном македонском языке имеется две подсистемы, представляющие собой результат балканских инноваций. Это система будущих времен, образующихся с помощью частицы *ќе* (восходящей к глаголу *хотеть*) и система времен с вспомогательным глаголом *има* и неизменяемой формой причастия на *-н/-т* (единственного имеющегося в языке).

	АБСОЛЮТНЫЕ ВРЕМЕНА	ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ВРЕМЕНА	ФОРМА В ПЕРЕСКАЗЕ	
БУДУЩИЕ ВРЕМЕНА	БУДУЩЕЕ <i>ќе + презенс</i>	БУДУЩЕЕ В ПРОШЕДШЕМ <i>ќе + имперфект</i>	<i>ќе + сум + л-форма</i>	
	БУДУЩЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ <i>ќе + имам + -н/-т-причастие</i>	БУДУЩЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ В ПРОШЕДШЕМ <i>ќе + имав + -н/-т-причастие</i>	<i>ќе + сум + имал + -н/-т-причастие</i>	РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ВРЕМЕНА
	<i>ИМА-ПЕРФЕКТ</i> <i>имам + -н/-т-причастие</i>	<i>ИМА-ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТ</i> <i>имава + -н/-т-причастие</i>	<i>сум + имал + -н/-т-причастие</i>	

Формы с **има**, пришедшие в литературный язык из юго-западных говоров, трактуются в научной литературе как второй, новый, перфект, в темпоральном плане синонимичный перфекту I с глаголом **сум**. Как известно, на базе перфекта с **сум** в македонском языке сформировалась категория эвиденциальности, и перфект II таким образом «разгружает» формы старого перфекта, которые приобрели, наряду с прежними, временными, еще и эвиденциальные функции. При обозначении действий временного плана прошедшего эти формы нередко амбивалентны (т. е., трудно однозначно определить, пересказ это или перфект) (Цивьян 1990: 176). Однако особенно наглядно значение эвиденциальности демонстрируют формы **ќе+сум+л-форма**, которые являются сугубо эвиденциальными формами будущего и будущего в прошедшем и не имеют перфектного значения.

Встраиваясь в модально-темпоральную систему, **има**-подсистема наращивает дополнительные формы в соответствии со всеми теми признаками, которые релевантны для устройства системы в целом. Так, развиваются специальные формы для выражения категории пересказа, являющиеся контаминацией двух перфектов. Кроме того, на пересечении с **ќе**-подсистемой возникают формы, являющиеся контаминацией форм с **има** и с **ќе**, которые, в свою очередь, «обзаваются» формами пересказа.

Естественно ожидать, что столь сложные (по своему значению) формы, к тому же возникшие позже и знакомые не всем диалектам, будут употребляться нечасто. Формы **ќе + има** фиксируются грамматиками македонского языка как члены системы (Конески 1981: 502–503). Однако даже в специальных монографиях, посвященных формам с **ќе** (Конески 1979) или формам с **имам**, отмечается, что формы с **ќе + имам** появляются лишь спорадически, и скорее можно говорить о том, что они теоретически возможны, «но потребуются еще много времени, чтобы они закрепили свои позиции в языке» (Велковска 1998: 60–61)¹.

Однако появление с распространением в Македонии Интернета новых возможностей сбора материала дало возможность обнаружить, что эти формы уже реально функционируют в языке и не столь редки. Нами собрано свыше 500 примеров² (из них одна десятая – формы будущего результативного в прошедшем, и одна эвиденциальная форма) на употребление форм с **ќе + имам**. Источником материала стали блоги, форумы, социальные сети, а также электронные версии печатных СМИ, стенограммы заседаний парламента. Значения форм с **ќе + имам**, подобно сумме формальных компонентов, являются суммой значений, имеющихся у форм **ќе + презенс** и **ќе + имперфект**, и значений **има**-перфекта (результат или общий факт, актуальный к некоторому моменту в будущем, для формы с презенсом и кондициональное значение или повторявшийся

¹ Утверждение сделано на основании анализа 20.000 страниц текстов.

² До сих пор не существует македонского национального корпуса, поэтому материал собирался вручную, т. е. в поиск задавались формы глаголов, поэтому очевидно, что реальное число находящихся в интернет-обороте форм гораздо больше.

результат, предшествовавший некоторому другому моменту в прошлом, для формы с имперфектом). Об экспансии рассматриваемых форм свидетельствует то, что их употребляют даже юные жители г. Скопье¹ (относящегося к северным говорам, в которых изначально перфект с **имам** отсутствовал).

Велковска 1998 – *Велковска С.* Изразување на резултативноста во македонскиот стандарден јазик. Скопје, 1998.

Конески 1981 – *Конески Б.* Граматика на македонскиот литературен јазик. Скопје, 1967. Цит. по: Избрани дела во седум книги (второ дополнето jubилејно издание). Книга шеста. Скопје, 1981.

Конески 1979 – *Конески К.* Глаголските конструкции со *ќе* во македонскиот јазик. Скопје, 1979.

Цивьян 1990 – *Цивьян Т. В.* Категория пересказывания и перфект // Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990.

А. Гаттнар (Тюбинген)

«Несколько раз посещал/посетил сестру в больнице».

Конкуренция видов в повторяющихся контекстах с точки зрения когнитивной лингвистики

В моем докладе речь идёт о конкурирующих видах глагола в итеративных контекстах в русском языке. В принципе, вопрос об употреблении видов глагола в повторяющихся ситуациях уже давно решен: в этом случае обычно употребляется несовершенный вид. Совершенный вид употребляется только в наглядно-примерном, наглядно-потенциальном или суммарном значениях (Зализняк, Шмелев 1997).

Предлагаю определить понятие *итеративная ситуация*. Под итеративной ситуацией понимается повторяющаяся ситуация, которая составляет часть неоднократного комплекса ситуаций².

Употребление несовершенного вида в прошлом времени в итеративных ситуациях не нуждается в контекстуальном расширении. В противоположность этому совершенный вид встречается в итеративных контекстах в связи с факторами, ссылающимися на итеративность. Однако это не означает, что в таких контекстах совершенный вид является единственным выбором – в немногих случаях употребляется и совершенный, и несовершенный вид. Для анализа условий, решающих выбор того или другого вида глагола, мы пригласили группу носителей языка поучаствовать в эксперименте на измерение времени реакции.

¹ Анонимные участники форумов и авторы блогов зачастую указывают свой возраст и место жительства.

² Существует ряд работ, посвящённых виду глагола в итеративных ситуациях: Храковский 1989, Шатуновский 2009, Belaïa 1996, Dickey 2000, Mehlig 1982 и т. д.

На данный момент мы хотели бы осветить только один аспект данного эксперимента: предложения с наречием *несколько раз* и с глаголами *посещать/посетить*. При этом мы работаем с теми итеративными контекстами, в которых оба вида глагола являются возможными. Рассмотрим десять предложений¹ из нашего эксперимента. Они показывают взаимодействие между числительным квантификатором *несколько раз* и видом глагола. Целью эксперимента является ответ на вопрос, влияет ли позиция квантификатора на выбор вида глагола.

- (1) Ф. В. Берхгольц _____ Петербург несколько раз.
- (2) Она несколько раз _____ Петербург.
- (3) Несколько раз _____ сестру в больнице, вот там его как раз никто не видел.
- (4) _____ несколько раз брата в больнице, вот там её как раз никто не видел.
- (5) Он несколько раз после этого _____ мавзолей, который дважды менял свой облик.
- (6) Он _____ несколько раз после этого мавзолей, который дважды менял свой облик.
- (7) Она _____ несколько раз мавзолей, который дважды менял свой облик.
- (8) Она несколько раз _____ мавзолей.
- (9) В Чека обратили внимание на столяра, который несколько раз _____ Торгсин.
- (10) В Чека обратили внимание на женщину, которая _____ несколько раз Торгсин.

Информантам нужно было заполнить пробелы правильными формами глаголов *посещать/посетить*. Анализ ответов показывает, что во всех предложениях возможно употребление обоих видов глагола. Следующие графики (1 и 2) демонстрируют первые результаты эксперимента. В первом графике показано распределение выбранных информантами видов для каждого предложения, во втором графике указывается среднее время реакции информантов.



График 1. Распределение видов глагола

¹ Предложения (1), (3), (5) и (9) являются оригиналами из Национального корпуса русского языка (<http://www.ruscorpora.ru/index.html>).

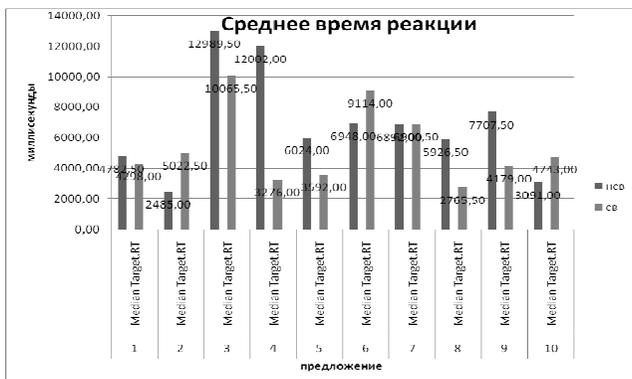


График 2. Среднее время реакции

Материал для дискуссии на основе результатов эксперимента:

1. Позиция наречия оказывает влияние на выбор вида глагола (1 и 2, 5 и 6). Если квантификатор стоит после глагола, несовершенный вид употребляется чаще, чем совершенный. В позиции перед глаголом ситуация меняется, и преобладает совершенный вид. Время реакции информантов при обработке обоих предложений (1 и 2) было короче, чем среднее время реакции при обработке всех предложений. Это означает, что выбор того или иного вида глагола является для информантов ясным.

2. Переход наречия не влияет на выбор вида глагола, если итеративная ситуация находится в придаточном предложении (9 и 10). Однако заметно влияние вида глагола в придаточном предложением на вид глагола в главном предложении (3 и 4).

3. В открытых макроситуациях (т. е. без названия временного отрезка) предпочитается совершенный вид глагола (7).

4. Больше всего времени потребовалось на обработку предложений 3 и 4. Содержащиеся в них итеративные ситуации являются самыми сложными в этом эксперименте. Выбор несовершенного вида в обоих случаях требовал больше времени, чем в других предложениях. Однако информанты, которые выбрали совершенный вид глагола, были быстрее тех, кто выбрал несовершенный вид. Указывает ли это на то, что те информанты, которые решили задачу путем выбора совершенного вида не видели другой интерпретации, кроме суммарного значения?

5. В предложениях 2 и 8 действуют те же самые условия, характерные для итеративной ситуации. Несмотря на это, ответы информантов распределяются различно. В то время как в восьмом предложении оба вида глагола употребляются равномерно, во втором предложении большинство информантов решились на совершенный вид. Влияют ли в этом случае разные объекты посещения на выбор вида глагола (закрытое здание против открытого города)?

- Зализняк, Шмелев 1997 – Зализняк А. А., Шмелев А. Д. Лекции по русской аспектологии. Мюнхен, 1997.
- Храковский 1989 – Храковский В. С. Типология итеративных конструкций. Ленинград, 1989.
- Шатуновский 2009 – Шатуновский И. В. Проблемы русского вида. Москва, 2009.
- Belaia 1996 – Belaia E. Quantification et aspect du verbe en Russe. Les quantificateurs du verbe ont-ils une influence sur le choix de l'aspect? Lille, 1996.
- Dickey 2000 – Dickey S. M. Parameters of Slavic Aspect. Stanford, 2000.
- Mehlig 1982 – Mehlig H. R. Verbalaspekt und Iteration im Russischen. Zum Aspektgebrauch bei Referenz auf mehrmalige Ereignisse // *Slavistische Linguistik 1981*. Referate des VII. Konstanzer slavistischen Arbeitstreffens. Mainz 30.9.–2.10.1981. Hrsg. v. Wolfgang Girke 1982. S. 113–154.

Е. Ю. Иванова (Санкт-Петербург)

Синтаксис частицы *ЛИ* в русском и в южнославянских языках

1. В отличие от русского языка, сохранившего лишь немногие сентенциальные клитики, южнославянские языки располагают их широким набором: отрицательная и вопросительная частицы, краткие формы местоимений, некоторые вспомогательные глаголы и др. Однако закономерности расстановки клитик в рассматриваемых языках (русском, болгарском, македонском и сербском) существенно различаются.

2. На фоне этих межязыковых различий энклитика *ли* отличается наиболее устойчивым синтаксическим поведением. Надо учитывать, однако, что многие функции этой вопросительной частицы в русском и сербском языках утрачены; функциональное обеднение чуть меньше затронуло македонский язык. В болгарском же языке частица *ли* не только взяла на себя все функции формирования модальных вопросов (полных модальных и частичных модальных), но и показывает тенденцию к дальнейшему расширению своего функционального диапазона.

В болгарском языке частица *ли* имеет самый высокий ранг из всех клитик, именно она начинает (в типичном случае, иное см. ниже) цепочку из безударных элементов после первого ударного слова или комплекса: *Обади ли си му се?*; *Подигравате ли ми се?*; *Носиш ли ми го?*, в том числе после ритмико-синтаксического «барьера» – условного начала внутри предложения (А. А. Зализняк, Т. Е. Янко): *Тези хора // подиграват ли ми се?*; *Кражби // ставали ли са при вас?*; *Ами вие // оттук ли сте?*; *След това // вижда ли си се с него?*; *Когато се върна снощи, // видя ли го?*; *Ваньо, // обичаш ли ме?*

Еще одна важнейшая особенность *ли* на фоне других сентенциальных клитик болгарского языка заключается в том, что *ли*, будучи типичной энклитикой, никогда не бывает ударной, в отличие от клитик с «плавающей» позицией (местоименных и глагольных). Это приобретает особое значение в позиции после частицы *не*, всегда акцентирующей следующее за ней слово. После отрица-

тельной частицы могут стоять только клитики, способные взять на себя ударение (в порядке, соответствующем их рангам: *Не смé му се обидили*; *Не мý го казах*). Таким образом, первая же клитика после *не* образует базис тактовой группы, т. е. тот первый ударный компонент, за которым следует интонационный спад – «прибежище» (Т. Е. Янко) для остальных синтенциальных клитик, в том числе и *ли*.

Итак, при начальном *не* частица *ли* отступает на шаг вправо, чтобы дать образоваться базису тактовой группы: *Не я́ ли виждаш?*; *Не сé ли вижда?*; *Не мí ли се обиждаш?* При этом *ли*, в соответствии с высотой своего ранга, упорно стремится на первое же место после ударного слова, ради этого разрывая даже связку местоименных клитик дательного и винительного падежей: *Не мí ли го даваш?*; *Не тí ли го казах?*

С формой будущего времени, где безударна и частица *ще*, вопросительной частице приходится уходить далеко вправо, единственной из всех клитик занимающей место лишь после глагола: *Ще ми го дадеш ли?* То же и с частицей *да*: *Да ти го кажа ли?* Таким образом, *ли* во всех указанных случаях соблюдает «закон Вакернагеля».

В македонском языке частица *ли* при формировании вопроса не столь обязательна, как в болгарском, но ее синтаксическое поведение вполне соответствует статусу энклитики. Этим она принципиально отличается от других македонских клитик, способных находиться в предударной позиции: *Ти се спие ли?*; *Си му ја вратил ли книгата?* Таким образом, македонская частица *ли* обособлена от других клитик, не будучи в состоянии включиться в цепочку, но при этом аккуратно соблюдает ритмико-синтаксические правила поведения как синтенциальная энклитика. Сохранение ее высшего ранга в «кортеже мелких слов» (Т. М. Николаева) показывают те редкие случаи, когда цепочка клитик с *ли* оказывается в постпозиции к ударному комплексу, – это, в основном, вопросы к именной группе (см. и п. 3 далее): *Иван // брат ли ти е?*; *Во таа жена ли си се вљубил?*; *Твој ли е потписот?*; *За тоа ли сум ти кажувал?*; *Среќна ли си?*

Соблюдаются вакернагелевские принципы расположения *ли* в сербском языке, хотя в сфере других клитик имеется ряд отступлений от этих закономерностей. Так, *је* способно получать ударение и образовывать базис тактовой группы, начиная вопрос: *Је ли ово твој брат?* Тем не менее частица *ли* (функции которой в сербском языке значительно сокращены) не меняет своей первой заударной позиции: *Је ли је убио секиром?*; *Купаш ли се сваки дан?*; *Јеси ли се наљутито на мене?*; *Јеси ли му га вратио?*

Русская вопросительная частица (также утратившая многие свои функции) располагается все еще строго по закону Вакернагеля, в отличие от частиц *бы* и *же*, приобретших большую подвижность (А. В. Циммерлинг): *Ему ли не понять этого?*; *Не моя ли в этом вина?*

3. По-разному ведет себя вопросительная частица *ли* в сопоставляемых языках при именных группах – как в частных, так и в общих модальных вопро-

сах. В соответствии с законом Ваккернагеля *ли* должна расщеплять сложные составляющие, в частности именную группу, что мы и наблюдаем в русском языке: *Эту ли женщину я боготворил еще недавно!?*; *Такой ли конец он заслужил?*; *Каждый ли мужчина способен на такое?*

В сербском языке при частных вопросах предпочтительна иная вопросительная частица *и/или* иная структура предложения, но в редких случаях употребления *ли* именная группа тоже разрывается: *Ову ли је жену он волео?*; *Такав ли је крај он заслужио?*

В литературном болгарском языке положение принципиально иное. Даже если вопрос задается к определителю существительного, даже если наличествует контрастное выделение, то *ли* (по крайней мере в письменной речи¹) не расщепляет именную группу, а замыкает ее: *Това тук вашият подпис ли е? Вашият. На официален документ ли е? На официален.* Частица *ли*, как правило, размещается в конце именной группы независимо от величины расширения: *Ама, какво става тук! Тя ваша съученичка ли е, или моя?* (С. Стратиев); *С този мъж ли ще правиш семейство?*; *Котешият грим само с черен молив ли го правиш?*; *За червен картон ли беше?*; *Брат ти ли е?*; *Ти с всичкия си ум ли си?*; *В дома на издателя Бисеров ли ви дойде тази идея?* (Ц. Марангзов). Как видим, синтаксическое поведение *ли* при именных группах не похоже даже на движение типичных внутрисинтагменных клитик в болгарском языке. Как известно, краткие формы притяжательных местоимений *и*, с долей условности, даже определенный артикль в пределах именной синтагмы передвигаются в соответствии с законом Ваккернагеля: *черната ми рокля*; *новата ми черна рокля*.

Македонское *ли* проявляет колебание при постановке *ли* при именных группах с более фреквентным «ваккернагелевским» вариантом – расщеплением, а именно: *Голема ли плата бараиш?*; *Оваа ли песна ја пееле вашите предци?*; *Таков ли крај заслужиш?*; *За оваа ли традиција зборуваиш?*; *Црвен ли морив бараиш?*, но возможно и: *Голема плата ли бараиш?*; *За оваа песна ли прашуваиш?*; *Секој ден ли одиш на факултет?* с некоторым семантическим и акцентным различием.

Таким образом, в болгарском языке наиболее последовательно соблюдаются основные принципы ритмико-синтаксических законов предшествующих эпох, за исключением вопросов к составляющим именной группы, где частица *ли* имеет статус жесткой присинтагменной клитики. В русском языке вопросительная частица *ли* оказывается единственной клитикой, располагающейся строго по закону Ваккернагеля. Соблюдает данные правила и сербское *ли*. В македонском языке *ли* (в отличие от других клитик) удерживает свои позиции как энклитика, при некотором колебании синтаксического поведения в постпозиции к сложным составляющим.

¹ В устной речи вариант с расщеплением именной группы допускается.

Н. В. Кобченко (Москва)

Заперечні речення з прономінативно-інфінітивним комплексом в українській та російській мовах

Заперечні речення з прономінативно-інфінітивним комплексом (на зразок *Ніде сісти; Немає кому написати; Некуда идти*) не позбавлені уваги лінгвістів, однак опис їхньої природи важко назвати вичерпним. Не спостерігаємо єдності поглядів на ці конструкції як у визначенні способу вираження предикативності, так і у витлумаченні складу предикативного центра. Подекуди лише зіставлення того самого явища у споріднених мовах висвітлює його дійсну природу, спрямовуючи вектор подальших досліджень у правильному напрямі.

Що стосується російської мови, то тут зафіксоване вживання лише одного типу розглядуваних побудов, а саме: одиниць формально-структурної моделі $\text{Прон}_{\text{neg}}+\text{Inf}$, напр.: *Один я в целом мире. Некому тоску мою жалеть* (К. Бальмонт); *В городе мне жить негде* (А. Чехов); *Нечего мне теперь ему сказать...* (А. Битов). Походження прономінативів у таких утвореннях є очевидним – це результат лексикалізації заперечної частки *не*, дієслова *єсть* та займенникового слова, пор.: *Не есть кому говорить* → *Нет кому говорить* → *Некому говорить*. Зайвим доказом цього положення є функціонування в українській мові реченневих побудов з нелексекалізованими предикативом *немає* та прономінативом, напр.: *Нема коли писати отих маленьких літер. Немає чим писати. Нема писати де* (Л. Костенко). Гібридна природа прономінативів з наголошеним префіксом *ні-* та акумулювання в них ознак дієслова й займенника дають підстави визнати їх контамінованими предикатами.

На відміну від російської, в українській мові вживається три типи заперечних конструкцій з прономінативно-інфінітивним комплексом. Так, українськими еквівалентами російського речення *Ей нечем укрыться* виступають *Їй нічим укрытися; Їй немає чим укрытися* та *Вона не має чим укрытися*. Впадає в очі, що такі побудови в українській мові, окрім синтаксичних варіантів (*Їй нічим укрытися* та *Їй немає чим укрытися*), мають ще й синтаксичні синоніми (*Вона не має чим укрытися*) – двоскладні одиниці, ще приклади: *На це не маю що заперечити навіть директор* (Л. Дереш); *Та, зрештою, я й не маю де ночувати...* (Ю. Винничук). Відсутність подібних двоскладних утворень у російській мові зумовлена традицією передавати відсутність чогось у особи односкладним реченням з суб'єктом, вираженим родовим чи давальним відмінком, напр.: *У него нет времени читать; Ему некогда читать*, тоді як двоскладні конструкції з суб'єктом-номінативом потенційно можливі, однак ненормативні, пор.: **Он не имеет времени читать*.

Розглянемо детальніше синтаксичну організацію аналізованих речень. У російському й українському мовознавстві висловлювалися різні трактування граматичного центру цих структур: прономінатив (СУМ 1997: 266), інфінітив

(Озерова 1978: 49), сполучення прономінатива з інфінітивом (а в українській мові ще й «дієслова-зв'язки», під яким мають на увазі предикатив *немає*) (Арполенко, Забеліна 1982: 43; Бабайцева 2004: 304; Кулик 1965: 95; Пешковский 2001: 361).

Щодо синтаксичної ролі інфінітива в таких конструкціях, раніше було обґрунтовано його функцію адвербіальної синтаксеми мети (Кобченко 2010). Дискусійним залишається питання про статус компонента *немає* в українських реченнях формально-структурної моделі *немає* + Pron +I nf. Деякі науковці витлумачують його як зв'язку (Пешковский 2001: 361; Слинко, Гуйванюк, Кобилянська 1994: 230). Однак маємо досить аргументовані підстави не погодитися з такою позицією. К. Г. Городенська сформулювала й обґрунтувала визначальні ознаки зв'язок (Городенська 2003), жодна з яких не властива компонентам *немає* в утвореннях розглядуваного зразка, а саме: *немає* цілком зберігає своє лексичне значення; він не транспонує у дієслово ні прономінатив, ні інфінітив; на відміну від зв'язки, яка поєднується лише з називним і орудним відмінком, *немає* сполучається з усіма, крім називного й кличного, і не з'єднує основну частину присудка з підметом. Отож, компонент *немає* є повноцінним предикатом, який формує семантико-синтаксичну структуру речення.

Стосовно синтаксичних залежностей, то на перший погляд може здатися, ніби інфінітив керує прономінативом (якщо це займенниковий іменник) чи вільно з ним поєднується (якщо це займенниковий прислівник), але ґрунтовне заглиблення в специфіку синтаксичної організації аналізованих одиниць наводить на інші міркування. Очевидно, що ці побудови семантично неелементарні, вони є результатом згортання складнопідрядного речення з підрядною мети у формально протесте: *Гвєра у неї немає – нема чим боронитися* (Марія Магіс) ← *Нема знаряддя, щоб ним боронитися*. У наведеному прикладі в процесі дериваційних перетворень тотожна лексична функція компонента, що посідає позицію об'єктної синтаксеми при предикаті *нема* у головній частині, й компонента, що посідає позицію інструментальної синтаксеми при інфінітиві в підрядній частині, призводить до їх злиття в прономінатив. У новоутвореній конструкції цей прономінатив заповнює валентно-зумовлену позицію, відкрити предикатом *нема*. Проте на займенниковому слові явно позначений і вплив інфінітива, що відбито на морфологічній формі, адже вона нетипова для об'єктної синтаксеми при предикаті *немає* (який вимагає родового відмінка), проте звична для інструментальної синтаксеми при інфінітиві *боронитися*. Як відомо, загальне значення розглядуваних утворень – виражати відсутність узагальної умови (що виражена прономінативом) для здійснення мети (яку позначає інфінітив). А оскільки займенникове слово через свої семантичні особливості не спроможне конкретизувати відсутню умову, цю функцію перебирає на себе його морфологічний вияв. Тобто в подібних конструкціях морфологічна форма прономінатива є не засобом синтаксичного підпорядкування, а семантичним маркером.

Таким чином, в українських конструкціях такого зразка прономінатив синтаксично підпорядкований предикативу *немає*, і разом вони формують предикативний центр, подібно до елемента *немає* й родового відмінка в заперечних генітивних односкладних реченнях, пор.: *Немає часу спати – Немає коли спати; Немає змоги приїхати – Немає як приїхати; Немає людей працювати – Немає кому працювати* тощо. Відповідно предикативним центром і українських, і російських утворень формально-структурної моделі $\text{Pron}_{\text{neg}} + \text{Inf}$ виступає так званий контамінований предикат – прономінатив з наголошеним префіксом *ні-*.

Отже, зважаючи на якісний склад предикативного ядра та семантичну специфіку речень формально-структурної моделі $\text{Pron}_{\text{neg}} + \text{Inf}$ (в обох мовах) та їх синтаксичного варіанта *немає* + $\text{Pron} + \text{Inf}$ (в українській мові), постає умотивованим кваліфікувати їх як односкладні генітивні.

- Арполенко, Забеліна 1982 – Арполенко Г. П., Забеліна В. П. Структурно-семантична будова речення в сучасній українській мові. Київ, 1982.
- Бабайцева 2004 – Бабайцева В. В. Система односоставных предложений в современном русском языке. М., 2004.
- Городенська 2003 – Городенська К. Проблема статусу зв'язок в українському мовознавстві // Укр. мова. 2003. № 3–4. С. 38–45.
- Кобченко 2010 – Кобченко Н. В. Функція інфінітива в реченнях формально-структурних моделей *немає*+ Pron + Inf та Pron_{neg} + Inf // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство: Тези доповідей Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених, Київ, 21–23 квітня 2010 р. Київ, 2010. С. 80–82.
- Кулик 1965 – Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. Ч. 2: Синтаксис. Київ, 1965.
- Озерова 1978 – Озерова Н. Г. Средства выражения отрицания в русском и украинском языках. Київ, 1978.
- Пешковский 2001 – Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. 8-е изд., доп. М., 2001.
- СУМ 1997 – Сучасна українська мова: Підручник (за ред. О. Д. Пономарева). Київ, 1997.
- Слинько, Гуйванюк, Кобилянська 1994 – Слинько І. І., Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання: Навч. посібн. для студ. філол. ф-тів. Київ, 1994.

М. М. Макарецв (Москва)

Маркеры эвиденциальности в албанском и македонском политическом дискурсе

Эвиденциальность, по определению А. Айхенвальд, это «лингвистическая категория, основное значение которой — источник информации» (Aikhenvald 2004: 3). В языках мира широко распространено выражение эвиденциальности при помощи специальных слов (русск. *вроде как, дескать, мол*; англ. *allegedly, evidently*; итал. *a quanto pare* и т. д.). Однако обращение к языкам с грамматикализованной эвиденциальностью (например, к македонскому, где значение этой

грамматической категории передается при помощи особых форм) и с грамматизированной эвиденциальной стратегией (например, к албанскому, где это значение передается посредством особых форм, традиционно называемых *адмиративом* и обычно используемых для указания на эмоции говорящего) ставит перед нами некоторые важные вопросы. В частности: как происходит выбор между лексическим и грамматическим маркером? В каком случае они употребляются вместе и как происходит распределение значений между ними?

В докладе мы попытаемся ответить на эти вопросы, используя материалы двуязычной албанско-македонской политической программы «Eurofokus». Она выходит на канале ALSAT-M, который вещает из Скопье, и является полностью двуязычной. В студию приходят гости — македонские и албанские политики и политические эксперты Македонии. Каждый из них сам выбирает язык для общения: албанский или македонский. Во время записи программы осуществляется синхронный перевод для остальных участников программы, а при телепозаказе внизу экрана идут субтитры. Поэтому при анализе программы мы фактически имеем дело с одним текстом в двух языковых воплощениях. Такая практика — отличительная черта не только программ ALSAT-M, некоторые другие СМИ Македонии, ориентированные на интеграцию меньшинств в структуру общества, также выпускают сюжеты с субтитрами.

Наше исследование основано на материале 7 часов выпусков передачи «Eurofokus» и сюжетов с субтитрами с некоторых других каналов. Отбирался материал как по лексическим, так и по грамматическим маркерам. В македонском языке рассматривались следующие лексические маркеры: *демек* ‘значит, как говорят’, *ѓоа* ‘якобы, будто бы, вроде’, *наводно* ‘как говорят’. Грамматические маркеры эвиденциальности в македонском — это система так называемых *л-форм* (подробнее см. Усикова 2003: 217–221). В албанском языке рассматривались следующие лексические маркеры: *демек* ‘значит’, *ѓоѓа* ‘якобы, будто бы, вроде’. Грамматические маркеры эвиденциальности в албанском — это так называемые формы *адмиратива*, построенные по модели «причастие полнозначного глагола без окончания + спрягаемые формы глагола *кат* ‘иметь’» (подробнее см. Сытов 1979).

Одной из основных проблем описания грамматических маркеров эвиденциальности в этих двух языках является то, что в их семантике «чистому» эвиденциальному значению часто сопутствует значение эпистемическое. Поэтому в значительной части случаев употребления (кроме самых прозрачных) приходится всегда задаваться вопросом: это только эвиденциальность/и эвиденциальность, и эпистемическая модальность/только эпистемическая модальность? Помимо этого, лексические маркеры также могут быть многозначными. Таким образом, на первый взгляд мы имеем дело с максимально нестрогими правилами: многозначные лексические маркеры употребляются вместе с грамматическими маркерами с не менее расплывчатой семантикой. Можно ли в этом случае вообще говорить о правилах?

В данном случае можно применить предложенное П. Кехайовым деление на «аналитическое» и «холистическое» прочтение конструкции из лексического и грамматического эвиденциального маркера (Кехайов 2008). В семантике каждого из маркеров выделяются семантические компоненты (*Ev* для эвиденциальности, *Ep* для эпистемической модальности), а общее значение конструкции выводится из значения составляющих (путем логической операции сложения). В качестве примера для настоящей работы выбран фрагмент видеointервью с Али Ахмети (главой партии «Демократический союз за интеграцию албанцев в Македонии»), подготовленный радио «Свободная Европа» и выложенный в сеть:

1. Албанский оригинал: *Ajo që thuan (1) se... gjoja (2) se simpatizantë apo anëtarë i Bashkimit Demokratik për Integrim kanë qenë_(PERF) të paisura apo kanë ardhë_(PERF) (3) armatosura fare nuk qendrën.*

2. Русский перевод: Те, что говорят (1), что... якобы (2) сторонники или члены Демократического союза Интеграции были вооружены или пришли вооруженными (3), не правы.

3. Македонские субтитры: *Оние што велат (1) дека наводно (2) симпатизери или членови на ДУИ биле дојдени_(PERF. II EVID.) (3) вооружени, тоа воопшто не држи.*

Покажем на схеме распределение семантических компонентов в албанском оригинале и македонском переводе:

	(1)	(2)	(3)
РУССКИЙ	говорят, что <...>	якобы <...>	были <...> или пришли <...>
АЛБАНСКИЙ	<i>thuan se</i> <...>	<i>gjoja se</i> <...>	<i>kanë qenë ... apo kanë ardhë</i> <...>
значение	Ev	Ev+Ep	Ø
МАКЕДОНСКИЙ	<i>велат дека</i>	<i>наводно</i>	<...> <i>биле дојдени</i>
значение	Ev	Ev	Ev+Ep

Таким образом, переданы как эвиденциальный, так и эпистемический компоненты сообщения, однако это сделано при помощи разных компонентов: в албанском эвиденциальное и эпистемическое значения объединены в лексическом маркере, а в македонском — в грамматическом.

В докладе предполагается опыт классификации значений конструкций из лексических и грамматических маркеров в македонском и албанском языках, а также создание македонско-албанского и албанско-македонского списка соответствий.

Сытов 1979 — Сытов А. П. Категория адмиратива в албанском языке и ее балканские соответствия // А. В. Десницкая (ред.). Проблемы синтаксиса языков балканского ареала. Л., 1979. С. 90–133.

Усикова 2003 — Усикова Р. П. Грамматика македонского литературного языка. М., 2003.

Kehayov 2008 — *Kehayov P.* Interactions between grammatical evidentials and lexical markers of epistemicity and evidentiality: a case study of Bulgarian and Estonian // Wiemer B., Plungjan V. A. (Hg.). *Lexikalische Evidenzialitäts-Marker in Slavischen Sprachen*. München; Wien. 2008. (Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 72). S. 165–201.

А. Ю. Маслова (Саранск)

О косвенном выражении побуждения в утвердительной форме (на материале русского, сербского и болгарского языков)

Одной из разновидностей не прямой коммуникации являются побудительные косвенные речевые акты (далее КРА). Они составляют значительный пласт коммуникативно-прагматического структурного компонента категории побудительности.

КРА со значением побуждения часто функционируют в утвердительной форме. Как правило, это контекстуально-ситуативные КРА, представляющие собой констатацию фактов, которая, в зависимости от характера интенции, имеет определенные особенности.

КРА рассматриваемого типа позволяют выявить в сопоставляемых русском, сербском и болгарском языках ряд типичных адекватно воспроизводимых ситуаций, в которых реализация побудительного значения обусловлена обстоятельствами экстралингвистического характера.

Выявлены следующие типы констатируемой информации.

– Экспликация говорящим своего (не)желания, своих потребностей при отсутствии прямого предписания к действию. Такие КРА можно отнести к «полукосвенным», так как в них в достаточной степени сохраняется первичное значение.

– Экспликация адресантом своего неудовлетворительного физического или психологического состояния с целью устранения его причины.

– Констатация адресантом своей убежденности в том, что ожидаемая линия поведения адресата неоспорима.

– Определение адресантом линии поведения адресата. При этом адресант может констатировать линию поведения адресата с целью ее оценки и дальнейшего изменения.

– Констатация адресантом настоящего положения дел или возможных изменений.

КРА в утвердительной форме являются потенциально компрессивными цепочками речевых актов, когда недостающие звенья цепи восстанавливаются коммуникантами путем коммуникативно-логического вывода. Иногда такие компрессированные звенья создают прецедент неоднозначной интерпретации высказывания, и тогда подобные КРА становятся близки намеку.

Намек является особым типом не прямой коммуникации. И чем прозрачнее намек, тем легче он дешифруется, тем ближе намек собственно КРА. Однако

намок не всегда может быть понят адресатом, что приводит к коммуникативной неудаче. Отметим, что адресант может сам настаивать на двойном смысле высказывания, и тогда «возникает динамичное колебание между возможностями буквальной и косвенной интерпретации, которое четко не разрешается ни в одну из сторон» (Шатуновский 2004).

В сопоставляемых русском, сербском и болгарском языках в рамках контекстуально-ситуативных побудительных КРА в форме утверждения в ряде случаев наблюдается тенденция к конвенционализации.

Можно выявить ряд ситуаций, когда функционирование рассматриваемых КРА максимально приближено к конвенциональному употреблению. Особенно явно это иллюстрируют этикетные речевые акты в случае вежливого отказа/пресечения действия адресата.

Однако вряд ли можно обозначить четкие границы между конвенциональными и неконвенциональными речевыми актами, поскольку конвенциализация происходит постепенно.

Конвенциональными КРА является констатация положения вещей посредством моделей с закрепленным лексическим составом в определенных директивных ситуациях:

- разрешение-предписание, когда адресант констатирует готовность участвовать в процессе коммуникации и предписывает адресату начинать общение;
- разрешение-предписание совершить невербальные действия;
- запрет: адресант в категоричной форме констатирует нежелание продолжать процесс коммуникации;
- приглашение: говорящий является транслятором разрешения/предписания войти куда-либо, обычно в условиях официального общения, и констатирует факт ожидания;
- требование: адресант констатирует факт реализованного речевого акта, как правило, с целью продолжить коммуникацию, настоять на получении информации.

Таким образом, КРА базируется на несовпадении эксплицитной и имплицитной интенций, представляющих разные классы речевых актов. Отметим, что КРА в форме утверждения обладают способностью выражать многослойную имплицитную побудительную интенцию.

Функционирование КРА как универсального для сопоставляемых славянских языков компонента категории побудительности позволяет вскрыть механизмы оценки процесса общения как успешного или неуспешного в рамках побудительной коммуникативной ситуации с позиций «коммуникативной нормы ожидания» и показывает, насколько реализация речевых актов непосредственно связана с коммуникативной компетенцией участников речевого общения.

С. Милорадовић (Београд)

Савремено стање српског и руског музичког жаргона. Сличности и разлике

«Иницијатор» теме којом се у реферату бавим јесте *Толковый словарь молодёжного сленга*, аутора Т. Г. Никитине, објављен у Москви 2003. године. Након упознавања са грађом коју доноси поменути тумацбени речник омладинског сленга, сачинила сам упитник којим сам покушала да што детаљније обухватим репертоар музичке жаргонске лексике међу младима у Београду а грађу сам прикупљала и током слободних, спонтаних разговора са припадницима омладинске популације, углавном са онима који нису само «конзументи» музике, већ им је она и професионално опредељење. Информатори су били образовани млади људи (студенти и ученици завршних разреда средњих музичких школа), од којих је сакупљено преко две стотине жаргонских лексема и синтагми. Из поменутог московског жаргонског речника, са око 2.000 жаргонских одредница, издвојила сам преко три стотине лексема, и то оних које носе ознаку *муз.* за «специјализованост» дате леме, тј. ознаку којом се представља сфера њене употребе.

У студији су осмотрени начини настајања жаргонских лексичких јединица у српском и руском музичком мини лексикону, односно – изнета су основна запажања у вези са 1) творбеним моделима и структуром жаргонских лексема, што подразумева и напомене о продуктивности и фреквенцији појединих суфикса, као и о значењу/функцији појединих од њих, те истицање карактеристичних појединости на деривационом плану, и са 2) семантичко-мотивационим аспектима ових лексема, што подразумева навођење мотивационих база за именовање појединих реалема. На крају, начињен је покушај да се направи упоредна анализа двају мини лексикона на синхрониском нивоу, те да се осветле *структурне кореспонденције* међу музичким жаргонима младих у двама словенским срединама. Такође, за потребе сегмента у коме се анализира коришћење музичког називља за жаргонско номиновање различитих, немужичких реалија и појмова из света који нас окружује, издвојене су одговарајуће лексеме из поменутог Андрићевог *Речника жаргона* и из руског *Тумацбеног речника омладинског жаргона*.

Жаргонизми уопште, па тако и они музички које користи српска и руска младеж у првој деценији 21. века, свакако сведоче о потреби за оригиналнијим, шаливијим и емотивно убојитијим изражавањем, следствено томе – о посве специфичној моћи језика. Тој је младежи, дакле, заједничка она особена црта у људској природи о којој је *давным-давно* писао Пушкин: «Отличительнейшая черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выразаться». Но већ на први поглед, и без озбиљније анализе, могу се видети разлике у обиму, саставу и начину настајања корпуса српског и руског музичког жаргона. Може се претпоставити да су препознате

разлике настале као резултат екстралингвистичких (социо-културних) чинилаца: величине двеју популација (бројност и говорника датих језика, и музичких стваралаца/извођача, и информатора) и територија са којих се лексика *прилива* и *улива* у одређени жаргонски лексички фонд, пре свега, двеју метропола, традиције музичког образовања (историјски гледано) и ширине његовог обухвата, те преданог неговања музичког укуса. Свакако, када се говори о традицији и неговању музичког укуса, мисли се преваходно на тзв. класичну музику, али није неоправдано очекивати да се дуготрајни, широки и озбиљно осмишљени захвати једне друштвене заједнице на плану музичке културе и уметности неминовно *преливају*, те одражавају на све што у тој заједници бива везано за музику уопште.

Анђрић Драгослав. Двосмерни речник српског жаргона и жаргону сродних речи и израза.

Друго, знатно допуњено издање. Београд, 2005.

Апресјан В. Ю., Апресјан Ју. Д. Метафора в семантическом представлении эмоций // Вопросы языкознания 3. Москва, 1993. С. 27–35.

Вугарски Ранко, Žargon. Lingvistička studija. Drugo, preprađeno i prošireno izdanje, Beograd: Biblioteka XX век, 137*, 2006.

Косановић Марија-Магдалена, О словенској жаргонској лексиси ученика и студената // Славистика VIII. Београд, 2004. С. 114–119.

Косановић Марија-Магдалена, Лингвокултуролошки поглед на словенске жаргоне // Славистика XII. Београд, 2008. С. 229–234.

Левикова С. И. Молодежный сленг как своеобразный способ вербализации бытия // <http://philology.ru/linguistics2/levikova-04.htm>.

Никитина Т. Г. Толковый словарь молодежного сленга (слова, непонятные взрослым). Москва, 2003.

Д. Мирич (Нови Сад)

О прагматике истинности (на материале сербског и руског језиков)

Истинность является свойством высказывания и определяется как соответствие содержания действительности (реальности). Понятие истинности касается в первую очередь повествовательного предложения (сообщения), тогда как к вопросу оно неприменимо. Несмотря на объективность истины, говорящий может включать ее в свою сферу, подчеркивая, опровергая или реинтерпретируя содержание высказывания. Такое отношение говорящего к сообщаемому выражается рядом дискурсивных маркеров, попытка описания которых будет предпринята в данном сообщении.

Исходя из средств сербского языка, включающих маркеры *заиста*, *одиста*, *доиста*, *уистину*, *збиља*, *заправо*, *стварно*, *у ствари*, *додуше*, будет проведено сопоставление с их русскими эквивалентами, такими, как *в самом деле*, *на самом деле*, *действительно*, *в действительности*, *поистине*, *вправду*, *впрямь* и под.

Функционирование маркеров прослеживается в связи с интенциональным компонентом смысла высказывания, поскольку они включаются в повествовательный, побудительный и вопросительный контекст. В отличие от оператора сообщения, прямо связанного с истинностью, интенциональный оператор вопроса оказывается фактором, переводящим значение истины в сферу ее отрицания (сомнения).

А. Г. Ольшевская (Гродно)

Особенности выражения функционально-семантической категории каузативности в русском и белорусском языках

Причинно-следственные связи отображаются в категории каузативности. Каузативность – это функционально-семантическая категория (ФСК), поскольку она соответствует определению, приводимому А. В. Бондарко для ФСК: ФСК представляет собой систему разнородных языковых средств (морфологических, синтаксических, словообразовательных, лексических, различных комбинаций средств контекста), способных взаимодействовать для выполнения определенных семантических функций (Бондарко 1971: 8–9).

Следует сразу же отметить, что ФСК каузативности отличается от тех объектов, которые традиционно принято рассматривать как ФСК или функционально-семантическое поле (например, темпоральность, модальность, персональность, аспектуальность, залоговость). ФСК обычно опирается на специальную систему грамматических форм, морфологическое ядро (Бондарко 1971: 20). Например, ядро темпоральности представлено категорией времени, персональности – категорией лица.

Не имея морфологического ядра в русском и белорусском языках, ФСК каузативности объединяет разноуровневые средства для выражения единой семантической функции ‘каузировать’.

Как особая грамматическая категория морфологический каузатив в современном русском языке не существует (Чудинов 1984: 20). Нет такой грамматической категории и в современном белорусском языке. Между некоторыми каузативными глаголами и их некаузативными коррелятами наблюдаются морфемно-деривационные соответствия.

Приведем некоторые способы образования каузативных оппозиций: 1) основа глагола + *-ить* – основа глагола + *-нуть* (с передвижением ударения с суффикса на корень и чередованиями в корне): рус. *гасить* – *гаснуть*, бел. *тушыць* – *тухнуць*, рус. *глушить* – *глохнуть*, бел. *глушыць* – *глухнуць*; 2) глаголы на *-ить* – глаголы на *-еть*: рус. *молодить* – *молодеть*, бел. *маладзіць* – *маладзець*, рус. *белить* – *белеть*, бел. *бяліць* – *бялець*.

Чрезвычайно продуктивным является возвратно-постфиксальный тип оппозиции, в котором каузативное значение закрепляется за глаголом, немаркиро-

ванным в грамматическом отношении, а некаузативное значение – за возвратным глаголом: рус. *активизировать* – *активизироваться*, *восстановить* – *восстановиться*, *беспокоить* – *беспокоиться*, бел. *турбаваць* – *турбавацца*, *круціць* – *круціцца*.

В устной речи, как отмечает Б. Ю. Норман, наблюдается процесс «окказиональной дерефлексивизации», когда от возвратного некаузативного глагола образуется каузативный невозвратный: рус. *согласиться* – *согласить* (народ), *улыбаться* – *улыбать* (зубы), *расплакаться* – *расплакать* (сынишку) (Норман 1979: 26).

Каузативные глаголы могут образовываться от прилагательных: рус. *круглый* – *закруглять* (делать круглее или круглым), *чистый* – *чистить*, *холодный* – *охлаждать*, бел. *белы* – *бяліць*, *шырокі* – *пашыраць*.

Имеются и другие соответствия такого рода, но они, как правило, нерегулярны: рус. *напомнить* – *вспомнить*, *нервировать* – *нервничать*, *растить* – *расти*, *уверять* – *верить*, бел. *нагадаць* – *прыгадаць*, *кіпяціць* – *кіпець*.

Во многих индоевропейских языках утрата морфологического каузатива привела к образованию новых способов выражения каузативных отношений, таких, например, как синтаксический каузатив. В славянских языках сформировался аналитический каузатив. Значение каузативности на этом уровне (синтаксическом) передается эксплицитно, с помощью глагольно-инфинитивных конструкций. Глаголы рус. *давать*, *заставлять*, *велеть*, бел. *даваць*, *прымушаць* и др., выступающие в качестве вспомогательных в таких конструкциях, имеют значение ‘понуждать к действию или новому состоянию’. Кроме глагольно-инфинитивных, существуют также глагольно-именные обороты с каузативным значением: *возбуждать зависть*, *вызывать любовь*.

Многочисленность аналитических каузативов в славянских языках объясняется, с одной стороны, тем, что аффиксация не охватывает все необходимые точки грамматического пространства глагола. С другой стороны, широкая употребительность глагольно-инфинитивных и именных каузативных конструкций, возможно, связана с общей тенденцией современного русского и, в меньшей степени, белорусского языка к аналитизму.

К синтаксическим способам выражения каузативных отношений относится симметричный (термин Т. А. Кильдибековой) тип оппозиции, при котором в одной лексеме сочетается и каузативное, и некаузативное значение. Таковы глаголы, которые могут иметь и переходное, и непереходное употребление: *оттаивать* (*Ветви оттаивают* – *Рабочие оттаивают землю огнем*). К симметричным глаголам Т. А. Кильдибекова относит *бабахнуть*, *газировать*, *измельчать*, *истощать*, *примыкать*, *причаливать*, *уйти*, *брызгать*, *бурлить*, *веять*, *капать*, *коптить*, *кружить* и др. (Кильдибекова 1985: 73). При «окказиональной транзитивации» каузативное/некаузативное значение определяется из окружения глаголов, из их сочетаемости (Норман 1979: 28).

В русском и белорусском языках ФСК каузативности, как уже отмечалось, не опирается на морфологическую категорию, которая занимала бы центральное положение по отношению к иным компонентам поля, поэтому «...роль ядра (центра) могут играть другие языковые средства» (Бондарко 1971: 24). Следовательно, каузативность не стоит относить к так называемым «безъядерным» ФСК (Бондарко 1971: 24). По мнению многих исследователей, каузативные глаголы являются основным средством передачи каузативных отношений и представляют собой ядро ФСК каузативности.

Каузативные глаголы совместно с некаузативными коррелятами составляют каузативную пару, называемую супплетивной оппозицией. «При супплетивной оппозиции члены оппозиции, фактически лишенные общих морфем (помимо служебных), не имеют общего основания для морфологического сопоставления» (Типология 1969: 22). Такие глаголы характерны для рассматриваемых русского и белорусского языков: рус. *баюкать* – *засыпать*, бел. *паліць* – *гарэць*.

В заключение подчеркнем, что значение ‘каузировать’ может передаваться с помощью разнообразного инвентаря средств: морфологических (морфемно-деривационные соответствия между каузативными и некаузативными глаголами, например, рус. *зеленить* – *зеленеть*), лексических (бел. *паліць* – *гарэць*), синтаксических, включающих каузативные конструкции (бел. *прымушаць пісаць*) и некаузативные глаголы, приобретающие каузативное значение в предложении (рус. *вода капает* – *капать лекарство*).

Бондарко 1971 – Бондарко А. В. Грамматическая категория и контекст. Л., 1971.

Кильдибекова 1985 – Кильдибекова Т. А. Глаголы действия в современном русском языке. Саратов, 1985.

Норман 1979 – Норман Б. Ю. Синтаксичен каузатив в българския, руския и белоруския език // Съпоставително езикознание. 1979. № 2. С. 23–30.

Типология 1969 – Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив / Отв. ред. А. А. Холодович. Л., 1969.

Чудинов 1984 – Чудинов А. П. О деривации глаголов с каузативным значением // Исследования по семантике. Семантика слова и словосочетания: межвуз. науч. Уфа, 1984. С. 20–24.

Д. О. Петрова (Уфа)

Предикаты мнения в русском, чешском и сербском языках

Актуальность проблемы обусловлена слабой степенью изученности ментальной сферы языка в диахроническом и сравнительном аспектах на фоне возрастающего интереса к описанию внутреннего мира человека через его язык.

Феномен мнения интересен как с философской точки зрения (когнитивная проблема различения знания, мнения и веры), так и с лингвистической (как непосредственный атрибут субъекта высказывания мнение может проявляться на

разных уровнях языка от лексического до синтаксического). Нас интересуют прежде всего лексические способы выражения мнения, представленные в языке, в первую очередь, предикатами мнения (путативами).

Мнение всегда так или иначе является результатом размышления, то есть связано со сферой мысли, а не чувств. Однако «источники» мысли могут быть различными. Этапы формирования мнения можно описать следующей схемой: 1) получение информации – с помощью внешних каналов (органов чувств) или внутренних (памяти, интуиции и т. д.); 2) обработка информации; 3) конечный результат (мнение, оценка). Правомерность такого подхода подтверждается парадигматическими и синтагматическими связями путативов с другими семантическими полями и микрополями в рамках ментальной сферы языка. Сопоставительный аспект изучения позволяет показать универсальность этой схемы для человеческого мышления в целом.

Анализ предикатов мнения в русском, чешском и сербском языках позволяет выявить следующие закономерности.

1. Полеобразующими предикатами во всех трех языках являются глаголы со значением «считать, полагать, иметь мнение»: чеш. *myslet*, *předpokládat*, *domnívat se*, серб. *мислити*, *рачунавати*.

2. Основным каналом для получения информации является зрительный. В исследуемом поле обнаруживается большое количество лексем, внутренняя форма которых указывает на «зрительную семантику»: рус. *усматривать*, *точка зрения*, *взгляд*, серб. *сматрати*, *тачка гледишта*, *гледиште*, чеш. *hledisko*, *nazor*, *nahled*.

3. Помимо «внешних каналов» источниками мыслей могут быть воспоминания, знания и прочие данные, хранящиеся «внутри человека». Так, если оппозиция «знание–мнение» прослеживается в основном на уровне синтаксиса (причем как в славянских языках, так и неславянских), то оппозиция «вера–мнение» получает выражение и на лексическом уровне. Если для неславянских индоевропейских языков (английского, французского, немецкого) характерно неразличение эпистемических установок мнения и веры (*to believe*, *croire* могут обозначать как мнение, так и веру), то в славянских языках мы наблюдаем другую картину. В русском и чешском языках значение «верить» и «полагать» обозначаются разными лексемами, в то время как сербское *веровати* может принимать значение как предиката мнения, так и предиката веры.

4. Помимо связей с микрополями знания, веры и мышления в некоторых контекстах могут нейтрализоваться и другие ментальные оппозиции (например, «мнение–понимание»: *Я понимаю его поступок как проявление неуважения*, «мнение–мышление»: рус. *думать*, чеш. *myslet*, серб. *мислити* могут употребляться как в значении «размышлять», так и в значении «считать, полагать»).

5. Среди других «источников» формирования мнения следует отметить, во-первых, воздействие кого- или чего-либо (*внушать*, *vzbuozovat*, *инспирирати*),

а во-вторых, «иррациональное самозарождение» мысли в голове (*прийти на ум, доћи на мисао, парадnout*). Подобные конструкции предполагают определенную образность: в частности голова (мозг, ум) рассматриваются как некое вместилище для мыслей, идей, мнений. Вообще же для данного поля не характерна особая образность. Фразеологизмы обнаруживаются на периферии поля, метафорические переносы чаще всего связаны с изменением положения в пространстве: *полагать, předpokládat* и т. д.

Выявленные закономерности в структуре поля мнения говорит скорее не о гомогенных факторах, а об универсальности законов человеческого мышления вне зависимости от языковой картины мира.

М. А. Петрович (Пермь)

Онтология сравнения (к проблеме описания предикатов, эксплицирующих сходство вещей, в македонских сказках)

В докладе сравнительные (компаративные) конструкции рассматриваются с позиций логической семантики, семиотики и философии текста. Зачастую литературоведы и лингвисты основное назначение подобных конструкций в тексте видят в том, что они служат одним из средств художественной выразительности. В рамках доклада обосновывается положение о том, что рассмотрение сравнительных конструкций в контексте логической семантики оказывается весьма продуктивным.

Для описания сравнительных конструкций в сказочных текстах привлекается концепция Г. Фреге и Б. Рассела о разделении предикатов на внешние и внутренние. Внешние предикаты направлены на отображение *отношений* между объектами, внутренние нацелены на представление *свойства* отображаемого объекта. Предикаты сходства занимают срединное положение между этими двумя группами. С одной стороны, они эксплицируют глобальное отношение между объектами, их связанность друг с другом, и потому могут рассматриваться как разновидность внешних предикатов. С другой стороны, они являются внутренними предикатами, так как имплицитно содержат в себе указание на характеристику (физическую или социальную), объединяющую два (или более) объекта.

Общее количество проанализированных сказок составляет 200 единиц. В докладе рассматриваются сравнительные конструкции номинативного типа, которые в македонском языке представлены посредством союза **как** (*словно, будто, точно*) (мак. *како*), а также посредством оборота *похож на, походить на* (мак. *личи на*). В результате сплошной выборки из македонских сказок выделено 118 предикатов, эксплицирующих сходство вещей. Это составляет менее 1% от общего количества внешних предикатов (около 10 тысяч единиц) в анализируемых текстах.

Основная функция предикатов, эксплицирующих сходство, состоит в качественно новом структурировании объектов, заполняющих сказочное пространство. Посредством операции сравнения (аналитической по своей природе) происходит перенесение свойств одного объекта на другой и выделение черты, объединяющей сравниваемые объекты.

Анализ предикатов, с помощью которых устанавливается сходство вещей в македонских сказках, позволил выявить ряд закономерностей в «логике» сказочного сравнения. В докладе внимание обращается на следующие закономерности.

1. В македонских сказках, как правило, перенос основывается на экспликации у объектов сходства **физических свойств**. Так, свойство «быть большим» актуализирует и одновременно объединяет такие объекты, как *змея* (мак. *змија*), *барабан* (мак. *тапан*), *глаза* (мак. *очи*) и *Луна* (*месяц*) (мак. *месечина*). Ср., например: «*Таа пуста змија била голема како еден тапан*» ('Эта проклятая змея была большой, словно барабан'). Здесь и далее перевод мой. – М.П.); *Едни очи (на змијата) како една месечина биле големи* ('Одни только глаза у этой змеи были большими, словно месяц'). Таким образом, физическая характеристика – размер – объединяет реалии, относящиеся к различным классам, – входящие в классы «Животное» (*змея*) «Артефакт» (*барабан*) и «Натурфакт» (*месяц*). В ходе анализа выделяется целый ряд спорадически представленных физических характеристик, объединяющих объекты в сказочных текстах. Например, такие объекты, как *борода*, *снег*, *вода*, *пена*, *облако*, объединены на основе приписываемой им общей характеристике – **белого цвета**. В одной из сказок вода описана так: «*вода е како некоја бела пена, али некој бел облак*» ('Вода словно белая пена или белое облако'). Физическая характеристика «прозрачность» объединяет текстовые объекты *вода*, *река* и *слеза*. Так, в одной из сказок представлена следующая характеристика воды в колодце: «*А во бавчата има чиста вода како с'лза*» ('А в саду его – вода, словно слеза, прозрачная').

2. В македонских сказках посредством предикатов, эксплицирующих сходство объектов, описываются, как правило, **люди**. Кроме того, с помощью операции сравнения, «запускающей» посредством этих предикатов, совершается указание на **положительные качества** персонажа. Иными словами, уподобление человека объектам живой природы в сказочных текстах направлено на выявление положительной оценки тех или иных качеств человека (красоты, чистоты, силы и т. д.). Ср., например, как подчеркивается красота героини посредством анализируемых предикатов: «*И стане царот... и виде горе едно девојче лично шо светеше како сонцето*» ('Встал цар... и видит: наверху дерева девушка сидит, да такая красивая, точно солнце сияющее').

Таким образом, с помощью предикатных знаков, эксплицирующих сходство объектов в сказочных текстах, актуализируются знаки, принадлежащие различным онтологическим классам. Тем самым подчёркивается равнозначность

мира предметного и не предметного, мира людей и животных, запечатлённая народным сознанием в текстах сказок. Примечательно, что коллективное сознание, отображенное в сказках, постигая мир с помощью сравнений, стремится, прежде всего, к акцентуации значимости мира природы, природных объектов. Полагаем, что в сказках как в перво- или прототекстах воспроизводимые из текста в текст сравнительные конструкции свидетельствуют не только о художественной значимости данных оборотов в стилистике сказочного жанра в целом, но и об их гносеологической ценности для коллективного автора, для которого сопоставление, сличение объектов было одним из инструментов познания объективной действительности.

И. Е. Пинхасик (Минск)

Глагольные деривационные словосочетания и их однословные корреляты в свете тенденций развития современного болгарского словообразования

В болгарской лингвистике явления аналитизма и синтетизма традиционно рассматриваются в области морфологии и синтаксиса, словообразование же считается разделом морфологии и изучается лишь в описательном плане как вспомогательная дисциплина, вне связи с другими разделами языкознания, что, без сомнения, не выявляет в полной мере его возможностей и закономерностей. Существуют отдельные работы, посвященные болгарскому словообразованию (наиболее значимы среди них труды В. Радевой, Вл. Мурдарова, Ст. Стоянова), однако в них не поднимается вопрос об образовании и функционировании глагольных деривационных сочетаний (ГДС) и их аффиксальных производных. Обращение к изучению таких номинативных единиц на данном этапе представляется необходимым и своевременным: действие одного из основных законов речи, а именно закона экономии лексических средств, мотивирует интерес к исследованию средств номинации, которые используются для наименования одного и того же фрагмента действительности и способны взаимозаменяться в процессе коммуникации. Под влиянием вышеуказанного закона в современном болгарском языке все ярче проявляется тенденция к стяжению аналитических глагольных сочетаний, существование которых в значительном количестве объясняется его аналитическим грамматическим строем, в однословные дериваты, причем одному сочетанию может соответствовать несколько коррелирующих производных, что, на наш взгляд, есть проявление богатых словообразовательных возможностей рассматриваемого языка.

Аналитичность грамматического строя современного болгарского литературного языка традиционно не подвергается сомнению, в связи с чем представляется закономерным тот факт, что одним из важнейших способов номи-

нации в нем служит словообразовательный аналитизм, который находит свою реализацию в том числе в виде ГДС. Функционируя в языке наравне и параллельно с синтетическими производными единицами, ГДС в то же время являются образованиями более высокого порядка, что, впрочем, не мешает им успешно сосуществовать со своими однословными эквивалентами. Называя одно и то же действие различными способами и вступая в отношения синонимии, указанные слова и словосочетания способны взаимозаменяться в процессе коммуникации и оказывать действенную помощь в преодолении словообразовательной недостаточности. Тенденция к аналитизму, в том числе деривационному, связана, прежде всего, со стремлением говорящего к предельной точности и однозначности выражения, что становится возможным при использовании аналитических конструкций разных типов, в то же время закон экономии речевых средств диктует стремление к компактности высказывания, которую обеспечивают однословные синтетические номинации. Очевидно, что существование в языке 2 абсолютно идентичных наименований одного и того же фрагмента реальности противоречит вышеуказанному закону, поэтому ГДС и их производные нередко приобретают различную стилистическую и семантическую окраску, что накладывает определенные ограничения на свободную замену их коррелирующими единицами. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что ГДС и соответствующие им глагольные дериваты напрямую соотносятся и тесно взаимосвязаны друг с другом, а также, если позволяют условия осуществления процесса коммуникации, заменяют друг друга в речи.

В своем исследовании мы выделили основные модели ГДС, структурные и семантические особенности образующих их компонентов, а также специфику образования однословных эквивалентов и пришли к следующим выводам:

- ГДС, являясь средствами аналитической деривации, мотивированы теми же именами существительными и прилагательными, что и соответствующие синтетические глагольные дериваты, реально существующие в языке. Наиболее многочисленная группа ГДС с вербализаторами *права, ставам, върша, подлагам, извършвам*, наименее – с *отправлям, обработвам, извърлям, написвам, говоря*.

- В зависимости от мотивирующей части речи ГДС делятся на соответствующие категории, а в зависимости от глагола, который входит в состав ГДС, образуют определенные номинативные типы. В результате анализа имеющегося лексического материала выделено три номинативных типа ГДС, мотивированных существительными (ГДС, обозначающие действия субъекта; ГДС, обозначающие состояния субъекта или объекта; ГДС, обозначающие процесс приобретения свойств субъектом) и три номинативных типа ГДС, мотивированных прилагательными (ГДС, обозначающие процесс приобретения признака; ГДС, обозначающие процесс наделения признаком; ГДС, обозначающие состояния субъекта).

- Имея общее лексическое значение, ГДС и соответствующие однословные глагольные номинации различаются степенью компактности (последние более экономны), валентностными возможностями, стилистической окрашенностью. Выбор той или иной номинативной единицы зависит от конкретных условий осуществления коммуникативного акта.

- Образование от ГДС однословных коррелятов является живым деривационным процессом, который на данный момент весьма активен, и осуществляется на основе продуктивных словообразовательных типов, что позволяет надеяться на появление новых примеров более компактных эквивалентов сложных глагольных номинаций. Анализ собранного нами фактического материала позволяет выделить 2 основных способа образования от ГДС эквивалентных дериватов, а именно префиксально-суффиксальный и суффиксальный.

Т. С. Тихомирова (Москва)

Семантико-функциональный потенциал падежных форм эмотивов (на материале польского и русского языков)

В обширном и многообразном научном наследии проф. С. Б. Бернштейна синтаксическая проблематика не занимала центрального места, однако обращение к коллективной монографии «Творительный падеж в славянских языках» (1958), созданной под его руководством и под его редакцией, показывает, как много в этой работе содержится ценного и поучительного и для современного исследователя падежа. В этой работе – наряду со сравнительно-исторической и сопоставительной составляющими – вполне отчетливо представлена методическая разработка описания семантики падежной словоформы в теснейшей взаимосвязи между всеми ее компонентами – формой, функцией и лексемой, что для начала пятидесятых годов – времени создания монографии – в конкретных исследованиях не всегда находило достойное отражение.

Эта зависимость и обусловленность значения словоформы, в частности, падежной, определенным рядом ее семантико-функциональных особенностей – начиная от семантики самой формы, а также от ее позиции в системе прочих форм, от ее функции в тексте и кончая ее лексико-семантической характеристикой – была хорошо показана во многих частях монографии о творительном падеже, что и нашло потом превосходное развитие во всех трудах под знаком функциональной грамматики. Сложные и разносторонние взаимосвязи данных факторов определяют как семантические и функциональные возможности словоформы, так и обуславливают значительные ограничения ее потенциала. Это, в свою очередь, позволяет выявить новые сходства и различия у лексем, (в частности, у имен существительных). Конкретнее, лексемы можно сопоставлять

исходя из семантико-функционального потенциала их использования в тексте, что подводит нас к новой стратификации лексем существительных.

Настоящее выступление является попыткой представить такую модель семантических и функциональных возможностей падежных форм на примере одной из лексико-семантических группировок существительных-эмотивов, а именно слов, обозначающих чувства, эмоции и эмоциональные состояния людей (на материале польского и русского языков): польск. *radość, gniew, smutek, tęsknota, irytacja, rozpacz, rozdrażnienie, tkliwość, miłość, nienawiść, zazdrość* – русск. *счастье, негодование, страх, тревога, удивление, недоумение, тоска* и т.п.

Характерные черты семантико-функционального потенциала данной группы лексем-эмотивов обусловлены целым рядом факторов: с одной стороны – их общей принадлежностью к классу существительных, что обеспечивает им формальную падежную парадигму, а с другой – их принадлежностью к лексико-грамматическому разряду абстрактных, отвлеченных имен существительных.

В силу этих двух свойств эмотивы, будучи именами существительными, обладают полной формальной падежной парадигмой в единственном числе и в то же время исходно лишены такой парадигмы во множественном числе (случаи вторичной – окказиональной или даже регулярной конкретизации таких лексем оставляем в стороне). Указанные свойства нисколько не могут ограничивать их собственно синтаксического функционирования: в обоих языках эмотивы свободно могут занимать в предложении позиции любых актантаов, входить в состав предикативных компонентов, быть частью атрибутивных построений – польск. *miłość to szczęście i tęsknota, mówić o miłości, zabić tę miłość, strach miłości* и т. п.; русск. *о любви не говори, это не любовь, а мука* и т. п.

Лексическая специфика эмотивов обусловлена прежде всего их принадлежностью к антропологической лексике, лексике, обслуживающей человека, и именно это общее свойство в первую очередь проецируется на все их существование и использование в тексте. Отнесенность указанной лексико-семантической группы к сфере человека, ее «антропологичность» находит себе отражение не только на собственно лексическом уровне (преимущественно в области лексической и лексико-грамматической сочетаемости – см ниже), но и на формально-структурном и семантико-функциональном уровне. В этих областях лексическая специфика эмотивов выражается в определенной избирательности в употреблении тех или иных конструкций, т. е. раскрывается как в собственно формальных синтаксических возможностях, так и в их семантико-функциональном потенциале.

В частности, ориентированность эмотивов на антропологическую зону, поскольку нередко они входят в сферу описания конкретного человека, настоятельно вызывает в ближайшем контексте указание на носителя данной эмоции и эмоционального состояния, устойчиво (в том числе и при каузативных глаголах) реализуемого с помощью форм личного существительного или личных местоимений.

В семантико-функциональном плане лексическая семантика эмотивных лексем наиболее полно воплощается в обстоятельственных конструкциях, в позициях сирконстантов.

Излюбленной функционально-семантической зоной эмотивов является зона обстоятельства образа действия, реализуемая в обоих языках наиболее частотной предложно-падежной конструкцией *z(e) / c(o) + твор.п.*: польск. *ze zdziwieniem, ze strachem, z zadowoleniem, z gniewem*; русск. *с ужасом, с умилением, с восторгом, с презрением* и т. д., служащей обычно для выражения определенного состояния, при котором совершается действие (Твор. пад., стр. 69).

Семантически близки к этим сочетаниям конструкции предлога *w / в + местн. падеж* (исходно этимологически связанный с локативной семантикой, однако лексическое значение эмотивности сдвигает эти конструкции в сторону значения образа действия – что делать: польск. *w rozpaczy, w zdziwieniu, w zadowoleniu*, русск. *в недоумении, в отчаянии, в ужасе* и т. п. Семантическая и функциональная близость способствует формированию синонимических пар, ср. польск. *ze złością – w złości, w rozbawieniu – z rozbawieniem*; русск. *с недоумением – в недоумении*, что и отличает формы эмотивов от прочих форм абстрактных существительных (ср. польск. *w przekonaniu, w pamięci*; русск. *в мышлении, в глупости, в воображении* и т. п.).

В качестве антонима для этих конструкций, как и для всех оборотов с творительным социативным, используются сочетания с предлогами *bez / без – польск. bez gniewu, bez radości*, русск. *без страха, без удовольствия / была без радости любовь, разлука будет без печали*.

Определенная семантическая независимость конструкции с предлогами *w / в* позволяет некоторым из этих оборотов с эмотивами, хотя и ограниченно лексически и неодинаково по языкам – выступать в позиции предикативного при знака: *jestem w rozpaczy – я в отчаянии, она была в исступлении, в восторге*.

В сфере той же семантики обстоятельств используются со значением эмоциональной реакции (результата с оттенком непредусмотренной цели) конструкции предлогов *ku / к* польск. *ku zgorzeniu, ku zdziwieniu kogo, ku zadowoleniu kogo*; русск. *ко всеобщему удивлению, к моему огорчению* (хотя и с некоторой долей лексикализованности). Показатель носителя данного эмоционального состояния (пусть и не в ближайшем контексте или же в обобщенном значении) едва ли не является облигаторным в обоих языках.

Характерной и частотной является позиция со значением (внутренней) причины: польск. предлоги *z + род. п. – z zazdrości, z rozpaczy, z przerażenia, z tęsknoty; przez + вин. п. – przez zazdrość, przez zawiść, przez zamilowanie do kogoś, uczynić to z wdzięczności*, однако данная конструкция не обладает, так сказать, эмотивной исключительностью – ср., напр., *z braku pieniędzy, z wieku i urzędu należą się*.

В русском языке им с тем же значением соответствуют конструкции с предлогами – *из-за + род. п.*: *из-за ревности, из-за симпатии; от + род. п.*: *от от-*

чаяния, от любопытства и по + дат. п.: по любви. Нельзя не отметить, что все приведенные конструкции со значением причины формально и семантически легко сопрягаются с лексемами других групп интеллектуального состояния (см. *przez głupotę, przez nieuwagę; из-за дурачества, по рассеянности, по злобе*), а также употребляются в свободных эллиптических конструкциях типа *przez siebie, przez ten mróz, из-за мороза*. Другими словами, в рамках причинной семантики эмотивы, хотя и достаточно частотны, формально не составляют особой специфики и наряду с другими лексемами являются выразителями разветвленного функционально-семантического поля причинности. Отличительными являются только польские конструкции с предлогом *z* + род. п., преимущественно зарезервированными за конструкциями с эмотивами – см. польск. *zarumienić się ze wstydu, błady z emocji*.

Если вынести за скобки объектно-локативные позиции типа «из страха родился гнев» и прочие метафорические употребления, свойственные прочим отвлеченным существительным, а также представленные выше конструкции с предлогами *w / в* (*w gniewie, w smutku – в удивлении*), восходящие по происхождению к пространственно-локативным, следует признать, что эмотивная лексика не включается в более конкретные директивно-локативные или какого-либо сходного плана конструкции – в прямом значении та зона, пожалуй, для них закрыта.

Эмоции и эмотивные состояния исходно оцениваются человеческой психикой и соответственно – языком как процессы, обладающие определенной временной протяженностью, и потому эмотивы широко используются в конструкциях, выражающих основные временные параметры – одновременности, предшествования (перед) и следования (после). Собственно, сему одновременности несут все рассмотренные выше конструкции со значением образа действия.

Отдельно следует характеризовать функциональный потенциал эмотивов отношения, обладающих в обоих языках разнообразными синтаксическими конструкциями, обозначающими объект эмоционального отношения: польск. *miłość do ojczyzny, pogarda dla zdrady, szacunek dla starszych, strach przed starością* – русск. *любовь к детям, отвращение к лжи, восторг перед талантом* и т. п.

Семантическая принадлежность эмотивов к сфере человека естественно отражается в лексической сочетаемости эмотивов. Здесь следует подчеркнуть следующее. Антропологическая ориентированность эмотивов легко способствует их собственной персонификации, что в свою очередь приводит к сочетаемости этих существительных с антропологической лексикой, в частности, с глаголами преимущественно человеческой деятельности – ментальными, зрения, говорения и т. п. Соотнесенность с быстротечностью эмоций и эмоциональных состояний проявляется в необходимости использовать различные фазовые глаголы, также связанные с человеком. Знаменательно, что эмотивам и их лексическому окружению свойственна богатая «человечивающая» метафорика, обладающая в обоих языках определенной устойчивостью и фразеоло-

гичностью (ср. польск. *uczucie się rodzi, budzi się, dręczy, ogarnia, budzić w kim, zazdrość wyбуcha, płonie, wzniecać zazdrość*; русск. *любовь зарождается, пришла, ушла, угасла, пробудить любовь, зажечь в ком-то страсть* и т. д.).

Сопоставительный анализ польского и русского материала показал следующее:

1. Если даже едва ли возможно для одного или тем более для обоих языков выделить абсолютно специфическую синтаксическую конструкцию, свойственную только данной категории слов и не занимаемой другими лексемами, то тем не менее общий семантико-функциональный потенциал эмотивов в обоих языках, одинаковые модели использования в тексте, потенциальные возможности и пристрастия, равно как и общие семантико-функциональные ограничения, в том числе наличие преимущественного набора конструкций, значение которых сопряжено только и только с эмотивами, что тем самым определяет их не только лексико-семантическую, но и семантико-функциональную обособленность, – все эти факторы, как представляется, позволяют выделить в ряду других группировок лексики эмотивы как особую лексико-функциональную группу, обладающую собственной, во многом неповторимой функционально-семантической парадигмой.

2. Вместе с тем нельзя не отметить, что при всей близости лексики польского и русского языков, нередко обусловленной их этимологическим родством, данная лексическая группа эмотивов на собственно лексическом уровне проявляет немало отличий в выборе и закреплённости тех или иных синтаксических позиций. Это, как представляется, связано с большой степенью лексикализованности и метафоричности сочетаний, в целом свойственной эмотивной лексике в обоих языках.

Л. М. Устюгова (Ужгород)

Чередования согласных как один из параметров типологии русского и украинского языков

1. С момента становления морфонологии как особой лингвистической дисциплины исследователи отмечали её типологические параметры (Гринберг 1963: 75; Трубецкой 1967: 118). По мнению С. Б. Бернштейна, на материале славянских языков можно всесторонне охарактеризовать теоретические основы морфонологии (Гринберг 1963: 21–22).

Цель данного сообщения – показать степень сходства и различий некоторых морфонологических явлений в системах словообразования русского и украинского языков. Поскольку в русском литературном языке полнее, чем в украинском, отражена связь со старославянской книжно-письменной традицией, материал нашего исследования ограничен словами с исконными полногласными

(*torot-*) и заимствованными неполногласными (*trat-*) корнями. Эти корни в обоих языках имеют сравнительно большое количество морфонологических вариантов – 693 в русском (из 144 реконструируемых праславянских корней), и 516 в украинском (из 141 праславянского корня). Словообразовательные гнезда (гн.), в которых корень представлен только в своём основном виде, в сопоставляемых языках составляют меньшинство: в русском языке 66 гн. (27%) с *torot*-корнями и 84 гн. (43%) с *trat*-корнями, в украинском — соответственно 71 гн. (29%) и 39 гн. (49%). Максимальное количество вариантов (5) зафиксировано у русских корней *-корот-* (*-корот'*-, *-короч'*-, *-корач'*-, *-коротк-*, *-коротк'*-), *-крат-* (*-крат'*-, *-крац'*-, *-кратк-*, *-кратк'*-, *-кратч'*-) и *-сладк-* (*-сладк'*-, *-сладч'*-, *-ласт-*, *-ласт'*-, *-слац'*-). По 4 варианта имеют русский корень *-вред-* (*-вред'*-, *-вреж-*, *-врежд-*, *-врежд'*-) и украинский *-череп-*² (*-череп'*-, *-черепок-*, *-черепк-*, *-черепоч-*). В среднем в словообразовательных гнездах русского и украинского языков фиксируется по 2 морфонологических варианта корней.

2.1. Чередования заднеязычных с шипящими ([*k : čʲ], [*g : žʲ], [*x : šʲ]), возникшие в праславянском языке в связи с палатализационными процессами перед гласными переднего ряда, постепенно преобразовались в морфонологические чередования в определённых парадигматических и деривационных позициях. Как указывал С. Б. Бернштейн, в славянской морфонологии эти чередования играют первостепенную роль (Бернштейн 1974: 54). В нашем материале они отмечены как в полногласных, так и в неполногласных корнях, причём без каких-либо существенных различий между русским и украинским языками (рус. *молоко* > *молочный*, *мрак* > *мрачный*; укр. *молоко* > *молочний*, *морок* > *морочний*). Указанные чередования заднеязычных в обоих языках дополняются чередованием [ц : чʲ] / [цʲ : ч] (*черепица* > *черепичный*, *глаголиця* > *глаголический*; *черепиця* > *черепичний*, *глаголиця* > *глаголичний*).

2.2.1. Морфонологические различия зафиксированы прежде всего перед суф. *-(е)ств-*: рус. *владыка* > *владычество*, *скоморох* > *скоморошество*; укр. *владика* > *владицтво*, *скоморох* > *скомороство*. Утрата редуцированного в суф. *-ьств-* обусловила в украинском языке сложные ассимилятивные процессы на стыке морфем (Исторія 1979: 208). Ср. рус. *братство* [брацтво].

2.2.2. В инфинитивах глаголов русский язык сохраняет изменения [*ktʲ], [gtʲ] в [čʲ] (**velkti* > *волокч*, **bergti* > *беречч*). В украинском языке это изменение утрачено (*волокчи*, *береччи*), что, по мнению С. Б. Бернштейна, объясняется тенденцией к аналогическому выравниванию основ (Бернштейн 1974: 97).

3. Чередования, обусловленные взаимодействием согласных [*s], [*z], [*g], [*k], [*x], [*b], [*m], [*p] и [*v] с [*j], одинаково характерны и для русского, и для украинского языков, причём наблюдается их полное совпадение в словах с *torot-/trat*-корнями (*выколоситься* > *выколашуватися*, *возгласить* > *возглашати*; *выколоситися* > *выколосуватися*, *проголосити* > *проголосувати*). Существенные различия не только между сопоставляемыми языками, но и между русски-

ми полногласными и неполногласными корнями характерны для рефлексов [*tj] и [*dj]. В русском языке кроме исконных восточнославянских рефлексов [ч'] и [ж] имеются слова со старославянскими альтернантами [щ'] и [жд] / [жд'], представленными в неполногласных корнях. Ср.: *поворотить* > *поворачивать*; *огородить* > *огораживать*, *огороженный*, но *возвратить* > *возвращать*, *возвращённый*, *возвращение*; *оградить* > *ограждать*, *ограждённый*, *ограждение*. Указанная закономерность нарушается только в корне *-вред-*: *повреждать*, *повреждение*, но *обезвреживать* > *обезвреживание*.

В украинском языке имеется один рефлекс [*tj] – общевосточнославянский [ч] (*скоротити* > *скорочувати*, *скорочений*, *скорочення*). На месте праславянского рефлекса [*dj] наблюдается два рефлекса – общевосточнославянский [ж] (*огорожа*, *сажа*) и аффриката [дж] (*охолодити* > *охолоджувати*, *охолодженний*, *охолодження*). В отличие от русского языка, в украинском языке нет *trat*-корней с рефлексами [*tj] и [*dj].

4. Новые сочетания «согласный + [j]», возникшие после падения редуцированного [и], в русском языке не подверглись изменениям (*коло[с'ja]*, *побере[ж'je]*), однако они представлены преимущественно в полногласных корнях. Для слов с *trat*-корнями, как правило, характерно книжное произношение, сохраняющее звук [и]: *влечение*, *извращение*, *междувластие*, но *празднич[н'je]*. В юго-западных говорах, на основе которых формировался украинский язык, в указанных сочетаниях происходила ассимиляция [j] предшествующим согласным, в результате чего появились долгие мягкие согласные: *коло[с':a]*, *побере[ж':a]*. Утрата суф. [j] привела к переосмыслению способа образования слов типа *колосья*: в современном украинском языке они имеют нулевой суффикс (*борода* > *підбор[д':∅]я*, *виноград* > *виногра[д':∅]я*).

Таким образом, в говорах, на основе которых формировались русский и украинский языки, палатализационные процессы праславянского периода протекали в целом однотипно. Появление морфонологических различий между сопоставляемыми языками относится к более позднему периоду и отражает как закономерные фонетические изменения в разных диалектных зонах, так и социолингвистические факторы, обусловившие наличие в русском и отсутствием в украинском языке гетерогенных чередований.

Бернштейн 1974 – *Бернштейн С. Б.* Очерк сравнительной грамматики славянских языков: Чередования. Именные основы. М., 1974.

Гринберг 1963 – *Гринберг Дж.* Квантитативный подход к морфологической типологии языков // Новое в лингвистике. Вып. 3. М., 1963. С. 60–94.

Історія 1979 – *Історія української мови.* Фонетика / Відп. ред. В. В. Німчук. Київ, 1979.

Трубецкой 1987 – *Трубецкой Н. С.* Морфонологическая система русского языка // Трубецкой Н. С. Избранные труды по филологии. М., 1987. С. 67–142.

Трубецкой 1967 – *Трубецкой Н. С.* Некоторые соображения относительно морфонологии // Пражский лингвистический кружок: Сборник статей. М., 1967. С. 115–118.

Т. В. Федунова (Минск)

**Уровни семантической градации при сопоставлении
русско-белорусской лексической пары
(на примере лексики поведенческих реакций человека)**

В лингвистических исследованиях, имеющих своей целью сопоставление лексики нескольких языков, основной акцент обычно делается на контрастивном изучении двух языковых систем, в которых отмечается превалирование, как правило, различительных признаков и явлений, нежели сходных или эквивалентных черт. Данного рода исследования обычно проводятся на базе бинарного языкового сопоставления (например, русского и болгарского, английского и башкирского, французского и молдавского, русского и немецкого, русского и английского, русского и французского и др. языков). Кроме того, представлена процедура полиарного сопоставительного анализа лексических систем на примере контрастивного изучения английского, русского и французского языков.

Осуществление контрастивного семасиологического анализа в системе двух близкородственных языков требует особого подхода в силу доминирования сходных признаков, так что дифференциальные признаки, призванные составлять контрастивную специфику того или иного языка, оказываются в тени. Для выявления контрастивных черт в лексической системе близкородственных русского и белорусского языков нами предпринят анализ с последовательным выделением двух уровней семантической градации (дифференциальной семантизации) на примере лексики тематического диапазона 'поведенческие реакции человека'.

Первый из них – **уровень собственно семантического анализа** – ориентирован на установление типов семантических корреляций с опорой на логическую схему возможных отношений между семантическими единицами в пределах межъязыковой русско-белорусской лексической пары. Он направлен на установление характера эквивалентности между семемами русского и белорусского языков и заключается в установлении типов лексико-семантических отношений тождества, включения или пересечения с учетом семного состава сопоставляемых лексических единиц.

Анализ на уровне семемы с определением семного состава значений русско-белорусских единиц в пределах сопоставляемой межъязыковой лексической пары предполагает выход в плоскость лексемы с рассмотрением семантической структуры слова как взаимосвязанной последовательности лексико-семантических вариантов и выделением тех же типов семантических корреляций – тождества, включения и пересечения. Эта последовательность действий репрезентирует второй уровень анализа лексической пары – **семантико-лексический**. Кроме того, он предусматривает, во-первых, выявление у лексической единицы русского языка всех возможных переводных соответствий в белорус-

ском языке на основе анализа семантической структуры русскоязычной единицы и, во-вторых, диктует определение типов соответствий – семантически эквивалентной лексической пары или поля соответствия. Первый тип соответствия включает такой характер отношений между лексемами, как отношение тождества. Второй тип представляет собой характер соотношений, при котором лексической единице одного языка соответствует более чем одна единица в другом, и репрезентируется двумя типами семантических отношений между членами лексической пары – отношениями включения и пересечения.

Чем большее число переводных соответствий зафиксировано для той или иной единицы русского языка, тем более яркой оказывается национально-семантическая специфика этой единицы, и, таким образом, количество соответствий лексической единицы в тексте перевода может выступать показателем степени национального своеобразия семантики каждого из сопоставляемых языков.

Последовательный ход контрастивного анализа лексики русского и белорусского языков с проекцией на два уровня семантической градации проиллюстрируем на примере межъязыковой русско-белорусской лексической пары *обхождение – абыходжанне 1*.

Тип семантических корреляций	Уровень семемы	Уровень лексемы
тождество	$P\{Seme_{1,2,\dots,n}\} \equiv B\{Seme_{1,2,\dots,n}\}$	$P_1 \equiv B_1$ $P_{1,2,\dots,n} \equiv B_{1,2,\dots,n}$
включение	$P\{Seme_{1,2,\dots,n-1}\} \subset B\{Seme_{1,2,\dots,n}\}$ или $P\{Seme_{1,2,\dots,n}\} \supset B\{Seme_{1,2,\dots,n-1}\}$	$P_1 \subset B_{1,2,\dots,n}$ $P_{1,2,\dots,n-1} \subset B_{1,2,\dots,n}$ $P_{1,2,\dots,n} \supset B_1$ $P_{1,2,\dots,n} \supset B_{1,2,\dots,n-1}$
пересечение	$P\{Seme_{1,3,4,\dots,n-1}\} \cup B\{Seme_{1,2,4,\dots,n}\}$	$P_{1,3,4,\dots,n-1} \cup B_{1,2,4,\dots,n}$ $P_{1,2,\dots,n-1} \cup B_{1,2,\dots,n}$

Так, семный анализ, призванный вскрыть характер семантических отношений между русской и белорусской семемами *обхождение* и *абыходжанне 1* соответственно, свидетельствует о тождестве ($P \equiv B$) представленных семем в обоих языках. Это объясняется наличием двух общих, интегральных сем, свойственных в одинаковой мере как русской, так и белорусской семемам – ‘*манера поведения по отношению к кому-н.*’, ‘*выявление своих отношений к кому-н.*’.

Собственно семантический анализ предполагает переход от анализа структуры значения слова к анализу семантической структуры лексем. С точки зрения данного аспекта анализа рассматриваемая нами лексическая пара находится в отношениях включения ($P_1 \subset B_{1,2}$), где включающей выступает белорусская лексема *абыходжанне* в силу того, что в состав ее структуры входит еще один лексико-семантический вариант, отсутствующий в семантической струк-

туре русской лексемы *обхождение*. Сравните: русск. *обхождение* 'Манера поведения по отношению к кому-н., выявление своих отношений в обращении с кем-л.' и бел. *абыходжанне*. '1. Выяўленне сваіх адносін, манера паводзін у дачыненні да каго-н.' '2. Уменне карыстацца чым-н'.

Ограничным продолжением данного уровня семантической градации призван стать аспект сопоставительного исследования, предполагающий осуществление семантико-лексического анализа с выявлением полностью семантически эквивалентной лексической пары или поля соответствия с отношениями включения или пересечения. Рассматриваемые нами единицы русского и белорусского языков образуют поле соответствия с отношениями включения, где опять же включающей выступает белорусская лексема *абыходжанне*. Характер такого типа отношений в пределах лексической пары *обхождение* – *абыходжанне* продиктован тем, что в поле зрения исследователя попадают новые лексические единицы русского языка, соответствующие в своих значениях лексико-семантическим вариантам в составе семантической структуры белорусскоязычной лексемы *абыходжанне*. Так, второму ЛСВ белорусской лексемы в русском языке соответствует пятый ЛСВ в структуре лексемы *обращение* со значением 'пользование, употребление'. Кроме того, осуществление контрастного анализа в обратном направлении – от белорусского языка к русскому – позволяет зафиксировать и тот, факт, что в первом ЛСВ белорусскоязычной лексемы со значением '1. Выяўленне сваіх адносін, манера паводзін у дачыненні да каго-н.' в русском языке соответствует не только лексема *обхождение*, но и лексема *обращение* в своем втором лексико-семантическом варианте '2. Поведение, поступки, действия по отношению к кому-л.':



Таким образом, представленный нами контрастивный лексический анализ русского и белорусского языков с учетом двух уровней семантической градации дает возможность проанализировать семную структуру лексических единиц в пределах межъязыковой лексической пары и в дальнейшем рассмотреть весь спектр значений, составляющих семантическую структуру лексем каждого из языков. Проведенный двухуровневый анализ показал, что до 46 % сопоставляемых лексических единиц не находятся в отношениях тождественности, несмотря на факт близкого родства языков, о чем свидетельствуют расхождения в семном наборе значений русского и белорусского языков и специфика семантической структуры соответствующих русско-белорусских лексем.

Бозова С. Лингвометодическое описание русской лексики и грамматики в свете болгарского языка. София, 1995.

Гудавичюс А. Сопоставительная семасиология литовского и русского языков. Вильнюс, 1985.

З. К. Шанова (Санкт-Петербург)

Глагольная система болгарского языка и категории эвиденциальности и эпистемической модальности

Глагольная система современного болгарского языка отличается разнообразием грамматических категорий, форм и значений. Наиболее сложную структуру имеет категория модальности, дающая грамматическую категорию наклонения. Кроме изъявительного, повелительного и условного наклонений ученые выделяют в болгарском языке пересказывательное наклонение, имеющее кроме обычных пересказывательных форм также формы «недоверчиво-неодобрительного пересказывания» («за по-силно преизказване») (Л. Андрейчин, Ю. С. Маслов, Ст. Георгиев, П. Пашов). Многие исследователи не считают формы, выражающие значение пересказывания, наклонением (Е. И. Дёмина, Т. Н. Молошная, Ив. Куцаров). Ещё одно наклонение – предположительное (или умозаключительное, конклюдив) (Ю. С. Маслов, Ив. Куцаров). Лингвисты считают адмиратив транспозитивным употреблением пересказывательных форм с непересказывательным значением (Ю. С. Маслов, Т. Н. Молошная), самостоятельной модальной категорией (Е. И. Дёмина), одним из значений категории эмоциональности (Р. Ницолова) или умозаключительных форм (В. Станков). Высказывается мнение о существовании в болгарском языке гиперкатегорий, объединяющих несколько морфологических категорий (Г. Герджиков, И. А. Мельчук, Р. Ницолова), уточняется статус грамматических форм и особенности их функций (Ив. Куцаров).

В последние годы в лингвистике широко обсуждаются категории эвиденциальности (засвидетельствованности) (Р. Якобсон) и эпистемической модальности на материале разных языков, в том числе и балканских (В. Фридман), проводятся конференции, посвященные этим категориям. Категория эвиденциальности указывает на источник сведений о сообщаемом факте или событии, а источником могут быть собственные наблюдения говорящего – прямая засвидетельствованность (экспериментив), а также косвенная засвидетельствованность («говорящий получает сообщаемую информацию опосредованным образом, через промежуточную информацию» [Храковский 2003: 161]): 1. пересказ; 2. логические умозаключения (инферентив, или конклюдив); 3. предположение (презюмптив). Болгарский язык относится к тем языкам, в которых «говорящий обязан в определенных ситуативных условиях выразить источник, на котором основаны его сведения» (Козинцева 1994: 92).

Категория эпистемической модальности выражает, насколько соответствует действительности передаваемая говорящим информация, характеризует степень правдоподобности ситуации с точки зрения говорящего, указывая на уровень полноты картины об окружающем мире. У исследователей разные взгляды на соотношение категорий эвиденциальности и эпистемической модальности.

Одни считают эти категории самостоятельными (Козинцева 2007: 85), другие находят точки пересечения этих категорий в определенных значениях (Willett 1988; Bybee 1985), рассматривают эвиденциальность в рамках категории эпистемической модальности (Плунгян 2000), объединяют эти категории в одну гиперкатегорию «характеристика говорящим сообщаемой информации» (Ницолова 2003).

Исследованный материал показал, что глагольная система болгарского языка, где эвиденциальная семантика эксплицирована пересказывательными глагольными формами, свидетельствует о наличии связи в плане содержания между категориями эвиденциальности и эпистемической модальности. Формы, указывающие на источник сведений говорящего, в определенных условиях содержат информацию о достоверности этих сведений, отражают оценку говорящим истинности пропозиции.

Козинцева 1994 – *Козинцева Н. А.* Категория эвиденциальности (проблемы типологического анализа) // Вопросы языкознания. 1994. № 3. С. 92–104.

Козинцева 2007 – *Козинцева Н. А.* Косвенный источник информации в высказывании (на материале русского языка) // Эвиденциальность в языках Европы и Азии. Сб. статей памяти Наталии Андреевны Козинцевой. Часть I. Теоретические проблемы эвиденциальности. Избранные статьи Наталии Андреевны Козинцевой. СПб., 2007.

Ницолова 2003 – *Ницолова Р.* Семантическая гиперкатегория «Характеристика говорящим сообщаемой информации» и ее связь с временами глагола // Материалы международной научной конференции. СПб., 22–24 сент. 2003. СПб., 2003. С. 108–112.

Плунгян 2000 – *Плунгян В. А.* Общая морфология: Введение в проблематику: Учебное пособие. М., 2000.

Храковский 2003 – *Храковский В. С.* Грамматические категории глагола: связи и взаимодействие // Грамматические категории: иерархии, связи, взаимодействие. Материалы международной научной конференции. СПб., 22–24 сент. 2003. СПб., 2003. С. 156–164.

Bybee 1985 – *Bybee J. L.* Morphology: a study of the relation between meaning and form. Amsterdam, 1985.

Willett 1988 – *Willett T.* A cross-linguistic survey of the grammaticalization of evidentiality // Studies in language. 1988. 12.1. P. 51–97.

Л. Ю. Астахина (Москва)

**Материалы С. Б. Бернштейна
в Картотеке Словаря русского языка XI–XVII вв.**

Картотека ДРС существует с октября 1925 г. В Академии наук была образована «Комиссия по собиранию материалов по древнерусскому языку» во главе с акад. А. И. Соболевским. Он определил четыре направления, по которым должен был распределяться собранный материал:

1. Продолжение Словаря церковнославянского языка, составленного А. Х. Востоковым.
2. Продолжение Материалов для древнерусского словаря по письменным памятникам И. И. Срезневского.
3. Подбор материалов для Словаря языка Московской Руси XV–XVII вв. по памятникам письменности.
4. Подбор материала для Словаря языка Польско-Литовской Руси XV–XVII вв. по памятникам письменности.

В 1934 г. во главе этой работы встал проф. Б. А. Ларин. Он начал работу над «Проектом древнерусского языка» (опубликован в 1936 г.). Предполагалось к 1945 г. довести Картотеку ДРС до миллиона карточек-выписок и закончить издание Словаря древнерусского языка в 8 томах по 100 печ. листов каждый. Лексикон должен был включить памятники XV–XVIII вв. кроме «большой литературы» с включением живописных и графических иллюстраций.

Для создания Картотеки привлекались научные силы из числа аспирантов, научных сотрудников, а позднее и из числа студентов.

С. Б. Бернштейн в 1933 г. был переведен из Москвы в аспирантуру ГИРК (Государственный институт речевой культуры) Академии наук, который находился в Ленинграде, где он защитил диссертацию «Турецкие элементы в языке дамаскинов XVII–XVIII вв.» в 1934 г. В 1935 г. он уже уехал в Одессу.

В Дневнике поступлений, который завел Б. А. Ларин, отражен вклад, который внес С. Б. Бернштейн в этот фонд. Запись за 27 февраля 1935 г. свидетельствует: «Выборка из “Похождения в Св. землю Радивила Сиротки” I. 500 к. с польским оригиналом. Счет № 199 на 100 руб.» .

В записи от 27 марта 1935 г. находим: «2-я пачка и посл(едняя). Выборка из Путешествия во Св. землю Радивила Сиротки. 1014 карт. по 20 к. с польским оригиналом. Счет № 218. на 202 р. 80 к.».

В Справочном выпуске «Словаря русского языка XI–XVII вв.» (М., 2001: 76), по-видимому, не учтена была первая запись о внесенных пятистах карточ-

ках С. Б. Бернштейна, поэтому сведения этого издания подлежат исправлению, так как вклад его в этот фонд оказался более значительным. Русская цитата в карточке сопровождается выпиской из польского оригинала, поэтому семантику слова по этим материалам легче, чем по другим переводным источникам.

Приводятся образцы карточек С. Б. Бернштейна.

Е. Л. Березович (Екатеринбург)

«Производственная» метафора речевой деятельности в славянских языках*

Из всех человеческих проявлений речь воспринимается наивным сознанием как наиболее «рукотворная», что выражается различными «производственными» метафорами, представляющими речевую деятельность в терминах обработки земли, кузнечного, гончарного дела, строительства и др. В докладе рассматриваются факты метафорической лексики и фразеологии (паремиологии), функционирующие в славянских языках, при этом упор делается на народную языковую стихию, оперирующую в первую очередь наименованиями ремесел и традиционных производственных процессов, которые отражаются в говорах и общенародном языке. Не принимаются во внимание обозначения отдельных специализированных действий – сжигания, резания, хлестания и проч., хотя они тоже дают дериваты в сфере речевой деятельности.

«Производственная» («ремесленная») метафора служит для обозначения разнообразных речевых проявлений, но в большинстве случаев это негативно оцениваемые и экспрессивно воспринимаемые речевые действия: болтовня, сплетни, излишне прямолинейная, косноязычная, невнятная речь, ругань или брань; гораздо реже с «технологической» точки зрения оценивается речь искусная и содержательная. Такое соотношение оценок объясняется, во-первых, тем, что в иерархии видов человеческой деятельности речевая имеет более высокий статус, чем многие другие, за счет своей интеллектуальной составляющей: проецирование речи на сугубо технологические процессы как бы понижает ее статус, порождая негативную экспрессию. Во-вторых, ряд традиционных производственных процессов предполагает множество однотипных действий по созданию однородного продукта, что при метафорической перекодировке легко дает семантику болтовни, сплетен и проч. Кроме того, некоторые процессы основаны на интенсивном воздействии на объект, его расчленении, дроблении, что связывается в народном сознании с бранью, руганью.

В качестве основы для метафорических переносов выступают наименования следующих трудовых процессов: пахоты, сева (рус. псков. *говорить*,

* Исследование выполнено при поддержке госконтракта 14.740.11.0229 в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (тема «Современная русская деревня в социо- и этнолингвистическом освещении»).

как *борона* ‘о быстро и неразборчиво говорящем человеке’, серб. *брána* ‘болтун’, укр. *о́ти серце́м не ста́риють, я́кі щирі́ слова́ сіють*, словц. *ma hodnú le-tež* ‘о том, кто много болтает’), обмолота зерна (праслав. **melti* ‘молоть’ → ‘говорить (как правило, много и не по делу)’, польск. *pytlować* ‘мелко молоть и просеивать муку’ → ‘болтать, чесать языком’, чеш. *opustit mlyn* ‘начать говорить’, словц. *ide ty jazyk ako mlynské koleso*, болг. *хлопа като воденица* ‘о том, кто много и громко говорит’ и др.), кузнечного дела (рус. ворон. *новый колокол льют* ‘о ложном слухе’, псков. *пушку залить* ‘сказать что-либо остроумное, пошутить’, чеш. *vykovávati* ‘выковывать’ → ‘врать’, болг. *клепа* ‘отбивать, острить косу, топор и др. молотком на наковальне’ → ‘клеветать, болтать’, хорв. *klèpati* ‘расплющивать, вытягивать (железо)’ → ‘наговаривать, болтать’), плетения, прядения, ткачества, шитья (праслав. **plesti* ‘плести’ → ‘вести разговор’, рус. перм. *тонко вязать* ‘интересно, затейливо рассказывать’, карел. *обиивать*, влад., твер. *прошивать*, словц. *obšívati niekoho jazykom* ‘ругать, бранить’, укр. *верзти* ‘плести’ → ‘врать’, *и́нший торочить, як дравою строчить; плести лико* ‘говорить нескладно’, польск. *kręci językiem, jak szewc kopytem*, чеш. *jazyk ty běhá na kolovratě* ‘о болтуне’ etc.), гончарного производства (рус. калуж., курск., орл. *вылепить* ‘сказать что-то на прямую’, ряз. *лепник*, вят. *лепуша* ‘болтун’, укр. *ліпити* ‘говорить красиво, искусно’, кашуб. *prělepka* ‘прозвище’), строительства, плотницкого дела (рус. псков. *как с молотка* ‘о бойкой речи’, *идти как по тесанному* ‘о гладкой речи’, перм. *зарубать слова*, польск. *tówić prosto jak kijam w płot* ‘говорить прямо, без обиняков’, блр. *слова сказаў – тапаром адсек*, словен. *pila* ‘болтливая женщина’), приготовления пищи (рус. арх. *колобы печь* ‘зубоскалить’, *говорить, так язык надо наварить* ‘о необходимости набраться сил для разговора’, словц. *rozpražiti* ‘поджарить’ → ‘выругать’, рус. *цедить*, польск. *sedzić* ‘говорить медленно’), прачечного дела (рус. новг. *стирать* ‘сплетничать’, польск. *pere jazykom jak prannikom*, словц. *rada chodí jazyk prat*), а также заточки инструментов, обработки льна, шкур и шерсти, окраски пряжи, типографского дела.

«Производственная» метафора в ряде случаев имеет развитую актантную структуру, гибко накладывается на всю производственную ситуацию, не исчерпываясь языковым представлением собственно процесса, действия. К примеру, за «ткаческой» метафорой речевой деятельности стоит следующая ситуация: речь подается в метафорических номинациях как процесс тканья (шитье, мотание, снование и проч.), речевая способность – как инструмент, орудие для тканья и прядения, качества речи – как свойства материала (ткани), готовые тексты – как одежда.

В ряде случаев языковые метафоры имеют параллели в невербальной сфере – в магических практиках, которые преследуют такие прагматические цели, как продуцирование, стимулирование речи, звучания (обретение речи ребенком, излечение немоты, заикания, косноязычия, защита в суде; сюда же

условно можно приписать обеспечение звучания колокола и др.) и, наоборот, «снятие» речи (устранение детского плача, ссор, скандалов, защита от недобрых предсказаний, оговоров и сплетен). Так, русские Костромской области приносили маленьких детей в избу во время супрядок (коллективных помочей при прядении), чтобы они быстрее заговорили. По свидетельству из Моравии, для того чтобы в семье не было брани и ссор, надо молчать во время потрошения, снятия шкур.

Наиболее древними и разработанными можно считать метафоры, представляющие речевую деятельность как ткачество, обмолот и приготовление пищи. Они отмечаются во всех славянских языках и реконструируются на праславянском уровне, имеют наиболее подробно разработанную актантную структуру и корреляты во внеязыковой сфере.

Иоанна Билинская (Варшава)

Значение анализа и лексикографического описания структуры «Словаря польского языка» С. Б. Линде для подготовки цифровой версии издания

Доклад посвящен шеститомному «Словарю польского языка» авторства Самуила Богумила Линде (Linde 1807), в частности, вопросам, связанным с его цифровой обработкой. Словарь С. Б. Линде – выдающееся научное достижение своей эпохи, удостоившееся высокой оценки не только в Польше, но и во всем мире. Автор стремился представить в нем всю лексику польского языка и тоже соотнести ее с другими языками, прежде всего всеми славянскими.

Нынешняя цифровая версия словаря, размещенная на Интернет-портале Куявско-Поморской цифровой библиотеки (г. Торунь)¹, входит в число наиболее популярных и часто используемых публикаций. Улучшенная версия, объединенная со специализированной поисковой системой, может использоваться, в частности, исследователями, обрабатывающими исторические словари с целью сверки сносок к словарю С. Б. Линде. Она также заинтересует специалистов-филологов, лиц, изучающих лексику, историю и культуру этого периода, а также лексикографов. В то же время многоязычный словарь С. Б. Линде может использоваться не только филологами-полонистами, но и другими славистами. Неслучайно в прошлом словарь оказал влияние на лексикографию других народов, например словарь чешского языка Й. Юнгмана.

В то же время, доступная оцифрованная версия словаря С. Б. Линде представляет собой практически только фотографии страниц (сканы), что ограничивает возможности для поиска с использованием компьютерных инструментов.

¹ <http://kpbk.umk.pl/dlibra>

Некоторое время тому назад появилась версия с использованием технологии оптического распознавания текста (OCR), совмещенная с поисковой системой¹. Однако на сегодняшний день данная версия все еще далека от совершенства и носит в целом экспериментальный характер.

Качественная оцифрованная версия словаря с правильно распознанным текстом – это намного более совершенный исследовательский инструмент, нежели его бумажная (или сканированная) версия, предоставляющий возможности поиска, подчеркивания текста и копирования соответствующих фрагментов. Кроме того, подготовка соответствующим образом описанных частных элементов словаря даст возможность разработки различных графических версий словаря, а также возможности скрытия или предоставления некоторых типов информации, в зависимости от запросов пользователя.

В то же время, максимально полное использование возможностей лексикографической поисковой системы и цифровой версии словаря невозможно без подробного описания его структуры, которое отличалось бы от тех, которые были предложены до сих пор. Эта нелегкая задача дополнительно осложняется неоднородностью статей словаря С. Б. Линде, а также тем, что значительная часть его разделов написана с использованием шрифтов, отличных от стандартной латиницы (например, кириллицы или готического шрифта).

Linde 1807 – *Samuel Bogumił Linde*. Słownik języka polskiego. Wyd. I. Warszawa, 1807–1814.

Włodzimierz Gruszczyński. Wokabularze ryskie na tle XVI- i XVII-wiecznej leksykografii polskiej. Aspra, Warszawa, 2000.

Stefan Hrabec, Franciszek Peplowski. Wiadomości o autorach i dziełach cytowanych w Słowniku Lindego, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1963.

Samuel Bogumił Linde. Słownik języka polskiego. Wyd. II. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów, 1854–1860. <http://kpbc.umk.pl/publication/8173>.

Samuel Bogumił Linde. Słownik języka polskiego. Wyd. II, reprint. Wydawnictwo Gutenberg-Print, Warszawa, 1994. <http://kpbc.umk.pl/publication/8173>.

Samuel Bogumił Linde. Słownik języka polskiego, wersja zdigitalizowana wraz z wyszukiwarką. <http://poliqarp.wbl.klf.uw.edu.pl/extra/linde/index.djvu>.

Magdalena Majdak. Słownik warszawski: koncepcja – realizacja – recepcja. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2008.

Bożena Matuszczyk. Słownik języka polskiego S. B. Lindego. Warsztat leksykografa. Wydawnictwo KUL, Lublin, 2006.

Marian Ptaszyk. Słownik języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego. Szkice bibliologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2007.

Krzysztof Szafran. Analiza i formalny opis struktury Słownika polszczyzny XVI wieku. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2007. <http://ebuw.uw.edu.pl/publication/253>.

¹ <http://poliqarp.wbl.klf.uw.edu.pl/sloownik-lindego/>,
<http://poliqarp.wbl.klf.uw.edu.pl/extra/linde/index.djvu>.

Н. А. Валатоўская (Мінск)

Асаблівасці намінацыі страў з бульбы ў сістэме дыялектнай прадметнай лексікі беларускай і ўкраінскай моў

Назвы страў складаюць даволі вялікую і вельмі разгалінаваную, паводле ўнутрысістэмных адносін, групу лексікі, у складзе якой можна вылучыць наступныя падгрупы: **а)** агульныя назвы страў; **б)** назвы густых страў: назвы страў з мукі; назвы страў з бульбы; назвы страў з мяса, сала і рыбы; назвы страў з яек; назвы страў з малака; назвы каш з зерня; назвы страў з агародніны; **в)** назвы рэдкіх (негустых) страў. У падгрупу ‘назвы страў з бульбы’ комплекснай класіфікацыі назваў страў уваходзіць 349 дыялектных лексем беларускай мовы і 184 – украінскай (гл. табліцу).

Колькасныя суадносіны ў складзе лексем з семантыкай ‘стравы з бульбы’ ў беларускіх і ўкраінскіх дыялектах адлюстраваны ў прыведзенай табліцы. Найбольшае несупадзенне колькасці лексем назіраецца ў назвах страў з нятоўчнай варанай бульбы (75 беларускіх і 9 украінскіх лексем). Больш як у два разы перавышаюць колькасць украінскіх адпаведнікаў беларускія групы з назвамі каш (бел. 37; укр. 14) і клёцак (бел. 31; укр. 9) з дранай бульбы; і больш як у дзевяць разоў – з назвамі страў са смажанай (бел. 21; укр. 2) і печанай бульбы (бел. 15; укр. 1). У дыялектных слоўніках украінскай мовы не прадстаўлены назвы страў з тушанай бульбы; у беларускай мове зафіксавана 11 дыялектных лексем, якія называюць гэтую страву.

Па спосабах матывацыі лексемы дадзенай падгрупы падзяляюцца на нематываваныя (бел. *блін* [Нарл]; укр. *блін* [Слзп1]), матываваныя назвай асноўнага прадукту (бел. *бульб’овікі* [Мслм-м], *карт’офля* [Дсл]; укр. *барабулінік* [Слгг, Гг], *карт’опля* [СлпВ1]), спосабам прыгатавання (бел. *др’анікі* [Слп-зБ2, Мслм-м], *смаж’онікі* [КслМ, Тсл5]; укр. *обліплянець* [Слзп2], *товканіця* [Слп]).

Значэнні полісемантаў падгрупы назвы страў з бульбы арганізаваны па мадэлях: ‘страва 1’ – ‘страва 2’ (бел. *з’гіль 2* [Слп-зБ1] ‘бабка [страва з дранай бульбы]’, ‘вельмі густая стравы’; укр. *пляцок* [Слзп2] ‘корж з прэснага цеста’, ‘блін з дранай бульбы’), ‘страва 1’ – ‘страва 2’ – ‘страва 3’ (бел. *камы* [Слцр] ‘галушкі’, ‘бульбяная каша, прыпраўленая салам ці тлушчам’, ‘клёцкі, начыненыя мясам’; укр. *нізі* [Слзп2] ‘галушкі’, ‘бульбяныя галушкі’, ‘печаная дрэнная бульба’), ‘прадукт’ – ‘страва’ (бел. *рулі* [Мслн-д] ‘бульба, якая зімуе на полі’, ‘бліны, аладкі, спечаныя з рулёў’; укр. *бульман’янік* [Слб1] ‘бульбіна’, ‘печаны корж з мукі, змешанай з бульбай’), ‘страва’ – ‘не стравы’ (бел. *тант’уха* [КслМ] ‘тоўчаная вараная бульба, камы’, ‘ступа’; укр. *мн’оха* [СлпВ1] ‘тоўчаная бульба, звараная для ежы’, ‘бульбяное пюрэ’, ‘лайдак, млявы чалавек’). Сярод лексем гэтай падгрупы сустракаюцца супадзенні ў дыялектах беларускай і ўкраінскай моў (бел. *пляцок* [ДслБ] – укр. *пляцок* [Слзп2]; бел. *ташн’оцікі* [СнарлРЯ] – укр. *тошн’отик* [Слзп2]), у розных гаворках аднаго дыялекту (бел. *др’анікі* [Слп-зБ2, Мслм-м]; укр. *баланд’а* [СлССП, Слп]) і ў асобных дыялектах у межах

Назви страў з бульбы		Колькасць лексем	
		бел.	укр.
Назви страў з дранай бульбы	Назви бліноў, аладак	63	64
	Назви каш	37	14
	Назви клёцак	31	9
Назви страў з варанай бульбы	Назви страў з нятоўчанай бульбы	75	9
	Назви страў з тоўчанай бульбы	Назви каш	63
		Назви піражкоў, аладак, перапечак	23
Назви страў са смажанай бульбы		21	2
Назви страў з тушанай бульбы		11	0
Назви страў з печанай бульбы		15	1
Іншыя назвы страў з бульбы		10	8
Усяго		349	184

одной мовы (бел. *баба* [Тсл1, МслГ, КслМ, Слзп-зБ1]; укр. *тертіох* [Слзп2, ГГ]). Неабходна падкрэсліць, што ў разгледжанай падгрупе лексем шырока распаўсюджаны сістэмныя адносіны ўнутрыдыялектнай сінаніміі: укр. *бульбавнік*, *дерунець*, *дранкі*, *картоплянік*, *картохлянік*, *картофляк*, *картохльові пляцок* (Слзп1); *тертушок* (Слзп2); *тертіох* (Слзп2, ГГ).

У падгрупе назваў страў з бульбы фіксуюцца выпадкі міжмоўнай полісеміі (укр. *сольянка* [Слзп2] ‘вараная бульба, палітая шкваркамі і тлушчам’ – заходнепалескія гаворкі; бел. *сольянка* [ДслБ] ‘вараная пасоленая бульба’, ‘сальніца’ – Брэстчына) і міжмоўнай аманіміі (бел. *дзэрун* [Псл] ‘дранік’ – палескія гаворкі; укр. *дерун 1* [Слзп1] ‘дранік’, *дерун 2* [Слзп1] ‘туман’ – заходнепалескія гаворкі), а таксама міждыялектнай полісеміі (бел. *картаплянік* [Мслм-м2] ‘бульбяны блін’ – сярэднебеларускія гаворкі; *картаплянік* [ДслЗ] ‘блін з бульбы’, ‘той, хто любіць бульбяныя бліны’ – Гродзеншчына; укр. *тертіох* [Слзп2] ‘блін з дрэннай бульбы’ – заходнепалескія гаворкі; *тертіох* [ГГ] ‘блін з дрэннай бульбы’, ‘корж, спечаны з дрэннай бульбы’ – гуцульскія гаворкі) і міждыялектнай аманіміі (бел. *дранка* [Мслм-м] ‘бабка, страва з дрэннай бульбы’ – Магілёўшчына; *дранка 1* [МслГ] ‘бабка з цёртай бульбы’, *дранка 2* [МслГ] ‘шчапаная гонта’ – Гродзеншчына; укр. *топтўха* [СлпВ1] ‘ежа з тоўчанай бульбы’ – палтаўскія гаворкі; *топтўха 1* [Слп] ‘бульбяное пюрэ’, *топтўха 2* [Слп] ‘снасьць, зробленая з драўляных пруткоў’ – палескія гаворкі).

Такім чынам, разгледжаная група назваў страў з бульбы складаецца з шэрагу падгруп, якія адрозніваюцца колькасцю ўваходзячых лексем, наяўнасцю выпадкаў аманіміі, полісеміі, міжмоўных супадзенняў, а таксама разгалінаванасцю сінанімічных радоў.

ГГ – Гуцульскі гаворкі: короткий словник / відп. ред. Я. Закревська. Львів: Вид-во ІУ ім. І. Крип'якевича, 1997.

Дсл – *Гілевіч Н. І.* Дыялектны слоўнік: Лексіка. Фразеалагізмы. Прыказкі, прымаўкі, прыгаворкі. Параўнанні. Мінск: Беллітфонд, 2005.

ДслБ – Дыялектны слоўнік Брэстчыны / склад. М. М. Аляхновіч [і інш.]. Мінск: Навука і тэхніка, 1989.

ДслЗ – *Сцяцко П. У.* Дыялектны слоўнік. 3 гаворак Зэльвеншчыны. Мінск: Выд-ва БДУ, 1970.

КслМ – *Бялькевіч І. К.* Краёвы слоўнік усходняй Магілёўшчыны. Мінск: Навука і тэхніка, 1970.

МслГ – *Сцяшковіч Т. Ф.* Матэрыялы да слоўніка Гродзенскай вобласці. Мінск: Навука і тэхніка, 1972.

Мслм-м – Матэрыялы для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак / пад рэд. М. А. Жыдовіч. Мінск: Выд-ва БДУ, 1970.

Мслм-м2 – Матэрыялы для слоўніка мінска-маладзечанскіх гаворак / пад рэд. М. А. Жыдовіч. Мінск: Выд-ва БДУ, 1974.

Мслн-д – Матэрыялы для слоўніка народна-дыялектнай мовы / пад рэд. Ф. Янкоўскага. Мінск: Выд-ва БДУ, 1960.

Нарл – *Сцяцко П. У.* Народная лексіка. Бытавая лексіка гаворак Зэльвеншчыны / рэд. М. В. Бірыла. Мінск: Навука і тэхніка, 1970.

Псл – *Кучук І. М.* Палескі слоўнік: Лельчыцкі раён / І. М. Кучук, А. К. Малюк. Мазыр: Выд-ва МазДПІ імя Н. К. Крупскай, 2000.

- Слб1 – *Онишкевич М. Й.* Словник бойківських говірок: у 2 ч. Київ: Наукова думка, 1984. Ч. 1. А–Н.
- Слгг – Словник гуцульських говірок (літера Б) // Гуцульщина: Лінгвістичні етюди. Київ: Наукова думка, 1991.
- Слзп1 – *Аркушин Г. Л.* Словник західнополіських говірок: у 2 т. Луцьк: Вежа, 2000. Т. 1. А–Н.
- Слзп2 – *Аркушин Г. Л.* Словник західнополіських говірок: у 2 т. Луцьк: Вежа, 2000. Т. 2. О–Я.
- Слп – *Лисенко П. С.* Словник поліських говорів. Київ: Наукова думка, 1974.
- СлпВ1 – *Ващенко В. С.* Словник полтавських говорів. Харків: Вид-во ХДУ ім. О. М. Горького, 1960. Вип. 1.
- Слп-зБ1 – Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча: у 5 т. / уклад. Ю. Ф. Мацкевіч [і інш.]; рэд. Ю. Ф. Мацкевіч. Мінск: Навука і тэхніка, 1979. Т. 1. А–Г.
- Слп-зБ2 – Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча: у 5 т. / уклад. Ю. Ф. Мацкевіч [і інш.]; рэд. Ю. Ф. Мацкевіч. Мінск: Навука і тэхніка, 1980. Т. 2. Д–Л.
- СлССП – *Лисенко П. С.* Словник діалектної лексики Середнього і Східного Полісся. Київ: Вид-во АН УРСР, 1961.
- Слрз – Слоўнік гаворак цэнтральных раёнаў Беларусі: у 2 т. Мінск: Універсітэцкае, 1990. Т. 1.
- СнарлРЯ – *Юрчанка Г. Ф.* Сучасная народная лексіка: з гаворкі Месціслаўшчыны: слоўн.: Р–Я / рэд. А. А. Крывіцкі. Мінск: Беларуская навука, 1998.
- Тсл1 – Тураўскі слоўнік: у 5 т. / склад. А. А. Крывіцкі [і інш.]. Мінск: Навука і тэхніка, 1982. Т. 1. А–Г.
- Тсл5 – Тураўскі слоўнік: у 5 т. / склад. А. А. Крывіцкі [і інш.]. Мінск: Навука і тэхніка, 1987. Т. 5. С–Я.

А. И. Грищенко (Москва)

Клише *братья-славяне* в русской публицистике: современное употребление и проблема происхождения

1. Публицистическое клише *братья(-)славяне* среди иных подобных этнических наименований (напр., *лицо кавказской национальности, выходцы из Поднебесной, жители туманного Альбиона*) сохраняет в современной русской речи, по данным газетного корпуса в составе Национального корпуса русского языка (НКРЯ), и актуальность, и относительно высокую частоту употребления. Представлено оно и в устном корпусе НКРЯ.

2. В газетном корпусе НКРЯ 44% всех употреблений клише *братья-славяне* приходится на тексты спортивной тематики, причём только в них так могут называть хорватов и словаков, остальные же славянские народы (сербы, югославы в целом, поляки, чехи, болгары, восточные славяне) именуется таким образом не только в спортивном дискурсе. Большинство контекстов (более 63%) связывают клише *братья-славяне* с восточнославянскими народами, среди которых количественно лидируют украинцы (более 38%).

3. Хотя самые ранние в НКРЯ примеры относятся к концу 1860-х – 1870-м гг., всплеск употребления данного клише в русской печати относится к 1860-м гг.,

особенно во время проведения в 1867 г. в России Славянского съезда. Истоки клише *братья-славяне* – западные, поскольку возникло оно в чешском и немецком языках на волне Славянского Возрождения: *bratři Slované, Slovanské bratři* (напр., в «*Provolání k Slovanům*» 31 мая 1848 г. и других документах Славянского конгресса в Праге) и *Slawenbrüder, Slawischen Brüder* (напр., в: *Versuch über die slawischen Bewohner der österreichischen Monarchie*, Wien, 1804, – или в: Jan Petr Jordan, *Grammatik der wendisch-serbischen Sprache*, Prag, 1841).

4. По более ранним русским текстам можно проследить возможные пути семантического становления словосочетания *братья-славяне* как клише: с одной стороны, оно появляется на пересечении архисем ‘славянство’ и ‘братство’ (напр., в повести Н. М. Карамзина «Марфа Посадница, или Покорение Новгорода» (1802): «братья по крови Славянской и Вере православной»; в «Исторических размышлениях об отношении Польши к России» М. П. Погодина (1831): «все Славяне между собою братья»); с другой – может связываться с представлениями о братстве славян у иных славянских народов (напр., в романе Ф. В. Булгарина «Иван Выжигин» (1829), один из героев которого, поляк Почтивский, «любит вообще все Славянские наречия, и почитает все Славянские племена кровными, всех Славян братьями, которые должны любить себя взаимно и общими силами стремиться к просвещению»).

5. Встречаются в первой половине XIX в. и такие непривычные для современной речи словосочетания, как *наши старшие братья Славяне* (М. П. Погодин, 1839), *наши двоюродные братья Славяне* (Ю. И. Венелин, 1849). Ср. современное: *наши младшие братья славяне* (Д. Асламова, 2007).

6. Клише *братья-славяне* представляет собой одну из реализаций концепта «братский народ» и связано с архетипическими представлениями о «родственных отношениях» между народами, странами, городами и т. д., ср. клише советской пропаганды *семья народов, младший брат vs старший брат*, существование *городов-побратимов*. Однословным синонимом клише *братья-славяне* является экспрессивный этноним времён Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. *братушки* ‘болгары’, ‘сербы’, ср. его зеркальное отражение в болгарском и сербохорватском *братушки* ‘русские’.

7. В русской речи встречаются экспрессивные этнонимы с корнем *брат*, обозначающие и иные, неславянские, народы, напр.: *братья, братские татары (люди, мужики, иноземцы)* ‘буряты’ (с XVII в., на основе контаминации русск. *брат* и бурят. *буряад*), *братка* ‘цыган’ (в арго), *братья по разуму* ‘узбеки’ (студенты узбекского отделения филологического факультета МГПИ им. В. И. Ленина, в речи одного из профессоров, запись 2001 г.), *братишки* ‘крымские татары’ (Бахчисарай, запись 2010 г.).

Т. В. Громко (Кировоград)

Особенности семантики географической лексики в украинских диалектах

Установление принципов и моделей культурной мотивации, которая лежит в основе номинации географических реалий, является одной из актуальных и перспективных проблем в современном языкознании. Исследование украинской народной географической терминологии было, есть и остается актуальным во многих отношениях. Во-первых, это пополнение диалектной базы на уровне указанной тематической группы с перспективной составления «Словаря народных географических терминов Украины». Во-вторых, народная географическая терминология – это апеллятивный ресурс, представляющий интерес для ономастики, и в-третьих, диалектологические штудии в этой отрасли дают материал для последующих исследований по славянской этимологии, словообразованию и т. д. К тому же знание местной лексики, в частности географической, дает возможность определить, как собственно формировался украинский язык в живом общении носителей. Об актуальности дальнейших исследований в этом направлении свидетельствует значительное количество славистических трудов (Э. А. Григорян, Р. Н. Малько, Н. И. Толстой, И. Я. Яшкин, Е. А. Черепанова, Т. О. Марусенко и др.). В связи с этим работа в указанном направлении нуждается в последующем системном продолжении.

Проведенное нами исследование народных географических терминов (далее, как и для словосочетания *географическая терминология*, – ГТ) Центральной Украины (на материале Кировоградщины) – «Словник народних географічних термінів Кіровоградщини» (Т. В. Громко, В. В. Лучик, Т. І. Поляруш. – Київ-Кіровоград, 1999. – 224 с.) и монография «Семантичні особливості народної географічної термінології Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини)» (Кіровоград, 2000. – 175 с.) – показало, что эта лексическая группа является достаточно многочисленной (1787 лексем и их вариантов) и потому важной частью общенародного языка. Диалектные особенности предопределяют вариантность ГТ по фонетическому и словообразовательному оформлению, что способствует их синонимическому использованию, подчеркиванию их местной фонетической специфики.

Становление, развитие и функционирование народной ГТ, определяется рядом тесно связанных как внеязыковых, так и собственно языковых факторов. Особенности рельефа, гидроморфологии и естественных условий Кировоградщины (таких, как части лесостепи и степи), а также ведения хозяйства нашли свое отражение в семантике исследуемых ГТ. Общая характеристика географических условий региона показывает типичные свойства равнинного рельефа, что, в свою очередь, отразилось в семантической мотивации названий географических объектов (ГО).

Зафиксированные в диалектах центральной части Украины ГТ представляют в основном сформированную терминологическую микросистему, которая представляет собой соответствующую совокупность понятий и имеет сложную внутреннюю организацию. По значению лексические единицы образуют определенную систему, в пределах которой выделяется 24 ЛСГ, объединенных на основе общего семантического элемента (270 сем) и противопоставленных по ряду дифференциальных признаков. Общими для всех ГТ оказываются такие основные черты, как: 'размер ГО', 'форма', 'наличие/отсутствие растительности'. К дифференциальным относим 'функциональное назначение', 'заболоченность/незаболоченность', 'место расположения относительно других ГО'.

Важным источником формирования ГТ и их семантической структуры выступает переосмысление основ, в связи с чем обнаруживается ряд способов перенесения значений, образования семантических цепей, а также повторяемость последних, относящихся к разным ГТ, которые, на первый взгляд, далеки друг от друга, однако семантически связаны (*лелека, лотка, шарабан*).

Одним из основных источников пополнения народной ГТ является переход названия одного ГО на другой – так называемые колебания значений в среде географической терминологии. Проведенный анализ засвидетельствовал, во-первых, переход названий макрореалий на ГТ, которые обозначают ГО незначительного размера (напр., *водопад* 'падение воды на месте небольшого отвесного уступа русла', *пристань* 'место водопоя', *шахта* 'место добывания глины, песка'), во-вторых, семантические цепи и модели семантической мотивации этих образований в основном подтверждают закономерности развития ГТ, обнаруженные и обоснованные в работах других исследователей (напр., 'яр' ↔ 'ліс' – *байрак*, 'болото' ↔ 'лужа' – *багно, болото*), а также засвидетельствованные на местной диалектной почве ('лес' ↔ 'долина' – *діброва*, 'тихое течение речки' ↔ 'участок водоема' ↔ 'мель' ↔ 'грядка огородных культур' – *плесо*, 'возвышение' ↔ 'куча' ↔ 'насыпь песка возле речки' ↔ 'мель' ↔ 'остров' ↔ 'твердая дорога' – *насит*).

Важным источником формирования ГТ является нетерминологическая лексика и лексика других терминологических систем. Превращение последних в названия ГО происходит преимущественно путем метафоризации или метонимизации, в результате чего реализуется ряд семантических моделей, что во многих случаях подтверждается известными в литературном языке или в других диалектах семантическими закономерностями (напр., 'лес по породе деревьев' ↔ 'дерево' – *береза, сосенка*, 'болото' ↔ 'растительность' – *мох, баговіння*, 'поле после сбора определенной сельскохозяйственной культуры' ↔ 'растение' – *картошка, пшінка*), а в некоторых случаях и новыми ('часть тела человека или животного' ↔ 'признак рельефа' – *лоб, ріг, зуб*; 'предмет быта' ↔ 'ГО' – *зеркало, петля*). Наиболее типичным и весьма продуктивным является употребление названий посуды как названий рельефа (*бадя, котел, лейка*) и

названий человеческого тела как обозначений гидрообъектов (*головиця, горловина*). Среди менее продуктивных такие семантические модели, как: 'животное, птица' ↔ 'ГО' – *баранці, гусак, журавель*, 'геометрическая фигура' ↔ 'ГО' – *угол, круг*; 'часть строения' ↔ 'ГО' – *окно, стенка*, 'одежда и ее детали (портняжные названия)' ↔ 'ГО' – *рукав, клапоть, штаны*.

Исследование показало, что обнаруженные семантические мотивационные модели зависят от представлений, которые лежат в основе мотивации. Четкой дифференциации мотивов не приходится наблюдать ни в народной этимологии, ни в принципах номинации ГО вообще. В связи с этим характерной особенностью народных ГТ исследуемого ареала является расшатывание четких семантических пределов. Это сказывается в подавляющем использовании названий, которые помечают несколько ГО, что, в свою очередь, является признаком полисемии. Количество полисемантических ГТ и их форм достигает 1367 единиц (около 76,5%). Соответственно, моносемантические единицы составляют 420 ГТ (около 23,5%). При этом семантическая структура ГТ характеризуется чрезвычайно широкой амплитудой значений: набор сем колеблется от 1 (*горбуняк, затінь, течь*) до 12 (*балка, левада*). Обнаруженная особенность свидетельствует о неузואльном характере многих зафиксированных единиц, которые еще не приобрели признаки специальных терминов и с функционально-семантической точки зрения образуют периферию собственно географической терминологии.

По сфере употребления и характеру семантической структуры ГТ объединяются в три группы: общеупотребительные (около 130 единиц, напр., *низина, колодязь, куча*), диалектные (большая часть: *лісняк, лиса гора, пасовисько* и т. п.) и специфические для отдельного говора (незначительная часть, напр., *бар'як, прогаївина, р'ятак, шандори*).

Соотношение функционирующих в исследуемом ареале общеупотребительных, диалектных и специфических для отдельного говора ГТ неодинаковое. В ряде случаев доминирующим стало литературное название с определенными модификациями (напр., *яр* 'овраг', 'овраг, который высох', 'овраг в лесу', 'овраг, поросший лесом'). Преобладают диалектные ГТ или общеупотребительные лексемы со специфическими для местного идиома семемами (*балка* 'возвышения', *копанка* 'поляна в лесу, просека', *островок* 'мель', 'междуречье'). Гораздо меньше слов, имеющих географическое значение, характерное лишь для отдельного говора (напр., *белебень* 'равнина', *кагат* 'искусственно вырытая яма', *солонец* 'водная поверхность среди болота'). Специфическими являются окказиональные семы, антонимические значениям тех же ГТ в литературном языке (напр., *діл* 'протяжная возвышенность', 'берег', 'овраг'). В соответствии со сферами функционирования и семантических сдвигов ареал разных лексем и сем является неодинаковым, о чем свидетельствуют составленные по результатам исследования картосхемы.

Современное состояние народной ГТ Центральной Украины – это следствие, во-первых, древних контактов носителей восточнославянских диалектов (и в частности, украинского языка с носителями других языков, преимущественно славянских) во-вторых, взаимодействия современных украинских говоров, а также следствие более позднего влияния славянских (преимущественно русского) языков, на украинский язык и его диалекты. В связи с этим большинство исследуемых ГТ имеет общеславянский корень и характеризуется родственной семантикой и некоторыми средствами ее выражения (в первую очередь, основами и набором так называемых «географических», или «локативных» аффиксов).

Заемствованные ГТ составляют незначительную группу. Среди них выделяются и находят свои семантические параллели с исконными украинскими лексемами русизмы (*наводненіє, питюшнік* но др.), болгаризмы (*гуре, зме, побряго*), молдаванизмы (*болване, постате*). Кроме фонетико-морфологических изменений, произошедших при адаптации таких слов, имели место семантические смещения в структуре заимствований (как правило, семантически трансформируется лексика в пределах одной ЛСГ, напр., болг. *камак* и укр. *камень* 'отдельный камень').

Кроме семантических особенностей, народная ГТ Центральной Украины, Кировоградщины, демонстрирует много других связей и свойств (фонетических, словообразовательных, морфологических и др.), изучение которых дополнит представление о развитии местной речи и изучении края. Поэтому проведенное исследование является лишь одним из необходимых шагов на пути к более полному познанию целостной картины формирования лексико-грамматической системы украинского языка и условий ее функционирования.

Таким образом, по характеру семантической структуры исследуемые ГТ являются достаточно специфическими. Сфера функционирования, семантические сдвиги и особенности значения влияют на ареальное закрепление ГТ. Соответственно, ареал разных ГТ или их сем является неравномерным. Исследование народной географической лексики имеет важное значение для решения вопросов славянского глотто- и этногенеза.

Йовка Данчева (София)

Фразеология в современной болгарской публицистике

Фразеологические сочетания употребляются в публицистике с целью образности и эмоциональности. Экспрессивность, оценочность и стилистическая окраска являются причиной употребления устойчивых сочетаний для подчеркивания разных элементов текста и для компрессии информации. С помощью фразеологизмов текст воздействует не только на мысли, но и на воображение и эмоции.

1. Во фразеологизмах хорошо сочетаются основные характеристики публичной речи – экспрессивность и стандарт, поэтому они часто употребляются в **заглавиях** статей. В заглавиях устойчивые сочетания имеют целью произвести сенсацию, привлечь внимание. Здесь они представлены в двух основных вариантах: в своей традиционной или модифицированной форме.

1. В первом случае сохраняются семантика и структура фразеологизма или ставится ударение на его буквальном смысле. Это употребление устойчивых сочетаний ограничивается в своем воздействии в рамках реализации знакомых языку семантических и стилистических признаков: *Магистратите ни тегнат на народа като воденичен камък* (24 часа, 21.07.2010); *Да вземеш да ударии през устата дървения философ Местан* (Галерия, 16–22.09.2010).

2а. Возможно употребление фразеологизма в основном значении, но в сочетании с другими словами. Например: *Кушлев ше разлишва до девето коляно престъпно имане* (Труд, 9.10.2010). Обычное сочетание фразеологизма **до девето коляно** – с глаголами *гоня, преследвам*.

2б. Самым распространенным способом создания окказиональной фразеологии в публицистике является замена компонентов устойчивых комплексов. Это обычно происходит по ассоциативным связям для сходства, близости, контраста и т. д. В случае таких изменений в сознании реципиента существует и основная форма, а замененный элемент присутствует семантически посредством ассоциации с оригиналом. Например: *И сам вождът е вожд* (Труд, 27.09.2010) – трансформация крылатого выражения¹ **И сам воинът е воин**; *В царството на Оскар и едноокият е цар* (Труд, 8.10.2010) – трансформация крылатого выражения **В царството на слепите и едноокият е цар**. В указанных цитатах изменения традиционных форм делает выражение более оригинальное и создает юмористический эффект.

2в. Частое явление в публицистике – использование частей фразеологизмов в результате их редукции, например *вм. **пека на бавен огън*** употребляется сочетание без глагола **на бавен огън**: *Новините на бавен огън* (Труд, 27.09.2010); *вм. **меря с един аршин – с един аршин***: *С един аршин за всички, госпожо Цачева* (Труд, 15.05.2010).

2г. Можно наблюдать и двойную актуализацию – когда редуцированный фразеологизм воспринимается одновременно и в прямом, и в переносном значении. Подобное употребление возможно, когда образ-основа является живым и воспринимается легко: *Отнемат на пътниците дори **чашата студена вода*** (о ситуации на одном вокзале жарким летом). В данном случае можно говорить не только о редукции, но и о замене компонентов, поскольку оригинальный фразеологизм – **пия една студена вода**.

¹ В докладе рассматриваются фразеологические единицы в узком понимании фразеологии, за исключением 2–3 примеров, которые показательны и интересны с точки зрения возможности модификаций.

2д. Другой способ употребления фразеологизмов в публицистике – их расширение, которое создает разнообразие в структуре и иногда разрушает фразеологизм. Структурные изменения могут изменить и первоначальное представление об употреблении определенной конструкции. В заглавии *Журналистите си затваряха упорито очите за тази явна несправедливост* (Галерия, 16–22.09.2010) фразеологизм *затварям си очите* расширен наречием *упорито*.

2е. В некоторых случаях в одном и том же заглавии используются и редуцирование, и расширение. Например заглавие *Со кротце е добре, но и малко кютек не вреди* (Труд, 21.09.2010) является результатом сокращения крылатого выражения *со кротце, со благо и малко кютек*, часть которого вставлена в предложение-комментарий данного выражения.

II. Подобные приемы употребления фразеологизмов встречаются не только в заглавиях, а и в публицистических текстах. Здесь отметим более интересные случаи, некоторые касаются семантических сдвигов:

1. Объединение двух фразеологизмов, замена и сокращение их компонентов: *Защо в дедесарските вериги бъка от уж малограмотни роми, които с едно движение връткат държавата около малкия си пръст?* (Труд, 15.05.2010). Оригинальные фразеологизмы – *врътя на пръста си* и *поставям на малкия си пръст*. Сочетание трех способов способствует большей экспрессии и семантической нагрузке.

2. Замена одного компонента создает семантическую несовместимость двух компонентов: *Георги Стоев беше описал Силвия в една от своите книги като много известна столична лека дама* (Галерия, 16–22.09.2010). Во фразеологизме *лека жена* вместо слово *жена* употребляется слово *дама*, значение которого несовместимо с прилагательным *лека*. Получается контраст, который делает характеристику намного ярче.

3. Замена существительного производным прилагательным и другим существительным, что конкретизирует фразеологизм и сужает его значение: *Очаквам бурна есен в чаша вода* (Труд, 20.09.2010) (*буря* во фразеологизме *буря в чаша вода* заменено словосочетанием *бурна есен*).

4. Замена одного компонента ведет к изменениям в семантике и даже к разрушению фразеологизма: *Стефания и Искра минават за странни птици в театъра и мнозина ги определят като феминистки*. Оригинальный фразеологизм – *рядка птица*, со значением «исключительный, выдающийся по отношению характера и качеств человек». Использование слова *странна* вместо *рядка* изменяет и образ, и значение фразеологизма, т. е. можем говорить о его разрушении.

Трансформации устойчивых комплексов создает представление о них как об открытых и вариантных структурах. Нарушение традиционной формы является актуальной стратегией публицистики. Этим способом журналисты стремятся к большей степени атрактивности текста.

В публичных текстах используется и новая фразеология: ...*за истинските данъчни акули, за техните връзки, ятаци и помагачи с бели якички* (Труд, 15.05.2010); ...*адвокатите им правят сложни совалки, за да различат участието на тандема в общи фирми* (Уикенд, 15–21.05.2010).

III. В докладе будет проведена и классификация фразеологизмов в публицистике на основе их значения и компонентов: связанных с действиями человека, с частями человеческого тела, с характеристикой человека, выражающих количество, указывающих на профессии и социальное положение, означающих предметы, связанных с пространством, с временем – всего 8 групп.

И. В. Ефименко (Киев)

Из славянской судостроительной терминологии

I. О развитии судоходного дела у славян имеются прямые исторические свидетельства, начиная с писателей античного мира и заканчивая известиями арабских и персидских хронистов. Славяне охотно плавали по морям и по рекам, и потому неудивительно, что находили они в своём языке нужные слова для обозначения морских и речных судов, снастей и т. д.

II. Несмотря на большой интерес к славянской судостроительной терминологии, пока что не все термины имеют приемлемую этимологическую интерпретацию. На одном из таких терминов мы хотели бы остановиться подробнее.

III. Корабельный термин **кочерма́** известен в специальной литературе как ‘одномачтовая шести- или восьмивесельная легкая на ходу большая лодка для прибрежного плавания у анатолийских турок и кавказских горцев’. В «Морском словаре» В. В. Вахтина фиксируется как ‘одномачтовое каботажное турецкое судно’. В русских диалектах, в частности в архангельских говорах, анализируемый термин засвидетельствован в значении ‘большая одномачтовая лодка’.

IV. М. Фасмер предполагает связь корабельного термина *кочерма* с *кочера́* (первоначально ‘однодеревка’?) и сравнивает с *кочмара*.

V. Предлагаем рассматривать этот термин как (ко-)префиксальное образование от основы *черма* < псл. **čьrm(a)-*, отражающей идею кривизны, изгиба, и восходящей к и.-е. *(s)*ker-* ‘гнуть, сгибать; крутить, кривить, вертеть’ (последняя детально описана в монографическом исследовании Р. М. Козловой). Основа **čьrm(a)-* как производная в ступени редукции вокализма *e*-ряда от **kьrm(a)-* сохранилась слабо. Единичные её фиксации засвидетельствованы славянским онимным материалом, ср., например, *Черма* – ойконим в Нижегородской губернии, *Кочермово* – топоним в бывшей Тамбовской губ., возводимые к псл. **Кошьта* (реконструкция В. П. Шульгача).

VI. Восстановить изначальную семантику судостроительного термина *кочерма* помогает псл. **kьrm(a)-* (апофонический вариант псл. **čьrm(a)-*), континуан-

ты которой очень хорошо отражены в славянской судостроительной терминологии. Ср., например, русск. диал. *корма* ‘задняя часть судна’, *кирма* ‘большое рулевое весло на носу и на корме лодки’, укр. *корма* ‘задняя часть лодки’, ‘весло, которым правят, руль’, укр. диал. *керма* ‘весло’, ‘руль у плотов’, ‘плот’, *кирма* ‘рулевое весло, кормило’ и т. д.

Н. В. Ивашина, Е. Н. Руденко (Минск)

Модели метонимии признаков слов в славянских языках

В современных исследованиях метонимия трактуется не только как семантический переход, но и как когнитивная стратегия. О ней как о ментальном механизме, не менее важном, чем метафора, немало написано, см., например, Dirven 2002; Feyaerts 1999; Peirsman, Geeraerts 2006; Radden, Kövecses 1999 и мн. др. Делаются попытки разработать общую типологию метонимических переносов (см. Падучева 2003; Peirsman, Geeraerts 2006 и др.). В первую очередь рассматриваются модели метонимии существительных, однако признаковым словам – преимущественно глаголам и прилагательным – также уделяется внимание. В основополагающих работах о метонимии в развитии новых значений прилагательных называются такие метонимические модели, как признаки ‘части’ – ‘целого’; признак (какой-л. сущности) – время, когда реализуется этот признак; признак (какой-л. сущности) – место, где реализуется этот признак; причинно-следственные отношения; состояние – каузатор состояния; состояние – результат состояния (отмечается, что те же виды метонимии присущи и другим частям речи. – *Н. И., Е. П.*), а также некоторые более сложные и специфические для прилагательных транскатегориальные сдвиги (Рахилина, Карпова, Резникова 2009). Для метонимического развития семантики глагола, насколько нам известно, полной типологии не существует, кроме тех сдвигов, которые характерны для разных частей речи, а также общеизвестных, типичных преимущественно для глагольной лексики: ‘процесс’ – ‘результат’; диатетический сдвиг; соотношение в видовых парах (Падучева 1996), например ‘событие’ – ‘состояние’ и др.

Нами рассмотрены наиболее частотные белорусские и чешские признаковые слова: по 150 прилагательных и столько же глаголов в каждом из языков. Среди прилагательных обнаружены следующие виды метонимических переносов: ‘часть’ – ‘целое’, напр. ‘человек’ – ‘часть тела’: бел. *тоўсты* (*чалавек* – *рукі*), *добры* (*чалавек* – *сэрца*); чеш. *hlouřý* (*kluk* – *oči*), *těkký* (*člověk* – *srđce*). Часто соединяются признак предмета и время или место его реализации: бел. *сухі/мокры* (*ліст* – *год*, *месца*), *цёплы/халодны* (*надвор’е* – *дзень*, *краіна*); чеш. *hluboký* (*skříň* – *noc*, *les*), *teplý* (*počasí* – *jaro*, *země*). Базовый признак может характеризовать свойство и результат его реализации (бел. *далікатны* [*чалавек* –

справа]; чеш. *jemný* [člověk – pozorování]) или состояние и каузатор состояния (бел. *вясёлы* [чалавек – спектакль, надзея]). Метонимия участвует в формировании синестезийного лексического значения при наслоении нескольких перцептивных значений, например, вкусового и обонятельного: бел. *салодкі* (смак – пах, духі); чеш. *jemný* (*chuť* – *čich, voňavky, sluch*).

Глагольная метонимия как механизм регулярной многозначности на материале рассмотренных белорусских и чешских лексем наиболее часто проявляется в семантике вида и способа глагольного действия (см. Зализняк, Шмелев 1997; Падучева 1996). При чистой семантической деривации, т. е. развитии нового значения без формальных изменений, аспектуальные изменения могут иметь место либо в двувидовых глаголах (см. бел. *даследаваць* ‘исследовать’ как процесс и как результат), либо в лексемах, выражающих разные способы глагольного действия.

По способу действия глаголы традиционно подразделяются на обозначения: 1) постоянных свойств; 2) устойчивых и временных состояний; 3) процессов (инактивные процессы и действия) и 4) событий. В классификации Е. В. Падучевой выделяются также деятельности, которые делятся на собственно деятельности (непредельные процессы с сознательным одушевленным субъектом), действия (предельные процессы с сознательным одушевленным субъектом), занятия и поведения (Падучева 1996: 129). В белорусском примере *Іваноў піша* (= *Іваноў пісьменнік*) (неперех.) – *Іваноў піша ліст* отличие в глагольном управлении коррелирует с отличием в способе глагольного действия: первый пример передает категориальную семантику занятия, а второй – действия. Метонимическая связь здесь – во временной характеристике. Аналогичным образом бел. *разбірацца* обозначает процесс и результативное состояние. Примеры такого рода регулярны и в белорусском, и в чешском языках.

Очевидно, что семантические отличия обусловлены сочетаемостью и реализуются в ней. Это приводит нас к глагольной метонимии, обусловленной диатетическим сдвигом или «фокусированием» разных участников одной и той же ситуации (Падучева 2004; Кустова 2004): бел. *Вучыць студэнтаў* – *вучыць замежную мову*; чеш. *zakládala si na úspěchu dětí* – *zakládala si na dětech*.

Глаголы-соответствия могут относиться к разным моделям метонимических производных значений – немало таких примеров приведено в Руденко, Ивашина, Яумен 2004.

Диатетическая мена и мена фокуса характерны не только для глаголов, но и для других признаков слов, например прилагательных, см. бел. *сумная* (дзяўчына — песня); бел. *свежы* (пах – духі); чеш. *jemný* (*čich* – *voňavky*).

В некоторых случаях трудно определить, как может быть квалифицирован тот или иной случай семантической деривации: метонимия или метафора. Например, синкретичными являются семантические переносы между концептосферами «восприятие» и «интеллектуальная деятельность», «погода» и «время» и др.

- Зализняк Анна А., Шмелев А. Д. Лекции по русской аспектологии. Мюнхен: Slavistische Beiträge, 1997.
- Кубрякова Е. С. О нетривиальной семантике в сочетаемости прилагательных с существительными // Сокровенные смыслы: Слово. Текст. Культура. М., 2004. С. 148–154.
- Кустова Г. И. Типы производных значений и механизмы языкового расширения. М.: Языки славянской культуры, 2004.
- Мерзлякова А. Х. Типы семантического варьирования прилагательных поля восприятия на материале английского, французского и русского языков. М.: Эдиториал УРСС, 2003.
- Падучева Е. В. Динамические модели в семантике лексики. М.: Языки славянской культуры, 2004.
- Падучева Е. В. К когнитивной теории метонимии // Диалог-2003 // <http://www.dialog-21.ru/Archive/2003/Paducheva.htm>.
- Падучева Е. В. Семантические исследования. Семантика времени и вида. Семантика нарратива. М.: Языки русской культуры, 1996.
- Плотникова А. М. Многозначность русского глагола: когнитивное моделирование. Екатеринбург: УрГУ, 2006.
- Рахилина Е. В., Карпова О. С., Резникова Т. И. Модели семантической деривации многозначных качественных прилагательных: метафора, метонимия и их взаимодействие // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной Международной конференции «Диалог 2009» (Бекасово, 27–31 мая 2009 г.). Вып. 8 (15). М.: РГГУ, 2009 // <http://www.dialog-21.ru/dialog2010/materials/html/26.htm>.
- Руденко Е. Н., Ивашина Н. В., Яумен Н. В. Семантико-синтаксическое сопоставление славянских глаголов (на материале белорусского, польского, русского и чешского языков). Мн.: БГУ, 2004.
- Croft W. The role of domains in the interpretation of metaphors and metonymies // *Cognitive Linguistics*. 2003. № 4. P. 35–70.
- Dirven R. Metonymy and metaphor: Different mental strategies of conceptualisation // R. Dirven and R. Pörrings (eds.) *Metaphor and Metonymy in comparison and contrast*. Berlin – N. Y.: Mouton de Gruyter, 2002. P. 75–111.
- Feytaerts K. Metonymic Hierarchies: The Conceptualization of Stupidity in German Idiomatic Expressions // K.-U. Panther and G. Radden (eds.) *Metonymy in Language and Thought*. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 1999.
- Korostenski J. Spojitelnost rozměrových adjektiv se substantivy v atributivní pozici (česko-ruské srovnání) // *Príspevky k aktuálným otázkám jazykovédné rusistiky* (3). Brno: Tribun EU, 2009. S. 71–78.
- Peirsman Y., Geeraerts D. Metonymy as a Prototypical category // *Cognitive Linguistics*. 2006. № 17(3). P. 269–316.
- Radden G., Kövecses Z. Towards a Theory of Metonymy // K.-U. Panther and G. Radden (eds.) *Metonymy in Language and Thought*. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 1999. P. 17–59.
- Talmy L. How language structures space // H. L. Pick and Jr. *Acredolo* (eds.) *Spatial Orientation: Theory, Research, and Application*. N. Y.: Plenum Press, 1983. P. 225–282.
- Talmy L. *Toward a Cognitive Semantics*. Vol. 2. *Concept Structuring Systems*. Cambr. (Mass.); L.: A Bradford Book: The MIT Press, 2000.
- Vaňková I., Šebeská I., Saicová-Římalová L., Šlédrová J. *Co na srdci, to na jazyku*. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005.

М. Ю. Кайкы (Бердянск)

Вербализация количественных оценочных значений в текстах современной русской детской литературы при помощи словообразовательных средств

Ориентация на аксиологическую сторону языка представляет собой одну из актуальных черт современных лингвистических исследований, о чем свидетельствует научная литература, появившаяся в последние десятилетия, в которой оценка стала самостоятельным объектом изучения в аспекте семантики, прагматики, теории коммуникации, когнитологии. В современном языкознании существует множество классификаций оценки. За основу взята классификация частнооценочных слов А. Ф. Папиной, которая, вслед за Н. Д. Арутюновой, выделяет эмоциональные, эстетические, этические, сенсорные (зрительные и слуховые), количественные, рациональные, логические разновидности оценки.

Количественную оценку как отдельный вид рассматривают не все ученые. Например, Т. А. Космеда выделяет лишь физиологическую оценку – оценку конституции человеческого тела, состояния его здоровья и т. д. (Космеда 2000: 122). Понятие «количественная оценка» гораздо шире. А. Ф. Папина пишет, что помимо аксиологической, качественной оценки, в русской речи, как и в других языках, существует количественная оценка, характеризующая меру, объем, величину описываемого предмета, указывающая на признак действия, на признак признака (Папина 2002: 317).

Целью нашего доклада является анализ словообразовательных средств вербализации количественной оценки на материале текстов произведений Э. Н. Успенского и Г. Б. Остера.

В текстах современной детской литературы часто встречается окказиональное словообразование: *Дорогие ученики! Нужно всегда говорить правду. Впервые правду стали говорить в Древней Греции <...>. Если маленький **гречик** приходил домой и мама спрашивала, где он был, он всегда говорил только правду* (Успенский 2004: 133). Уменьшительный суффикс *-ик* часто обладает позитивной оценочностью, слово *гречик* построено по модели слов *пальчик*, *мальчик* и т. п. В данном случае количественная оценка выражает величину предмета, указывающую на признак признака.

Окказиональное словообразование антропонимов может служить для экспликации количественной оценки, выражающей величину предмета (признак признака): *К школе и другие учителя подошли с детьми, и завхоз Антонов с внуками **Антончиками*** (Остер 2005: 463). В данном случае наблюдается семантический окказионализм. *Антончик* – уменьшительное от *Антон*, в данном случае антропоним образуется от фамилии *Антонов*.

Суффиксы субъективной оценки *-еньк-*, *-очк-* и *-иц-*, состоящие в антонимических отношениях, служат для выражения количественной оценки, указыва-

ющей на величину предмета (признак признака): Два **кабанища** были размером с танк и **кабаненок маленький** размером с тумбочку (Успенский 2002: 310).

Уменьшительно-ласкательный суффикс **-енк-** может оформлять количественную оценку: – *А вам?* – *обратилась Римма к самому маленькому кукленку* (Успенский 2004: 373).

– *Ну, – заскромничала мартышка, – я, конечно, не очень старалась, но, по моему, это вполне приличный след. Аккуратненькие такие следочки* (Остер 2005: 114).

Мартышка согнула свои тоненькие ручки и показала попугаю свои шупленькие мускулы (Остер 2005: 11).

И. Б. Голуб отмечает, что в современной литературе и публицистике экспрессивное словообразование выступает прежде всего как средство создания иронической, сатирической окраски речи (Голуб 2001: 198). Нам кажется справедливым мнение исследователя о том, что уменьшительные и увеличительные суффиксы в контексте могут выражать различные оценочные значения. В следующем примере уменьшительные формы от нейтрального слова *фабрика* передают пренебрежение:

Наконец они подошли к месту, откуда шло посинение. Оно происходило из трубы, бегущей из красной кирпичной фабрички. Фабричка-то была паршивой, шесть на восемь, а краски выпускала много (Успенский 2005: 206).

Употребление иноязычных префиксоидов *мини-* и *макси-* для оформления количественной оценки, выражающей величину предмета, указывающую на признак признака: *Гена бы непременно попался, если бы с противоположной стороны шоссе не ехал бы мини-трактор с макси-навозом* (Успенский 2005: 302). Данные префиксоиды могут употребляться только с конкретными существительными. Здесь же приставку *макси-* имеет неисчисляемое существительное, что указывает на окказиональное употребление.

При помощи редупликации может быть оформлена количественная оценка, выражающая величину предмета, указывающую на признак признака: *Сюда ползу, – проворчал удав, доставая из травы свое длинное-предлинное тело* (Остер 2005: 123). Или такой пример:

Идет дядя Федор себе по лестнице и бутерброд ест. Видит, на окне кот сидит. Большой-пребольшой, полосатый (Успенский 1987: 4). При помощи приставки **пре-**, указывающей на степень проявления признака, а именно усиливающей его, может быть оформлена количественная оценка:

И тут подъехал большой-пребольшой трак и остановился недалеко от ворот, тихо работая двигателем (Успенский 2005: 253).

Словообразовательными средствами, служащими для экспликации данного вида оценки, являются: аффиксация, окказиональное словообразование, редупликация. Наблюдается низкая частотность лексики, в которой количественная оценка выражается посредством деривации.

- Голуб 2001 – *Голуб И. Б.* Стилистика русского языка. [3-е изд., испр.]. М., 2001.
- Космеда 2000 – *Космеда Т. А.* Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки. Львів, 2000.
- Остер 2005 – *Остер Г. Б.* Собрание сочинений в 3 т. Т. 1. Сказочные истории. М., 2005.
- Папина 2002 – *Папина А. Ф.* Текст: его единицы и глобальные категории: учебник для студентов – журналистов и филологов. М., 2002.
- Успенский 1987 – *Успенский Э. Н.* Дядя Федор, пес и кот: повесть-сказка. Киев, 1987.
- Успенский 2002 – *Успенский Э. Н.* Сказочные повести и рассказы. Новые порядки в Простоквашино. Балашиха, 2002.
- Успенский 2004 – *Успенский Э. Н.* Сказочные повести. М., 2004.
- Успенский 2005 – *Успенский Э. Н.* Крокодил Гена, Чебурашка и другие: Шесть историй. М., 2005.

Amir Kapetanović (Zagreb)

Načela i problemi u izradbi rječnika starohrvatskoga jezika

U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu priprema se Rječnik starohrvatskoga jezika i ujedno računalni Korpus starohrvatskoga jezika, utemeljen na pisanim vrelima koji su nastali od XI. do XV. stoljeća. U Zagrebu se (u Staroslavenskom institutu) desetljećima izrađuje još jedan povijesni rječnik (Rječnik crkvenoslavenskoga književnog jezika hrvatske redakcije), ali se pisani izvori za izradbu tih dvaju rječnika uglavnom ne poklapaju, iako je riječ o tekstovima koji potječu iz istoga razdoblja (srednji vijek). Zamisao o Rječniku starohrvatskoga jezika potječe iz ranih 90-ih godina 20. stoljeća, ali tek je 1998. dr. Dragica Malić objavila skicu za njegovu izradu i 2001. detaljniji nacrt s popisom izvora i pravilima leksikografske obrade u knjižici Nacrt za Hrvatski rječnik do Marulića i njegovih suvremenika. Od 2007. godine A. Kapetanović, kao voditelj projekta, zajedno sa suradnicima otpočeo je organizirano prikupljati i provjeravati vrela za taj rječnik kao i računalno pripremati prikupljenu građu za leksikografsku obradbu. Od 2007. godine do 2009. prikupljeni su, tekstološki provjereni i računalno čitljivi svi danas dostupni starohrvatski pjesnički tekstovi (53 teksta u brojnim varijantama). Tako je dovršena priprema prve od šest sastavnica računalnoga korpusa starohrvatskoga jezika, a tekstovi koji čine tu sastavnicu predstavljeni su javnosti 2010. godine u kritičkom izdanju Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo. Glavni problem koji prati pripremu i izradbu rječnika, osim nedostatka financijskih sredstava i ljudskih resursa (iskusnih medievistaleksikografa), davno je uočen, a to su loša i po tekstološkim principima neusklađena izdanja starohrvatskih tekstova (dio građe nije do sada uopće publiciran). Osim toga, tu su problemi uređivanja starih tekstova u elektroničkom obliku za računalni korpus (XML, TEI standard). U prilogu ćemo iznijeti glavna načela i detaljnije ćemo izložiti uočene probleme i probleme koje očekujemo u trima glavnim etapama rada u izradbi rječnika: tekstološkoj, računalnolingvističkoj i leksikografskoj.

Мария Кутанова-Маркова (София)

Създаване на съпоставителен тематичен етнолингвистичен речник на славянските и балканските народи

Етнолингвистиката или антропологичната лингвистика е лингвистика, която се занимава с изучаване на връзките между езика и културата. В последно време етнолингвистичната лексикография се развива като неин самостоятелен клон. Тя се занимава със събирането, осмислянето и класификацията на етнокултурната лексика. Едни от най-представителните трудове в тази посока са издаденият в Москва речник «Славянские древности» т. 1 (А–Г), 1995, т. 2 (Д–К), 1999, т. 3 (К–П), 2004, т. 4 (П–С), 2009 и Słownik stereotypów i symboli ludowych (SSSL), издаван в Люблин под редакцията и ръководството на проф. Йежи Бартмински.

Разбира се етнографските, фолклорните и диалектоложки проучвания в голяма степен съдържат набора от елементи на етнокултурната традиция. Но етнолингвистичният поглед дава възможност този тип лексика да бъде обяснена не само като факт на езика. За етнографа етнокултурната лексика има само спомагателно значение като средство за отделяне и фиксиране на функционално релевантните елементи в обредността и вярванията. Връзката между културните термини и етнографските факти има значение само за етнолингвистите. Особената роля на терминологията на народната култура се определя от факта, че тя едновременно принадлежи и на езика, и на културата. Системното ѝ представяне и изучаване може да стане само от етнолингвистична позиция, защото само езикът може адекватно да предава всеки културен код и да го описва в неговата цялост. Като даваме описание на отделни обредни действия, предмети, лица, места и т. н., те стават средство за интерпретация на друг вид текст.

В този речник представянето на културната терминология не се подменя с анализ на връзките, които реално съществуват извън езиковата действителност в културната традиция, защото противното би дало етнографски характер на труда. В процеса на работата авторският колектив стигна до извода, че е най-полезно огромният лексикален материал да бъде оформен като корпус (справочник) на духовната култура на славянските и балканските народи в цялата им етническа и езикова територия. Корпус на народните термини, свързани със славянските и балканските обреди, обичаи и вярвания със заглавие «Език. Етнос. Култура». Този корпус би представлявал опит да се реконструира традиционната картина за света на съседните народи – славянски и балкански в синхронен аспект. Целта е да бъдат представени термините на духовната народна културна традиция. Народната култура представлява самостоятелна ценност и заслужава специално проучване.

Корпусът (енциклопедичният речник) ще бъде адресиран към всички, които се интересуват от народната традиция, към интересуващите се от езика и кул-

турата въобще, от народната култура. Той ще бъде интересен и за преподаватели и студенти, преподаващи и изучаващи културното наследство по региони.

I. Структура на речника

Посоченият енциклопедичен речник се отличава като замисъл и структура и от двата цитирани речника, но и той като тях има интердисциплинарен характер.

Основна лексикална единица е диалектната дума или словосъчетание, народен термин, свързан с духовната културна традиция. Лексиката е подредена тематично, а вътре в тематичните речници – по азбучен ред, тъй като тематичният принцип изисква подредяване на названията според йерархията на самите елементи на културния фрагмент.

Представена е и общоупотребима лексика, при която се наблюдава терминологизация. В обикновената си употреба думата запазва своята многозначност, но като название на определен културен елемент, тя е по своему еднозначна и лишена от експресивност. В този смисъл лексиката е отбелязана само с етнокултурната си семантика.

II. Словник и подбор на думите

Подборът на лексиката е извършен по следните теми: Календарна обредност, Семейна обредност (раждане, сватба, погребение), Роднинска терминология, Народно право, Митология. Това включва обредни предмети, обредни лица, обредни действия, обредни места, митологични същества, евфемизми, някои табу. Растения и животни са включени само, ако имат отношение към определена обредност. Роднинската терминология е представена подробно. Тя е пряко свързана със семейната обредност и е съществена част от българската културна традиция.

III. Структура на речниковата статия

Думата заглавка е диалектна дума или словосъчетание, народен термин в регистрирана форма. Поради многото семантични еквиваленти, които съществуват, сме взели решение да изберем думата, която е най-близка до книжовната, ако има такава, или най-разпространената и ясна от диалектите.

Структурата на самото тълкуване не се ограничава само до класическия модел на дефиниция, а характеризира термините в тяхното формално, функционално и семантичното отношение към съответния фрагмент на народната култура.

Речниковата статия има следната структура: заглавка ~ тълкуване ~ (разпространение или източник); ~ семантични еквиваленти след «др. названия:» – без разпространение. В азбучната структура те фигурират като отделна заглавка с разпространение, но без тълкуване, а с препратка към вече изтъкувания семантичен еквивалент. По същия начин е разрешен въпросът и със словообразователните варианти. Не се предвижда илюстративен материал поради енциклопедичния характер на справочника. Енциклопедичната информация е в края на речниковата статия след знак *. Глаголите от свършен и несвършен вид са поставени по азбучен ред. Различните термини, които се отбелязват с една и съща лексикална единица са отграничени с индекс 1, 2 и т. н., например:

Пеперуда₁ – Обред за предизвикване на дъжд, който се прави по време на суша (Източна и Западна България), *Пеперуга* (Дупница, Панагюрище, Струга, Хасковско), *Пемперуга* (Западна България), *Пеперлюга* (Ивайловградско), *Пяярүда* (Преславско). Др. названия: *Вай Гүгу*, *Вай Дудүла*, *Ой Люле*, *Росоманка*.

*Обредът не е с фиксирана дата. Изпълнява се по време на суша през пролетта или лятото.

Пеперуда₂ – Главно действащо лице в обряда Пеперуда (Източна България), *Пемперуга* (Западна България), *Пеперлюга* (Ивайловградско), *Пяярүда* (Преславско). Др. названия: *Додола*, *Додолярка*, *Кукаля*, *Росоманка*, *Циганка*.

*Главното обредно лице в обряда е момиче, обикновено сираче. В някои краища на българската езикова територия може да бъде първо или последно дете в семейството. Задължително условие е да бъде полово чисто. Пеперудата е облечена с риза, отрупана със зеленина и с разпусната коса. Чрез имитативна магия се цели предизвикване на дъжд.

Вай Гүгу – вж. Пеперуда₁ (Одринско, Мала Азия).

Додола – вж. Пеперуда₂ (Свищовско).

Следва подреждането на материала от следващия език.

Подреждането на материала по подобен начин наричаме матрично. То е свързано с предположението, че всяка когнитивна картина на света е изразена чрез езикова картина на света като тези картини взаимно се пресичат. Важно в случая е, че матричното разположение може да послужи като своеобразна основа (*tertium comparationis*) за съпоставително представяне на съответните тематични полета на родствени или съседни езици.

Основният въпрос е как да бъде изработена самата матрица, за да отговаря по-добре на изискванията за съпоставително представяне на материала. Тя може да бъде изработена на базата на предварителен анализ и обобщение на езиковия материал или на базата на анализ на етнографски източници, при които се изработва матрица на значенията. Получената тематична езикова картина в случая може да послужи като синтетичен лингвокултурен катализатор, а матрицата създава възможност за непрекъснато допълване на материала и за изготвяне на съпоставителни речници на определени фрагменти, например руски, български, сръбски, полски, чешки.

IV. Транскрипция.

Не се използва фонетична транскрипция, но се поставя ударение там, където то е регистрирано.

V. Източници.

Документацията, на която ще се опира речникът са публикувани писмени източници, материали от архиви (диалектни, етнографски, фолклорни), материал, събран на терен.

VI. География.

Географията на речника обхваща езиковата територия на съответните езици, които се съпоставят. Тук господстващ е принципът на историзма. Речникът

се стреми да отрази историческата обоснованост на спецификата на всяка националната традиция.

VII. Библиография.

В речниковите статии се отбелязва географското разпространение. Там, където то липсва, отбелязваме източника на материала. Цялата библиография е изнесена в края на Речника по азбучен ред.

VIII. Подреждане на корпуса.

Подреждането на корпуса може да бъде от типа на двуезичните речници. Това би дало възможност за едно непрекъснато допълване с друг език.

Речникът ще бъде диалектен по своя материал, тълковен по вид, по характера на информация – енциклопедичен, а по своята същност – съпоставителен и етнолингвистичен.

В. Ф. Коннова (Оксфорд)

Семантика свидетелств иностранных источников в русских исторических словарях

1. Изданные в последние десятилетия двуязычные словари и разговорники XVI–XVII вв. расширили документальную основу русских исторических словарей, прежде всего в области ежедневной разговорной лексики. Наиболее важные и обширные из них: «Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса», изданный Б. А. Лариным в 1959 г. (Сл. Джемса, здесь и далее сокращения, принятые в «Словаре русского языка XI–XVII вв.» [СлРЯ]), «Tönnies Fenne's Low German Manual of Spoken Russian Pskov 1604», vol. I–IV, 1961–1986 (Псков.разгов.), «Ein Rusch Boeck...» Ein Russisch-Deutsches anonymes Wörter- and Gesprächbuch aus dem XVI. Jahrhundert, 1994 (Рус.-нем. словарь¹), «Einn Russisch Buch» Thomasa Schrouego. Słownik i rozmówki rosyjsko-niemieckie, 1997 (Сл. Шrove), «A Dictionairie of the Vulgar Russe Tongue. Attributed to Mark Ridley», 1996 (Сл. Ридлея). Более ранние издания использовались с первых выпусков СлРЯ, хотя можно заметить, что весьма ограниченно, Рус.-нем. словарь¹ и Сл.Шrove – начиная с вып. 24, а Сл.Ридлея – с вып. 28. Все эти источники вошли в список «Словаря обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII веков» (СОРЯ), хотя Сл. Ридлея только в вып. 2. «Псковский областной словарь», издающийся с 1967 г., в конце словарных статей приводит исторические данные, в том числе Псков.разгов.

2. О значении свидетельств иностранцев говорит тот факт, что и в СлРЯ, и в СОРЯ имеются случаи, когда форма слова и/или его значение документированы единственным примером из иностранного источника, например, СОРЯ 2: 125 **весный** ‘тяжелый’ (Сл. Ридлея 82), Сл. РЯ 28: 30 **статокъ**² ‘остаток’ (Сл. Ридлея 392), Сл. РЯ 28:36 **стачати** ‘шить, стачать’ (Сл. Ридлея 392). Таких случаев

может и должно быть больше, что несомненно найдет отражение в будущих выпусках СлРЯ и СОРЯ, а также в планируемых дополнениях к первым томам СлРЯ.

В настоящем сообщении вопрос о семантическом аспекте иностранных свидетельств о русском языке XVI–XVII вв. рассматривается в основном на материале английских источников, т. е. Сл. Джемса и Сл. Ридлея.

3. Одна из проблем использования свидетельств иностранцев связана с искажениями, ошибочными написаниями русских слов, однако в большинстве случаев нетрудно восстановить форму слова, особенно если она находит поддержку в русских более поздних источниках или в диалектных материалах. Например, в Сл. Ридлея записано *дераха*. a long gagged hearbe, т. е. ‘высокая зазубренная, с неровными краями трава’. В СлРЯ 4: 321 имеется только **деряждь** ‘завал из хвороста, кустарника’ со знаком вопроса. Словарь XVIII в. 6: 110 содержит **деряжка**, СРНГ 8: 32, ПОС 9: 52, АОС 11: 104 **деряга** в значении ‘растение *Lusorodium*, плаун’, что дает возможность предложить толкование др.-рус. **деряждь** ‘заросли колючей травы’.

4. Сложнее вопрос о доверии к семантической стороне свидетельств иностранных источников. Во многих случаях перевод русского слова однозначен и не вызывает сомнения, тем более, когда слово приведено в словосочетании или в предложении, что относится к используемым разговорникам; в Сл. Джемса часты комментарии автора, и только Сл. Ридлея дает один или несколько переводов русского слова на английский язык. Если перевод однозначен или два-три английских слова близки по значению, можно с уверенностью использовать такую запись, особенно если она подтверждается другими, более поздними или диалектными данными. Например, Сл. Ридлея 116: **грудина** ‘вымя животного’, не отмеченное в СлРЯ, но известное в псковских говорах: **грудина** ‘молочные железы у животных’ (ПОС 8: 46).

5. Если иностранный перевод не находит поддержки в русских источниках или он многозначен и трудно определить вне контекста, какое из его значений имелось в виду, использование такой записи становится невозможным. Например, **творити**. to observe. to fulfil (Сл. Ридлея 405); **толсть**. thicke. great (Сл. Ридлея 411).

6. Важный аспект использования иностранных свидетельств – проверка значения иностранного слова, которое оно имело в то время, которым данный источник датируется. Такая проверка облегчается в отношении Псковского Разговорника Т. Фенне тем, что его издание включает индекс средненижне-немецкого оригинала с переводом на современный немецкий язык и ссылками на русские формы. Что касается английских Сл. Джемса и Сл. Ридлея, то обращение к «Oxford English Dictionary» дает полную информацию о семантике и семантическом развитии всех слов и форм, когда-либо записанных в английских источниках. Отсутствие такой проверки может привести к ошибкам, как, на-

пример, в СОРЯ 2: 139: **ветрить**, (1) ‘вянуть, сохнуть’. Ветрити. to wither (Сл. Ридлея 83). Рассмотрев все значения англ. *to wither* во второй половине XVI в. с учетом замечания в рукописи *b*. Сл. Ридлея «see drie», а также приняв во внимание ярсл. **ветрить** ‘сушить на ветру’ (СРНГ 4: 202), следует дать русский эквивалент английскому переводу ‘сушить на ветру (урожай), проветривать (например, белье)’.

7. Иностранные источники свидетельствуют о дополнительных значениях древнерусских слов, не отмеченных в СлРЯ. Сл. Джемса 176 (59: 21) приводит форму мн. ч. *boráshki*, *baume buds* ‘душистые почки’, ср. СРНГ 2: 110: **барашки** ‘сережки у березы’. Там же 135 (38: 13): *bortnic*, a kinde of lesser sorte of beare, with a whitish ringe on the necke, verie fierce and so called because he uses to clime trees for honie and robs the boores borts ‘вид медведя меньшей величины с беловатым кольцом на шее, он очень свиреп, называется так потому, что обычно взбирается на деревья за медом и грабит крестьянские борти’. Последняя запись, хотя как будто и не встречается в русских источниках, кажется вполне достоверной, оба слова включены в СОРЯ.

Особую лексикографическую проблему представляют собой слова в древнерусских источниках, значения которых определяются не контекстом их употребления в этих памятниках, а знанием, почерпнутым из более поздних текстов. Например, СлРЯ 1: 303: **ботвинье (ботвенье)** и **ботвинья** 3. ‘холодное кушанье из кваса с различными вареными овощами и зеленью’. Однако из приведенных цитат отнюдь не следует, как именно приготавлилась ботвинья, можно предположить, что дефиниция была составлена на основании Словаря В. И. Даля (1: 120). Сл. Джемса 95 (19: 23) дает несколько отличное толкование этого слова: *botfīnia*, a kinde of porridge or hodgpodg made of boild beets and onions ‘род каши или рагу из вареной свеклы и луку’. СОРЯ 1: 252 цитирует эту запись, но не выделяет ее из значения ‘холодное блюдо из вареной свеклы, зелени и кваса’.

8. Запись в иностранном источнике позволяет иногда по-новому взглянуть на цитаты из др.-рус. источников и корректировать дефиницию. В СлРЯ 4: 34 **глоток** определяется как ‘глоток’ и иллюстрируется одной цитатой из Леч. II XVIII в. Запись в Сл. Ридлея 106 «**глотки**. ‘таблетки’» дает более раннюю датировку этого слова и значение, вполне применимое к данной цитате. Такие записи позволяют уточнить значения русских словоформ, проведенных в СлРЯ под вопросом. См. выше пример на **деряждье**. И даже дать дефиницию слова, приведенного в СлРЯ без значения, как например, СлРЯ 13:32 «**опонка**» (?) с одной цитатой из МДБП 1643 г., где перечисляются магические предметы, имевшиеся у ведьмы. Сл. Ридлея 263 содержит запись «опонка. the cale. the kelle»; *b*. Англ. *caul* (в орфографии XVI в. *cale*, *kelle*) является анатомическим термином, обозначавшим разные мембраны, оболочки в человеческом теле и, что особенно существенно в нашем случае, водную оболочку плода, «сорочку» новорожденного, по суеверию считавшуюся оберегом от утопления.

Н. Корина (Нитра)

Лингвокогнитивные оппозиции в параллельных явлениях словацкой и русской фразеологии

Фразеология любого естественного языка не только содержит древнейший пласт его лексики, но и – в чем состоит ее главная ценность – отражает древнейшие представления говорящего на данном языке народа об окружающей действительности, систему его традиционных ценностей и его мифологическую картину мира, т. е. основу национальной культуры (Кошарная 2008; Киселева 2009). Именно поэтому фразеология дает чрезвычайно ценный материал для лингвокогнитивных и лингвокультурологических исследований, позволяя связать устойчивые понятия национальной культуры с традиционной ментальностью народа и современным состоянием национального языка.

Особенности конкретной национальной картины мира представляют собой те структурные элементы представлений народа об окружающей действительности, которые отличают ее от других национальных картин, но общая структура этих картин тождественна, поскольку человечество мыслит по одним и тем же схемам, опираясь на кванты своего знания о мире – концепты. С точки зрения когнитивной лингвистики мышление есть оперирование концептами, которые мы в традициях таких российских исследователей, как И. А. Стернин, З. Д. Попова и Н. Ф. Алефиренко, будем понимать как глобальные единицы структурированного знания (Попова, Стернин 1999; Стернин, Прохоров, 2007; Алефиренко 2008 и др.). Являясь глобальной мыслительной единицей, концепт всегда имеет образный характер, и потому его вербализация в разных языках, будучи денотативно тождественной, заключает в себе разные наборы сем – ведь образ, возникающий при воспроизведении одного и того же денотата, будет непременно отличаться у разных народов, а в некоторых случаях и у представителей одного и того же народа.

Отличается и набор базовых концептов, отражающих традиционное миропонимание народа и составляющих концептосферу национального языка (термин Д. С. Лихачева). Наши исследования, проведенные на основе сопоставления фразеологии словацкого и русского языков, убеждают в том, что значительную роль в формировании концептосферы национального языка играет геоморфологическая среда обитания говорящего на этом языке народа. Многовековое обитание словацкого народа в горных районах обусловило заложение в его систему ценностей понятий высоты, пространственной ограниченности, закрытости и, как следствие, ориентацию на конкретность в выражении своих мыслей. Существование русского народа преимущественно в равнинном ландшафте привело к формированию системы ценностей, основанной на понятиях широты, пространственной неограниченности, открытости и, как следствие, тяготению к абстрактности и образности. Все, что имеет строгие границы, вызывает у русского ощущение потери свободы, а у словака, наоборот, ощущение

упорядоченности и правильности. В словацком языке даже существует поговорка: (*každý musí vedieť odkiaľ pôkial'*), что в переводе можно сформулировать как «каждый должен знать свои границы». Вышеперечисленные понятия образуют базовые компоненты – фреймы, субконцепты – в составе структурных элементов национальной концептосферы словацкого и русского языков, создавая свойственные человеческому мышлению бинарные оппозиции: русская широта – словацкая высота, русская неограниченность – словацкая ограниченность (в пространстве), русская открытость – словацкая закрытость, русская абстрактность – словацкая конкретность. Особенно ярко данные оппозиции просматриваются в параллельных фраземах с идентичной семантикой и близкой или тождественной структурой, которые мы анализируем более подробно.

Показательным в свете вышесказанного является и то, как язык обходится с заимствованными фраземами. Если заимствованная фразема содержит название материальной или культурной реалии (имя мифологического персонажа, топоним и т. п.) или иноязычное слово, то заимствующий язык, как правило, не создает ее вариантов (*Пиррова победа, Дамоклов меч, сорвать куш* и т. д.). Когда подобных компонентов нет, степень освоения фраземы резко возрастает, и она начинает «обрастать» в заимствующем языке различными вариантами, создавая синонимический ряд, пока, наконец, в этом синонимическом ряду не определяется доминанта – наиболее общеупотребительный вариант. Как показывают наши предварительные исследования, именно эта доминанта наиболее полно соответствует концептосфере данного языка и отражает характерные особенности национальной ментальности. Таким образом, параллельно развивающиеся в разных языках фраземы могут при полной семантической и практически полной структурной идентичности отличаться лексическими компонентами, которые как раз и заключают в себе специфику концептуального пространства данного языка. Это обусловлено тем, что, хотя базовые концепты и фреймы каждого языка («Жизнь», «Щедрость», «Богатство» и т. д.) состоят из одинакового набора минимальных смысловых элементов – сем, «в каждом из языков они (семы) подвергаются неповторимой комбинации. Именно индивидуальность семных комбинаций создаёт этнокультурное своеобразие фразеологических значений, определяя тем самым специфику глубинных ярусов фразеосемантического пространства разных языков» (Алефиренко 2008: 163).

Данные закономерности мы подробно иллюстрируем на примере параллельной в русском и словацком языках фраземы со значением ‘жить богато, роскошно, не стесняясь в средствах’, которая является заимствованием из западноевропейских языков, – рус. *жить на широкую ногу* (ФСРЯ: 284), слвц. *žiť na vysokej nohe* (Smiešková 1974: 276). Первоначальная ее форма – *жить на большую ногу / žiť na veľkej nohe*, семантика и структура данной фраземы в русском и словацком языках аналогичны, отличие состоит лишь в одном лексическом компоненте: широкий – высокий, соответствующем специфике национальных концептосфер русского и словацкого языков. Мы демонстрируем, что транс-

формации, которые претерпела изначально идентичная во всех славянских языках фразема, подтверждают концептуальную обусловленность использованных в ней лексических компонентов, и доказываем, что при наличии нескольких вариантов одной и той же фраземы заимствующий язык всегда отбирает в качестве доминанты то, что ближе к его когнитивной структуре и гармонично вписывается в его концептуальное пространство.

- Алефиренко 2008 – *Алефиренко Н. Ф.* Фразеология в свете современных лингвистических парадигм. М., 2008.
- Киселева 2009 – *Киселева Н. Б.* Когнитивные аспекты словацко-русского языкового параллелизма // *Dialog kultur V. Sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference, která se konala ve dnech 20.–21.1.2009 na katedře slavistiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. O. Richterek, M. Půža (eds.). Ústí na Orlici, 2009. S. 112–125.*
- Кошарная 2008 – *Кошарная С. А.* Мифологическая картина мира в зеркале фразеологии // *Фразеология и когнитивистика: матер. 1-й междунар. науч. конф. В 2-х тт. Т. 2. Идиоматика и когнитивная лингвокультурология. Белгород, 2008. С. 223–227.*
- Попова, Стернин 1999 – *Попова З. Д., Стернин И. А.* Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях. Воронеж, 1999.
- Стернин, Прохоров 2007 – *Стернин И. А., Прохоров Ю. Е.* Русские: Коммуникативное поведение. М., 2007.
- ФСРЯ – *Фразеологический словарь русского языка (под ред. А. И. Молоткова). М., 1978.*
- Smiešková 1974 – *Smiešková E.* Malý frazeologický slovník. Bratislava, 1974.

В. Г. Кульпина (Москва)

Создание исторических словарей терминов цвета близкородственных языков как актуальная задача современной славистики

Задача создания исторических словарей терминов цвета на материале славянских языков в наши дни актуальна и осуществима. Речь идет прежде всего об исторических словарях цветообозначений русского и польского языков. На материале обоих языков создан целый ряд исторических, историко-этимологических и этимологических словарей, в том числе за последнее время, изданы серии толковых словарей современного русского и современного польского языков. Предпринято новое издание академического словаря русского языка, содержащее уже солидное собрание вышедших из печати томов. Имеется целый ряд монографических работ и целый ряд сборников по истории терминов цвета и их функционированию в синхронии. Наличие такой серьезной базы позволяет ставить задачу по созданию исторических словарей цветообозначений на основе новой концепции лексикографического описания, соответствующей структурам современных знаний о мире.

В докладе описывается актуальность такой работы с точки зрения изучения старейших слоев цветообозначений как основы для формирования современной системы терминов цвета. Слой цветообозначений, унаследованный от праславянского периода и восходящий преимущественно к древнейшим индоевро-

пейским корням, послужил основой для формирования абстрактных терминов цвета. В то же время целый ряд терминов цвета относится к общеславянскому фонду. Наряду с таковыми, в русском и польском языках представлены и цветообозначения, присущие лишь части славянских языков, в том числе – только русского или только польского. Часть цветообозначений имеет диалектное базирование. В то же время какая-то их часть являет собой неологизмы, возникшие первично в рамках индивидуального цветотворчества, как часть авторского идиостила.

Необходимой частью лексикографической работы является детальная характеристика элементов, из которых складываются системы цветообозначений обих рассматриваемых языков, выявление очередных этапов приращения элементов этих систем, развития моделей терминов цвета вплоть до нынешнего этапа.

Среди факторов динамики развития цветосистем имеются факторы как внутриязыковой, так и экстралингвистической, социальной, природы. В круг внимания человека вовлекаются все новые предметы, обладающие характерным цветом. В то же время способность человека к категоризации своей деятельности и окружающего мира человека подводит его к необходимости усилий по поиску новых цветовых прототипов. При этом классические прототипы не выходят из оборота, но продолжают свою жизнь в языке. Интересной и плодотворной исследовательской задачей является установление и описание источников пополнения терминов цвета: путем формирования терминов цвета за счет развития эталонов-прототипов какого-либо цвета (например, русск. *морковный цвет*, польск. *kolor wrzos* ‘цвет вереска’), путем заимствований из языков самых разных языковых семей, через развитие процессов фразеологизации в сфере терминов цвета (например, русск. *черные мысли*, *розовые мечты*, польск. *czarne zloto* ‘черное золото’ (об угле), а также развития цветовых значений у нецветовых прилагательных).

Актуальной славистической задачей видится нам инвентаризация в указанных исторических словарях терминов цвета русского и польского языков и их презентация в пределах сформировавшихся в истории языка крупных хроматических категорий (концептов) (см., в частности: Кульпина 2004: 77–121; Кульпина 2007: 126–184).

Изучение истории цветообозначений позволяет пролить свет на многие вопросы формирования оттеночности, сложности, комплексности цвета, интенсификации и модификации цвета в языке. Анализ эволютивной составляющей терминов цвета способствует выявлению в их развитии аксиологической и коннотативной составляющей и социоментальных движущих сил, связанных с изменениями цветовосприятия в направлении функциональной дифференциации цветовых реляций и в то же время их генерализации в рамках лингвокультурных концептов. Функции цветообозначений имеют разную психоментальную направленность – часть этих функций осциллирует в сторону рационализации познания, а часть – служит эстетизации действительности, вступая в духовный

мир человека как источник положительных эмоций и как способ утончения его эмоциональной сферы.

Новая концепция лексикографического описания терминов цвета русского и польского языков как сложноструктурных концептов позволила бы создать надежную научно-теоретическую базу для установления сфер сопряженностей и дивергенций в области цветообозначений в обоих близкородственных языках, закономерностей развития языковых структур и их связи с закономерностями эволюции человеческого мышления.

Кульпина 2004 – *Кульпина В. Г.* Исторические изменения цветообозначений как манифестация динамики социоментальных систем // Паланістыка 2002–2003 / Рэд. Аляксандр Кіклевіч, Сяргей Важнік. Мінск: «Права і эканоміка». 2004. С. 77–121.

Кульпина 2007 – *Кульпина В. Г.* Система цветообозначений русского языка в историческом освещении // Наименования цвета в индоевропейских языках: Системный и исторический анализ / Отв. ред. А. П. Василевич. М.: КомКнига, 2007. С. 126–184.

О. О. Лешкова (Москва)

О современном состоянии и перспективах польской лексикографии

Анализируя и оценивая достижения польской лексикографии, ее современное состояние и пытаясь определить основные тенденции ее будущего развития, исследователи достаточно единодушно отмечают, что рубеж 80-х – 90-х годов 20 века стал для польской лексикографии поистине переломным моментом. Радикальные политические, экономические и социальные перемены, произошедшие в этот период в Польше, существенным образом отразились и в сфере, связанной с составлением и изданием словарей польского языка. Процесс этот имел как количественные, так и качественные проявления. Очевидным фактом было резкое увеличение количества издаваемых словарей, разнообразие наименований (список словарей разного типа, изданных после 1990 г., включает более 80 наименований), что свидетельствовало о расширении аспектов лексикографического описания польского языка.

Предшествующий период в развитии польской лексикографии был отмечен доминирующим положением одной лексикографической концепции, связанной с именем главного редактора 11-томного Словаря польского языка Витольда Дорошевского. После завершения публикации этого словаря (конец 1960-х) на его базе и в рамках сходных теоретических установок был выпущен 3-томный Словарь польского языка под редакцией М. Шимчака (1978–1981), надолго занявший место основного, наиболее популярного и востребованного толкового словаря польского языка. Целое же десятилетие 80-х годов прошло под знаком многочисленных дискуссий относительно выработки новой методологической концепции составления большого толкового словаря. Существенным компонентом этих дискуссий была конструктивная критика имевшегося лексикографи-

ческого наследия. Словарь, согласно Дорошевскому, должен представлять образцы хорошего стиля, формировать идейно-мировоззренческие позиции носителей языка, стать средством сохранения и передачи культурного и цивилизационного багажа польской нации. Следствием данной концепции был выраженно нормативный и избирательный подход к представляемой в словаре лексике, и вне словаря оказались широкие пласты субстандартной лексики (разговорной, региональной, диалектной, профессиональной, стилистически сниженной и под.). На выполнение этих лексикографических лакун и была направлена в первую очередь деятельность польских лексикографов в последнее десятилетие 20 века, результатом чего стало издание целой серии новых словарей: разговорного польского языка, языка различных социальных групп, жаргонизмов, языка отдельных авторов, эвфемизмов, архаизмов, неологизмов и пр.

Параллельно шла работа над новыми толковыми словарями польского языка, реализовавшими новые подходы к лексикографической обработке лексического материала. В первую очередь была осуществлена попытка отойти от устоявшихся, традиционных принципов лексикографического описания слов. Предложенные изменения затронули базовые, основополагающие компоненты словаря. В области словарных дефиниций был реализован постулат отказа от энциклопедического характера дефиниций, доминировавшего в Словаре Дорошевского и трудах его последователей, в пользу ориентации на принцип доступности словарного описания для широких кругов пользователей словарей. Так, в «Ином словаре польского языка» М. Банько (Warszawa, 2000) представлено применение так называемых «контекстных дефиниций», имплицитно включающих множество информации: о сочетаемости, типичных употреблениях, наиболее частотных формах, функциональной и стилистической окраске). Стремление приблизить словарь к пользователю, облегчить его контакт со словарем и поиск информации проявляется в широком использовании различных графических приемов усиления наглядности подачи материала (напр., вынос вспомогательной информации грамматического плана на поля словарных колонок; отказ от сокращений служебных компонентов словаря – квалификаторов, рубрикаторов и пр.; отказ от подачи информации в максимально формализованном виде в пользу упрощенного метаязыка).

Был предложен и иной подход к объекту описания – им должно быть не традиционное словарное слово, а «лексическая единица», представляющая собой «ряд элементов, имеющих знаковую природу, обладающая целостным значением и не делимая на значимые компоненты, которые были бы элементами незамкнутых субституционных классов» (согласно концепции, разрабатываемой в трудах А. Богуславского и М. Гроховского). В словарях, созданных в русле этой концепции («Polszczyzna, jaką znamy», W., 1993; «Verba Polona Abscondita», W., 2005) абсолютно изменяется традиционное строение словарной статьи, облик словарной единицы (нет границы между цельно- и раздельнооформленными лексическими единицами, в нее также включается указание на присущие ей

валентности), представление семантической структуры (полностью снимается проблема полисемии, так как постулируемые лексические единицы по определению должны быть однозначными), изменяется подход к фразеологизмам (они выводятся из области сочетаемости слов).

В новых лексикографических трудах наглядно проявляется тенденция к универсализации содержания словарной статьи. Так, в словарной статье «Практического словаря современного польского языка» (под редакцией Г. Згулковой; Poznań, 1994–2007), особо выделяется зона сочетаемости, приводятся данные о происхождении слова, отдельно представлены синонимы (в широком понимании) и дериваты. Эту же тенденцию можно наблюдать и в новых орфографических и синонимических словарях, опубликованных после 2000 г., где появляются дополнительные данные о значении слов и их сочетаемости.

Характерной особенностью современной польской лексикографии является широкое внедрение в эту сферу компьютерных технологий, что оказывает существенное влияние как на сам процесс составления словарей (упрощение и ускорение процесса сбора и обработки материала, использование баз уже изданных словарей, опора в качестве источников материала на данные корпусов польского языка, доступность словарей на новых видах носителей и в интернет-версии). Однако все потенциальные возможности цифровых технологий используются далеко не полностью (в первую очередь это касается выпуска компьютерных словарей *sensu stricto*). Широкая и последовательная опора на компьютерные технологии должна привести к созданию базовой, рамочной (*framework*) структуры словаря, которая могла бы наполняться конкретным языковым материалом, что обеспечивало бы сопоставимое (гомогенное, компатибельное) его описание, а на выходе должно было бы привести к созданию большого компьютерного словаря экстенсивного типа, объединяющего всевозможную информацию о лексическом составе языка (где нет ограничений на объем и могут использоваться различные фильтры для поиска информации) и отдельных специализированных словарей различного объема, удовлетворяющих потребности разных групп носителей языка и пользователей словарей.

М. Е. Локтева (Ростов-на-Дону)

Древнерусские и старославянские женские наименования со значением ‘молящаяся’

Особенности древнерусских текстов связаны с традицией, берущей начало в первых письменных памятниках старославянского происхождения, которые определили характер формирования и распространения письменности на славянских землях. Поэтому значительную часть древнерусских памятников занимает литература религиозно-духовного содержания, либо литература каким-то образом к нему отсылающая. В древнерусских источниках последовательно и

намеренно утверждается истинность христианского учения в противоположность языческому восприятию, которое осуждается.

Специфика идеологического содержания древнерусских памятников и их связь в этом отношении со старославянским книжным наследием делает актуальным сопоставительное изучение древнерусских и старославянских женских наименований со значением 'молящаяся' как группы лексики, указывающей на принадлежность женщины к социальному классу церковных служителей, а также на особенности ее вероисповедания. По данным СлДРЯ (XI–XIV вв.) [1], СлРЯ XI–XVII вв. [2] и словаря И. И. Срезневского [3] древнерусские памятники насчитывают 16 женских наименований рассматриваемой группы, в то время как старославянские тексты фиксируют 9 лексем [4]. В целом древнерусскую лексику со значением 'молящаяся' можно разделить на следующие подгруппы.

I. Наименования, указывающие на вероисповедание женщины в зависимости от ее духовного сана или чина (с учетом социального компонента):

1) названия христианского духовного сана и чина: а) наименования монашествующих лиц женского пола, определяющие принадлежность к монашескому сану – **игоуменниа** 'игуменья, настоятельница женского монастыря', **чрьница** 'монахиня, черница'. **монастырьница** 'монахиня', **калоу҃герница** 'монахиня' (в ст.-сл. **игоуменниа** 'игуменья', **чрьница** 'монахиня'); б) наименования женщин, прислуживающих в церкви, но не являющихся монахинями – **бѣлица** 'женщина, живущая в монастыре, но не принявшая обета монашества', а также лексемы, обозначающие служительниц древней христианской церкви – **дѣакониса** 'дьяконисса, служительница древней христианской церкви', **дѣачница** 'то же, что **дѣакониса**', **слоужительница** 'дьяконисса в древней христианской церкви' (в ст.-сл. **дѣакониса** 'дьякониса', **слоужительница** 'служительница, дьяконисса');

2) наименования нехристианского религиозного сана – **жърица** 'жрица'.

II. Наименования, указывающие на принадлежность женщины к вероисповеданию независимо от сана (без учета социального компонента):

1) наименования, указывающие на принадлежность к христианскому вероисповеданию – **крѣстьяна** 'христианка' (в ст.-сл. **крѣстианьни** 'христианка');

2) наименования, указывающие на особое предназначение, на исполнение обетов, связанных с особенностями христианского вероисповедания – **постъница** 'та, кто строго соблюдает посты, ведет подвижническую жизнь', **моливъница** 'та, кто молится, богомолица', **объщъница** 'та, кто приобщилась к чему-л., кому-л., причастна к кому-л., чему-л.' (в ст.-сл. **постъница** 'подвижница, постница', а также **исповѣдница** 'сторонница', **оученица** 'ученица, последовательница');

3) наименования, указывающие на принадлежность к нехристианскому вероисповеданию – **бесоурменъка** 'нехристианка, иноверка', **коумироловица** 'язычница, идолопоклонница', **клинъни** 'язычница', ср. **клинство** 'язычество в его античной форме' (в ст.-сл. **элинъни** 'гречанка, элинка', а также **поганъни** 'язычница').

В первой подгруппе наименований прослеживается соотношение лексем, которые называют монашеский чин или определяют род деятельности женщины в монастыре или храме. Лексемы можно противопоставить по признакам «русская православная» и «древнехристианская» традиции. Здесь выделяются др.-русск. слова **дипакониса**, **диачница**, **слоужительница** и ст.-слав. **дипакониса**, **слоужительница**, обозначающие женщину, помогавшую при богослужении, в приготовлении других женщин к крещению, в посещении больных и бедных женщин и т. п., причисленную к клиру через особое рукоположение [5: 126]. В Восточной церкви этот чин был полностью замещен монашеством в XI в., в Русской церкви такого чина не было. Из классификации видно, что в древнерусских текстах отмечается большее количество лексем, называющих монахиню или женщину, имевшую отношение к монастырю, чем в старославянских. Наличие большего числа синонимов для именованья монахини свидетельствует о значимости данного явления в жизни Древней Руси.

Интересное соотношение наблюдается при сопоставлении древнерусских наименований **чърница** и **бѣлица**, номинация которых основана на выделении одного внешнего признака называемых лиц: **чърница** – ‘женщина, носящая черные одежды’; **бѣлица** – ‘женщина, носящая белые одежды’, но также женщина, противопоставленная монахине, т. е. ‘та, что не приняла постриг’. Наименование **монастырьница** образовано по принципу выдвижения другого признака, характеризующего монахиню, – ‘место пребывания, служения’. Если в первом случае номинация происходит, исходя из внешнего признака, то во втором случае она опирается на смежную с образом монахини характеристику.

Еще одно женское наименование, соотносимое с первой группой, **жърница**, характеризует женщину, служительницу языческого религиозного культа: **стага мамелфа влше ѡ(т) пьрьсь жрица. трапезы артемыды ПрЛ XIII, 382** [1: III, 273].

Наименования второй подгруппы указывают на принадлежность лиц к определенному религиозному учению или культу. Наиболее общим по значению является древнерусское наименование **кръстьяна**, совпадающее по значению с однокоренным ст.-сл. **кръстианыни**.

Остальные наименования данной подгруппы (**постъница**, **объщница**, **молитвъница**) характеризуют лиц с точки зрения частных признаков, присущих религиозным последователям. Др.-русск. лексема **постъница** (то же в ст.-сл.) отсылает к ключевым принципам христианства – подвижничеству через строгое соблюдение духовного и телесного поста. Наименование **объщница** соотносимо с образом женщины, которая рассматривается как способная приобщиться к таинствам, став частью христианского мира: **она же ре(ч) пѣтница ми нмѣ. х(с)вомь же стр(с)тмъ обещница. много же поноуди ю князь ѿвръщисѣ х(с)а. ПрЮр XIV, 896** [1: V, 571] (ср. также ст.-сл. **исповѣдница**, **оученица**). Лексема **молитвъница** соотносится с образом Богородицы как заступницы всего мира, молящейся перед Богом за грехи человечества: **сла(в).**

Бъце. о мирѣ мѣтвниче *КтурКан XII сп. XIV, 229 об.* [1: V, 16]. Таким образом, можно говорить об оппозиции: Богородица – та, которая дает молитвенную силу, выступая в роли защитницы, женщина – восприемница благодати, даруемой Богом и Богородицей.

Противоположены данным лексемам древнерусские слова, называющие язычницу (**весоурменька**, **коумиролювица**, **клинныи**, ср. ст.-сл. **поганыни**), имеющие отрицательную коннотацию, что еще раз подчеркивает значимость христианского мировоззрения, развивающегося в древнерусской культуре и утверждаемого в письменных памятниках.

1. Словарь древнерусского языка (XI – XIV вв.). Т. 1–7. М., 1988–.
2. Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–. М., 1975–.
3. *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1–3. М., 1958.
4. Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки, Э. Благовой. М., 1999.
5. *Скляревская Г. Н.* Словарь православной славянской культуры: более 2000 слов и словосочетаний. М., 2008.

Ивелина Савова (Шумен)

За титлите и квазититлите: нови номинационни тенденции (върху материал от българския език)

Едно актуално явление, характеризиращо най-новата езикова ситуация в България, е квазититулуването – придаването на мними титли към имената на лица. Обект на наблюдение в работата са един тип номинации в публичната сфера, представляващи двучленни именни конструкции от съществително собствено име като основен елемент и предпоставено спрямо него подчинено съществително име със значение на титла и синтактична функция на приложение, тип: *полицай Бинко Прътев, съдия Лада Паунова, посланик Тафров, учител Зафиров, капелмайстор Бах*.

Титлите и квазититлите имат помежду си много общо, но с тази разлика, че едните са същински титли, а другите – неистински, мними. Същинските титли са почетни звания за благородство, за научна квалификация, за заслуги и др. По вид те могат да бъдат благороднически, църковни, военни, академични, научни, образователни, професионални, общи титли (*граф Орлов, патриарх Алексей, маршал Жуков, професор Москов, доктор Николов, бакалавър Андрей Андреев, инженер Стаменов, господин Иванов, мис Смит*). Квазититлите са несъщински титли. На практика те са нарицателни съществителни имена за назоваване на длъжности, постове, професии, занятия. Типичната употреба на такива съществителни е в постпозитивни описателни изрази, тип *Ангел Ангелов, прокурор от Окръжната прокуратура в София*. В случаите, когато опорното съществително от обособеното задпоставено приложение се премести пред собственото име по модела *прокурор Ангел Ангелов*, то се издига в ранг на титла.

По наблюдения основно върху медийни текстове в българския език засега се употребяват около 50 съществителни имена, фиксирани като квазититли, без това да е затворен списък. По значение съществителните, превърнати в квазититли, оформят няколко групи: съществителни, назоваващи висши длъжности и постове в държавната администрация, в законодателната и изпълнителната власт, напр. *министър Нейков, посланик Монтгомъри, еврокомисар Кристилина Георгиева, президент Гавилия, губернатор Алтман*; съществителни, назоваващи длъжности и постове в съдебната система, напр. *адвокат Ина Лулчева, съдия Петър Сантиров, нотариус Борислав Механджийски*; съществителни, назоваващи длъжности и постове в полицията и армията, напр. *комисар Живко Живков, полицай Фотев, следовател Петьо Петров, агент Богдан Богданов, командир Рап, комендант Йотов, интендант Смилов*; съществителни, назоваващи граждански професии и занятия, административни, църковни и обществени длъжности и постове от среден и нисък ранг, напр. *директор Симеонов, машинист Начев, специалист-филолог Весела Петрова, мениджър Алекс Фергюсън, координатор Ралица Вълчева, инструктор Костов, свещеник Димитър Митев*.

Днес квазититулуването е настъпателно проявяваща се тенденция в българския език. Тя се активизира особено в периода на т. нар. демократични промени (след 1990 г.). В сегашния си обхват и размер квазититулуването е имитация на чужд езиков модел (предимно англоезичен), проникващ чрез медиите и масовата култура. Свързва се с две категории причини. Първата е подражание-то, втората е директното заимстване на употреби и езикови модели.

В този контекст стои въпросът за бъдещето на квазититулуването. При наличните в страната социокултурни и езикови условия логичната прогноза е, че квазититулуването все повече ще се утвърждава и разширява.

Грамматическо условие на квазититулуването в българския език е съществителното квазититла да се употреби нечленувано пред съществителното собствено име. Българският език различава форми като *министърът на отбраната Аньо Ангелов* и *министър Аньо Ангелов*, в които само втората номинация съдържа квазититла (думата *министър* в първата номинация е основно обозначение на лицето). Тъкмо липсата на член е част от превръщането на определени препозитивни съществителни нарицателни имена в квазититли. По тази особеност българският език вероятно ще покаже различие с другите славянски езици, които не познават членуването като изразител на категорията определеност/неопределеност. За тях може да се предположи, че ще е налице омонимия на форми: едно и също съществително в едни употреби ще е основно обозначение на обекта, в други – приложение квазититла.

А. М. Сердюк (Бердянск)

Типология эмоций лексико-семантического поля «смях» (на материале романа Д. Димова «Осьдени души»)

В связи с ярко выраженным антропоцентризмом современного языкознания исследования эмотивности как одного из свойств языка приобретают особую актуальность. Стоит отметить, что каждый субъект, независимо от того, носителем какого языка он является, способен переживать одни и те же эмоции. С другой стороны, культурные различия, национальные традиции и, как следствие, интенсивность эмоций у различных народов тоже проявляется по-разному. Эти факторы являются основополагающими в формировании эмоциональной группы концептосферы языка. Поскольку изучение вербализации эмоций довольно часто проводится на материале художественных текстов, то индивидуально-авторская интерпретация эмотивов тоже является ключом к пониманию эмотивного кода языка.

Целью нашего исследования является установление смыслового объема лексико-семантического поля «смех» в болгарском языке и определение индивидуально-авторских способов вербализации эмоций, выражаемых смехом.

Согласно лексикографическим данным, смех в болгарском языке толкуется как «характерни звуци у човека като израз на радост, удоволствие и др., придружени от издишни движения и гримаса на лицето» (2: 819). Как следует из данного определения, компонентами лексемы «смях» являются: антропометричность, звук, положительные эмоции, гримаса, т. е. движения мышц лица.

Одним из проявлений этих движений на лице человека является улыбка «усмивка». Это слово толкуется следующим образом: «Гримаса на човек, при която се разтягат настраяни устните и се показват зъбите в израз на радост, доволство, рядко горчивина, сарказъм» (2: 923). Из этого следует, что значение данной лексемы состоит из следующих компонентов: антропометричность, гримаса (движения губ), положительные эмоции (радость, удовольствие), отрицательные эмоции (горечь, сарказм). Таким образом, мы видим, что значение лексемы «усмивка» является более широким, чем значение лексемы «смях», за счет наличия сем, выражающих отрицательные эмоции.

Анализ материала, выбранного из романа Д. Димова «Осьдени души», показывают значительное расширение спектра эмоций, выражаемых в ЛСП «смех».

Нами зафиксировано больше всего контекстов, в которых персонажи смежом выражают отрицательные эмоции.

На фоне исследованного материала доминирующей является группа контекстов, в которых выражается насмешка. Спектр этих эмоций довольно широк: от тонкой ироничной насмешки до жестокой и циничной. Вербализация этих эмоций усиливаются контекстуальным окружением «ирония», «иронична», «насмешливата», «остер», «жестока», «цинична»: (...)*но на Фани се стори, че в усмивка му прозираше малко снизходителна ирония* <...> [1: 135–136].

– Вежливо-ироничната усмивка продълдаваше да трепти върху лицето му и това я изпълни с отчаяние (1: 136). – <...> накура иронична усмивка върху лицето на монаха да изчезне (1: 136). – Насмешливата усмивка изчезна отново от очите на монаха (1: 137). – Платната му въпреки сполучливия колорит бяха опорочени от театралност в композицията и предизвикваха усмивка върху лицата на критиците (1: 72). – О!... Ти си червен! – каза тя с усмивка (1: 64). – От гърдите му се изтръгна остер смях (1: 172). – Откъде знаете, че аз не го правя пак в интереса на ордена? – попита той с неочаквана, жестока и цинична усмивка (1: 172).

Кроме того, персонажи романа, смеясь или улыбаясь, могут выражать и другие отрицательные эмоции, в частности, грусть, печаль. Эти чувства активизируются эпитетами, метафорами, сравнением: «скръбна», «тих», «меланхолична», «задушен», «трагични нотки», «нищо по-горчиво»: *А на Фани се стори че не бе чувала нищо по-горчиво от този смях* (1: 154). – *Колко суетни са нашите човешки усилия!... – добави той със скръбна усмивка* (1: 170). – *Мюрие и позволи да го целуни, после я отстрани леко с тих смях* (1: 154). – *Една малка частица от нея бе запазена Като по чудо в меланхоличната усмивка на очите му* (1: 124). – <...> и да му отпрати за сбогом отегнената и меланхолична усмивка <...> (1: 216). – *От гърдите на Оливарес се изтръгна също един особен, задушен смях, в който прозвучаха трагични нотки* (1: 239).

Беспокойство, раздражение, которое испытывают персонажи романа, выражается эмотивом «нервен», его производными «нервна», «нервният», а также прилагательными «нетърпим», «неуместната»: – *И аз също – кза Фани с нервна смях* (1: 62). – *Ставаш нетърпим! – каза тя с нервна усмивка* (1: 27). – *Нервният смях и неуместната ирония на дон Педро, този дребен благородник и демократ <...> [1: 291].*

Неприятие чего-либо, отвращение усиливается эпитетами «гръмливите», «нетърпимия»: *Наближаваше време за закуска и вилата скоро щеше да екне от гръмливите шеги на Джек и нетърпимия смях на Клара* (1: 72).

Крайнее неуважение, выражаемое улыбкой, усиливается эпитетами «презрителна», «полупрезрителна», «отчайващо насмешлива»: <...> *а след това върху лицето му появи презрителна усмивка <...>* (1: 117). – *Върху устните му се появи познатата полупрезрителна, отчайващо насмешлива усмивка* (1: 223).

Кроме того, смех героев романа может быть неискренним и выражать угодничество: *Това бяха бясъзнателни грешници, които не се рахкайваха, които сякаш искаха да измамат дори смъртта и тръгваха след нея с угодническа усмивка, но с таен ужас в очите си* (1: 73). – *Защо не? – попита той, като се помъчи да проникне за двусмислената усмивка върху лицето и* (1: 53).

Бесстрастность, безразличие в исследуемых контекстах актуализируется метафорическими эпитетами «хладен», «пуста»: *Презираш ме!... – произнесе Луис с хладен смях* (1: 36). – *Добре. Обещавам – каза тя с пуста усмивка* (1: 64).

Что касается положительных эмоций (удовольствие, радость, дружелюбие), выражаемых смехом, то такие случаи являются спорадическими в исследуемом произведении. Они актуализируются контекстуально: «добродушна», «весел», «доволна», «тих вътрешен» и др.: <...> съчувствие, което се зрази в добродушна та, изпълнена с весел упрек усмивка <...> (1: 57). – В тоя миг върху индианско, кипящо от енергия лице на Архимедес Морено се появи доволна усмивка (1: 300). – Фани легна отново с тих вътрешен смях (1: 179). – И найсетне тя се усмихна, при все че това бе усмивка на малко несигурно тържество (1: 150). – Романтичка! ... – произнесе той з усмивка (1: 62). – Той се поклонил легко, свободно и усмивката му показа два реда ослепително бели зъби <...> (1: 84). – Фани го извини с приятелска усмивка (1: 235).

Таким образом, проведенный анализ показывает, что эмоции являются важным фрагментом языковой болгарской картины мира. Лексико-семантическое поле «смях» в индивидуально-авторской картине мира Д. Димова является более широким, чем в национальной картине мира за счет наличия в нем микрополей отрицательных эмоций (насмешка, грусть, раздражение, презрение и т. п.), выражаемых смехом.

1. Димов Д. Осъдени души: [роман]. София: Български писател, 1977.

2. Съвременен тълковен речник на българския език / [Буров С., Бонджолова В., Илиева М., Пехливанова П.]; отговорен ред. Стоян Буров. Велико Търново, 1994.

Е. Е. Стефанский (Самара)

Эмоциональные концепты «*żal*»/«*žal*» в польской и чешской лингвокультуре

1. С. Б. Бернштейн связывает этимологию славянского **žal*- (от которого образованы такие имена эмоций, как русск. *жалость*, чешск. *žal* ‘скорбь, печаль, горе’ и польск. *żal* ‘печаль, скорбь’) не с идеей мучения, боли, как М. Фасмер (Фасмер II: 35), а с идеей горения. Опираясь на исследования Г. А. Ильинского, он отмечает такие лексемы, как др.-польск. *żal* ‘горение’, кашуб. *żaleć* ‘тлеть’, польск. *zgliszczę* ‘пепелище’, и приходит к выводу о том, что алломорфы **gōl*-: **gōl*-: **gel*-: **gъl*- восходят к одной морфеме со значением ‘гореть, пылать, тлеть’ (Бернштейн 1974: 12). Выводы ученого подтверждаются и данными А. Брюкнера, который, привлекая такие древнепольские слова, как *żale*, *żalniki* ‘кладбища’, *żałoby* ‘надгробные памятники’, а также соответствующие слова из лужицких языков, где на месте польского *l* встречается *r* (луж. *żarba*, *żaroba* = польск. *zalba*, *żałoba*), высказывает предположение о том, что *żal* – то же самое, что *żar*, а слово *żale* изначально означало ‘место для сжигания умерших’ (Brückner: 661).

2. Идея горения получила отражение и в других названиях славянских эмоций, передающих эмоциональное состояние печали (см. русск. *печаль* [< *печь*]

и *горе* [*< гореть*]). По мнению чешской исследовательницы Г. Карликовой, в именах эмоций, мотивированных глаголами жжения и горения, зафиксировались ритуальные практики, связанные с самоистязанием во время погребального обряда (Karlíková 1998: 52–53). Как отмечает И. П. Петлева, «обычай самоистязания в знак скорби (траура) по умершему в древности был распространен чрезвычайно широко» (Петлева 1992: 54). По-видимому, одним из первых эмоциональных значений корня *žal- (< *žar-) как раз и было состояние, испытываемое близкими в момент кремации умершего. Соответствующее значение чешск. *žal*, и польск. *żal* вербализуется в русском языке в таких лексемах, как *печаль*, *скорбь*, *траур*, *горе* (реже – *тоска*).

3. В современных языках между чешск. *žal*, и польск. *żal* наблюдаются серьезные различия. Эмоция *žal* (\approx *печаль*), по словам чешского психолога М. Врабцовой, «является внутренней реакцией на утрату близкого человека и обозначает то, что мы чувствуем внутри – в наших сердцах и мыслях, ощущаем в наших телах» (Vrabcová: www). Таким образом, в чешском языке эмоция *žal* обозначает **внутреннюю** печаль и противопоставляется эмоции *smutek*, передающей печаль **внешнюю**, отчасти даже демонстративную (соответствующая лексема обозначает также траурную одежду и процесс ритуального соблюдения траура).

В польской лингвокультуре соотношение между эмоциями *smutek* и *żal* прямо противоположно чешской: *smutek* передает **внутреннюю** печаль, оказываясь близкой по семантике к русской *тоске*, тогда как *żal* – **внешнюю**. Об этом свидетельствуют, например, официальная формула, извещающая о смерти, в польском языке: «Z głębokim **żalem** i smutkiem zawiadamiamy o śmierci N» – «С глубокой **скорбью** и печалью сообщаем о смерти N», а также семантика ряда польских лексем с тем же корнем: *żałoba* ‘траур’, ‘траурная одежда’, *żałobnik* ‘человек, носящий траур’, книжное *żałość* ‘скорбь, печаль’ (SJP III: 1084).

4. В современном польском и чешском языках исходное, прямое значение слова *žal/żal* несколько расширилось. Им может обозначаться и душевная боль вследствие испытанного разочарования. Однако это разочарование обычно связано с разлукой (осмысливаемой как временная смерть) или утратой какой-либо вещи. Чаще всего этому лексико-семантическому варианту лексемы *žal/żal* в русском языке соответствуют слова *печаль*, *горечь*, *горесть*, *огорчение*.

5. Польская лексема *żal* обладает и рядом других лексико-семантических вариантов. Она может соответствовать русск. *сожаление*, *раскаяние*, *жаль*, *обида*. В докладе подробно анализируются контекстные условия, в которых реализуются соответствующие ЛСВ.

Бернштейн 1974 – Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков: Чередования. Именные основы. М., 1974.

Петлева 1992 – Петлева И. П. Этимологические заметки по славянской лексике. XVII // Этимология 1988–1990: Сб. статей. М., 1992. С. 50–58.

- Фасмер – *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка: в 4 тт. М., 1987.
- Brückner 1974 – *Brückner A.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1974.
- Karliková 1998 – *Karliková H.* Typy a původ sémantických změn výrazů pro pojmenování citových stavů a jejich projevů ve slovanských jazycích // *Slavia*, 67, 1998 [1–2]. S. 49–56.
- SJP – *Słownik języka polskiego / Red. naukowy M.Szymczak.* W 3 tt. Warszawa, 1981.
- Vrabcová – *Vrabcová M.* Ztráta, zármutek a Huna [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.wai.estranky.cz/clanky/huna-s-marjankou/ztrata_-zarmutek-a-huna

Е. М. Сулова (Москва)

К вопросу о терминологии государственного устройства и управления в Конституции Княжества Болгарского 1879 года (Тырновской конституции)

Лексика – наиболее динамично развивающаяся система языка, отражающая перемены в общественном развитии. Резкие изменения в жизни общества вызывают существенные изменения в лексике. С изменением государственного устройства, организации общественной жизни страны происходит изменение той терминологии, с помощью которой они описываются.

Появление в результате русско-турецкой войны 1878–1879 гг. независимого Болгарского княжества, нового государства с новыми государственными институтами и законодательными актами, устанавливающими порядок функционирования данных институтов и общественной жизни в целом, неизбежно должно было сопровождаться появлением терминов для описания нового порядка.

16 апреля 1879 г. в городе Тырново была принята Конституция Княжества Болгарского. В тексте данного документа утвердилась основная часть терминов, относящихся к сфере государственного устройства и управления. Исследования, посвященные данному документу, касаются в основном истории его создания и применения. Язык документа анализируется лишь в небольшом количестве работ, при этом рассматриваются прежде всего вопросы, связанные с не касающимися собственно терминологии аспектами становления административно-делового стиля, орфографическими и грамматическими особенностями конституции, свидетельствующими о соответствии ее языка принципам Дриновской орфографической школы.

Именно терминология, связанная со сферой государственного устройства и управления, представленная в Тырновской конституции, является предметом нашего исследования.

Одной из основных лексико-семантических групп терминов, относящихся к сфере государственного устройства и управления, являются **глаголы, описывающие функционирование данной системы**, которая опирается на свод правил, закрепленных в конституции и других законах государства. Анализ терминов данной группы в Тырновской конституции позволяет разделить ее на несколько подгрупп в зависимости от значения: **глаголы отправления власт-**

ных функций (*управлявам*¹, *свиквам*, *распуцам*, *председателствувам*, *назначавам*, *встъпвам* и др.), **глаголы правового регулирования**, описывающие прежде всего процесс законотворчества и контроля за соблюдением законов (*испълнявам*, *нарушавам*, *отхвърлям*, *преглеждам* и др.), и **глаголы осуществления гражданских прав** (*приемам* [подданство], *избирам*, *гласоподавам* и др.)

Проблема происхождения является одной из центральных при исследовании данного пласта лексики. С одной стороны, в становлении как болгарской общественно-политической терминологии в целом, так и данного пласта лексики в частности, значительную роль играл русский язык, что было обусловлено в первую очередь участием российских государственных деятелей в подготовке первой болгарской конституции и других законодательных актов. Тот факт, что официальный текст конституции был составлен на русском и болгарском языках, представляет немалый интерес для исследователя и обеспечивает возможность сопоставления соответствующих русских и болгарских лексем. С другой стороны, уже существовавшие в болгарском языке слова (ранее заимствованные или исконные) на страницах Тырновской конституции закрепились в качестве терминов. Использование лексем, описывающих государственное устройство других стран, было характерно для болгарского языка еще в период до создания самостоятельного государства, начиная со второй четверти XIX века, и связано со становлением научно-популярной и учебной литературы, с появлением значительного количества учебников (сначала переводных) по географии и истории, описывающих государственное устройство других стран, а также с созданием словарей и разговорников и переводами законодательных документов, касающихся государственного устройства других стран, прежде всего Османской империи.

Вопросы устройства собственно болгарского государства были предметом обсуждения в различных сферах болгарского общества и вне его задолго до Освобождения. Во-первых, программы будущего устройства страны предлагали различные комитеты, общества, отдельные деятели. Во-вторых, на страницах периодической печати, которая до Освобождения являлась главной трибуной для болгарских общественных деятелей, термины, относящиеся к сфере государственного устройства и управления, активно употреблялись как при описании других государств, так и при обсуждении будущего устройства Болгарии. Участники дискуссий по большей части получили образование за пределами Болгарии (прежде всего в России), владели иностранными языками (прежде всего русским и французским) и, следовательно, были знакомы с соответствующей терминологией.

Анализ терминов рассматриваемой лексико-семантической группы с точки зрения их происхождения позволил сделать следующие выводы:

¹ Примеры даются в современной графике в части отсутствующих в современном болгарском алфавите букв, а также ъ и ь на конце слова.

1. По происхождению большая часть терминов данной группы относится к лексемам, ранее существовавшим в языке и закрепленным в тексте конституции в качестве терминов. Данные слова употреблялись в указанных выше «доконституционных» текстах, как то: учебниках (Ив. Богоев «Всеобща география за децата» 1843 г., «Всеобща история» 1867 г.), на страницах периодической печати (газеты «Свобода», «Нова България», журналы «Летоструй», «Български книжици»), в предлагаемых программах государственного устройства новообразованного Княжества («Програма на българските искания» 1876 г.).

2. Все термины, входящие в данную группу, так или иначе ощутили на себе влияние русского языка, которое могло выражаться в:

2.1. Терминологизации ранее существовавших в болгарском языке лексем книжного (*управлявам, приемам, встъпвам*) или народного происхождения (*распуцам*).

2.2. Непосредственном заимствовании лексем из русского языка при переводе текста конституции на болгарский (*уволнявам, нарушавам*).

2.3. Калькировании русских лексем с использованием корней народного происхождения (*преглеждам* – пересматривать).

2.4. Заимствовании словообразовательных моделей русского языка. Так, благодаря влиянию русского языка увеличилось количество существительных с суффиксом *-ство*, существовавших в народной речи, от которых в свою очередь были образованы соответствующие глаголы (*царствувам, председателствувам* и др.). Широко представлены в тексте отглагольные существительные на *-ние*, которые также можно включить в данную лексико-семантическую группу. Для языка конституции в основном характерно разграничение значений лексем книжного происхождения на *-ние*, которые обозначают результат (*изменение Конституцията, нарушение Конституцията*) или событие (*заседание*), и лексем народного происхождения на *-не* с процессуальным значением (*испълняване на законите, избирание нов Княз*). Сюда же можно отнести нехарактерную для народного языка модель образования сложных существительных с помощью соединительной гласной (*гласоподаване*).

Анализ глаголов, описывающих функционирование системы государственного устройства и управления, в Тырновской конституции 1879 г., таким образом, подтверждает общую направленность становления терминологического пласта в болгарском языке, для которой были свойственны две основные тенденции – заимствование из других языков (на данном этапе прежде всего из русского) и использование средств собственного языка, их терминологизация.

Марчин Трендович (Гданьск)

Лексемы *шпион* и *разведчик* в современном русском языке. Словарный анализ и проявленность в дискурсе

Наше сообщение вписывается в рамки лингвистических и лексикографических исследований, анализирующих словарное толкование лексем русского языка и его изменения – как в новейших словарях, так и в текстах прагматической нагруженности.

Базой для наших исследований послужило 18 толковых словарей литературного русского языка разных периодов (в т. ч. словари лексики разных эпох и словари неологизмов), а также словари разговорной речи, сленга, социально-групповых и профессиональных жаргонов. Источником текстов прагматической нагруженности послужил Национальный корпус русского языка.

Следует подчеркнуть, что широкий спектр словарей и текстов различных стилей и жанров, использованных для анализа, способствовал разносторонней и разнообразной характеристике изучаемых нами лексем и их значений.

В ходе словарного анализа лексемы «шпион» нами были выделены три основных значения данной единицы: во-первых, обозначение профессионального шпиона, во-вторых, устаревшее определение полицейского агента, в-третьих, разговорное обозначение любого человека, который следит за кем-нибудь. Кроме того, нами были выделены два значения, существующие в молодежном сленге и диалектном пространстве.

Словарный анализ толкований лексемы «разведчик» позволил выделить следующие основные значения данного слова в русском языке: во-первых, военнослужащий, состоящий в разведке, во-вторых, сотрудник разведки, в-третьих, специалист по разведке полезных ископаемых и, в-четвертых, самолет или корабль, предназначенный для разведки.

Расширению анализа способствовало использование современных текстов различных жанров, благодаря которым возможным стало выделение добавочных значений, свидетельствующих о расширении семантического поля лексем «шпион» и «разведчик» в современном русском языке.

Большое внимание в работе уделяется сравнительно-сопоставительной характеристике анализируемых словоформ, благодаря которой возможным стало выделение их оценочности (отрицательной у лексемы «шпион» и положительной – или хотя бы нейтральной – у лексемы «разведчик») и отношения говорящего к данным единицам. Кроме того, следует подчеркнуть, что обе лексемы в русской лингвокультуре сильно связаны между собой и во многих моментах выступают в качестве «антонимической» пары, выявляющей базовую культурную оппозицию *свой – чужой* (в данном случае: *свой разведчик – чужой шпион*).

М. В. Флягина (Ростов-на-Дону)

Семантические изменения географических апеллятивов в донских говорах

Своеобразие языкового ландшафта говоров во многом достигается благодаря наличию диалектных явлений узколокального распространения. В донских говорах, как и во многих других, сформировался значительный пласт локализмов, среди которых не последнее место занимают ландшафтные апеллятивы. Среди узкорегиональных географических наименований нами отмечены слова, которые отличаются широким распространением на территории донской диалектной зоны (*коловерть*), и названия, имеющие разрозненные, а также единичные фиксации (*шиши, хлябина, чепарь, чаканник, скородянка, грануха, бухта, чушка, шалдобины, переброд* и нек. др.).

Из числа узкоместных наименований особо выделяются апеллятивы, которые можно обозначить как семантические локализмы. К последним мы относим слова, отличающиеся местными специфическими значениями (за исключением значений, осложненных дополнительными семантическими признаками), ср. *вереть* 'водоворот', *банкрут* 'водоворот', *колоброд* 'водоворот', *бочка* 'пруть', *беляк* 'белый гребень волны', *водоток* 'луг в пойме реки', *горбина* 'крутой склон возвышенности', *опечек* 'речной обрыв', *паутина* 'омут' и нек. др. Семантические локализмы являются результатом эволюции значений лексем как в пределах одной терминологической системы (собственно географической), так и, особенно часто, разных.

Лингвогеографическое изучение географической терминологии в донских говорах позволило определить не только сам инвентарь апеллятивов, их происхождение и их ареальную дистрибуцию внутри донской диалектной зоны, но и соотношение лексем в семантическом плане. С этой целью произведено сопоставление семантических объемов лексем. По нашим наблюдениям, в донских говорах отмечается значительное развитие междиалектной синонимии (одной семеме соответствует множество лексем), однако – и это представляется особенно важным – лишь в масштабе всего континуума обследованных говоров (например, семема 'водоворот' выражается двадцатью шестью лексемами, семема 'отмель в реке' – пятнадцатью и т. д.). Полагаем, что фиксации на сравнительно небольшой территории множества терминов для обозначения одного и того же элемента ландшафта является результатом многочисленных, последовательно совершавшихся сдвигов в семантике отдельных слов. Среди семантических переходов (сдвигов) внутри семантического поля географической лексики, отмеченных нами для донских географических апеллятивов, наиболее часто наблюдаются изменения по смежности (ср. *отрог* 'овраг с родниками' → *отрог* 'родник в овраге', *лука* 'излучина' → *лука* 'берег (низина) у излучины', *быстрянка* 'место с быстрым течением' → *быстрянка* 'быстрая ре-

ка' и под.), а также по линии 'большой' ↔ 'маленький' (ср. *багно* 'болотистое место' → *багно* 'грязь', *падина* 'низина' → *падина* 'дорожная впадина' и под.).

Помимо традиционных семантических сдвигов, отмеченных другими исследователями для географической терминологии, нами было обнаружено несколько семантических переходов, не отмеченных ранее в других говорах. Одни переходы демонстрируют дальнейшее продолжение звеньев известной семантической цепи (ср. развитие значения 'грязь на скотном дворе' у лексемы *багно*), другие реализуют оригинальные механизмы развития новых значений (ср. переход 'болото' → 'озеро' у лексемы *болото*).

На пересечении разных терминологических систем в донских говорах находятся лексемы, получившие географическое значение в результате метафорического переноса из разных понятийных сфер: названий строительных сооружений (*опечек*, *надолба*, *шиши*), названий частей тела (*горбина*), названий посуды, хозяйственной утвари и технических изделий (*баклуга*, *бочка*, *крючочек*, *чепарь* и нек. др.), ботанических (*сена*) и зоонимических (*барашки*, *копытце*, *паутина*) названий. Исследование указанных наименований показало: для того чтобы стал возможен подобный перенос названия, достаточно из суммы признаков, характеризующих данный предмет, увидеть лишь один, вследствие чего и возникает ассоциация.

И. А. Шелкова (Москва)

Омогруппа *дель* в русских диалектах

В современных русских диалектах широко представлены лексемы с фонетико-графическим обликом *дель*. Их значения можно разделить на следующие группы.

1) Значения, связанные с рыболовными сетями: «пеньковая, льняная, капроновая и т. п. пряжа (нить) различной толщины для рыболовных сетей» (9: 345), «связанная из таких нитей сеть для различных рыболовных снарядов» (9: 345). Такие значения функционируют во многих говорах.

2) Значения типа «часть, доля; дележ промысловой добычи» (якут., перм., арханг.) (9: 345), «участок земли, приходящийся на одну душу или группу лиц» (9: 345). Есть ряд промежуточных значений, которые могут быть отнесены как к данной группе, так и к предыдущей «часть рыболовной сети» (4: 232; 7: 121), «кусочек сетевого материала» (8: 134), «часть сетки, приходящаяся на долю каждого пайщика в шивном неводе» (3: 41), «сетевой край, конец, связанный из пряжи, которая ссучена из нескольких нитей» (9: 345).

3) Значения «бревенчатая стена» (9: 346), «бревна, приготовленные для укладки стен жилых или хозяйственных построек» (7: 121) – в новосибирских говорах.

4) Значение «дело» (калуж., смол.) (9: 346), «работа, ремесло» (1: 16).

5) Значения «борть», «большое четырехугольное отверстие в улье, закрываемое доской – должей» (9: 346) – встречаются только в нижегородских говорах (те же значения даны в словаре В. И. Даля [2: 511]).

6) Значение «макушка головы» – в вологодском наречии (6: 104).

Для объяснения такого многообразия диалектных омонимов и лексико-семантических вариантов следует обратиться к истории языка.

«Словарь русского языка XI–XVII вв.» фиксирует два омонима: *дель*¹ – 1) «часть, доля»; 2) «часть невода» (примерные хронологические рамки бытования в письменности, по данным словаря, – 1391–1676 гг.) и *дель*² «устройство в виде углубления в бортном дереве для пчел» (1585–1702 гг.) (10: 209). Первое из этих слов явно восходит к глаголу *делити* (то есть словообразовательное значение лексемы *дель*¹ – «то, что получается в результате деления, дележа»). Второе же М. Фасмер считает родственным литовскому *dėjele* «дерево, выдолбленное для пчел или предназначенное для выдалбливания» (12: 497). В «Словаре древнерусского языка XI–XIV вв.» приводится третий, еще более древний омоним: *дель*, *-и* – то же, что *детель*¹₅ «энергия, сила» (XII в.) (5: 161). Как отсылочное толкование, так и значение слова позволяют считать его производным от *делати* (словообразовательное значение: *дель* – «то, что дает возможность делать»). Еще одна лексема *дель* была обнаружена в книге Г. В. Судакова «Живое русское слово» при перечислении названий рукавиц: «На реке Онеге и по Двине употреблялось также слово *дельницы* – от *дель* “нитька для вязания”» (11: 40). Можно предположить следующее словообразовательное значение этого слова: *дель* – «то, из чего делают».

Очевидно, что значения второй из выделенных нами групп восходят к *дель*², четвертой – к *делать*, а пятой – к древнерусскому *дель*², одного происхождения с литовским *dėjele*. Что же касается значений первой и третьей групп, то их, вероятно, правомерно также возвести к *делать*: как нить для рыболовных сетей и сами сети, так и бревна – материал, из которого нечто (сеть, рыболовные снасти, стены) делается. Впрочем, значения, связанные с бревнами, могут восходить и к *dėjele*.

Несколько сложнее обстоит дело с промежуточными значениями типа «часть сети». Возможны два варианта их возникновения: 1) метонимический перенос от *дель* «сеть», а точнее – синекдоха по принципу «целое → часть»; 2) суффиксальные производные от глагола *делити* / *делити*.

1. Архангельский областной словарь. Вып. 11 (Деловатой–Дороботатися) / Под ред. О. Г. Гецовоной. М.: Наука, 2001.
2. Даль В. И. Словарь живого великорусского языка. Т. 1 (А–З). М.: Русский язык, 1978.
3. Кошкарева А. М. Материалы для областного словаря (Специальная лексика северных районов Тюменской области). Нижневартовск: Изд-во Нижневартовского гуманитарного ун-та, 1995.
4. Словарь говоров деревни Акчим Красновишерского района Пермской области. / Гл. ред. Ф. Л. Скитова. Вып. 1. Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 1984.

5. Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. Т. II (взлукати–добродѣтельникъ). М.: Русский язык, 1989.
6. Словарь областного вологодского наречия. По рукописи В. А. Дилакторского, 1902 г. / Институт лингвистических исследований РАН. Изд. подгот. А. Н. Левичкин, С. А. Мызников. СПб.: Наука, 2006.
7. Словарь русских говоров Новосибирской области. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1979.
8. Словарь русских говоров Среднего Урала. Т. 1. Свердловск: Средне-Уральское Книжное Издательство, 1964.
9. Словарь русских народных говоров. Выпуск 7 (Гона–Депеть). Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1972.
10. Словарь русского языка XI–XVII вв. Выпуск 4 (Г–Д). / Институт русского языка им. В. В. Виноградова. М.: Наука, 1977.
11. *Судаков Г. В.* Живое русское слово. Книга для внеклассного чтения по русскому языку. Вологда: Вологодский институт развития образования, 2002.
12. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. 1 (А–Д). М.: Астрель: АСТ, 2007.

Е. И. Якушкина (Москва)

«Человечность» и «мужество» в современной сербской аксиологии

С середины 19 века в текстах о Черногории встречается устойчивая формула *чојство и јунаштво*. Эта формула выражает совокупность важнейших нравственных черт, которыми должен обладать человек. Она включает имена с собирательным суффиксом *-ство* от сербских слов *човек* ‘человек’ и *јунак* ‘герой’, которые в Черногории выражают высшую этическую оценку. Условно на русский язык она может быть переведена как ‘человечность и мужество (героизм)’.

Чојство – фонетико-словообразовательный вариант лексемы, представленной в разных диалектах сербского языка и являющейся адаптацией церковнославянской лексемы *чловѣчство* ‘человеческая (нравственная) природа’, которая в текстах сербских и хорватских авторов встречается с 13-го в., чаще всего в формах *чов(ј)ечанство* и *чов(ј)ештво*.

Своеобразие семантического наполнения слов *чојство/чов(ј)ештво* у сербов и черногорцев связано с особенностями их представления о настоящем человеке, которым прежде всего является мужчина. В русской языковой картине мира сущностью человека является сострадание, доброта (*человечный, человечность*), внимательность, отзывчивость к другим людям (*человеческое отношение*). В сербских и черногорских дериватах слова *човек* отражена не только идея гуманности, но достоинства и благородства. «*Чојство* (человечность) включает в себе понятие о человечности или гуманности с придачею еще и других качеств: ума, характера, честности и великодушия» (*Ровинский П. А.* Черногория в ее прошлом и настоящем. Т. 2. Ч. 1. СПб., 1897. С. 372). В Черногории слово *чојство* приобрело особый статус, став названием важного куль-

турного концепта, национального идеала. В Сербии это слово, как и выражение *чојство* и *јунаштво*, употребляется только применительно к черногорцам. Соответствующее черногорскому слову *чојство* сербское слово *човештво* и обозначаемое им понятие особого культурного статуса в Сербии не приобрело.

Слово *јунаштво* по семантической мотивации близко к слову *чојство*: оно производно от слова *јунак* ‘сильный, смелый, мужественный человек, герой’, в древнесербском языке обозначающего молодого мужчину. В отличие от сербского *херој* и русск. *герой*, лексема *јунак* описывает свойства личности – мужество, великодушие. Как и слово *човек*, лексема *јунак* выражает высокую нравственную оценку человеческой личности, которой присуще *човештво*. Сербы считают *јунаштво* своей национальной чертой и устойчиво называют его «сербским»: *српско јунаштво*. В восприятии черногорцев *јунаштво* – главная черногорская черта, в новом государственном гимне она упоминается как основной атрибут Черногории: *Oj junaštva svjetla zoro, majko naša Crna Goro!* ‘Эй, мужества светлая заря, мать наша, Черногория!’.

Концепты *чојство* и *јунаштво* поэтизированы черногорским народным писателем, выходцем из племени Кучи, воеводой Марко Миляновым в сборнике рассказов *Примјери чојства и јунаштва* (1900). Основное их содержание, по Милянову, заключается в самопожертвовании. *Чојство* и *јунаштво* тесно сближаются, так что границу между примерами первого и второго провести невозможно – это великодушные поступки, в которых проявляются одновременно оба свойства, чаще всего это прощение обидчика и отказ от мести.

Единый концепт *чојство* и *јунаштво*, скорее всего, имеет позднее происхождение, в старейших сборниках песенного фольклора соответствующая формула отсутствует. По всей видимости, своим широким распространением идея о «человечности» и «мужестве» как основе традиционной черногорской этики обязана М. Милянову.

В современной Черногории эта идея необычайно популярна. Ее тиражируют исследования по черногорской этнопсихологии, используют политические деятели в патриотических заявлениях. С точки зрения современных черногорцев и сербов *чојство* и *јунаштво* – принципы черногорской этики прошлого, ныне утрачиваемые.

Для сербской наивной этики характерно представление о высоком достоинстве человека и его моральном призвании. Нормальной является вера не только в собственное достоинство, но и в достоинство других людей – человека вообще, который а priori – существо нравственное и заслуживает уважения. Высокая самооценка человека с точки зрения сербского языка носит здоровый характер, она не ущемляет окружающих, но возвышает самого человека. Низкая самооценка, в отличие от идеи достоинства, менее органична для сербского традиционного языка и даже имеет отрицательные коннотации (*покоран* ‘покорный, т. е. раб’).

Н. П. Антропов (Минск)

**Белорусский этимологический словарь
в контексте современной славянской этимологии**

Накопленный к настоящему времени опыт подготовки «Этымалагічнага слоўніка беларускай мовы» (ЭСБМ, тт. 1–13; Минск, 1978–2010) и уже весьма значительный объем лексического материала, в нем отраженный (около 30 тысяч словарных статей от *А* до *Трапкач*;) позволяет приступить к предметному сопоставлению отдельных параметров реализованной (и реализующейся) в нем исследовательской практики с соответствующими методологическими подходами в других этимологических словарях (ЭС) славянских языков. При этом важно иметь в виду, что за три с лишним десятилетия работы над ЭСБМ и методология, и собственно практическая работа, и видение актуальных этимологических проблем как отдельными авторами, так и редакторами постоянно эволюционировали – так что во всех смыслах словари, подобные белорусскому, являются своеобразными памятниками научной мысли в области славянской этимологии. Безусловно, подобное сопоставление может осуществляться по самым разным основаниям – таким, как, например, представленность этимологизируемой лексики, включающая отбор и объем словарного материала, глубина реконструкции (ближняя/дальняя), ареальные критерии, комплексный учет которых позволяет, кроме решения собственно этимологических задач, предметно рассуждать о диалектном членении праславянского и др.

Есть основания считать, что к проблематике такого же рода относятся как-то бы достаточно частные вопросы обычной этимологической практики, а среди них – учет в этимологическом словаре префиксальных (префиксально-суффиксальных) дериватов при обычной тенденции, опирающейся на традицию «корневой» этимологии, если не игнорирования их вообще (в силу Естественной семантической прозрачности, хотя иногда только на первый взгляд), то введения их в качестве заглавных слов в редких, порой единичных случаях. Между тем, опыт работы с такой лексикой, представленной в 9–13 тт. ЭСБМ, показывает, что этимологизация значительного массива префиксальных производных на *пера-*, *пры-*, *рас-/раз-*, *су-* оказывается актуальной не только в плане существенного расширения семантических пластов белорусской лексики, обусловленных префиксацией, но и в аспектах сравнительном (с оценкой привлеченного славянского материала) и собственно этимологическом.

Представляется, что весьма показательной иллюстрацией к этому может служить этимологическая судьба дериватов на *су-* (< *sǫ-) в многотомных славянских этимологических словарях, завершенных или тех, которые «перешли»

букву С. Любопытны, прежде всего, данные о количестве наименований с начальным су-. В русских ЭС на фоне единичных фиксаций в словарях Преображенского (только *судорога*) и Черныха (3) неожиданно много (53 лексемы в качестве заглавных слов) содержит словарь Фасмера; 34 наименования с су-этимологизируются в 5 т. академического украинского словаря; в ЭС лужицких языков Шустера-Шевца су-дериватов обнаруживается 10, в сербскохорватском Скока – 3, в словенском Безлая – 12. Белорусский этимологический словарь представляет в 13 т. принципиально большее количество таких наименований – именно 124 (среди которых 18 возможных или обсуждаемых в порядке выдвижения версий).

В докладе предполагается подробно рассмотреть семантику впервые этимологизуемых белорусских префиксальных дериватов с начальным су- в связи с широким кругом сопутствующих проблем: семантикой славянских параллельных образований, их географией, возможным расширением праславянского диалектного лексического фонда, методологией этимологического исследования и т. п.

Марта Бјелетић (Београд)

Допринос проучавању родбинске терминологије у српском језику (чукундед)

Термини за означавање мушког претка у четвртном колелу образују се низањем префикса (*прапрадед*), али су у српском и хрватском језику далеко распрострањенији називи са елементом *чукун-/шукун-*, чије се порекло различито тумачи.

Штрекелј указује на ром. *secundo-* као на исходиште с.-х. *шукун-* (Štrekelj 1890: 457), што прихвата Трубачев (1959: 70). Скок само преноси Штрекелево мишљење напомињући да романских паралела нема (Skok 3: 192), уп. ипак срлат. *secundus heres* «унук» или вен. *secondo zerman* «другобратучед» (в. Verneker 163).

Тезу о турском пореклу заступа Шкаљић, изводећи *чукун-* од тур. *kökün* «темель, основа, корен» (Škaljić 1979: 592), слично и Стаховски, који наводи и срсм. колокви. облик речи *kükün* «породица; место рођења» (Стаховский 1967: 209). Прелаз *ç- < k-* јавља се у турским говорима, уп. *çüçük < küçük* «мали».

Облици на *ш-* забележени су од 17. века, а они на *ч-* од почетка 19. века. Њихови различити ареали (*шукун-*: Црна Гора, Приморје са острвима, Босна, Херцеговина, Хрватска; *чукун-*: Војводина, Барања, централна и југоисточна Србија, централна Црна Гора) можда указују на то да су у питању две етимолшки различите основе које су се приближиле на фонетском плану.

Реч је потврђена и у мак. *чукундедо*, дијал. (*ч*)*укундедо*, буг. дијал. *ч'укундјодо*, *чукун' деду*, *чуг деду*, тако да можемо говорити о јужнословенској речи неизвесног порекла, која је наизглед сложеница са слов. *dědъ* у другом делу, док први део остаје нејасан (ОС 83–84).

Ново светло на старину, а тиме и на могуће другачије порекло разматраног термина бацају стрп. топоним *ou коун'дѣгъ*, *wt коун'дѣга* («Светостефанска хрисуваља») из 1316. године, који Пешикан (1981: 26–27) чита као *Кундећ* и изводи га из лат. *candidus* «бео, сјајан» и антропоним *кѣн'дѣдъ* као име влаха на дечанском поседу, за који Грковић (1986: 111) претпоставља исто порекло. Ако би и било тако, *ѣ* за ром. *i* у другом слогу тешко се може објаснити дручије него наслањањем на слов. *dědъ*. Лома у свом прилогу уз фототипско издање Светостефанске хрисуваље (у припреми) сматра да је изворни облик топонима био *Кундѣћ*, *-а* и види у њему придев на *-ѣ* од термина сродства **кундѣд*, у вези са *џукундед*. Ако је у питању романизам, могло би се помишљати да је и у романском постојао термин сродства којим се даљи предак означавао као «бео», уп. у српском *бели орао* «најдаљи предак» (Бјелетић 2001: 112–113). У прилог тој могућности говори прилагођавање позајмљенице словенском *dědъ*.

Ако је пак реч у целини словенска, намеће се поређење са каш. *kužād* «злодух; ђаво» поред *žād* «ид.» (< **dēdъ*), где се назив за деду пренео на кућног духа (као одраз култа предака) и секундарно на ђавола (када се тај култ почео сматрати реликтом паганства). Елемент *ku-* тумачи се као ие. пејоративни префикс, присутан у синонимним каш. облицима *kudjābel*, *kusrāt* (SEK 3: 110).

Најзад, имајући у виду буг. синтагме *от кучун дядо*, *от кочун дядо*, *от кукуњ дядо* «одавно, од памтивека», у обзир треба узети и фразеологизме типа с.-х. *од кукувјека*, *од кукувијека* «ид.», *на куково лето*, *на куковдан* «никад» и сл. Лексеме из ове групе имају значења: «искривљен, повијен», «дрвена палица, штап, штака повијеног облика», «избочина, брежуљак» и сл., од којих прво упућује на особине хтонског божанства (искривљен, хром), док позната фалусна симболика «палице, штапа», односно «брда, виса» указује да је можда реч о божанству плодности (в. Мршевић-Радовић 2008: 72–73), уп. довођење буг. *кочун* у везу са *кочан* «кочањ», али у преносном значењу «membrum virile», уз упућивање на израз *от дядовия ми* '*membrum virile*' «одавно» (БЕР 2: 690).

БЕР – Български етимологичен речник. София, 1971–.

Бјелетић 2001 – М. Бјелетић. Беле пчеле, Кодови словенских култура 6. Боје. Београд, 2001. С. 106–118.

Грковић 1986 – М. Грковић. Речник имена Бањског, Дечанског и Призренског властелинства у XIV веку. Београд, 1986

Мршевић-Радовић 2008 – Д. Мршевић-Радовић. Фразеологија и национална култура. Београд, 2008.

ОС – Огледна свеска. Етимолошки одсек Института за српски језик САНУ. Београд, 1998 (Библиотека ЈФ н.с. 15).

Пешикан 1981 – М. Пешикан. Историјска топонимија Подримља II // Ономастолошки прилози 2. Београд, 1981. С. 17–92.

Стаховский 1967 – С. Стаховский. Турцизмы в словаре Я. Микали // Этимология 1965, М., 1967. С. 196–210.

Трубачев 1959 – О. Н. Трубачев. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959.

Berneker – E. Berneker. Slavisches etymologisches Wörterbuch. A – мoгь. Heidelberg, 1908–1913.

SEK – *W. Boryś, H. Popowska-Taborska*. Słownik etymologiczny kaszubszczyzny. I–V. Warszawa, 1994–2006.

Skok – *P. Skok*. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. I–IV. Zagreb, 1971–1974. Škaljić 1979 – *A. Škaljić*. Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Sarajevo, 1979⁷.

Štrekelj 1890 – *K. Štrekelj*. Beiträge zur slavischen Fremdwörterkunde I // Archiv für slavische Philologie XII. Berlin, 1890. S. 451–474.

Н. А. Бойко (Киев)

Дегидронимные ойконимы в славянском языковом пространстве

Ономастическое пространство, т. е. мир окружающих человека собственных имен, представляет собой непрерывный ряд незаметно сменяющихся типов. Имена смежных ономастических полей (которые могут быть выделены внутри ономастического пространства) настолько тесно друг с другом связаны и зависят друг от друга, что взятые отдельно, оказываются непонятными, немотивированными. Имена, входящие в каждое поле, представляют собой систему, каждый член которой связан с другим следующими параметрами: территория, время, разновидность объекта и т. п. Онимы, составляющие каждое поле, системны; системы смежных территорий и эпох плавно переходят одна в другую.

Дегидронимные ойконимы, т. е. названия населенных пунктов, образованные от наименований водных объектов (гидронимов), имеют свою специфику. Эта специфика заключается в системном характере двух топонимических классов, в основе которого лежит различие, существующее между географическими объектами: природными объектами, с одной стороны, и объектами, созданными человеком, с другой. Эти два класса отличаются также принципами номинации, происхождением и структурно-грамматическими моделями.

Ойконимы, производные от названий водных объектов, представлены во всех славянских языках. Процесс возникновения дегидронимных ойконимов можно представить в виде схемы:

реалия → гидрообъект → населенный пункт.

Условно дегидронимные наименования населенных пунктов можно разделить на две группы: 1) ойконимы, производные от гидрографических терминов (*река, озеро, ручей, ключ, родник, устье, лука, плесо* и др.); 2) ойконимы, образованные от гидронимов (г. *Нитра* ← р. *Нитра*, г. *Витебск* ← р. *Витьба*, н. п. *Залуква* ← р. *Луква*, н. п. *Рокупско* ← р. *Кура* и др.). Такое выделение двух групп в пределах данной подсистемы онимической системы обусловлено разными средствами объективации номинационного признака. Если объектом, относительно которого осуществлялась номинация, выступала река, то обычно используется ее название, причем преобладают процессы деривации. Одним из технических способов номинации дегидронимных ойконимов является словосложение, довольно распространенное в некоторых языках.

Особенности мотивации данного типа онимов обусловлены тенденцией топонимической номинации, которая свойственна преимущественно народам индо-

европейской языковой семьи. Сущность данной тенденции заключается в том, что топонимия народов с древней оседлой культурой ориентирована на рельеф и на ландшафт и на хозяйственное использование. Однако специфика самого географического восприятия с течением времени меняется.

Набор семантических полей, вовлекаемых в онимические ряды, обусловлен набором самих реалий, которые получают имена собственных.

Учитывая специфическое ономастическое, следует заметить, что разные разряды онимов различаются степенью раскрываемости их первоначального смысла. Степень семантической прозрачности онимов одного и того же разряда в разных языках варьирует.

Интерес представляет семантика онимических основ данного типа, поскольку дает материал о типах слов, послуживших основами для имен, а также позволяет реконструировать архаические апеллативы, сохранившиеся в составе имен собственных.

Исследованием словообразовательной структуры праславянского слова занимался выдающийся ученый XX века С. Б. Бернштейн. Он подчеркивал важность выбора этимологии для изучения древнейших фонетических чередований в славянских языках, праславянского словообразования.

Ономастика недостаточно владеет хронологией явлений, однако достаточно четко определяет языковую принадлежность фактов, имен собственных, которые отличаются особенной стабильностью.

Префиксальные дегидронимные ойконимы, образованные по схеме *за-* + гидроним = ойконим (х. *Заслuch*); *по-* + гидроним = ойконим (с. *Посвирж*), относятся к древнейшим типам слов, которые обозначают место.

На территории Украинских Карпат и Украинского Прикарпатья представлены также дегидронимные ойконимы с префиксом *под-* (укр. *nid-*) (н. п. *Підріка*).

Дегидронимные ойконимы с префиксами *за-*, *под-* (*nid-*) – характерная черта названий поселений на территории Украинских Карпат и Украинского Прикарпатья.

Анализ ономастических данных – дегидронимных ойконимов позволяет постановку вопроса о дополнительной информации этнографического характера в географическом наименовании.

Ж. Ж. Варбот (Москва)

Функциональные преобразования аффиксов в истории языка

В практике этимологических исследований нередко сомнения относительно возможности реконструкции определенных аффиксальных структур, основывающиеся на представлении об известных исконных функциях соответствующих аффиксов (суффиксов, префиксов), с которыми как будто не согласуются их функции в реконструируемых структурах (см. слав. **kormyslъ*).

Следует считаться с преобразованиями функций аффиксов в истории языка, которые обуславливаются различными факторами. Выделяются следующие направления функциональных изменений аффиксов:

1. развитие значения производного слова (с аффиксом в его первичной функции) определяет отождествление функции аффикса с новой семантикой производного и соответствующее употребление аффикса в новых производных (ср. рус. *ходьба* – *городьба* – диал. *голытьба*);

2. продуктивность образований с определенным аффиксом способствует развитию у него функции «усилителя» семантики, которая первично формировалась с его помощью, так что аффикс получает способность присоединяться к производящим основам, лексическое значение которых изначально соответствовало семантике образуемых с его участием производных (ср. рус. *помело* — диал. *ступило* ‘ступа’; *безгадь* ‘мелкие мошки, комары’; *неуноровный* ‘норовистый’);

3. продуктивность образований с определенным аффиксом способствует расширению его функции за счет «поглощения» частеречной семантики производящей основы, так что аффикс приобретает способность к расширению категории производящих основ (см. ст.-слвц. *ušadlo* ‘приспособление для чистки ушей’).

Появление аффикса с известными функциями в образованиях, семантика которых не соответствует этим функциям, может быть следствием морфологического преобразования – уподобления исторически закономерного аффикса сходному по структуре и более продуктивному (ср. чеш. *nepohodlny* ‘непригодный’).

Подобные преобразования возможны на различных хронологических уровнях в истории языка.

С. О. Вербич (Київ)

Прикарпатський топонімікон крізь призму іллірійської проблематики

З часу виходу у світ праці О. М. Трубачова «Названия рек Правобережной Украины. Словообразование. Этимология. Этническая интерпретация» (М., 1968) у слов'янському (східнослов'янському) мовознавстві міцно утвердилася думка про безсумнівний іллірійський субстрат у топоніміконі Прикарпаття, зокрема в басейні Верхнього Дністра. Основним аргументом на підтвердження такої гіпотези було те, що низка українських гідронімів, за словами О. М. Трубачова, має точні відповідники серед достовірних іллірійських назв. Авторитетні українські мовознавці, зокрема Ю. О. Карпенко, теж констатували наявність іллірійського елементу в топоніміконі Українських Карпат. Однак деякі дослідники, причому в різні періоди, висловлювали протилежні думки щодо так званих іллірійських реліктів за межами Балканського півострова. Так, знаний болгарський ономаст і етимолог В. Георгієв стверджував, що гіпотеза про іллірійську присутність у регіонах на північ аж до Балтійського моря хибна. На думку білоруської до-

слідниці Р. М. Козлової, чимало етимологічних висновків щодо карпатської оронімії, гідронімії, мікротопонімії, які прийняті лінгвістами як безсумнівні, зроблено без достатнього врахування власне слов'янського матеріалу. І справді, як тут не згадати думку російського лінгвіста В. К. Журавльова про те, що менш надійна та етимологія певного слова, яка віддає перевагу його запозиченню, не вичерпавши всіх ресурсів внутрішнього пояснення. У наведеному контексті постає чимало питань: хто такі іллірійці і чи були вони на теренах України, зокрема Українських Карпат, якщо так, то чи тривалим був їхній вплив на цей регіон тощо. Відповіді на них можна лише за умови детального студювання історії порушеної проблеми. Зауважимо, що ґрунтовне вивчення іллірійських мовних архаїзмів розпочато у 20-х рр. ХХ ст. Особливо ж інтерес науковців до іллірійської проблематики загострився після публікацій австрійського лінгвіста Г. Крає 1925–1957 рр., унаслідок чого склалося враження значного поширення в давні часи іллірійців від Балтики до Адріатичного моря й від Піренейського півострова до України. Ця теорія, відома як «панілліризм», з часом зазнала справедливої критики.

Отже, хто такі іллірійці. Це індоєвропейський етнос, представники якого в минулому мешкали на території сучасної Албанії і колишньої Південної Югославії, тобто на заході Балканського півострова. Саме тому їх називають західнобалканськими племенами, на відміну від фракійців – східнобалканських. Сліди іллірійців відзначені також у Паннонії, Мізії, Дарданії. Однак детальніші історичні студії дають підстави для висновків про початково значно ширший ареал цієї групи індоєвропейських племен. Інакше кажучи, Західні Балкани – це не первісна прабатьківщина іллірійців. Свого часу О. М. Трубаčov слушно зауважував, що не варто надто буквально дотримуватися меж Іллірії поблизу Адріатики, пам'ятаючи факт давнього перебування їхнього північного відгалуження на південь від Балтійського моря і на захід від низовин Вісли. Отже, виявляється, була й північна прабатьківщина іллірійського етносу, яку поміщають між балтами на сході й венетами на заході та півночі, тобто іллірійці займали широкий ареал на північ, мешкаючи в Моравії, Західній Польщі, Східній Німеччині аж до Балтійського моря. Проживаючи на вказаних теренах, іллірійці не могли не контактувати з праслов'янами, які в ті часи вже заявили про себе в окреслених регіонах. На думку польського дослідника Т. Мілевського, праслов'яни межували з іллірійцями над Верхнім Одером. Межірччя Вісли й Одера до кінця старої ери заселяли венето-іллірійські племена, а слов'яни прийшли на цю територію на початку нашої ери. Така позиція суперечить припущенню О. М. Трубачова, який вважав, що не слов'яни прийшли на іллірійські терени, а іллірійці пройшли через слов'янські землі, рухаючись на початку II тис. до н. е. на південь. Інші дослідники схиляються до пізнішої хронологізації іллірійців на північ від Карпат. Так, Д. А. Мачинський відзначає, що невеликі групи кельтсько-іллірійського населення в останні століття старої ери заселяли окремі райони Верхньої Наддністрянщини, і до початку нашої ери вони розчинилися в середовищі численнішого іншомовного (слов'янського. – С. В.) насе-

лення. Схожу думку висловлює й український археолог Л. Залізник, який каже, що іллірійці мешкали в Карпатській улоговині із VII ст. до н. е. Отже, дослідники не однакові щодо визначення часу перебування іллірійців на територіях України і прилеглих західнослов'янських землях, але більшість із них допускає контакти іллірійців і праслов'ян у цьому регіоні ближче до рубежу н. е. Відповідно факт взаємин іллірійців і давніх слов'ян саме в Центральній і Північній Європі, зокрема і в Карпатському регіоні, не підлягає сумніву.

На жаль, інформація про іллірійські мовні залишки відбита лише в онімній лексиці, що значною мірою ускладнює аналіз конкретного факту й спонукає дослідника до досить обережних (принаймні не категоричних) висновків. Про це свідчать спростовані на сьогодні «іллірійські» етимології правобережноукраїнських гідронімів *Зон (Жон), Жван, Черхава* та ін. Однак на Прикарпатті засвідчені назви гідрооб'єктів, основи яких справді мають паралелі в іллірійському, а також балтійському оніміконі (загальновідомий факт іллірійсько-балтійських топонімних паралелей). Відповідно постає важлива проблема детального дослідження таких збігів, на підставі чого можна буде робити висновки про так званий іллірійський мовний вплив або ж про паралельний мовний розвиток. У процесі таких студій треба керуватися критерієм, відповідно до якого на неслов'янське походження гідроніма може вказувати відсутність відповідників на місцевому (як онімному, так і апелятивному) ґрунті й наявність очевидних (ціліснолексемних, а не лише кореневих) паралелей на неслов'янських землях.

Јасна Влајић-Поповић (Београд)

Грецизми у српским народним говорима

Овај рад представља пилот верзију једне шире студије о грецизмима у српским народним говорима која ће се бавити њиховом дистрибуцијом, периодизацијом и адаптацијом. Грађа ексцерпирана из тренутно постојећих дијалекатских речника биће анализирана диференцијално у односу на корпус три класична извора на ту тему: Vasmer 1944, Поповић 1953, 1955, Skok.

У овој фази циљ је био да се утврди има ли уопште смисла, након резултата до којих су дошла три горепоменућа аутора, даље проучавати грецизме у српском језику. Избор за пробну анализу пао је на *Речник српских говора Војводине* (РСГВ) због његовог обима, репрезентативности и актуелности: као највећи појединачни речник (10 свезака са преко 2.000 страница), покрио је највећи појединачни терен (при том максимално удаљен од линије додира са грчким језиком и ван граница балканског језичког савеза), а при том је међу најновијима (публикован од 2001. до 2010., мада осим грађе са терена садржи и низ збирки речи објављиваних крајем 20. века). Због такве комбиноване и композитне природе РСГВ, тј. нејединствених критеријума за скупљање лексике, десило се да у њему нема неких стандардних речи (нпр. *спанаћ*).

У односу на облике и значења посведочене у књижевном језику и у дијалекатској грађи коју доносе три наведена аутора, уочени су следеће новине:

а) архаизми тј. ретко или нигде очувани грецизми (*дисаге, корам, трпан*);

б) нове тј. другде незабележене речи (*пономарх* «црквењак», *миронисати* «молити се у цркви»);

в) нове изведенице (*поша* «попадија»);

г) нова фонетика тј. случајеви досад нерегистрованих фонетских варијација (*арарх* : *јерарх*, *бангалоз* : *пангалоз*, *букријаиш* : *буклијаиш*, *јептин* : *јефтин*, *колаба* : *колиба*, *менгуле* : *менгеле*, *полелеј* : *полијелеј*, *сектембар* : *септембар*, *тридофил*, *трндофил* : *трандафил* итд.

д) нова семантика тј. досад непозната значења како основних речи (*Грк* «трговац», *катарка* «дугачка мотка на коју се ставља нож којим се пресеца мрежа», *кокало* «игра у којој девојка признаје који јој се момак допада», *комат* «парче хлеба», *кондир* «ведро за стоку; начин резања лозе», *кревет* «столица; доњи сноп жита у крстину; постељина, аљине», *кутлача* «варјача», *лиман* «залив; подводни извор; место где вода прави вир», *литанија* «придика, грдња», *менгуле* «невоље», *парасити се* «престати чинити што», *парип* «ергела», *пизма* «инат», *трпеза* «синија»), тако и нових изведеница (в. даље);

ђ) нова творба, или са очуваним основним значењем или са семантичким помаком (нпр. *буклијаиш* «човек који носи буклију; коњ кога јаше човек који носи буклију», *паскуричара* «жена која меси паскурице», *псалтирац* «ђак који учи псалтир», *таласњача* «опута (на чамцу)», *трпезник* «столњак»; *лиманити* «стварати вир», *парасник* «необузdana особа», *сулундарити се* «стровалити се»).

Дакле, РСГВ садржи грецизме из књижевног језика (поједине са немалим фонетским, творбеним и семантичким отклонима) али и неке ретко или чак нигде забележене речи. Стога је за очекивати да у осталим речницима са јужнијег терена српског језика налази ових позајмљеница буду још богатији. Тако се може закључити да свакако има смисла наставити са истраживањем грецизама у српским народним говорима.

Влајић-Поповић 2009 – *Влајић-Поповић Ј.* Грецизми у српском језику (осврт на досадашња и поглед на будућа истраживања) // Јужнословенски филолог LXV. Београд, 2009. С. 375–403.

Поповић 1953 – *Поповић И.* Новогрчке и средњегрчке позајмице у савременом српскохрватском језику // Зборник радова С.А.Н. XXVI. Византолошки институт. Књ. 2. Београд, 1953. С. 199–233.

Поповић 1955 – *Поповић И.* Грчко-српске лингвистичке студије II. Грчке позајмице у савременом српскохрватском језику // Зборник радова С.А.Н. XLIV. Византолошки институт. Књ. 3. Београд, 1955. 111–115; Грчко-српске студије III. Проблем хронологије византиских и новогрчких позајмица у савременом српскохрватском језику // *ibid.* С. 117–157.

РСГВ – Речник српских говора Војводине. 1–10 / Ур. Д. Петровић. Нови Сад, 2000–2010. Skok – *Skok P.* Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. I–IV. Zagreb, 1971–1974. Vasmer 1944 – *Vasmer M.* Die griechischen Lehnwörter im Serbo-Kroatischen. Berlin, 1944.

В. И. Дегтярев (Ростов-на-Дону)

Словообразовательное гнездо с производящей основой *господ-* в славянских языках в историко-этимологическом освещении

Общеславянская словообразующая основа *господ-* коренится глубоко в индоевропейской древности. Производные от нее слова *господа*, *господарь*, *господинь*, *господыни*, *господь*, *господьнь*, *господьскъ*, *господьство*, *госпожа* (*госпожда*, *gospodza*) входят в праславянский лексический фонд, образуя вместе с производными от них словообразовательное гнездо, в котором свиты и сложно переплетены лексика и грамматика в их историческом развитии.

Во всех этимологических словарях славянских языков представлена эта основа, и все же ее этимология окончательно не установлена. Необходимо найти исходное, мотивирующее слово, от которого идут смысловые и словообразовательные связи с остальными словами единой основы. Необходимо правильно определить вектор исторического анализа.

Обычно за исходное принимается слово *господь*, остальные считаются производными от него. Основа *господ-* сложена из двух и.-е. корней. Первый, бесспорно, – *гость* (< *ghōstis), известный в латинском, германских и славянских языках. Затруднения вызывает второй корень, но в слове *господь* не находят иного выбора кроме слова *pot(i)s, ср. вед. *pāti*, м. р. «господин, повелитель, хозяин, супруг», лат. *pōtis adj* «могущий», лит. *patis* «сам, муж», лтш. *pats* «супруг». Фактически общепринятой оказывается реконструкция в виде праформы *ghostipotis с этимологическим значением «гостеприимный хозяин > покровитель». Но еще Э. Бернекер в *Slavisches etymologisches Woerterbuch* (1908), S. 334–337, обратил внимание на затруднения с объяснением *d* на месте *t*, и никто не предложил убедительных аргументов, которые могли бы объяснить эту перегласовку. Теоретически мыслимые условия мены *dt* в древних индоевропейских языках, в частности реконструкция в виде сложения согласных основ: *ghost-pot-, для праславянского состояния языка нереальны. Не менее основательны сомнения семантического плана. Это касается, в частности, семантико-словообразовательных связей слова *господь*. Обычно производящее слово отличается более общим значением, и это создает возможности для словопроизводства на его основе. Производное от него более определено, конкретно и точно. Сомнительно расхожее мнение, будто многозначное слово *господа* образовано от моносемантического *господь*, наоборот, производящим является слово *господа*, от него образовано слово *господь*. Таким образом, открывается перспектива новой этимологии основы *господ-*, в которой за исходное принимаем слово *господа*. Второй частью ее является корень слова *pod-/*ped- «основа, подошва, подножие, фундамент»: др.-инд. *padā-m*, ср. р. «шаг, след ноги, место стоянки (жительства)», вообще «место», хетт. *peda-* «место», др.-греч. им. п. ед.ч. ποῦς, ποδός, ὀ «нога, ступня» и πῆδη «пути», πῆδον «почва» и под., лат. *pēs, pēdis*, м. р. «нога, ступня», лит. *pādas* «подошва», «ток», «под». К этому

корню восходит и рус. *под*. Этот и.-е. корень в древних языках характеризовался как качественным, так и количественным чередованием гласной. В славянском представлена краткая огласовка. Основа *ghostī-pod- тематизирована формантом инактивного класса -*ā: *ghostipodā.

Слав. *господа* имело исконно ряд связанных между собой значений. Одни из них представляют денотат в количественном (единичном или множественном), другие – в качественном (предметном или локальном) отношениях: ст.-слав. **господа** «кров, приют», «гостиница» (Сав. кн., Лк. X.56, то же и подобные значения – в др.-русском и западнославянских; собир. «господа, баре, князя, покровители» – в др.-русском, сербохорватском и словенском, в др.-русском также и единичноличные – «хозяин, домовладелец, зажиточный крестьянин, собственник», «хозяйка, госпожа», наряду с отвлеченными – «власть, господство» и «гостеприимство» и т. п. Как словообразовательное и лексическое средство выражения множества это слово имело *общее* значение числа, т. е. совмещало значения единичности («хозяин или хозяйка дома») и совокупного множества («хозяева»). Первоначальный синкретизм содержания слова *господа* преодолевался двумя путями: деривацией – отведением значения «хозяин, покровитель, господин» с помощью тематического форманта *-ī (> ь) – для лиц муж. пола (*господь*), *-ja и *-упі – для лиц жен. пола (*госпожа/госпожеда/gospodza, господыни*) и разведением значений – омонимией: *господа* I «жилье» и *господа* II собир. «господā». Собир. *господа* в древних славянских языках выполняло функцию формы множ. числа, поэтому от нее был образован сингулятив *господинь* вследствие парадигматизации грамматических форм числа. По той же причине собир. *господа* в русском языке трансформировалось в грамматическую форму множ. числа.

От слова *господа* «хозяйствование, владение» образовано с помощью суффикса *-арь* слово *господарь* «правитель», откуда следуют сокращенные *государь* (далее – *сударь*), *сударыня*, *государство* и производные от них.

Слово *господь* с распространением христианства у славян акцентировано в сакральном значении «Всевышний, Господь Бог, Спаситель». Исконно более общее значение: «покровитель путников, странников, хозяин крова», вообще «благодетель, благотворитель». В Евангелии (Зограф., Мар. и др.) наравне функционируют значения «хозяин дома», напр.: *господь дому*, «господин» и «Господь Бог». Священное значение является новым и книжным по происхождению. При слове *Бог* слово *господь* изменило формы косвенных падежей (по парадигме *-ō-основы): род. п. *господа*, дат. п. *господу* и т. д.

От слова *господь* «повелитель» образовано прилагательное *господьскъ*, от которого, в свою очередь, происходит отвлеченное *господьство* (по образцу др.-рус. *братьскъ* – *братство* (< *bratъsk-tvo).

Здесь же «гнездится» и старинное русское обрядовое *спожинки* (< *оспожинки* < *госпожинки*) «Успенский пост», *Госпожин день* «Успенье».

Aleksandar Donski, Marija Kukubajska (Stip)

Slavic elements in the language of ancient Macedonians

The mother tongue spoken by Alexander the Great the Macedon and his people, the ancient Macedonians, remains a relatively non-defined issue. This is being caused by the insufficient bank of written terms registered from this language. The second reason, related to the first, is the scientific assumption that this language had not existed in written form, but was only used as spoken. That is scientifically yet to be determined.

Research in this domain offers numerous and justifiable proofs about the language of the ancient Macedonian as being different from the Greek language. Among those proofs is the Latin historian Quintus Curtius Rufus, one of the four ancient biographers of Alexander the Great the Macedon, who writes that the ancient Macedonians and the Greeks maintained their communication through translators. Another proof are two biographers of Alexander the Great The Macedon, Plutarch and Arrian, who also mention the Macedonian language as a distinct one. In support of this fact there are other ancient sources as well.

It is a known fact that some ancient authors had the practice of recording words from ancient Macedonian origin. The most valid source so far, could be found with the grammarian Hesychius of Alexandria, 5 c. BC. He authored a lexicon with 51.000 words spoken by then existing ancient people. In the chapter «*Words from the people*» (Glossai Ethnikai), subtitled as «Macedonian», Hesychius writes about 130 words recorded from ancient Macedonian origin, with additional explanation of their meaning.

This Lexicon of Hesychius has not been yet translated in its entirety by any contemporary language of today. It categorized the foreign languages of his time through the Greek language norms, where certain Macedonian words could be identified even today as similar to the pronunciation and meaning with the existing words of the contemporary Macedonian language, and related to other Slavic languages as well. In our scientific research we will analyze some of these recorded words, after preceding it with an introduction of the language of the ancient Macedonians.

Н. И. Зубов, Д. С. Ищенко (Одесса)

Антропонимия Слепченского помянника XVI–XVII ст.

Профессор С. Б. Бернштейн всегда проявлял огромный научный интерес к южнославянским языкам и различным аспектам их изучения. Именно он подчеркнул, в частности, большое значение для македонистики исследования А. М. Селищева о рукописном помяннике XVI–XVII вв., хранящемся в фондах Одесской национальной научной библиотеки им. А. М. Горького под № 1/116 [старые шифры 14(40) и 117(91)], известном как Слепченский кодик, или

Слепченский помяник. В своей статье «Селищев-балкановед» С. Б. Бернштейн дал следующую оценку этой работе исследователя: «Монастырские кодексы-помяники заключают в себе драгоценные факты народной речи. Селищев детально и всесторонне проанализировал три монастырских помяника (монастыря Матка в Северной Македонии, Слепченского монастыря близ Битоля и Трескавецкого монастыря близ Прилепа). Его внимание привлекли не только текст, не только топонимия, но и личные имена. Личные имена характеризуют этническую принадлежность их носителей и дают материал для диалектологии. Кроме того, личные имена отражают различные культурные влияния. Всё это тщательно исследуется Селищевым» (Бернштейн 1947: 30).

В своё время интересующая нас рукопись (по-видимому, это только часть книги помяника) была привезена в Россию В. И. Григоровичем из Слепченского монастыря св. Иоанна Предтечи, находящегося вблизи г. Прилеп в Македонии. Сам В. И. Григорович охарактеризовал рукопись как наиболее ценную среди прочих 60 обнаруженных в монастыре манускриптов, причём оценка эта определилась прежде всего наличием в рукописи славянских имён (Григорович 1848: 188–189).

Надо сказать, что с точки зрения исследовательского интереса Слепченскому помянику повезло несколько больше, нежели другим рукописям примерно того же хронологического периода из рукописного собрания г. Одессы – в абсолютном большинстве они всё ещё остаются вне надлежащего описания. С другой стороны, Слепченский кодекс с «названиями болгарских местностей», которые обнаруживаются в нём, упоминается Н. М. Петровским в его статье о путешествии В. И. Григоровича по славянским землям (Петровский 1915: 97). Элементы кодикологической характеристики памятника находим в публикации Ф. Е. Петруня о рукописном собрании В. И. Григоровича (Петрунь 1927: 149). Но особенно большая роль в исследовании Слепченского кодекса принадлежит, как уже отмечено выше, А. М. Селищеву.

В данном случае нет необходимости излагать в деталях сделанное этим исследователем (Селищев 1979), обратим лишь внимание на то, что записанные на 360 листах сотни мужских и женских имён, носителями которых были люди из ближних и дальних по отношению к монастырю городов и селений, представляют собой настоящую антропонимическую сокровищницу того времени. Например, имеется редкая возможность взглянуть на статистику в области мужского и женского именника, увидеть его народную вариативность, в определённой мере составить представление о некоторых микрорегиональных антропонимических предпочтениях и т. п. Уже на стадии самого предварительного рассмотрения (198 мужских антропонимов на 27 из первоначальных листов рукописи) видно, что наиболее частотными являются имена *Иоанн*, *Пейо*, *Никола*, *Петко*, *Дмитр*, *Стоян*, *Вльче* и несколько других. Причём можно предвидеть, что совокупность форм от антропонима *Пейо* в итоге будет превосходящей.

Что касается перечня женских имён, то в нашем кодексе в той его части, которая, судя по предварительной разметке листов книги, предназначена для поминания женщин, встречается очень много мужских имён вперемешку с женскими. При этом разнородной в употреблении форм им. и род. пп. антропонимов (характерный для кодекса в целом) создаёт во многих случаях ситуацию неопределённости. Так, если под киноварной заголовочной шапкой листа *Помяни, Господи, душе рабъ своих* видим строку записи *рабу свою* (эти формулы записаны заранее в левых столбцах листов) *Ангелина*, то надо понимать, что речь идёт о форме им. п. женского антропонима (как *Елена*, *Магда* и мн. др. в такой же формуле). Но тут же рядом обнаруживаются формулы *рабу свою* *Петана*, *Славка*, *Никола* и под. Кто в таком случае поручится, что форма *Ангелина* – это не форма род. п. от мужского имени *Ангелинъ*? Ответ надо искать в мужской части помянника: при отсутствии там соответствующей мужской формы можно делать более вероятные выводы о гендерной маркировке антропонима. А есть, очевидно, случаи, принципиально неоднозначные: например, форма *Стана* в женской части может быть как отражением женского имени *Стана*, так и мужского *Стан* (*Стано*).

В целом же введение в научный оборот антропонимического материала Слепченского помянника послужит ценным вкладом в теорию общей и исторической антропонимии, а также даст важные ориентиры для изучения современного именника данного региона в его проекциях на современную топонимическую систему.

Бернштейн С. Б. Селищев-балкановед // Доклады и сообщения филологического факультета (Памяти А. М. Селищева). М.: МГУ, 1947. Вып. 4.

Григорович В. [И.] Очерк путешествия по Европейской Турции. Казань, 1848.

Петровский Н. М. Путешествие В. И. Григоровича по славянским землям // ЖМНП. 1915, ноябрь. Ч. LX.

Петрунь Ф. [С.] Рукописна збірка В. І. Григоровича. Бібліографічні замітки // Праці Одеської центральної наукової бібліотеки. І. Одеса, 1927.

Селищев А. М. Слепченский кодекс. 4. Язык // Чуждестранни учени за югозападните български говори. София, 1979. С. 137–159.

А. В. Иваненко (Киев)

Боги войны у древних индоевропейцев

Работая в области мифологии, к сожалению, не всегда можно найти однозначную трактовку многих ее фактов. Некоторые из них, как, например, названия богов плодородия и они же – названия богов войны, отражают определенный тип эволюций, характеризующих определенный этап развития общества и социальных отношений. Именно дуализм указанных отношений, переосмысленные носителями культуры бога питающего как бога-воина и стали предметом нашего внимания. Наиболее отчетливо указанная трансформация отражена в римской и кельтской мифологии.

Осмысление **Марса** прежде всего как бога питающего и лишь позднее – как бога воюющего получает подтверждение в греческой мифологии. Вспомним греческий миф о пастухе *Марсии* и *Афродите*. И именно все тот же *Марс* (но уже в мифологии римлян) примерил на себя доспехи греческого *Ареса*, мыслившегося древними греками как идеал храброго воина.

Быть может, такие или некие подобные представления и отражены в эпитете галльского *Марса*?! Именно как эпитет галльского Марса ‘питающий’ на основе надписи – ALATTO CELI BATIGNI – рассматривался В. П. Калыгиным кельтский теоним **Alator**. При этом автор говорил о неясности связи ирл. *allaid* ‘дикий’ с огамическим именем *Alat(h)os*, допуская, следом за А. А. Королёвым и Э. Росс, возможность этимологии слова из и.е. **āl-* ‘наделять жизненной силой’ или из **al-* ‘растить, вскармливать’ в зависимости от количества гласного корня (Калыгин: 19). Считаем, что такое противоречие в понимании одного и того же мифологического персонажа вполне объяснимо и закономерно.

Чтобы понять подобное «смещение жанров», следует обратить внимание на исторический период, в который фиксируется кельтский теоним. Это уже не период миграции кельтов, но период покорения Римом Галлии и вытеснения кельтов с европейского континента. Однако именно в период кельтских миграций и позднее, во времена галльско-римского противостояния и происходило, очевидно, переосмысление бога плодородия и достатка как бога войны, так как общественный достаток стал связываться в том числе и с расширением территории, с приобретением материальных благ (часто вынужденно) силой.

Кельтский теоним *Alator* следует, очевидно, рассматривать в контексте ряда кельтских апеллятивных соответствий, пор. гэльск. (шотл.) *allaidh*, др.-ирл. *allaid* ‘лютый, дикий’, связывавшихся А. Мак-Бейном с валлийск. *allaidd* с похожими значениями и выводимого им из валлийск. *all* ‘другой’ и др. (MacBain: 14). Рискнем предположить, что гэльск. *allaidh* можно определять как префиксальное образование, вывода *al(l)-* из *abh-* (ср. переход лат. *ab* в *al* перед *latto*), допустив членение слова как *al-* + *ladh*. В последнем случае заманчиво рассматривать основу *ladh* как производное от и.-е. **el-*, **elə-* : **la-*; **el-eu-(dh-)* ‘гнать, приводить в движение; гнаться, идти’ (Pokorny I: 306–307).

Сюда же отнесем и хетт. *elaniya* ‘доводить (до крайности), нападать, надоедать’, соотносимое с **elatar* и этимологически связанное с изолированным (по мнению Пухвеля) гр. *ἐλάω* ‘двигаться’, *ἐλαύνω* ‘беспокоить, преследовать, надоедать’. Само же **elatar* мыслится как результат сложения основ **el(a)-* (примерно с тем же набором значений, что и у приведенных греческих фактов) и *dai-* ‘место, ряд’ (Puhvel 2: 268–269), вполне, на наш взгляд, соотносимое с и.-е. **el-*, **elə-* etc.

Все вышесказанное вынуждает нас вернуться к поданной в начале материала латинской цитате, для пересмотра перевода которой имеются все основания.

Первое из приведенных слов – ALATTO – вполне логично перевести как *при-носящий, при-водящий*: ср. лат. *allato*, *affero* ‘приносить, доставлять’ и под.

(Дворецкий: 46). Кроме того, лат. ALATTO фонетически вполне соотносится с кельтским материалом. Согласно фонетике современного гэльского языка, в переходе [d] > [t] нет ничего необычного, ср. разницу между написанием и произношением, отраженную в совр. гэльск. *Gallda* [gowlta] ‘южная (менее гористая) часть Шотландии’ (Owen: 60).

Второе слово – CELI – можно рассматривать как результат ошибочной или неточной передачи этнонима *Celtae* ‘кельты, обширная племенная группа, жившая преим. в Галлии, в сев. Италии, на Британских островах, в Испании и Галатии, а позднее тж. в южной Германии, в нынешней Швейцарии и в среднем течении Дуная’; ‘галлы’ (Дворецкий: 169).

Еще одной причиной для пересмотра перевода латинской цитаты явилось **третье** из употребленных в ней слов – BATIGNI. Не следует ли его поставить в связь с отмеченным в словаре В. П. Калыгина названием богини победы *Boudiga*, *Boudina* ~ и.-е. **bhoudhi* в значении ‘победа’ ~ др.-ирл. *bʰaid* ‘победа’ (Калыгин: 40) и древнегерманским именем собственным *Baudi hillea* ‘борющаяся за победу’? Последнее образовано от корня **bheudh-* ‘сообщать; узнавать; бодрствовать’, приобретающем иногда значение активного воздействия на объект, ср. гот. *anabiudan* ‘приказывать’, лит. *baʹsti* ‘наказывать’ с дальнейшим развитием семантики ‘победа’ – замечания К. Г. Красухина к теониму *Boudiga*, *Boudina* (Калыгин: 178–179). Более того, с *batigni* соотносится лат. *battuo* ‘бить, ударять, избивать’, ‘драться’ (Дворецкий: 127), а также *Boudina* как возможный (на наш взгляд – закономерный) вариант к *Boudiga*. Все это в совокупности позволяет обосновать отражение в исследуемой надписи идеи *борьбы*, *войны* и т. д. Осмысление *Элатора* не просто как бога войны, но как бога военной удачи косвенно подтверждается и другим эпитетом *Марса* – *Mars Budenus* (Калыгин: 40).

Поэтому поданную у В. П. Калыгина латинскую надпись мы переводим несколько иначе, а именно в контексте замечаний К. Г. Красухина: «приносящий кельтам (галлам?) победу», «ведущий (букв. *приводящий*) кельтов (галлов?) к победе» или, в крайнем случае, «ведущий кельтов (галлов?) на битву».

Разумеется, перечень «божеств-трансформеров» не ограничивается приведенными примерами (следы подобного семантического дуализма видны, например, в семантике славянского *Ярила*), а описанное «смешение жанров» могло (и было) обусловлено созвучностью континуантов и.-е. **āl-* ‘наделять жизненной силой’ или **al-* ‘растить, вскармливать’ с и.-е. **el-*, **elə-* : **la-*; **el-eu-(dh-)* ‘гнать, приводить в движение’. Однако закрепления значения ‘бить, гнать и т. д.’ как основного никогда бы не произошло, не будь подобное смешение обусловлено объективной реальностью.

Рассмотренные случаи семантической эволюции божества *п и т а ю щ е г о* в божество *в о и н с т в у ю щ е е* не просто демонстрируют, в конечном итоге социально-экономические и, если угодно, политические отношения, но отражают процесс расселения индоевропейских народов, неизменно сопряженный с конфликтом интересов (как минимум) двух племен, двух этносов.

Вообще же следует предположить, что появление богов войны изначально было более поздним (сравнительно с божеством плодородия), поскольку вражда и далее – война как таковая возникают лишь в том случае, когда некоему племени, народу занимаемая им территория становится тесна, когда находится некое лучшее земельное угодье, уже занимаемое другим племенем или народом. То есть в тот период, когда племя уже достигло определенного этапа развития – ведь для разрешения разового конфликта силовыми методами потребности в специальном божестве не возникает (для этого достаточно обратиться к верховному богу). Однако в случае постоянной необходимости вести захватнические либо оборонительные войны, потребность в таком божестве становится насущной, вытесняя, в той или иной мере, мирное предназначение бога достатка.

Дворецкий – Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М., 1976.

Калыгин – Калыгин В.П. Этимологический словарь кельтских теонимов. М., 2006.

MacBain – MacBain A. Etymological dictionary of the Gaelic language. Siirling, 1911.

Owen – Owen Robert C. The modern Gaelic-English Dictionary. Glasgow, 1993.

Puhvel – Puhvel I. Hettite Etymological Dictionary. Berlin; New York; Amsterdam, 1984.

Pokorny – Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern; München, 1959. Bd I.

А. И. Илиади (Кировоград)

Лексика украинских говоров Буковины в этимологическом освещении (К перспективе создания этимологического словаря буковинских говоров)

Среди достижений современной карпатистики особое место занимают детальная разработка проблем этимологического и лингвогеографического описания лексики языков карпатского ареала, характеристика их связей с языками Балкан, а также реконструкция картины заселения Карпат и сопредельных областей по данным языков, живущих/живших на этой территории этносов. В распоряжении исследователей карпатского ареала, занимающихся славистической проблематикой, имеются обширные диалектные материалы, результаты этимологического исследования различных лексико-семантических групп и отдельных слов, однако до сих пор не существует регионального этимологического словаря славянской лексики, т. е. этимологического справочника, целью которого было бы по возможности исчерпывающее освещение генезиса лексикона, например, карпатоукраинских или карпатословацких говоров – идиомов, сыгравших важную роль в становлении карпатской культурно-языковой общности и потому представляющих особый интерес для палеославистики. В предлагаемом докладе рассматривается возможность создания этимологического словаря буков. диалекта, территориально примыкающего к карпатской группе говоров укр. языка (вместе с ними он входит в поднеэтроповско-карпатско-буков.

винское территориально-языковое образование), словаря, который необходим как пробная попытка составления в дальнейшем более обширного по спектру решаемых проблем, фундаментального этимологического словаря укр. говоров Карпат и сопредельных территорий, словаря, который позволит во многом прояснить генетическое отношение буков. диалекта к собственно карпатским (сев., зап., вост., закарп.) говорам укр. языка.

1. **Задачи ЭСБГ.** Основной задачей ЭСБГ является объяснение генезиса тех лексем укр. говоров Буковины, которые действительно нуждаются в *этимологическом* освещении (образования позднего времени, измененные фонетически явные заимствования из словаря совр. укр. литературного языка, названия социальных и бытовых реалий советской эпохи в ЭСБГ отражены не будут). Поставленная цель может быть достигнута при решении комплекса задач, среди которых:

1.1. Выявление праславянского наследия в лексике укр. буков. говоров:

а) исконных слав. лексем, сохраняющихся в речи *всех* (или *большинства*) слав. народов;

б) лексем, имеющих близкие соответствия в словаре *одного* или *нескольких* слав. языков. Особо следует выделить те псл. диалектизмы местного лексикона, для которых аналоги в других укр. (в первую очередь – карп.) говорах и вообще вост.-слав. языках отсутствуют, но при этом находятся зап.- и ю.-слав. параллели, что представляется актуальным, так как, напр., в ЕСУМ из-за применяемого тут гнездового принципа нет систематической дифференциации укр. лексики с широкими слав. связями и архаичных украинско-инославянских изоглосс. В связи с этим теряющийся в дефинициях ЕСУМ карп. диал. материал, зачастую выполняющий здесь роль фоновых данных, в ЭСБГ целесообразно разрабатывать с целью максимально полного описания реликтовых изолекс, связывающих буков. (шире – карп.) говоры с говорами иных слав. языков, т. е. лексических схождения, отражающих древнее распределение слав. диалектов, дающих сведения о диал. членении псл. языка, месте карпатоукр. диалектов среди других славянских (и в первую очередь – украинских). Говоря о значении укр. буков. материала для праславянской реконструкции, исследования истории укр. языка, а также для определения места буков. говоров на древней диал. карте укр. языка, мы имеем в виду случаи, когда укр. рефлексы того или иного прототипа засвидетельствованы *только* в буков. словаре, когда буков. лексемы, расширяющие ареал укр. рефлексов какой-либо праформы, вообще не учтены в словарях псл. лексики, а также когда ряд псл. форм восстанавливается исключительно на основе укр. буков. лексики с архаичной словообразовательной структурой;

в) не имеющих параллелей вне буков. словаря, но при этом демонстрирующих архаику словообразовательной структуры.

1.2. Описание пласта заимствований – вост.-ром., герм., пол., тюрк., венг., а также греч. и лат. (попадали в местную речь либо как названия церковных реалий, реалий юридического быта, либо через посредничество носителей других языков, например, румын. и пол.);

1.3. Инвентаризация так называемых лексем-карпатизмов буковинского словаря.

2. **Источники материала.** Основным источником материала служат новый «Словник буковинських говірок» (Черновцы, 2005), хрестоматія «Буковинські говірки» (Черновцы, 2006), которая содержит солидное количество слов, в силу объективных причин не вошедших в этот словарь, а также топонимия, представленная в различных собраниях ономастической лексики (прежде всего – «Словнику гідронімів України»). Помимо этого, значительное количество букв. лексики эксцерпировано из «Етимологічного словника української мови» путем фронтального обследования его дефиниций.

3. **Принципы отбора материала.** В качестве объекта этимологического описания послужила лексика, демонстрирующая:

3.1. Отчетливые признаки архаики словообраз. структуры (реликтовые (псл.) слова, а также диалектизмы, образованные в местной речи по архаичным, непродуктивным моделям).

3.2. Значительное формальное изменение, повлекшее за собой изоляцию слова от его словообразовательно-этимологического гнезда.

3.3. Фонетическое развитие, обусловившее появление новых форм к существующим тут же, фонетически менее продвинутым, однокоренным диалектизмам, ср. *лабу́да* ‘наспех сделанное временное жилье’, ‘курень’ < *халабу́да* ‘палатка’. Такие случаи должны быть выделены в самостоятельные дефиниции с отсылкой к тем статьям, где рассматривается этимологически тождественная лексика, лучше сохраняющая первоначальную форму.

С аспектами, указанными в пп. 3.2. и 3.3., тесно переплетено решение проблемы разграничения *генетически разных форм*, приводимых в источниках диал. букв. материала в рамках одной дефиниции на правах разных значений одной лексемы, ср., напр., *лабу́дати* ‘экономить, собирать, складывать’, презр. ‘строить как-нибудь, наспех’ (СлБГ), в котором совпали этимологически не совсем ясное образование с пол. и слвц. параллелями со знач. ‘с трудом собирать’, ‘экономить’, ‘добывать’ и глагол, производный от *лабу́да* ‘наспех сделанное временное жилье’ – фонетического варианта к *халабу́да* ‘палатка’, ‘построенный наспех шалаш’.

3.4. Специфическое развитие семантики, требующее обязательного комментария, поиска близких аналогий, ср., напр., *ловітиси (-са)* ‘становиться густым вследствие скисания’, ‘окрашиваться’, ‘загораться’ (**Сонце ловіси* ‘пристает загар’) ~ рус. *браться* ‘приставать’, ‘схватываться’ (о краске, клее).

3.5. Контаминацию рефлексов разных (иногда родственных) псл. основ, ср. смешение в букв. *ласий* ‘покорный, послушный’, ‘вкусный’, ‘соблазнительный’ двух форм типа укр. *ласка́вий*, рус. *ласковый* и укр. *ласий* ‘жадный’, ‘алчный’.

3.6. Результат заимствования.

Потенциальные возможности, которые открываются при углубленном изучении лексики букв. говоров, еще мало освоенной этимологической лексикографией, делают актуальным и крайне необходимым создание ЭСБГ.

Р. М. Козлова (Гомель)

Отражение аблаута в славянской ономастике

Прикоснуться к сложнейшей проблеме славистики – аблауту в славянских языках, над решением которой трудились такие выдающиеся ученые, как акад. С. Б. Бернштейн, Ж. Ж. Варбот и др., позволила работа по этимологизации и хронологизации ономастической лексики, отбору праславянских ономастических древностей. В данной работе представлен ономастический материал, этимологической основой которого является глагол **žegti*. Глагольные генетические гнезда, как правило, являются словообразовательно разветвленными, представляет собой сложную морфонологическую систему. Избранный нами глагол относится к полисемантическим, жизненно значимым. Без него не обходилось земледелие (подсечно-огневой способ обработки земли), промышленные производства (плавка металла, производство угля, смолокурение), быт человека (родовой и семейный очаг не должен был погаснуть) и даже состояние самого человека выражалось с помощью *жечь* (человека *жгла* страсть, забота, обида и под.). Не удивительно, что от **žegti* и связанных с ним аблаутных форм образовалось мощное генетическое гнездо, единицы которого закрепились в собственных названиях на всем славянском пространстве. Из различных ономастических источников нами извлечено свыше 600 онимов, все они объединены в 130 архетипов. Поразительно, насколько ономастический материал отражает древнейшие процессы формирования генетических гнезд, что не учитывается в работах по сравнительно-историческому языкознанию.

Материал классифицирован нами с учетом разнообразия корневого вокализма глагольного корня, определенных ступеней аблаута. С учетом корневого вокализма выделены производные *е*-ряда и производные *о*-ряда.

Производные от основ *е*-ряда. Самым активным оказался *е*-вокализм, он представлен исходными **Žegъ*, **Žega*, засвидетельствованными во всех классах онимов, особенно в антропонимии, ойконимии. Остальные единицы распределяются на:

- производные с опорным *l* в суффиксах (**Žegalъ*, **Žegalь*, **Žeželь*, **Žežьль*, **Žegьль*, **Žegolь*, **Žegьль*, **Žegьlo*);
- производные с опорным *n* в суффиксах (**Žeganъ*, **Žeganь*, **Žegunъ*);
- производные с опорным *r* в суффиксах (**Žegarъ*, **Žegara*, **Žegarь*, **Žegorъ*, **Žegora*, **Žežera*, **Žegьra*, **Žegьra*);
- отдельные производные типа **Žegota*, **Žegadlo*;
- производные, мотивированные отглагольными апеллятивами (**Jьžega*, **O(b)žegъ*, **O(b)žega*, **Peržegъ*, **Požegъ*, **Požega*, **Požeža*, **Prožegъ*, **Užegъ*, **Užega*, **Vьžega*, **Vyžegъ*, **Vyžega*, **Zažegъ*, **Zažega*);
- производные, мотивированные апеллятивами-адъективами (**Žegovъ* (*-a*, *-o*), **Žeževъ* (*-a*, *-o*), **Žežinъ* (*-a*, *-o*));

– производные, мотивированные партиципийными апеллятивами (**Žežimъ* (-a, -o), **Žeženъ* (-a, -o)). Почти все они имеют твердую апеллятивную основу.

Группу онимов с *ь*-вокализмом составляют:

– производные с опорным *l* в суффиксах (**Žbgulь*, **Žbgylь*, **Žbgьlb*);

– производные с опорным *n* в суффиксах (**Žbanь*, **Žbanь*, **Žgunь*, **Žgunь*);

– производные с опорным *r* в суффиксах (**Žgarь*, **Žgarь*, **Žgurь*, **Žgurь*);

– отдельные производные типа **Žbgoть*;

– производные, мотивированные апеллятивами от префигированных глаголов (**Ožbgь*, **Ožbga*, **Pažbga*, **Užbgь*, **Užbga*, **Vyžbgь*, **Vyžbga*, **Zažbga*).

Группу онимов с *i*-вокализмом представляют исходные **Žigь*, **Žiga*, **Žigo*, разнообразные дериваты, среди которых

– деминутивы (**Žižica*, **Žižikь*, **Žižičь*, **Žižьkь*, **Žižьka*, **Žižьko*, **Žižьca*);

– производные с *j*-суффиксом (**Žižь*, **Žiža*);

– отдельные производные (**Žigajь*, **Žigačь*, **Žizakь*);

– производные с опорным *l* (**Žigalь*, **Žizelь*, **Žižьlb*, **Žigьl'a*, **Žižьlb*, **Žigylь*);

– производные с опорным *n* в суффиксах (**Žiganь*, **Žižanь*, **Žigunь*, **Žižunь*);

– производные с опорным *r* в суффиксах (**Žigarь*, **Žigarь*, **Žigurь*, **Žižera*, **Žigurь*);

– отдельные производные типа **Žižьma*;

– производные, мотивированные отглагольными апеллятивами: (**O(b)žigь*, **O(b)žiga*, **O(b)žiganь*, **Vyžiga*, **Zažiga*). Сюда же примыкают **Žigadlo*, **O(b)žigadlo*, **Zažigadlo*;

– производные, мотивированные апеллятивами-адъективами (**Žižanь* (-a, -o), **Žižinь* (-a, -o), **Žigovь* (-a, -o), **Žiževь* (-a, -o), **Žižьnь* (-a, -o)), куда примыкает причастное **Žiženъ* (-a, -o).

Производные с *ē*-вокализмом *e*-ряда представлен исходным **Gēga* > **Žaga*, единицей с *j*-суффиксацией **Žaža*, деминутивом **Žažьkь*, производными с опорным *l* в суффиксах (**Žagьlb*, **Žagьlb*, **Žaželь*), производными с опорным *n* в суффиксах (**Žaganь*, **Žagunь*), производными с опорным *r* в суффиксах (**Žagьra*, **Žagьrь*), производным с основой на *ū* **Žagy* (-ьve).

Производные от основ *o*-ряда. Большую трудность для интерпретации корневого вокализма составляет вокализм *o*-ряда, как и наличие этой ступени аблаута. Славянский ономастический материал все же позволяет такое выделение. Нормальную ступень *o*-ряда правомерно увидеть в укр. *Zóga* – антропоним < **Jьzgoga*, ступень *ō* > *a*-демонстрируется **Jьzgaga* (ст.-русск. *Изагин*, др.-польск. *Zgaga* – антропонимы, *Zgaga* – название двух поселений в Вилкомирском у. Ковенской губ.) при общеславянском ареале апеллятива **jьzgaga* (ЭССЯ 9: 27). Эту же ступень вокализма правомерно увидеть в никем не этимологизированном др.-русск. *Гагра* – антропоним, *Гагра* – город на побережье Черного моря на сарматско-иберийском пограничье. Вполне солидно представлен *ь*-вокализм *o*-ряда (**Gьželь*, **Gьžulь*, **Gьžatь* (-a, -o), **Gьžatь*, **Gьžemja* > **Gьžeml'a*, **Vyгьža*). Наконец, *y*-ступень представлена **Gyžanь*, **Gyžiga*.

Таким образом, ономастический материал четко структурирован по фонетическим параметрам, хотя некоторые ступени *o*-ряда оказались разрушенными. Сказанное позволяет реконструкцию следующих ступеней аблаута: *o* : *e*, *ь* : *ь*, *y* : *i*, *ē* (*a*) : *ō* (*a*), т. е. восстановить корни с исходным *e* (*e* : *ь* : *i*) и корни с исходным *o* (*o* : *ь* : *y*).

Примечательно, что внутри апофонических объединений слов наблюдается повторяемость словообразовательных моделей, идентичность словообразовательных средств. Работа над восстановлением микросистемы **Žeg-* позволила уточнить этимологию ряда единиц, которые характеризуются как *иноязычные* (гидроним *Жижма* < **Žižьta*, который оказался, согласно Р. Шмитлейну и А. Ваннагасу, финно-угорским, *Жегун* < **Žegunь*, отнесенный к балтизмам), как *темные* (русск. *жгиль*, который закрепился также в русской ономастике – ст.-русск. *Жгилев*, русск. *Жгилево* < **Žьgylь*) и др.

Все ономастические факты в докладе паспортизированы.

Живка Колева-Златева (Велико-Тырново)

Редупликация в словах звукосимволического происхождения

В настоящем докладе обсуждаются следующие аспекты вопроса о редупликации в звукосимволических словах:

1. Редупликация является наиболее надежным критерием для распознавания звукосимволических слов, прошедших длинный путь развития. Как структурный признак, она труднее всего поддается «маскировке». Если наблюдаются параллельные случаи выражения одного и того же «незвукового» значения (или значений, выводимых из одного и того же исходного «незвукового» значения) формами с редупликацией, то этот факт может свидетельствовать о звукосимволическом происхождении слов. Ср., например, формально-семантический параллелизм таких названий маленьких шарообразных предметов, как чешск. *bat-bul-e* ‘что-либо круглое’, болг. диал. *пѹ-пол-ец* ‘шарообразный предмет’, *кар-кал-ѐга* ‘плод хвойного дерева’, польск. *gu-gul-a* ‘ягода малины, еще не спелая, но слегка румяная’, укр. диал. *ган-гѹл-ики* ‘комочки навоза на шерсти скота’; больших предметов, как укр. диал. *бам-бур-а* ‘большая грубая вещь’, русск. *це-цѹл-я* ‘большой ломоть хлеба’, болг. *пѹм-пал-ица* ‘большой камень’; кривых предметов, как русск. диал. *кара-кул-я* ‘кривое дерево’, *го-гѹл-ечка* ‘загнутый конец трости’, болг. диал. *кѹр-кол-ица* ‘кривая линия’, разг. *гер-гел-ици* ‘неразборчивые буквы’, в.-луж. *ko-kul-a* ‘изгиб, крюк’; вращательных движений, как польск. *dać kur-koń-aka* ‘кувыркаться’, русск. диал. *ку-кор-ѐзгаться* ‘кувыркаться’, болг. *пѹм-пал* ‘волчок’, диал. *пѹр-пел-ам се* ‘кувыркаться (в пыли, в песке)’; медлительных действий, плохой работы, как русск. *кѹ-кел-ить* ‘делать что-либо медленно, возиться с чем-

либо', укр. *mí-mr-ati* 'делать что-либо медленно', польск. диал. *tar-mol-ić* 'делать что-либо медленно, возиться, копаться', чешск. *pi-pl-at se* 'то же' и др.

2. В некоторых случаях редупликация может быть затемнена, однако, учитывая формально-семантический параллелизм слов с прозрачной редупликацией, удвоение звуковых комплексов может быть выявлено. Например, в контексте цитированных выше названий вращательных движений редупликацию можно усмотреть также в русск. диал. *ко-бур-яться* 'кувыркаться, перевертываться через голову', болг. *тър-кал-ям* 'катить, вращать, валять', диал. *пър-гел-ам се* 'кувыркаться (в пыли)' и др.

3. Что касается характера редупликанта, то в момент образования звуко-символического слова, он не является морфемой. Только целое ономастопозитическое слово, образованное при помощи редупликации, становится двусторонней, знаковой единицей.

4. Редупликация, как и символика звуков, иконическим способом участвует в формировании семантики звуко-символических слов. Иконичность редупликации заключается в связях с образами грудного ребенка (она характеризует речь маленьких детей), повторения и множественности. От этих образов путем семантического развития по модели радиальной категории развиваются значения звуко-символических слов. В некоторых случаях можно думать о контаминации разных звуко-символических образов.

5. Нередки случаи параллелизма между словами с полной и неполной редупликацией, такие, как: болг. диал. *гър-гър-ица* : *гъ-гр-ица* 'насекомое *Bugchos pisi*'; *гар-гул-ка* : *га-гул-ка* 'маленькое возвышение'; русск. *хор-хор-а* 'взьерошенная курица' : *хó-хр-иться* '(о человеке) быть в мрачном настроении, хмуриться, дуться'; болг. диал. *кър-кл-ица* : *кър-к-а* 'вошь'; укр. диал. *бém-бул* : *бém-б-а* 'дурак, увалень, олух'; болг. диал. *вър-вол-ицам се* 'ходить туда-сюда без дела' : словен. *vr-v-éti* '(о скоплении людей) кишеть, шуметь' и др. Их следует считать взаимосвязанными, а формы с полной редупликацией исходными.

6. От формы с неполной редупликацией, в которой в препозиции повторяется начало редупликанта, вследствие гаплогонии может образоваться нередуплицированная языковая форма с тем же значением, что и исходная редуплицированная форма. Ср. чешск. диал. *bélat* 'кивать, давать знак рукой; качать, колебать' и *bam-bul-ati*, *bam-byl-ati*, *bom-bol-ati*, *bom-bél-at*, *blom-bél-at*, *bum-bul-at*, *bam-b-at* 'то же'; болг. диал. *муръз*, сербск. *muruz* и болг. диал. *мо-мор-óзь*, *мý-мур-узъ*, сербск. *ти-тир-уз*. Такие случаи наводят на мысль, что целесообразно проверять возможность звуко-символического происхождения также и для слов с нередуплицированной формой, если для них можно установить формальную и семантическую близость с рядом слов с редупликацией.

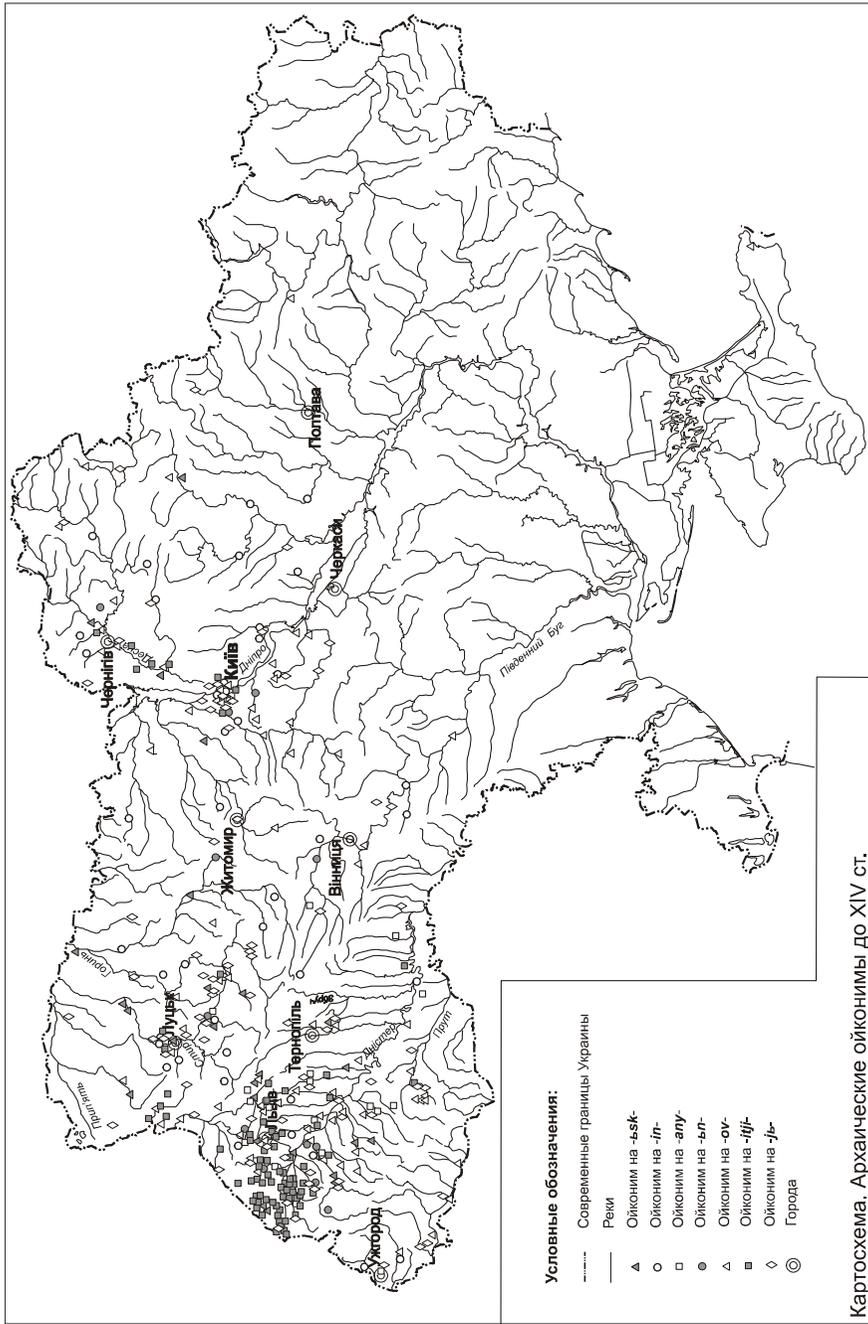
З. О. Купчинская (Львов)

Ареал архаической ойконимии Украины

Архаическая ойконимия (названия на **-jь*, **-ьскъ*, **-ань*, **-инь*, **-ень*, **-ьнъ*, **-ьно*, **-itji*, **-инь*, **-овь/*-евъ*, **-ану*) представляет собой разветвленную систему формантов, производящих основ, способов их образования, ареалов и т. п. Эта система сформировалась на праславянском уровне, о чем свидетельствуют некоторые факты: 1) общие исторические, географические, социально-экономические предпосылки возникновения таких названий; 2) большинство ойкомоделей свидетельствует о древности их зарождения и функционирования (посессивные, патронимические, отапельлятивные); 3) все архаические ойконимы – общеславянские типы географических названий; 4) большинство производящих основ этого онимного пласта – славянского происхождения; 5) все типы древнего ойконимикона сформировали общеславянский ареал.

В украинском архаическом ойконимиконе условно можно выделить три группы: 1) географические названия, сформировавшиеся на базе относительных прилагательных: модели на **-ьскъ*, **-ьн-*; 2) ойконимы *pluralia tantum*, характерные для родового строя общества и колонизации новой территории: модели на **-ану*, **-itji*; 3) посессивы как результат субстантивации притяжательных прилагательных: модели на **-jь-*, **-инь*, **-овь/-евъ*.

За каждым ойконимным типом в ономастической литературе закрепились соответственная дефиниция: **-ану* – локально-этнические, **-itji* – патронимические, **-инь* – посессивные и т. п. Но такой характеристике соответствует только самый ранний этап формирования названий, в процессе развития ойконимной системы происходит «перетекание» одной номинативно-семантической группы ойконимов в другую: географические названия на **-itji* постепенно приобретали посессивную и катойконимическую окраску, ойконимы на **-ану* частично омонимизировались с отфамильными на *-у/ы*, притяжательные прилагательные через субстантивацию не всегда переходили в посессивы, с течением времени такие ойконимы приобретали оттенок относительности, модели на **-ьскъ*, **-ьн-*, которые традиционно называют относительными и были своеобразными архетипами в славянской ойконимии, теряют связь с основным значением суффикса, и такого типа названия в большом количестве образуются в поздний период чисто формальным способом. Такие изменения свидетельствуют о четко сформировавшейся за длительное время системе и об исключениях из правил, которые реализовались в определенных тенденциях нарушений в рамках системы архаической ойконимии. Эти нарушения зависят в первую очередь от времени: чем ближе к современному этапу развития ойконимикона, тем больше таких исключений из системы. Поэтому представляем картосхему, которая отражает самый ранний документированный период развития архаической ойконимии, еще не подвергнувшейся тем нарушениям, которые проявляются в последующие столетия.



Условные обозначения:

----- Современные границы Украины

— Реки

▲ Ойконим на *-ьск-*

○ Ойконим на *-ин-*

□ Ойконим на *-лу-*

● Ойконим на *-ьл-*

△ Ойконим на *-ов-*

■ Ойконим на *-ий-*

◇ Ойконим на *-л-*

◎ Города

Картохема. Архаические ойконимы до XIV ст.

География архаических ойконимов всех типов (*-jb, *-bskъ, *-bn-, *-itji, *-inъ, *-ovъ, *-anu) репрезентирует юго-западную, западную, северную, северо-восточную и центральную Украину. Ареалы всех древних типов географических названий в основном совпадают. Интересно, что архаические названия расположены на территории Украины единичными вкраплениями именно в тех местах, где в последующие периоды будет наибольшее скопление данных типов ойконимов (см. картосхему). Они сосредоточены вблизи самых древних восточнославянских центров (Галич, Львов, Луцк, Киев, Чернигов), а это та территория, которая географически и исторически была выгодной и удобной для заселения и освоения.

Украинская зона является юго-восточной частью общеславянского ареала архаической ойконимии.

Александр Лома (Белград)

К проблеме раннеславянских иранизмов

Учитывая диалектное членение древне- и среднеиранских языков, можно различать по меньшей мере два пласта праславянских иранизмов — более древний скифский и позднейший сарматско-аланский. Характерные черты последнего являются менее спорными, поскольку нет сомнения, что у языка древних сарматов и аланов есть современный потомок — осетинский язык. В данном докладе мы сосредоточимся на одном историко-географическом сегменте славяно-иранских языковых контактов, предположительно происходивших в междуречье Дуная и Тиссы с первой половины I века новой эры, когда там поселилось сарматское племя языгов, сохранившее независимость и после завоевания Дакии Траяном, так что их область в течение двух столетий представляла собой выступ варварского мира, клиновидно вытянутый в глубину Римского царства и примыкающий с севера к среднему Дунаю. В предшествующих работах нами уже было выдвинуто предположение, что некоторая географическая информация о среднем Подунавье могла попасть к праславянам в Закарпатье через языгское посредство, в частности имена рек Тиссы и Савы (*Tīsa* > *Tīsa*, с для сарматско-аланского характерным переходом *š* > *s*; *Sāvo-* > *Sāva*, с продлением корневого гласного под влиянием сарматского прилагательного **sāva-* > осет. *saw* ‘черный’, ср. у Иордана гидроним *Aqua Nigra*, относящийся, по всей вероятности, к Саве). Само племенное имя, в латинской передаче *Iazyges*, *Iāzūges*, должно было быть знакомо славянам; возможно, что серб. *Jāzak*, род. *Jācka*, название деревни и монастыря в Среме, хотя и засвидетельствовано только с XVI в., восходит к позднепраславянской форме их имени: *(*selo*, *vъsbъ*) *Jazъgъ* (род. мн. ч.) ‘поселение языгов’, если допустить, что славяне застали там остатки языгов, переселившихся по то сторону Дуная, в пределы римской провинции Нижняя Паннония, и обозначили их именем, звуковой вид которого

(сохранение начального *j-*) указывает, что оно не было заимствовано ими у романских туземцев, а принесено ими со своей прежней родины.

Как нам представляется, присутствие иранских кочевников и отсутствие римской власти в потисском коридоре в первые столетия нашей эры благоприятствовало раннему проникновению славян с верховьев Тисы в Паннонский бассейн. Допустимо, что некоторые топономастические и этнографические архаизмы, пережившие в Банате тысячелетное господство венгров, восходят к этому времени. До сих пор неизвестно, из каких этнических элементов состояло оседлое земледельческое население земли языгов, которое источники четко отличают от господствующего, по-видимому, ираноязычного сословия, состоящего из кочевых скотоводцев. Последние обозначены Аммианом как «свободные (*Liberi*) сарматы», первые – как их «рабы» (*Servi*); больше того, в языке «свободных» существовало особое прозвище для «рабов», в латинской передаче *Limigantes*. Нам представляется довольно убедительным анализ его как словосложения из др.-иран. **r(a)im-* (хот. *rrīma* ‘фекалии, грязь и т. п.’) и **kant(h)a-* ‘здание, поселение, город’ (осет. *kænt*, сак. *kanthā*, и т. п.) с закономерными для сарматско-аланского развития (переход *ri > li*, озвучение *-k-* между согласными). Речь шла бы о насмешливом обозначении кочующими в кибитках скотоводами оседлых земледельцев, живущих в землянках, вместе со скотом: «те, чьи дома в грязи, навозе, помете». Эта этимология выдвигает экстралингвистические, в частности археологические вопросы, бросая новый свет на нами уже указаную возможность связи слав. **kŕtja* с иранским словом, а с другой стороны и на очевидно антонимное (само)название «свободных» сарматов *Aracaragantes*; если принять предложенное выше толкование имени *Limi-gantes*, в *arkara-* можно прежде всего искать какое-то слово для ‘кибитки’. Выделение во второй части словосложения *-gantes*, а не *-antes*, не исключает связь между ним и именем антов (*Ántes*, *Ántai*), если допустить, что последнее возникло гипокористическим сокращением из *Limigantes*, *Aracaragantes*, подобно тому, как имя нижнедунайских гетов (*Gétai*) выводится из скифских этнонимов типа *Thyssagétai*, *Tyregétai*, *Massagétai*.

И. И. Муллонен (Петрозаводск)

Историко-культурная интерпретация русских топонимных ареалов Карелии

Культура Карелии возникла на стыке двух культурных традиций – прибалтийско-финской и русской и явилась результатом их взаимодействия и взаимопроникновения. Активное русское (псковско-новгородское) освоение территории Карелии начинается, видимо, уже с середины XIII в. В ходе работы над проектом «Топонимический атлас Карелии», решающим задачу формирования этнокультурной карты Карелии на материале топонимии, подготовлен набор из 70 карт, на которых представлены ареалы отдельных прибалтийско-финских

(карельских, вепских), русских, саамских топонимов территории Карелии. Картографированию подвергнуты как структурные, так и лексико-семантические модели, заключающие в себе этноязыковую и этноисторическую информацию. Каждая карта сопровождается комментарием, в котором предлагается анализ выявленных ареалов. Основным источником материала служит Карта-тека топонимов Карелии и сопредельных областей, хранящаяся в Институте языка, литературы и истории КарНЦ РАН. Карта-основа выходит за пределы современных административных границ Карелии, что позволяет реконструировать относительно целостные топонимные ареалы. Восточная граница проходит по реке Онеге, на юге территория достигает Белого озера, на западе включает восточные районы Финляндии. В качестве территориальной единицы для картографирования выступает волость.

В атласе представлен ряд карт дистрибутивных русских топонимных моделей, реконструирующих фрагменты русской истории территории. Одна из карт демонстрирует ареал топоосновы *острець* или *остреч* 'окунь', представленной названиями рек и озер (оз. *Остречье*, р. *Остречина*). Ареал топонимов четко ложится на транзитный водный путь из Ладожского озера в Онежское, из которого путь продолжался либо на восток в Заволочье, либо на север в Поморье. Именно вдоль этих путей формируется «русская» Карелия, представленная этнолокальными группами русских (поморы, заонежане, водлозеры, выгозеры).

Названный маршрут русского (новгородского) освоения Карелии маркируется и ойконимами с формантом *-ицы/-ичи* (*Печеницы*, *Пижевичи*, *Койкиницы*, *Тайгиницы*), служившим для языковой адаптации прибалтийско-финских оригинальных топонимов. Наиболее ранние фиксации модели в топонимии Карелии относятся к XIII–XV вв. Ареал модели не выходит на восток за пределы Обонежья и связан с традицией именования, пришедшей из южного и юго-восточного Приладожья с новгородским освоением в первые века второго тысячелетия. Вторая характерная особенность ареала заключается в том, что его северная граница накладывается на границу северного земледелия, маркируя тем самым хозяйственный тип культуры носителей топонимной модели *-ичи/-ицы*.

В то же время в восточной Карелии – в Поморье и восточном Обонежье – фиксируются топонимы, свидетельствующие о проникновении этнокультурного и языкового влияния с востока, из архангельских земель. Среди них названия с основой *залаз-* (*Залазное озеро*, *Залазной мох*, *Залазная корга*, *Залазной мыс*, *Залазной остров*, *Залозное поле* и др.). Она хорошо представлена в топонимии северных и центральных районов Архангельской области, причем на значительно более обширной территории, чем в собственно лексическом употреблении. За топоосновой стоит архангельская диалектная лексема *залазь* 'высокая ель, у которой на верхушке условно обрубаются ветви для приметы' (Даль). Судя по ареалу, речь должна идти об архангельской инновации, производной от глагола *залазить*. Русские говоры Карелии этой лексемы не знают. Самым западным районом проникновения архангельского термина следует, видимо, считать За-

онежский полуостров на северном берегу Онежского озера, где обнаружено по крайней мере три топонима (остров *Залазник*, *Залазный бор* и *Залазный остров*) с этой основой.

На Обонежье приходится граница двух речных суффиксальных моделей: названия рек с формантом *-ина* (*Ивина*, *Важина*, *Неглинка*, *Марина*, *Остречина*, *Чебина* и др.) преобладают вдоль западного побережья Онежского озера, а с формантом *-ица* (*Шалица*, *Тамбица*, *Возрица*, *Падрица*, *Рагбица*, *Ухтица*, *Ялмица*) вдоль восточного. При этом противостояние не ограничивается Обонежьем, граница носит в рамках севера глобальный характер, поскольку к востоку от Онежского озера в бассейнах рек Онеги и Северной Двины господствует модель *-ица*. Обе гидронимные модели сформировались далеко за юго-западными пределами Обонежья, в ходе продвижения на север оба речных форманта приобрели функцию «адаптера» иноязычного топонима к русской системе называния. Видимо, за названными моделями стоят несколько разные потоки русского освоения Карелии: *-ина* маркирует продвижение из Поволжья через Присвирье и, возможно, связана с Ладогой как центром освоения. Данный маршрут подтверждает и ареал ойконимов на *-ичи/-ицы* в Обонежье. Модель *-ица* связана, скорее, с тем маршрутом, который исходил из Новгорода в направлении Белозерья и достигал восточного Обонежья в обход с юга и юго-востока.

Таким образом, картографирование топонимов реконструирует два основных маршрута традиционного русского освоения Карелии, исходившего из новгородской округи и достигавшего Обонежья разными путями, маркированными дистрибутирующими топонимными моделями. При этом топонимия намечает северную границу крестьянского (не промыслового) освоения территории на Онежско-Беломорском водоразделе.

К. В. Пьянкова (Екатеринбург)

Обозначения кислого молока в русских диалектах: семантико-мотивационный аспект*

В традиционном рационе славян значимое место занимали продукты, приготовленные путем ферментации или брожения – квашеные овощи, кисло-молочная пища, хлеб из кислого теста. По этой причине весьма многочисленна и соответствующая группа диалектной лексики. Ведущую роль в формировании лексики брожения, скисания играют корни **kvas-/*kys-/*kyš-*, имеющие, по мнению большинства этимологов, общую исходную семантику ‘киснуть, кваситься’, ср. рус. *кислое молоко*, рус. диал. *кислица* ‘скисшее молоко, простоква-

* Публикация подготовлена при финансовой поддержке госконтракта 14.740.11.0229 на проведение НИР в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (тема «Современная русская деревня в социо- и этнолингвистическом освещении»).

ша', *квашня* 'опара', *квашеная капуста*; *кíшeный* 'кислый (о молоке и т. п.)'. Аналогичные примеры существуют и в других славянских языках.

При рассмотрении данной тематической группы в семантико-мотивационном аспекте следует учитывать денотативную отнесенность значений, поскольку помимо мотивационных моделей, характерных для слов со значением 'пища, приготовленная путем брожения; кислая пища' в целом, существует ряд индивидуальных, присущих наименованиям конкретных продуктов: теста, кваса (пива, вина), молока.

В обозначениях кислого, сквашенного молока и процесса его скисания отмечается внешняя модификация продукта, изменение вкуса, начало каких-либо изменений вообще, а также «возраст» продукта. Одно из наиболее ярких внешних изменений – отделение белкового сгустка от сыворотки – осмысливается в следующих мотивационных моделях.

'Резать' → 'скисать': волог. *обрезлый* 'кислый (о молоке)'; *бритый* 'то же', новг. *побритуха*, ленингр. *бретик*, волог. *бритое молоко* 'кислое молоко', восходящие к праславянскому глаголу **briti*, связанному в конечном счете с и.-е. **bher-* 'резать'. Мотив «отделения» нагляднее проявляется в значениях 'снятое молоко' (т. е. 'такое, с которого «сняли» верхнюю часть – сливки'), ср. волог., твер. *бритый* 'снятый (о молоке)'. Аналогичная семантическая модель встречается и в иных славянских языках, что было отмечено А. Е. Аникиным (1988: 286–287), Т. В. Горячевой (1975: 95), ср. болг. *пресечено мляко* 'свернувшееся молоко', словац. *seknút' sa* 'киснуть', *sraziti se* 'свернуться (о молоке)'.
'Стягивать, сжимать' → 'киснуть': арханг. *отужі́ться (отужіть)*

'забродить, закиснуть (о молоке, тесте и т. п.)' – «Хорошая сметана, она еще не отужилась», *отту́живать молоко* 'творожить молоко', *отту́живальне молоко* 'творог', ср. рус. *тугой*, др.-рус. *тугъ, тугый* 'твердый, крепкий', восходящие к праслав. **tǫgъ*. С этой же семантической моделью Т. В. Горячева (1986: 48) связывает словен. *utrđniti se* 'скиснуть', соотносимое с словенским глаголом *utrđniti* (< **utvřrdnōti*) 'затвердеть', а для укр. карпат. *стинається* 'сидиться (о молоке)' исследовательница предполагает родство с праслав. **tęti*, **tъnъ* 'стягивать'. Связью с этой праславянской основой может быть объяснено и твер. *стеті́ха*, яросл. *стеті́ха* 'кислое молоко; простокваша'.

'Сворачиваться, переворачиваться' → 'скисать': литер. *свернуться* 'скиснуть (о молоке)', яросл. *свёртыши* 'свернувшееся молоко', рус. в Карелии *перевертываться (перевернуться)* 'прокиснуть, свернуться (о молоке)'. Здесь же можно упомянуть и печор. *дробі́новой (-ый)* 'свернувшийся (о молоке)', в котором рассматриваемая модель получает метафорическое наполнение – 'скиснув, стать подобным гуще, остаткам от приготовления пива' (ср. диал. *дробина* 'отходы при изготовлении кваса, пива; гущи').

'Вариться, кипеть' → 'киснуть': печор. *кипеть* 'бродить, закисать' – «Всё тепло, да всё кипит молоко, киснёт»; рус. в Карелии *вариться* 'киснуть (о молоке)', *варом варит* 'киснет (о молоке)' – «Такая жара стоит, молоко варом

варит, не успеешь оглянуться», *свариться* ‘скиснуть, свернуться (о молоке)’, ср. также польск. *zwarzyć* ‘створожить (молоко)’, *zwarzyć się* ‘свернуться (о молоке)’, н.-луж. *zewrés se, zewrés se* ‘сворачиваться, скисать (особенно: о молоке)’.

‘Опускаться, садиться’ → ‘скисать’: рус. диал. широкого распространения *сесть* (*ссесться*), перм. *ссястись* ‘скиснуть (о молоке)’, яросл. *седлуха, сседьш* ‘простокваша’, польск. *mleko zsiadłe* ‘скисшее молоко’.

‘Подвергаться действию влаги, выделять влагу’ → ‘скисать’: рус. диал. широкого распространения *мозгнуть* ‘портиться, киснуть (о продуктах)’ – «Молоко три дня мозгнет в чулане», рус. в Карелии *мозглое молоко* ‘кислое молоко’, арханг. *омозглый* ‘кислый (о молоке)’. Для праславянских форм **mъzgъ/*mъzga*, к которым восходят приведенные лексемы, реконструируется исходный индоевропейский корень **meu(ə)-* с расширением **zg (< *sk)* со значением ‘влажный, грязный; пачкать, мыть’, ср. *мозгом пойти* ‘отсырев, сгнить’. Возможно, имеется в виду отделение сыворотки при скисании молока.

В ряде наименований – в основном через глаголы движения – отмечается начало каких-либо изменений вообще, ср. ‘изменить состояние, сдвинуться’ → ‘начать скисать’: мурман., р. Урал, смол. *дрогнуть* – «Молоко дрогнет, так не простокваша, а уже пресно молоко», псков., твер. *потревожиться* (ср. диал. *тревожить* ‘мешать’), *потронуться, покрянуться (покренуться)* ‘начать киснуть (о пище, молоке)’ (ср. диал. *покрянуться* ‘сдвинуться с места’); волог. *помеиаться* ‘скиснуть (о молоке)’.

Реализация темпоральной модели носит энантиосемический характер: кислое молоко может представляться и как ‘старое’ и как ‘только что скисшее’. Ср., с одной стороны, новг. *старо молоко* ‘скисшее молоко, на котором образовалась сметана’, волог. *заднее молоко* ‘испорченное, прокисшее’ (ср. *задний* ‘старый, прежний’), с другой – твер. *молодое молоко*, арханг., волог., печор. *свежее молоко* ‘кислое молоко, простокваша’ – «Подкиснет, будет свежее молоко – нынче простокваша», арханг. *сосвежиться* ‘скиснуть (о молоке)’ – «Пресное молоко – оно из-под коровы, а как сосвежится – то свежее молоко, простокваша».

Приведенные семантические модели в большей степени характерны для группы слов, называющих процесс скисания молока (а иногда и «снятое» молоко). Своими мотивационными доминантами характеризуются наименования кислого как вкусовой, перцептивной категории, кислого как испорченного, несъедобного, а также обозначения процесса брожения теста/пива (например, именно такое брожение в севернорусских говорах описывается через дериват глагола *жить*). Различной оказывается и метафорическая, символическая оценка этих явлений. Например, немало слов, называющих скисание молока, имеет метеорологический семантический регистр, а в наименованиях процесса брожения теста или пива прослеживается идея его антропоморфизации.

Горячева 1975 – Горячева Т. В. К этимологии русск. диал. *стеня* ‘ледяное сало’ // Этимология 1973. М., 1975. С. 95–97.

Горячева 1986 – Горячева Т. В. К изучению славянской метеорологической терминологии // Этимология 1984. М., 1986. С. 43–49.

André Sz. Szelp (Wien)

On the Identification of Avar elements in Slavic.

**korgulь as an Avar word*

In my talk I will show by utilizing comparative, historical, and in particular areal evidence, that the dichotomy in the Slavic word **kragulь* ~ **kragujь* ‘ястреб; goshawk, sparrowhawk’ is the result of two independent borrowings. That is, the two forms are actually doublettes in Slavic. The *j*-form is a borrowing from Turkic, while the *lj*-form can be shown to originate in all probability from the Avars.

Historical Background. The Avars, arriving in the mid-sixth century, were to dominate the Carpathian Basin and the surrounding areas for the next two and a half centuries. Their political influence waned in the early ninth century, but Avaric groups must have remained in the area for some time. The Slavic expansion began some decades earlier, and its source and reason surely lies outside of the Avar paradigm, being independent of them. However, even while the exact nature of the Slavic–Avar relationship might be a matter of dispute, there is consensus that the Avars played a crucial role in the Slavic expansion, in particular to the south and to the west.

The Language of the Avars is one of the great mysteries of early medieval Europe, and due to the lack of (decipherable) written records, the question remains difficult to resolve. Most suggestions made must be considered educated guesses, rather than informed opinion, though the recent suggestions of Хелимский must be mentioned as being very inspiring, breaking with the paradigm of building entirely on names and honorary titles alone. What must not be forgotten is that the Avars were in all probability a multi-ethnic and multi-lingual people.

While we are lacking positive evidence for the language-affiliation of the Avars, negative evidence can be cited to support which language group they did *not* belong to: had the Avars been of the Turkic kin, we’d expect more words of Turkic origin (in particular super- and adstratic in nature) in the South and West Slavic languages. Of course, Church Slavonic of Bulgarian origin and the Kipchak Turkic words of East Slavic do not belong here and must be disregarded.

Findings and Results. By careful analysis (and in particular by including a third language in addition to Turkic and Slavic, namely Hungarian), I can show the Slavic word for ‘goshawk, sparrowhawk’ to be a double borrowing, one of them originating in Avar. By this we can not only establish the existence of Avar words in Slavic, but we can also learn about a *particular* sound correspondence between Turkic and the Avar language for which to look out in future investigations into the matter.

The *l*-sound of Avar was substituted by *j* in Turkic. (Note that this does not prohibit Avar words with an original *j* to stay misclassified as Turkic, though).

As the evident result of our investigation, I propose a revised etymology (or more exactly «chain of transmission») for the word in question, which above all solves all the problems and mysteries of the current view.

The Current Etymology of the word **korgul(j)ь*, a word present in almost all if not all Slavic languages has cognates in Hungarian and Turkic. As neither the Hungarian word can be deduced from Slavic, nor could the Slavic word possibly originate from Hungarian (due to phonetic reasons), the *opinio communis* is that both the Slavic and Hungarian words would stem from a Turkic form, **qirγuj*. While one of the Slavic forms can be reduced to be a borrowing from Turkic, the other one poses considerable phonetic problems by the presence of a palatal *l* corresponding to the Turkic *j*. A **j > *l* change is only attested after labial consonants in Slavic. Intriguingly, while at the time of contact the Hungarian and Slavic form must have diverged so much that a mutual contamination seems improbable, Hungarian too shows an – equally irregular and inexplicable – *ly*-correspondence of the Turkic *j*-sound.

Areal distribution. After separating out later inner-Slavic borrowings (cf. ЭССЯ), the areal distribution of the Slavic variants is striking: we can identify two core regions: the Circum-Pannonian (Czech, Slovak, Slovene and Serbo-Croatian) area and the Lower Danube (Bulgarian–Macedonian). The routes of the inter-Slavic spread can be clearly traced back to the influence of the Church Slavonic vs. the Latin rite, the former feeding on the Bulgarian variant containing *j*, the latter being catalysed by Polish.

Anomalies in the Circum-Pannonian Slavic languages (i.e. *j* instead of *l*) are explainable by later phonological changes (such as in Čakavian, where *lj > j* development is relatively recent and all-encompassing) or can be traced back to the Church Slavonic tradition as well (competing forms of *kràgūlj ~ kràgūj* in Serbo-Croatian or *kragujec : kragulik* in Czech).

The geographic separation and the identification of the feature *l : j* with the areal distribution Carpathian/Circum-Pannonian vs. Lower Danube region is further solidified with the Hungarian correspondence featuring *ly* in the core area of the Carpathian Basin.

Historical Context. These two geographical regions, when put into the historical context, can be immediately identified with two distinct groups originating from the Eurasian steppes: the Avars whose centre of power lay in the Carpathian Plains (from the sixth century onwards) and the Danube Bulgars who established themselves south of the Lower Danube around the end of the seventh century.

This points us to the proposition that the Circum-Pannonian *l*-form was transmitted by the Avars and the Bulgarian–Church Slavonic *j*-form originates from the Turkic-speaking Danube Bulgars.

Relationship of the Two Forms. The question that remains to be answered in order to give a solid foundation to our theory is: how does the proposed transmitting

Avar **qarγul'* relate to the Turkish ending in **-j*? Fortunately we can give a satisfying answer by looking at the history of the Avars, at Turkic cultural history and finally by our linguistic knowledge of Old Turkic.

The Turks borrowed much from their former rulers. In particular, they borrowed the vocabulary of horseback warrior aristocracy, as it is witnessed by the titles *qayan* or *qatun* and several more, which were first attested in Chinese sources to be used by the Žuan-Žuan, the former rulers of the Turkic tribes, and which became widespread by the Turkish expansion. The Avars of Europe, who arrived as a once mighty group beaten by the aspiring Turks are most often identified with the Žuan-Žuan (though other theories persist). It's quite clear, that the Turks did not only borrow the horseback warrior aristocracy's titles, but also other words belonging to their culture. Falconry belonged ever since to the attributes and favourite occupation of the ruling class of the steppes. Thus it is quite thinkable that the names of several birds of prey were taken from the language of their rulers along with the art of falconry (and indeed, some of them seem «un-Turkic», cf. Doerfer TMEN s.v. *turumtai*).

Turkic speakers adopting a Proto-Avar **qarγul'* would have to substitute the *l'* lacking the sound in their phonological system. The Turkic *l* might have been palatalized (but not palatal) as an allophone in words containing *front vowels*. In words containing back vowels – like the *a, u* of **qarγul'* – their *l* would be even velarized [ɫ]. Of the two natural choices of substituting a Proto-Avar **l'* in back vowel context, they seemingly preferred *j* to *l*, as it is witnessed by our word.

We can support this by another bird of prey's name, Turkic **turumtaj*, which is found in Hungarian as *Torntál*. Notably, Doerfer remarks that *turumtai* is in all probability a borrowing from another (hitherto unidentified) language.

The Newly Proposed Etymology might be sketched as such: the Proto-Avars of Eurasia (the Žuan-Žuan?) borrowed **qarγul'* to the Turks some time before the mid-sixth century, who adopted the word in the form **qarγuj*. After moving to the Carpathian Basin, the same word was taken over by the Slavs of the region (the future Czechs, Slovaks, Slovenes, Serbs and Croats) after 568 but before the **tort > *trat* metathesis ceased to be in effect. After the Danube Bulgars moved to the Lower Danube, they in turn gave the word—with its Turkic *j*-ending—to the Slavs of Moesia, Thracia and Macedonia, the future Bulgarians, where from the Church Slavonic form *кразуи* (which is used in some editions of the *Vita Constantini*) originates. In the late ninth century Avaric groups, though by that time politically and militarily irrelevant, were still remaining in the Pannonian Plains. It was them, from whom Hungarian *karvaly*—and presumably *Torontál*—with its un-Turkic *l'*-ending (instead of *j*) was taken.

Summary. I have thus presented an updated etymology of the words *karvaly* : **kragu(l)jb* : *q̄irγuj* which explains the question marks of the etymological *status quo*. Furthermore we have identified not only an element of the Avar lexicon, but also a sound correspondence between Avar and Turkic which might help in finding further words of eventually Avar origin, namely Proto-Avar **l'* > Proto-Turkic **j-in*

back vowel context. (Remember though, that due to the palatalized nature of *l* in Turkic, in front vowel context Avar **l* might even have been substituted with **l̥* in as opposed to **j* and that in potential Avar loanwords an original Proto-Avar **j* will also be reflected as Turkic **j*. However, in these cases we wouldn't have any evidence to support an etymology beyond, deeper than Turkic.)

Е. В. Сердюкова (Ростов-на-Дону)

Ономасиологический аспект праславянских названий растений

Изучение моделей номинации может быть очень важным доказательством объективности этимологического анализа. Объектом исследования стали названия сосны (*Pinus*) в русском (русск.) и других славянских языках. В русск. языке и говорах встречаются слова: *сосна*, *хвоя*, *смолина*, *борина* (др.-рус. *борь*) и др.

В славянских языках не сохранились индоевропейские (и.-е.) названия сосны. Основной мотив, известный в и.-е. языках для названия хвойных растений, имеет семантический признак 'колоть', 'колючий', зафиксированный в греческом, германских и балтийских языках. В славянских языках к словам с такой семантической моделью можно отнести праславянское **xvoja/*xvojь* (ЭССЯ). Значение 'сосна' или 'хвойное дерево' оно получило в говорах Полесья, в украинском, белорусском и некоторых др. славянских языках. Другой мотив номинации, распространенный в и.-е. языках, встречается в слове *смолина*. В значении 'сосна' оно употребляется только в говорах Полесья, а в русск. говорах известны слова *смольё* 'сосновые шишки', *смоляк* 'сосновый сок', указывающие на связь слова *смола* с сосной. У славян эти модели не получили широкого распространения, так как носили локальный характер, а для номинации хвойных деревьев были использованы другие модели.

Слово *борь* является праславянским, сохранилось во всех славянских языках, но семантика его различна в отдельных группах славянских языков. В современных в.-сл. и западнославянских (з.-сл.) языках основным является значение 'сосновый лес'. И только южнославянские (ю.-сл.) языки сохранили значение 'сосна'. Слово *бор* многозначно, особенно в говорах, отсюда встает вопрос о самом архаичном значении. К. Мошинский, Э. Бернекер, А. Брюкнер, В. В. Мартынов высказывали различные, иногда противоречивые точки зрения об этимологии этого слова (ЭССЯ). Среди множества значений у слова *бор* находим противоположные, полярные значения. В СлРЯ слово *бор* 'сосновый лес, растущий на сухом возвышенном месте'. В говорах, как правило, мы сталкиваемся с полисемией данного слова. В СРНГ отмечается шесть значений, пять из них имеют значение рельефности. Значение 'лес вообще, большой лес' в говорах имеет дополнительный семантический признак, указывающий на место произрастания (рельефность) или на разновидность леса 'сосновый лес на сухом пе-

счаном месте'. Наиболее распространенными значениями у слова *бор* в в.-сл. и з.-сл. языках являются: 'возвышенность', 'лес на возвышенности', 'хвойный лес', 'сосновый лес', а для ю.-сл. языков – 'сосна'. Это значение было также известно в древнерусском языке, зафиксировано в некоторых з.-сл. говорах. Вопрос заключается в том, какое из значений самое древнее. Н. И. Толстой (1978) считал, что значение 'возвышенность', 'лес на возвышенном месте' являются самыми архаичными. Об этом свидетельствуют данные памятников письменности, исторические и областные словари, широкое территориальное распространение этих значений. В СлРЯ XI–XVII вв. у слова *боръ* отмечается три значения: 'хвойный, преимущественно сосновый лес'; 'сухое возвышенное место, где обычно растут сосны'; 'сосна'. В словаре Срезневского отмечено только два значения: 'сосна' и 'сосновый лес'. Но в русск. говорах для слова *бор* и его производных нет значения 'сосна' или 'хвойное дерево', Принимая во внимание эти данные, можно согласиться с точкой зрения Н. И. Толстого и предположить следующий путь семантического развития: 'возвышенное место' → 'лес на возвышенности' → 'сосновый лес на возвышенности' → 'сосновый лес' → 'сосна'. Этот семантический ряд не совпадает с тем, который предложил В. В. Мартынов. Он считал, что наиболее архаичным значением в славянских языках для слова **borъ* является 'сосна', которое известно в ю.-сл. языках. Поэтому, по его мнению, слово *бор* имеет следующий путь семантического развития: 'сосна' → 'сосновый лес' → 'лес'. Рельефные значения он не принимает во внимание, хотя они встречаются не только в в.-сл. и з.-сл. языках, но и в ю.-сл.: серб.-хорв. черногорск. *бор* 'возвышение', 'впадина', 'каменное возвышенное место' и др. Особое значение эти факты приобретают в связи с тем, что Й. Русек обнаружил в болгарских памятниках X–XIV вв. слово **sosna*, Т. Стаматовский зафиксировал это слово в македонской топонимии. В докладе на IX конгрессе славистов Й. Русек на основе этих фактов обосновывал общеславянское распространение слова *sosna*, считающегося до этого севернославянскими диалектизмом (Мельничук 1984: 120). Н. И. Толстой полагает, что «у южных славян или их предков, вероятно, слово **sosna* было вытеснено словом **borъ* 'сосна'. В таком случае значение слова **borъ* 'сосна' не архаизм, а инновация (праславянская или более поздняя)» (Толстой 1978: 120). Общепринятая этимология слова **borъ* также не противоречит этому. Славянское **borъ* родственно др.-англ. *bearu* 'лес, роща' и т. д. Семантический переход 'гора, возвышенность' → 'лес' является почти универсальным. Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов отмечают такой семантический сдвиг не только в и.-е., в частности славянских и балтийских, но и тюркских, финно-угорских языках (Гамкрелидзе, Иванов 1984: 666). Переход 'лес' → 'дерево' для славянских языков более типичен, чем 'дерево' → 'лес'. Ср. болг. *гора* 'лес', а *горун* 'дуб'.

Славянское *сосна* в значении 'сосна' является наиболее архаичным, его этимология также укладывается в рамки известных этимологий для названий деревьев. Славянское **sosna* восходит к и.-е. корню **kasnos* 'серый'. Семанти-

ческий сдвиг ‘цвет’ → ‘название растения’ – распространенная модель номинации растений (ср. береза, берест, рябина).

ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 2; 8. М., 1975; 1981.

Толстой 1978 – Толстой Н. И. О славянских названиях деревьев: *сосна – хвоя – бор* // Восточнославянское и общее языкознание: сб. статей. М.: Наука, 1978. С. 115–127.

Мельничук 1984 – Мельничук А. С. Лингвистическая проблематика на IX Международном съезде славистов // Вопросы языкознания. 1984. № 5. С. 116–125.

Гамкрелидзе, Иванов 1984 – Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984.

Е. Л. Смаль (Киев)

Микротопонимы г. Киева в славянском языковом контексте

В работе «Очерк сравнительной грамматики славянских языков» С. Б. Бернштейн подчеркивал, что «...всякое сравнительно-историческое исследование начинается с этимологического анализа. С помощью этимологии мы устанавливаем древнейший состав морфем, которые затем подлежат всестороннему исследованию. Успех исследования в значительной части будет зависеть от этимологического анализа. Ошибка в этимологии толкнет исследователя по ложному пути... Таким образом, прежде необходимо установить этимологию данного слова, а уже затем включать его в цепь сравнений. Конечно, этимология, в свою очередь, зависит от сравнительно-исторического исследования. Последнее проверяет надежность этимологии, принимает ее или отвергает...» (Бернштейн 1961: 19).

Микротопонимы каждого населенного пункта своеобразны по семантике, словообразованию и грамматическим особенностям, а с другой стороны – имеют много общего. Топонимия Украины тесно связана с топонимией других славянских стран. Киевские микротопонимы часто выходят далеко за пределы города, страны и встречаются почти по всей территории Славии, поэтому этимология названий не может исследоваться в рамках одного языка, даже если она прозрачна.

Проиллюстрируем данный тезис несколькими примерами.

Бобровня (вар. *Большая Бобровня, оз., Бобровка, р., Бровня*), оз., ур. (Киев). Встречается в документах XVIII в.: 1724 г., «...**речки Бабровки...**»; «... **озеро называетца Бобровня...**». Сохранилось урочище и озеро Бобровня на территории о. Муромца в современном Киеве.

Основа **bobrь* широко представлена в топонимии Славии: укр. *Бобр*ик, р. (15 ед.), *Бобровина*, гелоним (Вл обл.), бол. (Рв обл.), *Боброво*, лимноним (Рв обл.); русск. *Бобров*, г., *Бобр*ик (4 ед.), *Боброво* (4 ед.), *Бобровое* (2 ед.) – гидронимы в бас. Оки; блр. *Бобр*ик (2 ед.) – левые притоки Припяти, *Бабровины* (Гродн. обл.), *Бобровина* (бывш. Минск. губ.); н.-луж. *Bobrik*, *Bobor* – антропонимы; болг. *Бѣброво* – топоним, *Бѣбъров* – антропоним; ст.-слвц. *Bobrova*; пол.

Bobrow, Bobrowo (3 ед.), *Bobr, Staw Bobry* – гидронимы; чеш. *Bobr/Bober, Bobrawa, Bobrava* – топонимы и под.

Квалифицированы аналогичные наименования как производные от псл. **bobrъ* ‘бобер’ (ЭССЯ 2: 144) (ср. блр. *бабравіна* «место, где водятся бобры»). Киевский микротопоним мог возникнуть и в результате онимизации апеллятива **bobrovъnja* (см.: ЭССЯ 2: 144–145). Первоначально суффикс с элементом **-н-** в подобных гидронимах указывал на характерную местность.

Рыбное, оз., ур. (Киев). Прослеживается на картах города XIX–XXI вв.

Названия озер и лежащих при них населенных пунктов в западной и юго-западной части славянской территории (в Чехии, Словакии, Словении, Польше, Германии, Сербии, Хорватии и др.), напр.: укр. *Рибна, Рыбница* (2 ед.) – гидронимы; русск. *Рыбное* – многочисленное количество рек (Арханг., Вят., Волог. губ.), *Рыбачье, г., Рыбинск, г. (Рыбная слобода), Рыбник, Рыбница* – озера и населенные пункты; блр. *Рыбалоў, Рыболова, Рыбчанка, Рыбнік* – микротопонимы Беларуси; болг. *Рибна (Рибнь), р.*; пол. *Rybna* – название многих гидрообъектов и др. Онимизация адъектива псл. **rybъnъ(jь)* ‘рыбный’.

Еловатый (вар. *Яловатый*), сен., ур. (Киев). Зафиксировано название на картах XIX–XX вв. и сохранилось в памяти старожилов, на современных карта г. Киева не прослеживается.

Основа **jalov-* широко представлена в ойконимии, гидронимии и микротопонимии славянских земель, ср.: укр. *Словиця* (вар. *Яловиця*), горное паст. (Чрв обл.), *Яловиця, ур., Ялове, ур., Яловацьк, с.* (Влн обл.), *Яловищизна, п.* (Рвн обл.), *Яловищина, ур., Ялова, луг, Ялова гребля, паст* (Чрг-См Полесье), *Яловиця, р., Яловець, пот., Ялове, пот., Яловий, пот., Ялова, б, Яловець, оз. и др.*; русск. *Яровской яр* (бас. Оки); блр. *Jaіowka, р., Ялоўка* (3 ед.), *Яловыя* (3 ед.), *Яловына, Ялово* – микротопонимы; болг. *Ялтвица, Ялов кладенец, Яловица (Йалуиць)* – гидронимы, *Яловина, паст., Ялов дол* – микротопонимы; пол. *Jałowica, Jałowice, Jałowinka, Jałowka, Jałowo, Jałowu, Jałowke* – водные объекты; слвн. *Jalovski Potok* – гидроним; серб. *Јаловац* – гидроним, гора *Јаловик*; слвц. *Jalovec (Jalovuianka), пот. и под.*

Многие исследователи указывают на основное общеславянское значение ‘бесплодности’, ‘неполноценности’, ‘недостаточности чего-либо’, ср.: слвн. **jalov-* ‘gelt, unfruchtbar’; болг., слвн. *jalovica* ‘неурожайная земля’; рум. *яловица* ‘бесплодная (местность)’. У некоторых слав. диал. **jalov-* ‘старое (пересохшее) течение реки, мелководье’, напр.: укр. *ялова* ‘старое русло реки’, *яловица* ‘старое русло реки с родниками’, *яловець* ‘болотная топь с подпочвенными родниковыми водами’; ‘болото’, т. е. влажное место с плохой землей, где ничего не растет; *ялівка* ‘течение реки (левое или правое) между берегом и серединой дна, которая выступает на поверхность воды, в основном во время засухи’; *ялова земля* ‘поле, которое плохо родит’; русск. (смол.) *яловый стаў* ‘став на плотине, не имеющий прямого отношения к мельнице, а служащий для стока воды’, (кур.) *яловая скрыня* ‘поток, на котором нет мельницы’; чеш.

jalová stoka ‘strouha, do které se zbytečná voda pouští’, *jalové stavídló* ‘kterým zbytečná voda se vypouští’ (подроб. см.: ЭССЯ 1: 69–70). Топонимы с элементом *-m-* в суффиксах (см. киевский микротопоним) происходят в основном от выразительных апеллятивов, которые характеризуют данный объект или местность со стороны их природных особенностей.

Все названия, мотивированные основами славянского происхождения, принадлежат к древним топонимным типам и обнаруживают соответствия в топонимии других славянских земель.

ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 1–. 8. М., 1974–.

Бернштейн 1961 – *Бернштейн С. Б.* Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Введение. Фонетика. М, 1961.

Сильво Торкар (Любляна)

К вопросу выявления славянских антропонимов в словенской топонимии

На основе фронтального просмотра словарей современных словенских географических названий, откорректированного поиском записей в исторических источниках, нами был выявлен относительно исчерпывающий корпус словенских отантропонимных топонимов (САТ).

В границах Республики Словении в результате исследования опознано около 700 отантропонимных топонимов, обозначающих около 800 населенных пунктов. На двуязычной территории австрийской части Каринтии и Штирии выявлено около 125 САТ, а на словенской этнической территории в Италии всего 11. Количество отантропонимных гидронимов достигает всего 60, а количество оронимов достигает 40. Если к этому причислить еще несколько сот отантропонимных микротопонимов, то общее количество САТ составляет больше 1400 единиц.

В силу специфических условий развития словенского языка, для которого характерна чрезвычайная диалектная раздробленность и который на протяжении тысячелетия (до 16-го, а во многом вплоть до 19-го века) развивался почти без собственной письменной традиции под сильнейшим влиянием языков немецких, итальянских и венгерских феодальных и церковных правителей, славянский антропономастикон в большой степени еще в 13–14 вв. был вытеснен христианским, который в большинстве своем является неславянским. Многие географические названия как в результате сильной диалектизации, так и в результате искаженного восприятия их ушами баварских и других писарей претерпели такие фонетические изменения, что их первоначальное звучание не всегда можно восстановить без внимательного анализа и сравнения с другим славянским ономастическим материалом.

В качестве иллюстрации мы на примере нескольких ойконимов (*Адлешичи, Вевче, Войско, Дескле, Ждинья вас, Козмерице*) и оронимов (*Богатин, Вишельница, Забочево, Саботин*) попытаемся показать, как восстанавливались географические названия, которые предыдущими исследователями были либо неверно истолкованы (их выводили из не тех антропонимов или вовсе из апеллятивов), либо еще не подвергались этимологическому анализу. Для того чтобы лучше понять сегодняшнюю словообразовательную структуру отдельных топонимов, необходимо проследить их развитие на основании как можно более полного набора исторических записей. Для того чтобы эти записи правильно прочесть и понять закономерности их фиксации немецкоязычными (и другими несловенскими) писателями, необходимо учитывать не только их письменные навыки, но и межъязыковые звуковые субституции, которые при этом происходили.

М. В. Турилова (Москва)

**Семантика ‘поврежденный, нецелый, пустой’
в номинациях сумасшествия в русском языке
(К проблеме антонимичности лексико-семантических полей)**

В некоторых случаях семантика исследуемой лексико-семантической группы может быть уточнена с учетом результатов этимологического и мотивационного анализа «смежных» (в частности, антонимичных) лексико-семантических полей.

Так, анализ группы слов со значением ‘прийти в себя, вернуться в ясное состояние сознания’, проведенный в ходе исследования лексико-семантического поля «Безумие» в русском языке, показал, что внутренняя форма обозначений «выздоровления» отсылает к тем же представлениям, что и лексика со значением «безумие». Мотивационные модели лексики со значением ‘прийти в себя’ антонимичны моделям номинаций безумия и производны от них (ср., например, амур. *светать в мозгах* [*vs помрачение* ‘потеря рассудка’]). Таким образом, значение ‘прийти в себя’ – это последний шаг ситуации «потеря рассудка». Это, в свою очередь, позволяет учитывать значения, на основе которых развивается семантика ‘прийти в себя’, при реконструкции представлений о безумии.

С другой стороны, рассмотрение антонимии «душевно здоровый» – «безумный» показало, что номинаций душевного здоровья на порядок меньше, чем болезни. Можно предположить, что мотивационные модели обозначений безумия, антонимичные обозначениям душевного здоровья, отражают наиболее актуальные в тот или иной период представления о душевном (не)здоровье. Так, например, на праславянском этапе здоровье представляется как целостность, неповрежденность (праслав. **сѣльъ*) означает ‘целый, неповрежденный, здоровый’). В некоторых славянских языках это представление распространяется и

на душевное здоровье (ср., например, др.-русск. *цѣльмъ умомъ* ‘в полном [здравом] рассудке’). Что касается номинаций сумасшествия, то большинство праславянских и диалектных мотивационных моделей обозначения безумия имеет в своей основе идею повреждения в широком смысле слова (физического, магического, уязвления словом и др.), однако несколько семантических переходов примечательны точной антонимией модели ‘целый’ → ‘здоровый’. Это прежде всего семантические переходы ‘нецелый’ → ‘сумасшедший’ (др.-русск. *лишенникъ* ‘безумец’, новг. *полишиться умомъ*) и ‘дырявый’ → ‘сумасшедший’ (праслав. **durъ(jь)*, русск. *дуракъ*, русск. диал. *ошутѣть* ‘сойти с ума’, *шут(ый)* ‘проклятый’). Поскольку праслав. **сѣль(jь)* ‘неповрежденный, целый’ означает также ‘полный’, что акцентирует другой аспект представления о здоровье, сюда отнесена и модель ‘пустой’ → ‘сумасшедший’ (яросл. *поломан* (< **polmę* от **pol-* ‘полюй, пустой’), *полоумный*, яросл. *опростѣть* ‘сойти с ума, поглупеть’ и др.).

В древнерусскую эпоху те же представления появятся вновь, вместе с христианскими текстами: здоровье телесное и душевное как непорочность, безумие как отступление от Бога и «трата» грехом, исцеление как прощение грехов.

Новг. *поломанъ* ‘глуповатый, придурковатый человек’ неясно по морфемной структуре, что позволяет предположить возможные морфонетические преобразования. Формант *-ман* содержат и другие лексемы, близкие по семантике: *дикоманъ* арх. ‘дурак’, ‘шаловой, беспутный человек’, *лихоманъ* ст.-русск. ‘обманщик, мошенник’, русск. *лихоманъ* ‘дьявол, черт; неприятный человек, злодей’. Для *лихоманъ* существует гипотеза о преобразовании из **lixmę* (Варбот), подобно *глухмѣнь* сев.-зап. ‘глушь’, тамб., костр. ‘полночь, глубокая ночь’ (праслав. **gluxmę*), *сухмѣнь* ‘суходол, сухая глина с супесью, плохая почва’ (праслав. **suxmę*). Для *дикоманъ* прибавк. ‘скандалист, задира’ можно, следовательно, предполагать первичное **дикмѣнь* (праслав. **dikmę*), а для заглавного *поломанъ* – **пол(о)мѣнь* (праслав. **polmę*).

Все перечисленные производящие основы (**dik-*, **lix-*, **sux-*), от которых образованы лексемы с негативно-оценочными значениями, имеют семантику каритивности. Таковой является и корневая морфема **pol-* ‘пустой, порожний’ в реконструированной лексеме **polmę*: ср. ‘полюй перм. ‘порожний’ (*Подай полюй горшок*), волг. ‘дуплистый, с пустой серединой’ (*Спилят сосну, а сосна поляя*). Семантическое развитие лексемы реконструируется как ‘пустой’ → ‘глупый, придурковатый человек’.

Аналогичным образом может быть истолковано уральск. *ошутѣть* ‘сойти с ума’, которое предлагается отождествить с праслав. **šutъ* ‘пустой’. Соответствующее толкование изложено в других публикациях.

Л. А. Феоктистова (Екатеринбург)

Дериваты личного имени и его семантика (на материале русского и польского языков)*

Объектом анализа в докладе являются апеллятивные производные от личных имен, отмеченные в русских и польских говорах; в отдельных случаях к анализу привлекаются также факты литературного языка и социолектов. В качестве источников материала использовались сводный «Словарь дериватов личных имен в русских говорах», составляемый автором доклада вместе с И. В. Родионовой, а также идеографический словарь отантропонимических производных в польских говорах, представленный в монографии Р. Кухарчик (Kucharzyk 2010).

Апеллятивизация (равно как и онимизация) не имеет однозначного истолкования (по замечанию С. М. Толстой [Толстая 2004: 24], содержание этих терминов столь же неопределенно, как и исходных понятий – «оним» и «апеллятив»). В числе апеллятивных производных от личных имен нами рассматриваются:

а) цельнооформленные лексемы, возникшие вследствие семантической и/или словообразовательной деривации на базе личных имен: например, *иван*, *иванушка*, *иванчик*, *ивáник*, *ванька* и др. ‘губчатый гриб с желто-коричневой шляпкой’, *иванить (-ся)* ‘зазнаваться, важничать, вести себя высокомерно, хвастаться’; *iwán* ‘добродушный, наивный человек’, *jaś* ‘глупый человек’, *ja-siek* ‘неразговорчивый и невозмутимый человек’, *jasio*, *jaszek* ‘заяц (*Lepus*)’, *janiczek* ‘василек (*Centaurea cyanus*)’;

б) устойчивые сочетания с личными именами и их производными: см., например, наименования различных видов растений: *иван-дурак*, *иван мокрый*, *иван-да-марья*, *иван-голова*, *иванова голова* и мн. др.; *dziki jaś*, *głupi jaś*, *serduzka jasia*, *głowa świętego jana*, *pasek świętego jana* и мн. др.;

в) некоторые случаи паронимической аттракции личных имен к созвучным нарицательным словам, когда псевдоапеллятивизация не носит сугубо формального характера: например, *ваньзя* ‘глупый, невежественный человек, простофиля’, *вáнец*, *вáнцы* мн. ‘нерусский (о хантах, манси, ненцах)’ < *манси*, под влиянием вариантов личного имени – *Ваньша*, *Ваньзя*, урал. также *Ваньца* (Аникин 2000: 151); ср. польск. *jasiek*, *jasiak*, *jaś*, *jasio*, *janiczek* и др. ‘подушка’, отражающие народно-этимологическую интерпретацию укр. *ясук* (< тур. *jastyk* [Kucharzyk 2010: 139]).

С проблемой апеллятивизации неразрывно связан вопрос о значении имен собственных; наличие апеллятивов, возникших вследствие ономастической номинации, неопровержимо свидетельствует о наличии у имени значения – ис-

* Исследование выполнено при поддержке госконтракта П 736 от 12.08.2009 на проведение НИР в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (тема «Время и человек в свете ономастической и ономастической номинации»).

ходного либо вторичного, приобретенного в процессе деривации (и тот и другой тип описываются термином «коннотация»; об ономастической коннотации см. Березович 2007). Ядро семантики онама формируют общий и частный категориальный компоненты, выявляемые через противопоставление имени апеллятиву и разных разрядов онимов друг другу, а также мотивационное значение имени и его денотативная отнесенность. Фреймовый компонент (представления о специфике применения имени), эмотивный и коннотативный относятся к прагматической зоне значения (см.: Голомидова 1998: 15–28]. Любой факт вторичного употребления имени можно представить как экспликацию одного или нескольких компонентов его значения (за исключением самого общего компонента).

Общий категориальный компонент ономастической семантики в процессе апеллятивизации полностью или частично утрачивается (благодаря чему, собственно говоря, и оказывается возможным сам процесс). О его присутствии в производном «апеллятивном» значении можно было бы говорить при осознанности факта деривации носителями языка, что, в свою очередь, предполагает существование в их языковом сознании оппозиции «имя собственное – имя нарицательное». Для диалектоносителей данная оппозиция не совсем релевантна (см.: Казакова 2009: 57, Kucharzyk 2010: 168), что, вероятно, следует рассматривать как один из факторов апеллятивизации.

В отличие от общего, частный категориальный компонент (в данном случае ‘отнесенность к человеку’) входит в лексическое и/или мотивационное значение отантропонимического деривата. С этой точки зрения наименования человека (либо относящиеся к человеку – называющие его различные свойства, действия и т. п.) будут противопоставлены всем остальным, для которых «действие антропогенного фактора» можно предполагать только на уровне мотивации. Среди «человечих» номинаций выделяются обобщенные наименования мужчины и женщины: *иван* ‘именование ребенка мужского пола до крещения’, *маруха* (жарг.-разг.) ‘любая девушка, женщина’, *marysia* ‘девушка’, *maryśka* ‘шутливо о девушке’ и др., – при этом одни характеристики сохраняют ограничения на референцию (если мужское имя, то о мужчине, если женское – то о женщине), другие таких ограничений не имеют. Ср.: *богдан*, *богданёнок* ‘ребенок обоего пола до крещения’, *полторы матрёны* ‘о высоком человеке’ («Сын был молод, а вытянулся, что полторы матрены») при исходном *полтора ивана* (ср. *полторы татьяны* ‘о толстой неповоротливой женщине’); *samson* ‘нелюдим’ (*Nasza sąsiadka to czysty samson, do nikogo nie idzie i gości nie lubi*), *jewcia* (< *Ewa*) ‘злой человек (о женщине и о мужчине)’. Обозначение мужским или женским именем особы противоположного пола может использоваться с целью подчеркнуть ее муже- или женоподобность: *józefk* ‘девочка, внешне похожая на мальчика’, *jadwiga* ‘неумелый мужчина, выполняющий женскую работу’.

В не меньшей (если не большей) степени задействован в отантропонимической деривации референт имени – это прецедентная номинация, радиус дейст-

вия которой необычайно широк: от антропонимикона микросоциума (см., например, *ванька синекоська* ‘об умственно неполноценном человеке’: *Был в деревне Ванька ненормальный парень, и его звали Синекоська, а потом всех непутевых звать так стали*), до национального антропонимикона и интернационального (см., например, *iwan* ‘черт’, в котором, по мнению Б. Сыхты, запечатлен образ Ивана Грозного (ср. также *iwan* ‘злой человек, назойливый, причиняющий беспокойство’, ‘вспыльчивый, непредсказуемый человек’); *иванова голова, głowa (główka) świętego jana* и под., отсылающие к библейскому сюжету о казни Иоанна Предтечи). Если носители языка осознают связь прецедентной номинации с референтом исходного имени, корректнее было бы, наверное, говорить не об апеллативизации, а о предшествующей этому процессу деонимизации (о разграничении терминов см.: [Rutkowski 2007: 27–32]).

Фреймовый и эмотивный компоненты семантики антропонима скорее «наследуются» апеллативным производным (отсюда возможность варьирования полной и краткой форм имени: «*Ванька-да-манька* – это в шутку *иван-да-марью* зовут»), чем сами активно участвуют в отантропонимической номинации. Ср.: *Млад, да Иван, стар, да Иванька* (пословица); *каждый чёрт да (всё, тебе) иван иванович* ‘выражение неудовольствия по поводу чьих-либо действий’ (*Иди кушать! – Не хочу! – Э... каждый чёрт да иван иванович*).

Очевидно, что участие перечисленных компонентов ономастической семантики в деривационных процессах неодинаково, как применительно ко всем антропонимам, вместе взятым, так и к каждому из них в отдельности. Апеллативные производные личного имени, эксплицируя какой-либо компонент его значения, тем самым воссоздают его «языковой образ», сами становясь при этом частью ономастической семантики.

- Аникин 2000 – Аникин А. Е. Этимологический словарь русских диалектов Сибири: заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. М. ; Новосибирск, 2000.
- Березович 2007 – Березович Е. Л. Культурная коннотация имен собственных // Березович Е. Л. Язык и традиционная культура : этнолингвистические исследования. М., 2007. С. 59–80.
- Голомидова 1998 – Голомидова М. В. Искусственная номинация в ономастике. Екатеринбург, 1998.
- Казакова 2009 – Казакова Е. Д. «Наивная лингвистика» в языковом сознании диалектоносителей: выпуск. квалификац. работа / науч. рук. Е. Л. Березович ; Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. Екатеринбург, 2009.
- Толстая 2005 – Толстая С. М. К понятиям апеллативизации и онимизации // Ономастика в кругу гуманитарных наук: материалы междунар. науч. конф., Екатеринбург, 20–23 сентября 2005 г. Екатеринбург, 2005. С. 24–27.
- Kucharzyk 2010 – Kucharzyk R. Słownictwo odantroponimiczne w gwarach polskich. Kraków, 2010.
- Rutkowski 2007 – Rutkowski M. Nazwy własne w strukturze metafory i metonomii. Proces deonimizacji. Olsztyn, 2007.

Т. А. Черныш (Киев)

Множественная мотивация и деривационная многозначность в контексте семантической реконструкции

Особое внимание компаративистов к лексике и к проблематике диахронической лексикологии как дисциплины сравнительно-исторического цикла отражается в расширении диапазона задач компаративной славистики за счет вопросов, связанных с семантической реконструкцией. Это в свою очередь обуславливает необходимость дальнейшей разработки аппарата, применяемого в историко-этимологических исследованиях. Множественная мотивация и многозначность деривационных моделей принадлежат к тем явлениям историко-деривационного порядка, которые должны непременно учитываться теорией и методологией этимологизирования.

Вариативность ономаσιологического использования формальных деривационных моделей является в известном смысле соотносительной с семантической эволюцией этимона в производных единицах. Смысловые варианты общей деривационной модели могут быть разнесенными между разными идиомами, в пределах которых соответствующие слова выступают как однозначные. Этимологическое истолкование подобных случаев должно предусматривать реконструкцию общей праформы с учетом семантических разновидностей ее континуантов. Упомянутая вариативность может быть сопряжена с явлением множественной мотивированности, при котором общая производящая база или несколько таких баз получают разное мотивационное истолкование, отражающее разное осмысление одного и того же денотата. Поскольку различные линии деривационно-смыслового развития в подобном случае сходятся в одной точке, такое множественное деривационное истолкование можно назвать сфокусированным.

Указанные явления рассматриваются нами, в частности, на примере некоторых славянских названий крапивы (*Urtica*), принадлежащих к макрогнезду псл. **kyp-/*kvap-/*kop-*. Гипотеза о происхождении псл. **kopriva* (с адъективным суффиксом *-iv-*) от псл. **koprь* (названия ароматного растения – укропа), предложенная Ф. Миклошичем, оценивается как наиболее вероятная в «Этимологическом словаре славянских языков» под ред. О. Н. Трубачева. Альтернативные версии (от псл. **kropiti*) были предложены В. Махеком (ввиду ошпаривания крапивы в ходе приготовления из нее корма) и затем В. А. Меркуловой (на основании сходства боли от крапивы и от капель кипятка). Мы полагаем, что оба эти предположения являются обоснованными и в то же время совместимыми с версией Миклошича. Таким образом, для истории возникновения и эволюции подобных названий крапивы характерно взаимовлияние нескольких неродственных языковых единиц, которые обладают, с одной стороны, фонетическим сходством (*k-p-r*, *k-r-p*), а с другой, выражают неодинаковые мотивационные признаки, способные, тем не менее, обеспечивать номинацию того же денотата.

Сопоставляя эти фитонимы с названиями крапивы, производными от глаголов со значением горения (укр. *жигучка* и под.), можно отметить, что при соотнесении слов типа укр. *кропива* с «термическим» корнем **kopr-* их мотивация, тем не менее, непосредственно не связывается с высокой температурой, однако именно такое, высокотемпературное, истолкование получает внутренняя форма этих обозначений в том случае, когда они сопоставляются с «нетермическим» глаголом псл. **kropiti*.

В качестве региональной семантической разновидности производных от псл. **kopr-* выделяются обозначения незаконнорожденного ребенка (согласно В. Махеку, крапива была приютом для влюбленных), однако укр. диал. (гуцул.) *копирдан* с тем же значением следует сопоставлять одновременно и с укр. диал. *копил* «незаконнорожденный ребенок, урод» и его суффиксальными разновидностями, зарегистрированными, в частности, в том же ареале.

Таким образом, множественность этимологических решений может быть отражением не только исследовательского релятивизма или ареальной вариативности, но и реальных черт этимологизированных лексем и обозначаемых ими объектов и явлений действительности.

Т. В. Шалаева (Москва)

К этимологии слав. **plytkъjъ*

У славянского прилагательного **plytkъjъ* ‘неглубокий, мелкий’, представленного в русском языке диалектным *пльйткий* ‘неглубокий, мелководный’ (краснояр.) (Сл. Сибири 3: 258), нет общепризнанной этимологии. Одни исследователи связывают его с гнездом **plyti* (Miklosich 1886: 253; Brückner 1927: 422) при первичной мотивации ‘такой, который можно переплыть’ (Brückner 1927: там же). А. Вайан, считая такую мотивировку неубедительной, предположил, что начальной формой была **plytkъ* из и.-е. **pľtu-* (ср. др.-инд. *pṛthūh* ‘широкий, большой’, греч. *πλατύς* ‘широкий, плоский’, лит. *platus* ‘широкий, обширный, просторный’), которая затем вторично сблизилась с **plyti*. Таким образом, изменение значения шло по направлению ‘широкий, плоский’ → ‘мелкий, неглубокий’ (цит. по [Варбот 1978: 276; Вору́с 1995: 37]). Ж. Ж. Варбот, принимая семантическую часть версии А. Вайана, считает, что слав. **plytkъjъ* восходит к и.-е. **plau-t-* из **pelā-/plā-* ‘широкий, плоский’ (ср. лит. *plaũtas* ‘полóк (в бане)’, лтш. *plaũksta* ‘ладонь’, лат. *plautus* ‘широкий, плоский’), и реконструирует последовательность семантических переходов как ‘широкий, плоский’ → ‘тонкий’ → ‘мелкий, неглубокий’ (Варбот 1978: 276–277). В. Борысь пишет о том, что восстанавливаемое А. Вайаном *-t-* в литовском языке дает *-lo-*, а не *-la-* (Вору́с 1995: 37), а приводимое Ж. Ж. Варбот соответствия предполагают исходный *-i-*, а не имеющийся *-ū-* (там же), на что, правда, она сама обращает внимание (Варбот 1978: 277).

Думаю, что русский диалектный материал предоставляет надежные семантические основания для связи **plytŭkŭjъ* с **plyti*, отсутствие которых заставляло этимологов искать его истоки в других корнях. В русских говорах слова, родственные **plyti*, развивают значение ‘ровный, гладкий’ (ср. урал. *сплавлять* ‘выравнивать, сглаживать’ [СРНГ 40: 156], арх. *плáвный* ‘ровный, гладкий’ [СРНГ 27: 69]), производными которого, вероятно, являются ‘плоский, пологий’ и ‘тонкий’ (ср. зап. *плъткий* ‘плоский, тонкий’ [СРНГ 27: 169], смол. *плáвкая крыша* ‘пологая крыша’ [СРНГ 27: 69], арх. *плавкóй топор* ‘острый, хорошо отточенный топор’ [СРНГ 27: 69]). Таким образом, предлагаемая А. Вайаном модель ‘широкий, плоский’ → ‘мелкий, неглубокий’ применима и внутри гнезда **plyti*, формальную связь с которым прилагательного **plytŭkŭjъ* подтверждают приведенные русские лексемы с корнем *плав-*, то же наблюдаем в полесских говорах: *плáвкыј* ‘пологий’ (Лексика Полесья: 57), *плáвко* ‘полого’ (там же).

Если сказанное о прилагательном **plytŭkŭjъ* верно, то его дериватом можно считать русск. литер. *плутонос* ‘птица семейства утиных; широконоскá’ (*Широконоски называются также плутоносами. Первое название по праву и бесспорно принадлежит этой утиной породе: нос ее обыкновенно к концу широк и похож на округленное весло; второе же имя дано ей неизвестно на каком основании.* С. Аксаков. Записки ружейного охотника (ССРЛЯ 9: 1461), с диалектными вариантами: *плутень* (Даль) (СРНГ 27: 166), арх. *плотонóска* (СРНГ 27: 155), перм. *плутконóс* (СРНГ 27: 166), арх. *плутоно́ска* (СРНГ 27: 167). Название этой птицы мотивировано, очевидно, формой ее клюва, широкого и плоского.

- Варбот 1978 — *Варбот Ж. Ж.* Славянские этимологии // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования. 1976. М., 1978. С. 263–277.
 Лексика Полесья — Лексика Полесья: Материалы для полесского диалектного словаря / Отв. ред. Н. И. Толстой. М., 1986.
 Сл. Сибири — Словарь русских говоров Сибири / Под ред. А. И. Федорова. Т. 1–3. Новосибирск, 1999–2002–.
 СРНГ — Словарь русских народных говоров / Гл. ред.: Ф. П. Филин (вып. 1–24), Ф. П. Сороколетов (вып. 25–). Т. 1–41. М.; Л., СПб., 1965–2007–.
 ССРЛЯ — Словарь современного русского литературного языка. Т. 1–17. М.; Л., 1950–1965.
 Boryś 1995 — *W. Boryś.* Z historii prasłowiańskich przymiotnikowych tematów na *-u-*: Obecność **plytŭ* : **plytvŭ* : **plytŭkŭ* // Studia z językoznawstwa słowiańskiego: Prace Instytutu filologii słowiańskiej UJ. Nr 14. Kraków, 1995. S. 35–39.
 Brückner 1927 — *A. Brückner.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1927.
 Miklosich 1886 — *F. Miklosich.* Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886.

А. К. Шапошников (Москва)

Праславянское *čędo, *čęť и фракийское κενθος

Праслав. слово **čędo* хорошо представлено в старославянском языке, в других славянских языках сохраняются лишь незначительные его остатки, в том числе – в виде производных и словосложений: ст.-болг. *чѣдо* ‘дитя, чадо’, ‘сын,

потомок', 'духовное чадо, духовный сын', обращение, **ЧАДОЛЮБИВЪ**, **ЧАДОЛЮБИЦА**, **ЧАДОЛЮБИЦЪ**, **ЧАДЬ** 'сыновья, потомки', 'домочадцы, семейство (вместе с прислугой), «свои люди», 'друзья, близкие приятели', 'народ, племя', **ЧАДЬЦ** 'детёныш, дитя, чадо', **БРАТОУЧАДА** 'дочь брата', **БРАТОУЧАДА** 'дети двух братьев', **БРАТОУЧАДЬ** 'сын брата, племянник'¹; болг. *чѣдо* (БТР), диал. *чѣдо*², *чѣдо*, *к'ѣндо*³, *братучѣд* 'сын брата, племянник'; макед. *чѣдо* 'дитя, ребенок, чадо'⁴; ст.-сербск. *чѣдо* 'infans, ребёнок, дитя', *штѣдик* 'progenies, потомок', *бесчѣдънь* 'orbus, бездетный', серб. *čed*, *чѣдо* 'дитя, ребенок, чадо'⁵; ст.-чеш. *čad*, *čád* 'мальчик, подросток, ребенок мужского пола', *čada*, *čáda* 'девочка, ребенок женского пола', *čáda* 'gendus'⁶, чеш. *čáda* 'старуха, впавшая в детство', *čado* 'ребёнок', также слвц. *čiado* 'чадо'⁷; др.-русск. и ст.-русск. **ЧАДО**, **ЧАДО** 'дитя, сын или дочь по отношению к родившим', **ЧАДЬ**, **ЧАДЬ** 'дети, люди, народ', **БРАТЪЧАДО**, **БРАТАЧАДЬ** 'сын брата', **ДИНОЧАДО** 'единоутробный ребенок', **ВСЧАДА**, **ВЩАДА** (**ВЗЪ ЧАДА**) 'бездетно; бездетный', **СЪЧАДЪКЪ** 'потомок'⁸, русск. устар., теперь шутол., ирон. *чáдо* 'сын или дочь (независимо от возраста); дитя', 'в обращении духовного лица к младшему по званию или к мирянам', перен. устар., ирон. 'человек, усвоивший характерные черты породившей его среды, обстановки, тесно, кровно связанный с кем-л., чем-л.', *чадолюбивый* 'любящий своих детей', *чадолюбие* 'любовь к своим детям'⁹, диал. *чáда*, *чáдо* 'дитя' (калужск., тверск., вологодск., псковск., печерск.), *чáдушка* обращ. 'детка' (донск.); укр. устар. *чáдо* 'дитя', собир. 'дети'¹⁰, укр. *нащадок* 'потомок' (из *на съчадък, ср. др.-русск. **СЪЧАДЪКЪ**), диал. *чадо* 'ребенок', 'все дети одной

¹ Иванова-Мирчева Д., Давидов А. Малък речник на старобългарския език. Велико Търново: Слово, 2001. С. 475, 69.

² Стойков Ст. Българска диалектология. София, 1954 (литогр.). С. 123.

³ Последнее (в Зарово) обозначает еще не крещеного ребенка. Й. Иванов неточно называет его синонимом *чѣндо*; это фонетический вариант и одновременно прекрасный пример использования фонетических вариантов для семантической дифференциации [Ivanov J. Un parler bulgare archaïque (Богданско, сев. часть департамента Салоники, округи Кукуш и Нигрита) // RES. T. 2, 1922. С. 99]; ср. диал. *чѣндо*, *братучѣнд* (От Солунско). Записал Н. Цинов. – СБНУ, кн. IV, 1891, с. 157]; *кѣндо*, ж. р. 'еще не крещеный младенец женского пола' (Ив. А. Георгов. Материалы за речника на велешкия говор. – СБНУ, кн. XX, 1904, 31); *čěndu*, мн. ч. *čindà* 'ребенок', *bratučent*, *bratučenka* [Malecki M. Dwie gwary macedońskie (Sucho i Wysoka). Cz. II. Słownik. Kraków, 1936. S. 10, 15].

⁴ Толовски Д., Иллич-Свитыч В. М. Македонско-русский словарь. М., 1963.

⁵ Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. I–XIX. Zagreb, 1880–1967 – I, 919; Толстой И. И. Сербскохорватско-русский словарь. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1957. С. 1061.

⁶ Gebauer J. Slovník staročeský. Praha, D. I – 1903, 152; J. Jungmann. Slovník česko-němectký. D. I–V. Praha, 1835–1839. – I, 257.

⁷ Kott F. Št. Česko-němectký slovník. D. I–VII. Praha, 1878–1893. – I, 153, 154; V–VI, 1155, с пометой «слвц.».

⁸ Срезневский И. И. Материалы для Словаря древнерусского языка. Т. I–III. СПб., 1893–1903. – Т. III, 1467–1468; Словарь русского языка XI–XVII вв. Справочный выпуск / Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН. М.: Наука, 2001.

⁹ Словарь русского языка: в 4-х т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; под ред. А. П. Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Русский язык, 1081–1984. Т. 4. С – Я. 1984, 650.

семьи', 'род, поколение', 'домашний скот, домашняя птица' (карпатск.), блр. *чадо́* 'злое дитя, упрямец'¹⁰. Восточнославянские формы отчасти являются заимствованными церковнославянизмами (*чадо́*), отчасти могут являться продолжениями и переоформлениями праслав. **čędo*.

О праслав. **čędo* высказывались в этимологической литературе различные суждения, причем большинство исследователей видело в нем заимствование из германского¹¹. В свое время о заимствовании из германского писал А. Вайан¹²: «Первая палатализация, изменившая смягченные заднеязычные в *č, dž, š*, совершилась в эпоху заимствований из готского, в III–IV вв. н. э.; несомненно, что это изменение коснулось древнейших заимствований из германского: нет серьезных оснований для того, чтобы не допускать, что *čędo* 'дитя', *čędy* 'люди' взяты с германских слов, представленных др.-в.-нем. *kind* 'дитя' (ср. р.), др.-исл. *kind* 'порода, племя' (ж. р.), соответствующих лат. *gēns*».

Но всеобщего признания эта точка зрения не получила. Так, Э. Бернекер¹³ не был вполне уверен в германском происхождении этого слова. Против мысли о заимствовании из германского возражал В. Кипарский¹⁴. Однако этимологи не давали развернутой критики объяснения слав. **čędo* как германского заимствования до О. Н. Трубачева¹⁵, почему последнее долго представлялось более аргументированным. Тем не менее, предположение о заимствовании построено на ошибке.

Если даже полагать прагерм. **kinþ-* (из и.-е. **g'entom*) реальностью, то герм. диал. **kind-*, как архетип праслав. **čędo* требует пристального внимания. Первое (общегерманское) передвижение согласных, хорошо отраженное готским языком, выразилось, в частности, в переходе и.-е. *g* в прагерм. *k*. В итоге такого перехода и.-е. **g'entom* 'рожденное, дитя' могло дать прагерм. **kinþ-* и, позднее, диал. герм. **kind-* 'дитя'. По мысли сторонников заимствования слав. **čędo*, именно такая готская форма перешла в славянский. Однако, насколько известно, такой формы в готских письменных памятниках (и в полном корпусе восточногерманских свидетельств) не обнаружено. Более того, в этом значении известно готск. *barn*, в частности представленное и в таврическом готском¹⁶.

¹⁰ Носович И. И. Словарь белорусского наречия. СПб., 1870.

¹¹ Ср. Miklosich F. Die Fremdwörter in den slavischen Sprachen. Bd. II–III, Wien, 1875, 1876, S. 10; Uhlenbeck C. C. Die germanischen Wörter im Altslavischen // AfslPh, Bd. I, 15, 1893, S. 485; Vondrák W. Vergleichende slavische Grammatik, Bd. I–II. Göttingen, 1906–1908. Bd. I. S. 268.

¹² Vaillant A. Grammaire comparée des langues slaves. Paris; Lyon, 1950, т. I–II, 1954–1958. – Т. I, pp. 52–53.

¹³ E. Berneker. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1908–1913, Bd. I, S. 154.

¹⁴ V. Kiparsky. Die gemeinslavischen Lehnwörter aus dem Germanischen. «Annales Academiae Scientiarum Fennicae», Bd. XXXII, № 2, 1934, 22–23; A. Meïe (RES, t. 14, 1934, Chronique, 231) относится к попытке Б. Кипарского объяснить *čędo* как исконно славянское с сомнением.

¹⁵ Трубачев О. Н. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959 (1960).

¹⁶ Шапошников А. К. Древнейшая ономастика Таврического полуострова. Готия // Київська старовина. № 6. Київ, 2004. С. 74–115; Он же. О языке таврических готов // Фадеева Т. М.,

После этого остается считаться с реальностью только др.-в.-нем. *chind*¹⁷, получившего такую форму уже в результате древневерхненемецкого передвижения согласных, ср. алеманнское *chind*¹⁸. Эта форма должна была существовать не только у алеманнов, но и у всех вероятных германских соседей славян (последние к этому времени уже начали делиться на две, а затем – на три ветви). Форма *chind* могла появиться, вероятно, начиная с V в. н. э.¹⁹ Старославянский язык, лучше всего сохранивший *čędo*, с VI в. развивался на Балканах. При таких условиях он мог усвоить с северо-запада интересующее нас слово лишь в форме *шадо < *xędo < герм. диал. *chind²⁰. Но форма *šędo неизвестна славянским языкам, которые последовательно отражают только праслав. *čędo*. Таким образом, древнее заимствование из восточногерманских диалектов маловероятно, позднее заимствование из др.-в.-нем. тем более исключено.

Уместно будет также упомянуть распространенное мнение о том, что и нем. *Kind*, и англ. *cild*, *child*, и швед. *kull*, *kult*, и норв. *kult* равным образом восходят к прагерм. *kilp-²¹. А само нем. *Kind* объясняется контаминацией продолжений прагерм. *kneu- и *kilp-. Поэтому, якобы прагерм. *kinp-/*kind-/*kind- ‘дитя’ едва ли было реальным продолжением и.-е. *gentóm.

Слав. *čędo имеет однокоренные формы: праслав. *na-čęti, *na-čъnъ, *za-čęti, *kоnъ и, таким образом, ни в смысловом, ни в фонетическом отношении не имеет соприкосновения с нем. *Kind*, др.-в.-нем. *chind*.

В германском есть другие – единственно точные соответствия слав. *čędo*: готск. *du-ginnan*, нем. *beginnen* ‘начинать’, которые С. Бугге²² правильно сопо-

Шапошников А. К. Княжество Феодоро и его князя. Крымско-Готский сборник. Симферополь: Бизнес-Информ, 2005. С. 234, 236; *Он же*. Готские языковые реликты в позднесредневековом Крыму // Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Шапошников А. К. Житие Иоанна Готского в контексте истории Крыма «хазарского периода». Симферополь: Антиква, 2007. С. 306.

¹⁷ Против «игнорирования фактического древневерхненемецкого материала в пользу фиктивного готского» специально выступал Брюкнер (*Brückner A. Die germanischen Elemente im Gemeinslavischen // AfslPh, Bd. 42, 1929. S. 130–131, 146*) по поводу известного исследования Стендер-Петерсена. Он же возражает против преувеличено древней датировки заимствований, относя основную их массу к VII–X вв. н. э., т. е. к древневерхненемеckому периоду.

¹⁸ См. *Feist S. Indogermanen und Germanen, 3. Aufl. Halle, 1924. S. 49.*

¹⁹ Ср. *Feist S. Indogermanen...*, 47; *Прокош Э. Сравнительная грамматика германских языков. М., 1954. С. 73, 75.*

²⁰ Ср. *Прокош Э. Указ. соч.*, стр. 78: «Германский h определенно имел характер нем. *ach-ich-Lauts*, на что указывает написание таких, например, слов, как лат. *Cherusci, Chatti*, греч. *Χέρουσκοι, Χάττοι*. Это так называемое алеманнское произношение начального герм. k как x, сохраняемое швейцарско-немецким (*xind-kind, xalt-kalt*), могло быть передано именно славянским x. Специалисты говорят о наиболее широком и раннем распространении аспирации p, t, k > ph, th, kh в немецком и скандинавских языках именно в начале слова, ср. *Ludwik Zabrocki L. [рец. на кн.]: J. Fourquet. Les mutations consonantiques du germanique. Paris, 1948 // Lingua Posnaniensis. Т. II, 1950, стр. 296 и след.*

²¹ *Левицкий В. В. Этимологический словарь германских языков: В 3 т. Черновцы: Рута, 2000. – Т. 3, С. 5, 31, 48, 54.*

²² *Bugge S. Etymologische Studien über germanische Lautverschiebung. – «Beiträge», Bd. 12, 1887, с. 406.*

ставлял со ст.-слав. **-чънѣж**, **-чати** и другими родственными формами, правда, не упоминая **čedo*, *чадо*. Тем самым слав. **čedo* оказывается производным от и.-е. гл. **ken-*, обнаруживающегося в словах со значениями ‘начинать’, ‘новый, недавний’, ‘молодой’: ср. греч. *καίνος* ‘новый’, др.-иранск. *kaṇua*, осет. *kanæg* ‘малый’, санскр. *kañīna* ‘молодой’, русск. *щенок* с *s-mobile* (< **s-ken-*), сюда же болг. диал. *штѣни*, *штѣнинци* ‘сын’, лат. *re-cēns* ‘недавний’, ирл. *cinim* ‘я рожден, происхожу от’, *cenél* ‘родство’, вал. *cenedl*, др.-корнск. *kinethel*, ирл. *set-* ‘первый’, вал. *cynt* ‘раньше’, корнск. *kyns*, брет. *kent*, галл. *Cintu-gnatus* ‘перво-рожденный’²³.

Таким образом, слав. *čedo* может быть объяснено как производное от и.-е. глаг. корня **ken-* с суффиксом *-d*²⁴. Образования с суффиксом *-d* немногочисленны²⁵, но известны в славянских: ср. *čę-do*, *mę-do* (ст.-слав. **моѹдо** < **mān-* ‘муж, мужчина’?), *čudo*, *bъrdo*, *stado*.

О собирательном слав. *čedь* производном на *-ь* от *čedo* см. работу Ломана²⁶. Судя по реконструкции праслав. **bъrdo* < и.-е. **b^hrd^ho-*, остальные праславянские **čedo*, **čudo*, **mędo*, **stado* также имели и.-е. суф. *-d^h*. В частности, известно, что сев.-пеласг. *κῶδος*, *κῶδε(σ)ος* ср. р. ‘слава, честь, почет’ (< **kud^hos*, **kud^hes-os*), *κῶδος* м. р. ‘хула, хуление’ (< **kud^h-os*) являются соответствиями праслав. **čudo*, *čudese*, *čudь* (< **keu-d^h-os*, *keu-d^h-es-*, **keu-d^h-os*) ‘чудо, чудеса’²⁷. Следовательно, поздне-праслав. **čedo* имело ранне-праслав. прототип **kend^ho-*.

Возможно, близки к слав. *čedo* следующие фракийские собственные имена, приводимые уже П. Кречмером²⁸: сложения *Βουρκέντος*, *Σατροκένται*²⁹. Первое из них П. Кречмер, вслед за В. Томашеком, сравнил с санскр. *bhūri-* ‘много, обильно’, лит. *būrys* ‘отряд, гурьба’.

Помимо этих сопоставлений, весьма вероятно сопоставление с фрак. именами собственными *Κενθος*, *Κεντις*, *Cintis*, *Κιντος*, *Κινδος*, *Cendus*, двусоставными именами со вторым компонентом *-κενθος*, *-centhus*, *-centus*, *-κενθιος*, *-centius*, *-κενθις*, *-cens*, *-κινθιανος*, *-cinthius*, *-κινθιος*, *-cintis*, *-cintius*, *-κενται* и с первым

²³ См. *Boisacq É. Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, 2-ème éd., стр. 391–392; *Walde-Pokorny. Bd. I*, стр. 397–398; *Uhlenbeck C. C. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch der altindischen Sprache*. Amsterdam, 1898–1899. S. 41; *Ernout A., Meillet A. Dictionnaire étymologique de la langue latine*. T. I–II. 3 ed. Paris, 1951. T. II, pp. 999–1000; *Абаев В. И.* Осетинский язык и фольклор. Т. I. М., 1949. С. 20; *Льюис Г., Педерсен Х.* Краткая сравнительная грамматика кельтских языков. М., 1954. С. 69; *Pokorny J.*, с. 563–564.

²⁴ Ср. *Meillet A. Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave*. Paris, 1902–1905. P. 319–323.

²⁵ *Трубачев О. Н.* История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1960. С. 40–41, 43.

²⁶ *Lohmann J. F.* Das Kollektivum im Slavischen. – *KZ*, Bd. 58, 1931. S. 208–209.

²⁷ ЭССЯ 4: 128–129.

²⁸ *Kretschmer P.* Einleitung, с. 221, 226–227; см. также *Дечев Д.* Характеристика на тракийския език. София, 1952, с. 7. Ср. *Младенов Ст.*, ЕИР, с. 680.

²⁹ *Detschew D.* Die Thrakischen Sprachreste 2 Auflage mit Bibliographie 1955–1974. Von Živka Velkova. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wien, 1976. – S. 82, 426.

компонентом *Κεντου-, Cento-, Cente-*³⁰. Последний, скорее всего, является заимствованием из кельт. *cinto-, cintu-* ‘первый, начальный’.

Замечу, что эти ряды гетерогенные. Я бы отделил формы на *-os* от форм на *-is*. Кроме того, требуют дифференциации и формы с *-nt-, -nth-, -nd-*

Согласно распространенному представлению, *-th-* языковых реликтов Фракии является рефлексом и.е. *-t-*³¹. Из моего самостоятельного анализа фракийского ономастического матриала³² следует, что фрак. *β, δ, γ / b, d, g* могут восходить к и.е. *bh, dh, gh* или к и.е. *b, d, g*, а фрак. *φ, θ, χ / p, t, k* восходят к и.е. *p[h], t[h], k[h]*, фрак. *tz-, z-* передает звук *č-*, восходящий к и.е. *tǵ-* (как в лит. *č-*). Отражение фрак. *-θ-* (< и.е. *-t/-th-*) в виде лат. *-t-* не свидетельствует о «слабой придыхательности»³³, а лишь о длительном сохранении смычки в произношении этого *-th-* (ср. нередко встречающиеся колебания в передаче этого фрак. *-th-* средствами лат. языка в одних и тех же словах то как *-th-*, то как *-t-*).

Фрак. *-κενθος*, по моему мнению, происходит из и.е. **kentos* (едва ли из и.е. **g'entom* ‘рожденное, дитя’, согласно Вл. Георгиеву) и соответствует праслав. **čęťь, -a, -o*, ср. рус. *зачат, зачатый*. Ср. далее польское наречное выражение *do szczętu* ‘дотла, вдребезги’ из **do sčętu*, собств. ‘до последнего потомка [истребить]’, где тоже представлен суффикс *-t-*³⁴. В таком случае, сложные имена собственные типа *Αυλουκενθος* следует толковать как ‘зачатый (богом) Аполлоном-Авлетом’.

Часть фрак. форм (на *-is*) едва ли являются соответствием лат. *gēns, gentis*, праслав. **zęťь*, которые предлагаются в некоторых фракологических публикациях. Я бы остановился на сопоставлении с лат. *re-cēns, -centis* ‘недавний’, ирл. *cet-* ‘первый’, вал. *cynt* ‘раньше’, корнск. *kyns*, брет. *kent*.

Формы **kentos* ‘зачатый’ и **kentis* ‘начальный, первый, недавний’ являются этимологически близкородственными, однокоренными, производными от и.е. **ken-*.

Вполне удовлетворительное этимологическое решение для сопоставления праслав. **čęťь* и фрак. *κενθος*.

³⁰ *Detschew D.* Die Thrakischen Sprachreste 2 Auflage mit Bibliographie 1955–1974. Von Živka Velkova. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wien, 1976. S. 239–240.

³¹ *Georgiev Vladimir I.* Die thrakische Sprache im System der Indoeuropäischen Sprachen // Dritter internationaler thrakologischer Kongress zu Ehren W. Tomascheks 2.–6. Juni 1980 / Wien, Bd. I. Sofia: Staatlicher Verlag Swjat. S. 211.

³² *Шапошников А. К.* Найдавніша ономастика Малої Скіфії // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 354–355. Слов'янська філологія. Чернівці: Рута, 2007. С. 74–83; *Он же.* Най-древната ономастика на историко-культурната област Хемимонт // Состояние и проблеми на българската ономастика 10. Материали от международна конференция «Славянска и балканска ономастика» (Велико Търново, 25–26 септември 2009 г.).

³³ *Георгиев Вл. И.* Траките и техният език. София, 1977; *Дуриданов И.* Езикът на траките. София, 1976.

³⁴ *Трубачев О. Н.* История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1960. С. 42.

Альтернативное толкование можно предложить, допустив заимствование слова *κενθος* или даже множества двусоставных имен собственных со второй частью *κενθος* из южных пеласгических диалектов во фракийские.

В языковом отношении пеласгическая группа распадалась на два диалектных ареала: южный (эгейские, аркадские, рутульский диалекты) и северный (македонский, эпиротские, певкетский диалекты). Различие ярче всего выявляют оппозиции:

сев. *b^h* ~ юж. *ph* < и.-е. **bh*: [a]brues ~ [o]phrues < **bhru^u-es*

сев. *d^h* ~ юж. *th* < и.-е. **dh*: daunos ~ thaunon < **dhauno-*, dybris ~ thybris

сев. *g^h* ~ юж. *ch* < и.-е. **gh*: grabion < **ghrōb-*, но [o]michlē < **mighlē*

Если перед нами южно-пеласг. рефлекс *-θ-*, *-th-* < и.-е. *-dh-*, то позднепраслав. **čędo* и раннепраслав. архетип **kendho-* точно соответствуют эгейско-пеласгич. *κενθος*. Цельно-лексемное иноязычное *κενθος* выявляется в составе фракийских сложных имен собственных типа *Αυλουκενθος* ‘Авлово чадо’, а также в односложных именах типа *Κενθος*, *Κεντις*, *Κιντος*. А вот формы *Κινδος*, *Κενδus* доносят северо-пеласгические архетипы (т. е. др.-македонские).

Аналогичная мысль уже возникала у тех, кто сопоставлял имеющие аналогичную структуру праслав. **govędo* (< **g^uo^u-indh-*) ‘крупный рогатый скот’, производное с суф. *-ędo*³⁵, и пеласг. (предположительно, южное) *βόλιυθος* ‘зубр’, которое также имеет в составе суф. *-indh-* и корень **bol-*, ср. англ. *bull* ‘бык’, праслав. **bula*, **bulica* ‘пучеглазое’³⁶.

Проведенный этимологический анализ не только прояснил происхождение и словообразование праслав. **čędo*, но и позволил выявить в языковых реликтах с территории Фракии несколько диалектных продолжений и.-е. форм **kentos* ‘зачатый’ и **kendho-* ‘чадо’. Похоже, среди языковых реликтов Фракии представлены формы эгейского пеласгического и др.-македонского языков.

In this article the German etymology of common Slavic **čędo* is denied. Word-formation aspects of comparison common Slavic **čędo*, **čęť* and Thracian *-κενθος* are analyzed. The author comes to conclusion, that the Thracian relic language material is the clear evidence of a variety of reflexes IE **ken-to-* ‘conceived’, and IE dialectal **ken-dho-* ‘a child, progeny’.

В. П. Шульгач (Киев)

Архаизмы в говоре окрестностей оз. Селигер (этимологический комментарий)

В лингвистическом отношении район озера Селигер – это одна из уникальных периферий восточнославянского диалектного континуума, в изобилии сохранившая архаику различных лексико-тематических групп. Рассмотрим некоторые примеры.

³⁵ ЭССЯ 7: 74–75.

³⁶ ЭССЯ 3: 92–93.

Босыня ‘погорелица, нищенка’. В СРНГ (3: 327) семантизировано как ‘человек, который ходит босиком’ (пск., твер., волог.). Соотносительно с пол. *Wosyń* – фамилия. К псл. **bosyni* / **bosyń*. В ЭССЯ реконструкция пропущена.

Бруд ‘край глиняного горшка, кринки’. Имеет параллели в укр. диал. *бруд* ‘борода’, блр. диал. *брудзь* ‘пушок, волосы на губах и подбородке’. Скорее всего, мы имеем дело с рефлексами псл. **obrǫdъ* (**obrǫdь*), претерпевшими переразложение *об-бруд* > *о-бруд* и утрату начального *о-*: *бруд*. Ср., например, блр. диал. *абруд* ‘нижняя часть деревянной посуды (бадьи)’, которое белорусские этимологи возводят к **obrǫdь*.

Аналогичный процесс депрефиксации наблюдаем и в составе некоторых проприальных лексем. Ср., например, ст.-русск. *Бруда* Максимка, он же *Бруда-стовъ* (1639 г.), *Брудков* Никодимъ (1543 г.) при русск. *Орудов* – фамилия, *Орудово* – ойконим в Тверской обл. и др.

Явление декомпозиции иллюстрирует и диал. **боры** мн. ‘сборки’ < **обворы*. Ср. (яросл.) *обора* ‘оборка’, мн. ‘сборки в одежде’.

Зель ‘озимь, ранние всходы зерновых культур’, как и словообразовательно связанное **зелёк** ‘незрелая зеленая ягода или незрелые плоды’, имеет параллели в (новг.) *зель* ‘незрелые зеленые ягоды’, *зельки* мн. ‘незрелая рожь’ и др. (см. СРНГ) < **zель* (**zелькъ*). Парадигматический вариант к **zelo*, **zель* (**zелькъ*) > (новг.) *зело* ‘зелень на корню, трава, зеленый покров’, *зело* ‘незрелые зеленые ягоды’, *зелок* ‘молодая, ярко-зеленая трава’, укр. *зело* ‘зелень’, блр. *зяло* ‘семена сорняков в зерне’ и под.

Двухшорный ‘различный, двух видов’. К псл. **d(ъ)vosorъnyjъ* – сложение **d(ъ)va* и адъектива **sorъnyjъ* < **sorъ*, **sora* ‘ряд’. Рефлексы последних хорошо сохранились в славянских языках: укр. диал. *шор* ‘ряд, строй’, ‘очередь’, ‘порядок’, *шир* ‘ключ журавлей’, *шори* мн. ‘ременная упряжь’, блр. диал. *шор* ‘стос, укладка дров’, *шора* ‘ряд, полоса крыши из жести’, серб. *шор* ‘улица’ и др. При этом начальное *ш-* < *с-*.

Желбан ‘шишка, синяк’. Отглагольное существительное, ср. **желбануть** ‘сильно ударить’, **выжалбать** ‘образовать, пробить колесами (о яме на дороге)’. Продолжение псл. **žьlbanъ*, и.-е. **gel-* ‘мять, давить; что-н. опуклое; ком, гряда’, расширенное *-b-* детерминативом. Общая семантика ‘вздутие (от удара), утолщение’ характерна и для местного **желбак** ‘мешок, узелок’, (том.) ‘опухоль, шишка, желвак’.

Жора ‘журавль’. Из **žera*. Представляет интерес как нерасширенный вариант к (орнит.) **žeravъ*, **žeravjъ*. В семантическом плане сопоставимо с (смол.) *жорик* ‘оглобля’ < **žer-ikъ*.

Клыша ‘рука’. Скорее всего, *‘покалеченная рука’, ср. (зап.) *клытать* ‘идти прихрамывая, ковылять’. Как и фамилия *Клыша*, восходит к первоначальному **кылна* (метатеза) < **кълна* < **кълра*. Родственно (костром.) *клып* ‘о руках’, *клинки* ‘руки, особенно неловкие’, (нижегор.) *клары* мн. ‘руки и ноги’, (влад.) *кульна* ‘рука или нога без пальцев’, ‘хромой человек’, демонстрирующим разнообразную вокализацию *-ъ-* в бинарной группе *-ъл-* (структура *tylt*).

Один из немногочисленных случаев разрушения анлаута многосложного слова наблюдаем в диал. **кварзень, кверзни** мн. = **коверзни, каверзни, коварзни** ‘вид обуви, подобной лаптям’ < **kavьrзьнь*/**kovьrзьнь*. Сюда же русск. *Каверзнев, Коверзнев* – современные фамилии, блр. диал. *каварзень* ‘лапоть’ и др.

Каймо ‘шишка, желвак’. Фонетический вариант исходного **кълмо* (-й- < -л’- < -л- – сладкозвучие; -ал- < -ьл-). Более общая семантика *‘вздутие; опухлость; неровность’ присуща и некоторым другим лексемам с корнем **кълт-*: **комлатый** ‘безрогий’ = (новг.) *калматый* ‘то же’, (карел.) *колматый* ‘безрогий, комолый’, откуда фонетически вторичное (новг.) *комолушка* ‘безрогая корова’ < **комлушка* (секундарное -о-) < **колмушка*. Их место – в составе этимологического гнезда псл. **кълматыъ*. Ср. еще генетически родственные укр. диал. *ковмо* ‘связка конопли или льна’, русск. (яросл.) *кульма* ‘средняя или задняя часть бредня’, (карел.) *колмак* ‘утолщение, бугор на том месте, где должен быть рог (у безрогой коровы, овцы и т. д.)’, (пск.) *комло* ‘ручка, палка у вил’ < **колмо* < **кълмо*, ошибочно отнесенное составителями ЭССЯ к псл. **котолъъ*, и др.

Явление сладкозвучия иллюстрирует также редкое (не известное по другим источникам) **кейс** ‘плуг’ < **кэлс* < **кълс* < **кълсь*. Формально – -s-расширение и.-е. *(s)*kel-* ‘гнуть, кривить; крутить; вертеть’ (ступень редукции корневого вокализма о-ряда). Праславянский регионализм? Ср., впрочем, русск., укр. *Кейс*, пол. *Kejs* – современные фамилии.

Мариола Якубович (Краков)

Реконструкция праславянского значения в лексикографической практике

Практический подход к семантике лексикографов, занимающихся реконструкцией слов из незасвидетельствованных материалом языков, весьма разнообразен. Пока нет принципов, определяющих реконструкцию первичных значений в этимологических словарях. В первой половине двадцатого века обычной практикой было игнорировать семантическую сторонку реконструкции. Славянские словари, напр. Миклошича, Бернекера, Фасмера, концентрируются лишь на формальных отношениях между анализируемыми словами. Исследование семантики реконструируемых этимонов появляется позднее. Здесь следует вспомнить слова Макса Фасмера, помещенные в послесловии к этимологическому словарю русского языка: «Если бы мне пришлось начать работу снова, я уделил бы больше внимания калькам и семасиологической стороне». Реконструкция значения стала обычной частью каждого гесла в словарях, написанных краковскими авторами Франтишком Славским и Веславом Борисем, а прежде всего в *Праславянском словаре*.

Возможны два разных подхода к реконструкции значения. Первый подход принимает реконструкцию модели. При этом подходе возможна напр. рекон-

струкция весьма широких – абстрактных значений, которые вряд ли могли существовать реально. При подходе, целью которого является реконструкция лексикона в форме – насколько это возможно – близкой к реальному языку, надо уловить значениями, которые относятся к предметам, существующим в интересующей нас эпохе.

В рамках доклада я хочу представить приведенные выше проблемы, а также другие вопросы, к которым надо обратиться при попытках реконструкции значения.

Илона Янышкова (Брно)

К семантической мотивации названий деревьев в славянских языках: ‘*Ulmus*’*

Род *Ulmus* представлен тремя основными видами, широко распространенными в Европе; это *Ulmus minor* Mill. (= *U. campestris* Auct., чеш. *jilm habrolistý*), *Ulmus laevis* Pall. (= *U. effusa* Willd., чеш. *jilm vaz*) и *Ulmus glabra* Huds. (= *U. montana* With., чеш. *jilm horský*). В славянских языках засвидетельствованы три древних названия этих видов: **veǝzъ*, **berstъ* и **jьl(ь)мъ*. Если поставить вопрос, различали ли наши предки в давние времена отдельные виды *Ulmus*, т. е. использовали ли некоторые названия только для определенного вида, то на него трудно дать определенный ответ. С одной стороны, Фридрих (Friedrich 1970: 84) считает, что и.е. **uugʷ-*/ (чеш. *vaz*, русск. *вяз* и др.) обозначало первоначально *Ulmus minor*, а и.е. **Umo-* (чеш. *jilm*, русск. *ильм* и др.) – *Ulmus glabra*; с другой стороны, Марцел (Marzell 1943–1979: 4, 903) пишет о том, что в германских языках, а именно в немецких диалектах, отдельные виды не различались. Славянский диалектный материал, который является со смысловой и формальной точки зрения неоднородным и раздробленным, тоже не дает ясного ответа.

Праслав. **veǝzъ* (чеш. *vaz*, польск. *wiąz*, русск. *вяз*, словен. *vez* и др.) коррелирует с подобными названиями того же дерева в балтийских языках (лит. *vinkšna*, лтш. *vīksna*), германских (англ. *witch*, нем. диал. *Wieke, Wicke, Wiker* и др. [Marzell 1943–1979, 4: 907]), в албанском языке (*vidh*) и в иранских языках (курд. *vîz*). Все эти формы выводятся из и.е. **~i(n)gʷ-* ‘ильм, вяз’ (Pokorny 1959–1969, 1: 1177), – и эта версия не предполагает связи с каким-либо глагольным корнем. Стремление соединить **veǝzъ* со слав. **veǝzati* ‘вязать’ находит объяснение, скорее всего, в использовании лыка молодых деревьев для вязания; ср. мотивированное сходным образом нем. диал. название вяза *Bindbast* (Marzell 1943–1979, 4: 908). Вяз принадлежал к деревьям, которые высоко ценились в народной культуре; он играл значимую роль в обрядах и верованиях: например, считалось, что вяз «вяжет» вредные силы водяного и колдуний (Václavík 1959: 136).

* Текст подготовлен при финансовой поддержке гранта (GA ČR) № P406/10/1346.

Праслав. **berstь* ‘вид вяза’ (чеш. диал. *břest*, словц. *brést*, польск. *brzost*, русск. диал. *берест*, болг. *бръст*, словен. *brést* и др.) объясняется, как правило, из и.-е. **bherHg’-to-* ‘светлый, яркий’ (ср. гот. *bairhts*, др.-в.-нем. *beraht*, англ. *bright* ‘яркий, светлый, сияющий’); ср. праслав. **berza*, в основе которого лежит и.-е. корень **bherHg’-* ‘блестеть, сиять’.

Наиболее проблематична этимология праслав. **jьl(ь)тъ* (чеш. *jilm*, ст.-польск. *ilm(a)*, русск. *ильм* и др.). Славянские слова нельзя отделить от др.-в.-нем. *elm(o)*, *ilme*, ср.-в.-нем. *ilm(e)*, ср.-н.-нем., англ., дат. *elm*, др.-сев. *almr*, норв., шв. *alm* и лат. *ulmus* ‘вяз’, возможно, также от кимр. *llwyf* ‘вяз; липа’, но их взаимосвязь может пониматься по-разному. Слав. **jьl(ь)тъ* считалось заимствованным из ср.-в.-нем. *ilme* (это, однако, неприемлемо из-за цслав. *ильмъ*, которое засвидетельствовано в чеш.-цслав. тексте Бесѣды на евангелие папы Григория Великаго) или из др.-в.-нем. Некоторые лингвисты объясняли слав. **jьl(ь)тъ* – наряду с нем. *Ulme* и лат. *ulmus* – из и.-е. корня **el-*, **ol-* ‘желто-бурый’, но это невозможно по фонетическим причинам. Высказывалось также предположение о том, что славянское слово унаследовано из праевропейского субстрата. С семантической точки зрения заманчиво объяснение слав. **jьl(ь)тъ* – вместе с русск. диал. *вильма*, н.-луж. диал. *w(j)elm* ‘вяз’ (< **vьльмъ*) и лат. *ulmus* – из и.-е. **~el-* ‘рвать, драть’ (ЭССЯ 8: 223), что подтверждается названиями вяза, засвидетельствованными в чешском языке, ср. диал. *drapač* (Bartoš 1906, 1: 65) и архаичное *lykodra* (SSJČ 1: 1147). В то же время возражения вызывают необходимость предполагать ассимиляцию *ъ-ь* и утрату первоначального *v-* в **jьльмъ*. В указанном чеш.-цслав. тексте фигурирует и синонимичное *льмъ*; факт фиксации этого цслав. слова и родственных ему в «новых» славянских языках (ср. словен. диал. *lim*, н.-луж. *lom*, польск. диал. *lim*, блр. диал. *лём*, укр. диал. *льом*, русск. диал. *лем*, *лим* и др.) позволяет предположить, наряду с формой **jьl(ь)тъ*, также вариант **льмъ* (ESJS 4: 241 и 8: 448).

В диалектах отдельных славянских языков засвидетельствован ряд разных названий вяза и ильма как исконных по происхождению, так и заимствованных (напр., чеш. диал. *drapač*, *lykodra*, польск. диал. *suchotnik*, укр. диал. *млад*, *гільняк*, блр. диал. *габ*, *габіна*, болг. диал. *дъп*, *маждрафка*, русск., укр., блр. болг. *карагач*, словен. диал. *jam*, *jan*, *rušten*, и др.), которые тоже будут объектом нашего исследования.

ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд /

Ред. О. Н. Трубачев. Т. 1–. М., 1974–.

Bartoš 1906 – Bartoš F. Dialektický slovník moravský. Т. 1–2. Praha.

ESJS – Etymologický slovník jazyka staroslověnského / Red. E. Havlová, A. Erhart, I. Janyšková. Т. 1–. Praha 1989–.

Friedrich 1970 – Friedrich P. Proto-Indo-European Trees. Chicago.

Marzell 1943–1979 – Marzell H. Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen. Bd. 1–5. Leipzig.

Pokorny 1959–1969 – Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1–2. Bern.

SSJČ – Slovník spisovného jazyka českého. Т. 1–4. Praha, 1960–1971.

Václavík 1959 – Václavík A. Výroční obyčej a lidové umění. Praha.

Г. С. Баранкова (Москва)

**Церковнославянские и древнерусские языковые черты
в Софийском сборнике XV в. и проблема книжной нормы**

В докладе рассматривается соотношение церковнославянских и древнерусских языковых черт в сборнике первой четверти XV в. (РНБ, собр. Софийское, № 1285, далее Соф-1285). По содержанию это сборник смешанного состава, в который включены как переводные южнославянские памятники (значительные по величине фрагменты Изборника Святослава 1073 г. (далее ИСв), Богословия Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна экзарха Болгарского, выборка из Шестоднева Севериана Гавальского), так и оригинальные древнерусские сочинения, в числе которых Послание Феодосия Печерского о воскресном дне, его же «Слово о вере крестьянской и латыньской», «Слово о твари и о дни, рекомом неделя», «Слово Иоанна Златоуста о лживых учителях», «Стязание с латиною», приписываемое митрополиту Георгию и др. Составитель сборника (или его протографа) не просто копировал тексты, но редактировал их как со стороны содержания, так и со стороны языка, и даже составлял краткие предисловия к текстам.

Графико-орфографическая система письма сборника Соф-1285 позволяет предположить, что он в основной своей части был переписан с древнего восточнославянского оригинала, сохранившего правописные черты XII в. При этом Соф-1285 не имеет следов второго южнославянского влияния, что можно было бы ожидать для списка XV в. Рукопись написана одним писцом. По правописанию она локализуется как новгородская.

К числу графико-орфографических черт, которые весьма последовательно проходят через всю рукопись и могут быть отнесены к особенностям ее антиграфа, следует отнести постоянное употребление **ж** на месте этимологического сочетания **dj**; примеры с **жд** во всем сборнике малочисленны. Как архаические можно рассматривать многочисленные случаи сохранения редуцированных и их этимологически правильное написание не только в приставках, но и в середине слов (корнях и суффиксах). На древность протографа сборника могут указывать написания с **ы** после заднеязычных **к, г, х**, написания **▲** и **ю** после шипящих и **ц**, свидетельствующие об их мягкости. Как сохранение древних написаний антиграфа следует рассматривать редкие случаи написаний **к** в рукописи XV в.; юс большой в ней отсутствует.

В сочетаниях редуцированных с плавными типа ***ъrt**, **ъrt**, когда редуцированный предшествует плавному, редуцированный почти всегда пишется перед

плавным, то есть по-восточнославянски. Исключения крайне редки и могут рассматриваться как вариативные. Написания с буквой **о** в начале слов в соответствии с церковнославянским **ѣ** представлены достаточно широко.

Особенностями в сфере морфологии, восходящими к глубокой древности, являются употребление супина, последовательное сохранение двойственного числа, нестяженных форм имперфекта, архаичных форм действительных причастий прош. вр. глаголов с основой на *-i-*, наличие у прилагательных большого числа окончаний на *-ааго*, *-ууму*, *-ыхъ*, *-ихъ*, а также большое число именных прилагательных, употребляемых в косвенных падежах.

К числу ярких древнерусских особенностей рукописи следует отнести наличие в ней многочисленных полногласий, написания с **ч** на месте сочетаний ***tj**, ***kt**, употребление имперфекта с аугментом **-тъ**, древнерусских местоименных форм **тобѣ**, **собѣ**, действительных причастий настоящего вр. им. п. на *-а*. Особенно многочисленны случаи употребления древнерусских причастных форм на *-уч*, *-юч*, *-ач*, *-яч*. К числу русизмов, встречающихся в рукописи, следует отнести и окончание **ѣ** в род. ед. и вин. мн. у сущ. ж. р. с основой на *-а* мягкой разновидности, и в вин. мн. у сущ. с основой на *-ѡ* мягкой разновидности, окончание **-ѣмь**, **-ѣмь** в тв. п. ед. ч. сущ. с основой на *-ѡ*. По наличию перечисленных древнерусских особенностей Соф-1285 близок Успенскому сборнику в той его части, где представлены оригинальные древнерусские произведения (Сказание о Борисе и Глебе, Сказание о чудесах Романа и Давида, Житие Феодосия Печерского).

Из орфографических русизмов последовательно проведены на протяжении всего Софийского сборника только написания с **ж** на месте ***dj** и восточнославянские написания редуцированных с плавными типа ***ѣрт**, **ѣрт**, а также написания с **-тъ** в окончаниях глаголов 3 л. ед. и мн. наст. вр. Остальные русизмы распределяются в пределах этого сборника следующим образом: в южнославянских по происхождению памятниках они появляются спорадически, тогда как в древнерусских переводных и оригинальных текстах, равно как и в авторских вставках составителя сборника, которые он вносил в тексты произведений, они допускаются очень широко. Так, в тексте Изборника Святослава 1073 г., находящегося в сборнике почти на 30 листах, единичны примеры с **ч** на месте этимологического сочетания ***tj** (причастные формы на *-учи*, *-ючи*, *-ачи*, *-ячи* отсутствуют), так же редки примеры с древнерусскими окончаниями существительных, причастные формы на *-а*, имперфектные формы с аугментом и т. д. Отмеченные же в Изборнике слова с полногласием **бѣ-сорома**, **хоронимо** находятся во вставках в этот памятник, принадлежащих составителю Софийского сборника.

В то же время в древнерусском по происхождению тексте о тропарных часах только на одной половине 33 листа содержатся 5 русизмов: **призываюче**, **река** (прич. наст. дейст.), **хворостъ**, **хотячи**, **чашѣ**. В древнерусском тексте

«Предсловие покаянию» из рассматриваемого сборника на 3 листах рукописи отмечаются следующие русизмы: **слѹшаючи, не мочи** (инф.), **не каючи, не въслѣдѹючи, волѣ** (род. ед.), **не хорони, своѣ дшѣ** (вин. мн.), **приволочаша, воротитѣ, воротатѣ, не хочемъ, не останѹче**. Примечательно, что в более позднее время тот же текст был переделан в соответствии с нормами церковнославянского языка, при этом все русизмы из него были последовательно устранены, о чем свидетельствует сличение его с одноименным текстом той же редакции из собр. РГБ, Троице-Серг. Лавры № 793, XVI в.

Следует отметить, что составитель сборника в некоторых случаях, по-видимому, сознательно варьировал церковнославянские и древнерусские написания, ср., например: **трапѣза бо молитвою начинающиса и кончающиса молитвою**.

Анализ соотносительного употребления русизмов и церковнославянизмов в рукописи показывает, что уже в ранний период оно зависело от типа текста: в южнославянских по происхождению переводах, которые древнерусский редактор-составитель включал в свой сборник, он последовательно сохранял церковнославянизмы и вместе с тем не устранял русизмы в оригинальных восточнославянских текстах. Это свидетельствует о своеобразной выработке определенного нормативного принципа, разграничивающего допуск русизмов в разные по происхождению и назначению книжные тексты.

Г. К. Венедиктов (Москва)

К изучению истории современного болгарского литературного языка

История современного болгарского литературного языка (далее – СЛЯ) – одна из тех областей болгарского языкознания, которые во второй половине XX в. и в начале XXI в. развиваются особенно плодотворно. В трудах крупнейшего в этой области ученого Л. Андрейчина и его школы, ученых других стран были поставлены и освещены многие важные вопросы истории этого языка. Некоторым итогом исследований в этой области к концу XX в. можно считать «Историю новоболгарского литературного языка», изданную в 1989 г. Институтом болгарского языка БАН. Этот и другие обобщающие труды, в том числе и университетские пособия, дают представление о том, как формировался и развивался СЛЯ со времени своего зарождения до наших дней. Не по всем проблемам истории СЛЯ в литературе утвердилось общепринятое мнение, по целому ряду проблем ученые придерживаются разных точек зрения, некоторые вопросы остаются дискуссионными.

Дальнейшее изучение истории СЛЯ не может не быть разноаспектным. Одним из важнейших его аспектов продолжает оставаться исследование начального периода истории этого языка – стадии его становления (20–70-е годы XIX в.), когда складывалась (формировалась) такая совокупность его норм, ка-

кая в своей основе представлена в функционирующем и в наши дни литературном языке. Современное состояние изученности истории СЛЯ делает обоснованной постановку такой масштабной задачи, которая, как мне кажется, позволит представить процесс формирования СЛЯ, во-первых, во всем разнообразии и полноте самих языковых фактов, отраженных прежде всего в письменных текстах эпохи Возрождения, и, во-вторых, в разнообразии опытов (попыток) нормализации языка данных текстов. Ниже кратко излагается идея возможного проекта исследования СЛЯ на стадии его формирования.

Суть предлагаемого проекта заключается в двух моментах – 1) сбор материалов по специально разработанной и составленной программе, которая должна обеспечить максимально широкий охват фактов и явлений, характеризующих состояние СЛЯ на этой стадии, и 2) фронтальное описание собранных по такой программе фактов и явлений языка всех печатных текстов (за некоторыми исключениями), изданных в указанные десятилетия. Описание собранного по такой программе и в таком объеме материала объективно представит, как мне кажется, полную картину реального состояния СЛЯ на начальной стадии его развития.

Успех в осуществлении предлагаемого проекта в решающей степени будет зависеть от программы извлечения необходимых материалов из печатных возрожденческих текстов. Составление программы – наиболее сложная и трудная предварительная задача его разработки. Программа должна вобрать в себя максимальный перечень вопросов, ориентированных на получение текстовых материалов, совокупность которых позволит получить полное (во всяком случае – гораздо более полное в сравнении с существующим) представление о процессах, происходивших на разных уровнях системы формировавшегося СЛЯ. В этот язык, сложившийся, как известно, на базе народного языка, вливались и книжные элементы, особенно элементы церковнославянского языка, занимавшие важное место в острых спорах образованных болгар того времени вокруг формировавшегося литературного языка. Эта особенность истории СЛЯ должна быть в центре внимания при составлении программы проекта.

Очевидно, что программа проекта по разным ярусам структуры формировавшегося СЛЯ будет разработана с разной степенью подробности. Так, поскольку на стадии формирования этого языка остро стоял вопрос о его графике и орфографии, программа должна содержать такой перечень вопросов, который позволил бы составить полную картину того, например, какие буквы использовались в печатных текстах и какие звуки ими обозначались, правописание разных форм существительных и других частей речи. Программа должна обеспечить полное собрание употребленных в печатных текстах грамматических форм частей речи с непререкаемым учетом диалектных различий. Другие уровни складывавшейся структуры СЛЯ в программе неизбежно займут более скромное место (например, орфоэпия, ударение). Неясным пока видится место лексики в программе предлагаемого проекта.

Собранный по программе рассматриваемого проекта материал позволит представить картину общего состояния СЛЯ в целом и отдельных уровней его структуры. Расположенный по хронологическим срезам (например, по десятилетиям), этот материал будет исчерпывающим и надежно документированным источником изучения сложного пути нормализации этого языка, важнейшим результатом которой стала последовавшая затем кодификация СЛЯ. Полученный материал окажется столь же надежным источником и для определения роли и места территориальных диалектов в установлении структуры этого языка.

Предлагаемый здесь проект может показаться заведомо не осуществимым по той причине, что число болгарских возрожденческих книг слишком велико, чтобы их язык мог быть обследован по предполагаемой программе. Такое опасение резонно, но оно не основательно, так как изначально должно быть признано, что проект этот – дело большого коллектива исследователей, рассчитанное на длительный срок исполнения. Собственный опыт извлечения языковых материалов из нескольких десятков книг по пробной программе проекта убеждает меня в том, что такая работа, хотя она и весьма трудоемкая, вполне выполнима. По своему масштабу она в какой-то мере сопоставима с обследованием болгарских говоров по программе диалектологического атласа. Окончательному решению вопроса о целесообразности осуществления проекта в полном объеме могут предшествовать пробные описания полученных по составленной программе материалов, например, языка книг отдельных авторов – приверженцев народной и архаизованной основы литературного языка, языка книг уроженцев какого-либо диалектного ареала или даже уроженцев одного населенного пункта, внесших большой вклад в болгарское книгопечатание в те десятилетия, когда формировался СЛЯ. В любом случае собранный по программе предлагаемого проекта материал будет надежной базой данных для новых исследований, результатом которых может стать решение по крайней мере некоторых еще спорных и дискуссионных вопросов истории СЛЯ.

Программа предлагаемого проекта может быть приложена и к описанию языка периодических изданий, дающих богатый материал для характеристики состояния СЛЯ на стадии его формирования, но пока еще остающийся без должного внимания современных исследователей.

Программа проекта может быть использована и для начала масштабного изучения языка эпистолярного наследия деятелей национально-культурного возрождения Болгарии, представляющего собой ценнейший источник сведений о языке образованных болгар того времени в разных сферах их общения.

Собранный по программе проекта материал может оказаться полезной базой для решения и некоторых вопросов, не относящихся к самой истории СЛЯ (например, авторской атрибуции текстов).

Е. М. Верещагин (Москва)

Еще одна концепция изобретения глаголицы на фоне Кирилло-Методианы С. Б. Бернштейна*

1. Монография С. Б. Бернштейна «Константин-Кирилл и Мефодий. Начальные главы из истории славянской письменности» (М., 1984, 165 сс.) – важное событие в истории славянской филологии. В частности, ученый выступил против распространенного взгляда, согласно которому славянская азбука была создана как итог длительного процесса (в 856–860 гг.) и просто предъявлена Константином Философом (далее КФ) царю Михаилу III (сразу по приходе в Константинополь послов Ростислава). С. Б. Бернштейн указывал на «убедительные свидетельства», согласно которым «до встречи Константина с Михаилом в 863 г. славянской азбуки еще не было» (с. 57).

2. Между тем, в том же, 863-м, году византийская миссия отправилась в Моравию, имея на руках не только азбуку, но и переведенные книги. Если это так, то нужно искать объяснения удивительному факту стремительного изобретения сложного алфавита (глаголицы) и выполнения перевода Евангелия за считанные месяцы. Предлагаемая еще одна гипотеза изобретения глаголицы как раз и призвана дать приемлемое объяснение. Далее эта гипотеза ради краткости изложена отчасти назывными фразами.

3. Учитель КФ Лев Математик. Его анонимный ученик, геометрическая компетенция которого подробно изложена Продолжателем Феофана. Аноним чертил фигуры и производил операции над ними.

4. Аналогия, позволяющая судить о геометрической компетенции КФ. Аналогическая аксиома: «По одному ученику Учителя судим о другом его ученике».

5. Чему КФ научился у Льва Математика. Анализ системы Евклида и Прокла через призму их наставлений и греч. геометрической терминологии: черчение фигур и их преобразования. Отношение к «еллинским наукам» в Византии IX в. и самого первоучителя КФ. Создание азбуки как выполнение геометрической задачи (по единому принципу) не требует больших затрат времени.

6. Подкрепление гипотезы фактическим материалом: предпринято масштабное исследование древнейших глаголических рукописей, позволившее расширить и отчасти оспорить традиционные представления о начерках литер.

7. За исключением малого числа заимствованных и ортогональных букв, дедукция всех остальных (5/6 алфавита) может быть сведена к известным в геометрии операциям над фигурами *зигónа* («ярма») и *перифéрейи* (общий термин для «дуги» и «окружности»). Эти единообразные операции выполнимы за небольшой срок. Иначе говоря, точка зрения С. Б. Бернштейна, вопреки взгля-

* Работа подготовлена во исполнение исследования «Остромирово евангелие как наиболее характерный Кирилло-Мефодиевский источник» (проект № 09-04-00358а; финансируется РФНФ).

дам И. Дучева, А. С. Львова, Б. Н. Флори и др., получает подкрепление новым материалом.

И. В. Вернер (Москва)

Омонимия падежей как дидактический и эвристический принцип в церковнославянской грамматике XV–XVII вв.

1. Проблема грамматической омонимии в том или ином объеме стоит перед книжниками уже с самого раннего этапа развития церковнославянского языка. С конца XV в. эта проблема приобретает особую значимость, поскольку в грамматических описаниях решается вопрос теоретического освоения языка, а вопрос его практического применения становится актуальным в контексте расширяющейся переводческой, а затем и справщицкой деятельности. Эти вопросы решаются параллельно, зачастую одними и теми же книжниками, и осмысляются через классические языки – греческий и латынь. Западная латинская традиция, в значительной степени повлиявшая на становление церковнославянской грамматики, привнесла в теорию и практику славянских книжников метод омонимического истолкования падежей, изначально применявшийся для запоминания латинских именных флексий, а на славянской почве превратившийся в способ распознавания и порождения падежных форм. Следствием этого стали многочисленные случаи смешения и мены падежей как в переводных церковнославянских текстах, так и в грамматических сочинениях.

2. Омонимический принцип демонстрируют довольно известные тексты, которые порождают книжники, по происхождению или образованию связанные с европейской грамматической традицией: переводчик Геннадиевской Библии 1499 г. – западный или южный славянин католик Вениамин; новгородец Дмитрий Герасимов, переводчик латинского «Доната»; Максим Грек, постигавший церковнославянский по приезду в Москву в 1518 г.; и, наконец, более чем через столетие в этом же ряду оказываются московские книжники Михаил Рогов и Иван Наседка – редакторы издания «Грамматики» 1648 г.

3. Латинская система именного словоизменения представляет собой самый наглядный пример приложения мнемотехнических принципов, активно использовавшихся омонимно. Оптимизация запоминания за счет сокращения мест, занимаемых флексией того или иного падежа, используется в латинской грамматике постоянно. Возможность для такой оптимизации дает частая в латыни омонимия окончаний разных падежей (кроме номинатива и вокатива, всегда совпадают флексии датива и аблатива во мн. ч., а также ряд других форм). Методическая установка при обучении латыни предполагала заучивание парадигм на память не столько в последовательности расположения падежей, сколько в соотношении того или иного члена парадигмы с омонимичными формами.

4. Практика запоминания и истолкования словоформ через падежные омонимы, отраженная в латинском «Донате», практически полностью была воспроизведена в переводе грамматики Д. Герасимова. Так, вопросно-ответной части славянского «Доната» на вопрос, какого падежа словоформы «плода» или «плодовъ», следует ответ: родительного, винительного и отрицательного. В несоотносимой с латынью славянской части текста Герасимова как особенность собственно славянской именной парадигмы заявлена омонимия Вин. и Род. падежей.

5. Методические установки, усвоенные при обучении латыни, реализует и переводчик Геннадиевской Библии Вениамин. Следствием этого являются внеконтекстные переводы омонимичных латинских падежей, когда последовательно смешиваются или взаимозаменяются совершенно определенные падежи: Им. мн. и Вин. мн., соответствующие омонимичным формам Nom. и Acc. pl., Твор. и Дат., соответствующие совпадающим формам Dat. и Abl. sing. и pl. Кроме омонимии внутри парадигм разных типов склонений перевод Вениамина отражает и целый ряд смешений падежных окончаний по принципу межпарадигматической омонимии.

6. Ранние переводные и отчасти оригинальные тексты Максима Грека отличаются особенностями именного формообразования, не соотносимыми с греческим языком и не являющимися нормативными для церковнославянского. К самым ярким из них относится мена флексий Род. и Мест. мн. ч. и Род. и Вин. неодушевленных существительных. Появление этих специфических форм можно объяснить осмыслением и обобщением Максимом Греком той грамматической информации об омонимичных славянских именных формах, которая содержится в «Донате» Герасимова.

7. Классическое отражение использования падежной омонимии – в школьной учебной практике – представлено в грамматическом разборе молитв «Царю небесный» и «Отче наш». Этот разбор содержится в приложении к вышедшему в 1648 г. в Москве изданию «Граматики» М. Смотрицкого. Издатели М. Рогов и И. Наседка допускают в нем многочисленные ошибки, связанные с определением грамматической семантики словоформ, особенно падежных. Соотнесение этих ошибок с указаниями «Граматики» 1648 г. позволяет воссоздать все тот же операционный механизм омонимического истолкования падежей.

Боян Вылчев (София)

К вопросу об исторической типологии болгарского литературного языка

С помощью так называемой «Теории литературных языков» Пражский лингвистический кружок прокладывает важный путь к пониманию и овладению механизмами функционирования современных литературных языков. Данная теория, однако, никогда не была создана как единое целое, а в течение

десятилетий после Второй мировой войны некоторые ее сегменты и уровни разрабатывались с учетом отдельных языков, что сделало ее эклектичной. Появились различные взгляды и модели, которые применимы при описании современного состояния отдельных литературных языков, но не имеют универсального характера. Сама эта теория утратила свою первоначальную логику и осталась преимущественно на уровне теоретических рассуждений, не будучи направленной на решение практических вопросов. Многие исследователи, однако, прибегают к разным элементам этой теории именно как к теории универсальной и применяют ее некритически. Так, например, в последнее время стали употреблять термин «стандартный язык», автоматически охватывающий и соответствующее содержание понятия «стандарт». Данный термин, однако, абсолютно не применим к большинству языков, в частности к языкам Балкан, что делает его не менее вводящим в заблуждение, чем термин «литературный язык». Это обусловлено перерывом в историческом развитии этих литературных языков и кратковременностью их образования в рамках Нового времени при отсутствии социальной (вертикальной) оппозиции (см. ниже). С другой стороны, для указанных языков характерно то, что они обслуживают сравнительно малочисленное население и имеют *национальный* характер ввиду специфики государство образующей модели на Балканах. Существует серьезное различие между ними и литературными языками бывших империй и многонациональных государств (например, Франции, Великобритании, Испании, отчасти России и др.), где все пользуются одним официальным (государственным) языком, а населяющие эти государства отдельные народности имеют свой родной язык, который обслуживает главным образом сферу неофициального общения¹. При этих языках – назовем их «официальными» – посредством обучения и овладения ими отдельными народностями спонтанно или целенаправленно применяется ряд стандартизованных процедур, которые влияли и продолжают реверсивно влиять на носителей государственного языка как родного, а отсюда и на саму кодификацию. Имеет значение также и международная роль, которую они играли или играют. Напомню, что помимо только что здесь изложенного речь идет и о континуитете в развитии и применении этих языков начиная от Средневековья до наших дней. Следовательно, здесь проявляется противопоставление «национальных литературных языков» «стандартным языкам», что очерчивает их специфическую модель. Тот, кто знаком с языковой ситуацией в Болгарии, Сербии и др., легко заметит указанное отличие.

Историческую типологию литературных языков нельзя выяснить без прочного увязывания существующих языковых фактов с социальными реальностями периода создания литературных языков. Болгарский литературный язык в своей истории пережил некоторый перерыв, наличие которого отрицается не-

¹ Лишь в последнее время поднялась волна эмансипации родных языков в указанном типе государств, которую можно легко и хорошо проследить, например, в соответствующем месте компьютерного меню Word'a.

которыми исследователями. По моему мнению, здесь примешивается некая «сверхпатриотическая» идеологема, которая по существу сдвигает процессы во времени и затемняет их сущность. После гибели средневекового болгарского государства (конец XIV в.) были устранены две важнейшие предпосылки и условия существования и развития литературного языка – церковь как *болгарская* организация и *болгарское* государство со всеми его институтами. Таким образом была утрачена потребность в литературном языке, его потребителей/носителей/продолжателей сначала стало меньше, а впоследствии они почти исчезли. Это стало возможным также и вследствие ликвидации возможностей поддержки образовательных институтов, а известно, что литературный язык без образования существовать не может, как образование не может существовать без литературного языка. Так у болгар перестал быть возможным особенно важный мультипликационный эффект, т. е. увеличение массы грамотных и практикующих/развивающих литературный язык людей. Цифры ясно показывают, что в конце Возрождения Болгарии (XIX в.) в стране грамотных было меньше предполагаемого числа грамотных болгар пятью веками ранее (XIV в.).

В период своего существования в рамках Османской империи болгарский народ обретает гомогенную социальную структуру. Для иллюстрации данного положения я пользуюсь графическим представлением так называемой социальной пирамиды. Если до конца XIV в. социальная пирамида и иерархия у болгар хорошо очерчена и соответствует ее состоянию у других средневековых народов, живших в собственных государствах, то после этого важного исторического рубежа социальная структура болгар приобретает форму равнины, т. е. ее трехмерный (по вертикали и горизонтали) вид трансформируется в двухмерное поле, заселенное однородным в социальном отношении народом, расположенным в основании социальной иерархии как империи в целом, так и болгар в частности. Лишь в начале Возрождения, которое после периода размытого Средневековья азиатского типа стало и началом Нового болгарского времени, начинается социальная дифференциация болгар. Здесь также учитывается одно из важнейших отличий по сравнению с рядом языков в Западной и Средней Европе, где создание литературного языка происходит при постоянной *вертикальной* социальной оппозиции между «социальным наверху» и «социальным внизу». Там литературный язык имеет *исконно элитарный* характер и реально распространяется на строящееся общество (заполняющуюся социальную пирамиду) сверху вниз, т. е. литературный язык имеет элитарный и эталонный характер. В условиях Возрождения Болгарии «социальное наверху» отсутствует, а общество начинает создавать социальные этажи снизу вверх. Это же происходит и с литературным языком – он создается на *широкой социальной основе* и на единственно *горизонтальной* оппозиции «Болгарский Восток» – «Болгарский Запад», порожденной более ранним и более быстрым развитием экономики и просвещения района Центральной Старой планины с прилегающими территориями и Подунавьем.

Можно выделить три более важные характеристики, типологически отличающие болгарский литературный язык от ряда западно- и средневропейских языков и определяющие ряд механизмов его современного функционирования. Он создан

- без прочного наличия вертикальной социальной оппозиции и он не имеет искомого элитарного характера;
- на широкой социальной основе;
- только в условиях Нового времени – секулярного времени широкого доступа к образованию и письменной культуре.

Сравнение этих двух исторических типов литературных языков помогает нам точно очертить современные характеристики болгарского литературного языка – результат короткого, интенсивного и при этом хорошо документированного развития. В болгарском литературном языке все еще протекают интенсивные процессы развития в его инфраструктуре, т. е. на фонетическом, морфологическом и других уровнях. Это следует иметь в виду кодификаторам, которые в кодификационных пособиях должны допускать более широкие рамки. С помощью кодификационных актов и образования у населения нужно создавать представление о литературно-языковой норме именно как о рамке, а не как об одной-единственной узко сформулированной возможности. В литературно-языковой (устной и письменной) практике дублетность на различных уровнях издавна существует, и это должны учитывать кодификаторы, чтобы филологическое познание могло реально обслуживать практическую жизнь людей, а не превращаться в капсулированное знание, которое массово игнорируется и маргинализируется.

Бонка Даскалова (София)

Българска историческа терминология във влашки грамоти от XIV–XV век

Много исторически извори свидетелстват, че от създаването на държавата на хан Аспарух до средата на XIV век, с известни прекъсвания, териториите на север от Дунава са влизали в границите на българската държава и тя е оказвала своето влияние и е оставила своя отпечатък върху обществения и духовния живот по тези места. След рухването на България под завоевателния натиск на Османската империя, Влахия и Молдова се превръщат в опора и спасителна земя за милиони български бежанци. В своето държавно устройство тези княжества запазват българските традиции в административното и правно устройство, православната религия и българския език. Т. нар. «среднобългарски език» е официалният език на църквата и държавата: на този език се извършва богослужението и в манастирите се преписват произведенията на старобългарските преводачи и писатели; на този език биват издавани държавните документи –

юридически, имуществени и грамоти от различен характер. За разлика от поконсервативния език на религиозната литература, езикът на държавните документи отразява историческото развитие на живия, говорим език. По този «светски» език ние можем да реставрираме донякъде историческата действителност и обществените отношения от тогавашната епоха.

С тази цел ние се обърнахме към запазените грамоти във Влахия, издадени от канцелариите на влашките воеводи през XIV и XV век, в които до голяма степен е запазена социално-политическа лексика от времето на средновековните български владетели. Тази лексика се отнася както към административните длъжности, така и за различни задължения към държавата и нейните институции.

Титулатурата на влашките владетели била «велик воевода» и «господин». И двете титли са български по своя произход. Известно е, че титлата «воевода» в средновековна България е означавала «висш военачалник». Представителите на светската аристокрация се наричали «боляри» (велики и мали) или «князе». Административните служители носели общо название «работници» с различни длъжности – велик логотет, вестиярий, протостатор, епикерник, столник, съдия, жупан, бан, хотарник, къблар и др. Етимологията на някои от тези думи е византийска и чрез български е проникнала и във влашките грамоти.

Изследваните грамоти от времето на Владислав I Вода (XIV век) до средата на XV век (Раду Празнаглава) показват интересни черти на обществените отношения и различните задължения на отделните социални слоеве на населението. Думи като «дан», «тегоба», «десетина», «сенокос», «сеновоз», «служба», «дажди», «посада» и т. н. показват различните граждански данъци и такси на времето. Различни понятия като «свободни люде», «слуги», «племенити люде», «верник» и други показват самото социално разделение на влашкото общество през тази епоха.

Дарствените грамоти, давани на манастирите, са особено благоприятна почва за такава лексика, защото там се изброяват различни имуществени и юридически отношения между местното население и манастирските имоти. В работата са изследвани дарствени грамоти, дадени на влашките манастири Водича, Тисмана, Прислоп, Бистрица, които съдържат богата лексика, свързана с нашата тема.

М. Т. Димитрова (София)

Местоименное выражение одновременных посесивности и рефлексивности (установление норм литературного языка в эпоху Болгарского Возрождения)

Современная кодифицированная норма болгарского литературного языка рекомендует в случаях одновременного выражения посесивности и рефлексивности в 3-м лице ед. и мн. ч. употребление только возвратного притяжательного местоимения (полная и краткая форма). В 1-м и 2-м лице ед. и мн. ч. норма

является обязательной для кратких местоименных форм. Для полных форм рекомендуется употребление возвратного притяжательного местоимения, но допускается и употребление обычного притяжательного местоимения. Компромиссный вариант сочетаний из полной формы обычного притяжательного местоимения и краткой формы возвратного притяжательного местоимения, присущих восточным болгарским говорам, находится вне литературной нормы.

В настоящей работе исследуется употребление возвратного и обычного притяжательных местоимений в случаях одновременного выражения посессивности и рефлексивности в двух текстах эпохи Болгарского Возрождения¹. Задача работы состоит в том, чтобы оценить появления стабильной тенденции установления в письменной практике исследуемой эпохи таких употреблений, которые соответствуют современной кодифицированной норме.

В «Любословии» – письменном памятнике второй четверти XIX в. – употребление возвратных притяжательных местоимений в случаях одновременного выражения посессивности и рефлексивности является нестабильным. Приблизительно в 1/3 случаев встречается обычное притяжательное местоимение, а не возвратное. С указанной семантикой чаще употребляются полные формы обычного притяжательного местоимения в сравнении с краткими. Употребление обычных притяжательных местоимений в случаях одновременного выражения посессивности и рефлексивности неодинаково для разных форм персонально-номеральной парадигмы (напр., в таком употреблении в основном встречаются местоимения ед. ч. *негов* и *нихен*). Обычные притяжательные местоимения употребляются на месте возвратных даже в случаях референциального конфликта. Часто в одном сложноподчиненном предложении в случаях одновременной посессивности и рефлексивности встречаются как обычные, так и возвратные притяжательные местоимения. Однако сочетания из полной формы обычного притяжательного местоимения и краткой формы возвратного притяжательного местоимения, присущие устной речи эпохи и разрешающие референциальный конфликт, практически не употребляются в тексте «Любословия».

В «Летоструе» – письменном памятнике третьей четверти XIX в. – употребление возвратных притяжательных местоимений в случаях одновременного выражения посессивности и рефлексивности является стабильным и соответствует современной норме литературного языка. Полные формы обычных притяжательных местоимений 3-го л. ед. и мн. ч. не встречаются в случаях одновременного выражения посессивности и рефлексивности. Краткие формы обычных притяжательных местоимения в единичных случаях выражают указанные выше значения, но это в основном формы 1-го и 2-го л., что исключает появления референциального конфликта. Кроме того, в рамках одного предложения

¹ Это энциклопедические издания: журнал «Любословие» (1844–1846) и «календарь» «Летоструй» (1869). Исследование осуществлено на базе электронных корпусов из каждого издания с применением статистических методов.

встречаются как краткое обычное притяжательное местоимение, так и краткое возвратное притяжательное местоимение, что дополнительно препятствует появлению референциального конфликта. В тексте «Летоструя» не встречаются сочетания из полной формы обычного притяжательного местоимения и краткой формы возвратного притяжательного местоимения.

Наблюдения позволяют подвести итоги, что к третьей четверти XIX века литературная норма употребления возвратных притяжательных местоимений в случаях одновременного выражения possessивности и рефлексивности установлена. Несмотря на эту констатацию, в современной литературной речи норма употребления возвратного притяжательного местоимения в случаях одновременного выражения possessивности и рефлексивности является нестабильной и нарушается даже в 3-м лице, где референциальный конфликт вполне возможен. Причины и объяснения этого непоследовательного применения нормы, видимо, нужно искать на синхронном уровне, исследуя связь между употреблением обычного или возвратного притяжательного местоимения и условия появления референциального конфликта как в рамках непосредственного контекста, так и в широком контексте.

Босилков К. Кратка история на българския книжовен език. Сегед, 1986.

Грамматика на съвременния български книжовен език. Том II. Морфология. София, 1983.

Иванова-Мирчева Д., Харалампиев И. История на българския език. Търново, 1999.

Илшева К. Местоимение и текст. София, 1985.

История на новобългарския книжовен език. София, 1989.

Мирчев К. Историческа граматика на българския език. София, 1978.

Мурдаров В. Формиране на книжовноезикови норми (според историята на съвременния български книжовен език) // Исследования из историята на българския книжовен език от миналия век. София, 1979.

Ницолова Р. Българска граматика. Морфология. София, 2009.

Ницолова Р. Българските местоимения. София, 1986.

Пашов П. Практическа българска граматика. Второ допълнено издание. София, 1994.

Първев Хр. Очерк по история на българската граматика. София, 1975.

Русинов Р. История на новобългарския книжовен език (второ издание). София, 1984.

В. С. Ефимова (Москва)

Суффикс *-tel'(ь)* в старославянском

В статье 1972 г. «К истории славянского суффикса *-tel'(ь)*» (Русское и славянское языкознание. М., 1972. С. 35–42) С. Б. Бернштейн обращает внимание на то, что во всех славянских языках лексемы с суффиксом *-tel'(ь)* относятся к слою книжной лексики (что побуждало исследователей считать их в каждом из славянских языков заимствованиями), и высказывает предположение об активном процессе образования наименований лиц с этим суффиксом, имевшем место «в наддиалектных культурных койне» еще в эпоху праславянского языка. В отношении старославянского языка С. Б. Бернштейн замечает: «В старосла-

вянских памятниках XI в. встречается около 70 слов с суффиксом *-тель*. Среди них нет слов, отражающих жизнь или деятельность крестьянина. Все эти слова сформировались и употреблялись в иной социальной среде» (с. 38).

В докладе предполагается рассмотреть, как функционировал суффикс *-tel'(b)* старославянском языке, какое место в его лексической системе занимала лексика с этим суффиксом, как много из этих «около 70 слов» могли бы быть «кандидатами» в представители «наддиалектного культурного койне» (т. е. перешедшими в старославянский язык из этого гипотетического слоя лексики праславянского языка).

В старославянском языке лексемы с суффиксом *-tel'(b)* и его более поздней модификацией суффиксом *-itel'(b)* – это наименования лиц, номинирующие их по профессии, постоянным занятиям и свойственным им действиям. В сфере продуктивного словообразования наименования лиц с такими же значениями образовывались также с суффиксами *-ik(b)/-ьnik(b)*, *-ьс(b)* и *-ar'(b)*, поэтому лексемы с суффиксом *-tel'(b)* (*-itel'(b)*) рассматриваются нами в сопоставлении с лексикой, образованной с помощью конкурирующих суффиксов.

Наименования лиц с суффиксом *-tel'(b)* (*-itel'(b)*) – исключительно deverbatивы, тогда как старославянские наименования с суффиксом *-ar'(b)* – исключительно отыменные; наименования с суффиксом *-ik(b)/-ьnik(b)* отыменные по большей части. Таким образом, наименования с суффиксом *-tel'(b)* (*-itel'(b)*) прежде всего должны быть сопоставлены с наименованиями-deverbatивами с суффиксом *-ьс(b)*. Наименования лиц с суффиксом *-ьс(b)* в рукописях «старославянского канона» относительно немногочисленны, принадлежат к слою обиденной лексики и представляют собой «старые» славянские лексемы, почерпнутые древними книжниками из народной славянской речи. В отношении же старославянских наименований лиц на **-тѣль** почти всегда можно с уверенностью говорить об их книжном характере. В собственно старославянских рукописях – это большей частью гапаксы или малочастотные лексемы (то есть, по всей видимости, неологизмы, употребленные пока еще один или два-три раза). Однако некоторые из них впоследствии закрепились в языке и становились лексемами высокочастотными (ср., например, гапаксы Супрасльской рукописи **покровитель**, **правитель**, **сѣказатель**, **сѣздатель** и др.).

Греческими соответствиями наименований лиц на **-тѣль**, встречающихся в рукописях «старославянского канона», чаще всего являются существительные с суффиксом *-της*. Как старославянские наименования на **-тѣль**, так и греческие наименования на *-της* характеризует прозрачность мотивационных отношений с мотивирующими их глаголами. Можно сказать, что старославянский суффикс *-tel'(b)* (*-itel'(b)*) играл роль аналога греческого суффикса *-της*, так как его «сфера действия» фактически совпадала со «сферой действия» греческого суффикса (о последнем см.: *Chantraine P. La formation des noms en grec ancien*. Paris, 1933, p. 320). По мере становления старославянского лексикона количество существительных на **-тѣль** в нем нарастало, что было отмечено еще

Р. М. Цейтлин (Лексика старославянского языка. М., 1977, с. 105). При наличии в старославянском лексическом инвентаре наименований лиц, уже использованных для перевода определенных наименований греческих, древние книжники создавали новые наименования на **-тѣль**. В ряде случаев создание подобных неологизмов провоцировалось необходимостью передать семантическую и стилистическую сложность подлежащих переводу текстов, написанных на богатом греческом языке византийского периода. Однако в некоторых случаях образование наименования лица на **-тѣль** можно объяснить лишь желанием придать наименованию более «книжный вид» и соблюсти указанное соответствие суффиксов **-της** и **-tel(ь)**.

Способ номинации лиц наименованиями с суффиксом **-tel(ь)** достаточно широко используется уже в переводе Евангелия. В связи с этим возникает вопрос: какая часть этих слов представляла собой «старые», возможно, праславянские, лексемы (как считал С. Б. Бернштейн), а какая была создана переводчиками Евангелия непосредственно в процессе перевода и для его нужд (то есть в процессе «текст → текст»)? В отношении ряда наименований мы с большей вероятностью можем предполагать, что они являлись результатом словотворчества переводчиков.

Н. Н. Запольская (Москва)

Церковнославянский язык: грамматика «ошибок»

1. Лингвистическая мысль славянских книжников во все периоды истории церковнославянского языка была направлена на достижение его формально-семантической *правильности*. Дистанция между книжным языком и языком повседневного общения, проявлявшаяся на уровне грамматических категорий и на уровне средств выражения, мотивировала появление ошибок – аграмматизмов и гиперкоррекций. Однако наряду с системно мотивированными ошибками в церковнославянских текстах и метатекстах употреблялись грамматические элементы, демонстрировавшие «эффект ошибки», но ошибкой не являвшиеся. Причина появления такого рода языковых элементов заключалась в том, что базовая идея *правильности языка* в конкретных культурно-исторических ситуациях осложнялась идеосемантическими и идеофункциональными установками, в соответствии с которыми языковые элементы оценивались книжниками в рамках оппозиций *сакральное//профанное, украшенное//простое, чужое//свое*. Идеосемантическая или идеофункциональная нагруженность проявлялась не только в спецификации нормативных языковых элементов и в расширении состава нормативных элементов, но и в нарушении формально-семантических параметров нормативных элементов, т. е. в «эффекте ошибки».

2. В пространстве христианской культуры оппозиция *сакральное//профанное* явилась результатом процесса «христианизации» языка, процесса наложе-

ния на буквальные смыслы смыслов сакральных. Сакральную субграмматику формировали имена и глаголы, понимание лексической и грамматической семантики которых определяло понимание основных богословских положений. «Имплицитное богословие» задавалось не только в дифференциации грамматических вариантов, но и в расширении состава формантов. Так, существительное *Слово*, когда обозначало Бога Сына, т. е. приобретало функцию имени собственного, получало в В. ед. наряду с флексией *-o* флексию *-a*, в 3. ед. наряду с флексией *-o* флексию *-e*. Показатели мужского рода позволяли, во-первых, рассматривать *Слово* в одном грамматическом ряду с маркированными именами существительными, именовавшими Бога, и, во-вторых, демонстрировать грамматическое тождество греческого и церковнославянского языков.

3. Рассмотрение церковнославянского языка в контексте других литературных языков актуализировало оппозицию *чужое//свое*. В зависимости доминирования идеи духовного универсализма или духовного изоляционизма происходила либо формально-семантическая трансляция «чужого» языка, либо демонстрация формально-семантических преимуществ «своего» языка. Такого рода формально-семантические опыты приводили к появлению форм с нарушенной грамматической семантикой: например, форма «моего» в Р. ед. лично-го местоимения «азь» демонстрировала влияние латыни.

4. Секуляризация культуры в XVII веке выразилась в расширении функций церковнославянского языка, который должен был уже обслуживать не только книжные тексты, выполнявшие догматические задачи, но и литературные, прежде всего, поэтические тексты, выполнявшие задачи эстетические. В такой секуляризованной перспективе актуальность приобрела оппозиция *украшенное//простое*. Основным приемом *украшенности языка* стали поэтические вольности, поскольку в виршевой поэзии книжнику было важно учесть все многообразие параллельных вариантов, чтобы, заменяя их, укладываться в нужный размер по числу слогов. В набор поэтических вольностей включались неравносложные нормативные и ненормативные грамматические варианты. Кроме того, допускалось употребление неправильных грамматических форм, например, употребление кратких действительных причастий с нарушением показателей рода и числа.

Диана Иванова (Пловдив)

В русле традиции *Slavia Orthodoxa*: Бухарестское евангелие (1582)

Старопечатные книги XVI века – исключительно ценные источники для исследований, связанных с текстологической и литературно-языковой традицией в истории евангельского текста. Еще в первом серьезном филологическом исследовании истории текста Геннадиевской библии русские ученые А. В. Горский и К. И. Невоструев (Горский, Невоструев 1855) пришли к важному заклю-

чению, что в XIV–XV вв. у южных славян было сделано новое сличение новозаветного текста с актуальными в тот период греческими источниками и его исправление, в результате чего в восточном православном мире распространился и утвердился унифицированный текст, достаточно стабильный, общепринятый и авторитетный. Списки именно этой редакции, которую Г. А. Воскресенский называет четвертой (Воскресенский 1896: 291–292), распространялись и в России во времена митрополита Киприана, вытесняя употребление всех предыдущих изводов. В пользу единства редакции XIV в., сделанной в Святой горе и в Тырнове, свидетельствуют и печатные издания, прототипами которых были тексты той же самой редакции.

Именно в них последовательно сделанная афонская редакция представлена в печатном виде, что способствовало ее дальнейшему распространению и утверждению в православном мире. Афонская редакция легла также в основу первого полного состава славянской библии – Геннадиевской (1499), а в более поздних печатных изданиях – Острожской (1581), Московской (1663) и Елизаветинской (1751)¹ окончательно была кодифицирована (т. н. церковнославянская редакция) (Горский, Невоструев 1855; Алексеев 1999: 204).

В этом плане сопоставление между памятниками разных хронологических срезов и разных редакций весьма интересно с точки зрения установления связей между ними и прослеживания путей формирования окончательной церковнославянской кодификации, которая задала новый нормативный образец. И, как отмечает А. А. Алексеев, церковнославянскую редакцию следует рассматривать как процесс: «Извод не есть дело одного редактора, это процесс, который имеет длительное существование и в котором принимает участие значительное число редакторов» (Алексеев 1985: 86).

В этом ракурсе автор ставит перед собой следующие задачи:

1. Представить в общем плане Бухарестское четвероевангелие, для чего рассмотрены его орфографические, грамматические и лексикальные особенности. Независимо от отсутствия данных о конкретных протографах, сделана попытка найти его место по сходству с представительными образцами предыдущей евангельской рукописной литературы. Анализ предоставил возможность очертить целый круг памятников, с которыми оно роднится, не совпадая полностью ни с одним источником.

2. Сделать сопоставление с другими печатными книгами среднеболгарской редакции XVI в. При сопоставлении наиболее близким к нему в кругу памятников выделяется Торговиштское четвероевангелие (1512). Анализ показывает, что оба памятника обладают общей текстологической основой и лингвистическими чертами, но между ними отмечаются также некоторые отличия. Наиболее существенной является разница в степени отражения некоторых инно-

¹ Об общей текстологической основе евангельских книг см. исследование Алексеев 1999, а также коллективный труд Алексеев и др. 1998.

вационных явлений, в частности – в Буке чаще встречаются черты разговорной речи.

3. Для полноты картины в ракурсе общей и единой славянской восточной православной традиции сделать сопоставление между Буком и русскими церковнославянскими евангельскими книгами (с рукописной Геннадиевской библейей 1499 г. и с более поздними печатными изданиями – Острожской (1581 г.) и Елизаветинской библеями (1751 г.)). Независимо от того, что нет данных о наличии прямой связи между ними, обнаруживается косвенная связь – через южнославянские образцы, использованные при составлении Геннадиевской и Острожской библей и подвергшиеся одной и той же редакции – Афонской, намечается целый ряд параллелей между ними. В текстологическом аспекте они отражают многообразие и сложное взаимодействие между отдельными греческими образцами и славянскими редакциями Евангелия, характерное для более ранних этапов в истории этой библейской книги на славянской почве. В научной литературе исключительно важна проблема текстологических и лингвистических проекций южнославянских рукописных (и печатных) книг на церковнославянский текст, и в этом отношении Бухарестское евангелие дает ценные свидетельства.

С другой стороны, исключительно важна также проблема обратной связи и влияния церковнославянских книг на южнославянскую литературу. Предстоит задача проследить, насколько это актуально и в отношении этой ранней печатной книги – Бухарестского евангелия.

Алексеев 1985 – *Алексеев А. А.* Проект текстологического исследования кирилло-мефодиевского перевода Евангелия // Советское славяноведение. 1985. № 1. С. 82–94.

Алексеев 1999 – *Алексеев А. А.* Текстология славянской Библии. СПб., 1999.

Алексеев и др. 1998 – *Алексеев А. А., Бабицкая М. Б., Пентковский А. М., Пичхадзе А. А. и др.* Евангелие от Иоанна в славянской традиции. СПб., 1998.

Воскресенский 1896 – *Воскресенский Г. А.* Характеристические черты четырех редакций евангельского перевода Евангелия от Марка по сто двенадцати рукописям Евангелия XI–XVI вв. М., 1896.

Горский, Невоструев 1855 – *Горский А. В., Невоструев К. И.* Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. М., 1855.

А. И. Изотов (Москва)

Кирилло-мефодиевская проблематика: опасность мифотворчества

Обратной стороной развития интернет-технологий в последние десятилетия стало, в частности, дальнейшее утверждение в массовом сознании иллюзии доступности гуманитарного знания.

Эта иллюзия существовала и раньше, ведь даже в названиях исторических или филологических исследований (в отличие, скажем, от исследований физико-математических), как правило, отсутствуют непонятные массовому читате-

лю слова и термины. Никому не придет в голову, что он может сказать новое слово в сфере транспортировки заряженной плазмы в малогабаритных электро-лучевых генераторах для вневакуумных приложений или в сфере методов интегрируемых систем в теории представлений, не будучи профессионалом в соответствующей области, а вот Лермонтов, Новгород и русское духовное самосознание не испугают никого (в данном случае мы ориентируемся на названия некоторых защищенных в марте 2010 года докторских диссертаций с сайта ВАК). Даже научно-популярные, то есть рассчитанные на массового читателя, а не на профессионала, издания Стивена Хокинга и Роджера Пенроуза предполагают некоторые исходные познания в области физики и математики. Наверное, именно поэтому в книжном магазине «Молодая гвардия» на Плянке «Новый ум короля» (The Emperor's New Mind) Р. Пенроуза одиноко стоит среди «серьезных» учебников по физике на втором этаже, тогда как от популяризаторов истории ломятся полки на этаже первом.

Однако если раньше популяризаторскую книгу по истории надо было купить или одолжить (у приятеля или в библиотеке), то теперь достаточно подключиться к Интернету. Кроме того, раньше графоману надо было найти издателя, готового напечатать его опус (или же самому скопить на такое издание денег), да вдобавок еще преодолеть цензуру, которая бывает не только политической, но еще и профессиональной (предварительное рецензирование). Теперь же он может без проблем вывесить плоды своего вдохновения в Сети, что запускает цепную реакцию: нелепость, будучи многократно повторенной, становится частью мифа – псевдознания. Конечно же, в Интернете можно обнаружить отсканированную (с санкции правообладателя, но чаще пиратскую) копию серьезного исследования, однако работы типа «Индоевропейского языка и индоевропейцев» Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова тонут среди крестоносцев Батыев и графов Гомеров. У последних нет проблем со сканированием (FineReader с разгона распознает русский текст с редкими вкраплениями латиницы), да и сочиняются такие произведения не в пример быстрее, так как их авторам не нужно, как это делают специалисты по сравнительно-историческому языкознанию, опираясь на регулярные фонологические соответствия между языками, доказывать, например, что слова «голубь», «тесто» или «борозда» были заимствованы в славянские (и балтийские) языки из какого-то древнего не оставившего после себя ни письменных источников, ни живых потомков индоевропейского языка, а не были просто унаследованы общеславянским языком из праязыка индоевропейского. Достаточно объявить, как это делают С. Ваянский и Д. Калужный в «Другой истории России. От Европы до Монголии», что имя «Батый» происходит от русского слова «батя», то есть «отец», а «Золотая Орда» – это имеющий резиденцию в Праге (на набережной между Карловым мостом и зданием философского факультета Карлова университета) «Орден крестоносцев Красной Звезды», потому что «по золотому кресту, который но-

сили благочинные, и получили эти крестоносцы на Руси название Золотого Орда (Ordo по латыни, орда в старорусском произношении)».

Весьма показательными в этом плане представляются тексты известного отечественного фантаста А. Бушкова, который в последнее время позиционирует себя также и в качестве серьезного историка: в уже упоминавшемся книжном магазине «Молодая гвардия» у него есть персональная полка («А. Бушков») не только в разделе «Фантастика», но и в разделе «История».

По признанию самого А. Бушкова в одном из его многочисленных интервью, он, готовясь к написанию очередной книги по истории, месяца три роется в Интернете, собирает материал по заданной теме, а затем быстро пишет текст.

О том, что в результате получается, можно судить, например, по фрагменту «О Константине и Мефодии» одной из его книг (Бушков А. Россия, которой не было. Славянская книга проклятий. – М.: ЗАО ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 576 с.) из его же серии «Россия, которой не было».

Доклад посвящен анализу данного фрагмента, а также возможным причинам появления этого и подобных текстов.

Татяна Илиева (София)

Глотометрична характеристика на лексиката в Йоан-Екзарховия превод на Богословието

Изследването представя опит за прилагане на статистическата методика при проучване на речниковия фонд на старобългарския език на базата на лексикалната система на отделни текстове – в случая Йоан-Екзарховия превод на Богословието (нагатакъ ЙоЕБ). Този тип анализи в палеославистиката са слабо застъпени. Ето защо работата има за цел да даде сравнителен материал и за бъдещи подобни изследвания.

Наблюденията са извършени въз основа на индекса на словоформите и обратния речник към ЙоЕБ, изготвени от Р. Айцетмюлер и приложени към изданието на Л. Садник¹.

За да бъде направен глотометричният профил на анализирания лексикален масив, се наложи да изработим допълнителен статистически апарат към ползваните лексикографски трудове и рангов списък на думите.

Словникът на ЙоЕБ наброява общо 3326 заглавни единици съответно в 7793 словоформи и 25250 словоупотреби. 1285 от лемите са съществителни (38,63%), 904 глаголи (27,17%), 686 прилагателни (20,62%)², 20 числителни (0,6%). На-

¹ Sadnik, L. Des hl. Johannes von Damaskus Ἰωάννης ἁκριβῆς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως in der Übersetzung des Exarchen Johannes. T. II. Freiburg I. Br., 1981 (= Monumenta linguae Slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes, T. V).

² В числото на прилагателните са включени и адйективираниите причастни форми, които не се съотнасят с определен глаголен инфинитив, от типа на *невѣдомъ*, *ненписанъ* и др. Отчитат се също и субстантивираниите форми.

речията в текста са 337 (10,13%), местоименията 45 (1,35%), а служебните думи – 48 (1,44%). От тях 17 са съюзите (0,51%), 16 предлозите (0,48%), 15 частиците (0,45%). Данните показват приблизително еднакви процентни съотношения между различните части на речта в ЙоЕБ, с речника на Садник-Айцетмулер и други старобългарски текстове, на които са правени подобни изследвания¹.

Лексиката с честота на употреба 1 в ЙоЕБ възлиза на 1638 единици (49,24%), с честота 2 – на 532 (16%), с честота 3 – на 268 (8,05%), с честота 4 – на 154 (4,63%), с честота 5 – на 113 (3,4%). Относителният дял на единично употребените думи може да послужи като критерий за богатството на даден речник. От съпоставката с други старобългарски текстове се вижда, че процентният дял на еднократно използваните лексеми в ЙоЕБ е по-голям в сравнение с останалите текстове².

Съществен елемент от статистическата характеристика на текста е т. нар. индекс на повторемостта. Той се изчислява, като разделим общото количество словоупотреби на количеството лексеми в словника. За ЙоЕБ това е $25250 : 3326 = 7,59^3$.

Направено бе проучване за отношението между количеството лема от дадена суфиксална лексико-семантическа група⁴ в ЙоЕБ и количеството всички техни словоупотреби в текста. С математически изчисления се установи каква част от текста, а също каква част от словника съответствува на отделните групи думи. Общият обем на съществителните, образувани посредством суфиксация в ЙоЕБ, е 2872, а броят на лемите е 798. При прилагателните тези стойности са съответно 2008 и 636.

Данните сочат, че най-многобройна е групата на отглаголните съществителни, образувани посредством формант **-ник**, състояща се от 289 заглавни единици. В процентно отношение това съставлява 36,26%, т. е. над 1/3 от всички суфиксално образувани съществителни в ЙоЕБ. Следва суфикс **-ъ** за образуване на процесуални названия с 127 заглавни единици, което прави почти 16% от всички суфиксално произведени думи в изследвания словен масив. На трета позиция се нарежда групата отвлечени съществителни на **-ъство**. В нея влизат 109 лема или 13,55% от всички суфиксални съществителни в ЙоЕБ.

В процентно отношение спрямо общата сума употреби на съществителните от всички суфиксални лексико-семантични групи, застъпени в разглеждания текст, първо място отново заема формант **-ник**, сборната честота на чийто де-

¹ Правена е съпоставка със СловаКлОхр, ПрезвК и ЕзF.I.461.

² В ХимнКлОхр този индекс е 45,8%, за СловаКлОхр – 43,7%, за ПрезвК – 46,8%, за ЕзF.461 – 38,2², а за Повесть вр. л. – 46,5%

³ Изчислено е, че в СловаКлОхр този показател е 7,07, у ПрезвК – 7,48, в Мер. Праведн. – 7,25⁴, в Повесть вр. л. – 10, а за ХимнКлОхр 6,94.

⁴ За термина «суфиксални лексико-семантически групи» вж. Цейтлин Р. М. Лексика древнобългарских рукописей X–XI вв. София, 1986. С. 88.

ривати (771) възлиза на 26,85%, т. е. повече от 1/4 от текстовото покритие на всички суфиксални производни в ЙоЕБ. Следва суфикс **-ъ** с 608 употреби, което прави 21,17% или над 1/5 от текстовото покритие на всички суфиксални производни от тази категория думи в изследвания словен масив. На трето място пак е формантът **-ъство** със 551 употреби (19,15% или малко под 1/5 от общата употребимост). В някои случаи се наблюдава чувствителна разлика между отделните показатели. Най-фрапантен случай представлява суфиксът **-тиѣ**. Поради сравнително малкия брой на единиците, които влизат в тази група, те покриват под 2.5% от словника. Тъй като обаче в нейния състав са някои от най-високо честотните думи в ЙоЕБ (ключови за конкретния текст или широко използвани изобщо в речта), текстовото им покритие приближава 6% и изпреварва словообразователни модели със значително повече представители (**-остъ/-кстъ**, **-икъ/-ьникъ₁**, **-ьць/-иць₁**).

Глотометричното изследване показва, че в ЙоЕБ най-многобройна е групата на прилагателните, образувани посредством формант **-ьнъ**, състояща се от 394 заглавни единици. В процентно отношение това съставлява почти 62%, т. е. близо 2/3 от всички суфиксално образувани прилагателни в анализирания текст. Далеч назад следва суфикс **-искъ/-ьскъ** за образуване на *adjectiva relativa* с 58 заглавни единици, което прави почти около 9% от всички суфиксално произведени прилагателни в изследвания словен масив. На трета позиция се нарежда групата *adjectiva verbalia* на **-ивъ**. В нея влизат 30 леми или малко под 5% от всички суфиксални прилагателни в ЙоЕБ.

В процентно отношение спрямо общата сума употреби на прилагателните от всички суфиксални лексико-семантични групи, застъпени в разглеждания текст, първо място отново заема формант **-ьнъ**, сборната честота на чийто деривати (1234) възлиза на 61,45%, т. е. приблизително 2/3 от текстовото покритие на всички суфиксални производни от тази категория думи в ЙоЕБ. Следва суфикс **-jъ/-ьjъ** с 210 употреби (128 от тях на прил. **вожини**), което прави 10,45% от текстовото покритие на всички суфиксални производни в изследвания словен масив. На трето място е формантът **-искъ/-ьскъ** със 131 употреби (6,52% от общата употребимост)¹.

В ЙоЕБ са застъпени 22 префикса. Най-продуктивни са представките **по-**, **съ-** и **из-**, а най-непродуктивни – **вы-**, **подъ-** и **прѣди-**. При имената най-много префигирани основи очаквано се срещат при deverбативите на **-ниѣ** и **-ъ**. Значителен брой са и отглаголните прилагателни с префигирани основи².

Чуждата лексика възлиза на 7% от общото количество лексеми в ЙоЕБ, а сложните думи – на 3%.

¹ За сравнение в ЕзF.1461 в челната тройка са **-ьнъ** (38,5%), **-ьскъ** (14,6%) и **-jъ** (13,8%). Вж. *Ильева Т.* Словоуказатели към Книга на пророк Иезекиил по ръкопис F.1461 от РНБ, машинопис.

² Подобна е картината в Ез.F.1461. Вж. *Ильева Т.* Цит. съч.

В резултат на глотометричното изследване могат да се направят следните изводи:

Групата най-висококчестотна лексика в ЙоЕБ включва в себе си най-употребимите думи изобщо в старобългарските текстове, както и характерния за екезетическата литература словен арсенал.

Големият брой единично употребени думи разкрива тънкия езиков усет на автора, умението му да използва словното богатство на българската реч, творчески да допринесе за усъвършенстването на книжовния език.

Сравнението на разнородни по стил и жанр текстове показва, че разпределението по части на речта е изключително стабилна характеристика на текста и може да се определи като закономерно¹. Оттук следва, че известните отклонения, които се наблюдават в отделните текстове (например, по-големият брой глаголи при ПрезвК или по-високият процент прилагателни в ХимнКлОхр²) могат да се приемат за индикатор на отделен жанр или индивидуален стил.

Данните показват, че в ЙоЕБ са застъпени над 60 словообразователни модела съществителни, обединени от определен формант, отнасящ се към категориите имена на лица, действия, качества и свойства. Адйективните модели са повече от 40³. Оттук се вижда, че езикът на ЙоЕБ се характеризира с огромно разнообразие на словообразователни средства. Съпоставката с ЕзФ.І.461⁴ констатира не само количествен превес на прилагателните в ЙоЕБ като процентен дял от речника (21.15% : 16.33%)⁵, но и качествен, изразяващ се в по-голямото богатство от деривационни модели, както субстантивни, така и адйективни. Като особено продуктивни се открояват суфиксите **-ник**, **-ъ** и **-ъство** при съществителните, и **-ънъ** при прилагателните, които дават много производни и дублират в словообразователно отношение голяма част от останалите синонимни форманти⁶. Тези наклонности са напълно в унисон със съвременните тенденции, характеризиращи книжовната продукция на Двете културни средища на Първото Бъл-

¹ Срв. и изводите на Искра Христова за разпределението по части на речта в СловаКлОхр в Речник на словата на Климент Охридски, с. 15–16.

² Вж. *Илиева Т.* Лексиката в химнографското творчество на Климент Охридски – глотометричен профил. Доклад от Националната конференция по случай 1100 години от смъртта на Наум Охридски, проведена в София на 24 и 25 май 2010 г.

³ Съпоставката показва че в ЕзФ.І.461 са застъпени над 50 словообразователни модела съществителни, а адйективните модели са повече от 30. Вж. *Илиева Т.* Словоуказатели...

⁴ *Тасева Л., Йовчева М.* Книга на пророк Иезекиил с тълкования / Подбор на гръцкия текст Татяна Илиева. (= Старобългарският превод на Стария завет. Под общата редакция и с въведение от Светлина Николова. Т. 2). София, 2003.

⁵ Вж. *Илиева Т.* Лексиката в химнографското творчество на Климент Охридски – глотометричен профил.

⁶ Вж. още данните, приведени у *Vondrák V.* O mluvě Jana Exarcha bulharského. Příspěvek k dějinám církevní slovanštiny. Praha, 1896. P. 36; *Славова Т.* За протографа на Тълковната Палея // *Palaeobulgarica* 15. 1991, 3. S. 57–69; *Мострова Т.* Nomina agentis в «Шестоднева» на Иоан Екзарх в съпоставка със старобългарските паметници // *Български език XXXIII* (1983). Кн. 2. С. 106.

гарско царство – Преславското и Охридското¹. Аналогични данни с тези от други старобългарски паметници предоставя ЙоЕБ и за разпространението на префиксалните модели, както и за деривацията на думите с отрицание. При всички случаи лексикалните неологизми на книжовника, засягащи предимно композицията и суфиксацията, спазват традициите на словообразователните модели, познати ни още от КСП. Значително по-високият процент двукоренни думи в ЙоЕБ спрямо ЕзF.I.461 е обясним с особеностите на стила на автора. Всички изнесени факти за пореден път по неоспорим начин доказват единството на българския език през периода X–XI в. в двата книжовни центъра – Охрид и Преслав – и не оставят никакво съмнение за неговата народностна принадлежност.

В. В. Каверина (Москва)

Церковнославянские традиции в орфографии «Ведомостей» эпохи Петра I (адъективные флексии Р.-В. п. м. и ср. р.)

В петровских «Ведомостях» 1703–1727 гг. сталкиваются три вида различных в своем генезисе окончаний: 1) после твердых основ *-аго*, после мягких – *-яго*; 2) после твердых – *-ого*, после мягких – *-его*; 3) после твердых – *-ово* (*-ова*), после мягких – *-ево* (*-ева*).

Если в скорописных текстах, а также в печатном Уложении 1649 г. заметно преобладают флексии второго вида, то в номерах «Ведомостей», печатанных церковным шрифтом, предпочтительными оказываются традиционные церковнославянские написания (например, только в одном номере: *вислицкагѡ*, *Третягѡ*, *соединеннагѡ*, *серебрянагѡ*, *оутроженнаго*, *городовагѡ*, *Аглинскагѡ* и *галанскагѡ*, *прошлагѡ* 1703.2).

В отличие от скорописи и Уложения, написания второго вида встречаются не в каждом номере газеты: *гнишпанскогѡ каравана* 1703.2, *казацкогѡ*, *саџонскогѡ*, *саџонского* 1703.4, *краковскогѡ*, *оливинскогѡ*, *королевскогѡ*, *полскогѡ* 1703.5, *свѣйскогѡ* 1703.10, *свѣйского*, *лейнискогѡ* 1703.11, *краковского* и *коронного* 1704.25, *конфедерацкогѡ* 1705.1, *пѡнанскогѡ*, *конфедерацкогѡ* 1705.2, *любовирискогѡ* 1705.3, *пармского*, *гардерского* 1705.4, *дацкогѡ*, *крым-*

¹ Срв. и статистическите сведения у *Мострова Т.* Жанрово-стилистична обусловеност на функционалната характеристика на съществителните от глаголна основа в паметници от XIV век // Български език. 1992. Кн. 4. С. 278–279; *Цейтлин Р. М.* Лексика старославянского языка. М., 1977. За промяната в тенденциите при словообразуването на тези имена през XIV век вж. *Мострова Т.* Тенденции в словообразуването на съществителните имена в българския книжовен език през XIV век // Доклади на Втори международен конгрес по българистика. История на българския език. Т. 2. София, 1987. С. 175; *Мострова Т.* Жанрово-стилистична обусловеност... С. 277–278. Вж. и *Илиева Т.* Словоуказатели...

скогѡ, французскогѡ 1705.5, *милѣдцкогѡ, рагницкогѡ* 1706.2, *полонногѡ* 1706.14, *тосканскогѡ* 1707.1, *ренскогѡ, коронногѡ, венгерскогѡ, врлѣанскогѡ* 1707.7, *вышепоманѣтогѡ* 1708.12, *настоѣщего* 1709.2, *прошлогѡ* 1710.1 и др.

Показательно, что в номерах гражданской печати число последних написаний постепенно возрастает. В течение 1710 года вариантов первого и второго вида употребляется почти поровну, и в некоторых номерах вторых даже больше: *пребывающаго – дацкогѡ* 1710.2, *натѣрѣннаго и мѣрскаго, болюшаго – именованнаго, цесарскогѡ, госѣдарственнаго, свѣтискаго* 1710.3, *венгерскаго – царскогѡ, гишпанскогѡ, учиненнаго* 1710.4, *умершаго, свѣтлѣишаго, пребывающаго, готоваго – писаннаго, дацкогѡ, долгорукогѡ, первого* 1710.5, *втораго – единого* 1710.14, *перваго, Царскаго – Царскогѡ, барабаннаго, швецкогѡ* 1710.15 и под.

С переводом издания газеты в Санкт-Петербург «компромиссные» написания становятся преобладающими, например: *Царскогѡ* (3 раза), *польскогѡ, литовскогѡ, мазовецкогѡ, хоментовскогѡ, швецкогѡ, померанскогѡ, непрѣятельскогѡ, бендерскогѡ, корабельнаго, мулѣянскогѡ – вышняго, вышеписаннаго* 1711.11, *союзногѡ, оставленнаго, швецкогѡ – именуемаго* 1713.2. При этом в номерах, печатанных в Москве, соотношение остается прежним – примерно поровну: *завоеваннаго, Царскогѡ, царскогѡ – третѣяго* (2 раза), *швецкаго* 1711.12, *Цезарскогѡ, римскогѡ, келускогѡ – Царскаго, коруннаго, баварскаго, здѣшняго* 1711.13, *писаннаго, парногѡ, отправленнаго – новаго, третѣяго, стоящаго* 1712.10, *солтанскогѡ, одного, знатнаго – слѣдующаго, построенаго, королевскаго* 1713.4 *швецкогѡ – волоскаго* 1713.4. Важно, что при перепечатке с московского оригинала в Санкт-Петербурге флексии *-аго* заменяются на *-ого*: *Царскагѡ – Царскогѡ, мѣлѣанскагѡ – мулѣянскогѡ, Волосскагѡ – волоскогѡ* 1711.14.

Названная тенденция получает в петербургских номерах дальнейшее развитие, однако она действует не всегда последовательно: *бѣлаго, всероссѣискогѡ, священнѣйшаго – случѣившагося*, 1714.1, *одного, турецкогѡ – бывшаго* 1715.2 и др. О нестабильности орфографии исследуемых флексий свидетельствует вариативность их передачи, наблюдающаяся даже в пределах одного словосочетания, например: *гишпанскогѡ серебрѣннагѡ каравана* 1703.2, *пѣ³нанскогѡ и калнѣжскагѡ* 1705.2, *короля дацкагѡ, сампловницкаго и милѣдцкогѡ высокогородски^х столнѣиковѣ* 1705.11, *баварскаго и келускогѡ* 1711.13 и под.

В отличие от других адеквативных образований, которые до 1711 года завершаются преимущественно книжными окончаниями, местоимения постоянно пишутся в «Ведомостях» с флексиями второго вида: *тогѡ* 1703.1, 1707.7, 25, *егѡ* 1703.2, 1708.9, *сегѡ, своегѡ* (2 раза) 1703.11, *многѡ* 1705.2, *тогѡже* 1705.2,4,5, *всякогѡ* 1705.4,5, *нашегѡ* 1705.34, 1708.11 (2 раза), *оного* 1707.21, 1708.9, *ничегѡ* 1707.25, *моегѡ, оного* 1708.9,12, *нашего* 1708.5, 9 (2 раза), *своегѡ* 1708.9, *всего* 1710.3, *тогожѣ* 1711.11, *которо*

1711.11, 1713.4, 1719.1, 4, 1725.1 (3 раза), 1725.12, *оного* 1711.14, 1719.3, 1725.1, 1725.12 (4 раза), *безовсякого* 1714.1, *того* 1715.2, 1719.1, 1725.12, *такого* 1715.12, 1719.20, *тогоже* 1715.12, *сего* 1717.12, *его* 1713.4, 1717.12 (2 раза), *Вашего* (2 раза) 1719.1, *нашего* 1719.20, 1724.9, 1725.12, *никакого* 1725.1, *своего* (5 раз), *кого*, *когожь*, *какого*, *оногожь* 1725.12 и др.

Значительно реже находим здесь окончания *-аго/-яго*, исключительно в многосложных местоимениях: *котораго* 1703.3, 1704.11, *онагѡ* 1708.9, *всякаго* 1711.7, *другаго* 1712.11, *котораго* 1712.12, 1716.10, 1725.12, *онаго* 1719.1, 1725.12 и нек. др.

Кроме того, именно местоимения изредка получают флексии третьего вида, не отмеченные в других адъективных образованиях: *никакова* 1703.6, 1705.3, 22, 1708.9, *такова* 1703.23, *ево* 1708.9, *дрѡгова* 1711.3, *никакова* 1710.4, *другова* 1710.5, *своево* 1714.1, 1725.12, *ево* 1713.4 (2 раза), 1714.1 (4 раза), 1716.10, 1725.12 (8 раз) и нек. др. Об относительной предпочтительности таких окончаний именно в местоименных словоформах свидетельствуют следующие сочетания: *такова добраго желѣза* 1703.23, *никакова венгерскаго шляхтича* 1710.4.

Итак, в отличие от скорописных памятников и печатного Уложения 1649 г., в «Ведомостях» московского издания предпочтительны книжные флексии *-аго/-яго*, но начиная с 1711 г., с переводом газеты в петербургскую типографию, начинают преобладать компромиссные окончания *-ого/-его*, как и в деловых памятниках. Исключение составили местоимения, в которых флексии *-ого/-его* преобладали во всех номерах – и московских, и петербургских. Очевидно, данные написания уже стали нормой не только деловой, но и книжной письменности. Действительно, в переиздании грамматики Смотрицкого 1648 г. московские редакторы в парадигме местоимений устранили флексию *-агѡ//ѡ*, заменив ее на *-огѡ(ѡ)*; унифицирующая правка коснулась и метаязыка грамматики: *самагѡ* > *самогѡ*, *онагѡ* > *оного*.

Таким образом, наше исследование не позволяет согласиться с авторами коллективной монографии «Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии (XVIII–XX вв.)» (М.: Наука, 1965), утверждающими, что «передача флексии род. п. м. и ср. р. прилагательных как *-аго*, *-яго*... идущая от церковнославянской традиции в русском письме, прочно утвердилась в орфографической практике XVIII–XIX вв.» (с. 273), по крайней мере в отношении столетия восемнадцатого.

Е. И. Кислова (Москва)

Редакторская правка при переиздании первого тома собрания сочинений М. В. Ломоносова в 1768 году*

История изданий М. В. Ломоносова хорошо исследована, однако внимание исследователей почти не привлекала языковая правка, которая проводилась при переиздании прижизненных текстов. В настоящей работе мы обратимся к сравнению двух изданий первого тома собрания сочинений М. В. Ломоносова (разделы «Оды духовные», «Оды похвальные» и «Слово похвальное») и проведенному при переиздании редактированию.

Первый том собрания сочинений был издан впервые в 1751 г. (Ломоносов 1751). Имеется также издание 1757 г. (Ломоносов 1757), которое содержит исправленные варианты стихотворений (и которое положено в основу всех последующих переизданий произведений М. В. Ломоносова). Первый том был также издан еще раз в 1768 г. (Ломоносов 1768), который всегда считался идентичной перепечаткой первого тома (см. Тюличев 1983: 51).

Сравнение изданий 1751 и 1768 годов показало, что они не были полностью идентичны; есть ряд последовательных орфографических и пунктуационных изменений, появившихся именно в издании 1768 года. Следовательно, мы имеем дело не с простой перепечаткой, а с переизданием первого тома собрания сочинений М. В. Ломоносова. Ср.:

1) Часть возникших разночтений можно считать опечатками, так как они нарушают смысл или рифму, например: Народы, ныне научитесь, / *Смотря* на страшу гордых казнь (1751) – *Смотри* (1768); Ты осужденных кровь щадишь. / Так Нил смиренно протекает, Брегов своих он не терзает... (1751) – *Там* (1768); Но грудь прозрит народов *льстивных*, / Ужасный луч в полки противных / Блистая из твоих очей (1751) – *льстивых* (1768; потеря точной рифмы); Возри в безмерный круг небес: / Он *зыблется* и помавает (1751) – *сыплется* (1768) и т. д. В некоторых случаях исправление было сознательным, например, *Етна* в «Оде на взятие Хотина» была заменена на *Итну*.

2) Последовательная орфографическая правка. При подготовке перепечатки 1768 года была проведена определенная орфографическая и пунктуационная правка:

а) Приставки на -с (*без/бес, из/ис, раз/рас, воз/вос*), которые в первом издании оканчивались перед глухими согласными на с, последовательно правятся на -з (51 пример, ни одной обратной замены): *возприял, изпустил, безсмертия, расселинах*. Именно эту орфографическую правку, вероятно, имел в виду А. П. Сумароков, когда писал: «Г. Ломоносов у предлогов никогда не искал корня, хотя часто литеру З и превращал во С, яко вместо *разсмотрение, рассмо-*

* Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента РФ для поддержки молодых российских ученых (МК-1256.2011.6).

трение; рассуждение вместо *разсуждение*; но простительнее такая ошибка, нежели претворение литеры С во предлогах во литеру З; ибо сего и выговорить невозможно. Что бы он сказал, если бы напечатанные по смерти своей увидел законенные свои сочинения по сему правилу, чего ни ему, ни мне, и никому никогда не снилося, и предвидеть было нельзя, чтобы когда-нибудь его и мои современники такую порчу принесли правописанию» (Сумароков 1787: 13–14).

Подобная правка объясняется изменением правописания приставок на *з/с* на протяжении всего XVIII в. (см. Каверина 2010: 32–34). Важно отметить, что подобная орфографическая установка коррелировала и со скорописной традицией, и с церковнославянской орфографией, на которой базировалась скорописная традиция. Например, вскоре после выхода издания 1751 года два переписчика сделали скорописную копию этого издания (РГАДА, ф. 188, оп. 1. д. 746). По внесенной писцами правке можно оценить восприятие орфографического облика произведений Ломоносова представителями тогдашних грамотных кругов, в частности, семинаристами: писцы правят приставки на *-с* только в 14 случаях, перед глухими *с, ш, п, х*: *разсыпал, возишествия* (наряду с *восишествия*), *безсовестную, разпространения* и т.д. Следовательно, даже для скорописного узуса правка приставок, проведенная в 1768 году, должна была казаться слишком радикальной; орфография 1751 года в этом смысле была ближе к общеязыковому узусу.

б) Правописание отдельных корней: *возри > воззри, дерсский > дерзский*, в одном случае *дерский, возжжена > возжена, сердце > сердце, поверхность > поверхность* (так как в обоих изданиях последовательно *верхъ*). Мы видим последовательно проводимый морфологический принцип в орфографии.

в) Правописание прописных и строчных букв (75 изменений). Однако нельзя говорить о тенденции к увеличению количества слов, написанных с большой буквы: 40 замен – со строчной на прописную, 35 – с прописной на строчную. Редакторы по-иному распределяют прописные и строчные буквы. Основная тенденция, которую можно выделить – написание с прописной буквы местоимений и существительных, обозначающих Бога или императрицу (Ты, Он, Сам, Дщерь, Богиня). Интересно, что слова, относящиеся к Петру I, могут терять прописную букву: *человек, муж, в отеческой (короне)*. Существительные, обозначающие явления природы и мифологических персонажей, в издании 1768 года в 6 случаях «теряют» прописную букву: *зефир, музы, денница, юг, горизонт, запад*. Однако в 4 случаях приобретают ее: *Луна, Борей, Беллона, Урания*.

Любопытно отметить, что в строках «*Я Деву в солнце зрю стоящу, / Рукою Отрока держащу*» в издании 1751 года оба существительных пишутся с прописной буквы, а в издании 1768 г. – со строчной. Очевидно, в прижизненном издании М. В. Ломоносова *Дева* и *Отрок* действительно имели статус «сакральных» имен (см. Погосян, Сморгжевских 2002), однако эта символика, вероятно, уже не прочитывалась редакторами 1768 года.

д) Грамматико-орфографическая правка незначительна (3 примера): *возвысить тем Российский род > Российской; великой Анны грозной взор > грозный, праздник, которой празднован > который празднован*. Очевидно, это свидетельствует об устойчивости грамматических принципов гражданской орфографии в 1750–60-е годы.

3) Серьезным исправлениям подверглась пунктуация (73 исправления). К сожалению, история русской пунктуации XVIII века до сих пор имеет отрывочный характер. Между тем правка 1768 года в некоторых случаях была смысловой, в частности, редакторы расставляли вопросительные и восклицательные знаки (вводят 5 знаков вопроса и убирают 1, вводят 7 восклицательных знаков и убирают 1). Однако наибольшим изменениям подвергаются знаки препинания внутри предложения: вводится 26 новых запятых и убирается 7, в 8 случаях запятая правится на точку с запятой (наоборот – 3 примера), и еще в 2 – на двоеточие (наоборот – 3 примера). Точка с запятой заменяется на двоеточие 4 раза, двоеточие на точку, точка на двоеточие, точка с запятой на точку – по 1 разу. Новые запятые появляются перед союзом *что* (4 примера), *как* (3 примера), при повторяющихся союзах.

4) Как в издании 1751 года, так и в издании 1768 года появляются тупые и острые ударения для различения омографов (*зѣмли, мѳю* и т. д.), однако в издании 1768 года их расстановка более последовательна и обязательна.

Таким образом, орфографическая и пунктуационная правка, проведенная при переиздании первого тома М. В. Ломоносова, показывает, что за 17 лет произошли определенные изменения. Наиболее подвижными зонами оказываются пунктуация и правописание прописных букв, наиболее значимым изменением – унификация по крайней мере в книгопечатной практике правописания приставок на -з по морфологическому принципу.

Каверина 2010 – *Каверина В. В.* Становление русской орфографии в XVII – XIX вв.: правописный узус и кодификация. Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. М., 2010.

Погосян, Сморгевских 2002 – *Погосян Е., Сморгевских М.* «Я Деву в солнце зрю стоящу...» (апокалиптический сюжет и формы исторической рефлексии: 1695–1742 гг.) // *Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia*. VIII. История и историософия в историческом преломлении. Тарту, 2002.

Ломоносов 1751 – *Собрание разных сочинений в стихах и в прозе Михаила Ломоносова, книга первая.* СПб., 1751.

Ломоносов 1757 – *Собрание разных сочинений в стихах и прозе господина коллежского советника и профессора Михайла Ломоносова, книга первая.* М., 1757.

Ломоносов 1768 – *Собрание разных сочинений в стихах и в прозе Михаила Ломоносова, книга первая.* СПб., 1768.

Сумароков 1787 – *Сумароков А. П.* О правописании // *Полное собрание всех сочинений...* М., 1787. Ч. X. С. 5–38.

Тюличев 1983 – *Тюличев Д. В.* Прижизненные издания литературных произведений и некоторых научных трудов М. В. Ломоносова // *Ломоносов. Сборник статей и материалов.* Т. VIII. Л., 1983. С. 49–75.

А. Ю. Козлова (Коломна)

**Функционирование имен существительных,
восходящих к древним основам на согласный *п,
в старших списках Толковой Палеи**

В «Очерке сравнительной грамматики славянских языков. Чередования. Именные основы» С. Б. Бернштейн в числе других именных основ подробно охарактеризовал основы на *п в праславянском языке, а также их преобразования и бытование в современных славянских языках и диалектах. Данное исследование предоставляет необходимый материал для сопоставительного анализа состава и функционирования данных имен существительных в разных исторических источниках, позволяет выявить тенденции их употребления в древнеславянских памятниках письменности, а возможно, и сделать предположение о временной или пространственной локализации текста.

При исследовании истории текста Толковой Палеи в разных редакциях и списках бросается в глаза пристальное внимание писцов именно к этой группе имен существительных, что выражается в сознательной грамматической правке падежных форм, использовании разных словообразовательных вариантов.

В рамках данного сообщения был привлечен лингвистический материал из трех старших списков Палеи Толковой редакции: Александро-Невского первой половины XIV в (РНБ, ПДА А.1/ 119), Коломенского 1406 г (РГБ, ТР.-Серг. № 38) и списка Костромской библиотеки конца XIV – начала XV (РГБ, Костр. б-ки Ф 138, № 320 (1-2)).

При составлении словаря-словоуказателя и формоуказателя к Коломенскому списку Толковой Палеи, а также в результате сопоставления текста по разным спискам удалось выявить состав слов в Палее, которые в праславянском языке, по мнению С. Б. Бернштейна, могли относиться к классу именных основ на согласный *п. Во-первых, это имена существительные, которые в древности принадлежали к основам на *п, но уже «в праславянском существенно преобразовали свою структуру и практически не могут быть отнесены к данной группе основ» (1:165): **дѣнь**, **елень**, **степень**, **корень**, когда-то такую основу имели слова **мѣсаць**, **младеньць**, а также существительное женского рода **плетѣница**. Во-вторых, имена существительные, восходящие к праславянским основам на *тep: в палейном тексте это **камы**, **камыкъ**, **каменикъ**, **пламы**, **пламень**, **гачь-мыкъ**. В-третьих, имена существительные среднего рода, тоже имевшие в праславянском основы на *тep: **врѣма**, **има**, **сѣма**, **чисма**, **письма**, **тема**, но только суффиксальное образование **знаменне**.

Надо отметить, что многие из этих имен существительных весьма частотны в тексте Палеи. Так, слово **дѣнь** отмечено 353 раза, **има** – 182, **плѣма** – 143, **знаменикъ** – 74, **мѣсаць** – 65, **сѣма** – 64, **врѣма** – 58, **камень** – 52, **каменикъ** – 27 и т. д.

Укажем на некоторые особенности функционирования этих имен существительных в тексте Толковой Палеи.

От основы *kamen- в памятнике зафиксированы следующие слова: **КАМЕНЬ**, **КАМЫКЪ**, **КАМЕНИ**, а также имя прилагательное **КАМЕНЪ** или **КАМѢНЪ**.

Распределение слов **КАМЕНЬ** и **КАМЫКЪ** четко связано с границами составных частей текста. В авторских комментариях редактора-составителя Толковой Палеи используется только **КАМЕНЬ**, а **КАМЫКЪ** отмечен в двух отрезках текста – в Сказании Епифания Кипрского о камнях и Легенде о Георгии и змии. В поздних списках в Легенде о Георгии **КАМЫКЪ** заменяется на **КАМЕНЬ**. Только четыре раза слово **КАМЕНЬ** в списках Толковой редакции используется в форме множественного числа, в 27 случаях идея множественности выражается с помощью собирательного существительного **КАМЕНИ**.

В Коломенском списке 1406 г. заметна грамматическая правка падежных окончаний имен существительных, относившихся когда-то к основам на *п. Список был написан тремя писцами: первая часть – первым и вторым (л. 1–100 об.), вторую часть писал третий писец (л. 101–208). Так, первый и второй писцы в род. п. ед. ч. варьировали старое и новое окончания (-е/-и) этого типа склонения, склоняясь, впрочем, к старому варианту, а третий писец сознательно употреблял только новое -и. Так, для слова **КАМЕНЬ** в первой части текста зафиксировано всего две формы со старыми окончаниями род. п. на -е: **В ДУПЛИНУ КАМЕНЕ** (стлб. 187), **Ѡ КАМЕНЕ** (стлб. 332), в части, переписанной третьим писцом, – только новые формы: **Ѡ КАМЕНИ** (стлб. 500), **ИС КАМЕНИ** (стлб. 500), **ИЗ КАМЕНИ** (стлб. 519), **ИС КАМЕНИ СЕГО** (стлб. 568, 568), **Ѡ КАМЕНИ** (стлб. 569), **ИС КАМЕНИ** (стлб. 628), **Ѡ КАМЕНИ** (стлб. 696). У слов **ПЛАМЕНЬ** и **ПЛАМЫ** в род. п. ед. ч. в первой половине памятника встретились две разные формы: **НАВЕРХЪ ТОГО ПЛАМЕНИ** (стлб. 72), **Ѡ ПЛАМЕНЕ ГОРАЩАГО** (стлб. 387); во второй части у третьего писца встречается только новая форма: **Ѡ ПЛАМЕНИ** (стлб. 478).

Сопоставление Коломенского и других старших списков ясно показывает, что в протографе Толковой Палеи существительного этого типа склонения все же имели в род. п. ед. ч. окончание -е.

Отметим особенности употребления слова **ДНЬ**. Как и в предыдущих примерах, в первой половине памятника в род. п. ед. ч. зафиксировано 22 формы с окончанием -е и только одна форма с окончанием -и. Во второй части памятника, переписанной третьим писцом, только одна форма с флексией -е и 11 форм с окончанием -и. Яркие особенности характеризуют форму род. п. мн. ч. этого слова. В тексте форма встречается не только с окончанием -ни (влияние основ на *i), но и -евъ (влияние основ на *j): 15 форм с -ни и 10 форм с флексией -евъ по всему тексту. В списке Александро-Невской Лавры на месте флексии -евъ в формах слова **ДНЬ** находим флексию -овъ: **ЗА 3 ДНОВЪ** (л. 11 об.). Авторы Древнерусской грамматики XII–XIII вв. отмечают, что окончание -овъ для слова **ДНЬ** является разговорным для древнерусского языка (З: 204). Эта

форма фиксируется по всем спискам Палеи и Толковой, и других редакций, следовательно, может являться принадлежностью протографа.

В Коломенском списке 1406 г. впервые фиксируются примеры выравнивания основ у существительных среднего рода, принадлежавших когда-то к основам на *п. Г. А. Хабургаев отмечает: «В подавляющем большинстве русских диалектов была обобщена в ед. ч. основа И.-В. – наиболее частотных падежей речевого общения, – противопоставленная основе мн.ч. не только отсутствием *-не-*, но и мягкостью конечного согласного (ср. *и[мʹ-а] – имен-а*), в результате чего существительные рассматриваемой группы усвоили парадигму VI словоизменительного класса (типа *поле*): И.-В. *име, семе, стреме*» (3: 76). Повсеместная распространенность в диалектном языке форм словоизменения *име (имѣ)*, как *поле (полѣ)*, говорит об их давности, однако в памятниках письменности они долгое время не находят отражения. Лишь с конца XVI в. в южнорусских деловых текстах изредка попадаются примеры таких форм. Первое отражение данных форм в письменности Г. А. Хабургаев находит в воронежской грамоте 1572 г. Коломенский список Толковой Палеи 1406 г. дает примеры таких форм на полтора века раньше: **во време** (стлб. 311–312), **в нашем племе** (стлб. 213), **ѿ племе** (стлб. 287), **племе** (им. ед.) (стлб. 322), **весеме** (стлб. 152).

1. Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Чередования. Именные основы. М.: Наука, 1974.
2. Иванов В. В., Иорданиди С. И., Вялкина Л. В., Сумникова Т. А., Силина В. Ю., Крысько В. Б. Древнерусская грамматика XII–XIII вв. / Отв. ред. В. В. Иванов. М.: Наука, 1995.
3. Хабургаев Г. А. Очерки исторической морфологии русского языка. Имена. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990.

А. Г. Кравецкий (Москва)

Современный церковнославянский язык: на границе синхронии и диахронии*

1. Под современным церковнославянским языком (далее цсл.) здесь понимается та версия церковнославянского языка, которая ныне используется Русской Православной Церковью. Как известно, цсл. является прямым наследником более архаических версий церковнославянского языка и восходит, в конечном счете, к старославянскому языку Кирилло-Мефодиевских переводов.

2. Преимущество церковнославянской письменности по отношению к Кирилло-Мефодиевской традиции не дает оснований для того, чтобы рассматривать цсл. как консервацию определенного этапа развития старославянского языка (обычно точкой такой консервации считают последнюю четверть XVII). Действительно, в XVIII, XIX и XX в. продолжалось редактирование и языковая

* Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект 10-04-00274а).

нормализация корпуса богослужебных книг. В XX в. было предпринято по крайней мере два крупных исправления богослужебных книг. Первое из них относится к началу века (1907–1917). В результате этого исправления были выпущены Постная и Цветная Триодь, язык которых отличался от стандартных книг. Второе крупное редактирование богослужебных книг проходило во второй половине XX века. Его результатом стала подготовка новой версии служебных Миней (1978–1988), включающих десятки новых служб, созданных в XVIII–XX вв. Наконец, в последнее десятилетие в связи со значительным числом новых канонизаций было составлено большое количество новых служб, которые сегодня активно входят в богослужебную практику. Все это указывает на то, что цсл. развивается и говорить о консервации языка богослужения нельзя.

3. Сказанное выше не дает повода считать церковнославянский язык активной изменяющейся системой. Это связано со следующими моментами:

3.1. Инновации касаются в основном периферии церковнославянского корпуса, лишь в незначительной степени затрагивая его центр. Облик цсл. определяется тем стандартом, который задается основным кругом богослужебных книг (Служебник, Триоди, Минеи, Октоих, Требник, Служебные Апостол и Евангелия). Исправленные в начале XX в. Триоди распространения не получили, минейная редакция 1970–1980 используется в богослужении и переиздается, однако в активном употреблении оказываются в основном те тексты, которые входили еще в стандартные дореволюционные минеи. Полем активных экспериментов оказываются те службы, которые не входят в основной корпус богослужебных книг, а также акафисты и отдельные молитвы. Эти тексты предлагают различные варианты изменения нормы цсл. языка, однако все же современную норму определяют не они.

3.2. Составителями или редакторами новых служб и акафистов в большинстве случаев являются люди, получившее филологическое образование, для которых знакомство с церковнославянской письменностью началось со старославянского языка. В их сознании актуальными и более престижными являются архаичные формы, редко встречающиеся в поздних текстах. Так, например, в изданной в 1909 г. Дополнительной минее имеются службы, посвященные двум святым (Сергию и Герману Валаамским и Кириллу и Мефодию), в которых не встречаются формы двойственного числа, хотя случаев обращения одновременно к двум святым здесь очень много. А в Дополнительной минее 2005 г., включающей службы святым, канонизированным в конце XX – нач. XXI века, формы двойственного числа употребляются систематически.

4. Эта архаизаторская тенденция весьма показательна. Для языкового сознания людей, имеющих дело с цсл. текстами, представление о том, что за ними стоит традиция, восходящая к Кириллу и Мефодию, очень важна. Характерно, что к авторитету создателей славянской письменности апеллируют и сторонники русификации богослужения, которые ссылаются на полемику Кирилла со сторонниками «триязычной ереси».

В. Б. Крысько (Москва)

Древнеславянский канон Кириллу Философу: песнь седьмая

В докладе представлены результаты исследования четырех тропарей, образующих 7-ю песнь древнейшего славянского канона в честь первоучителя Кирилла. На основе сопоставления верифицированного текста всех сохранившихся списков канона реконструирован их первоначальный текст. Исследование кирилловских песнопений на фоне византийской гимнографии подтверждает высказанное ранее предположение о том, что канон представляет собой перевод с не дошедшего до нас греческого оригинала; этот гипотетический оригинал также реконструирован для каждого тропаря. Путем сравнения стихотметрической структуры канона с греческими образцами на основе принципов изосиллабизма и гомотонии установлен исходный стихотметрический облик рассмотренных тропарей. Сравнительный лингвистический и стихотметрический анализ разноречивых данных всех списков и греческих источников позволил разъяснить ряд «темных мест» в тексте песни. Новые подтверждения получил тот факт, что канон Кириллу складывался под пером греческого автора (имя его устанавливается на основе акростиха – Василий) путем комбинирования тропарей, имеющих различное происхождение; однако, создавая 7-ю песнь, автор смог выполнить главное условие, налагавшееся на него избранным жанром, – соблюсти определенное содержательное и формальное единство песни и канона в целом. Неизвестному славянскому переводчику, в свою очередь, удалось передать как формальные, так и содержательные особенности оригинала на достаточно высоком уровне.

К. В. Лифанов (Москва)

Словацкие диалекты и «бернолаковщина»

Проблема диалектной основы словацкого литературного языка, кодифицированного в 1787 г. А. Бернолаком, еще несколько десятилетий назад была в центре внимания словацкой лингвистики, о чем свидетельствует достаточно большое количество публикаций по этой проблематике. В настоящее время вопрос представляется как бы решенным: ведь никто не будет спорить о том, что литературный язык, кодифицированный А. Бернолаком, имеет главным образом западнословацкий характер. При этом, однако, смущает высказывание самого А. Бернолака относительно диалектной базы кодифицированного им литературного языка. В своем «Филологическо-критическом рассуждении о словацких письменах...» в разделе, посвященном фонетике, А. Бернолак заявляет, что кодифицировано должно быть правильное словацкое произношение. «Но какое же словацкое произношение, спрашиваешь ты, является правильным, если в каждом комитате Венгрии, в котором используется словацкий язык, оно

другое? – То, мы говорим, которое используется в местах, в наибольшей степени отдаленных от чехов, моравян, поляков и венгров. Те, кто соседствуют с чехами и Моравией, что-то заимствуют из их наречия; так же, как почти переходят на польский язык те, кто живет на границах с ними; грубее всего, однако, говорят те, кто живет вперемешку с венграми, как об этом пишет знаменитый Матей Бел в предисловии к своей “Немецкой грамматике”, в § 3» (Bernolák 1787/1964: 95, 97). Исходя из того, что к Моравии примыкает Западная Словакия, с польским языком целый ряд особенностей объединяет восточнословацкий диалект, а венгры компактно проживают на юге Словакии, получается, что А. Бернолак, говоря о правильном словацком произношении, имел в виду северную Среднюю Словакию. Лингвисты, занимавшиеся проблематикой диалектной основы «бернолаковщины», видят противоречие между намерением А. Бернолака и его реализацией. Это противоречие, однако, кажущееся, поскольку А. Бернолак исходит при кодификации литературного языка не из народной диалектной речи, а из языка образованных людей, либо проживавших в Средней Словакии, либо имевших среднесловацкое происхождение: «Но и на названных местах в качестве нормы следует брать не столько произношение простых людей, сколько людей образованных, ученых и в наименьшей степени радеющих за богемизмы» (Bernolák 1787/1964: 97). Таким образом, А. Бернолак, так же как и Л. Штур, выбирает в качестве базы литературного языка идиомы, функционировавшие в одном и том же регионе Словакии, однако разные идиомы: если Л. Штур ориентируется на живой идиом, функционировавший на севере Средней Словакии (считаем, что это было среднесловацкое фольклорное койне), то А. Бернолак выбирает в качестве основы литературного язык «искусственный», функционировавший прежде всего в письменных текстах, но, вероятно, употреблявшийся и в устной форме. Как справедливо отмечает Э. Паулини, такая позиция во времена просвещения единственно возможной, поскольку было бы невероятным, чтобы основой литературного языка стала речь низших слоев. Э. Паулини полагает, что такой основой стал так наз. культурный западнословацкий язык, возникший прежде всего из элементов западнословацкого происхождения и функционировавший в Западной Словакии, причем в форме, в какой он формировался в трнавском центре и в печатной католической литературе. Заметим, однако, что письменный идиом, сформировавшийся в Юго-Западной Словакии с центром в Трнаве, был распространен на всей словацкой этнической территории и существовал в региональных вариантах. Его среднесловацкий вариант и был выбран А. Бернолаком в качестве основы литературного языка. Этот вариант состоял преимущественно из общесловацких и западнословацких элементов, тогда как некоторые элементы среднесловацкого происхождения также могли появляться в письменных текстах, полностью не вытесняя соответствующие западнословацкие элементы. В кодификации А. Бернолака эта особенность идиома докодификационного периода получила своеобразное преломление: среднесловацкие элементы либо выступают в виде полноценных эк-

вивалентов западнословацких, либо являются допустимыми при явном преобладании последних. Таким образом, фонетическую и морфологическую системы кодификации А. Бернолака следует признать гибридными, но с преобладанием западнословацких элементов. На практике, однако, их соотношение со среднесловацкими элементами существенно менялось, так как удельный вес последних значительно снижался вплоть до их полного исчезновения. И лишь в текстах альманаха «Зора», издававшегося в 1835 и 1836 гг. в Будапеште, представлены бернолаковские тексты, отражающие прямо противоположную тенденцию, когда создававшие их авторы отдавали предпочтение кодифицированным А. Бернолаком среднесловацким элементам. Это явление, вероятно, следует рассматривать как отражение иной тенденции – начавшейся частичной смены парадигмы литературного языка, нашедшей выражение в активном проникновении в письменные тексты среднесловацких элементов, затронувшем и «бернолаковщину».

Bernolák 1787/1964 – *Anton Bernolák*. Dissertatio-critica de literis Slavorum // сокр. Pavelek, Juraj: Gramatické dielo Antona Bernoláka. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1964.

Ф. Б. Людоговский (Москва)

Современные переводы православной гимнографии с церковнославянского и на церковнославянский

На протяжении многих десятилетий старославянский язык изучается прежде всего как письменная фиксация позднепраславянского языка. Естественным поэтому является компаративистский контекст, повышенное внимание к фонологии и морфологии старославянского языка при явно пониженном интересе к старославянскому тексту в целом – его структуре, жарновой принадлежности, функционированию и т. п. По этой же причине до недавнего времени совершенно недостаточно изученным оставался церковнославянский язык, который традиционно рассматривается как прямое продолжение старославянского начиная с XII в. Что же касается языка, представленного в современных богослужебных книгах, то работа по его описанию и анализу только начинается.

Между тем в начале XXI века, как и тысячу лет назад, церковнославянский язык остается основным богослужебным языком Русской православной церкви (каноническая территория которой распространяется на Россию, Украину, Белоруссию и др. государства), а также (наряду с соответствующими национальными языками) Болгарской, Сербской и Польской православных церквей.

В богослужении используются как переводные (преимущественно с греческого), так и оригинальные церковнославянские тексты. При этом в последние два десятилетия активно создаются новые богослужебные тексты: тропари, кондаки, каноны, молитвы, службы, акафисты. Ведущим в количественном отношении гимнографическим жанром является акафист.

Число оригинальных церковнославянских акафистов на сегодняшний день приближается к тысяче. Между тем акафисты пишутся и на других языках: греческом, румынском, сербском, английском, украинском, французском, польском, болгарском, русском, грузинском. Общее количество акафистов на разных языках составляет около 1300 (по состоянию на март 2011 г.).

В наши дни довольно широко практикуются разнонаправленные переводы акафистов и других гимнографических текстов. В первую очередь следует выделить межславянские переводы: с церковнославянского на сербский, болгарский, украинский, с сербского – на церковнославянский. Кроме того, немало акафистов переведено с церковнославянского на английский и румынский; имеются случаи перевода с английского и греческого на церковнославянский.

Акафисту как гимнографическому жанру свойственна высокая степень дискретности, сочетающаяся с наличием жесткой многоуровневой структуры. Некоторые элементы этой структуры отличаются стабильностью лексического наполнения. В частности, в церковнославянских акафистах такими стабильными лексическими компонентами являются: 1) начальные словоформы строф (кондаков и икосов) – такие словоформы мы называем *строфическими ключами*, 2) начальные словоформы хайретимзов (однотипных обращений в составе икосов), 3) рефрены кондаков, располагающиеся в конце строф.

При переводе с церковнославянского на другие языки, как правило, наблюдается следующая картина: начальные словоформы строф, в соответствии с порядком слов в переводящем языке, нередко оттесняются вглубь строфы. Таким образом, строфа лишается узнаваемого облика, получая произвольное с точки зрения сложившейся традиции начало. Кроме того, при переводе на один и тот же язык различных церковнославянских акафистов нет полного единства в подборе лексических соответствий словоформам, устойчиво находящимся в начале строф. То же отчасти относится и к начальным словоформам хайретимзов.

При переводе греческих акафистов возникает коллизия иного рода: там, где в церковнославянских акафистах имеют место стабильные лексические элементы в начале строф, в греческих текстах этого жанра традиционным является алфавитный акростих, объединяющий строфы от 1-го икоса до 13-го кондака (это свойственно и греческому оригиналу Великого акафиста). При этом, хотя для каждой строфы и закреплена определенная буква, лексических ограничений практически нет. Таким образом, при переводе на церковнославянский язык, как и при переводе с церковнославянского (см. выше), в начале строф оказываются произвольные с точки зрения славяно-русской традиции словоформы.

Изучение переводов православной гимнографии имеет не только теоретическое, но и практическое значение: на базе существующих переводов могут быть составлены индексы лексических соответствий, которые, после необходимой доработки, в свою очередь станут основой для дву- и многоязычных словарей восточнохристианской гимнографии.

И. И. Макеева (Москва)

Юго-западнорусские сказания о чудесах Николая Чудотворца

В истории русского литературного цикла, посвященного святителю Николаю Мирликийскому, выделяются два этапа. Первый этап можно обозначить как рукописный. В XI в. на Руси появляются первые переводные произведения о святителе. Сначала сказания о чудесах, затем так называемое Иное житие, в XV в. – Метафрастово житие св. Николая, написанное знаменитым византийским агиографом Симеоном Метафрастом в X в. и др. Оба жития, некоторые из сказаний о чудесах (чудо о трех воеводах, чудо об утопшем муже) и другие тексты являются южнославянскими переводами. На первом этапе литературный цикл Николая Чудотворца формируется в значительной мере за счет русско-южнославянских культурных связей.

Второй этап – старопечатный. Он начинается с появления первого московского издания «Николина жития» в 1640 г. В него вошли чудеса в первой старопечатной редакции. Они наиболее близки к рукописной традиции, особенно чудеса о злате, о ковре, о юноше Николе и двойное чудо Николая Чудотворца и Георгия Победоносца. В последующие издания эти четыре текста были включены с минимальными изменениями. Чудеса о Дмитриии, о Петре, о попе Христофоре, об Агрике и его сыне Василии были отредактированы справщиками в первом издании, а затем вновь переработаны при подготовке второго издания 1641 г. Как свидетельствуют документы Приказа Книгопечатного дела (РГАДА, ф. 1182), над первым изданием «Николина жития» (так книга названа в делах) 1640 г. и над вторым изданием 1641 г. работали одни и те же шесть справщиков: протопопы Иоаким и Михаил Рогов, Иван Наседка, старец Савватий, вдовый дьякон Иван Селезнев и мирянин Шестой Мартемьянов.

Очевидно, издание «Николина жития» 1641 г. и особенно издание 1643 г., имевшее большой тираж и разошедшееся по всей Руси, удовлетворило имевшийся спрос. Книга в целом и вошедшие в нее тексты оказались удачными и потому были положены в основу последующих московских изданий «Николина жития» 1662 г., 1679 г., 1688 г., 1694 г. и 1699 г. и др.

Одно из изданий было использовано при подготовке киевского издания «Николина жития» 1680 г.

По сравнению с московскими изданиями киевское «Николино житие» было дополнено четырьмя текстами, неизвестными в русской рукописной традиции. Перед чудом об обнищавшем монастыре, которое в издании 1641 г. и последующих было последним, помещены два текста: «Чудо о иконе святого Николая, юже жидовин дал себе написати и вручил ей свои все вещи, и отиде в путь» и «Чудо святого Николая, написанное от святейшего патриарха Мефодия о злате от жидовина некоему христианину взаим данном». После чуда об обнищавшем монастыре находятся «Чудо святого Николая о двух младенцах, идущих до Афин» и «Чудо святого отца нашего Николая о двух сосудах». Пятый текст,

отсутствующий в московских изданиях и включенный в киевское, именуемый «Чудо святого отца нашего Николая о трех купцах, от поган потопленных», был хорошо известен в русской рукописной традиции, но в другой редакции. Обычно он назывался «Чудо о трех друзьях».

Автором чуда об иконе назван Иоанн Диакон. Имеется в виду, видимо, неаполитанский дьякон Иоанн, которому принадлежит относящаяся к концу IX века западная обработка «S. Nikolai aста» латинского комплекса сказаний о св. Николае. Иоанн использовал греческие источники, в том числе приписываемые константинопольскому патриарху Мефодию (842–846). Среди них было чудо об иконе св. Николая и варваре, бившем ее кнутом. В версии Иоанна события чуда происходили в северной Африке. Во время одного из набегов на Калабрию в доме христианина вандал нашел икону и забрал ее с собой. Пленные христиане объяснили ему, что это образ св. Николая Мирликийского. Покинув дом, вандал поручил иконе соблюсти в целости его имущество. Однако воры украли все, кроме образа. Вернувшийся хозяин в наказание вместо воров подверг бичеванию икону. Тогда св. Николай явился ворами во время дележа награбленного и показал свои раны. Испуганные и изумленные воры вернули украденное имущество вандалу. В киевском издании 1680 г. речь идет об иконе Николая Чудотворца, написанной по заказу некоего жидовина. Далее рассказ в обеих версиях совпадает. Уехав по делам, он поручил ей свое имущество. Во время его отсутствия воры ограбили дом, и в наказание жидовин бил икону до раздробления.

Чудо о двух младенцах, вероятно, относительно позднего происхождения. Двое подростков, прежде чем идти в Афины учиться, пришли за благословением к св. Николаю в Миры Ликийские. Хозяин постоялого двора из-за золота убил детей, расчленил тела и засалил их в бочке. Узнав об этом от пришедшего к нему ангела св. Николай сначала явился хозяину, а затем оживил подростков. Сюжет о воскрешении зарезанных детей известен в литературе. Аналогичная легенда бытовала во Франции, где описанные в ней события стали одним из наиболее известных деяний святителя.

Чудо о данном взаймы золоте подробно рассмотрел М. Н. Сперанский. Анализируя «международный бродячий» сюжет о сопровождаемом клятвой сокрытии денег или драгоценностей в палке, М. Н. Сперанский отмечал, что он был известен в западных и восточных литературах, предполагая, что древнейшей является еврейская легенда, связанная с именем царя Давида и с «чудесным предметом, дающим возможность открывать правого и виноватого». К древней легенде восходят западные истории о хитром должнике, в которых Давида заменил св. Николай. Легенда стала одним из посмертных чудес святителя Николая.

Чудо было известно на Западе времен средневековья; среди греческих текстов оно не обнаружено и не вошло в основанный на греческой компиляции латинский комплекс сказаний о Николае Мирликийском. Старейшая обработка

этого цикла конца IX века приписывается неаполитанскому дьякону Иоанну. Видимо, сказание составлено именно на Западе на основе устного восточного сказания. В киевском издании 1680 г. его автором назван патриарх Мефодий. Однако изначально константинопольский патриарх Мефодий считался автором других чудес (о Дмитрие, о попе Христофоре, о Петре, о Симеоне, об Африке и его сыне Василии), но в русской рукописной традиции это не указывалось. Авторство чуда о данном взаймы золоте стало приписываться Мефодию позднее.

Вероятно, непосредственный источник сказания киевского издания 1680 г. был латино-польским, а перевод сделан в юго-западной Руси.

Таким образом, на втором – старопечатном – этапе истории литературного цикла, посвященного св. Николаю, актуальными становятся русско-украинские культурные связи, благодаря которым цикл пополнился западноевропейскими произведениями, не приобретшими, впрочем, популярности на русской почве. Особенно интересным является то, что мотив из одного сказания вошел в народную культуру. В русских сказках и легендах встречается битье иконы св. Николая, а в одной из русских рукописей XVIII в. содержится стихотворное переложение чуда об иконе в версии, согласно которой действие происходит в Африке, а вандал находит икону святителя Николая. Судя по языку стихотворения, оно создано в юго-западной Руси.

Ольга Младенова (Калгари)

Новые данные о болгарско-румынских культурных связях XVII столетия: «Слово о Св. Николае» Дамаскина Студита

Современный период истории изучения болгарских дамаскинов, важнейших памятников раннего новоболгарского языка, открывается двумя работами С. Б. Бернштейна (Одинцов 1941; Бернштейн 1957). Заслугой С. Б. Бернштейна является и привлечение к этой проблематике его ученицы Е. И. Дёминой, посвятившей всю свою жизнь исследованию дамаскинов. Поэтому сообщение о текстологии одного из новоболгарских вариантов «Слова о Св. Николае» Дамаскина Студита, вписывающееся в круг научных интересов С. Б. Бернштейна, является подходящим приношением к столетию со дня его рождения.

Румынский славист Панделе Олтяну доказал, что «Сокровище» Дамаскина Студита – один из источников румынской старопечатной книги «Cazania» (1643 г.) молдавского митрополита Варлаама (Olteanu 1971; Olteanu 1972). Некоторые варлаамовские слова, как, например, «Слово о Св. Федоре Тироне», довольно точно соответствуют как греческому оригиналу, так и болгарскому переводу. Однако тексты Варлаама, не воспроизводящие дословно слова Дамаскина Студита, до недавних пор оставались без параллелей за пределами старой румынской литературы. Первые точные соответствия варлаамовского «Слова

на Рождество Христово» были обнаружены в двух фрагментарно сохранившихся списках XVIII в., которые принадлежат к IV группе новоболгарского типа по классификации Е. И. Дёминой: дамаскин № 133 Церковно-исторического и архивного института при Болгарской патриархии и Беленский дамаскин (рукопись № 713 Народной библиотеки имени Св. Св. Кирилла и Мефодия в Софии). Детальный анализ болгарского и румынского текстов показал, что болгарский текст переведен с румынского (Mladenova 2009).

Цель настоящего сообщения – проанализировать отношения между румынским текстом «Слова о Св. Николае» Варлаама и новоболгарским текстом этого слова, включенном в Свиштовский дамаскин (Св.), в дамаскин № 890 Церковно-исторического и архивного института при Болгарской патриархии (ЦИАИ 890) и дамаскин № 9 Регионального исторического музея г. Ловеча (РИМ-Ловеч 9). Предварительное рассмотрение этих версий «Слова о Св. Николае» показывает, что в них представлен один и тот же текст. Это противоречит общепринятому в настоящее время взгляду, согласно которому «Слово о Св. Николае» в Свиштовском дамаскине – единственный список отдельной редакции старшего новоболгарского перевода (Демина 1968: 134–140).

Два болгарских дамаскина XVIII в., содержащих эту версию (Св. и недавно введенный в научный оборот РИМ-Ловеч 9) относятся к той же IV группе новоболгарского типа, к которой принадлежат и упомянутые выше дамаскины, в которых имеется перевод варлаамовского «Слова на Рождество Христово». Это наводит на мысль о существовании по крайней мере одного книжника-билингва в культурном центре на северо-востоке Болгарии, в котором использовалось наречие времени *тогизи* и в конце XVII в. создавались тексты, вошедшие в дамаскины IV группы новоболгарского типа. Этот книжник перевел с румынского на новоболгарский язык варлаамовское «Слово на Рождество Христово», а также, возможно, его же «Слово о Св. Николае». Однако, если это так, то непонятно, как факт такого перевода сочетается с установленной Е. И. Дёминой зависимостью версии, представленной в Св., от версии в Тихонравовском дамаскине и в других новоболгарских дамаскинах I группы. Если же предположить, что Варлаам буквально перевел свой текст с какого-то новоболгарского текста, который сохранился как раз в этих трех новоболгарских списках, то неясно, во-первых, почему этот текст с датировкой не позднее конца 1630-х годов, не сохранился в более ранних списках, и во-вторых, как объясняется присутствие именно в дамаскинах IV группы, текстов переведенных как с болгарского на румынский, так и, наоборот, с румынского – на болгарский язык.

Присутствие этой версии «Слова о Св. Николае» в ЦИАИ 890 – дамаскине XVIII в., написанном греческими буквами, ставит вопрос об отношениях группы дамаскинов, написанных греческими буквами к дамаскинам IV группы новоболгарского типа. Мне пока не известны другие слова, которые бы существовали в одинаковой редакции в дамаскинах одной из четырех кириллических

групп новоболгарского типа и в дамаскинах, написанных греческими буквами. Принято считать, что эти дамаскины, написанные на народном языке, более других свободны от влияния средневековой книжной традиции (Димитрова 2005). Имеющееся в ЦИАИ 890 «Слово о Св. Николае» обогащает наши представления об отношениях между новоболгарскими дамаскинами, написанными греческими буквами, и кириллическими дамаскинами.

Сообщение обобщает данные целостного текстологического анализа «Слова о Св. Николае», перечисляет текстологические аргументы в пользу альтернативных интерпретаций факта румынско-болгарского культурного взаимодействия и вносит вклад в уточнение классификации новоболгарских дамаскинов.

Бернштейн 1957 – *Бернштейн С. Б.* К изучению редакций болгарских списков «Сокровища» Дамаскина Студита // *Езиковедски изследвания в чест на акад. Ст. Младенов.* София, 1957. С. 215–224.

Демина 1968 – *Демина Е. И.* Тихонравовский дамаскин – болгарский памятник XVII в. Исследование и текст. Ч. I. Филологическое введение в изучение болгарских дамаскинов. София, 1968.

Димитрова 2005 – *Димитрова М.* Слово за Св. Апостол Тома в ръкопис 369 от Църковен историко-архивен институт, София // *Нъстъ оученикъ надъ оучителемъ своимъ: Сборник в чест на проф. д-р Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител.* София, 2005. С. 400–416.

Одинцов 1941 – *Одинцов С. А.* Turco-slavica. К изучению турецких элементов в языке дамаскинов XVII–XVIII вв. // *Труды Московского государственного института истории, философии и литературы им. Н. Г. Чернышевского.* 1941. Том VII. Филологический факультет. Сборник статей по языковедению. С. 24–40.

Mladenova 2009 – *Mladenova O. M.* Balkan Cultural Interactions of the Early Modern Period // *Linguistique balkanique* 48 (1–2), 2009. P. 67–84.

Olteanu 1971 – *Olteanu P.* Izvoare și versiuni bizantino-slave ale omiliei lui Varlaam depre «Inmormintarea lui Hristos» // *Studii de slavistică* 1971. С. 57–89.

Olteanu 1972 – *Olteanu P.* Elemente de folclor și de literatură populară din «Cazania» Mitropolitului Varlaam în lumina izvorului neogrec «Cuvîntările lui Damaschin Studitul» // *Philologica* 2. 1972. С. 133–156.

О. С. Паймина (Казань)

Церковнославянские и собственно древнерусские языковые черты в Троицком сборнике XII–XIII вв. (РГБ, Тр. 12, 202 л.)

Троицкий сборник XII–XIII вв. традиционно относят к памятникам древнерусской письменности, несмотря на его церковное содержание – поучения Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Константина Словенецкого, Исидора Пилсудского, «князя Антиоха» и др. Церковнославянские языковые особенности в данной рукописи преобладают, но тем ценнее становятся древнерусские вкрапления в области орфографии, фонетики и морфологии. Назовём наиболее яркие случаи противопоставления церковнославянского и древнерусского языка, представленные в Троицком сборнике XII–XIII вв.

Орфография. 1) В Троицком сборнике преобладают неполногласные написания, унаследованные церковнославянским языком из старославянского. Однако в реализации рефлексов типа **tort*, **tolt*, **tert* есть полногласные исключения:

1. **tort*: *ѡше калѡугрѣхъ сѣднѣхъ порозданѣхъ* 52 об., 20 (ср. да не| нзноснѣхъ глѣхъ празданѣхъ ѡтѣхъ срѣдцѣхъ скоу|го 142 об., 22/23–143, 1);

2. **tolt*: *къ колостнѣ страшанѣхъ а безъ колостнѣ тамо| несутѣхшима* 11 об., 16–17 (ср. *каастѣ| не ѡтетѣ са* 1 об.);

3. **tert*: *н не ѣже ѡересѣ данѣ ѡстнѣ* 68, 13. (ср. Пандекты Антиоха XI в. *н не еже ѡересѣ дѣна ѡстнѣ* 21 а, 7–8); *остакла петрѣхъ мѣрежю* 16 об., 1–2 (ср. *не можастѣ купити нокѣхъ мрѣжа* 16, 18–19).

2) Случаи противопоставления начальных *к*–*о* и *ю*–*оу* единичны: 1) *к*–*о*: *яко кѣдномоу прѣходѣшю* 47 – *однѣхъ дѣ ѣ здраше* 46 об.; *е–о*: *езеро огньно* 35 – *море н озерѣ* 16; 2) *ю*–*оу*: *юже нзквнѣ* 95 – *оуже спснѣ ма* 199 или *оуже црѣткнѣхъ|коуснѣхъ* 158 об.).

Фонетика. 1) В области согласных принципиальное отличие между церковнославянским и древнерусским языками состоит в реализации общеславянского сочетания **tj*. В церковнославянском языке результатом реализации рефлекса **tj* является *щ*, а в древнерусском – *ч*. В Троицком сборнике преобладают результаты первого типа с *щ*, однако есть примеры с древнерусской огласовкой: *множа|ствѣхъ сакауннѣхъ работаюче* 4, 4–5; *данѣхъ ѡуе данѣхъ* 68, 11 (ср. *дѣна ѡуе дѣна* 21 а, 2–3 в Пандектах XI в.).

2) Реализация рефлексов типа **tъrt*, **tъlt*, **tъrt* в основном представлена в сочетании «редуцированный + плавный», однако есть случаи второго полногласия с гомогенными и негомогенными редуцированными по обе стороны плавного (*не гърѣдѣхъ* 56, 11; *тѣхъкнѣхъшнѣхъ* 67 об., 6; *попѣрѣшѣхъ* 51, 20; *ѡбѣрѣстѣхъ* 14 об., 1 и др.), а также старославянского сочетания «плавный + редуцированный» (например, *оскрѣвнѣхъ* 195 об., 12; *къздѣрѣжаннѣма* 175 об., 13).

Морфология.

Имя. Особенно обращают на себя внимание древнерусские формы личных и возвратного местоимения в дательном и/или местном падежах: 1) Д. п.: *не прѣклѣнѣющагося къ| тѣхъ* 200 об. (ср. *къпнѣща къ тѣхъ* 81 об.); 2) Д. п.: *не кърѣкѣше ко самѣхъ сохъ* 144 об. (ср. *нко хѣхъ не сѣхъ ѡугоднѣ* 134 об.), М. п.: *хѣхъ къ сохъ* глаголюща 144 об. (ср. *къ сѣхъ сѣхъотрѣшнѣхъ опаснѣхъ* 176).

Глагол. 1) На фоне преобладающего употребления перфекта со связкой, свойственного церковнославянскому языку, используется древнерусский перфект без связки, причём даже в пределах одного контекста: *ѡбѣхъ ма соущѣхъ посѣлѣннѣхъ црѣхъ сѣхътворнѣхъ нснѣхъ · црѣхъ къхъхъша не ѣстѣстѣхъ|ма тѣхълесе · нѣхъ слѣло кърѣхъ · къхъхъхъ ма ѡбѣхъкѣхъ| нснѣхъ · нного нзѣхънѣхъ нснѣхъ · ѡ ма къхъхъ · се лн къ| мн къхъхъсто дахъ нснѣхъ* 185 об.

2) В суффиксальном действии причастий настоящего времени доминируют церковнославянские варианты: *глаголюща* 201; *предѣющнма* 3; *моуѡше ма* 199; *строющѣхъ* 15 об. и др.; исключение – *работаюче* 4, 5.

Т. В. Пентковская (Москва)

Древнейший перевод Толкового Евангелия и Толкового Апостола: к сопоставительной характеристике

В византийской традиции толкование на Евангелие и толкования на Апостол не образуют единого комплекса: Толковое Евангелие составлено в к. XI – нач. XII в. Феофилактом Болгарским, в основе его лежат толкования Иоанна Златоуста. Толкования на Апостол принадлежат различным авторам (Алексеев 1999: 178–179). Первый перевод Толкового Евангелия (ТЕ-1) и первый перевод Толкового Апостола (ТА-1) имеют, однако, общие черты. К ним относятся:

- введение толкований и цитат с помощью глагола *въща*, а не *рече* (в архетипе перевода);
- частое употребление грецизма *грамѡта* и его производных;
- наличие в обоих текстах ряда предположительных лексических регионализмов;
- наличие морфологических русизмов (формы дейст. прич. наст. вр. м. р. на -а типа *вѡудѡ*, *рѡка*).

Старейшая рукопись ТА-1 – ГИМ, Син. 7 (1220 г.) – происходит из ростовского владычного скриптория. С высокой долей вероятности тому же скрипторию атрибутируются древнейшие русские отрывки Толкового Евангелия Феофилакта Болгарского (БАН, 4.9.11/Финл. 11). «Соблазнительно видеть в отрывках Толкового Евангелия БАН парный том к Толковому Апостолу 1220 г. и датировать их близким временем» (Турилов 2009: 238–239).

О безусловной связи ТА-1 и ТЕ-1 свидетельствует евангельская цитата в толкованиях к 1 Кор. 13:2: *о семь н гѣ въ еуангѣлнхъ въща· аще нмате върѡу тако зѣрно сннѡпно (κόκκον σιλάπρωσ)· речеѡе горѣ сен възмѣса н възрнса въ море· вѡудѣѡе тако (130 в).*

Данный грецизм имеет и ТЕ-1: РГБ, ТСЛ, ф. 304/1 № 109 *зѣрно сннѡпно (236 об.)*, причем он повторен в толковании: *сего рѡ^{нн} оубо помннѡеѡе зѣрно сннѡпнѡе (л. 237).*

В обоих текстах зафиксированы формы составных относительных местоимений: в ТЕ-1 употребляется форма *нже кто* в соответствии с *ὅστις* и сочетаниями *ѣѡ тѣс* и *ѡс ѡв* в основном тексте и толкованиях (напр., Мр. 8:34; Мр. 8:38; Мр. 9:41; Мр. 10:28–31 толк.; Мр. 11:15–18 в толк.) (Федорова 2010: 10–17). В ТА-1, помимо этого, отмечается форма м. р. мн. ч.: Син. 7 Гал. 5:4 *оупразннѡсѡѡ ѡ хѡ· нже законъмъ оправъдѡвѡсѡсѡѡ ѡ блѡдтн нспѡдѡсѡѡ· (220 г)*, но в толк. *оправъдатнѡсѡ тѡщнтѡе кѡнко гѡше нже нѡщнн (οὐτινες) тѡщнтѡсѡ ѡв закона оправъднѡтнѡсѡ (220 г – 221 а).*

О том, что ТЕ-1 и ТА-1 составляли в славянской традиции единый комплекс, свидетельствует одновременное обращение к данным двум текстам составителя Чудовской редакции Нового Завета, который заимствует их основ-

ные признаки и делает их употребление более последовательным (Пентковская 2009: 278–279). Это представляет собой следующий этап развития данной (локальной?) традиции.

- Алексеев 1999 – *Алексеев А. А.* Текстология славянской Библии. СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 1999.
- Пентковская 2009 – *Пентковская Т. В.* К истории исправления богослужебных книг в Древней Руси XIV в.: Чудовская редакция Нового Завета. М.: МАКС-Пресс, 2009.
- Турилов 2009 – *Турилов А. А.* К истории ростовского владычного скриптория XIII в.: старые факты и новые данные // Хризограф. Вып. 3. Средневековые книжные центры: местные традиции и межрегиональные связи. М.: Сканрус, 2009. С. 238–251.
- Федорова 2010 – *Федорова Е. В.* Толковое Евангелие от Марка Феофилакта Болгарского: к синтаксическим особенностям переводческой техники. Курсовая работа. М.: МГУ, 2010.

А. А. Плетнева (Москва)

Церковнославянский синтаксис в русских лубочных текстах XVIII–XIX вв.

1. До настоящего времени лубочные тексты почти не привлекали к себе внимания филологов и лингвистов. Исследователями лубка, среди которых преобладают искусствоведы и историки книги, они воспринимаются как тексты, изобилующие ошибками, безграмотные, портящие язык оригинала и т. п. Между тем лубочные тексты, являясь аналогом массовой литературы, несут в себе информацию о бытовой письменности мещанского и крестьянского населения XVIII–XIX вв. (подробнее об этом см. Плетнева 2006).

2. Язык лубочных текстов во многом определяется их содержанием. Тексты религиозного содержания (жития святых, молитвы, фрагменты Ветхого и Нового Завета) тяготеют к церковнославянскому языку. Тексты развлекательного характера – к русскому языку в варианте городского просторечия. Если лубочный текст имеет источник, написанный на стандартном церковнославянском или на русском литературном языке, его орфография и в некоторых случаях морфология подвергаются исправлению в духе традиции народной письменности. Эта традиция предполагает объединение в одном тексте разнородных по происхождению элементов. Элементы церковнославянской графики и орфографии проникают в русские тексты, и наоборот собственно церковнославянские тексты приближаются от диакритики, многих особых графем и морфологических форм, приближаясь к русским текстам. Славянизмы соседствуют с просторечными лексемами и заимствованиями Нового времени. Таким образом, можно говорить, что лубок собирает в себе все языковые возможности, представляемые эпохой. Если русский литературный язык освободился от одних языковых средств, а другие разделил по группам в соответствии со стилистическими представлениями своего времени, то язык лубка, не имея жесткой нормы и

стилистической дифференциации, объединил все элементы вместе. Элементы просторечия делали тексты понятными и «своими», церковнославянские формы вводили их в поле культуры и письменной традиции, а заимствования помещали лубочный текст в контекст современной жизни.

3. Изучая язык лубка, следует особое внимание уделить текстам развлекательного характера, многие из которых не имеют литературного источника, а являются обработанной записью городского фольклора. Речь идет о раешных стихотворных текстах, которые, вероятно, звучали на городских праздниках, ярмарочных гуляньях и площадных театрализованных представлениях. Кажется, что в текстах такого рода церковнославянские элементы появиться просто не могут. Однако в действительности они есть и на уровне графики и орфографии, и на уровне лексики, и на уровне синтаксиса. Остановимся подробнее на примерах из области синтаксиса. Обращает на себя внимание тот факт, что в качестве средств синтаксической связи церковнославянские союзы и союзные слова встречаются чаще, чем аналогичные русские. *Видиши пишат трубы яко кошки* (Ровинский №102); *усердно приими дабы тебѣ было вѣстно* (Ровинский №119); *аще содружится со мною кая власть, постигнетъ его лютая напастъ, аще содружится сомною протопопъ, и онъ будетъ глупый пустонопъ* (Ровинский №107). Церковнославянские синтаксические средства вводят фольклорные тексты в корпус народной письменности. Являясь знаком письменной культуры, церковнославянские союзы становятся своеобразным механизмом, позволяющим превратить устный текст в письменный.

4. Другим примером влияния церковнославянского синтаксиса на язык лубка является большое количество деепричастных форм в предикативной функции. Как известно, причастные формы именительного падежа могли соединяться с личным глаголом сочинительным союзом. Подобного рода примеры являлись отличительной чертой русского извода церковнославянского языка. В Московской Библии 1663 г. мы находим достаточно много таких случаев, но уже в Елизаветинской Библии они были исправлены. Лубочные тексты сохранили эту синтаксическую конструкцию. Причем интересующие нас случаи встречаются не только в церковнославянских текстах, но и в русских. (Оговорюсь, что если речь идет о церковнославянских текстах, эти формы я называю причастиями, если о русских текстах – то деепричастиями.) Так, в сказке о Бове королевиче, опубликованной Ровинским под №18, находим значительное количество примеров, где деепричастие выступает в предикативной функции, соединяясь с личным глаголом союзом *и*. Вот некоторые из них: *И приніла королевна Мілтриса блюдо и открыла платокъ и увидя короля Дадона главу и закрічала. Уриль ударивъ царицу свою по лицу и говорить. Потомъ повелѣлъ онъ въ рогъ затрубить и собравши войска 30000 пошелъ подъ градъ гдѣ ставъ въ лугу королевскомъ и шатры разставилъ. И Бова пріѣхал на морское пристанище и вшедъ въшатеръ гдѣ два короля связаны лежатъ подъ лавкою Зензевей и Маркобрунъ и Бова двухъ королеи развязалъ и поѣхалъ в Армянское*

царство. Появление деепричастия в предикативной функции в русских текстах указывает на преемственность лубочных текстов средневековой письменной традиции.

Плетнева 2006 – Плетнева А. А. К характеристике языковой ситуации в России XVIII–XIX вв. // Русский язык в научном освещении. № 2 (12). М., 2006. С. 213–229
Ровинский I–V – Ровинский Д. А. Русские народные картинки. Т. I–V. СПб., 1881.

В. В. Ротарь (Москва)

Лексема *ангел* как единица старославянского языка и ее использование в путевых записках рубежа XVII–XVIII веков

1. Грецизмы как элементы старославянского и русского языков. Как известно, функционирование в русском языке элементов старославянского языка характеризуется рядом особенностей, что обусловлено своеобразием их семантики и сферы употребления. Если рассматривать историю формирования самого старославянского языка, то следует отметить немаловажную роль лексических заимствований которые, как обоснованно пишет Р. М. Цейтлин, почти все проникли при греческом посредстве (Цейтлин 1977: 29). Это позволяет объединять в работах, посвященных грецизмам в русском языке, элементы, заимствованные в русский язык при посредстве старославянского, в особую группу (см. Фасмер 1909: 3).

Петровская эпоха – это время активного проникновения в русский язык лексики из западноевропейских языков, что послужило предметом для многих исследований. Тем не менее, следует уделить внимание и древним заимствованиям в языке начала XVIII века, многие из которых, несмотря на факт формального и семантического освоения в системе русского языка, не утратили признаков иноязычности, что проявляется в своеобразии их употребления в текстах.

Диахронический подход диктует необходимость сравнения единиц в различные периоды существования языка, что позволит выявить как черты преемственности, так и тенденции его развития. Так, исследование особенностей функционирования в текстах путевой литературы, созданных на рубеже XVII–XVIII веков, с учетом данных словарей старославянского языка, слова *ангел*, даст возможность проследить изменения в его структуре и семантике.

2. Лексема *ангел* в старославянском языке. В текстах древнегреческих авторов слово *ἄγγελος* имело значение, не связанное со сферой религии и культуры: «вестник, посланник, гонец» (Дворецкий 1958: 18). В латинском языке оно уже преимущественно функционирует как единица с сакральным значением: «божий вестник, ангел» (Дворецкий 1976: 72). Содержание текстов богослужбных книг обусловило четкую закрепленность лексемы **АНГЕЛЪ** (вариант, обусловленный влиянием письменной речи: **аггелъ**) за сферой употребления

религии и церкви, хотя перевод греч. в старославянских памятниках осуществлялся при помощи слов **вѣстѣникъ**, **сѣль** (Ст.-сл. словарь 1999: 70). В этих текстах сакрализация понятия *ангел* сопровождалась указанием при помощи передаваемого им слова на существо, бытие которого несопоставимо с земной жизнью человека. Так, показательное сравнение людей с ангелами, основанием которого выступает непричастность существа к факту смерти: **ни оумрѣти бо по томъ можѣтъ • равни бо сѣтъ а(н)ѣ(е)ломъ** (там же).

3. Лексема *ангел* в языке путевых записок рубежа XVII–XVIII веков.

(1) Использование слова *ангел* в текстах русских путешественников иллюстрирует отсутствие стабилизации его формы («*аггела*-хранителя / «*святых ангел*» [Толстой 1992: 30, 230]), что, тем не менее, не приводит к разграничению значения вариантов, которое возникло позже («*Аггел* — *церк.* павший ангел, злой дух»; «*Ангел* — *церк.* высшее духовное, разумное существо, служащее Богу» [Дубровский 1914: 14, 52]).

(2) Светский характер содержания путевых записок, конца XVII – начала XVIII века predetermined модификацию в семантике лексемы *ангел* в пределах ее употребления в данных текстах. Зафиксирован единичный случай актуализации рассмотренного выше значения, функционировавшего в текстах старославянских памятников письменности, при цитировании автором текста религиозного содержания: «се Аз посылаю *Ангела* моего пред лицом твоим» (Записка 2000: 63). Однако подавляющее большинство примеров использования лексемы *ангел* иллюстрирует факт обозначения с ее помощью произведений искусства: «*зделаны ангели* (<...> из алебастру» (Толстой 1992: 193). Появлению в семантической структуре рассматриваемого слова компонентов, позволяющих приблизить передаваемое им понятие к миру культуры, способствует контекстуальное окружение лексемы в тексте путевых записок П. А. Толстого, включающее указание на артефакт: «*образы святых ангел литые*», «*подобие ангела медное*» (там же: 230, 109). Факт утраты значением слова *ангел* компонента, позволяющего отнести его к единицам церковно-религиозной терминологии, отражен в примере сравнения описываемой скульптуры ангела с человеком, в основе которого лежат физические параметры последнего: «*зделаны из меди два ангела в меру человеческого возраста*» (там же: 76).

(3) Анализ использования слова *ангел* в текстах путевых записок позволяет говорить о процессе метафорического переосмысления его значения, что, учитывая ограниченный набор в их составе эмоционально-экспрессивных языковых средств, следует отнести к ярким приметам стиля рассматриваемых произведений. Лексема *ангел* выступает в качестве средства выражения авторской оценки по отношению к описываемым явлениям: «*насладиться тем* (<...> *подобно ангелским, пением*» (там же: 109). Важно отметить, что функционирование слова в данной роли имеет давнюю историю; в тексте жанра путевой литературы, созданного в начале XIII века, находим следующий пример: «*[певцы] начнут пение красное и сладкое, аки аггели*» (Книга 1899: 17). Необходимо ука-

зять и на то, что в ряде европейских языков положительные коннотации, присутствующие в структуре значения рассматриваемого слова, также предопределили возможность создания на его основе приема образного сравнения. Учет таких устойчивых сочетаний в итальянском языке, как *canta com'un angelo* — «он дивно поет» (Скворцова, Майзель 1963: 59) представляет исключительную значимость для исследования в текстах, созданных русскими путешественниками при посещениях Италии, заимствованной лексики, поскольку можно предполагать, что мы имеем дело с фактом влияния живой речи чужого языка на процесс создания исследуемых произведений.

Дворецкий 1958 – *Дворецкий И. Х.* Древнегреческо-русский словарь. М., 1958.

Дворецкий 1976 – *Дворецкий И. Х.* Латинско-русский словарь. М., 1976.

Дубровский 1914 – *Дубровский Н. А.* Полный толковый словарь всех общеупотребительных иностранных слов, вошедших в русский язык, с указанием их корней. М., 1914.

Записка 2000 – Записка путешествия графа Бориса Петровича Шереметева в Европейские государства (1697–1699) // Россия и Запад: горизонты взаимопознания. Литературные источники первой четверти XVIII века. Вып. 1. М., 2000.

Книга 1899 – Книга Паломник з богом починаем. Сказание мест святых во Цареграде Антония Архиепископа Новгородскаго в 1200 году // Православный палестинский сборник. Т. XVII, вып. 3. СПб., 1899.

Ст.-сл. словарь 1999 – Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков). М., 1999.

Скворцова, Майзель 1963 – *Скворцова Н. А., Майзель Б. Н.* Итальянско-русский словарь. М., 1963.

Толстой 1992 – *Толстой П. А.* Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе. М., 1992.

Фасмер 1909 – *Фасмер М. Р.* Греко-славянские этюды. Т. 3. СПб., 1909.

Цейтлин 1977 – *Цейтлин Р. М.* Лексика старославянского языка. М., 1977.

В. Б. Силина (Москва)

Отражение норм старославянского и церковнославянского языка в новгородских берестяных грамотах

1. Новгородские берестяные грамоты – уникальный памятник древнерусской письменности. Дискурсивная организация эпистолярных текстов, которые являются основным предметом исследования, свидетельствует об их прагматической направленности, актуализированности повествования и спонтанности речи. Отражение в ней норм и словоупотребления старославянского языка является знаком того, что авторы писем – новгородцы, принадлежавшие к среднему слою горожан и обучавшиеся грамоте по образцам священных текстов, достаточно прочно усваивали эти нормы и стремились, впрочем неосознанно, следовать им в своей письменной речи.

2. Степень отражения норм, выступавших на различных языковых уровнях, очевидно, зависела от характера этих норм и больших или меньших различий, существовавших в то время между старославянским и древнерусским языками.

Фонетические нормы, представленные в НГБ, существенно отличаются от старославянских. Берестяные письма, как правило, отражают фонетический строй древненовгородского диалекта (см. лингвистический комментарий А. А. Зализняка в исследовании «Древненовгородский диалект». Изд. 2. М., 2004).

3. Грамматические нормы, прослеживаемые в НГБ, представляют особый интерес, поскольку они усваивались носителями древнерусского языка, как непосредственно из живой речи, так и из книжных образцов, лишь на уровне отдельных форм. Практически в древней Руси не существовало представления о слове как о единстве парадигматических форм. В полной мере это относится к глагольному слову, обладавшему сложной парадигмой, особенно в области форм прошедшего времени. Поэтому кажутся маловероятными предположения о возможности проникновения в эпистолярную речь новгородцев, являющуюся лишь опосредованной формой живой речи, морфологических заимствований из старославянского языка, не подкрепленных живым словоупотреблением. Представление о таких формах прошедшего времени, как аорист и имперфект, обычно употреблявшихся в нарративе, как об отдельных языковых единицах может скорее привести к мысли о том, что эти формы были семантически весьма емкими и, возможно, обладали особой экспрессивностью. Редкое употребление их в НГБ может быть объяснено тем, что нарратив, экспрессивно окрашенный, занимал в НГБ весьма скромное место (см., например, гр. № 487, 605. Датировка этих грамот к XI – XII вв. может свидетельствовать скорее об архаичности представленных в них форм имперфекта, чем об их книжном характере).

Видовая система, наблюдающаяся в НГБ, предстает как еще не окончательно оформившаяся. В этом плане ее отличают от старославянской (по данным А. Достала) некоторые особенности (ср. например, *praesens* напрасного ожидания и другие случаи, где выступают приставочные глаголы в значении настоящего актуального).

В целом представляется возможным говорить о слабой проницаемости грамматической системы древнерусского народно-разговорного языка (по данным НГБ) для влияний книжной нормы.

4. Словообразовательный уровень языка НГБ демонстрирует лишь отдельные случаи проникновения словообразовательных моделей, свойственных старославянскому языку. Так, в текстах НГБ весьма редки сложные слова. Отмечены лишь БЛАГОСЛОВЛЕНИЕ, ДОБРОДЕЯНИЕ, РУКОПИСАНИЕ, ЧЕЛОБИТИЕ. Единичны случаи употребления глагольной приставки РАЗ-: РАЗГРАБИТИ, РАСПРАШАТИ (при наличии 18 употреблений глаголов с приставкой РОЗ-). Достаточно показательным явлением, отражающим влияние книжной нормы, представляется употребление ц.-сл. модели сущ. ср. р. с суф. -ИЕ на фоне собственно др.-рус. образований на -ЬЕ (44 примера на -ИЕ и 18 на -ЬЕ). Преобладание книжных форм над разговорными может свидетельствовать о сравнительно легком усвоении данной нормы грамотными новгородцами. Ср. появление книжной модели в лексике делового и терминологического характера: ДУБИЕ (в тексте о

бортничество), КЛЕПАНИЕ («кованые изделия»), ОБИЛИЕ, ОЖЕРЬЛИЕ, ВЪЗГОЛОВИЕ (в описях имущества), ИСПОЛОВИЕ (об арендной плате), ВЕДАНИЕ (о расчетном документе), ПОЛЮДИЕ (о сборе дани). Примечательно предпочтение образований на -ИЕ в адресных формулах: ПОКЛАНЯНИЕ – 26, ПОКЛАНЯНЬЕ – 4.

5. Лексический состав языка НГБ во многом определяется дискурсом. Прагматика эпистолярных и деловых текстов обуславливает насыщенность их конкретными бытовыми словами и выражениями. Немногие случаи употребления отвлеченной лексики, представленные в НГБ могут служить примером творческого подхода новгородцев к освоению и переосмыслению воспринимаемых ими книжных слов и выражений. Как правило, они выступают в значениях более конкретных, чем присущие им в древнерусских книжных текстах. Так, глагол ПОРАЗУМЕТИ, определяемый в СДР XI–XIV вв. (т. VII) как «понять, подумать, поразмыслить», имеет в тексте гр. № 724 более емкое и вместе с тем конкретизированное значение «подумать о том, как можно помочь в чем-л. кому-л.». Для сочетания в тексте гр. № 271 ЧТЕНИЕ ДОБРОЕ справедливо предложенное А. А. Зализняком толкование «удобочитаемое, хорошего письма (о грамоте)». Ср. в то же время использование в стилистических целях церковнославянизмов НАГЪ «нагой» и УМИЛОСЕРДИСЯ в прямом значении в тексте гр. № 765.

В целом, как представляется, в силу немногочисленности материалов для исследования пока можно говорить лишь о достаточно ограниченном влиянии книжных норм на живой язык древних новгородцев, представленный в новгородских берестяных грамотах.

А. Л. Соломоновская (Новосибирск)

К вопросу о вероятном переводчике отрывка Корпуса Ареопагитик в Послании Евфимия Тырновского к Никодиму Тисманскому

Корпус Ареопагитик, привлекавший внимание книжников с самого начала славянской письменности, был полностью переведен на церковнославянский язык лишь в XIV в. старцем Исайей. Еще до появления полного перевода, отрывки Ареопагитик в переводе, очень близком к Исайиному, можно найти в других памятниках той же эпохи. В кодексе Дечаны 88, относящемся к 60-м годам (то есть за несколько лет до завершения в 1371 году всего перевода), уже используется перевод Исайи. Другой значительный отрывок Корпуса, а именно целая глава из трактата «О небесной иерархии», включен в Первое Послание к Никодиму Евфимия Тырновского (переписка между Евфимием Тырновским и Никодимом Тисманским сохранилась в рукописях XV в., в частности в Рильском Панегирике 1479 г.). В данной работе будет сделана попытка доказать, что при написании данного послания Евфимий воспользовался ранними, черновыми вариантами перевода Исайи.

Евфимий Тырновский, бывший Тырновским патриархом с 1375 по 1393 г., во второй половине шестидесятых годов XIV в. достаточно долгое время пробыл на Афоне. О точных датах его пребывания там в литературе нет единого мнения. Адресат Послания Евфимия – Никодим Тисманский – также входил в круг общения переводчика Ареопагитик Исаяи. Все три книжника являются «духовными преемниками преподобного Григория инаита» (Пиголь 1999).

А. Исторические свидетельства, будучи часто отрывочными и/или противоречивыми, могут лишь дополнить свидетельство самого текста, а именно степени близости двух вариантов перевода с лексической и синтаксической точек зрения. Согласно болгарской исследовательнице Л. Тасевой (Тасева 2006), граница между редакцией одного перевода и двумя более или менее независимыми переводами проходит на уровне 30% лексических расхождений, а 40% лексических разночтений (особенно ошибки и несинонимические на славянской почве замены) свидетельствуют о двух независимых переводах. В данном случае наблюдается 30% разночтений, что свидетельствует о том, что мы имеем дело с редакцией одного перевода.

Б. Более того, если рассматривать не только словоупотребление Исаяи в данной главе, но и в целом перевод соответствующих лексем в тексте трактата «О небесной иерархии», можно встретить и такие варианты перевода греческих слов, которые в рассматриваемом отрывке используются в Послании к Никодиму, а следовательно, количество таких расхождений еще больше уменьшается – 17 из 193 лексем или около 9% всей лексики. Некоторые из них могут восходить к более поздней редакторской правке (Послание к Никодиму включено в состав Рильского Панегирика 1479 года, таким образом, дошедший до нас текст на сто лет «моложе» оригинала) (Томова, Кузидова, Станкова), другие – отражать живое разговорное словоупотребление переводчика, пересмысленное к моменту окончания многолетней работы над корпусом. В пяти из этих семнадцати разночтений наблюдается одна и та же тенденция – усложнение морфемной структуры слова в Корпусе по сравнению с Посланием, что вполне может свидетельствовать о сохранении в последнем «более простого» по сравнению с окончательным вариантом варианта перевода, характерного для ранней стадии перевода текста, когда еще окончательно не выработались переводческие принципы Исаяи. В некоторых случаях в тексте Исаяи присутствуют черты, которые свойственны Посланию – например, сохранение дательного падежа прилагательных, не согласованного с существительным, в следующем контексте: *μόνην ἀκριβῶς εἶδέναι φημι τὴν θεωτικὴν αὐτῶν τελεταρχίαν* – **единому** извѣстно тѣхъ вѣдѣти рекоу божьственому тѣхъ слоужбоначельствию – **единому** извѣстнѣ вѣдѣти глаголю **божествителному** тѣхъ **слоужбоначале**. Поскольку невозможно говорить об обратном влиянии, этот пример свидетельствует о том, что текст, вошедший в Послание к Никодиму, родился, вполне вероятно, в период работы Исаяи над переработанным впоследствии черновиком перевода Корпуса Ареопагитик.

Литература:

- Милин 2001 – Милин Ж. О српском калуђеру Никодиму и о његовом рукописном четворојевањелџоу, преписаном 1404–1405 године у манастиру Водица, у Румунској земљи // Темишварски зборник 3. Матица Српска. Нови Сад, 2001. С. 151–156 (http://www.maticasrpska.org.rs/casopisi/temisvarski_zbornik_3.pdf).
- Пигољ 1999 – *Игумен Петр (Пигољ)*. Преподобни Григориј Синаит и его духовне преемници. М., 1999. 204 с.
- Тасева 2006 – *Тасева Л.* Перевод и редакција: јазикови критерији и жанрова специфика // Многостраните преводи во Јужнословјанското средновековие. Софија, 2006. С. 35–55.
- Томова, Кузимова, Станкова – *Томова Е., Кузидова И., Станкова Р.* Рукописи од сбирката на Рилскиот манастир // http://slovo-aso.cl.bas.bg/pdf/Rila-Mss_Bg.pdf.

Източници:

- Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca. Compiled by J.-P. Migne. Vol. 3. 1837.
- Славјански рукописи Ареопагитик:
- FVI/6 Крс (ГПНТБ СО РАН) (цифрова фотокопија);
- Гильф. 46 (РНБ) (цифрова фотокопија).

Мария Спасова (Велико Търново)

**Търновската редакција на *Стишијна пролог*
и езиковите среднобългарски иновации
на граматично и лексикално равниште**

Традиционното становиште, че богослужебната книга *Стишен пролог*¹ е конзервативна по јазик, се опровергува од текстовите во петте издадени тома на *Търновската редакција на Стишијна пролог*².

Во настоящото научно соопштение се представат јазикови факти, коишто опровергуваат подобно становиште. Всушност јазикот на преводот содржи иновационни черти, коишто сведетелстват категорично за директно влијание на разговорниот български јазик на граматично, лексикално равниште, за вклучување на речеви конструкции и фразеологизми во книжовниот јазик на XIV век.

I. Граматични иновационни особености во среднобългарскиот јазик на преводот, карактерни за новобългарскиот јазик.

1. Фонетични особености: промени на еровите и носовите гласни, развој на **Ѣ**, преглас на **Ѧ** след палатални согласни, развој на **Ѧ**, затврдување на согласните, содбата на епентетичното **л'** и др.

¹ Стишијат пролог е богослужебна книга во широкиот смисел на овој термин. Всушност тоа е агиографски календарен зборник со сравнително устојчив состав, възникнал во Византија през втората половина на XII век, во којшто се војвеждат стихове од епиграматичен тип. През првата половина на XIV век възниква търновскиот превод на *Стишијна пролог*, но съществува и втори, србски превод (нај-веројатно од третата четврт на XIV век).

² *Петков Г., Спасова М.* Търновската редакција на Стишијна пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. I–V. Пловдив, 2008–2010. Текстовите за месеците *септември/февруари* на првото полугодие се издават по нај-ранниот запазен български препис БАН 73 од 1368–1370 г., а за месеците *март/август* на второто полугодие – по нај-ранниот български препис Зогр. 80 од 1345–1360 г.

2. Глаголна система: презентни форми за трето новобългарско спрежение на глаголите, нови окончания за мн.ч. на формите за аорист, имперфект от сегашната основа на глаголите и др.

3. Именна система: промени в падежната система при съществителните, случаи на употреба на обща форма след предлог, обобщени окончания при имената; аналитични степени за сравнение при прилагателните имена.

4. Промени в местоименната система и в системата на числителните.

II. Лексикални особености:

1. Диалектна лексика от българските говори.

2. Редки думи, архаизми и оказионализми.

3. Гърцизми.

4. Терминологична лексика.

5. Особенности и промени в словообразуването на имената и глаголите.

III. Речеви конструкции, устойчиви словосъчетания и фразеологизми в езика на превода на *Търновската редакция на Стихия пролог*.

Особеностите, които са характерни единствено за българския език, се сравняват с руските и сръбските редакции на същия превод, за да се провери дали при усвояването на среднобългарския превод в тези книжовни среди се отстраняват среднобългарските отклонения от старата славянска норма.

Е. С. Суркова (Минск)

***Разоумъ и дѣтѣль* как основания метаязыковой теории в Кирилло-Мефодиевской филологической школе IX–X вв.**

1.0. Среди основных направлений деятельности создателей Кирилло-Мефодиевской филологической школы IX–X вв. особое место занимали активные разработки продуктивных моделей производства научных терминов. Теоретическое обоснование возможности перевода книг Св. Писания на «варварский» славянский язык было непосредственно связано с необходимостью осмысления проблемы создания новых (славянских) имен для обозначения сакральных понятий, в оригинале передаваемых средствами древнееврейского и греческого языков.

2.1. **разоумъ** – *voŭs – γυῶσις – σκολός*. К ключевым словам, отсылающим к мыслительным категориям времен раннего славянского Средневековья, относится старославянское слово **разоумъ**. Факты использования слова **разоумъ** в древнеславянских памятниках, возникших в Кирилло-Мефодиевской школе, наряду с иными «наименованиями первого естества» (Григорий Богослов) – такими как **слово**, **доухъ**, **оумъ**, **сила**, **съмысль** и др. – демонстрируют принципиальную значимость данной лексемы (показательно, что по данным составленного нами частотного словаря *Пространного Жития Константина разоумъ* входит в группу 25 наиболее частотных существительных).

Для исследования метаязыковой составляющей термина **разоумъ** особо важным является значение ‘смысл’ (который в современной лингвистической терминологии может быть сопоставим с понятиями «означаемое» или «план содержания»). Одним из важнейших свидетельств наличия такой лингвистической составляющей у слова **разоумъ** является вариант его употребления в составе цитаты из *Божественных имен* Псевдо-Дионисия Ареопагита (IV в., 708с), приведенной в *Македонском кириллическом листке* XI–XII вв.: **во плода не има коже мьнж криво зѣло еже не силѣ и разоумоу** (тоу сколоу) **нь глагольмь** (ταῖς λέξεσιν) **сьмотрити** (МКЛ, 81). **Разоумъ**-сколосъ имеет в контексте цитаты значение ‘смысл’ и противопоставляется **глагольмь** – лексеме, для которой *Старославянский словарь* фиксирует только два значения: 1) ‘слово, речь’ (ῥήσις) и 2) ‘вещь, событие’. Между тем здесь **глаголь** получает незафиксированное для других старославянских текстов окказиональное значение – ‘оболочка слова’, его план выражения. Так переводчик фрагмента Псевдо-Дионисия передает греческое λέξις ‘слово’, ‘выражение’, причем в том специфическом варианте, который можно связать с учением стоиков о λεκτόν.

В случае с лексемами **разоумъ** ‘смысл’ и **глаголь** ‘оболочка слова’ мы, по-видимому, имеем дело с актом терминотворчества, в результате которого общеславянские обиходные слова приобрели специальное лингвистическое значение. А традиция «разумного именованья», отраженная в греческих и славянских терминах метаязыковой рефлексии, может быть спроецирована на современную ситуацию в семантике, для которой остаются актуальными вопросы номинации, отношений имени и вещи, имени и понятия о вещи и т. д., охватывающая главные семантические назначения элементов человеческого языка.

2.2. ДѢТѢЛЬ – ἐνέργεια – εὐεργεσία. Исследование текстов Кирилло-Мефодиевского корпуса позволяет предположить, что в непосредственной связи с лексемой **разоумъ** следует прочитывать слово **дѢТѢЛЬ**. Соположение двух лексем позволяет предположить, что важнейшим началом для книжников Кирилло-Мефодиевской филологической школы выступает интеллектуальная (по-знавательная) деятельность.

ДѢТѢЛЬ как ‘дело’ (ἐνέργεια) придает особый статус категории деятельности в филологической концепции первоучителей славян, а в значении ‘добродетель’ (εὐεργεσία) эта лексема ориентирует на христианскую аскетическую практику. Постигание бытия и «вещей человеческих» является импульсом к духовному совершенствованию, целью которого было уподобление Богу (идея, высказанная еще Платоном в диалоге «Теэтет», развитая неоплатониками и впоследствии воспринятая святоотеческой традицией). В памятниках Кирилло-Мефодиевского корпуса эта идея развивается в системе христианского вероучения, которое ставило перед христианами ту же цель, что философствование перед философами – уподобление Богу, насколько это возможно для человека. Вслед за ранними христианскими апологетами и каппадокийцами Константин-Кирилл подключает к теоретическому философствованию философию

бытия-мышления, практики, которая посредством нравственно-аскетических упражнений и стремления к праведной жизни способствует приобщению человека к высшей мудрости. Здесь просветитель славян остается в русле традиции, синтезировавшей «знание» и «дело», теоретическую и деятельно-практическую стороны премудрости, сделавшей добродетель важным компонентом последней.

3.0. Немногочисленные метаязыковые контексты, сохранившиеся в памятниках Кирилло-Мефодиевского корпуса, свидетельствуют о том, что семантическая структура древнеславянских лингвистических терминов вместила в себя основные значения соответствующих греко-византийских терминологических образований, эволюцию которых представляется возможным реконструировать, опираясь на системы знаний, выработанные мыслителями Античности и Средневековья.

Е. В. Суровцева (Москва)

«Житие» Епифания и «Житие и страдания грешного Софрония» Софрония Врачанского: опыт сопоставительного анализа

В докладе будет проведён сопоставительный анализ «Жития» Епифания, соратника Аввакума, создавшего под его влиянием свою автобиографию, и «Жития и страданий грешного Софрония» Софрония Врачанского, написавшего первую автобиографию в болгарской литературе. Нами доказывается идейная и жанровая близость произведений, испытавших на себе воздействие «Жития» Аввакума и стоящих на близких легко сравнимых ступенях развития культуры и литературы.

Рядом исследователей (Л. Боева; В. Барахов; Н. Донченко; И. Калиганов; М. Смольяникова) указывалось на возможность сопоставления «Жития протопопа Аввакума им самим написанное» протопопа Аввакума (написано около 1672–1673 годов), «Жития и страданий грешного Софрония» Софрония Врачанского (написано между 1803 и 1812 годами) и «Жизни и приключений Дмитрия Обрадовича, наречённого в монашестве Досифеем, им самим написанное и изданное» Досифея Обрадовича (первая публикация относится к 1783 году). Подчёркивалось также (Л. Боева; Д. Лихачёв; К. Мечев) большее сходство «Жития» Аввакума, нежели с книгой Обрадовича, с произведением Софрония, наиболее светского и наименее связанного с предшествующей литературной традицией текста. Нами исследовались также сходство и различие жизнеописания Обрадовича и «Жития» Епифания, соратника Аввакума, написавшего своё произведение примерно в то же самое время, что и Аввакум, около 1675–1676 годов. Произведение Епифания, на наш взгляд, гораздо ближе к произведению Обрадовича, нежели сочинение Аввакума. Следующий этап наших изысканий – сопоставительный анализ книг Епифания и Софрония.

Епифаний создавал своё житие под влиянием Аввакума и с теми же целями, что и «огнепальный протопоп», – это произведения для единомышленников-старообрядцев, представляющее собой некий образец того, как должно вести себя старOVERу и как нужно отстаивать истинную веру.

Софроний, уехав в 1803 году из Болгарии в Бухарест, встретился там с валахским государем Константином Испиланти, многими боярами, митрополитом Досифеем. Константин был тронут рассказом Софрония о своих злоключениях, согласился ходатайствовать о нём перед Синодом об отпускной грамоте для него (ведь Софроний, можно сказать, бросил свой приход). И. Калиганов считает, что именно по просьбе Константина Софроний создал своё житие и, таким образом, это произведение описывает частную жизнь частного лица. Но, думается, это не совсем так – произведение описывает не только частную жизнь, но и жизнь всего болгарского народа, все его горести.

Анализируемые нами произведения обычно рассматривают в контексте формирования автобиографического жанра, однако однозначно определить их жанровую принадлежность довольно сложно, так как они сочетают в себе элементы разных жанров. И в том, и в другом произведении можно выделить следующие пласты: автобиография; исповедь; житие, проповедь (отметим, «Житие» Епифания – проповедь старой, истинной, веры, «Житие» Софрония – проповедь, по мнению К. Мечева, христианской веры и национальной гордости). Исследователи полагают, что «Житие» Софрония также вполне сопоставимо с плутовским романом (И. Калиганов) и с социально-бытовой повестью (Л. Боева).

Отдельного анализа заслуживают житийные традиции в произведениях. Своё «Житие» Епифаний начинает с традиционного житийного вступления, Софроний же – сразу с фактов о своём рождении, о родителях. Епифаний и Софроний оба употребляют формулы самоуничужения. Оба автора указывают на то, что они мало учёны (см. Епифаний 1989: 174; Софроний 1976: 3), причём Софроний объясняет этот факт тем, что «Понеже у Болгария не има философское учение на славенския язык» (Софроний 1976: 3). Однако трудно судить, так ли это или мы имеем дело с очередной житийной формулой самоуничужения. Отметим, что Епифаний в своём сочинении выступает как защитник старой, истинной, веры. Для Софрония христианство – не только истинная вера, но и вера родного народа, тогда как ислам – религия угнетателей. Судя по «Житию» Епифания и «Житию» Софрония, их авторы, как житийные герои, не имеют никакого имущества и не стремятся к нему.

Немаловажным представляется тот факт, что в заглавие своих произведений оба автора поставили слово «житие», видимо, для того, чтобы подчеркнуть религиозный характер своих сочинений.

Рассуждая о языке «Жития» Епифания, мы вынуждены провести параллели с «Житием» Аввакума. У Епифания, как и у Аввакума, была сознательная установка на живой разговорный язык. Он использует церковную фразеологию, цитаты из Священного Писания наряду с народными оборотами. Точно

такая же установка была и у Софрония, в своём «Житии» он напрямую говорит о том, что цель его труда – писать книги на родном болгарском языке.

Характерная черта произведения Обрадовича – «многолюдность» (выражение Л. Боевой). На его страницах мелькает множество народу, бурлит жизнь. Епифаний же почти не описывает конкретных людей, с которыми ему довелось общаться, он сосредоточен в основном на своём внутреннем мире.

Особенность обоих произведений – многосторонность в изображении героя. Герой-рассказчик может ошибаться, испытывать негативные чувства, поддаваться слабости и быть не на высоте. Автобиографиям присуща богатая эмоциональная палитра. Герой радуется, негодует, печалится, но никогда не остаётся равнодушным.

Авторы произведений широко используют диалоги и описания природы.

Особый вопрос, возникающий при сопоставительном анализе произведений, – о возможности влияния «Жития» Епифания на «Житие» Софрония. Отметим, что в научной литературе уже ставился вопрос об источниках текста Софрония и, в частности, о влиянии на болгарского писателя «Жития» Аввакума. Ряд исследователей полагает, что основные литературные источники произведения Софрония – русские (Б. Ангелов; Д. Петканова-Потева; Ив. Снегаров). Кроме того, учёные не просто отмечают большую близость сочинений «огнепального протопопа» и Софрония (Л. Боева), но и говорят о сильном влиянии Аввакума на Софрония (К. Мечев; Д. Лихачёв). Однозначно утверждать, что «Житие» Епифания оказало влияние на «Житие» Софрония, мы пока не берёмся, однако с уверенностью можно отметить не только их типологическое сходство, но и то, что в обоих произведениях преломилось Аввакумово «Житие».

Теперь сформулируем предварительные выводы нашего исследования. «Житие» Епифания и «Житие» Софрония Врачанского созданы на стыке старой, религиозной, и новой, светской, литератур. Оба автора использовали достижения житийной литературы и в то же время явились одними из родоначальников новой автобиографической литературы. Анализируемые нами сочинения испытали на себе немалое влияние «Жития» Аввакума, однако правомерно, на наш взгляд, утверждать, что они были более светскими по сравнению с сочинением Аввакума. Епифания и Софрония объединяют также взгляды на родной язык. Русский и болгарский авторы без утайки рассказывают о своих переживаниях и колебаниях; используют сходные изобразительные средства.

В. В. Чарский (Москва)

Характер карпаторусинских элементов в структуре южнорусинского литературного языка

Вопрос о характере карпаторусинских элементов в структуре южнорусинского языка до сих пор остается дискуссионным. В то время как сторонники

восточнословацкой версии происхождения этого идиома указывают исключительно на его восточнословацкие черты, их оппоненты продолжают настаивать на наличии весомого карпаторусинского (восточнославянского) компонента в структуре этого идиома.

Детальный сравнительный анализ южнорусинского языка и восточнословацких и карпаторусинских говоров исходного ареала расселения предков южных русин (исторические словацкие области Шариш и Земплин) до сих пор не проводился. Предыдущие исследования зачастую строились на немногочисленных разрозненных данных, как правило, из-за отсутствия или труднодоступности необходимых справочных данных.

Исследование, построенное на иной концептуальной основе, позволяет иначе оценить многие южнорусинские явления, традиционно трактуемые как восточнославянские или украинские. Этот подход предполагает учет некоторых принципиальных моментов: 1) принятие за начальную точку формирования южнорусинского идиома времени этого переселения, т. е. середину XVIII в.; 2) учет диалектных особенностей словацкой и карпаторусинской речи тех районов бывших комитатов Шариш и Земплин, откуда переселялись предки южных русин на территорию нынешней Воеводины, а не особенностей украинского и словацкого литературных языков; 3) последовательное разграничение этногенеза и лингвогенеза; 4) удаление из сопоставительной базы поздних литературных украинизмов и русизмов; 5) иная трактовка критерия релевантности/нерелевантности, согласно которой релевантным для восточнославянских карпаторусинских говоров может считаться только то явление, которое не представлено на системном уровне в шарийских или земплинских восточнословацких говорах; 6) отказ от оценки ситуации в духе противопоставления традиционных трех славянских ветвей, так как в восточнословацких диалектах присутствуют некоторые системные теоретически восточнославянские черты, а в карпаторусинских – теоретически западнославянские.

В результате применения этих установок оказалось, что в южнорусинском языке *нет ни одного* фонологического, морфологического, словообразовательного или синтаксического признака, который можно было бы однозначно квалифицировать как карпаторусинский. Многие явления, определяемые в ряде работ как «украинизмы», в действительности оказываются в равной степени присущими и восточнословацким, и карпаторусинским говорам региона, или же при совокупном учете рефлексов и вовсе оказываются только восточнословацкими. Южнорусинский язык содержит всего около 30 лексем (многие из которых относятся к редкой или архаичной лексике) и несколько фразеологических сочетаний, карпаторусинское происхождение которых более или менее вероятно в связи с наличием параллелей в карпаторусинских говорах исходного ареала. Данный факт свидетельствует о том, что участие карпаторусинских говоров в формировании южнорусинского идиома сводится к абсолютному минимуму.

Наши лингвистические выводы подтверждаются и социолингвистическими и историческими сведениями о переселении предков южных русин, греко-католиков, преимущественно из словацкоязычных (по состоянию на момент миграции, т. е. в середине XVIII в.) районов Восточной Словакии.

Е. В. Шимко (Ужгород)

Роль юго-западных источников в формировании нового русского литературного языка

На протяжении многих веков в русской письменности происходил сложный процесс взаимодействия книжного и разговорного языков. Вместе с тем, еще в начале XX века Н. С. Трубецкой высказал мысль, что история церковнославянского языка на российской языковой почве не была однозначной и прямолинейной, и поставил вопрос о юго-западном влиянии на русский литературный язык. Так, например, Н. И. Толстой в своей монографии «История и структура славянских литературных языков» писал, что юго-западное влияние «оказалось крепким фундаментом для развития древнеславянского литературного языка конца среднего и позднего периодов его истории, который функционировал во время формирования российской литературы XVI–XVII веков». Как оказалось, этот фундамент не удалось существенно разрушить и в конце XVII – в начале XVIII ст., то есть в то время, когда складывались основные принципы и основы формирования русского национального литературного языка.

Формально влияние юго-западной традиции связывают с реформами патриарха Никона, часть которых отождествляют с «третьим юго-западным влиянием». Между тем «третье юго-западное влияние» было намного более сложным и началась значительно раньше. Мы определили как минимум три составляющие, которые характеризуют роль и место юго-западных источников в процессе формирования нового русского литературного языка.

1. Укрепление русского самодержавия, расширения сфер его влияния.

Попытка обновить Вселенскую православную империю реализовалась, прежде всего, в семиотическом плане: «русский царь ведет себя как византийский император, и в этих условиях церковнославянские византийские тексты получают вторую жизнь». Реконструкция византийской традиции требует найти хранителей этой традиции, т. е. тех, кто на протяжении веков не отказался от нее, как это произошло в Москве после Флорентийской унии. Именно поэтому возрастает роль культуры Юго-Западной Руси, где такого отказа не было, роль юго-западных письменных источников.

При таких условиях юго-западная книжность выступает как один из рычагов влияния на общественное сознание. В 1720 г. Синод издал указ, утвержденный Петром I, о том, что в Киеве и Чернигове книги должны «печататься только та-

ким языком, который ничем не отличается от московской»¹. Но формирование украинского литературного языка в XVIII ст. *полностью совпадает* с таким же процессом формирования нового литературного языка в России. Как отмечает И. Огиенко, «украинский литературный язык опирается на старинную основу, из нее окончательно исключаются полонизмы и более новые германизмы, *формировался язык, который хорошо понимали в Москве, – возникает язык, общий для юга и севера, «общерусский» язык по своей идее*». Именно над этим вариантом языка работали киевские ученые (Симеон Полоцкий, Стефан Яворский, Епифаний Славинецкий и др.), именно этот вариант языка справляли по юго-западным источникам, об ориентации книжного языка Московии на юго-западные первоисточники свидетельствуют и так называемые «кавычные книги» (корректорные). То, что украинский книжный «славенорусский» язык легко распространился в Москве свидетельствует такой факт: Сильвестр Медведев писал на том же языке, что и его учитель Симеон Полоцкий.

В этих условиях украинские авторы XVIII ст. осознанно или неосознанно ощущали и учитывали общероссийский культурный контекст – украинские писатели со староукраинского языка переходили на славяно-русский, чтобы их понимали в России. Возникают попытки создать единый восточнославянский литературный язык. Начало этой тенденции положил Симеон Полоцкий. Он решил создать собственный вариант литературного языка, который был бы понятным во всем ареале *Slavia Orthodoxa*.

При таких обстоятельствах склонность Московского государства к официальному использованию юго-западного варианта книжно-письменного языка была чем-то большим, чем простым признанием его преимущества как средства культуры, – она «знаменовала решительную победу государственного мышления над национальной гордостью и способствовала присоединению к источникам европейской культуры».

2. Стремление к европеизации российской культуры, выход ее из изоляции и учет тех изменений, которые произошли на протяжении двухсот лет – это вторая составляющая, характеризующая роль и место юго-западных источников в процессе формирования нового русского литературного языка. Изменение государственной жизни и общественного быта требовало от литературного языка новых слов и выражений, новых форм экспрессии, новых стилистических средств, значительно расширяла его функции. Под воздействием литературной традиции Юго-Западной Руси сакральный текст начинает восприниматься как совокупность сугубо лингвистических норм и правил.

Прежде всего, церковнославянским языком начинают говорить, подобно тому, как это было в Юго-Западной Руси: в духовных школах, созданных по об-

¹ Хюттль-Ворт Г. Проблемы межславянских и славяно-неславянских лексических отношений // Славянска филология. Материалы от V международен конгрес на слависте. Езикознание. София, 1965. Т. VII.

разцу юго-западных братских школ, на нем учат говорить и писать. Во-вторых, церковнославянский язык выступает как язык науки. В-третьих, происходит секуляризация церковнославянского языка – его использование распространяется на деловую, юридическую и медицинскую литературу, на произведения эпистолярного жанра, становятся возможными также пародийные тексты.

3. Третья составляющая – это необходимость изменения статуса литературного языка. Во взаимосвязи разговорной и церковнославянской языковых стихий церковнославянский язык (в отличие от разговорной) воспринимался в Московской Руси не как способ передачи информации, но, прежде всего, как система общения с Богом, система символического представления православия. Эта система находила мотивировку и в специально разработанной теории языка, в которой «душа», «слово» и «ум» составляют нераздельное целое, а тому правильная мысль имеет единственный правильный способ выражения.

О том, что в конце XVII – в начале XVIII ст. важным было, в первую очередь, изменение соотношения формы и содержания, свидетельствует тот факт, что Петр Могила в предисловии к Требнику 1646 г., писал, что «...ошибки несколько не вредят», так как «не уничтожают чистоты, силы, ... и плодов святых таинств»¹. Книги старого и нового образцов были признаны наравне: «Обои-де добры, все равно, по каким хочешь, по тем и служишь», соглашался Никон, а Константинопольский патриарх Паисий специально указывал, что не стоит придавать особого значения правилам «неважным и несущественным, которые... относятся к числу незначительных церковных порядков».

Именно в этом, на наш взгляд, заключается основная роль юго-западных источников в истории русского литературного языка – в перенесении на русскую почву юго-западных особенностей восприятия книжно-письменной традиции, специфики функционирования языка, основных тенденций его развития, расширения сфер использования и общественного отношения.

¹ Успенский Б. А. Раскол и культурный конфликт VIII века // Успенский Б. А. Избранные труды. М., 1996. Т. 1. С. 339.

СОЦИОЛИНГВИСТИКА
СОВРЕМЕННЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ СИТУАЦИИ В СЛАВЯНСКИХ СТРАНАХ
МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ

Е. Барань (Ньиредьхаза)

Данные к украинско-венгерским языковым контактам

Венгерско-украинские языковые контакты, имеющие древнюю историю, относятся к перманентным и частично к маргинальным языковым контактам (в районе Карпат). Древневенгерско-древнерусские контакты были взаимными и начались не позже XI века, свидетельством чего является звуковой состав лексических заимствований и проникновений. К унгаризмам восточнославянских языков и диалектов, заимствованных в этот период, относится слово *хосен* ~ *хусен* (XV в.) < древневенг. *chosznu* (1193 г.; ср. совр. венг. *haszon* 'выгода', см. Рот 1973: 266). Подобные явления интерференции, произошедшие на лексическом уровне, являются примерами украинско-венгерского языкового взаимодействия.

Мы называем унгаризмами такие слова, которые, несмотря на их первоначальное происхождение, в разные исторические периоды вошли в западноукраинские диалекты или непосредственно из венгерского языка, или через него.

По исторической причине (проживание в течение длительного времени в составе одного государства) наиболее интенсивными, как в прошлом, так и в наше время, являются языковые контакты закарпатских украинцев и венгров, которые ярко отразились в говорах обеих языков (Лизанец 1976, Ковтюк 2007). Более сорока лет назад Эмил Балецкий заявил, что среди славянских диалектов, соседствующих с венгерской этнической территорией, «по количеству венгерских заимствований одно из первых мест, если вообще не первое, занимают украинские (закарпатские) говоры» (Балецкий 1961: 248). Среди историзмов военной терминологии украинского языка зафиксированы унгаризмы, пришедшие в большинстве случаев в XVI веке через польский язык вследствие непосредственных польско-венгерских контактов. Так, к данному пласту лексики относится существительное **гермекь, кгермекь** 'паж, оруженосец' (СУ VII: 138) < венг. *gyermek* 'ребенок': ...с тым же **кгермком** своим... (Луцьк, 1563 *АрхЮЗР* 8/III, 47); *около себе жолнѣровъ гермковъ ... много* (Вильна, 1627 *Дух.б.* 3 зв.). Расширение значения унгаризма *гермекь, кгермекь* произошло, очевидно, на польской языковой почве (ср. стп. *giertek* 'паж'), откуда слово вошло и в белорусский язык, ср. *кгермекь (гермок)* 'т.с.' (Zoltán 2006: 496). Скорее всего польский был языком-посредником и при заимствовании унгаризма **добошь, добашь** 'литаврист' (СУ VIII, 46–47) < венг. *dobos* 'т.с.', (ср. ЕСУМ 2: 98): ...а видечи есче трохи живо(д)[о], **добашови** своєму дьругому *Самослови*... (Житомир, 1650 *ДМВН* 201).

Унгаризм **хосен** 'польза' относится к древним заимствованиям в украинском языке < венг. *haszon* 'т. с.' (ср. укр. лит. *користь*). В письменном памятнике XVI века, кроме имени существительного (*хосна*), функционируют также глагольные и причастные образования (*хосновати* 'принести пользу, быть полезным', *хосновито* 'полезно'). В памятниках XVII века были распространены разные фонетические варианты существительного *хосен* (ср. *хасен*, *хосна*, *хусен*) (Дэже 1961: 172–173). Унгаризм *хосен* и его дериваты укоренились и в западноукраинском варианте литературного языка конца XIX – начала XX века, свидетельством чего является их широкое распространение в языке литературных произведений этого периода: ... *Але коли не відіслали, то, може, хоч прочитають їх, і з того вже для мене хосен* (Маковой 1990: 30); *Бери собі хоч поле, бо я й так не маю з него жадного хісна!* (Бордуляк 1988: 55). Дериваты существительного *хосен* встречаются в произведениях Ивана Франко, а также в эпистолярном стиле и в научной терминологии (дет. об этом Ткач 2007: 444–462). Существительное *хосен*, *хісен* и его дериваты зафиксированы в Словаре украинского языка (Гринченко 4: 400, 411), однако прилагательному *хосний* дается помета *Угор.* (это означает, что слово употреблялось на территории бывшей Угорской Руси, т. е. в современной Закарпатской области Украины и Восточной Словакии). Слово не вышло из употребления, зафиксированы случаи его функционирования в языке современных закарпатских художественной произведений: *«І права не маєш, бо він уже в хосен увійшов»* (Потушняк 1973: 158). *Як зрахувати все, буде угрів із сорок. Є й пустир, а деяку люди хоснують* (Потушняк 1980: 133). *Хоснував дотепер і буде хосновати і ділитися ні з ким не думає...* (Станинець 1991: 54).

К венгерским заимствованиям, вошедшим в систему украинского литературного языка, относится существительное **паприка** 'перец; *Capsicum annuum*' < венг. *paprika*, диал. *popriга* 'т. с.' (ср. укр. лит. *стручковий перець*), в Словаре украинского языка зафиксирована форма *поприк* (Гринченко 3: 336). В украинском языке используются разные фонетические формы слова: *пáприка*, *папрі́га*, *попрі́га*, *попрі́га* (ЕСУМ 4: 285). Слово встречается в языке произведений галицкого писателя конца XIX века Тимофея Бордуляка, а также буковинской писательницы Ольги Кобылянкой: *Добра баба, стара господня! Зараз зробимо «смажецьню» по-мадьярськи, з паприкою!* (Бордуляк 1988: 43); *Мав грядку паприки, якої, як хвалився, навіть сам двірник не мав у своїм городі* (Кобылянська 1987: 86). Слово *паприка* вошло и в состав русского языка разными путями в разных оттенках значений: 1) название растения непосредственно из сербского; 2) в значении 'молотый красный перец' из венгерского в связи с тем, что технология изготовления молотого перца была создана венграми (Hollós 1996: 51).

Венгерские лексические элементы вошли в состав украинского языка в заметном количестве лишь на диалектном уровне. На лексический состав украинского литературного языка венгерский язык оказал минимальное влияние (сред-

ненадднестрянские говоры, на основе которых сформировался украинский литературный язык, распространены далеко от венгерской языковой территории). Одни унгаризмы архаизировались, другие на сегодня являются историзмами. Однако большинство унгаризмов относится к активному пласту речи жителей территории Закарпатья, находящихся в непосредственных контактах с представителями венгерской национальности. Это, в частности, объясняется тем, что на территории современного Закарпатья наиболее многочисленную часть населения составляют украинцы и венгры (по данным переписи населения 2001 года, численность украинцев составила 1010,1 тыс. человек или 80,5% населения, а венгров – 151,5 тыс. человек или 12,1% населения).

- Балецкий 1961 – *Балецкий Э.* Венгерское *kert* в закарпатских украинских говорах // *Studia Slavica*. Tomus IV. Budapest, 1961. S. 247–265.
- Бордуляк 1988 – *Бордуляк Т.* Твори. Київ, 1988.
- Гринченко – Словарь української мови. Зібрала редакція журналу „Киевская старина”, упорядкував, з додатком власного матеріалу, Б. Грінченко. I–IV. Київ, 1907–1909.
- Дже 1961 – *Дже Л.* К вопросу о венгерских заимствованиях в закарпатских памятниках XVI–XVIII вв. // *Studia Slavica* VII. Budapest, 1961. С. 139–176.
- ЕСУМ – Етимологічний словник української мови. В 7 томах / Гол. ред. О. С. Мельничук). Т. I–V. Київ, 1982–2006.
- Ковтюк 2007 – *Ковтюк И.* Украинские заимствования в ужанском венгерском говоре. Нырдьхаза, 2007.
- Кобилянська 1987 – *Кобилянська О.* Повісті. Київ, 1987.
- Лизанец 1976 – *Лизанец П. Н.* Венгерские заимствования в украинских говорах Закарпатья. Венгерско-украинские межъязыковые связи. Будапешт, 1976.
- Маковой 1990 – *Маковой О.* Твори в двох томах. Т. 2. Київ, 1990.
- Потушняк 1973 – *Потушняк Ф.* Честь роду. Ужгород, 1973.
- Потушняк 1980 – *Потушняк Ф.* Твори. Київ, 1980.
- Рот 1973 – *Рот А. М.* Венгерско-восточнославянские языковые контакты. Будапешт, 1973.
- Станинец 1991 – *Станинець Ю.* Юра Чорний. Ужгород, 1991.
- СУ – Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. Національна Академія Наук України – Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Том 1–11. Львів, 1994–2004.
- Ткач 2007 – *Ткач Л.* Українська літературна мова на Буковині в кінці XIX – на початку XX століття. Частина 2. Джерела і соціокультурні чинники розвитку. Чернівці, 2007.
- Hollós 1996 – *Hollós A.* Az orosz szókincs magyar elemei. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 206 sz. Budapest, 1996.
- Zoltán 2006 – *Zoltán A.* Magyar szavak az ófehérorozsban. // Mártonfi Attila–Páp Kornélia–Slíz Marianna (szerk.), 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Budapest, 2006.

А. Л. Вусик (Бердянск)

Современная языковая ситуация в бывших союзных республиках

Распад СССР привел к существенным изменениям в языковой ситуации на постсоветском пространстве.

Сегодня большую актуальность приобретают социолінгвістические исследования, направленные на изучение языковых ситуаций в конкретных полиэтни-

ческих районах республики, с целью выявления тенденций и перспектив развития языков и их взаимодействия с другими языками, и в частности, с русским.

Наиболее полные перечни общественных функций языков находим в работах известного социоллингвиста Ю. Д. Дешериева, посвященных развитию языков народов бывшего СССР.

Изучению языковых ситуаций в различных регионах пространства бывшего СССР, взаимодействия национальных языков друг с другом, а также с языком межнационального общения – русским – посвящены работы Е. А. Айбабиной, А. Н. Гаркавца, А. С. Зининой, М. Михайлова, Н. М. Султановой, Н. С. Уварова, Б. Х. Хасанова, Р. И. Хашимова, Ю. А. Шмелева, М. В. Эповой и других авторов, а также недавно опубликованные монографии А. Н. Баскакова, О. Д. Насыровой, Л. Л. Аюповой, Г. А. Дырхеевой, А. Орузбаева и др. Социоллингвистический анализ функционирования языков отражен в работах крупных зарубежных ученых У. Вайнрайха, Дж. Фишмана, У. Лабова, Э. Хаугена, Дж. Эдвардса и др.

Неразработанность социоллингвистической проблематики в союзных республиках в значительной степени была обусловлена советской государственной системой, осуществлявшей жесткий контроль за лингвистической жизнью в стране. В то время умело навязанное центром скептическое отношение к социологическим вопросам языка и признание научным только структурного исследования обусловили развитие именно этого направления, а более расширенное понимание соответствующих проблем в лучшем случае получало снисходительную оценку. Также следует отметить, что взаимоотношения языков и их функциональная нагрузка в пределах одного государственного объединения напрямую связаны с социоллингвистическим понятием «языковая ситуация», которое находилось в тесной связи с текущими общественно-политическими процессами.

Особое положение русского языка в республиках СССР вытекало из концепции его роли как языка будущего коммунистического общества. Велась соответствующая работа по расширению его функциональной значимости.

Особый интерес представляет активность партийных органов на местах, в частности документ «О состоянии преподавания русского языка в общеобразовательных школах республики и мерах по его улучшению».

В республиках создаются различные комиссии по защите интересов государственного языка с нулевым финансовым фондом.

Несомненно, повышению престижа русского языка, а в дальнейшем и его распространению способствовала победа Советского Союза во второй мировой войне.

Судя по языковой ситуации в бывших союзных республиках, можно с достаточной долей уверенности говорить о том, что сегодня английский язык охватил значительную часть территории страны, в то время как русский язык сохранил свое значение лишь в оппозиционных административных единицах.

В настоящее время налицо ситуация, в которой для стран, получивших независимость в результате распада бывшей социалистической системы, преобладает тенденция к дезинтеграции, связанная с утверждением суверенитета и ростом национального самосознания, с возрождением национально-духовных начал. Особенно активно процессы дезинтеграции протекают в республиках с многочисленными и компактно расселенными национальностями и этническими группами, например, в прибалтийских республиках, Украине, Молдавии, Грузии и других странах СНГ.

Сегодня русский язык не только остается главным языком межнационального общения на всем постсоветском пространстве. На нем хорошо говорит старшее поколение и неплохо объясняется младшее во многих странах бывшего социалистического лагеря.

- Аврорин В. А.* Проблемы изучения функциональной стороны языка (к вопросу о предмете социолінгвістыкі). Л., 1975.
- Беликов В. И., Крысин Л. П.* Социолінгвістыка. М., 2000.
- Вахтин Н. Б., Головкин Е. В.* Социолінгвістыка і сацыялогія мовы. СПб, 2004.
- Виноградов В. А., Коваль А. И., Порхомовский В. Я.* Социолінгвістычная тыпалогія // Западная Африка. М., 1984.
- Звегинцев В. А.* О предмете и методе социолінгвістыкі // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Вып. 4. М., 1976.
- Звегинцев В. А.* Социальное и лингвистическое в социолінгвістыке // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Вып. 3. М., 1982.
- Крысин Л. П.* Язык в современном обществе. М., 1977.
- Крысин Л. П., Беликов В. И.* Социолінгвістыка. М., 2001.
- Мечковская Н. Б.* Социальная лингвистика. М., 1996.
- Никольский Л. Б.* Синхронная социолінгвістыка. М., 1976.
- Панов М. В.* Принципы социологического изучения русского языка // Русский язык и советское общество. Кн. 1. М., 1968.
- Панов М. В.* Социолінгвістыка // Панов М. В. Современный русский язык. Фонетика. М., 1979.
- Социальная и функциональная дифференциация литературных языков. М., 1977.
- Теоретические проблемы социальной лингвистики. М., 1981.
- Швейцер А. Д.* Современная социолінгвістыка. Теория. Проблемы. Методы. М., 1976.
- Швейцер А. Д., Никольский Л. Б.* Введение в социолінгвістыку. М., 1978.

Н. Жураўлёва, В. Патапава (Мінск)

Ці захавецца беларуская мова ў Мінску?

1. Асаблівасці моўнага ландшафту ў Беларусі. Сёння жыхароў Мінска (калі не браць пад увагу замежных грамадзян, якія жывуць у горадзе) умоўна можна падзяліць на тры няроўныя групы: (1) тыя, хто размаўляе па-руску; (2) тыя, хто размаўляе па-беларуску; (3) тыя, хто размаўляе на трасянцы, спецыфічным моўным утварэнні, якое ўяўляе сабой сумесь рускамоўных і беларускамоўных элементаў у гаворцы аднаго носьбіта мовы. Гэты стан – вынік шматгадовай моўнай палітыкі. Юрыдычныя перадумовы сённяшняга стану:

моўная палітыка Расійскай Імперыі; моўная палітыка ў Савецкім Саюзе; моўная палітыка ў першыя гады незалежнасці (Закон БССР аб мовах у Беларускай ССР, 1990 г.); моўная палітыка ў другой палове 1990-х гадоў (Рэфэрэндум, 1995 г.; Закон аб унясенні зменаў і дапаўненняў у закон 1990 году, 1998 г.).

2. Гістарычны экскурс: на якой мове размаўлялі жыхары Мінска ў розныя часы? Ужо напрыканцы XIX ст., калі з’явіліся першыя агульныя статыстычныя дадзеныя, Мінск не быў беларускамоўным горадам. Першы ўсеагульны перапіс насельніцтва Расійскай Імперыі, 1897 г., размеркаванне насельніцтва паводле роднай мовы: яўрэйская – 59%, вялікаруская – 19%, беларуская – 12%, польская – 7%, татарская – 1%, астатнія – 2%. Для параўнання: Усесаюзны перапіс насельніцтва, 1926 г., нацыянальны склад: беларусы – 42%, яўрэі – 41%, рускія – 10%, палякі – 3%, украінцы – 1%, татары – 1%, астатнія – 2%. Дадзеныя апошняга па часе перапісу насельніцтва Рэспублікі Беларусь, 2009 г., размеркаванне насельніцтва паводле роднай мовы: руская – 53%, беларуская – 35%, астатнія – 12%; размеркаванне паводле мовы, якой звычайна карыстаюцца дома: руская – 82%, беларуская – 6%, астатнія – 12%. Для параўнання: размеркаванне паводле мовы, якой звычайна карыстаюцца дома, у РБ (2009 г.): руская – 70%, беларуская – 23%, астатнія – 7%.

3. Сфера выкарыстання беларускай мовы ў сучасным Мінску.

3.1. Беларуская мова як сродак навучання (дзіцячыя садкі, пачатковыя і сярэднія школы, вуну).

3.2. Беларуская мова як мова прафесійных зносін.

3.3. Беларуская мова ў СМІ:

- мова мінскіх радыёстанцый і каналаў тэлебачання;
- мова перыядычных выданняў;
- мова рэкламных тэкстаў (вусных і пісьмовых рэкламных паведамленняў, прыватных рэкламных аб’яў).

3.4. Беларуская мова на Мінскіх вуліцах

- тапаграфія;
- грамадскі транспарт;
- шылды;
- вонкавая рэклама.

4. Вывады. Асноўная мова зносін у сучасным Мінску – руская. У значнай ступені гэта – вынік развіцця дэмаграфічнай сітуацыі і рэалізацыі моўнай палітыкі. Беларуская мова выкарыстоўваецца перыферыйна, сфера яе выкарыстання значна абмежаваная: грамадскі транспарт; т. зв. сацыяльная рэклама; тэксты, у якіх трэба выразіць нацыянальны каларыт (назвы рэстаранаў нацыянальнай кухні, сувенірных крам і пад.); зносіны паміж прадстаўнікамі некаторых прафесій (беларусісты, людзі творчых спецыяльнасцей).

Кропка, адкуль няма звароту, на нашу думку, яшчэ не пройдзена, і для беларускай мовы ў Мінску магчыма больш аптымістычная будучыня. Гэта залежыць толькі ад прыярытэтаў моўнай палітыкі.

Кры́ници́ статьистичных дадзены́х:

1. Демоскоп Weekly. Институт демографии Государственного университета – Высшей школы экономики: demoscope.ru
2. Национальный статистический комитет Республики Беларусь: belstat.gov.by
3. Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Под ред. Н. А. Тройницкого. Т. II. Общий свод по Империи результатов разработки данных Первой Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. С.-Петербург, 1905.

Г. Кубишова (Банска Быстрица)

Истоки и эволюция словацкого русофильства начиная с XIX века и до настоящего времени

Характер и формы словацкого русофильства в XIX–XX столетиях были обусловлены многими событиями политической и культурной жизни Словакии, а также произошедшими изменениями в отношениях между славянскими народами. По мнению известного словацкого общественного деятеля и писателя Св. Гурбана-Ваянского и первого президента Чехословацкой республики (1918) Т. Г. Масарика, существуют две точки зрения на взаимоотношения России и Европы: либо Россия является частью Европы, либо она находится в оппозиции к ней. Данное утверждение содержится в статье словацкого историка Д. Кудайовой: *«Именно во взаимных полемиках указанных точек зрения так называемых западников и славянофилов в 40-50-х годах XIX века, – пишет она, – прозвучали основные постулаты славянофильства...»* (Кодайова 2010: 11). Разочарование славянских народов в революции 1848–49 гг., невыполнение их требований способствовали тому, что некоторые представители этих народов переориентировались на Россию, которая, по их мнению, способна была помочь им разрешить проблемы, связанные с политической и национальной свободой. Развитие русофильских настроений после поражения революции 1848–49 гг. обосновывает и словацкий литературовед А. Попович. В его труде *«Русская литература в Словакии в 1863–1975 гг.»* (1961 г.) представлены весьма точные сведения о проявлениях русофильских настроений в Словакии: *«... часть представителей словацкой интеллигенции, – отмечает он, – находит спасение от политической жизни в отношении к Славянству как будущей мессии свободы народа; в оппозиции находилось народное русофильство и демократическая часть итуровского движения, к примеру, Я. Краль, Я. Францисци»* (там же: 15).

Русскую литературу словаки получали путем обмена со своими единомышленниками в России, при личном общении с представителями русской культуры, что подтверждают книги, обнаруженные в семьях так называемых народных русофилов. А. Попович в упомянутом труде исследовал словацко-русские литературные, культурные и языковые контакты. Они развивались наиболее

активно после оформления идеи славянской взаимности, которую пропагандировал словак Я. Коллар, уроженец местечка Мошовцы. Поводом для распространения русофильских настроений в более поздние, «матичные» годы (1863–1875), было не только родство или близость языков – русофильство выполняло своего рода «защитные функции в борьбе с немечиванием и мадьяризацией народа» (Попович 1961: 134). Как утверждает А. Попович, интерес к русскому языку проявляли главным образом шуторовцы. Л. Штур предпринял попытку объявить русский язык языком всех славян, что находит свое подтверждение в одной из глав его трактата «Славянство и мир будущего» (цит. по изданию 1993 г., с. 116). Этот трактат Л. Штур написал по-немецки (*Das Slawenthum und die Welt der Zukunft* (1853), однако впервые он был опубликован на русском языке в переводе славянофила В. Л. Ламанского в 1867 г.; во второй раз данный труд вышел в 1909 г. в Петербурге с предисловием В. Л. Ламанского и Т. Д. Флоринского в переводе В. Л. Ламанского. В Словакии в 1931 г. было осуществлено издание трактата на немецком языке и, как это ни парадоксально, – лишь в 1993 г. – на словацком.

«Русофильство шуторовского поколения стимулировалось не только политическими и идеологическими факторами, но и развитием культурных связей с образованной частью русского населения, которое приветствовало создание шуторовского языка» (Попович 1961: 15). В более поздний, «матичный», период шуторовцы намеревались даже объявить о создании общеславянской азбуки – «гражданки», так как, по их мнению, «...славянские народы должны были обратиться к азбуке как наиболее старому славянскому письму, которое возникло на основе кириллицы». Таково было мнение М. Алговер-Луборечского (M. Algöver-Luborečský, 1861 г.), который пытался доказать, что словацкий язык является самым близким языком русскому (там же: 51). Позднее эта идея была подхвачена молодым шуторовцем Микулашем Догнаны в работе «Сравнение русского и словацкого языков», опубликованной в журнале «Словенске погледы» (там же: 50).

Влияние русского языка и интерес к нему можно было наблюдать и в предыдущий период. Как пишет Швагровский (1999: 113), открыто и даже в какой-то степени демонстративно русизмы использовал еще А. Бернолак в названии своего труда «Словарь Словацкий, Чешско-Латинско-Немецко-Венгерский». Предполагалось, что этот словарь (1825–1827) должен стать нормативным учебным пособием словарного запаса (его издал каноник Юрай Палкович в Буде уже после смерти Бернолака). Вероятно, Бернолак был знаком со «Словарем академии Российской». Я. Голлы «переводил» стихи, использовал *rodstvo*, *władárstvo*. Писатели Й. Заборский, Св. Гурбан-Ваянский и Й. Шкультеты с большой симпатией относились к славянской России.

Заслуживающим внимания вкладом в изучение отношения словаков к остальным славянским народам является переписка словацких патриотов, а

также «письма», предназначенные для публикации. Среди прочих важное место занимают *«Письма из Венгрии»* Св. Г. Ваянского. В этих письмах речь идет о комментариях политического и культурного характера, касающихся славянофильства. Св. Г. Ваянский отправлял их своему личному другу, известному русскому слависту А. С. Будиловичу. Многие из писем Будилович перевел и опубликовал в *«Московских ведомостях»* в 1908 г. Составителем и автором предисловия к словацкому изданию *«Писем из Венгрии»* (1977) является Л. П. Лаптева, послесловие написал И. Кусы.

Современные проявления русофильства. Ярким примером научного интереса к русской литературе в наши дни стала личность ведущего словацкого русиста и русофила, литературоведа и критика профессора Андрея Червеняка. А. Червеняк хорошо известен в словацких и русских литературных кругах; в 2000 г. Президент Российской Федерации наградил его орденом А. С. Пушкина, а в 2002 г. Президент Словацкой Республики вручил ему орден Л. Штура. Значительного внимания заслуживает сборник, который был издан специально к его юбилею. Многие авторы этого сборника в своих статьях высоко оценивают научную деятельность А. Червеняка в области русской литературы. Им издано около 40 сборников, 10 альманахов «Нитра», 24 книги о русской литературе. Первая часть сборника под названием *«Эстетическо-антропологическая концепция литературы»* содержит статьи о новых материалах, связанных с восприятием и оценками литературы. Основные положения этого направления в исследованиях А. Червеняк сформулировал в Словакии еще четверть столетия тому назад.

Известный чешский русист, литературовед, ученый-компаративист Иво Поспишил анализирует деятельность юбиляра и его коллег – преподавателей бывшего философского факультета Университета Матая Бела в Банской Быстрице. Он высоко оценивает заслуживающую внимания деятельность ученых, словацких русистов, которые внесли свой вклад в издание сборника *«Словацкий романтизм»*, назвав его новаторским, так и *«...попытку представить литературную компаративистику, генологию, переводческую деятельность и литературную антропологию...»* (с. 89). Иво Поспишил и спустя несколько лет высказывает мнение, что данная серия сборников в плане тематики является продолжением монографии А. Червеняка: *«...они вошли в историю словацкой – и не только словацкой – славистики, но и сравнительного литературоведения и генологии»* (с. 39).

Новейшим примером не угасающего интереса к различным проявлениям словацкого русофильства на рубеже XIX–XX столетий является публикация *«Лев Николаевич Толстой в фондах Словацкой национальной библиотеки»*, презентация которой состоялась 27 октября 2010 года в Словацком институте в Москве во время открытия выставки с тем же названием. Международный выставочный проект Словацкой национальной библиотеки и издание подробно-

го каталога было поддержано Министерством культуры и туризма СР в связи со 100-летием со дня смерти Л. Н. Толстого. В качестве приложения к каталогу даны фотографии, архивные и музейные материалы, документы Словацкой национальной библиотеки. Книга и выставка были посвящены словаку Душану Маковицкому, который всей своей жизнью и деятельностью наиболее ярко доказал свое русофильство. Павел Пареничка, составляя каталог, использовал богатые архивные материалы СНБ. Он обратил внимание на восприятие творчества Толстого в Словакии, ставшего известным главным образом благодаря многолетней деятельности главного редактора журнала «Словенске погляды» Йозефа Шкултеты, который перевел и опубликовал более 25 произведений Толстого, в том числе и его лучшие романы.

П. Пареничка приводит цитату из научного труда Яна Юричка, в которой говорится о переводах произведений русского писателя в начале XX века: «...Словаки со своими 63 названиями произведений Толстого (в том числе опубликованных в периодических изданиях) занимают первое место среди славянских народов и четвертое место в мире» (с. 7). Автор текстов П. Пареничка рассказывает о драматических моментах жизни словацких врачей-толстовцев – Альберте Шкарване (1869–1926) и Душане Маковицком (1866–1923), которые восхищались творчеством и философией русского «великана»; оба в разное время посетили известного писателя в Ясной Поляне. А. Шкарван был в таком восхищении от пацифистской философии Толстого, что в 1895 г. отказался от военной службы, в результате чего был лишен диплома врача. Однако этот поступок А. Шкарвана очень заинтересовал издателя Толстого – Черткова, пригласившего в 1896 г. А. Шкарвана в Ясную Поляну, а в 1896–97 гг. он даже выполнял функции личного врача русского писателя.

П. Пареничка особо выделяет главным образом переводческую деятельность Д. Маковицкого, однако следует подчеркнуть, что больше, чем литературная деятельность, Д. Маковицкого привлекали философские и этические взгляды Толстого, которые были восприняты в католической среде Словакии с осторожностью. В разделе «*Маковицкий – личный врач, “секретарь по иностранным делам” и поверенное лицо Толстого*» довольно интересно описываются дни, проведенные Д. Маковицким в Ясной Поляне. В 1904–1910 гг. он был не только врачом и фармацевтом многочисленной семьи Толстых: он заботился о здоровье крестьян и их детей, проживающих в близлежащих деревнях. Д. Маковицкий был прекрасным документалистом жизни Толстого, внимательным свидетелем его встреч и дискуссий с многочисленными русскими и зарубежными гостями, литераторами. Позже его заметки вышли в свет под названием «*Яснополянские записки*». П. Пареничка подчеркивает их историческую ценность, причем он цитирует исследования Томаша Винклера, который в своей книге «*Трагические искания жизни. Душан Маковицкий. Жизнь и творчество в документах*» (1991) констатировал, что тот исписал «64 тетради, в общей сложности 6346 страниц на машинке».

Создатель каталога описывает последние дни Толстого, которые вместе с ним прожил его преданный словацкий друг (Толстой называл его «*святой Душан Петрович*» – такое обращение, принятое Маковицким, также является подтверждением русофильских настроений словацкого врача). В газете «*Московская правда*» (9.11.2010), где была опубликована заметка о проходящей в Словацком институте выставке, заслуги словацкого врача оцениваются следующим образом: «...*Душан Петрович Маковицкий был рядом с великим старцем до последних минут жизни. Спустя некоторое время он опубликовал записи своих разговоров с Толстым, которые долгие годы наносил на карточки, пряча в кармашках специально сшитого пиджака (Толстой категорически запрещал делать какие-либо заметки)*». К сожалению, трагическими оказались и последние дни жизни самого Душана Маковицкого, который в состоянии безнадежности покончил с собой. Вторую часть упомянутой книги составляют иллюстрации: редкие фотографии оказались в Словакии благодаря Д. Маковицкому, который привозил их туда во время своих посещений, осуществляемых по просьбе Черткова с целью распространения материалов о Толстом, а также пропаганды творчества Толстого за рубежом. В каталоге подробно изложена история фотографий, многие из них являются оригиналами и имеют большую историческую ценность. Кроме фотографий, которые находятся в собственности СНБ и на которых изображены представители разветвленного рода Толстых, данный фонд содержит также репродукции портретов писателя, титульные страницы его романов и т. п. Как пишет создатель каталога, «*этот фонд является одним из самых богатых не только в Словакии, но и в во всем мире*» (с. 14). Каталог книг, конечно же, заинтересует широкий круг читателей – и не только русофилов. Научные изыскания, активность современных словацких филологов являются доказательством не снижающегося интереса словаков к русской культуре, что способствует дальнейшему развитию взаимных контактов между славянскими народами.

Esteticko-antropologická koncepcia literatúry a prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc. Nitra, 2008.

Korešpondencia S. H. Vajanského a J. Škultétyho. Literárny archív SNK.

Laptevo^{vá} L. P. Listy z Uhorska. Martin, 1977.

Lev Nikolajevič Tolstoj vo fondoch Slovenskej národnej knižnice. Martin, 2010.

Popovič A. Ruská literatúra na Slovensku v rokoch 1863–1875. Bratislava, 1961.

Švagrovský Š. Rusizmy a cirkevnoslovakizmy v súčasnej spisovnej slovenčine // Spisovná slovenčina a jazyková kultúra. Bratislava, 1995. S. 113–117.

Кодайова Д. Россия в словацкой политике: Ваянский и Масарик // Мифы – стереотипы – образы. Восприятие России в Словакии. Bratislava; Йошкар-Ола, 2010. С. 11–29.

Н. Б. Мечковская (Минск)

**Белорусская трясанка и украинский суржик
в аспекте ареальной лингвистики
и социальной типологии языков**

1. Одиозные и живучие лингвонимы *трясанка* и *суржик* (далее Тра/Су) служат для обозначения гибридной субстандартной речи, в которой в бесконечно разных пропорциях соединяются элементы этнического (автохтонного) языка (белорусского/украинского) и импортированного русского. Принципиальное различие между Тра/Су, с одной стороны, и переходными говорами, с другой, состоит в том, что в Тра/Су отсутствует узус в пропорциях автохтонных и русскоязычных явлений: рассматриваемые субстандарты – это континуум стихийно русифицированных идиолектов, в которых пропорции автохтонных и русских черт варьируются в зависимости не только от типа языковой личности, но и от конкретных условий общения. Так, в белорусской и русской речи учителей одной школы могут в разной мере присутствовать интерферентные (ненормативные) элементы; при этом учительница NN может в школе, дома или в магазине говорить по-разному. Предпосылкой массовой интерференции является ближайшее родство языков: в Беларуси и на Украине собственно языковые барьеры в понимании (однако не в продуцировании) белорусской (или украинской), русской или смешанной речи отсутствуют.

2. Речевые явления, которые позже назовут *суржик/трясанка*, появляются со времени включения украинских/белорусских земель в состав России: на Украине – начиная от созданной Богданом Хмельницким Переяславской рады (1654), когда левобережная Украина с Киевом стала зависимой от Московского государства; в Беларуси – после I и II разделов Речи Посполитой (1772 и 1793 гг.). В наше время Су/Тра воспринимаются как речь малообразованных «простых» людей. Однако исторически Су/Тра начинались в речи тех, кто был ближе к власти, – чиновников из «местных», дворян, учителей, зажиточного мещанства. Вскоре карикатурное изображение смешанной речи попало в комические оперы и водевили (Котляревский, Квитка-Основьяненко; анонимная «Пінская шляхта» [1866–?] и др.).

3. Если в истории языковых ситуаций в XVII–XIX вв. Су/Тра развивались на субстрате этнических языков, то в XX в. онтогенетической почвой Су/Тра могут быть, помимо автохтонного языка, также русский и смешанный язык. Появление Су/Тра на русском субстрате связано с политикой украинизации/белорусизации (одно из ранних отображений такого феномена [Киев 1918 г.] см. в романе М. Алданова «Бегство» [1932]). Речь на выученном, но не вполне усвоенном белорусском/украинском языке в материально-языковом плане близка к русской речи с белорусской/украинской интерференцией, что достаточно характерно для людей, у которых материнским, а иногда и школьным языком был белорусский/украинский. Например, фразы или словосочетания, в кото-

рых русские слова произносятся по нормам белорусской фонетики (вроде *інця-рэсна, увлекацельна* [по-белорусски было бы *цікава, захапляльна*], *благодару за ўніманія* [бел. *дзякуй за ўвагу*], *палажыцельны рэзультат* [бел. *станоўчы вынік*] и т. п.), можно наблюдать как в русской речи людей с материнским белорусским языком, так и в белорусской речи людей, у которых родным языком был русский или трасянка.

4. Ареальный фактор в существовании Тра/Су имеет два измерения: собственно географическое, однако переплетенное с политической историей ареалов, и в аспекте различий между городским и сельским населением. Наиболее сильная лексическая интерференция русского языка наблюдается в речи пожилых сельских жителей с начальным образованием. В Беларуси в насыщенности русской лексикой речи информантов из двух регионов – восточного (Могилевская обл.) и западного (Витебская обл.) – обнаруживается зависимость от близости ареала к западу или востоку. Ср. процент дифференцирующих русских лексем в речи четырех информантов: Могилевская обл.: Нина К. (1926 г. р.) – 58; Людмила Ф. (1924 г. р.) – 69; Витебская обл.: Галина Д. (1932 г. р.) – 33; Антонина В. (1922 г. р.): 55. На Украине распространение смешанной речи пропорционально степени двуязычности регионов: в Левобережной и Центральной Украине, где имеет место активное и полифункциональное использование обоих языков, смешанная речь распространена шире, чем в Западной Украине, преимущественно украиноязычной, и чем в южных и восточных регионах, где в повседневной жизни преобладает русский язык.

5. Социолінгвістическі статус Тра/Су парадоксальны: это народная, но при этом квазиэтническая речь, которая, в силу отсутствия узуса, не имеет перспективы развиться в новую форму существования этнического языка. Обычно речь крестьян и простого городского люда (т. е. диалектная речь и городское просторечие) – это источники подлинно этнической речи, не затронутой школой и канцелярией. В случае с Тра/Су это не так: простой народ, не владея нормированным языком, говорит на диалектах или просторечии, этничность которых деформирована массовыми заимствованиями из языка Империи/СССР. Поэтому по отношению к Тра/Су преобладают крайне отрицательные оценки, хотя встречается и иное.

6. В истории украинского и белорусского языков начиная с XVII–XVIII вв. прослеживаются два основных и при этом разнонаправленных вектора развития. Народная речь развивается конвергентно по отношению к русскому языку: распространяется смешанная речь (Су/Тра). Противоположный вектор развития связан с литературной формой существования языков: само формирование и последующая история литературных языков – это история рукотворной дивергенции письменной речи по отношению к русскому и (в меньшей мере) к польскому языкам. Белорусский язык газеты «Наша ніва» (1906–1915) был значительно ближе к русскому, чем современный белорусский язык. На каждой ее полосе есть 10–20 слов, которые сейчас называют «русизмами» (т. е.

ошибками) и которые в годы Первого белорусского возрождения (1906–1928) и особенно политики белорусизации (1919–1928) были заменены новообразованиями, отличающимися от русских соответствий. Терминология создавалась путем полного или частичного калькирования русских и польских соответствий, иногда с контаминацией, иногда с учетом украинского опыта. Второе белорусское возрождение (с 1989 г.) стало новым этапом сознательной дивергенции литературного языка по отношению к русскому языку, но одновременно – и по отношению к трасянке. Данный процесс развивается на фоне возрастания коммуникации на русском языке. Взаимное отдаление двух форм существования одного языка (трасянки и литературного белорусского) нарастает.

7. О культуре речи и лингвистической толерантности у восточных славян в постсоветское время.

Е. Г. Микина (Донецк)

Судьба славянских заимствований в румынском языке (семантический аспект)

Румынский язык представляет особый интерес для семасиологии; историческое исследование румынской лексики сопряжено с немалыми сложностями. В отличие от других романских языков, история которых сохранила достаточное количество источников для изучения путей семантической эволюции слов, письменные памятники, которые могли бы фиксировать весь путь развития румынских лексем, отсутствуют. Семасиологическое исследование румынской лексики сложно еще и потому, что славянское влияние на Балканах беспрецедентно, оно не похоже на влияние других адстратов в истории романских языков. Иллюстрацией комплекса названных проблем являются попытки найти этимон для румынского глагола *vorbi* ‘говорить, разговаривать’, которые делятся в течение всего периода существования семасиологических исследований в румынском языкознании.

Существуют две теории происхождения *vorbi*. Первая предлагает в качестве этимона старославянское существительное *dvoriba* ‘служба в царском дворе’, а образованный от него глагол *dvorbiti* ‘служить’ румынские исследователи считают первой романизованной формой будущего румынского глагола. Второй, более давней является гипотеза о происхождении *vorbi* от латинского существительного *verbum* ‘слово’. Обе точки зрения имеют своих сторонников и противников. Предлагалась в семасиологии и идея «примирения» этих двух, казалось бы, взаимоисключающих теорий, состоящая во взаимном влиянии *dvoriba* и *verbum*. Окончательного решения этой проблемы до сих пор найти не удалось.

Поиски этимологии румынского глагола *vorbi* являются очень показательными. При полном отсутствии документальных свидетельств поэтапного раз-

вия лексемы, анализ может строиться исключительно на семантических критериях. Там, где формальные методы оказываются бессильными или неэффективными, знание законов семантических трансформаций позволяет попытаться найти верное этимологическое решение.

В докладе мы планируем рассмотреть славянскую и латинскую гипотезы происхождения *vorbi*, а также предложить свой подход в решении этой долгой проблемы в романистике.

В. О. Нечаевский (Москва)

Влияние советской армейской субкультуры на формирование польского военного жаргона (вариационный подход)

Степень вариантности национального языка зависит от исторического периода в развитии того или иного языка, а также от современной языковой ситуации. Язык можно охарактеризовать как систему, в которой допускается известная вариантность, определяемая не только структурными особенностями той или иной языковой единицы или спецификой данного уровня, но и различиями в регламентирующем действии норм в разных ареалах данного языка (Швейцер 2003: 16).

Будучи неотъемлемой и наименее регламентируемой составной частью национального языка, социальные диалекты в немалой степени подвержены влиянию со стороны иностранных языков. Это относится, главным образом, к молодёжному сленгу и другим социальным разновидностям языка, носителями которых являются, в первую очередь, представители молодёжной (например, студенческой) среды. Как часть общества, неразрывно связанная с молодёжной средой, армия поневоле подвержена тем же тенденциям, которые господствуют в обществе на том или ином историческом этапе.

В годы существования Организации Варшавского договора (1955–1991 гг.) Войско Польское находилось в тесном взаимодействии с Советской Армией (в особенности с той её частью, которая была расквартирована в ПНР и составляла так наз. «Северную группу войск»). Кроме того, значительная часть среднего и высшего командного состава Войска Польского проходила обучение в военных учебных заведениях на территории СССР. Результатом такого тесного и продолжительного сотрудничества стало проникновение в польский военный жаргон определённого количества лексических заимствований из русского языка (Głowacki 1990: 120).

Определённая часть таких заимствований попала в военный жаргон из молодёжного сленга (например, *draka* ‘скандал; драка’), однако большинство из них возникали непосредственно в военной среде. Заимствования отмечают в таких областях лексики, как наименование боевой техники и вооружения

(*goździk* ‘гвоздика’ – самоходное артиллерийское орудие – от названия самоходной гаубицы «Гвоздика», *kalasz* ‘калаш’ – автомат Калашникова, *patrony* ‘боеприпасы; патроны’), наименование военнослужащих в соответствии с их профессиональными навыками (*rozwiadczyk* ‘разведчик’ – военнослужащий разведподразделения), элементы служебной деятельности (*strojówka* ‘строёвка’ – документ, передаваемый в продовольственную службу для обеспечения подразделения питанием), повседневной жизни (*odbój* ‘свободное время’ – от *otboj* ‘команда, после которой военнослужащие отдыхают в ночное время суток’, *pokurzyć* ‘прикурить, подкурить’ – зажечь сигарету, *samowolka* ‘самоволка’ – самовольное оставление территории части) военнослужащих. Помимо лексических наблюдаются заимствования определённых реалий армейской жизни, понятных лишь в военной среде: *sprzątać rejon* ‘убирать территорию’, *apel mundurowy* ‘строевой смотр’, (*kopać dwa na dwa bez dna* ‘копать) от забора и до обеда (вид бесполезной работы)’ и др. (примеры польских жаргонизмов взяты из Jędrzejko 2002; Paślowski 2000; Ciesielski 2000).

Наряду с языковыми контактами в означенный период времени, безусловно, имели место контакты между армейскими субкультурами двух стран. Поскольку Советский Союз в этих двусторонних отношениях занимал доминирующее положение, влияние советской армейской субкультуры на польскую было более значительным и долгосрочным.

Нет никаких оснований утверждать, что неформальные иерархические отношения среди польских военнослужащих срочной службы сложились под влиянием советской армейской субкультуры, однако определённое воздействие на формирование отдельных элементов таких отношений, а также облуживающего их военного жаргона, несомненно, было оказано.

Так, например, в Польше военнослужащий срочной службы, прослуживший более половины положенного срока, переходит в привилегированную категорию «дедов» (от польского *dziad*) или «старых» (от польского *stary*). При этом в течение второй половины своей службы военнослужащий проходит через три иерархические ступени, однако *dziad* – общее наименование для этой как уже было сказано привилегированной категории срочнослужащих. (Для сравнения: в советской армии «дед» – военнослужащий срочной службы, прослуживший более полутора лет). Определённое сходство можно наблюдать также у следующих наименований категорий военнослужащих срочной службы в их неформальной иерархии: *cywil* ‘гражданский’ (военнослужащий, которому осталось служить менее 30 суток) – *гражданский* (в ВМФ – военнослужащий после опубликования приказа Министра обороны об увольнении в запас), *bazant* ‘фазан’ (студент, призванный после окончания ВУЗа и проходящий обучение в военной школе прапорщиков запаса) – *фазан* (военнослужащий срочной службы, прослуживший более года) и др.

Проникновение в польский военный жаргон лексических заимствований из русского языка неизбежно ведёт к образованию семантических дублетов, т.е.

лексических вариантов плана содержания лексемы. Так, у упоминавшихся выше жаргонизмов *kalasz*, *samowolka*, *bażant* существуют дублиеты *giwera*, *lewizna*, *spermen*. Как видно из приведённых примеров, «польские» варианты жаргонизмов либо также являются иноязычными заимствованиями (например, *giwera* от немецкого *das Gewehr* ‘винтовка, ружьё’), либо созданы по моделям польского словообразования.

Таким образом, влияние советской армейской субкультуры как доминирующей по отношению к польской армейской субкультуре привело к проникновению в польский военный жаргон русскоязычных заимствований и, как следствие, образованию в социолекте польских военнослужащих лексических вариантов.

После вывода советских (а впоследствии российских) войск из Польши и переориентации Польши с Востока на Запад количество русскоязычных заимствований в военном жаргоне неуклонно снижается, а с переходом с 1 января 2010 года на комплектование Войска Польского на контрактной основе польская армейская субкультура, а, соответственно, и военный жаргон подвергнутся неизбежным изменениям. Какая часть заимствований из отечественного военного жаргона останется в польском языке, покажет будущее.

Швейцер 2003 – *Швейцер А. Д.* Литературный английский язык в США и Англии. М., 2003.

Głowacki 1990 – *Głowacki J.* O języku żołnierzy // *Poradnik Językowy*. 1990, nr 2. S. 119–122.

Jędrzejko 2002 – *Jędrzejko M.* Koty, wicki i rezerwa: zwyczaje, obrzędy i język "fali". Warszawa, 2002.

Paślawski 2000 – *Paślawski W.* 540 Dni w armii. Kraków, 2000.

Ciesielski 2000 – *Ciesielski M.* 540 DDC – Czyli, jakie jest wojsko. Wrocław, 2000.

Г. П. Нецименко (Москва)

Функционирование русизмов в узусе современного чешского языка

1. Заимствования являются одним из наиболее очевидных документальных подтверждений межэтнического взаимодействия как опосредованного, так и непосредственного, т. е. происходящего при прямом межличностном контакте. Его следы, сохранные в языковой и культурно-исторической памяти этноса, позволяют «считывать» историю социума, выявлять, с какими этносами он соприкасался в тот или иной период своей жизни. Анализ пластов заимствованной лексики, в том числе и их диахронное сопоставление, позволяет «картографировать» языковое пространство, выделяя в нем зоны межъязыкового и межкультурного сближения или же, напротив, отдаления этносов.

2. Что касается лингвистической значимости заимствований, она состоит, помимо прочего, в том, что они служат важным резервом заполнения номинационных лакун, способствуют установлению оптимального соответствия между языковыми ресурсами и постоянно меняющимися коммуникативными по-

требностями социума. Добавим к сказанному, что заимствования несут в себе чрезвычайно ценную лингвистическую информацию о системных параметрах языка-восприемника, его адаптивном потенциале, морфонологическом, морфологическом, словообразовательном и т. д.

3. Сам факт использования заимствований говорит о том, что ни одна этническая общность и, соответственно, ни один язык не могут существовать и успешно развиваться в условиях культурно-языковой изоляции. В процессе взаимодействия языков с различной степенью длительности культурной традиции быстрее происходит их функциональное выравнивание, ускоренное формирование «культурного» слоя, пополнение номинационного фонда. И, тем не менее, именно по поводу заимствований с незапамятных времен ведутся ожесточенные споры, свидетельствующие о том, что носителям и пользователям языка-реципиента отнюдь не безразлична судьба пришельцев, вторгшихся в их языковую жизнь.

4. Чаще всего дискуссия разворачивается по следующим вопросам:

– не нарушают ли заимствования, даже при их адаптации к новым условиям, системные закономерности языка-реципиента, например, деривационные;

– какие заимствования более предпочтительны: из близкородственных языков или же языков не родственных, т. е. с иными типологическими параметрами;

– является ли оправданной политика *языкового протекционизма*, ставящая своей целью защиту родного языка от иноязычного влияния, создание «статуса благоприятствования» для активизации собственных внутриязыковых ресурсов;

– насколько оправданны и действительны ограничительные меры по регулированию притока заимствований, например, *языковые законы* и т. п.

Список проблем, нуждающихся в обсуждении, в связи с ограниченностью места представлен в усеченном виде. Подчеркнем, однако, что попытки целенаправленной селекции заимствований, регулирования их притока (а именно это является прерогативой языковых законов) не могут быть *равнообязательными* и *равноэффективными* на всем коммуникативном пространстве, обслуживаемом данным этническим языком. В этом случае целесообразно использовать предложенную нами в свое время оппозицию *регулируемое – нерегулируемое речевое поведение*, которая достаточно подробно освещается в целом ряде наших работ.

5. В подсистеме *нерегулируемого* речевого поведения (или же речевого поведения с *ослабленной* регулируемостью), к которому относится непринужденное повседневное общение, обеспечиваемое разговорным языком во всем богатстве и многообразии форм его реализации, ставить подобную задачу бессмысленно. Здесь речевое поведение является спонтанным и стихийным, какие-либо императивные предписания значения не имеют. Решающую роль играет комфортность общения, живое речевое взаимодействие, сопровождаемое зачастую интенсивной языковой интерференцией. Языковые законы могут в какой-

то мере соблюдаться лишь в подсистеме *регулируемого* речевого поведения (языковое обеспечение высших коммуникативных функций, с предпочтительным использованием литературного идиома), однако даже в этом наиболее репрезентативном виде *общеэтнического* общения повальное запрещение заимствований было бы абсурдным. Таким образом, языковые законы, очевидно, должны ставить глобальные задачи, касающиеся, например, функционального распределения языков в полиэтническом государстве. Что касается санкций в отношении конкретных заимствований, то они чаще всего не эффективны и не могут приостановить инвазию заимствований, в том числе и англицизмов. В условиях общего уменьшения авторитета кодификационной практики, снижения речевого стандарта публичной коммуникации, предписания языковых законов чаще всего *не соблюдаются*, тем более, что всегда есть возможность «отвести душу» если не в устных СМИ, так в Интернете, практически получившем статус средства массовой публичной коммуникации.

6. Проникая в чужое языковое пространство, заимствования либо адаптируются, вращая в ткань языка-реципиента, в его фонетическую, словоизменяющую и словообразовательную системы, либо, напротив, отторгаются, выходя из речевого употребления. При этом важно иметь в виду, что адаптация заимствований, как правило, осуществляется посредством наиболее продуктивных и, соответственно, наиболее перспективных языковых средств. Тем самым, заимствования в каком-то смысле служат «лакмусовой бумажкой» для выявления наиболее активных звеньев системы языка-восприемника. Причем, объектом заимствования могут становиться не только готовые номинации, но и встроены в их структуру деривационные форманты, к примеру, суффиксы и префиксы, которые в языке-реципиенте зачастую участвуют в создании новообразований. Яркий пример этого – очень продуктивный в русском языке суф. *-чик-*, широко использующийся в болгарском языке. Что касается чешского языка, то здесь его употребление ограничила конкуренция с суф. *-ник-*, вытесняющим данный формант на периферию; ср. SŠJČ: *kulometník*, ранее *kulometčik* (под влиянием русского сленга). И, тем не менее, в чешском языке лексема с суф. *-čik-* эпизодически встречаются; ср. (архив Института чешского языка): *správný bankomatčik nikdy nespí na vavřínech! Pro klienty chystáme rozšíření služeb, které může bankomat poskytnout* (Infmat 2002, interní časopis pro GE Capital Bank ČR a SR); *aparátčik* (2010, интернет); *bufetčik* (1980); *regulovčik* (1978); *atomčik* (1954; в данном случае интересен комментарий эксцерптора, сомневающегося в правильности интерпретации: *američtí atomčiči shodili vodíkovou pumu*. 1954. Ml. Fronta, X – комментарий: *válečný podněcovatel, hrozící atomovou bombou*. Rusismus? (в нашем переводе: ‘поджигатель войны, размахивающий атомной бомбой’. Русизм?). Заимствоваться могут и произносительные нормы, и интонационные модели другого языка. Так, Й. Краус упоминает об использовании в узусе чешских молодежных радиостанций (после «бархатной» революции 1989 г.) произносительных норм английского языка.

7. Адаптивная приспособляемость заимствований к новой языковой среде порождает у многих исследователей необоснованные иллюзии о том, что со временем язык-реципиент сам справится с последствиями массированного притока заимствований, в том числе и из языков с иными типологическими параметрами. Славянские языки, действительно, располагают мощным адаптивным механизмом, однако это может лишь смягчить, но не снять полностью напряжение, возникающее при несоответствии заимствования любого генезиса внутриязыковым закономерностям языка-реципиента. Появление в итоге ряда заимствованных слов комбинаторных ситуаций, не привычных для артикуляционного аппарата носителей воспринимающего языка, не только создает произносительные трудности, но и может препятствовать присоединению словоизменительных и словообразовательных формантов, способствовать возрастанию численности непроизводных, «этикеточных» слов взамен аффиксальных дериватов. Не случайно оказались безуспешными попытки унификации, «нормализации» отраслевых терминологических номенклатур, предпринимавшиеся в ЕС в начале 2000-х годов (на первом этапе предполагалась нормализация таможенной терминологии). Заимствования, пришедшие из близкородственных языков со сходными системными параметрами, легче «вживляются», более органично и быстро адаптируются.

8. Трудность разработки проблемы заимствований во многом объясняется ее комплексным и многоаспектным характером, делающим необходимым изучение языкового материала в разных ракурсах: собственно лингвистическом, социоллингвистическом, психоллингвистическом, коммуникативном, культурологическом и пр. Остановимся ниже на трех аспектах, трех составляющих данного феномена.

А. Заимствования и этническая самоидентификация: как показывает исторический опыт, попытки ассимиляции, подчинения какого-либо этноса другим чаще всего начинаются с разрушения, «демонтажа» его культурно-исторической памяти, зафиксированной в языке. Отчасти поэтому вторжение заимствований воспринимается болезненно, порождая опасения за сохранность исторических традиций, культурно-языковой идентичности.

Б. Заимствования и этническая коммуникация: выполняя важнейшую коммуникативную функцию, язык, с одной стороны, обеспечивает *внутриэтническое* общение, выступая в роли важнейшей связки, скрепляющей воедино этнос; с другой, он представляет данный этнос *во внешнем мире*. Возможно, поэтому столь большое значение придается широте коммуникативного диапазона этнического языка. Между тем, в период усиления интеграционных (глобализационных) процессов становится особенно заметно, что наиболее репрезентативные функции этнического языка постепенно переходят к языку английскому, выполняющему роль посредника между мировой цивилизацией и этнической интеллигенцией. Владение корпусом англицизмов облегчает доступ интеллектуальной элиты этноса к современным достижениям в области науки, техники,

культуры и пр., однако одновременно это осложняет *внутриэтническую* коммуникацию, создает барьеры, затрудняющие доступ к информации для основной части этноса, тем более, если она имеет сниженный уровень языковой компетенции.

В. Заимствования и политическая составляющая: формирование политической составляющей во многом определяется характером взаимоотношений с другими этносами, прагматической сменой – добровольной или вынужденной – тех или иных политических предпочтений. Немалую роль играют опасения культурно-языковой ассимиляции, этноязыкового антагонизма и пр. Известно, что в различные периоды жизни чешского социума по внешним причинам «изгоями» становились то германизмы, то русизмы. «Опале» подвергались богемизмы или же псевдобогемизмы при кодификации словацкого литературного языка, сербизмы – хорватского, болгаризмы – македонского и пр. Аналогичную подоплеку имеет устранение русизмов в целом ряде литературных языков постсоветского пространства. Список этот можно было бы продолжить. Вытесненные из литературного узуса заимствования нередко оказываются весьма живучими: «оседая» в разговорном узусе, они, будучи востребованными, постепенно возвращаются в узус литературный.

9. Ниже мы кратко остановимся на политически мотивированных изменениях, затронувших русские заимствования в чешском узусе. В развитии мирового сообщества рубеж тысячелетий во многих отношениях стал переломным. Он отмечен важными общественно-политическими и социально-экономическими преобразованиями, перспективы и возможные последствия которых пока что еще трудно предугадать, а, тем более, оценить. Особенно стремительными и болезненными они оказались для ряда стран Центральной и Юго-Восточной Европы, в которых привели к *одномоментному* слому как общественной формации, так и мировоззренческих установок. Назовем хотя бы переориентацию этих стран с социализма на капитализм, распад прежних полиэтнических государственных общностей, образование на их месте дробного и расчлененного государственного и этноязыкового ландшафта либо, напротив, мультикультурной и мультиязыковой надгосударственной структуры типа ЕС. Масштабные социально-политические и экономические изменения в бывших странах социалистического содружества повлекли за собой на рубеже 80-х и 90-х годов резкую смену не только экономической и социально-политической ориентации, но и терминологической номенклатуры. Так, если на этапе социалистического строительства приоритетную роль играли *русскоязычные* и преемственные к ним социально-политические и экономические терминосистемы, то в новейший период их сменила терминология *англоязычная*, связанная с капиталистическими взаимоотношениями. Сказанному сопутствовал соблазн целенаправленного форсирования языкового развития, направления его в нужное для социально-политического заказа русло. С этой целью предпринимались попытки скорректировать приоритеты проводимой языковой политики, установить

адекватное соотношение между политико-экономической интеграцией и языковыми процессами. При проведении подобного курса, к сожалению, не всегда «просчитываются» возможные негативные последствия прагматически ориентированного вмешательства в функционирование этнических языков, особенно в их коммуникативный диапазон. Игнорируется и то, что язык, равно как и культура представляют собой настолько тонкую и деликатную материю, что неосмотрительное обращение с ними может оказаться пагубным не только для них самих, но и привести в дальнейшем к острым внутриэтническим и межэтническим конфликтам. Так или иначе, после 1989 г. значительный пласт русизмов из официального узуса, в том числе из сферы экономической, общественно-политической и пр., по объективным причинам вышел из употребления; ср.: *разбивка плана* – *rozpis plánu*; *встречный план* – *vstřícný plan*; *переводной рубль* – *převoditelný rubl*; *хозрасчет* – *chozrasčot* (ср.: *Chozrasčotní systém hospodaření*. Rudé právo 10.02.81); *бригадный подряд* – *brigádní smlouva*. Приведем также русское новообразование тех лет *несун* и его чешский эквивалент *nenechavec* ‘тот, кто ничего не оставляет, уносит с собой’. В качестве политических реликтов сохранились *перестройка* – *perestrojka*, *гласность* – *glasnost / glasnost’* и т. д. Впрочем, многие русизмы, вытесненные из публичного узуса, «укрылись» в разговорном узусе. Это является дополнительным подтверждением того, что выстраивание общеэтнической языковой политики в отношении заимствований возможно лишь в зоне *регулируемого* речевого поведения, более подверженного целенаправленному воздействию извне. Русизмы *pětiletka*, *nástěnka*, *bleskovka*, *obezlička*, *čínovník*, *nedodělky*, *běženec*, *negramotnost*, *(počítačová) gramotnost*, *počin*, *rozvědka*, *rozvědčík*, *svodka*, *samizdat*, *čistka*, *ochranka*, *pogrom*, *prověrka*, *bezprizorný*, *ušanka* и мн. др. настолько органично вошли в чешский узус, что зачастую ныне не воспринимаются как русизмы. Их можно слышать по радио и телевидению, причем в речи как модераторов передач, так и разновозрастных гостей. Так, у наименования *встречный (план)* имеется мотивационная поддержка в чешском языке: *vstřícný* ‘доброжелательный, идущий навстречу и пр.’. У некоторых русизмов наблюдается мотивационный сдвиг; ср. *bezpártijní (Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová (dříve ODA, nyní bezpártijní)*. Metro 1998) уже не соотносится с какой-то конкретной политической партией. Расширилась валентность русизма *bezprizorný* (ср. новейшие эксцерпции из архива Института чешского языка: *bezprizorní čekání; v roli bezprizorného; bezprizorné území; bezprizorný majetek*). У некоторых из заимствованных лексем появились вторичные мотивации, укрепившие их связь с чешским языком. Таким образом, взаимодействие с русским языком раскрывает и стимулирует деривационные потенции чешского языка. Приведем в качестве примера зафиксированный нами совсем недавно русизм *věrchuška* «верхушка (политическая), элита», употребленный в комментариях к одному из блогов (2010, Интернет-портал Aktualne.cz). Некоторые замены, на наш взгляд, не вполне удачны; ср.: вместо русизма *отоповес* в чешских СМИ в 2009 г.

(*Lidové noviny*) появилось тяжеловесное *těžkooděnes*. Небезынтересно речевое поведение русских участников дискуссий к блогам. К сожалению, некоторые из них чувствуют себя настолько раскованно, а мы бы сказали и развязно, что употребляют в публичной речи жаргон и даже брань.

В заключение мы хотели бы высказать одно соображение, представляющееся нам весьма симптоматичным. Основываясь на предварительном анализе (исследование будет продолжено) довольно большого и разнообразного материала, имеющегося в нашем распоряжении, можно констатировать факт постепенного нарастания использования русизмов в чешском публичном узусе. Если еще совсем недавно приходилось слышать, что русизмы полностью вышли из употребления, что в узусе остались лишь такие обозначения как *gulag*, *laptě*, *vodka* и т. п. либо включения из криминального сленга типа *vor v zakoně, najemný ubijca* и пр., то сейчас ситуация меняется к лучшему. Немалую роль в этом играет: а) усиление влияния на формирование публичной речи нормы разговорного языка, в котором, как мы говорили выше, сохранились некоторые русизмы; б) появление новых средств массовой публичной коммуникации в виде Интернета; в) возрастание вследствие миграции притока русскоязычных слоев населения. Иными словами, уровень хотя бы пассивного владения чехами русским языком имеет тенденцию к повышению, а уровень использования русизмов – тенденцию к расширению.

Э. Ниами (Скопье)

Что пишут о македонском языке в рунете

Појавувањето на Интернетот и неговата експанзија овозможија пристап до огромно количество материјали. Корисниците на Интернетот повеќе не мораат да купуваат весници, да гледаат телевизија или да бараат информации во енциклопедии или во други материјални извори, бидејќи сето тоа го имаат во глобалната електронска мрежа на податоци.

Рускојазичната Интернет-мрежа (Рунет) нуди речиси неисцрпно количество разновидни информации од секаков тип, меѓу кои и оние што се однесуваат на македонскиот јазик, неговата историја, функционирањето, граматиката, стилистиката итн. Исто така постојат и определен број веб-страници на кои е овозможено усвојување на основните принципи и лексика на македонскиот јазик, преку мултимедијален пристап (аудио и визуелно). Во последниве неколку години се забележува и пораст на бројот на форуми, кои се занимаваат со дискусии за и околу македонскиот јазик.

Рефератов се фокусира на неколку точки:

- веродостојноста и доследноста во цитирањето на основните информации за македонскиот јазик

- степенот на запознаеност на рускојазичните корисници со македонскиот јазик
- граматичките категории што се разгледуваат и што се потенцираат во нив дискусиите на учесниците на форумите за македонскиот јазик

За оваа цел, главно, беа анализирани следниве веб-страници:

1. www.ru.wikipedia.org
2. www.dic.academic.ru
3. www.macedonian.transbest.ru
4. www.lingvisto.org
5. www.philology.ru
6. www.countries.ru
7. www.krugosvet.ru
8. www.triadna.ru
9. www.languages-study.com
10. www.community.livejournal.com/ucimemakedonski

С. Петровиќ (Београд)

Проучавање турцизама у јужнословенским језицима – 25 година после Бернштејна

У часопису *Славјанское и балканское языкознание – язык в этнокультурном аспекте* из 1984. године С. Б. Бернштејн је објавио рад под насловом «К изучению тюркизов (турцизов) в южнославянских языках» (Бернштейн 1984). У том прегледном чланука у најважнијим цртама су представљене главне области и лингвистички нивои проучавања турцизама у јужнословенским језицима, као и методолошки проблеми везани за нивову етимологизацију. Бернштејн је као најзначајнија отворена питања и поља за будућа истраживања издвојио следећа: проблем хронологије турцизама, односно раздвајање османских од предосманских, нивову идентификацију и стратификацију; утицај турског (турских) језика на нивоу граматике; адаптацију турцизама у граматичке системе појединичних језика и проблем дубине етимолошких информација које треба наводити у етимолошким истраживањима турцизама у јужнословенским језицима.

Од публикувања овог, а и неких других радова сличне тематике, обављена су значајна истраживања чији се резултати, у виду појединачних чланака, монографија и/ли речника броје десетинама, чак и стотинама јединица. Пређена је још једна, немала етапа на колективном путу сакупљања, анализе и презентације корпуса турцизама у јужнословенским језицима.

Овај рад има за циљ најпре да предочи релевантне наслове који су од објављивања Бернштејновог чланка изашли из штампе. На првом месту то су нови етимолошки речници: четири тома Бугарског етимолошког речника (БЕР), три

свеске Етимолошког речника српског језика (ЕРСЈ), два тома Етимолошког речника словеначког језика (Bezljaj 1977–2007), једнотомни Етимолошки речник словеначког језика (Snoj 2003), једнотомни Етимолошки речник хрватског језика (Gluhak 1993) и још један н ови речник турцизама (Nosić 2005). Затим, најбитније студије које дају систематски преглед стања проучености појединих области којима се и сам Бернштејн у чланку бавио (Handbuch; Hazai/Kappler 1999). Потом се у раду указује и на најзначајније лексикографске приручнике из области туркологије који су за етимологизирање турцизама од суштинске вредности (последња четири тома ЭСТЯ; Eren 1991; Tietze 2002–2009).

На послетку се даје егземпларна анализа појединих сегмената проучавања турцизама на основу овог материјала. Она има за циљ да покаже да ли су, и на који начин, нова сазнања из области дијалектологије, лексикологије и етимологије, како јужнословенских, тако и турског језика, примењена у етимолошким приручницима јужнословенских језика и у којој се мери кључне тачке савремених истраживања у овој области разликују од оних које је именовао Бернштејн пре четврт века.

БЕР – Български етимологичен речник, София, 1971–.

Бернштейн 1984 – *Бернштейн С. Б.* К изучению тюркизов (турцизов) в южнославянских языках // Славянское и балканское языкознание – язык в этнокультурном аспекте. М., 1984.

ЕРСЈ – Етимолошки речник српског језика. Београд, 2003–.

ЭСТЯ – Этимологический словарь тюркских языков. М., 1974–.

Bezljaj – *Bezljaj F.* Etimološki slovar slovenskega jezika. I–V. Ljubljana, 1977–2007.

Eren – *Eren H.* Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü. İstanbul, 1991.

Gluhak – *Gluhak A.* Hrvatski etimološki rječnik. Zagreb, 1993.

Handbuch – Handbuch der türkischen Sprachwissenschaft. Teil I. Budapest, 1990.

Hazai/Kappler 1999 – *Hazai G., Kappler M.* Der Einfluss des Türkischen in Südosteuropa //

Handbuch der Südosteuropa-Linguistik. Wiesbaden, 1999. S. 649–675.

Nosić – *Nosić M.* Rječnik posuđenica iz turskoga jezika. Rijeka, 2005.

Snoj – *Snoj M.* Slovenski etimološki slovar. Ljubljana, 2003.

Tietze – *Tietze A.* Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati I–II. İstanbul; Wien, 2002–2009.

О. С. Плотникова (Москва)

О словенско-карпатских лексико-семантических схождениях

Карпатистика как отдельная отрасль славянского языкознания прошла долгий и сложный путь накопления лингвистических данных и совершенствования методов их обработки (о этапах становления см., напр., Бернштейн 1967: 5–27, Нимчук 1984: 294–313). С момента зарождения интереса к карпатским диалектам украинского языка центральной проблемой было изучение явлений, связывающих их с южнославянскими языками. В силу уже сложившейся традиции, а позже и в свете теории карпатской миграции славян рассматривались прежде всего данные болгарского и сербскохорватского языков. «Карпатский

диалектологический атлас» (КДА) предоставил научной общественности богатый и надежный лингвогеографический материал, осмысление которого с учетом данных полесских говоров не могло не привести к расширению географии поиска истоков, причин и зон распространения так называемых южнославянизмов. Первой публикацией, посвященной словенско-карпатским тождествам, была статья немецкого ученого К. Гутшмида, в которой внушительный, но, по словам самого автора, далеко не полный список словенско-карпатоукраинских параллелей разделен на три группы: южнославянские, словенско-сербскохорватские и словенско-болгарские (Гутшмидт 1975: 205–210). Назвав словенские параллели Гутшмида поучительными, С. Б. Бернштейн подчеркнул необходимость «учитывать в полной мере данные южнославянской диалектологии» (Бернштейн 2000: 186). Однако программа «Общекарпатского диалектного атласа» (ОКДА) не предусматривала обследования территории словенского языка и прилегающих к ней областей Венгрии как латеральной зоны, не разделяющей особенностей ареала балканской языковой общности, что было лишь отчасти правомерно. Хотя словенский язык и не входит в балкано-карпатский ареал отгонного скотоводства, в нем отражен древний слой пастушеской лексики, частично возводимый этимологами к дороманскому периоду. Напр.: *сáр* «племенной козёл» (Pleteršnik 1894–1895 I: 74; Bezljaj I: 58); *сáр* (нотр.), *сáр, сáер, тep* (Истра), *сар* (корош.) «стадо овец» (Bezljaj: I, 73); исконно славянское *прĉ* < **perk-* «козёл-производитель», *прĉiti se* «процесс случки коз», *прĉевина* «козлятина», а также употребляемое и сейчас *прскати se*, а в языке 16 в. *kozopersk, kozoperĉ* – названия месяцев «сентябрь, октябрь» (Bezljaj III: 107); *birka* «овца, коза серой масти» (прекм.), *pirka* (корошск.) (Bezljaj I: 22); *stirp* «годовалый козлёнок» (Bezljaj 1967: 98); междометия: *ĉa*, определяемое SSKJ как народное, а также (белокр., шт.), *ĉo* (гор.) (Pleteršnik 1894–1895 I: 91, 107), *ĉa, ĉali* (прекм.) (Novak 1996: 31) – команда волу «направо»; *ho, houk, hop* (прекм.) – команда волу «налево» и *gyŏ* < *венг.* понукание лошадей (Novak 1996: 52). Ср. смешение команд в отдельных зонах украинских Карпат (КДА, карта №151). В словенском языке отсутствуют карпато-балканские лексемы *бач, баи* «пастух, брызгодел», но фиксируются с 16 в. наименования *баĉка, башка* «кошелек, дорожная сумка» и «сумка пастуха», с неясной, по мнению Ф. Безляя, этимологией (Bezljaj: I, 7). Уже приведенный перечень лексики свидетельствует о древних связях альпийско-паннонского региона с карпато-балканским ареалом. Ограничение южнославянских зон обследования в рамках ОКДА юго-восточным регионом на материале разнородной в тематическом, генетическом и хронологическом отношении лексики позволило продемонстрировать общность карпато-балканского ареала, сложность процессов интерференции, однако оставило в тени решение вопроса о первоначальном генетическом источнике исконно южнославянской лексики и семантических явлений в карпатоукраинских диалектах.

Полагая, что такие свойства словенского языка, как повышенная концентрация архаизмов, «устойчивость и непрерывность в развитии» (Куркина 1992: 216), изолированные лексические связи с северными славянскими и балтийскими языками (Bezljaj 1967: 123–156), позволяют предположить сохранение в словенской зоне исходного пласта лексики и семантической базы, легшей в основу лексико-семантических явлений в карпатоукраинской зоне. Во время турецкой экспансии словенцы не покидали своих территорий, поэтому формирование общих черт, роднящих словенский язык с карпатским ареалом, может быть отнесено только к древнему периоду (предположительно к середине 6 в.). Процедура определения генетического источника предусматривает не только установление общих изоглосс, но и учет степени деривационной активности и логической последовательности отдельных звеньев семантической эволюции в каждой из сопоставляемых зон. Приводимые ниже примеры иллюстрируют это положение. Карпатоукраинскому наименованию «горное пастбище выше зоны лесов» *полонина* эквивалентно только словенское *planina* «альпийские луга, высокогорное пастбище». Словенский язык не только сохраняет *plan* < прасл. **polnъ* в исконном значении, но и демонстрирует высокую степень словообразовательной активности: *plan ž*, *planja ž*, *planjava ž* «открытая ровная местность, без деревьев и кустарников» (SSKJ III: 615) и др. Южнославянские *osojen*, *osoja* < **o(b)sojъnъ*, *o(b)soja* с древней абессивной функцией префикса *o(b)-* «тенистый, теневая сторона», представленные многочисленными вариантами в функции микропонимов на всем юге Славии, характеризуются в словенском языке максимальной широтой словообразовательных связей. Помимо антонима *prisojen* «солнечный, освещенный солнцем», здесь еще присутствует *prosojen* «прозрачный» и более позднее литературное *soj* «свет, освещенность», а в 19 в. вторичные образования с префиксом *od-*: *odsojen*, *odsojnik* «тенистый, теневая сторона» (Pleteršnik 1894–1895 I: 787). В карпатоукраинских *осовня*, *Осій* и др. представлено противоположное значение. Однако при более внимательном анализе данных КДА, обнаруживается, что и здесь первичным было исконно южнославянское значение. Об этом свидетельствуют наименования урочищ, где степень освещенности – переменная величина (КДА № 1, пп. 7, 13, 30, 33), и прежде всего гуцульские приставочные образования с украинским *від-* «от-» *відосоїна*, *відосоїн'а* (КДА № 1, пп. 67–71, 89, 91, 92, 96), отражающие процесс переразложения основы и сохранения в новой корневой части исходного значения «теневого», значение же «не отбрасывающий тени, освещенный солнцем» является итогом префиксации. С гуцульской зоной словенский язык связывает целый ряд изолекс и изосем, напр., *koš* – *kiu* «корзина, плетеный кузов воза» (КДА № 173), *pod* – *niđ* «чердак, пол чердака» (КДА № 131), *grča* – *герч*, *герча* «утолщение на дереве, опухоль от удара» (КДА № 111), а также узлокальное значение лексемы *пошесть* «нечисть» в выражении *така пошэс'т' прэведла сэ* (КДА № 114, Н. Шепіт), соответствующее основному значению словенской лексемы *pošast* «страшилище, чудовище», и

поўх «зверек, похожий на белку» (КДА № 14, п.68) – словенское *polh* «соня» и др. В отдельных случаях привлечение данных словенского языка помогает уточнить этимологию лексем. Так, представленная на всей территории карпато-балканского ареала лексема *струнга/струнка* (КДА № 126), функционирующая преимущественно как пастушеский термин в двух значениях: (1) узкий проход, отверстие, через которое гонят овец на дойку (семантически близко также «проход между плетнями, домами; щель между зубами»); (2) загон для дойки, загон для больных овец и др., отсутствует в словенском языке (о этимологических версиях и географии в [Клепикова 1974: 182–199]). Общая семантическая составляющая значений (1) «свободный проход» присуща словенскому *struga* в значениях «русло реки, канал; проход в зарослях кустарника; подветренная сторона» (Pleteršnik 2: 594). Общая семантическая составляющая значений (2) «отделение части от целого» присутствует в следующих значениях словенского *strok* < прасл. **strokъ*: «зубчик чеснока, долька яблока; порода, род, тип» (Pleteršnik 1894–1895 II: 593), а также «род, племя» (Bezljaj III: 332). Взаимосвязанность (1) и (2) в пастушеской практике и артикуляционная близость в восточнославянской зоне корневой части лексем *struga*, *strokъ* обусловила «скрещивание» этих двух праславянских лексем с генетически словенским семантическим наполнением. Если наше предположение верно, то новая лексема *струнга/струнка* одновременно символизирует приход на Карпаты части альпийских славян через освободившийся коридор Моравских ворот (подробнее в докладе).

- Бернштейн 1967 – Бернштейн С. Б., Иллич-Свитыч В. М., Клепикова Г. П., Попова Т. В., Усачева В. В. Карпатский диалектологический атлас. М., 1967.
- Бернштейн 2000 – Бернштейн С. Б. Интерференция языков карпатского ареала // Из проблематики диалектологии и лингвогеографии. М., 2000.
- Гутшмидт 1975 – Гутшмидт К. К карпатоукраинско-южнославянским лексическим параллелям // Славянское и балканское языкознание. Проблемы интерференции и языковых контактов. М., 1975.
- Клепикова 1974 – Клепикова Г. П. К вопросу об изучении балкано-карпатской терминологии горного пастушества (+*strunga* и родств.) // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования 1972. М., 1974.
- Куркина 1992 – Куркина Л. В. Диалектная структура праславянского языка по данным южнославянской лексики. Ljubljana, 1992.
- Нимчук 1984 – Нимчук В. В. Карпатоукраинско-южнославянские языковые параллели и тождества (история и перспективы проблемы) // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. М., 1984.
- Bezljaj 1967 – Bezljaj F. Eseji o slovenskem jeziku. Ljubljana, 1967.
- Bezljaj – Bezljaj F. Etimološki slovar slovenskega jezika. Ljubljana, T.1, 1976; T. 3, 1982.
- Novak 1996 – Novak F., Novak V. Slovar beltinskega prekmurskega govora. Murska Sobota, 1996.
- Pleteršnik 1894–1895 – Pleteršnik M. Slovensko-nemški slovar. T. 1–2. Ljubljana, 1894–1895.
- SSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana. T. 1, 1970; T. 3, 1979.

Л. Я. Сапожникова (Харьков)

**Чай и кофе в украинской лингвокультуре:
к вопросу о культурных контактах и специфических чертах
близкородственных славянских языков**

В докладе на материале близкородственных славянских языков рассматривается вхождение в украинский узус некоторых лексем, заполнение лексико-семантических лагун; раскрывается динамика обращения языковой личности к мировому культурному пространству.

Украинский язык и культура в разные исторические периоды заимствовали определенные объекты вместе с их названиями благодаря установлению и поддержке отношений с другими странами и этносами, демонстрируя таким образом культурные признаки и достояние как языковой личности, так и нации в целом. Вследствие этого интенсивнее развиваются терминологические системы (в нашем случае – ресторанного хозяйства), заполняются лексико-семантические лагуны. Так, например, украинский язык заимствовал лексемы *лікер*, *сироп* (из франц.); *чай*, *чай байховий* (из кит.); *шафран*, *кава* (из араб.), *кориандр*, *ароматизація*, *перець* (из греч.); *петрушка* (из польск.) и др. и адаптировал их к собственным нормам. Этому процессу способствовали языки-доноры и языки-посредники. Среди них особое место занимает русский в связи с тесными межъязыковыми контактами, о которых в научных исследованиях, посвященных славянским языкам, писал С. Б. Бернштейн.

Лексема *кава* (рус. *кофе*) в укр. яз. была заимствована из арабского языка через турецкий и польский, а номинативную единицу *чай* – из китайского через русский. В указанных названиях и их производных произошли грамматические изменения, в результате чего они гармонично пополнили ресурсы украинского языка. Вхождение в узус таких единиц имел собственную историю. Например, лексемы *кава/кофе* вошли в литературные языки в результате стяжения формальных номинативных вариантов (*кофе*, *кохве*, *кофий*, *кафа*), общих для близкородственных русского и украинского языков. Этот процесс носил стихийный характер и происходил на протяжении XVII–XIX ст. Очевидно, что украинская лексема восходит к арабскому первоисточнику *kahva/gahwa* (тот, что препятствует бездеятельности – авт.), а русская – этимологически связана с названием провинции *Каффа* в Эфиопии. Во многих славянских языках также функционируют лексемы *кава/кофе*, адаптированные к нормам собственной системы: *kawa* (польск.), *káva* (чешск., словац.), *кава* (белор.), *кафе* (болг.), *кафа* (серб.), *kava* (слов.), что свидетельствует о приобретении ими статуса интернационализма в результате взаимовлияния, интенсивной межкультурной коммуникации.

Исследуемые единицы (*кофе*, *чай*) адаптировались к нормам украинского языка, вступили в родо-видовые отношения и образовали новые понятия, среди

которых лингвокультураемы чаювания (*чаепитие*) и кавування (в значении *пить кофе*, разг. *кофейничать*), которые являют собой многоуровневую знаковую систему и представлены в семиотике пословиц, поговорок, фразеологизмов, народных песен, в произведениях художественной литературы, живописи и т. п.

В Слободской Украине нами была записана шутильная песня о чае, датированная, вероятно, концом XVIII – началом XIX ст.: «*Как заставил меня барин Ох и чаю наварить, А я сроду не видал, Как проклятый чай сварить. Луку, перцу и петрушки, Меду с мятой положил. Ух, чай, ты мой чай, Наворачивай – качай*». Содержание передает негативное отношение к чаю и чаепитию, так как в народном сознании – это непонятное и греховное дело. Доказательством этого эпитет при слове *чай: проклятый*, а также составные рецептуры, представленные лексемами *лук, перец, петрушка, мед, мята*, что создает эффект комизма ситуации, направленной на высмеивание новой кулинарной моды. Напомним, что традиционно в украинской древней кухне пили узвары, отвары из целебных трав. Следовательно, первоначально лексема *чай* актуализирует ментальную связь с концептами *осуждение, ирония*.

Также нами была зафиксирована во время полевых исследований паремия *чай проклят на трех соборах, а кофе – на семи*, что передает лингвокультурологическую информацию, в основу которой положено понимание чаепития, употребления кофе как символа греха. Это представление наших предков связано с реакцией церкви на потребление нетрадиционных напитков, которые, по мнению священнослужителей, могут привести к лишним расходам и стремлению к роскоши.

Благотворное влияние межъязыковых и культурных контактов со славянскими народами (прежде всего русским, польским, чешским) способствовало тому, что с XIX ст. этикет чаепития и употребления кофе в украинской общности начал приобретать свои традиционные черты. Были заимствованы лексемы, функционирующие в этих лингвокультурологических полях: *самовар, подстаканник, кофейня, цукерня* (кафе-кондитерская), *филижанка* (чашка для кофе) и др. В частности, *самовар* номинирует прецедентный предмет русской национальной культуры и обязан своим появлением чаю и чаепитию, который затем получил статус символа *домашнего уюта, тепла, степенного разговора, семейного общения*.

Феномен потребления кофе и чая представлен также прецедентными текстами со словесными формулами *на чай, на каву* (приглашение на чаепитие или просто в гости); *дякуємо за чай, за каву* (благодарность, которая сопровождает общение или звучит в конце застолья), *попити* или *посьорбати чай (каву)*.

Адаптация реалем *чай, кава*, лингвокультурем *чаювання та кавування* сопровождалась гаммой концептов, а именно: от *недоступность, ирония, отрицание к одобрению, дружеская беседа, общение, благополучие, утонченный вкус, место встречи, способ проведения времени, гостеприимство, часть приема пищи, социальный статус*. Последние концепты принадлежат к оценоч-

ной лексике в содержании потребления напитков и являются культурно значимыми в структуре современной украинской языковой картины мира.

Со временем ментальность украинцев начала проявляться через такие формы родного языка: *сімейний чай (сімейна кава)*, *дружній чай (дружня кава)*, *чай (кава) удвох, ділова кава (діловий чай)*; *етикет чаювання (етикет кавування)*; *способи заварювання чаю (способи приготування кави)*; *сервування чайного (кавового) столу*, которые отражают культурную характеристику языковой личности и приобретения нации в целом.

Рассмотренная нами концептуально-реальная связь менее всего семиотически соотносится с традиционным этническим ритуалом (в отличие от *китайской, японской, английской, русской чайной церемоний*; мировыми традициями приготовления и потребления кофе: *кофе по-восточному, кофе по-венски, кофе по-турецки* и тому подобное). Украинцы унаследовали мировые традиции чаепития и употребления кофе, которые сформировались в процессе межкультурной коммуникации и обрели своеобразную лингвальную объективацию, демонстрируя динамику обращения языковой личности к мировому культурному пространству. Наша работа является фрагментом в контексте исследования отдельных вопросов, связанных с лингвокультурологической проблематикой, близостью и контактами славянских этносов.

Иван Форгач (Будапешт)

Языковое представление иностранца (как говорящего на данном национальном языке) в кинофильмах Восточной Европы

Одной из интересных творческих задач современной кинематографии является достоверное языковое изображение персонажей, говорящих по сюжету на иностранном языке. Авторы все чаще сталкиваются с этой проблемой, так как снимается все больше фильмов с межнациональным сюжетом, причем совместного производства. В последние десятилетия появление национальных кинематографий, широкий международный прокат, а в основном реалистический характер кино требует все более точного языкового решения этой задачи.

Когда-то кинематографисты не уделяли особого внимания вопросу. Языковая характеристика иностранных персонажей, говорящих на родном языке «домашнего» по сюжету народа, в основном решалась фонетическими средствами. Иностранцев обычно играли домашние актеры. Применялись общие патентные акценты и языковые ошибки, в которых не отразилась национальная специфика иностранной речи. Например, в старых венгерских фильмах иностранных персонажей, говорящих по-венгерски, будь они англичане, немцы или русские, характеризует одинаковая неспособность произношения неко-

торых специфических гласных, а на морфологическом уровне – путаница в использовании аффиксов.

С тех пор, как стало возможным приглашать на такие роли иностранных актеров из соответствующей страны, проблемы специфического фонетического изображения исчезли. Относительно легко можно с такими актерами передать и морфологические свойства «ошибочной» речи разных народов.

В последние десятилетия настоящей творческой проблемой стали практически лишь те случаи, когда иностранные персонажи играют важную роль в действии и открывают не просто свою «иностранность», а одновременно на языковом уровне передают и тонкие эмоции, глубокие мысли.

Для иллюстрации таких случаев с разной драматургической целью приводятся четыре примера:

1. Герой отлично владеет другим языком, чем скрывает свое иностранное происхождение, но он постепенно разоблачается. Советская кинозвезда Татьяна Самойлова в венгерской картине «Альба Регия» (1960) играет советскую радистку, переброшенную на венгерскую территорию. Актриса произносит венгерский текст с минимальным акцентом. В сюжете это оправдывается тем, что она выдает себя за девушку из Трансильвании. (Ее акцент явно русский, но это мало мешает достоверности.) Она знакомится с местным врачом. Они влюбляются друг в друга, и по драматургии она разоблачается перед врачом. Она делает синтаксическую ошибку, произносит понятное, но неиспользуемое венгерское словосочетание.

2. Влюбленные из разных стран, один из них говорит на языке другого, и со своим старанием говорить на нем выражает свою любовь. В польской картине «Малая Москва» (2009) русская героиня влюбляется в поляка и готова с ним говорить по-польски, что дает особое ударение любви, так как по концепции фильма русские не готовы говорить на других славянских языках. Это любовный жест, и поэтому девушке именно со своим акцентом и русизмами удастся особенно впечатлительно и тонко передать свои эмоции.

3. Герой вынужден говорить на другом славянском языке. В фильме Анджея Вайды «Катень» советский офицер хочет помочь жене польского офицера в выяснении судьбы ее мужа. Женщина общается с ним на русском. Она все понимает, но отнюдь не старается к правильно говорить по-русски, подчеркивая, что это для нее иностранный язык. Она говорит рапсодически, с непоследовательными ошибками.

4. Герой вливается в иностранную для него среду, где на другом языке полностью вскрывает свой внутренний мир, свои эмоции, мысли, которые очень важны в произведении. Герой классики болгарского кино «Похититель персиков» – сербский военнопленный, влюбляющийся в молодую жену болгарского генерала. В начале фильма еще подчеркивается языковыми средствами, что он серб. Однако в развязке любви он все более раскрывает перед женщиной свою личность, и его тонкое мышление играет важную роль в духовности фильма.

Параллельно с этим раскрытием постепенно исчезают его сербизмы, они появляются все реже и ограничиваются не совсем точным использованием прошедших времен болгарского языка и особенностями словоупотребления, когда с разными оттенками значения используются одинаковые по форме сербские и болгарские слова. Этим отмечается временами, что он иностранец, но в основном он к концу фильма уже выражает себя на богатом болгарском литературном языке.

М. И. Хазанова (Москва)

Некоторые особенности украинского языка в Интернете: проблема вежливости

В последнее время проблема вежливости привлекает пристальное внимание лингвистов во всем мире. Как центральная проблема вежливость исследуется у П. Браун и С. Левинсона (1987), как периферийная – у В. И. Карасика (1992), Л. П. Крысина (2000), Р. Лакофф (2000), П. Грайса (1975) и др. В своем анализе мы будем опираться на работу Браун и Левинсона. Согласно их концепции, вежливость в языке имеет несколько уровней реализации (позитивный и негативный) в зависимости от таких параметров коммуникации, как симметрия/асимметрия в статусе коммуникантов, их взаимоотношения, цель коммуникации. По Браун и Левинсону, всякий коммуникативный акт происходит потому, что говорящий преследует некоторую цель (помощь собеседника, сочувствие, участие, внимание и т. д.). В зависимости от того, насколько цели говорящего вступают в противоречие со свободой адресата (посягают на его интересы), говорящий прибегает к позитивной (если посягательство на свободу адресата сравнительно невелико) или к негативной (посягательство на свободу адресата велико) вежливости. Необходимо заметить, что Браун и Левинсон отказываются от традиционного подхода к вежливости. Вежливость в традиционном смысле – это негативный уровень реализации в концепции Браун и Левинсона, в то время как позитивный уровень приближается к фамильярному общению (так как указывает на общность говорящего и адресата – внутригрупповое единство, общность в статусе и/или интересах и под.).

Несмотря на внимание, уделяемое исследователями проблеме вежливости, мы полагаем, что аспект вежливости в компьютерно опосредованной коммуникации еще недостаточно изучен. При исследовании вежливости в Интернете необходим учет специфики функционирования языка в Интернете в целом. Специфика компьютерно опосредованной коммуникации связана с промежуточным статусом Интернета: его нельзя полностью отнести ни к сфере СМИ, ни к живому общению. Таким образом, Интернет представляет собой особое коммуникативное пространство, со своей нормой, со своими правилами, со своей (чрезвычайно широкой) аудиторией. Особую важность для нашего исследования имеет тот факт, что Интернет нивелирует традиционную иерархию, пред-

ставленню в «реальному» общенні, отчасти заміняє її новою. Наприклад, на Інтернет-форумі ієрархія виглядає наступним чином:

- адміністратор
- модератор
- користувач

Вероятно, применительно к некоторым форумам в последней группе можно выделить пользователей давних и постоянных, с одной стороны, и новичков – с другой. Но в нашем случае такое разделение не оправдано.

Для успешного исследования вежливости в Интернете необходимо учитывать также и специфику языка, на котором происходит общение. Языковая ситуация в современном Украинском государстве сложная, язык стремительно меняется, в том числе его стилевая дифференциация, состав говорящих, их количество, повышается престиж украинского языка, он проникает во все сферы человеческой деятельности. Такие языковые изменения безусловно влияют на Интернет: в украинском языке появляется пласт, способный обслуживать компьютерно опосредованную коммуникацию.

Мы проанализировали общение на форуме <http://linux.org.ua/>, посвященном ОС Linux. Пользователи этой операционной системы задают технические вопросы и просят помощи у более опытных пользователей. Это значит, что коммуниканты не только равны между собой статусно, но и объединены общим интересом. Очевидно, что при такой близости коммуникантов они используют те особенности языка данной группы, которые отличают их от других групп. Проанализируем следующий отрывок из диалога пользователей:

[1: Я попереджав, я просив, я принижувався. Все марно... Користувачі цього дистрибутива ні на що не здатні.

2: На що Ви натякаєте?

1: Ні на що. Повідомлення з цього запису про ваду надходили до списку листування користувачів. 0 реакції. Я писав про це у повідомленні про випуск дистрибутива. 0 реакції. Які можемо зробити висновки?

3: На все є причини. Мені простіше виправити переклад ніж налаштувати відео-драйвер. Альтернатива теж не ідеальна. *Жокея* нема. Користувачам доводиться обирати між гарантованою нестабільністю і застарілими версіями програм. Просто сформувалася така мода ляяти *убунту*, по енергії ляяти попсу. Це претензія на елітарність, на поділ *тру* і не *тру*. Спочатку *нетру* це *віндузятники*, потім уже з'являються не *тру* серед *лінуксодів*, ті, хто користується не *тру Убунтою*. А потім ще дужче, з'являються *тру віконні середовища*. Це я думаю властиво для субкультур для поглибленого розшарування уже всередині спільноти.]

(Курсив наш, орфографія оригінала збережена.)

В терминах Браун и Левинсона это пример позитивной вежливости. Необходимо отметить несколько ключевых моментов: во-первых, общение идет на строго заданную тему. Поскольку говорящий понимает, что его статус равен статусу других участников, он пренебрегает особыми контактоустанавливающими средствами (обращением, извинением и под.), он экономит свои речевые

усилия. Во-вторых, общение «на Вы». Для украинского Интернета подчеркнутое «выканье» все более характерно (что отличает его от, скажем, Интернета русского). Таким образом, говорящий преследует свою цель, но не решается на явную демонстрацию «силы», чтобы скорее и эффективнее добиться своего. Таким же примером позитивной вежливости является использование (выделено курсивом) общезыкового сленга и профессионального жаргона. Это подчеркивает общность людей, устанавливает фамильярные отношения. Еще стоит отметить, что активное участие модератора в общении также проходит в рамках позитивной вежливости. Мы полагаем, причина этого в тематике общения: поскольку не требуется проявление «власти», которой облечен модератор, для регуляции общения (удалить/редактировать сообщение, запретить пользователю общение за нарушение правил форума), то он ничем не отличается от любого другого пользователя.

Такой диалог:

[1: Тоді зробити балачки невидимими для анонімусів.

2: А сенс? Не хочете – не читайте. Балачки – не показник престижу ресурсу.] – показывает, что, когда модератор (2) исполняет свою функцию цензора и редактора темы форума, тональность его общения меняется. Такое общение Браун и Левинсон называют явным несмягченным (*bald on record*) и подобные стратегии считают уместными для говорящего – высшего по статусу.

Негативная вежливость встречается там, где идет общение с модераторами и администраторами именно в вопросах их властных полномочий:

[1: Наскільки я розумію, система банів призначена для захисту членів спільноти\форуму від "невиправних іномовців та явних вандалів". На мою думку – не дуже є кого захищати (старпери не рахуються), і я не дуже розумію чому будь-які пропозиції помякшити бан сприймаються так хоробливо. *Ваш форум – ваші й правила, це зрозуміло. Я ж лише кажу як воно виглядає зі сторони. А виглядає так ніби є намагання збудувати певну ідеальну спільноту без її (спільноти) участі.*]

В вышеприведенном высказывании, критикующем поведение модераторов и администраторов, мы наблюдаем некоторое смягчение этой критики (курсив наш).

В заключение необходимо отметить, что в реальном общении на форуме предложенное Браун и Левинсоном разделение стратегий – редкость, более часты случаи смешанных высказываний, содержащих в себе как позитивную, так и негативную вежливость.

Brown P., Levinson S. Politeness: some universals in language usage. Cambridge university press, 1987.

Карасик В. И. Язык социального статуса. М., 1992.

Крысин Л. П. О некоторых изменениях в русском языке конца XX века // Исследования по славянским языкам. № 5. Сеул, 2000. С. 63–91. <http://www.philology.ru/linguistics2/krysin-00.htm> [12.10.2010].

Лакофф Робин. Язык и место женщины // Гендерные исследования. № 5. Харьков, 2000. С. 241–254.

Grice P. Logic and conversation // Cole, P. and Morgan, J. (eds.) Syntax and semantics. Vol. 3. New York, 1975.

Е. Р. Чмыр (Киев)

Болгарский язык в процессах коренизации 20–30-х гг. XX в. в Украине

Важными составляющими политики коренизации, осуществлявшейся в СССР после XII съезда ВКП(б) (1923 г.), были организация обучения, издание газет и журналов, популярной и художественной литературы на национальных языках.

В многонациональной Украине (национальные меньшинства составляли около 20% населения) наряду с украинизацией разворачивается работа по обеспечению культурно-языковых потребностей некоренных этносов. Болгары являлись одной из больших этнических групп в южных районах республики (Приазовье, Одесская область). По сведениям Н. С. Державина, на начало XX в. только 0,1% болгар, живущих на юге России, умели читать и писать на родном языке.

Коренизация дала мощный импульс процессам национально-культурного возрождения болгар южных областей Украины. К середине 20-х годов были созданы национальные административно-территориальные образования (район, сельсоветы), сеть учебных заведений, начато издание учебников, книг, газет и журналов на болгарском языке. В 1931 г. в Харькове было создано Государственное издательство национальных меньшинств с большой болгарской редакцией. На основании архивных материалов в докладе представлена динамика образовательных и издательских процессов.

При реализации политики коренизации среди болгар Украины возник ряд вопросов, связанных с языком. Прежде всего это были вопросы выбора/разработки языковых норм и их кодификации. В обсуждении этих вопросов участвовали как советские ученые (Н. С. Державин, С. Б. Бернштейн, Д. П. Дринов, Л. А. Булаховский), так и представители болгарской политической эмиграции (Г. Бакалов, К. Величков). В докладе рассматриваются материалы совещаний в НКПросе УССР, публикации в прессе по вопросам реформы болгарского правописания.

Активно участвовал в работе по реформе болгарского правописания, подготовке школьных учебников воспитанник Киевского университета Делчо Дринов (1893–1936). В научном и методическом наследии этого ученого нашли отражение сложные процессы, происходившие в советском языкознании в 20–30-е годы XX в.

В 1934–1938 гг. кафедрой болгарского языка и литературы в Одесском пединституте заведовал С. Б. Бернштейн. В 1937 г. как приложение к учебнику Д. П. Дринова «Българска граматика за средното училище» была опубликована работа С. Б. Бернштейна «Развитието на българския литературен език», в которой кратко характеризуются болгарские говоры Украины и Крыма.

В конце 30-х гг. политика коренизации сворачивается, резко ограничиваются сферы функционирования болгарского языка в Украине, многие активные участники национально-культурного возрождения были репрессированы.

И. Е. Адельгейм (Москва)

**«Сделано в Польше». Посведневность в молодой польской прозе
начала XXI в.**

1. Ожидания критики, потребности читателя и литературная продукция молодых авторов в 1990-е годы. Немногочисленность обращений непосредственно к новым реалиям. Проникновение жизни новой Польши в молодую прозу почти исключительно через предметный мир и описание маргинальной действительности (А. Стасюк, И. Филипьяк).

2. Полноценное описание нового быта и нового сознания как главная потребность и задача следующего поколения. Обращение двадцати-тридцатилетних писателей 2000-х годов к человеческим судьбам, разворачивающимся в интерьере новых реалий, а также к «официальной» стороне жизни, ее внешним по отношению к человеку обстоятельствам, в которых он принужден жить и которые должен осознать.

3. Главный опыт поколений писателей, родившихся в 1970–80-е годы – стремительно пройденная граница между двумя системами. Значительно больший, по сравнению с предшественниками, катастрофизм молодой прозы 2000-х годов. «Негативное повествование». Описание современной Польши как общества потребления (С. Схуты). «Капиталистический реализм», новый производственный роман – изображение повседневности прежде всего работников крупных корпораций (С. Схуты, М. Дзидо, М. Витковский, Д. Беньковский, А. Качановский и др.). Бытописательская проза, посвященная будням спальных районов или провинции (С. Схуты, Д. Одийя, М. Кохан, Р. Осташевский и др.). Ностальгия по ПНР-овскому детству, новая проза инициации (знакомство с материальными воплощениями мифического Запада как инициация – проза Й. Виленговской, Е. Франчака, Л. Орбитовского, П. Червиньского, М. Витковского).

4. Введение в реалистическое, а то и бытописательское порой повествование мистики и фантазмагии (З. Милошевский, М. Сеневиц, М. Нахач, М. Витковский, Т. Пёнтек, Сл. Схуты, М. Цегельский).

5. Опыт «стенографирования» речи своего поколения. Фиксация значимого последствия пережитого слома – изменения культурного языка, иерархии составляющих его представлений, смену способов выражения переживаний, их структуры. Изображение «коллажеподобности» современного сознания. Язык как одна из важнейших реалий новой действительности.

А. А. Александрова (Бердянск)

Историческая проза В. Будзыновского: временные измерения сюжета

Целостность художественного произведения является сложно упорядоченной динамической системой, в которой весомое значение в конструировании и восприятии литературной действительности предоставляется временным связкам. Наиболее полный анализ художественного времени и пространства имеем в работах Д. С. Лихачева и М. М. Бахтина. Так, последний перенес термин «хронотоп» из теории относительности Эйнштейна в художественную плоскость и использовал в значении формально-смысловой категории литературы.

Хронотоп имеет определенную структуру: на его основе выделяются сюжетно-образующие мотивы – встреча, расставание, поиск, побег и тому подобное. Кроме того, он позволяет построить определенную типологию пространственно-временных характеристик, присущих тематическим жанрам: различаются, например, идиллический хронотоп, который характеризуется единством места, ритмичной цикличностью времени, и авантюрный хронотоп с его широким пространственным фоном и временем «случая».

Художественный хронотоп, не разрывая связь с объективными временем и пространством, владеет важными эстетическими качествами: пластичностью, подвижностью, разнообразием форм. В таком единстве объективного и субъективного, материального и идеального, реального и фантастического состоит обобщающая функция хронотопа, его специфика как эстетической категории. Выполняя задачи, которые выходят за пределы структурообразования, – усиление эстетической сути произведения, углубление типизации, концентрация внимания на главной идее произведения, выражение ее языком пространственно-временных символов, – хронотоп является содержательным компонентом художественного произведения. Изменение хронотопа иногда ведет к изменению всей системы художественных средств. Справедливой является мысль Д. С. Лихачева о том, что «художественное время, в отличие от времени объективного данного, использует разнообразие субъективного восприятия времени. Ощущение времени у человека, как известно, очень субъективное. Оно может “тянуться” и может “бежать”. Миг может “остановиться”, а продолжительный период “пролететь”. Художественное произведение делает это субъективное восприятие времени одной из форм изображения действительности» (Денисюк 2006: 492–493).

Опираясь на это высказывание и учитывая то, что художественное время является важным компонентом поэтики исторической прозы известного в начале XX столетия украинского беллетриста Вячеслава Будзыновського (1868–1935), попробуем выяснить специфику художественного времени. Основным нарративом, который отцентрировывает мотивы эпика, является приключенче-

ский. Из него ведут начало основные сюжетные структуры художественной прозы В. Будзыновского: путешествие, любовь к девушке и ее спасение, мотив воспитания, линии интриги и тайны, опасности и заключения в плен героя.

Движение персонажей в пространстве непосредственно связано с течением времени. Художественное время имеет системный характер, представляет собой «способ организации эстетической реальности произведения, его внутреннего мира и вместе с тем образ, связанный с воплощением авторской концепции, с отображением именно его картины мира» (Лихачев 1987: 122). Вообще в исторических повестях В. Будзыновского, как и в произведениях Б. Лепкого, И. Филипчика, А. Чайковского, Г. Старицкого, А. Кашенко и других, наблюдается одновременное существование нескольких семантических типов времени: авантюрного, бытового, биографического, исторического и т. п. В исторической прозе В. Будзыновского, как и И. Филипчика (повесть «Кульчицкий – герой Вень»), «не хронотоп обслуживает сюжетные линии определенных персонажей, а персонажи и динамика их жизни в художественном мире работают на хронотоп произведений, который, в свою очередь, означает... «дух эпохи» и исторический колорит» (Николина 2003: 19).

В экспозициях повестей «Осаул Подкова», «Гремит», «Не будь зверем», «Мертвец – ходит» важным фактором исторического колорита является бытовой хронотоп. Этот хронотоп готовит читателя к восприятию исторических событий, фигур (реальных или выдуманных), их социального статуса, бытовых условий, настроений и т. п. В данном случае бытовое время совпадает с фабульным и предопределяет кульминационные события.

Таким образом, авантюрное время является определяющим для исторической прозы В. Будзыновского, состоит из ряда коротких сегментов, которые соответствуют отдельным приключениям. В приключенческих произведениях писателя наблюдается внешняя организация времени: персонажам важно успеть убежать, догнать, опередить, встретиться, избежать и т. п. Поэтому и человек в исторической эпике писателя чаще всего публичен, он большей частью находится не в замкнутом помещении наедине со своими мыслями и проблемами, а в открытом пространстве – в степи, в лесу, в море и т. п. Отдельное место в повестях В. Будзыновского занимают мотивы заключения, плена, преследования героев. Сюжетная разработка этих мотивов невозможна без пространственной основы.

Плотность времени в исторических повестях прозаика очень низкая, писатель старается охватить по возможности большие пласты времени, поэтому художественной доминантой его произведений становится не столько герои с его эмоциями, переживаниями, чувствами, что требовало бы замедления сюжетного времени, сколько время и пространство фабулы, внешнего исторического действия, которое активизирует главных героев.

Художественной темпоральности произведений отвечает присущий именно В. Будзыновскому определенный темпоритм. Важным компонентом это-

го темпоритма является течение исторического времени, эпоха, которая переосмысливается прозаиком. Временной континуум связан с историософскими взглядами писателя: всестороннее воспроизведение в художественно-беллетристической форме времен казачества, изображение героической борьбы украинского народа за свободу, независимость, за сохранение веры, национальной культуры, традиций и обычаев. Отображая события XVI–XVIII столетий, автор в исторической эпике («Гримит», «Осаул Подкова», «Приключения запорожских скитальцев», «Под одну булаву» и др.) подал не только выдающихся личностей, а и выдуманных – обычных запорожских воинов, которые отстаивают право жить и работать на свободной земле. Таким образом, особенность мироощущения прозаика состоит во введении личного времени героя в широкий темпорально-пространственный контекст.

В произведениях В. Будзыновського хронотоп является отражением общих философских представлений автора об изображаемой им эпохе казачества и представляет ее проекцию в масштабы вечности. Это единство конкретно-событийного и ассоциативного континуумов, в которые входят хронотопы порога, дороги, встречи, бытовых и личных реалий.

Денисюк 2006 – Денисюк Б. Исторична проза І.Філіпчика: проблематика і поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10. 01. 01 «Українська література». Київ, 2006.

Лихачев 1987 – Лихачев Д. С. Избранные работы в трех томах. Т. 1. Л., 1987.

Николина 2003 – Николина Т. А. Филологический анализ текста (учебное пособие для студентов). М., 2003.

Т. Е. Аникина (Санкт-Петербург)

Язык и литература: кто ведущий и кто ведомый

Писатель, создавая литературное произведение, невольно отбирает те средства, в данном случае слова, общенародного языка, которые позволяют ему наиболее полно выразить свою мысль, осуществить художественную задачу. Однако, подчас мы сталкиваемся с фактом, когда «язык диктует», т. е. семантическая модель концептуального слова, имплицированного в тексте, «заставляет» писателя определенным образом строить литературное произведение: сюжет, образы героев, наделять персонажи теми чертами, которые «диктует» слово.

Одним из примеров может служить образ праведника в творчестве А. И. Солженицына. Понятия, скрытые в памяти слова, в его этимологическом значении, реализуются в художественном целом повестей «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор». Писатель наделяет своих героев-праведников именно теми чертами, которые стоят за понятиями, скрытыми в этимоне слова. Герои А. И. Солженицына невинны, сильны, деятельны, они стоят впереди других людей и облечены моральным правом превосходства. Таким образом, язык об-

рисовывает праведника своим способом, литература – своим. Общенародный язык и национальная литература отражают картину мира народа каждый по-своему.

Образ праведника (бессребренника) – один из важнейших образов русской литературы. Бессребреник характеризуется через отрицание – «безъ сребролюбія – безкорыстникъ», т. е. «не корыстный». Семантическая структура концептуального слова, выраженного имплицитно в «Хоре и Калиныче» И. С. Тургенева, «Матренином дворе» А. И. Солженицына, в произведениях современных писателей, повторяется в линейном построении художественного целого. Писатели, создающие образы бессребреников, как правило, используют отрицания. («хозяйство... содержать не может», «без него Полутыкин шагу ступить не может», «а детей и не бывало вовсе», «Калиныч не любил рассуждать и все-му верил свято» (Тургенев); «Ефим ее не любил... не имела... не гналась за обзаводом... не выбивалась, чтобы купить вещи... не гналась за нарядами... не понятая, брошенная... не стоит село без праведника» (Солженицын); «Но здесь у нее близких родственников и друзей никого не осталось», «Маленькую дочурку оставить было не с кем, детского сада в деревне не было», «Устроиться тогда было негде», «В колхоз она не пошла – не хотела сдавать паспорт» (Аникин).

В романе чешской писательницы М. Пуймановой «Игра с огнем» семантика заглавия определяет построение сюжета. Каждая сюжетная линия реализует одно из значений слова «игра». Так история капиталиста Казмара связана со значением карточной игры, а любовь актрисы Власты Тихой и Стани со значением театральной игры, наигранности.

В рассказе С. Д. Довлатова «Виноград» рассказ о торговле в советском обществе духовными ценностями заставляет писателя актуализировать библейское значение концептуального слова.

С. Р. Багаутдинова (Санкт-Петербург)

Взаимосвязи и типологические сходжения в произведениях Я. Неруды и Н. В. Гоголя

Сопоставление творчества Я. Неруды и Н. В. Гоголя проводилось и раньше, однако в теме остается много неизученного. Произведения Гоголя начали переводиться на чешский язык первыми, тогда как другие русские авторы были еще плохо известны чешскому читателю в 40-е годы XIX века. Значительный вклад в переводы Гоголя на чешский язык внес Карел Гавличек-Боровский, начавший переводить писателя во время своего пребывания в Москве и продолживший свою переводческую деятельность по возвращении в Чехию.

В произведениях обоих писателей можно найти сходства на различных уровнях: идейном, стилистическом, сюжетном. Ход творчества Неруды во многом

похож на ход творчества Гоголя. Даже заголовки циклов чешского и русского писателей свидетельствуют об общности идей их творчества. «Арабески» Неруды и «Арабески» Гоголя, «Малоостранские повести» Неруды и «Петербургские повести» Гоголя объединены идеей показать жизнь людей в ее многообразии, полную контрастов и противоречий, устои пражского и петербургского общества. Значительную роль в повестях и рассказах обоих писателей играет образ города. Главными героями «Малоостранских» и «Петербургских» повестей является сама Прага и сам Петербург. И Неруда, и Гоголь изнутри знали жизнь героев своих произведений. Описания пейзажей Праги очень поэтичны, в них она предстаёт перед нами как город необычайной красоты и романтики. Лунные пейзажи, Петршин, пение соловьев – всё это создаёт идиллический образ Праги. Однако Прага, которая представлена через образы жителей Малой Страны, совсем другая. Её обобщенный образ вырастает, подобно гоголевскому Миргороду, в символ обывательщины и мещанства. Пражский и петербургский тексты объединяет атмосфера чиновничества, торжества материальных ценностей. В раскрытии образа города в произведениях Неруды и Гоголя большую роль играет экспозиция. С помощью экспозиций Гоголь вводит читателя в петербургское общество, погружает его в атмосферу, царящую в городе, и подготавливает к дальнейшему повествованию. Писатель обрисовывает основные типы и характеры Петербурга. То же делает и Неруда в экспозиции рассказа «Пан Рышанек и пан Шлегл», через круг посетителей ресторана характеризуя саму Малую Страну. Огромную роль в творчестве обоих писателей играет юмор. Детали в изображении героев очень емки, важны и нередко служат для создания комического эффекта. Однако отличительные особенности произведений Гоголя – это гротеск и карикатурность, у Неруды же комический эффект возникает скорее за счет иронии, его юмор мягче. Яркий пример гротеска в творчестве Гоголя – повесть «Нос». Стиль Неруды можно назвать более мягким по сравнению со стилем Гоголя. Однако необходимо отметить, что ирония тоже является отличительной чертой гоголевской поэтики. Произведения чешского и русского авторов многое объединяет в стилевом отношении. Так, Неруда и Гоголь часто используют прием овеществления. Очень велико внимание обоих писателей к деталям. Творчество обоих писателей является острой сатирой на действительность. Современная критика видела в «Малоостранских повестях» Неруды, «Старосветских помещиках» Гоголя идиллию, картинку мирной жизни простых людей. Однако оба автора критиковали застойность жизни обывателей и их духовную ограниченность. Творчество писателей является своеобразным зеркалом для общества, Неруда и Гоголь указывают читателям на их недостатки с целью заставить людей посмотреть на себя со стороны, посмеяться над собой и исправиться.

Н. Д. Гашева (Санкт-Петербург)

Диалог культур: Д. Фаулз и М. Кундера

Диалог чешской и английской культуры в эпоху постмодернизма можно проследить на примере героев романов «Дэниел Мартин» Фаулза и «Невыносимая легкость бытия» Кундеры. Эпоха постмодернизма, вторая половина XX века, рассматривается как время радикальных преобразований и изменений, когда протесты, возмущения переходили прямо в действия и революции. Менялась культура, политика и сознание всего мира. Я попыталась показать, какие процессы происходили в общественно-культурной жизни Чехии и Англии во второй половине XX века, и какое отражение они нашли в романах. В это время встает проблема национального самосознания, которая сыграла огромную роль в обеих литературах Чехии и Англии 60-х–80-х гг. Но британские писатели почувствовали острую необходимость обратиться к своим корням, не из-за нравственных и политических притеснений, массовой манипуляции людьми и идеями, как это было в Чехии, а скорее, наоборот, из-за так называемой „абсолютной вседозволенности“, которая привела к духовному опустошению. Викторианская эпоха символизировала для англичанина время огромного могущества, влияния, полного единства и крепких моральных устоев в Англии. Все это оказалось под большой угрозой после Второй мировой войны. В работе была также предпринята попытка исследовать проблему конца XX века и проблему национального самосознания в чешской и английской литературах. Конец XX столетия рассматривается, в первую очередь, как кризис, который ложится буквально на все: национальное самосознание, любовь, выбор жизненного пути. Что касается национального самосознания, то для Чехии защита своей идентичности, всегда играла одну из главных ролей, тогда как англичане для себя не чувствовали в этой защите такой жизненно важной необходимости. Уже само островное положение свидетельствует об исключительности Англии. Положение Чехии тоже исключительно, но несколько в другом плане. Находясь, наоборот, в самом центре Европы, Чехия всегда испытывала необходимость в борьбе за сохранение своей идентичности. Именно эта борьба за свою нацию дала чехам целостность и единство. Они осознавали, что только вместе смогут противостоять постоянным притеснениям. Этого единства не хватало англичанам. В этом мы убеждаемся на примере героев романа. В XXI веке с всевозрастающей глобализацией национальное – стало огромной проблемой в современном мире. Это уже проблема не только Чехии и Англии, это проблема многих стран мира. Лавинообразная модернизация, всеобщая урбанизация, вовлекающая многие народы и отдельные этнические группы в процессы смешения, приводят к стремлению сохранить свою идентичность. Растёт интерес к культурному своеобразию – где его корни, на чём оно основано и, наконец, каковы его перспективы на будущее.

Ю. Ю. Дудинова (Санкт-Петербург)

Мир символов в поэме К. Г. Махи «Май»

Работа посвящена исследованию романтических символов поэмы «Май» с целью раскрыть и глубже понять основной философско-символический смысл поэмы, а также показать их органичность в художественном строе поэмы. В литературном направлении романтизм большое значение имеет пересоздание реальности. Интуитивные, бессознательные образы – основные черты романтического искусства. К. Г. Маха является самым выдающимся представителем чешского романтизма. Значение его поэмы «Май» в развитии чешской литературы сложно переоценить. «Май» – философско-символическая поэма, поэтому символы в ней органичны, в них заключена суть поэмы. Символ – абстрактная реальность, воплощенная в конкретный знак, образ, способный передать многозначные и сложные понятия или идеи. Особое внимание в работе уделено традиционным природным символам: соловья и розы, голубя, аиста, лилии и горы, глобальным космологическим символам, таким как ночь, солнце и облака и, наконец, философским символам: времени и пространства.

Природные символы К. Г. Маха использует в их общепринятом поэтическом значении. Это и религиозные образы, и поэтические клише, однако, он наполняет их определенным авторским своеобразием, сочетая с известными образами поэмы. Образ соловья трактуется как символ воспевания любви, со всеми её печалью и радостью. Аист символизирует благочестие, приход весны. Образ голубя является символом веры и надежды. В поэме этот и символ ассоциируется с новой жизнью. С образом главной героини, Ярмилы связаны символы цветов. Символ розы часто повторяется в поэме и является одним из самых сложных, потому что его основные значения находятся в противоречивом единстве. В поэме роза символизирует физическую красоту и молодость, природное совершенство, а в то же время грех, муки и страдания, кровь и смерть. Символ лилии противопоставлен образу увядшей розы, как символу поруганной чести, он понимается как чистота и невинность. Это противопоставление отражает внутреннюю духовную борьбу героини.

Космологические символы отражают главную идею, общий философский смысл поэмы. Ночь является символом неизвестности, поисков ответов на духовные вопросы, и, наконец, символом смерти. Солнце – это известный культурный славянский символ. В поэме символ солнца несет значение истины, в свете которой все проясняется, а также значение жизни. Символы ночи и солнца несут в себе следующие противоположения: контраст между неизвестностью, хаосом и божественной истиной; противопоставление вечности природного мира и кратковременности жизни человека; противопоставление смерти и жизни. Космологический символ «Ясные солнца иных миров» понимается как символ вселенной, то есть бесконечность времени и пространства. В то же время присутствующие в поэме символы «падающей звезды» и «отраженной звезды»

имеют значения оборвавшейся жизни и заточения. Следовательно, эти символы составляют ещё одно значимое противопоставление: бесконечности времени во вселенной и конечности жизни человека, бесконечности пространства и вынужденного заточения героя.

Авторскую позицию помогают глубже понять такие символы, как гора и облака. Символ горы в поэме многозначен, он понимается как свобода, Божественность и незыблемость духовных устремлений героя. Русский поэт-символист К. Д. Бальмонтом перевел монолог-обращение героя к облакам, выдвигая на первый план мотив любви к родной стране. Облака в поэме символизируют свидетельство любви героя к Родине. Этот монолог в полной мере выражает миропонимание автора, и его по праву можно считать квинтэссенцией творчества К. Г. Махи, поэта, всецело преданного Родине.

- Аверинцев 1976 – *Аверинцев С. С.* Большая Советская Энциклопедия, 3-е изд., М., 1976.
- Бальмонт 2001 – *Бальмонт К. Д.* Душа Чехии в слове и деле. \ Издание, перевод, статья, комментарий – Дануше Кшицова. Ун. Им. Т. Г. Масарика, Брно, 2001.
- Библейская энциклопедия 1992 – *Библейская энциклопедия.* Изд-во П.П. Сойкина, репринтное издание, Т. 1. 1992.
- Библейская энциклопедия 1981 – *Библейская Энциклопедия.* Труд и издание Архимандрита Никифора. М.: Типография А. И. Снегиревой, 1891.
- Ванечкова 1990 – *Ванечкова Г.* Поэзия. Символ. Перевод. Praha. Univerzita Karlova, 1990.
- Лосев 1982 – *Лосев А. Ф.* Знак. Символ. Миф. М., 1982.
- Лосев 1995 – *Лосев А. Ф.* Проблема символа и реалистическое искусство. – 2-е изд., испр. – М.: Искусство, 1995.
- Маха 1960 – *Маха К. Г.* Избранное. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1960г.
- Неупокоева 1971 – *Неупокоева И. Г.* Революционно-романтическая поэма первой половины XIX века. М.: Наука, 1971.
- Никольский 1997 – *Никольский С. В.* Чешская литература // История литератур западных и южных славян. 2 Т. М.: РАН, 1997.
- Очерки 1963 – *Очерки истории чешской литературы XIX–XX вв.* М., 1963.
- Поппеня 1997 – *Поппеня Д. М.* Образ мира в слове писателя. Спб, Издательство: С.-Петербургского Университета, 1997.
- Bal'mont 2001 – *Bal'mont K. D.* Duše Českých zemí ve slovech a činech \ Vydání, překlad, studie, komentář Danuše Kšicová. MU, Brno, 2001.
- Hrbata 1986 – *Hrbata Z.* Prostor romantického poutníka. \ Prostor Máchova díla. Soubor máchovských prací. Československý spisovatel, Praha, 1986.
- Janáčková 2002 – *Janáčková J. K. H.* Mácha // Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002.
- Kandeler 2006. – *Kandeler R.* Symbolism of plants and colours. Vienna, 2006.
- Králík 1969 – *Králík O.* Demystifikovat Máchu. Ostrava, 1969.
- Mukařovský 1948 – *Mukařovský J.* Máchuv Máj. \ J. Mukařovský. Kapitoly z české poetiky. Díl třetí. Praha: Nakl. «Svoboda», 1948.
- Sabina 1953 – *Sabina K.* O literatuře. Praha, 1953.
- Svatoň 1992 – *Svatoň V.* Dvojitá tvář symbolu v moderní literatuře. \ Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování. Filozofický ústav, ČSAV, Praha 1992.
- Svatoň 2002 – *Svatoň V.* Prach hrobů a úzkost srdce. \ Z druhého břehu. Studie a eseje o ruské literatuře. Praha : Torst, 2002.
- Symbol 1992 – *Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování / (Stachová, J. ed.)* Praha: Filozofický ústav ČSAV, Praha, 1992.

Ad de Vries 1974 – *Ad de Vries*. Dictionary of Symbols and Imagery. North – Holland Publishing company. Amsterdam-London. 1974.

С. С. Журавлева (Бердянск)

Агиографическое стихотворение как жанрово-тематическая разновидность украинской поэзии эпохи барокко

Барокко в Украине ознаменовано интенсивным развитием агиографии – от создания новых редакций Киево-Печерского патерика до издания «Книг житий святых» Св. Димитрия Туптало (Ростовского). Однако агиографы эпохи Барокко не ограничиваются рамками традиционной для житийной культуры прозы. Вполне закономерно внимание писателей привлекает поэзия, которая презентует разнообразие жанров и определяет характер литературного развития барочных времен. В творчестве представителей Черниговской литературно-философской школы второй половины XVII – начала XVIII в. (архиепископа Лазаря Барановича, митрополита Варлаама Ясинского, Св. Иоанна Максимо-вича [Тобольского] и Димитрия Туптало [Ростовского]) присутствуют агиографические стихотворения, в которых житийное наследие представлено с помощью новых интерпретационных моделей.

Следовательно, необходимо ввести в литературоведческое обращение понятие агиографической поэзии, определить ее жанровые признаки. К агиографической поэзии принадлежат большие по объему эпические стихотворения, а также эпиграммы (короткие и более обширные), панегирики, молитвенные стихотворения, в которых идет речь о житиях святых, раскрываются богословские и историко-церковные аспекты святости, функционируют мотивы аскезы, мученичества, чуда, небесной помощи праведнику, молитвенного обращения к святому, прославления подвижника за его деяние, заступничества и т. п.

Украинская барочная агиографическая поэзия представлена следующими произведениями:

1. поэтический сборник «*Zywoty świętych...*» архиепископа Лазаря Барановича, а также стихотворения, посвященные святым, из его сборника «*Lutnia Apollinowa...*»;

2. циклы молитвенных эпиграмм «Вѣнец з звѣзд дванадесять Христовой десниці, предтечи святому, з мольб дванадесяти», «Вѣнец верху апостол святому Петрови от звѣзд дванадесяти молитв к нему в сем слови», «Вѣнец святой Софії з звѣзд дванадесять з молитв о семи дарах и талантах пяти» митрополита Варлаама Ясинского;

3. ряд стихотворений Св. Димитрия Туптало (Ростовского) («Вѣнец от дванадесять звѣзд святой Варварѣ, от молитв к ней о крайнем доброй смерти дарѣ», «Вѣнец от дванадесять звѣзд архіерейскій, от дѣл, чрез них же молим ест пастыр миррейскій», «Вѣнец звѣзд дванадесять Христовой денниці, Предтечи

святому, з молко дванадцяти», «БОГОСЛОВЕ, умоли Слова воплощенна...», «К Златоусту бренными устнами молюся», «В прозорах древле копїи ношаху...», «ДАНИИЛ преподобный, на столпѣ стоящи...», «С[вятому] м[ученику] Сестіану», «Преподоб[ному] Герасиму» и др.);

3. большинство стихотворений из книги «Алфавит собранный, рифмами сложенный...» Св. Иоанна Максимовича (Тобольского).

Следует отметить, что авторы агиографических стихотворений использовали разные жанровые модификации: значительные за объемом эпические произведения, где в поэтической форме представлено житие святого («*Żywoty świętych...*», «*Lutnia Apollinowa...*» архиепископа Лазаря Барановича, «Алфавит...» Св. Иоанна Максимовича); эпиграммы, иногда объединенные в циклы, в которых реализуются соотношения понятий «святой/человек» («*Lutnia Apollinowa...*» архиепископа Лазаря Барановича, произведения митрополита Варлаама Ясинского, Св. Димитрия Туптало, Св. Иоанна Максимовича); объемные эпические стихотворения, в которых мотивы аскетизма, мученичества, чуда, духовного наставничества иллюстрируются определенным примером из жития святого («Алфавит...» Св. Иоанна Максимовича).

Агиографические стихотворения эпохи Барокко не ограничиваются служебным назначением. Поэты-агиографы позволяют себе отойти от традиции, например, предлагая читателю лишь отрывок жития (Св. Иоанн Максимович) или сокращая его содержание до объема эпиграммы (Св. Димитрий Туптало, митрополит Варлаам Ясинский). Поэты стремятся подать в стихотворениях сокращенную версию жития святого. Именно такой принцип позволяет им очертить тип святости каждого персонажа, придать выразительность особенностям его восприятия в барочные времена, определить возможные варианты аскезы с целью напутствия читателей.

Ярким примером отклонения от традиционного агиографического сюжета является стихотворение «Житіє Алексія Чоловѣка Божія» св. Иоанна Максимовича, в котором синтезированы разные жанровые формы – собственно житие и тезоименитое приветствие царскому роду. Автор устраняет некоторые эпизоды жития, лишает конкретности хронотоп стихотворения и выводит на первый план образ Алексея, человека Божьего, с определенной целью – приблизить содержание произведения к реальной жизни и подготовить читателя к восприятию второй, панегирической части стихотворения.

Цель житийных стихотворений, как и всей агиографии в целом, – утверждение христианского мироощущения, приведение читателей примеров для подражания. Агиографическая поэзия – одно из тех явлений, в которых ярко реализовано стремление барочных писателей создавать варианты ранее известного. Архиепископ Лазарь Баранович, митрополит Варлаам Ясинский, Св. Иоанн Максимович и Св. Димитрий Туптало трансформируют в барочных формах художественно-эстетическое наследие раннехристианского Востока и Киевской Руси.

С. И. Иванова (Пермь)

Конструирование метафизических объектов в текстах Чеслава Милоша

1. Данная работа посвящена лингвистическим способам конструирования метафизических объектов. С точки зрения онтологии, **метафизические объекты** есть нефизические, недискретные объекты, представляющие собой существенные основания бытия, высказывания об онтологическом статусе которых невозможно верифицировать, то есть подвергнуть эмпирической проверке. Таковы, во-первых, универсалии – общие свойства (*красота*), отношения (*к северу от*) и классы (*роза*) предметов, а во-вторых – метафизические конструкции (*Бог, душа*). Мы можем признавать объективный характер существования метафизических объектов (реализм) или, напротив, отрицать его (номинализм). Однако неопределенность онтологического статуса указанных объектов не является препятствием для их существования в текстовом (возможном) мире. Автор текста конструирует метафизические объекты с помощью языковых средств. Таким образом, текстовое бытие подобных объектов обеспечивается «языковыми каркасами» (Карнап 1959).

2. В основание алгоритма, описывающего текстовое конструирование метафизических объектов, нами положена концепция Ю. С. Степанова (Степанов 2007) о трех операциях, приводящих в действие языковую систему: **номинации, предикации, локализации**. Материалом анализа нам служат тексты Чеслава Милоша (1911–2004) (Czesław Miłosz) – польского поэта, прозаика, эссеиста, переводчика; лауреата Нобелевской премии в области литературы (1980).

3. Прежде всего, объекту необходимо дать **имя** и тем самым актуализировать объект для человека:

Dusza odrywa się od ciała i szybuje (...) («Druga pszeźtrzeń») (Miłosz 2006)

В указанном фрагменте имя метафизического объекта – *dusza* (*душа*).

В тексте к имени метафизического объекта приписываются **предикаты**, знаки для обозначения свойств и отношений между элементами мира, и прежде всего, самый широкий по семантике предикат – предикат «существования», фиксирующий сам факт бытия предмета. Предикат «существования» может быть эксплицирован в форме глагола-связки «есть», ср.:

Nieemożliwe, żeby ludzie tak cierpieli, kiedy Bóg jest na niebie i koło mnie. («*Wysokie tarasy*»), где *jest* – предикат существования.

Кроме «предиката существования», к имени метафизического объекта в тексте могут быть приписаны и другие предикаты. Например, в тексте «Druga pszeźtrzeń»:

Dusza odrywa się od ciała i szybuje.

Pamięta, że jest wysokość

I jest niskość. («Druga pszeźtrzeń»)

Здесь к имени *dusza* приписываются следующие предикаты: *odrywa się, szybuje, patięta*. Свойства, которыми автор наделяет метафизический объект, придают объекту антропоморфные черты, позволяя «приблизить» метафизическую сущность к человеку.

Локализовать метафизический объект в текстовом мире – значит «поместить» его относительно точек времени / пространства и субъекта речи. Например:

Kiedy biegalem boso w ogrodach nad Niewiażą
Było tam coś, czego wtedy nie próbowałem nazywać:
Wszędzie, między pniami lip, na słonecznej stronie gazonu,
na ścieżce wzduż sadu,
Przebywała Obecność, nie wiadomo czyja <...> («Обечность»)

Универсалия *Obecność* локализуется в тексте относительно пространственно-временных координат (об этом свидетельствуют используемые грамматические средства: местоимения *tam, kiedy*) и субъекта речи (об этом свидетельствует наличие глаголов прош. вр. 1 л. ед. ч.: *biegałem*).

Карнап 1959 – *Карнап Р.* Значение и необходимость. Исследования по семантике и модальной логике. М., 1959.

Степанов 2007 – *Степанов Ю. С.* Имена, предикаты, предложения (Семиологическая грамматика). М., 2007.

Миłosз 2006 – Тексты цитируются по изданиям: *Miłosz Cz.* Druga przestrzeń. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2002. *Miłosz Cz.* Wiersze osatnie. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2006.

Г. Я. Ильина (Москва)

Научные задачи «Лексикона южнославянских литератур»

В Институте Славяноведения РАН близка к завершению работа над «Лексиконом южнославянских литератур» – первым в отечественной науке справочным изданием по литературам семи, близких этнически и по языку европейских славянских народов – болгар, боснийцев (бошняков), македонцев, сербов, словенцев, хорватов и черногорцев. Нельзя сказать, что их истории литератур были в нашей стране обойдены вниманием. Они освещались в трехтомной «Истории литератур западных и южных славян» (1997–2001), двухтомной «Истории литератур Восточной Европы после Второй мировой войны» (1995–2001), есть «Очерки «Истории болгарской литературы XIX–XX вв.» (1959), «История македонской литературы XX в.» А. Г. Шешкен (2007), на подходе подготовленная Н. Н. Стариковой «Словенская литература» до XX в. Нет отдельных историй сербской, хорватской, боснийско-герцеговинской и черногорской литератур, причем две последние из них до сих пор совсем не освещались в нашей науке. Лексикон в какой-то мере восполняет этот пробел.

Судьбы перечисленных народов были чрезвычайно переплетены, и вместе с тем, действие весьма разнородных факторов развели их в различные конфессиональные сферы (римско-католическую, восточно-православную, а с XIV в. – исламскую) и государственные образования: на многие века южные славяне оказались включенными в две могущественные империи – Габсбургскую и Османскую, что не могло не сказаться на формировании их национальных литератур, характер их внешних культурных связей и связей между собой. Для всех них борьба за национальное самоопределение, национальный язык и литературу приобретала все большее значение и с XVIII в. в определенные периоды, не теряя противоречивости, становилась одним из объединяющих факторов, особенно для югославян. В возникавших государственных объединениях югославянских народов (3 Югославии) лишь на первых порах верх брали центристские тенденции, но вскоре по разным причинам, с новой силой вспыхивали центробежные силы, которые приводили к распаду и монархического и социалистического режимов. С начала 1990-х гг. мы имеем семь независимых южнославянских государств с их естественным стремлением активизировать свое национальное наследие, литературный язык, восстановить национальный писательский корпус. В связи с этим в освещении их литературных историй возник целый ряд новых проблем, потребовалось формирование новых научных подходов в оценке целых периодов, направлений, творчества отдельных писателей. Существенного пересмотра подверглось рассмотрение разных типов литературных взаимоотношений между южнославянскими литературами – от тесного их взаимодействия, порой даже слитности литературных процессов (македонско-болгарские отношения, сербо-черногорские, боснийско-хорватские и боснийско-сербские) до феномена двойной литературной принадлежности

Исходя из основной задачи – дать возможно широкому кругу читателей (не только славистам, но и специалистам по западноевропейским литературам и вообще всем интересующимся славянскими литературами) получить компактно изложенные сведения об основных этапах развития всех южнославянских литератур, присущих им типологически общих чертах и различиях между ними, их эволюции, степени их включенности в европейский литературный контекст, а также познакомить с творчеством самых значительных представителей в каждой национальной литературе – в Лексиконе даны статьи общего плана, характеризующие периоды и направления, и портреты писателей – они составляют основной костяк книги. Особое внимание обращено на включение в по-статейную и общую библиографию переводов произведений южнославянских писателей на русский язык и научных работ отечественных ученых об их творчестве, что делается впервые.

З. И. Карцева (Москва)

Парадоксы жанра: роман эпохи конца литературоцентризма (на материале русской и болгарской прозы)

Проблема «конца литературы» в последние годы – в центре внимания целого ряда серьезных исследователей (философов, филологов, искусствоведов, критиков). Но характерно, что и сторонники эсхатологических идей Освальда Шпенглера (В. Мартынов, М. Виролайнен, И. Кондаков, Е. Абдуллаев), явно испытывающие своего рода «эстетическую усталость» (С. Гандлевский) от «передоза» ярких эстетических теорий 80–90-х годов, эти новые пророки «заката и конца искусства, литературы и вообще всяческого искусства» (Е. Абдуллаев), и их оппоненты (А. Латынина, И. Роднянская, Л. Бакша), отрицающие инволюционность современных процессов в культуре, сходятся в одном: *с литературой что-то происходит, что-то странное и непонятное. Что-то действительно кончается*: идет явный процесс «убывания», и «нынешнему взгляду открывается не столько горизонт, сколько обрывистый рубеж»¹.

Но что именно кончается?

Современная культура утрачивает свою литературоцентричность, привязку к литературно-словесным формам самопрезентации, вербальному выражению идейно-образного содержания своего времени. Литература – уже не центр нашей культурной вселенной, она лишилась своей онтологической сущности.

Впрочем, такое уже случалось, например, в русской классической литературе XIX века (победа «критикоцентризма» Белинского, Чернышевского и др.), затем в период Серебряного века, когда невербальные виды искусства (изобразительное, музыкальное, театрально-зрелищное, а позже – и кино) активно демонстрировали свою «культурную эмансипацию», творческую независимость от литературы и словесных средств. Третья фаза кризиса русского литературоцентризма (по И. Кондакову) приходится уже на советский период истории русской литературы, подвергавшейся сильнейшей политизации и идеологизации.

Ну и, наконец, в наши дни литературы практически всех стран (в том числе, разумеется, России и Болгарии), пройдя «точку невозврата» (В. Мартынов) в своем регрессивном движении по нисходящей, становятся объектом самого мощного, четвертого, кризиса литературоцентризма – одноуровневой (или даже уровня «минус один») стадии «непосредственного бытия» «пластмассового века» (М. Виролайнен).

Правда, причин, приводящих к размыванию литературоцентризма, сейчас явно прибавилось.

¹ Абдуллаев Е. Экстенсивная литература 2000-х // Новый мир. 2010. № 7. С.185.

Это, прежде всего, уже знакомое, но неизмеримо усилившееся наступление на современную литературу эстетики невербальных (визуальных, аудиальных, пластических) искусств (музыки, живописи, театра, кино), освободившихся ради «взаимного искупления» от своего «эгоизма» (Р. Вагнер); влияние TV с его клиповым нелинейным сознанием и лоскутным одеялом клишированных фрагментов, но (особенно! конечно же!) разрушительное обаяние Его Величества Интернета, кардинально изменившего наши представления об Авторе и его возможностях в виртуальном мире.

И все-таки главная причина – воздействие РЫНКА (как такового) и рынка развлечений, признающего за литературой одну-единственную социально-эстетическую функцию и цель – *приносить удовольствие* новому (массовому или гламурному) читателю (П. Бурдые).

Эта «приносящая удовольствие» литература, ставшая периферией актуальной массовой культуры или ядром элитарной литературы *ad marginem*¹, радостно-готовно капитулировавшая перед рынком, все чаще превращается в комфортный досуг, приобретая откровенно товарный вид «литературного продукта» – бренда, успешно (или не слишком) продаваемого на рынке.

Современная массовая литература (как в России, так и в Болгарии), активно включившаяся в производство и рекламирование потребительских ценностей капитализма, пропаганду гедонистических, гламурных устремлений основной части публики с ее элементарным, вегетативным восприятием жизни на уровне первосигнальной системы, обращается к таким отшлифованным читательским спросом жанровым моделям, как детективный, приключенческий и любовный роман, триллер и фэнтези, следуя нормам, стереотипам и мифам, принятым в обществе потребления.

А в итоге это приводит к опрощению, упрощению, нивелированию индивидуальных и национальных отличий авторов, к стандартизации всего и вся – тем, героев, сюжетных ходов, языка и стиля, ко «всеядности», жанровому синкретизму, размыванию жанровой системы, все чаще предлагающей всевозможные «странности» и «парадоксы» типа романа-комикса, -фуги, -квеста, -хайку, -паззла, -аудиокниги, -fusion, -конспекта, -«пурги», «филологического» романа.

Из последних русских новинок стоит упомянуть нано-роман екатеринбургского автора Владимира Блинова «Роман без названия», состоящий всего из 4 слов: «Не надо. Я сама»; поп-арт роман Олега Сивуна «Бренд» (2008), написанного в форме романа-словаря, зафиксировавшего 26 (в соответствии с английским алфавитом) брендов современности и гаджетов, этих «протезов» новой цивилизации; роман Дмитрия Данилина «Горизонтальное положение» (2010) – дневник героя – литературного «поденщика», монотонно-равнодушно

¹ Которая, впрочем, для большей доходчивости своих «высоких» идей не прочь воспользоваться и приемами масскульта.

«переползающего» из одного пустого дня в другой в своей «нудятине» – предельно клишированных, примитивных записях, которые представлены в виде коротких назывных предложений, состоящих из несурзанных и забавных отглагольных существительных вроде: «Заказывание напитков и закусок. Выпивание напитков и закусывание их закусками». «Принятие горизонтального положения. Сон».

О. М. Косюк (Бердянск)

Масове мистецтво та фольклор (компаративний аналіз явищ у контексті новітньої культури)

Кожне суспільство має сукупність культур, одна з яких домінуюча. У суспільствах сучасного типу (з модерністською шкалою цінностей) ведучою вважається культура, орієнтована на масове споживання виробленого духовного продукту. Термін «масова культура» з'явився в американській пресі у кінці сімдесятих років 19 в. та утвердився в 1944 році після виходу у світ «Теорії популярної культури» Дуайта Макдональда. З того часу під масовою культурою розуміється сукупність культурних споживацьких цінностей, що потрапляють у широке публічне використання за посередництвом засобів масової комунікації. На означення мистецтва, призначеного для масового споживача, теоретики естетики, літератури та масової комунікації уживають не однакову термінологію: «масове мистецтво», «популярне мистецтво»; «бульварна», «популярна», «комерційна», «лубкова», «тривіальна», «низова», «ринкова» культура, «індустрія культури» (Т. Адорно), «індустрія свідомості», «кіч» (К. Грінберг), «фольклор індустріальної людини» (М. МакЛюен). Оскільки «народне» (фольклорне) є надзвичайно потужним фактором існування людської цивілізації. Прослідкуймо, яке ж його місце у сучасній масовій комунікації.

Проблеми співвідношення фольклору та дискурсів і текстів новітнього інформаційного простору (популярного мистецтва) потрапляли в поле зору новітніх досліджень Дж. Віко, Й. Г. Гердера та ін. Проаналізувавши названі феномени, вчені прийшли до висновку, що фольклор та масова культура не є поняттями абсолютно синонімічними. Фольклор базується на певних традиціях, які відображають народні помисли та настрої, масова ж культура таких традицій не знає, вона вносить у все елемент новизни, відповідно до запитів аудиторії. Фольклор завжди національний за змістом. Масова культура має космополітичний характер. Фольклор – це усна народна творчість. Масова культура використовує для поширення засоби масової комунікації. Доведено, що напередодні третього тисячоліття фольклору, у традиційному розумінні цього слова, у промислово розвинутих суспільствах не існує. Відмирання фольклору певною мірою вплинуло на розвиток масової комунікаційної культури. Не викликає су-

мніву лише те, що обидві культури – це культури народні (якщо під народом розуміються «маси» (населення)).

В одній із праць ситуацію взаємопереходу аналізованих явищ К. Грінберг визначає як кіч (від англ. *kitchen* – кухня). Вчений пише про те, що осідлі у містах селяни, навчившись читати й писати, не отримали одразу можливості повноцінного дозвілля та смакової освіти для того, щоб насолоджуватись міською культурою і, втративши інтерес до усної народної творчості (що пов'язана із селянським побутом і доволі непривабливими цінностями) та потрапивши у ситуацію нудьги, природньо почали вимагати від суспільства забезпечення доступної їм культури. Соціальною батьківщиною кічу, на думку Грінберга, слід вважати маргіналії промислових центрів. Щоправда постає питання про те, чи аналізоване Грінбергом явище (особливість якого – ностальгія за архетипною ясністю) дійсно псевдофольклор («фейклор» – в інтерпретації американських вчених) чи доволі трансформований, але все ж – фольклор.

Чимало дослідників дотримуються тези, що окремі низові фольклорні жанри на зразок різдвяних та великодних орацій, а також травестії, застільні пісні, сороміцька любовна лірика можуть характеризуватися як масові (на наш погляд, саме вони – у дещо деформованому вигляді – з'являються нині на шпальтах періодичних видань та у просторі медіа). Підставою для такого твердження є передусім їхня поширеність. Однак відмінність між фольклорним і нефольклорним полягає у способі творення: за явищами масової культури, як правило, стоїть автор, у той час як фольклорне (колективне) позбавлене голосу творця. Такої думки дотримувався Ю. М. Лотман, котрий у численних працях зазначав, що між «низовою» та «масовою» культурами у жодному разі не варто ставити знак рівності, бо перша з них – явище незмірно об'ємніше й глибше. Тому під визначення придатних для масової комунікації потрапляє лише частина низових жанрів, що орієнтуються головно на успіх.

Хоча цілком очевидно (і це одразу кидається у вічі), що масова культура (особливо у техногенному вияві – модифікації майданно-карнавальних дійств) таки базується на фольклорі (його низових жанрах – складникові спіднього вертепного ярусу): техногенні еротичні медіа-програми еквівалентні формам молодіжного флірту усіх народів світу (особливо українським вечорницям та «вулиці»; комічні, травестійні, маріонетково-травестійні, безумовно, сягають своїм корінням сатурналій та середньовічної карнавальної сміхової культури; музичні, кулінарні, про світ моди і навіть спортивні програми – обов'язковий компонент найдавніших ритуалів, як і реклама (інваріант ярмаркового), фантастика та жахи. Достеменно відомо, що в основі інтелектуальних, реальних, комунікативних капітал-шоу лежить не що інше, як один з найдревніших обрядів людства – ініціація.

Як бачимо, так зване масове мистецтво – продукт роботи багатьох поколінь. І хоча маскульт не є фольклором у чистому вигляді, він все одно дуже тісно пов'язаний з народною творчістю (і певною мірою виконує її функції).

Я. Ю. Кресан (Москва)

Семантика мотива разбойника (на примере романа Ладислава Тяжкого «Аменмария»)

Мотив разбойника давно известен как фольклору, так и мировой классике (Ф. Шиллер «Разбойники», А. С. Пушкин «Капитанская дочка» и др.). Особое развитие данный мотив получает в эпоху романтизма, в частности в словацкой литературе. Там, как и в польской, так и в чешской литературе складывается образ благородного разбойника Яношика (*zbojník Jánošík*).

Яношик – реальная историческая личность. Он служил в армии Ференца Ракоци, выступавшей против австрийского владычества. Впоследствии Яношик становится во главе разбойнической «шайки», что и предопределяет его судьбу. В 1713 году он был казнен. Образ Яношика был подхвачен словацкими романтиками, и по-видимому, неслучайно. В 19 веке в Словакии шла борьба за выделение словаков в отдельную нацию в рамках Венгерского королевства и Австрийской империи. Писатели-романтики искали идеал борца, поэтому, взяв его в качестве примера, они наделяют его положительными качествами. Образ Яношика появляется в балладах, поэмах и драматических сценах Янко Краля, Яна Ботто, источниками которых в том числе стали устные предания, легенды, фольклор.

Благородный разбойник попадает в различные ситуации. С одной стороны, он нападает, грабит, убивает, с другой – защищает, спасает и одаривает, освобождает из плена.

В исследовании мотива как теоретического понятия можно выделить два методологических подхода. Вслед за А. Н. Веселовским и его «Поэтикой сюжетов» мы называем им «простейшую повествовательную единицу». Согласно Б. В. Томашевскому, это составляющая эпизода, описывающая «отдельные действия, события или вещи»¹. То есть первый методологический подход рассматривает мотив на уровне сюжета. Вместе с тем существует и мнение Б. М. Гаспарова. Для него мотивом может быть любой предмет, то есть «любое смысловое “пятно”»². Но во всех трактовках подразумевается значимость, повторяемость, то есть репродуктивность того или иного элемента текста.

Мотив разбойника, описанный нами выше, вновь появляется в XX веке в романе Ладислава Тяжкого «Аменмария, одни хорошие солдаты» (1964), посвященного Второй мировой войне. В роли «разбойника» выступает Матуш Зраз, сержант-картограф, которого из братиславских казарм отправляют воевать на Восточный фронт на стороне фашистов.

¹ Томашевский Б. «Поэтика». М., 1996. С. 71.

² Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы: Очерки русской литературы XX века. М., 1994. С. 30–31.

Сюжет построен таким образом, что Зраз, будучи солдатом, обязан нападать на противника, но вместе с тем и защищать «своих». Вопрос же для него заключается в том, кого же можно назвать «своими».

Мотив разбойника – способ характеристики персонажа. На протяжении всего романа Матуш сравнивается с Яношиком. Он сам ищет для себя идеал борца. «Если я был Яношиком» (*Keby som bol Jánošík*), – мечтает герой. Происходящие с ним события Матуш воспринимает так, как будто он живет в эпоху Австрийской империи, то есть осмысляются автором и самим персонажем в исторической параллели. Господина поручика, например, герой сравнивает с жандармом. Матуш Зраз уходит на войну как будто непокорный, желая противостоять сложившейся ситуации.

О значимости этого мотива свидетельствуют многочисленные повторы, связанные с именем Яношика. Выявленный мотив неоднократно появляется в названии отдельных глав, в других рамочных компонентах (глава пятая – «Яношик получает милость», «Яношик не в тылу»; двенадцатая – «Любимая Яношика в Бородино»).

Предпосылки возникновения мотива в XX веке чем-то напоминают ситуацию, которая была в XIX веке в словацкой литературе. Воюющая на стороне фашистской Германии и якобы получившая независимость и самостоятельность, Словакия осмысляется автором, как будто по-прежнему входящая в состав Венгерского государства и Австрийской монархии и лишенная своей государственности. Герой романа – сержант-картограф. Составляя карты, он пытается осмыслить свою роль в истории войны и понять, «что такое словак и словацкий солдат», найти на карте Словакию, вписать ее в историю.

Матуш Зраз в отличие от Яношика не становится мятежником. Уйдя из дома с желанием перейти на русский фронт, он так не смог этого сделать. Когда герой думает о решительных действиях, о возможности «взбунтоваться», то читатель воспринимает его мысли как нереальные. Матуш часто строит свои фразы в сослагательном, условном наклонении. Может, поэтому герой погибает от руки эсесовца во время «коммунистического путча в Словакии». Он умирает не мятежником, но все же умирает, как некогда Яношик.

Мотив разбойника может быть трактован достаточно широко. В рамках данного романа он обретает смысловую значимость. Во-первых, это характеристика персонажа, во-вторых, интересный метод, помогающий в осмыслении автором истории и создании им исторической концепции.

Яна Кузмикова (Братислава)

Kognitívna literárna veda: úvodné poznámky

Ak je literatúra súčasťou kultúry, nemala by sa skúmať len ako esteticky zacieľený jazykovo-znakový proces, ale dôvodom na zaoberanie sa literatúrou sú tiež ab-

sorbované a produkované spoločenské významy v rozsahu od kultúrnych hodnôt až po modely skutočnosti. Pre literatúru a jej prijímanie a interpretovanie sú teda rozhodujúce nielen komunikatívne, ale aj kognitívne zretele.

Kognitívne vedy ako celok vytvárajú súčasné odpovede na dávne epistemologické otázky o pôvode a povahe vedomia, skúseností, informácií a vedomostí. Do tohto záberu spadá tiež literatúra ako prameň špecifických informácií a patria tu tiež s literatúrou súvisiace otázky o literárnom povedomí, o jeho vzniku, nositeľoch, zložkách, výstupoch, prijímateľoch a výsledkoch. Keď čítame literatúru, používame do veľkej miery totožné spôsoby a procesy mentálneho kódovania, rovnakú kognitívnu architektúru a funkcie pracovnej pamäte ako v bežnom živote. Súvzťažnosti kognitívnych vied a literárnej vedy sú teda očividné. Ak sa v nich máme orientovať a máme postupovať koncepcne, treba zobrať do úvahy jednotlivé teoretické prístupy. V kognitívnej oblasti sú to napríklad intencionalizmus, radikálny konštruktivizmus a reprezentacionalizmus (skúsenostný realizmus). Ich výsledky nabádajú, aby literárna veda prehodnotila svoju interpretačnú obmedzenosť a metodologickú nedostatočnosť pri hľadaní (konštruovaní) *správneho významu (správneho napísania)* literárneho textu. Túto objektivistickú zameranosť klasickej literárnej vedy korigujú výskumy procesov porozumenia, ktoré sa podieľajú na literacite textov. Ibaže dnes nepoznáme ešte množstvo potrebných údajov a kognitívnych odpovedí. Preto treba pribrať do hry aj intuíciu literárneho vedca. Tým sa spája empirická teória literatúry s ďalšou vetvou kognitívnej sféry – s teóriou chaosu. Intuícia, alebo aspoň jej časť, je nesená našou schopnosťou abstraktného uvažovania, ktoré pracuje na základe tzv. konceptualizácie. Za tým, ktoré položky literárneho slova, motívu apod. sa zvolia na určenie významu a čo sa následne prenáša do ďalšej kategorizácie a zaraďovania, rozhoduje interpret so svojou telesnosťou, ohraničenosťou a aktivitami. Pre literárnu vedu to znamená, že pri komunikovaní a výklade textu by sa malo myslieť nielen na jeho štruktúru, hoci dynamickú, ale aj na zapájajúce sa kognitívne procesy a schopnosti komunikujúcej mysle, pretože práve tie dávajú textovej štruktúre jej «pravdepodobnosť», nestabilitu, nelineárnosť, otvorenosť, neurčitnosť, fragmentárnosť, variabilnosť, anomálie atď.

V literárnom procese sú okrem systému literárnych znalostí a faktov dôležité aj procedurálne kompetencie ako pamäť, pozornosť, citové prototypy apod. Ak priberieme tieto kompetencie k systému literárnych znalostí, získame lepší prístup a metodickú výbavu na analýzu literárnosti výpovede a posunov v jej vnímaní, na skúmanie literárneho porozumenia a jeho typov, riešenie literárnych aktérov (autor, postava, čitateľ), na rozbor dôvodov popularity diel a im pripisovanej ne/hodnoty atď.

Kognitívna literárna veda sa nateraz rozvíja hlavne v oblasti kognitívnej poetiky. Tento spôsob myslenia o literatúre zisťuje a vysvetľuje, ako dochádza k textovému porozumeniu. Má už v ponuke aj určité kognitívne pravidlá, ktoré dokážu korigovať neprilievavé, neadekvátne interpretácie, získané v prvej úrovni tzv. zbežného čítania. V týchto súvislostiach sú do prednášky priebežne zaradené názorné príklady.

Л. Б. Лавринович (Луцк)

Мотив памяти в художественном произведении (на материале современной украинской прозы)

XX век в мировой культуре прошел под знаком памяти. Творческие открытия Дж. Джойса, М. Пруста, В. Набокова были подхвачены во многих национальных литературах. Осмысление темы памяти в системе не идейно-общественных, а, скорее, экзистенциальных координат – открытие украинской литературы последних десятилетий. Индивидуальная память как бытие, как топос, как самоценная величина, в современном мире информационного хаоса, где все молниеносно меняется и где невозможно найти хоть какую-то опору, остается сакральным, не стандартизированным внутренним пространством индивидуума. Поэтому не удивительно, что современные украинские писатели все чаще обращаются к этой теме. В произведениях современных украинских авторов можно проследить разную мотивацию, связанную с темой памяти, и разные подходы к ее творческому решению.

В романе Ю. Андруховича «Рекреации» возникает мотив памяти украинского народа, связанный с переосмыслением советского прошлого, который обозначим определением *генетический страх как память*. Творческие поиски писателя также обращены к осмыслению индивидуальной памяти. Память Андрухович называет «очень человеческой» способностью, которой «прикрываемся в пустоте». Автор говорит о памяти *как о спасении* и любовно пытается сохранить в сознании все, чего уже нет здесь и сейчас.

Один из мотивов романа О. Забужко «Полевые исследования украинского секса» – *память как клеймо*, переживание инфицированности страхом. Отец героини – репрессированный украинский интеллигент, который заживо похоронил себя из-за страха. Аффективная память, наложенная на психологическую наследственность, определяет непрерывность семейной традиции.

Национальная амнезия – путь народа в небытие. Даже страшный опыт может и должен становиться катарсисом. Это один из главных мотивов творчества М. Матиос. В романе «Сладкая Даруся» представлена разновидность памяти, которую обозначаем как психосоматическую (*память как наказание за невольный детский грех*, который повлиял на последующую жизнь героини).

Воспоминания для героини романа Ю. Емец-Доброносовой «Нумерука@step.ua» – напоминание о смерти, тем более болезненное, что *память как приговор* свидетельствует: только то прошлое является настоящим, а не имитацией памяти, которое здесь и сейчас, так как в настоящее помещено и прошлое, и будущее.

Исследование памяти как коллекционирование следов жизни – один из мотивов сборника «Другие дни Анны» Т. Прохасько. Память у Прохасько можно обозначить как *память-интерпретацию*.

Поиски собственной реальности как попытка вернуться в пережитое время-пространство – путь, который выбирает героиня новеллы Л. Кононовича «Возвращение». *Память как поиск* – основной мотив произведения.

Мотив утраченного рая из-за необратимости времени – главный в прозе Е. Пашковского. Писатель строит модель *памяти как сакрального хронотопа*. Поиски сакрального пространства памяти в романе Л. Голоты «Эпизодическая память» выглядят более оптимистично. Уберечь от небытия корни рода, увековечить преемственность традиции – важнейшее предназначение женщины-беглянки.

Обращение к мотиву памяти в современной украинской литературе – следствие «интеллектуальной усталости» от пародийно-игровых дискурсов, от циничных или примитивно-банальных символов эпохи. Память позволяет человеку сохранять собственную идентичность и вписывать ее в коллективное сознание – родовое, социальное или национальное.

К. Лапицкая (Санкт-Петербург)

Проблемы современной женской прозы. Tereza Boučková. *Indiánský běh*

Тереза Боучкова – представительница чешской литературы 90-х годов XX века. Она обратила на себя внимание уже своей первой книгой «*Indiánský běh*», впервые опубликованной в самиздате в 1988 году (официальная публикация книги произошла в 1991 году). В 1989 году писательница получила премию Jiřího Ortena за лучшую первую книгу. Нам удалось вступить в переписку с Терезой Боучковой, которая разъяснила нам многие «темные» моменты своей повести.

Название повести «*Indiánský běh*» – одно из самых непонятных мест в произведении. По словам Терезы Боучковой, *Indiánský běh* – это безостановочное, но не изнуряющее перемещение по длинным дистанциям, то есть постоянное чередование – минуту идешь, а минуту бежишь – так когда-то делали индейцы. Боучкова начинает свой рассказ шуткой про Индейца, у которого было трое детей. Отсюда пошло прозвище отца Терезы Боучковой – Павла Когоута. Соответственно, главного героя зовут *Indián*, и название книги связано с прозвищем главного героя. Этот анекдот приведен в качестве эпиграфа к повести, известно, что эпиграф имеет исключительно важную роль в композиции художественного целого. Именно он направляет читательское понимание в нужное русло, задает понимание произведения¹. Название тесно связано с главным героем не только из-за его прозвища. Инакомыслящий Павел Когоут после событий 1968 года вынужден был постоянно скрываться от преследований. И это

¹ Бухаркин П. Е. Риторика и смысл. СПбГУ, 2001.

напоминает погоню за Индейцем. Кроме того, Боучкова предпочла такое название, поскольку ее повествование имеет именно такой ритм: «постоянное чередование – минуту идешь, а минуту бежишь». Ведь текст Боучковой похож на мозаику. В книге нет реальных имен героев, Тереза Боучкова дает своим персонажам очень интересные и необычные имена. Но за этими именами не стоит некий скрытый смысл, или глубокая символика. Все прозвища предельно просты – в этом и есть специфика современной литературы. Многие из имен завуалированы, но они не несут в себе некой символической нагруженности. В основном эти прозвища отражают отношение писательницы к героям. (В докладе приводятся объяснения писательницей имен-прозвищ героев.) Так, второй муж писательницы получил в повести имя Вальс. Боучкова описывает его с большой любовью. По словам самой писательницы, прозвище он это получил из-за своей походки. Когда он идет, создается впечатление, что он вальсирует. Имена главных героев получились из анекдота: «Indián má tři děti. První, syn, se jmenuje Sluneční Paprsek, druhá, dcera, Bílá Luna. A jakpak se jmenuje to třetí? Prasklá guma»¹. При этом имя главного героя Indián связано и с названием, и с контекстом целой книги. В подобном игровом моменте и проявляется специфика современной литературы.

Бухаркин 2001 – *Бухаркин П. Е.* Риторика и смысл. СПбГУ, 2001.

Boučková 2007 – *Boučková T.* Indiánský běh. Praha, 2007.

В. М. Ляшук (Прешов)

Фольклорный фактор в типологии славянских литературных языков

Условия и факторы актуализации фольклорной этноязыковой сферы влияют на ее конкурентность при формировании литературного языка. В результате текстового накопления выявляется степень богатства, жанрового разнообразия и функциональности языка фольклора. Эти параметры определяют типологическую особенность литературного языка.

Осознанный, мотивированный характер изменения письменно зафиксированного прозаического фольклорного текста представляет собой языковую культивацию, аналогичную кодификации литературного языка. На этом основании правомерно изучать потенциал и специфику влияния фольклорной сферы на формирование литературного языка, интерпретируемое нами как фольклорный вектор в кодификации.

Изучение параметрических особенностей фольклорной сферы в славянских литературных языках связано с уточнением и дополнением их типологических

¹ *Tereza Boučková.* Indiánský běh. Praha, 2007. С. 7.

характеристик на основании фактов из их истории, а также их современной интерпретации. Типологические признаки на базе фольклорной сферы находятся в отношениях имплицативной взаимозависимости с остальными признаками. Наиболее полно разработаны характеристики, связанные с традицией в языковом развитии, особенностями орфографической системы, языковыми ситуациями, нормативными стилями, диалектными системами, наддиалектными письменными образованиями.

Письменная форма языка определяет кодификацию большинства типов норм, она существенна для механизмов генерализации и селекции. Лингвистические аспекты при письменной фиксации фольклорных текстов касаются их языковой идентификации. Идентификация текста с определенным славянским языком имеет специфику на межъязыковом уровне, где проявляется ее точность или ошибочность или осуществляется ее изменение (посредством неуканного перевода).

Межъязыковой уровень в белорусских и словацких прозаических фольклорных текстах взаимосвязан с контактными языками и формами взаимодействия. Белорусский язык контактирует с польским (вариант *polszczyzny kresowej*) в составе фольклорного текстообразования у части белорусских прозаических фольклорных текстов в виде двуязычного белорусско-польского диалога. В языке словацкого прозаического фольклора Я. Коллар воплотил идею создания общего для словаков и чехов литературного языка, опираясь на благозвучие (фонетические закономерности) словацкого языка, отраженные в народных песнях, и структурно-грамматические и лексические средства чешского языка.

Презентация фольклора как маркера родного языка определяет ракурсы расширения фольклорного влияния на общество того времени в публицистике. В языковом отношении в Словакии наблюдается языковое тождество фольклора и его презентации в публицистике и науке. В Беларуси презентация была ограничена возможностью публикации только в русскоязычных или польскоязычных периодических и научных изданиях, однако формировались посылки для этнической языковой самоидентификации. Белорусский язык посредством фольклора включался в общественный контекст. Тексты, зафиксированные от мастера, характеризуются высокой художественностью и выступают впоследствии образцом для языковой обработки. Совмещение деятельности фиксатора и информатора связано с большей устойчивостью языкового оформления при публикации (А. Я. Богданович).

Универсальные механизмы лежат в основе стремления усовершенствовать зафиксированные тексты, что приводит к их редактированию. Сознательное обращение к обработке часто связано с нормализаторскими целями, является результатом переосмысления, обобщения и кодификации отличительных особенностей этнического языка, замеченных в языке фольклора. В подходах П. Добшинского и одного из основателей белорусского литературного языка

Я. Коласа лингвистический аспект подчинен образовательным и общекультурным целям. В языковом отношении прослеживается высокая степень селективности, мотивированная текстовыми параметрами и эстетическими качествами.

Лингвистические критерии в статусе обработанного текста имеют концептуальное обоснование в особенности, отмеченной еще П. Добшинским: аутентичский фольклорный текст, не имея письменного фиксирования, не имеет также и устойчивой формы. Типологическое изучение публикаторских стратегий показывает на распространенную практику и тождественность редакторских правок, выявленных, кроме П. Добшинского, также у А. Н. Афанасьева, С. Цамбела, П. В. Шейна и др. публикаторов. Это факт свидетельствует в пользу их языкотворческой (текстотворческой) активности, ориентированной на эстетические фольклорные стандарты.

Выявлена высокая степень общности лексических ресурсов белорусского и словацкого языков. По признаку линейного размещения слов в предложении словацкий язык в ряде случаев противопоставляется белорусскому (а также украинскому и русскому). В словацком языке отмечается также тенденция к минимальному употреблению личных местоимений в функции грамматического субъекта. Типологическая особенность выявляется в использовании безличных конструкций, более распространенных в белорусских и украинских текстах. Они переводятся на словацкий язык двусоставными или определенно-личными односоставными предложениями. Культурно-языковой трансформации подвергаются формулы языкового этикета, фразеология и стандартные коммуникативные модели, заменяемые коммуникативными аналогами из системы целевого языка.

Типология соответствий рассматривается на базе целых текстов и путем выявления типологических соответствий в текстовых массивах. Наличие нескольких переводов одного текста позволяет выявить вариативность трансформаций, вычленив универсальные структуры, устойчивые соответствия. В анализируемых текстах широко используются эмоциональные средства, передается динамизм. Эти стилистические особенности создаются разговорной лексикой, усеченными формами глаголов, диалогической формой. Параллельные тексты имеют соотносительные средства, а также актуализируют уменьшительно-ласкательную лексику (украинский перевод), диалектную сферу или фольклоризмы из целевого языка (словацкий перевод). Белорусский перевод демонстрирует регулярность лексико-грамматической трансформации процессуальных существительных в глаголы с зависимым существительным.

Влияние прозаического фольклора заключается в передаче литературному языку средств, не имеющих выразительной стилистической окраски как фольклорных. При этом фольклорная сфера, являясь вторичной семиотической системой, относится к факультативным средствам конкуренции при формировании литературного языка и начинает исполнять общезыковую кодифицирующую функцию во время культурных и общественных сдвигов, в сложных

историко-культурных и общественно-политических условиях, при отсутствии у языка статуса государственного. Словацкий и белорусский материал отражает языковые трансформации при обработке исходных текстов и представляет собой типологическую параллель в отношении механизмов, направленных на подчеркивание национальной самобытности и творческого мастерства письменной закреплённой версии народного текста.

Участие фольклорной сферы в языковом развитии формирует определённые параметры стилистической системы языка (эмоциональность, синтаксическую гибкость, значительную вариативность, нестрогую нормативность) – посредством актуализации свойственных фольклорному повествованию творческой составляющей и языкотворческих процессов.

Ю. В. Мельникова (Бердянск)

«Quid est veritas?» («Что есть истина?») Наталены Королевой как роман-легенда

Самобытную писательницу Наталену Королеву (1888–1966) нельзя однозначно отнести к когорте украинских авторов. Отчасти это объясняется ее происхождением. Мать – испанка, отец – польский граф. Блестящее образование, полученное будущей писательницей, – история Испании, археология, музыка, пение, стихосложение, медицина, иностранные языки (она владела более, чем десятью языками) – дало ей возможность громко заявить о себе и как о талантливой певице, художнице, и как об авторе многочисленных литературных произведений. В украинскую литературу она пришла в достаточно зрелом возрасте после знакомства со своим вторым мужем, украинским писателем и издателем Василием Короливым-Старым.

В новеллах, рассказах, исторических повестях и романах Н. Королева по-новому раскрывает всем давно знакомые образы из христианской мифологии, античного мира, Средневековья и эпохи Возрождения. Писательница предлагает свой вариант развития известных событий, её герой – личность самодостаточная, герой, ищущий Веру и Истину.

Исторический роман «Quid est Veritas?» («Что есть истина?») был написан в 1939 году. Тогда же некоторые главы были опубликованы в западно-украинских периодических изданиях, в частности, в литературно-научном журнале христианской направленности «Звоны». Полностью произведение увидело свет в 1961 году в Чикаго. Работая над романом, Н. Королева учла традицию украинской и мировой исторической прозы, предложив читателям своё метаантропологическое видение сакрального события, в котором отражена суть божественной и человеческой истории. В синтетическом нарративе Наталены Королевой сочетаются черты исторического романа, романа-контрапункта, романа-легенды, романа-мифа и т. д. Исторический материал в романе дополнен,

уточнен, углублен легендарно-мифологическими вкраплениями, что привело к кардинальному переосмыслению общеизвестных реалий. Под влиянием легенды история прочитывается автором совсем иначе, чем к этому привыкли. Представления, превратившиеся в незыблемые каноны и догмы, побуждают писательницу к переосмыслению места и роли в общем развитии событий многих из основных действующих лиц романа. В произведении функционируют образы Марии Магдалины, Понтия Пилата, Иосифа Ариматейского и других персонажей, связанных с Иисусом Христом, воплощающих в себе трагические коллизии прозрения римского социума в период раннего христианства. В романе прослеживаются несколько сюжетных линий, связанных между собой (Понтий Пилат – Клавдия Прокула, Мариам (Мария Магдалина) – Кай Понтий, Мария – Марта – Лазарь, Рабби Галилейский (Иисус Христос) – Иосиф Ариматейский – Понтий Пилат). Хотя каждая из этих сюжетных линий имеет собственную внутреннюю композицию, но все они сходятся в едином сюжетно-композиционном центре – образе Святого Грааля. Н. Королева представляет широкий спектр проблем человеческой жизни: любовь, предательство, ненависть, страх, смерть, воскресение, веру, любовь. Произведение ориентируется на всеобъемлющее осмысление драматической действительности периода раннего христианства, раскрытое в исторической перспективе, изображенное через определяющие экзистенциальные конфликты человечества, на примере Рабби Галилейского (Иисуса Христа), Понтия Пилата, Клавдии Прокулы, Марии Магдалины, Иосифа Ариматейского. Романное пространство включает в себя многочисленные описания, временные «смещения», ретроспекции, авторские отступления, воспоминания и письма, для которых характерно переключение с одного временного пласта в другой. Автор романизирует апокрифы (Мария Магдалина), канонический текст (Рабби Галилейский), агиографии (конфликт, путешествия, обязательное чудо, необычная смерть – Понтий Пилат), мифы, легенды (святой Грааль). Хронотоп и раскрываемые темы создают композицию-контрапункт, поскольку временные пласты взаимодействуют с сюжетно-композиционным развертыванием. Использование легендарного материала в романном пространстве «*Quid est Veritas?*» способствует выражению смысловой концептуальности произведения. Не случайно, учитывая особенности авторского замысла и идейно-образного содержания, роман начинается разделом, который называется «Движения Стихии», и достигает своей кульминации тогда, когда Понтий Пилат остается один на один со Стихией, которая одновременно убивает и спасает его. Вполне в духе авторского мировоззрения и авторского замысла в романе появляется и такой вид Стихии, как – «Лазурь», а одна из последних глав получает название «Между двумя Лазурями», сочетая в себе физическое (материальное) и метафизическое (виртуальное) измерения. Абсолютная субъективность является главной движущей силой для Понтия Пилата, которому надлежало быть проводником совсем другого, прямо противоположного, начала – свободы Великого Рима, основанной на понимании

высших интересов империи и необходимости «разделять, чтобы править», и уничтожать непокорных и невинных, чтобы вызвать страх. Аналогичная субъективность определяет поведение другого персонажа из группы основных – Марии Магдалины, хотя механизм действия субъективности в этом случае несколько другой, чем в случае с Понтием Пилатом.

Для Наталены Королевы в романе «*Quid est Veritas?*» роль философских представлений играет, в первую очередь, Вера, которая выступает одновременно в двух взаимодополняющих ипостасях: ключевого компонента авторского сознания, а также одним из важнейших компонентов на разных уровнях идейно-образного содержания произведения. Вера, пусть поначалу и неосознанная, освещает жизнь и поведение практически всех главных героев романа, включая Понтия Пилата, Марию Магдалину, а также многих других, наполняет романное пространство, смягчает определенную декларативность и прямолинейность некоторых сцен, нивелирует чрезмерную патетичность отдельных эпизодов. Легендарный характер, независимо от степени его фантастичности и несоответствия так называемым «обычным», бытовым, критериям возможного и невозможного, делает достоверными изображаемые события не только для «доверительного», но даже для критически настроенного читателя. При этом сверхъестественное у Наталены Королевы вызывает не страх, а освещенное Верой чувство святости, приближение к божественному и вечному. Это утверждение касается и тех сцен и эпизодов романа, которые объективно способны в наибольшей степени вызывать у читателя ужас и страх, в частности таких, как описание физической гибели в столкновении со стихией Понтия Пилата в конце произведения (глава «День Встречи») или эпизод обнаружения Лазарем и Севером мертвого Понтия в воде (глава «Только человек»). В тексте романа «*Quid est Veritas?*» легендарное появляется постепенно, не вызывая у читателя никакого отторжения. Оно организовано специфическим способом и составляет отдельную, относительно самостоятельную и независимую от других, дополнительную микросистему, которая в значительной мере дополняет и углубляет общий идейно-образное содержание произведения, привнося в него к тому же ряд важных оригинальных элементов. В то же время легендарное начало объединяется и в определенной мере даже сливается с историческим, образуя синтетическую по своим основным признакам целостность принципиально нового уровня и качества.

Таким образом, квалифицируя произведение Наталены Королевы «*Quid est Veritas?*» как роман-легенду на историческом материале, стоит, с одной стороны, подчеркнуть приоритетное значение в его идейно-образном смысле именно легендарного начала как основы романического синтеза, а с другой, – показать присутствие в нем мощного массива исторического материала, связанного с эпохой становления христианства.

О. П. Новик (Бердянск)

Пути внедрения традиций славянских литератур в творчество украинских романтиков

Многие ученые, в том числе и Дмитрий Чижевский, Людмила Софронова, считали, что вопросы о родственных духовных фигурах барочной культуры и дальнейших эпох духовного развития человечества, в частности, романтизма, требуют тщательного изучения. Проявление традиций барочной эпохи в романтизме не было предметом специального исследования, попытка определить формы функционирования типологических параллелей барокко и романтизма в украинской литературе в сопоставлении с традицией в других литературах будет актуальной.

Литературный процесс, как правило, объединяет традиции и личное творчество, оригинальный талант писателя. Если личное творчество углубляет традицию, говорят о литературной эволюции, если же личное творчество восстает против традиции, наступает литературная революция, часто рождающая новые традиции. В качестве примера часто приводят романтизм, дающий начало новой, романтической традиции. Поскольку становление украинского романтизма происходило при непосредственном влиянии славянских литератур, необходимо вычленить пути внедрения их традиций в творчество украинских писателей-романтиков.

В период становления романтизма в украинской и русской литературах важную роль сыграли периодические издания – газеты, журналы и альманахи, которые выпускались романтиками. Альманахи и журналы помимо оригинальных текстов отечественных писателей печатали как тексты славянских литератур, так и обзоры иностранной прессы и изданных книг.

Переводчиками произведений зарубежных писателей выступали и писатели-романтики, которые так или иначе находились под влиянием польских и немецких авторов, использовали традиционные сюжеты и мотивы их творчества. Отдельные сюжеты проникали в творчество украинских авторов через посредничество польских и русских писателей, и, наоборот, украинские романтики привносили мотивы и образы отечественной литературы в другую культурную среду.

В начале XIX века сохранялась и рукописная традиция бытования и распространения произведений, что включало и частную переписку. Традиции эпистолярного жанра, пришедшие в литературу романтизма из барочных поэтик и риторик, также способствовали распространению рукописных копий произведений. Характерным явлением этого периода были вольные переводы пародии поэтических текстов, которые включали мотивы и образы зарубежной литературы в поле украинской культуры.

Еще одним аспектом взаимодействия разнонациональных литератур было изображение исторических деятелей разными авторами, для чего изучались

исторические архивные документы, произведения определенной эпохи той или иной страны.

Особенно тесным было взаимодействие украинской, русской и польской литератур, где наблюдается взаимопроникновение на уровне формы и на уровне содержания. Характерно, что такие процессы не ограничились творчеством писателей начала столетия (Е. Гребинка, Л. Боровиковский, П. Гулак-Артемовский, М. Шашкевич, И. Вагилевич, А. Метлинский и др.). В частности, деятельность писателей-романтиков – членов Кирилло-Мефодиевского братства способствовала распространению идей славянских литератур.

Разностороннее изучение явления традиции в романтизме предоставляет возможность обнаружить сходство и повторение принципов построения текста, мотивов, доминирующих в разные историко-культурные эпохи в национальных литературах, найти факторы, повлиявшие на становление романизма в украинской литературе.

Н. Н. Пономарева (Москва)

Социалистический реализм в болгарской литературе

История «нового», а затем социалистического реализма в болгарской литературе начиналась с зарождения и формирования пролетарской литературы. Отражение же нового исторического этапа – революционной атмосферы в стране в 1920–30-х гг., кануна Второй мировой войны – требовало и новых художественных форм его воплощения в литературе, что проявилось прежде всего в поэзии (Х. Смирненский, Гео Милев и др.). В такую социалистическую по духу литературу, впоследствии получившую в Болгарии название «новый» или «художественный» реализм, входят и многие другие прогрессивные писатели следующего поколения (Х. Радевский, М. Исаев, Н. Вапцаров и др.).

Культурная политика Отечественного фронта, пришедшего к власти в стране в сентябре 1944 г., поначалу была направлена на консолидацию всех демократических сил. На 1-ой национальной конференции болгарских писателей (1945) основным художественным методом был провозглашен реализм, что предполагало дальнейшую свободную творческую конкуренцию различных его направлений. Однако последовавшие политические события в стране предопределили скорую и безусловную победу социалистического реализма, ставшего на многие годы «единственно правильным», а значит и единственно разрешенным методом болгарской литературы. Жесткие его требования возводили перед литературой трудно преодолимые преграды, препятствующие проявлениям творческой индивидуальности, художественному экспериментаторству, свободной мысли. Однако уже в 1940–50-х гг. официальной критике приходилось искать выход из ряда противоречивых ситуаций, куда писателей за-

гоняло следование догматическим канонам метода. Найти его можно было только путем отказа от наиболее косных нормативов эстетической программы метода, расширения творческой инициативы писателей, отхода от принципа абсолютной социально-политической детерминированности литературы. Несмотря на сопротивление наиболее правоверной части критики, литературное развитие пошло именно по этому пути. Государственно-партийное давление на литературу порождало и ответную реакцию – в творческой практике усиливалось противодействие этому давлению, выразившееся в необратимом процессе разрушения литературой многих запретительных норм и навязанных клише. В результате критика была принуждена почти каждое талантливое произведение болгарской литературы (по сути не имевшее никакого отношения к методу) записывать в актив социалистического реализма. Стало абсолютно очевидным, что художественная практика писателей, сама литература вступили в неразрешимые противоречия с постулатами метода, которые необходимо было подвергнуть, по меньшей мере существенному пересмотру. В 1970-х гг. ряд критиков постарались обосновать правомерность антидогматического и творческого, как они считали, нового подхода к социалистическому реализму, незыбленность которого в целом как метода они не ставили под сомнение. Ими была поддержана концепция метода как исторически открытой эстетической системы. В 1972–74-х гг. на страницах журнала «Пламак» прошла дискуссия, посвященная обсуждению актуальных проблем метода и его перспектив, главным результатом которой стало признание правомерным наследование и развитие социалистическим реализмом художественных достижений всех других методов. Был сделан серьезный шаг к устранению некоторых преград на пути естественного движения литературы. Однако никто из критиков не покушался на ревизию основных принципов метода, писателей по-прежнему продолжали упрекать в отступлении от классово-партийных критериев, социалистической идейности и пр.

Метод социалистического реализма представлял собой искусственную художественную конструкцию, созданную на идеологической основе. К концу XX века он ушел со сцены болгарской литературы. Осмысливая его путь, надо признать, что он препятствовал ее свободному развитию. В то же время необходимо учитывать и модификацию этого метода на протяжении всей его истории в Болгарии, постепенное размывание его жестких контуров и, главное, решительное и результативное противостояние ему самой литературы.

И. Э. Спивак (Бердянск)

Поэтика названия повести Б. Харчука «Вишневые ночи»

Украинский прозаик Борис Харчук (1931–1988) принадлежит к поколению писателей, которые в сложные времена духовного освобождения от тоталитарного режима обогатили литературу неортодоксальными тенденциями изображения мира и человека. В его произведениях художественно осмыслены общечеловеческие ценности, воссозданы особенности украинского национального характера, менталитета нации.

Изучение поэтики того или иного произведения предполагает особое внимание к его названию, которое «часто выступает тем перичным идейно-смысловым сигналом, который настраивает реципиента на необходимое для автора восприятие интерпретации сюжета (или мотива), а иногда и подсказывает читателю характер его переосмысления» (Нямцу 1999: 79) (перевод наш. – *И. С.*)

Повесть Б. Харчука «Вишневые ночи», написанная в ноябре-декабре 1985 года, посвящена болезненной для украинской литературы теме – восстановление советской власти на Западной Украине после отступления фашистов и преследование НКВД деятелей национального сопротивления – «бандеровцев». Произведение, определенное время пролежавшее в столе писателя, было напечатано в журнале «Киев» в 1989 г. Эта повесть стала одной из первых попыток художественного осмысления тогда еще советскими писателями кровавых событий братоубийственной войны на Волыни во второй половине 40-х годов.

Ядро сюжета составляют экстраординарные события: внезапно вспыхнувшее чувство между офицером НКВД Вячеславом Денисенко и повстанческой связной Калиной (Еленой Мартынюк), их бегство и гибель. Б. Харчук выстраивает экзистенциальную «пограничную ситуацию» (К. Ясперс), на грани жизни и смерти, что позволяет резко обнажить сущность человека. Писатель акцентировал дихотомию войны как источника смерти и страданий и любви как высшего проявления человеческого в человеке (по словам Э. Фромма, «любовь – единственно положительный ответ на вопрос о проблеме существования человека») (Фромм 1994: 206). Тема любви заявлена в своеобразном философском зачине повести «Вишневые ночи»: «Любов завжди індивідуальна й неповторна: гуртова притаманна навіть не всьому тваринному світу» (Харчук 1989: 20), который придает произведению притчевый характер. Эстетической цели повести подчинено максимально концентрированное художественное время – событийный сюжет охватывает только две весенние ночи.

Примечательно, что Б. Харчук изменил название повести: в первом варианте – «Украинские ночи». Выразительный акцент был поставлен, таким образом, на национальной тематике произведения, заявленной, на наш взгляд, слишком «прямолинейно». Выбор второго варианта названия – «Вишневые ночи»

– обусловлен лейтмотивом повести – запахом цветущего вишневого сада, который пробуждает человеческое в душах молодых людей, возвращая их к нравственным ценностям, усвоенным в детстве, к родовой памяти, пробуждает чувство принадлежности к одной нации.

Образ вишневого цвета связан с топомом шевченковской идиллии, отраженным в творчестве многих украинских писателей (И. Франко, М. Рыльский, В. Сосюра, Е. Маланюк, И. Драч и др.). Обонятельный образ – лейтмотив вишневого запаха – отсылает нас к подобному образу евшан-зелья (одноименная поэма Н. Вороного), обладающему способностью возвращать человеку историческую память.

Лейтмотивный образ повести, заявленный в названии, является аллюзивным и синтетическим (апеллирует ко многим ощущениям – зрения, запаха, вкуса), следовательно, отличается большей художественной глубиной по сравнению с первоначальным вариантом. Романтическая приподнятость образа «вишневых ночей», однако, контрастирует с трагичностью изображенных событий: в начальных сценах встречаем образ «зброшеного, уничтоженного сада» у дома Елены Мартынюк – «фронт зачепив танками і тягачами» (Харчук 1989: 22), что словно символизирует украинскую идиллию, разрушенную войной. Художественный мир повести строится на оппозиции любви и войны, жизни и смерти.

Мифопоэтичность финала подчеркнута фольклорным образом захоронения влюбленных в одной могиле – символ единения их душ в вечности. Так, Б. Харчук проводит мысль о том, что любовь сильнее смерти. Открытый финал повести вместе с притчевым зачином создают своеобразное обрамление произведения, придавая описанным событиям большей обобщенности, философичности. Повесть становится своего рода притчей о победе человеческого в человеке, об освобождении человеческого духа из-под тоталитарной власти, о возвращении украинцев к родовой памяти.

Нямцу 1999 – *Нямцу А.* Поэтика традиционных сюжетов. Черновцы, 1999. С. 79.

Фромм 1994 – *Фромм Э.* Анатомия человеческой деструктивности. М.: Республика, 1994. С. 206.

Харчук 1989 – *Харчук Б.* Вишневі ночі // Київ. 1989. № 1. С. 20–53.

Н. Н. Старикова (Москва)

Мировая поэзия в зеркале словенского художественного сознания (литературный проект «Песнь Орфея»)

В 1998 г. в Словении под редакцией Н. Графенауэра вышла книга «Песнь Орфея. Антология мировой поэзии в подборке словенских поэтов», инициатором создания которой выступил литературный журнал «Нова ревия». В число её составителей вошли тридцать два действующих поэта, представляющие

весь «срез» современной словенской поэзии: от участника Второй мировой войны Ивана Минатти (р. 1924) до представителя пост-постмодернистской генерации Алеша Штегера (р. 1973). Перед участниками этого амбициозного проекта была поставлена задача из всей глыбы мировой лирической поэзии отобрать десять «своих» стихотворений и в кратком эссе аргументировать принятое решение. При этом они имели право работать и с оригиналами, и со словенскими переводами и не были обязаны выступать переводчиками выбранных текстов. В результате оказалось, что для современных словенских поэтов мировая классика – это не только великие имена первого ряда, такие как Данте, Петрарка, Шекспир, Байрон, Гёте, Пушкин, но и очевидно менее известные широкой аудитории латыш Эдварт Вирза (1870–1940), финн Пааво Хаавикко (1931–2008), канадец Марк Стрэнд (р. 1934) и ряд других. В итоге в антологию вошли стихотворения ста тридцати двух поэтов от Софокла (5 в. до н. э.) до Хусто Хорхе Падрона (р. 1943), более половины книги составляют стихотворения XX в. Тон задают французская, английская, и русская поэзия, однако самым предпочтительным для словенцев автором оказался Р. М.Рильке – его переводы встречаются в книге восемнадцать раз. Формально на первом месте французы – восемнадцать имен, второе место заняли английские поэты – тринадцать авторов. Русская муза – третья – представлена в книге стихами Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Блока, Ахматовой, Мандельштама, Цветаевой, Хлебникова, Есенина, Маяковского, Пастернака, Бродского, она безоговорочно лидирует с точки зрения частоты обращения. Более половины участников проекта включили в свою «десятку» стихотворения русских поэтов. Здесь лидирует Мандельштам – он есть в подборке девяти составителей, Пушкин второй, на нем остановили выбор семь авторов, три из которых в качестве лирического эталона мировой поэзии представили стихотворение «Я вас любил...». Среди других славянских имен, вошедших в антологию, три польских: А. Мицкевич, Ч. Милош, З. Херберт, два сербских: О. Давичо, В. Попа, одно чешское: К. Г. Маха и одно хорватское: С. Михалич. В целом «Песнь Орфея» даёт представление о том, какие произведения мировой поэзии «прижились» на словенской почве, оставили свой след в сознании и культуре словенцев XX века.

Zvonko Taneski (Nitra)

Slovenská a macedónska literatúra vo vzájomných kontaktoch po roku 1945

Ak najprv preberieme všetky slovensko-macedónske paralely – politické, jazykové, literárno-kultúrne – zistíme, že vo väčšine prípadov išlo o podobnosť v najzákladnejších a najvšeobecnejších faktoch: nepriaznivý politický osud, zápas o živý národný jazyk a identitu so špecifickou problematikou, rozmach národnej literatúry. Napriek tomu macedónska literatúra najmä do roku 1945 bola prijímaná ako niečo

úplne odlišné od literatúry slovenskej. Neskorší vývoj macedónskej literatúry v celkom odlišných politických, hospodárskych, národných a kultúrnych podmienkach najviac ovplyvnil macedónsky básnik Kočo Racin (1908–1943), ale ten bol známy slovenskej kultúrnej verejnosti až neskôr – v období po druhej svetovej vojne, keď sa kontakt s macedónskym prostredím rozšíril a otvoril vplyvom, ktoré boli prepojené so zložitými historickými udalosťami. Tak napr. po II. svetovej vojne vznikol aj macedónsky preklad hymnickej básne/piesne slovenského autora Samuela Tomašika (1813–1887) *Hej, Slováci* z roku 1938, ktorá je mimo Slovenska známa pod názvom *Hej, Slavania* a označovaná ako všeslovanská hymna. Názov a incipit *Hej, Slavania* resp. *Hej, Slovan* sa najskôr začal používať v češtine a z vyspelého českého prostredia sa pieseň v tejto podobe začala šíriť po celej Európe. Na území bývalej Juhoslávie bola Tomášikova pieseň populárna rovnako v medzivojnovom období, ako počas druhej svetovej vojny. Istý čas bola aj juhoslovanskou štátnou hymnou (v Srbsku až do roku 2006). Macedónskym prekladateľom Tomášikovej básne bol Georgi Stalev – Popovski (1930) – básnik, literárny vedec a univerzitný profesor, ktorý prekladal mnohých významných autorov.

Slovensko-macedónska spolupráca tak nadobudla najväčšiu stabilitu práve v literatúre. O tom svedčí aj fakt, že macedónski prekladatelia po druhej svetovej vojne venovali istú pozornosť aj autorom zo staršej slovenskej literatúry (nie iba súčasným literárnym tvorcom, ktorí začali publikovať po roku 1945, ale aj autorom z minulých storočí ako aj autorom aktívnych do roku 1945) a usilovali sa o čo najúplnejší obraz slovenskej literatúry v macedónskom recepčnom prostredí. Preto sa do macedónčiny preložili malé výbery aj z tvorby Karla Kuzmányho, Ľudovíta Štúra, Sama Chalupku, Pavla Dobšinského, Svetozára Hurbana Vajanského, Pavla Országha Hviezdoslava, Ivana Kraska, Jána Smreka, Emila Boleslava Lukáča, Margitu Figuli, Laca Novomeského a ďalších (podrobnejšie záznamy predstavíme zo svojej systematickej slovensko-macedónskej bibliografie 1945–2010, ktorá obsahuje dve hlavné časti: 1. Macedónski autori a macedónska literatúra v slovenskej tlači, v kritických ohlasoch a v literárnovedeckých publikáciách v slovenskom a macedónskom jazyku; Macedónski autori v literárno-antologických publikáciách v slovenskom jazyku; Knižné vydania macedónskych autorov v slovenskom jazyku a 2. Slovenskí autori a slovenská literatúra v macedónskej tlači, v kritických ohlasoch a v literárnovedeckých publikáciách v macedónskom a v slovenskom jazyku; Slovenskí autori v literárno-antologických publikáciách v macedónskom jazyku; Knižné vydania slovenských autorov v macedónskom jazyku).

Macedónskej literatúre sa po roku 1945 venovali niekoľkí slovenskí prekladatelia, od 70. rokov intenzívne František Lipka (1946) a Ján Jankovič (1943). Popredný prekladateľ a básnik František Lipka viackrát zdôrazňuje, že «naozajstný rozvoj macedónskej poézie nastal až po druhej svetovej vojne, keď sa kodifikoval aj macedónsky spisovný jazyk. Macedónska poézia, rovnako ako poézie iných juhoslovanských národov, začína reagovať na novú skutočnosť». V povojnových rokoch 1945–1948 vyšlo na Slovensku veľmi málo článkov a prekladov z macedónskej literatúry. Vý-

ber bol poznačený povojnovou eufóriou, nástupom nových čias a budovaním inštitúcií. Po roku 1948 bola macedónska literatúra vnímaná v rámci československo-juhoslovenských vzťahov. Okrajoví a menej významní autori vychádzali iba ojedinele, dominovali texty významných autorov. Dôležité bolo, že preklady z macedónčiny sa z času na čas ocitli aj na stránkach rôznych časopisov, čo macedónsku literatúru a literatúru národov Juhoslávie politicky legalizovalo v celej slovenskej tlači. Nesmieťme však zabúdať ani to, že po skončení roztržky až do roku 1989 pretrvávalo v týchto vzťahoch isté ideologické napätie. Vo veľkej miere existoval aj tzv. «prekladateľský pragmatizmus» vo vzťahu k vydavateľom, dôraz sa kládol najmä na to, aby ideovo žiadané diela boli od autorov, ktorí písali novátorsky, invenčne a umelecky pôsobivo. Pragmatizmus spočíval aj v tom, že prekladatelia napriek monopolizácii vydavateľskej činnosti distribuovali diela významných autorov do niekoľkých vydavateľstiev. V týchto súvislostiach treba zdôrazniť, že napr. novosadské vydavateľstvo Obzor/Kultúra bolo veľmi produktívne a preto treba pripomenúť, že niekoľko umelecky a ideovo významných prekladov z macedónskej literatúry do slovenčiny vyšlo v bývalej Juhoslávii (vo Vojvodine), ale ich prienik na Slovensku bol minimálny. Spoluprácu vydavateľstiev zo Slovenska a bývalej Juhoslávie «treba chápať ako doklad jednoty a celistvosti slovenskej kultúry» (Ján Jankovič).

Tzv. «nezná revolúcia» v novembri 1989 v Československu ako aj rozpad Juhoslávie (1991) priniesli demokratizačné tendencie, ktoré spôsobili množstvo prevratných zmien takmer vo všetkých oblastiach spoločenského života. Tieto zmeny sa odrazili aj v literatúre. Preto sa zdá, že z hľadiska terajšieho stavu celého systému slovensko-macedónskych literárnych a kultúrnych vzťahov, ktoré samozrejme pretrvávajú aj dnes, treba objektívne preskúmať ich nedávnú minulosť. Nie je jednoduché poukázať na to, čo usúvzťažňovalo vzťahy oboch týchto národov, pretože literatúry tzv. malých národov sú oveľa užšie spojené so všeobecným národným životom a aktuálnymi otázkami národno-spoločenského charakteru než literatúry tzv. veľkých národov. Obojstrannou úlohou bude preto aj naďalej vysvetľovať podobnosti a rozdiely, ako aj odhaľovať, ukazovať textové a kultúrne súvislosti medzi týmito dvomi literatúrami. My sme tradíciu týchto národných vzťahov chápali na nevyhnutnom slovanskom pozadí a tradíciu v oblasti umeleckého prekladu zas ako súčasť integračného a intelektuálneho pohybu v Európe.

O. В. Харлан (Бердянск)

Украинская и польская литературы межвоенного двадцатилетия: катастрофические ландшафты

Украинская и польская литературы в период между двумя мировыми войнами в силу исторической ситуации развивались неоднозначно. Пережив Первую мировую войну, которая для обеих наций стала ужасным испытанием и поводом для осмысления своего будущего существования, литературы вписа-

лись в рамки сложившихся обстоятельств: Польша обрела независимость, а Украина, пройдя через многочисленные битвы и восстания, осталась разграниченной и псевдонезависимой в пределах СССР. Нельзя, конечно, делать вывод о большей или меньшей от этого активности литературного процесса, но, безусловно, такое положение по-своему влияло на литературу, детерминируя ее функционирование.

Сразу обусловим использования дефиниции «межвоенная литература», поскольку в украинском литературоведении, в отличие от польского, где она общепринята на терминологическом уровне (Kwiatkowski 2002: 5), к ней обращаются время от времени. Факт о выделении в украинском литературном процессе периода межвоенного двадцатилетия зафиксирован в «Истории украинской литературы XX века» (Історія 1993), но он ограничен хронологическим подходом: это 1910–1930-е гг. Использование вышеуказанного ограничения можно аргументировать, во-первых, общественно-историческими условиями. В начале этого периода Украина имела неудавшуюся попытку решить вопрос своей независимости, но за два десятилетия почти все этнические украинские земли были объединены в советском пространстве. Тем не менее, вхождение украинских земель, кроме УССР, в состав различных государств (Польша, Румыния), позволило художникам быть включенными в инонациональную литературную жизнь, что способствовало ее обновлению и определению как отдельной от общенациональной. Во-вторых, историко-литературными факторами, поскольку в конце первого – начале второго десятилетия XX века в украинской литературе происходит «смена литературных поколений» (И. Дзюба). Из жизни ушли М. Коцюбинский, Леся Украинка, И. Франко, эмигрировали А. Олесь, С. Черкасенко, М. Шаповал, В. Винниченко, М. Вороний, В. Самийленко, расстрелян Г. Чупринка (1921). Это обозначило конец раннего этапа украинского модернизма с его национально-культурным мифотворчеством, программой гуманизации и универсализации мира. Пришло новое поколение с нравственным бременем побед и поражений борьбы за национальную независимость, с пониманием своего пути Украины в мировой истории, независимых в суждениях, с разнообразными идеями относительно развития украинской литературы, когда, по выражению С. Павлычко, литература «получила значительно более широкую, чем когда-либо, аудиторию. Рос уровень образования этой аудитории. Впервые в литературе работало большое количество писателей и интеллектуалов. Впервые украинские ученые говорили с кафедр национальных университетов. Впервые бурно дифференцировались отдельные художественные направления, группы, школы» (Павлычко 1997: 170). Поэтому можно говорить, что новые явления в исторической жизни, культуре, политике, быту определяют 1918–1939 гг. как отдельный период в развитии литературы, ход которого был прерван началом Второй мировой войны.

Одновременно в этом периоде следует выделить отдельные этапы, которые подчеркивают особенности исторической и общественно-культурной жизни.

На сегодня в польском литературоведении выделяют следующие: 1918–1932 (относительно прозы разделяя еще на две части: 1918–1926 и 1926–1932) и 1932–1939 годы (Kwiatkowski 2002), а в украинском, в целом выделяя двадцатые и 30-е годы (Павличко 1997), иногда делают некоторые уточнения. Так, Ю. Лавриненко говорит о 1917–1933 гг., ассоциируя именно это время с символическим названием «расстрелянного возрождения», и периоде после 1933 года, когда «современные «глуповцы» с какой-то убийственной последовательностью, с безошибочностью какого-то противокультурного инстинкта отвергли прежде всего художественно лучше и сильное, оставив себе лишь халтуру и слабость» (Розстріляне 2007: 12). Вероятно, логичнее будет выделение в данном периоде еще двух (как и в польской прозе): 1917–1927 (до приглушения литературной дискуссии) и 1927–1933 годы, после чего украинская литература уже безвозвратно в то время разделилась на два потока: советский и эмиграционный, характеризуя которые С. Павлычко говорила о двух условных дискурсах: Киева – Харькова и Львова – Праги (Павличко 1997: 171). При этом следует помнить, что дискурс Львова был и дискурсом Варшавы, следовательно, украинская и польская литературы функционировали в одном пространстве, будучи приближенными в силу государственной принадлежности, но переживая разъединение вследствие, в значительной мере, недальновидной политики польского правительства относительно украинцев.

Таким образом, можно говорить о почти полной хронологической синхронности периодов украинской и польской литературы межвоенного двадцатилетия, но несколько различное их содержательное наполнение. Когда польские писатели имели возможность в течение всего этого времени развиваться в рамках индивидуальной свободы, свободного выбора тем и стилей, независимой критики, активного ознакомления с достижениями мирового искусства, то украинские, особенно после 1933 г., в советской Украине переживали полную унификацию, нивелирование творческой специфики и перевод на «единственно правильные» соцреалистические рельсы; литература, которая существовала в Западной Украине и в эмиграции, не могла полностью заменить весь пласт физически и морально уничтоженных авторов.

Когда в Украине на руинах общественной и культурной жизни в 30-х годах звучали «счастливые» голоса соцреалистического наполнения, то в Польше именно тогда с наибольшей силой звучали апокалиптические предостережения относительно будущей катастрофы. Известно, что наиболее отчетливо дух эпохи выразился в комплексе идей и представлений, в которых концептуализировались ощущения о ранее неизвестных могущественных силах, подчинявших всю жизнь человека.

Одна из существенных особенностей литературного процесса межвоенного двадцатилетия заключается в том, что здесь, наряду с относительно целостными литературными явлениями, действовали художественные тенденции, кото-

рые тяготели к созданию направлений, но по тем или иным причинам не кристаллизовались в историко-литературную систему. Они, создавая некоторое время что-то вроде литературного направления, становились почвой для эстетических поисков следующих литературных направлений, течений, школ. Таким, по нашему мнению, стал катастрофизм – идейно-эстетическая тенденция в литературе межвоенного двадцатилетия, не выработавшаяся в отдельное литературное направление, но проявившееся на разных уровнях и в разных моделях художественных поисков того времени.

- Історія 1993 – *Історія української літератури ХХ ст.* : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / за ред. В. Г. Дончика. Київ, 1993.
- Павличко 1997 – *Павличко С.* Дискурс модернізму в українській літературі : [монографія] / Соломія Павличко. Київ, 1997.
- Розстріляне 2007 – *Розстріляне відродження* [антологія 1917–1933 : поезія – проза – драма – есей / упорядкув., передм., післям. Ю. Лавріненка; післямова Є. Сверстюка]. Київ, 2007.
- Kwiatkowski 2002 – *Kwiatkowski J.* Dwudziestolecie międzywojenne / J. Kwiatkowski. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2002.
- Werner 1992 – *Werner A.* Katastrofizm / A. Werner // *Słownik literatury polskiej XX wieku.* Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. S. 445–453.

О. Б. Червенко (Бердянск)

Флористическая символика болгарских лазарских песен: сопоставительный аспект

В системе фольклористики важное место занимает вопрос ее локальной специфики. Изучение этой специфики приобретает особенное значение, если объектом исследования является творчество народа, проживающего вне своей метрополии. В этом аспекте интересным и перспективным, на наш взгляд, является исследование фольклора приазовских болгар.

Произведения их народного творчества уже были в поле зрения ученых: Я. Конева «Народно-песенная культура болгарской диаспоры в Украине» (Конева 1992), Н. Шумада «Спільні риси болгарської та української епічної пісенності» (Шумада 1970), І. Стоянов «Давні лексичні елементи в народних піснях болгар України й Молдови» (Стоянов), Н. Михина «Состав и функции именованных женских персонажей в болгарском фольклоре» (Михина 1994b), «Состав и функции именованных мужских персонажей в народных песнях болгар Украины и Молдовы» (Михина 1994a) и др.

Их работы были посвящены разнообразной тематике, в частности, систематизации приведенных народного творчества по жанрам, тематическим группам, изучение возрастного и тендерного фактора носителей фольклора и т. п.

Малоизученными остаются отдельные вопросы локальной специфики болгар Приазовья, а именно, поэтика, жанровая специфика фольклора и т. д.

Исследование специфики любого явления требует сопоставления его с аналогичным коррелятивным процессом. На наш взгляд, интересным и перспективным является сравнительный анализ фольклорных произведений приазовских болгар с аналогичными по жанру произведениями болгар метрополии. Материалом для нашего исследования стали лазарские песни, собранные в Приазовье и на территории Болгарии.

Песня представляет собой сложное словесно-музыкальное произведение, одной из характерных черт которого является наличие символики. Как правило, символами в песнях выступают объекты окружающего мира: фауна, флора, названия небесных тел и т. п.

Целью нашего исследования является анализ растительной символики в текстах лазарских песен. Этот жанр занимает важное место среди обрядовых лирических песен.

Анализ текстов исследуемых песен показывает, что универсальными для лазарских песен, зафиксированных в Приазовье и в Болгарии, являются следующие слова-символы: *босилек, гора, градина, дърво, жито, капина, китка, копрова, листя, нива, поле, поляна, просо, пшеница, ружа, трева, трендафил, цвете, ябълка*.

Задача нашего исследования состоит в выявлении смыслового объема символического значения одной из самых употребительной лексемы – *босилек*.

Особенностью этого символа является его многозначность. Это объясняется его различными свойствами – внешним видом, ароматом, биологическими свойствами, применением в народной медицине, знахарстве.

В песнях приазовских болгар базилик наделен следующей символикой:

1. праздник: речь идет о том, что накануне праздника в воскресенье рано утром двор украшают букетами из базилика: «...*чи ги е примела / с китка бял босилък*» (Кауфман 1982: 615).

2. в другой песне Приазовья парень просит свою мать женить его, мотивируя это тем, что он – молод, и его любят девушки: «...– *Жени ма, мамо, годи ма, / дорде съм младо, зелено, / дорде съм китка босилек, ...*» (Кауфман 1982: 639). Как видим, в данном случае базилик является символом молодости, мужской красоты.

3. весна: обращаясь к Лазарю, поющие радуются приходу весны, цветению базилика: «...*И моравата люлика / И кичастия бусиляк*» (Песните 2002: 29).

Что касается песен метрополии, то здесь василек имеет следующее символическое значение:

1. счастливая семейная жизнь: базилик – это растение, широко применяемое в народных обрядах. Девушка, которая хочет удачно выйти замуж и быть счастливой, плетет венки. Парень, если хочет на ней жениться, по традиции этот венок забирает: «...*на венецот девет китки, / девет китки босилкови, / десета-та, подлескова*» (Арнаутов 1962: 355). В песне «Златари и мома» девушка сеяла базилик, желая, чтобы выросли драгоценные камни: «...*ран босилек сеяла. /*

Не ся роди босилек...» (Арнаутов 1962: 370). Поэтому, когда пришли «ювелиры» (сваты), то они оценили не камни, а невесту: «...*в градината, в босильоко. / Си извади фърчко ноже, / си посече бел босильок...»* (Арнаутов 1962: 411).

2. трудолюбие: в лазарских песнях тесно переплетены между собой такие образы, как любовь, труд, дом, природа, надежда на хороший урожай. В данном случае это символическое значение обраховано вследствие метафоризации признаков базилика. У пахаря оглобли сделаны из базилика, который пахнет так, что пробуждают природу: «...*босилкьови му жеглите. / Босильок млогу мереше...»* (Арнаутов 1962: 433).

Таким образом, проведенное нами исследование показывает, что объем символического значения растения *босилек* в лазарских песнях приазовских болгар является более широким, чем в аналогичных песнях метрополии. Объяснение этому, на наш взгляд, – во влиянии украинского народного творчества.

Перспективой нашей дальнейших исследований является дальнейшее сопоставительное изучение флористической символики болгарских народных песен.

Конева 1992 – *Конева Я.* Народно-песенная культура болгарской диаспоры в Украине : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.09 / КГУ им. Т.Г. Шевченко. Киев, 1992.

Шумада 1970 – *Шумада Н.* Спільні риси болгарської та української епічної пісенності // Исследования в честь на академик Михаил Арнаутов. Юбилеен сборник. София: Издательство на БАН, 1970. С. 359–366.

Стоянов – *Стоянов I. A.* Давні лексичні елементи в народних піснях болгар України й Молдови // Болгаристика в системі общественных наук: опыт, уроки, перспективы. Тезисы докладов и сообщений Второй всесоюзной конференции по болгаристике (II Дриновских чтений). Харьков, 1991. С. 143–144.

Михина 1994a – *Михина Н.* Состав и функции именованій женских персонажей в болгарском фольклоре // Актуальные вопросы теории языка и ономастической номинации: сб. научн. статей. Донецк, 1994. С. 115–131.

Михина 1994b – *Михина Н.* Состав и функции именованій мужских персонажей в народных песнях болгар Украины и Молдовы // Восточноукраинский лингвистический сборник. Донецк, 1994. С. 100–108.

Кауфман 1982 – *Кауфман Н.* Народни песни на българите от Украинска и Молдовска ССР: в 2 т. София: Издателство на Българската Академия на Науките, 1982. Т. 1.

Песните 2002 – Песните на Бердянските българи / Събрал и наредил Ат. Вас. Върбански. София, 2002.

Арнаутов 1962 – *Арнаутов М., Вакарелски Хр.* Българско народно творчество: в 12 т. София: Български писатели, 1962. Т. 5.

Е. Е. Бразговская (Пермь)

Милош – переводчик Милоша

Переводческая деятельность Чеслава Милоша рассматривается в контексте *литературного билингвизма*, аспектами которого выступают создание текста на другом языке, перевод и автоперевод (Grosjean 2010). Ситуация многоязычия (контекст всей творческой жизни Милоша) предопределила его профессиональный интерес к проблемам философии языка: существованию человека в языке (*zadomowienie się w języku*), переходу из одного языкового «дома» в другой.

По числу страниц Милош-переводчик доминирует над Милошем-поэтом (Czarnecka 1983). Перевод понимался им, прежде всего, с философской точки зрения: это основной механизм отношений человека с миром, языком и культурой. Как переводчик-практик, Милош расширил многоаспектную модель перевода, предложенную Р. О. Якобсоном (межъязыковой перевод, интраязыковой, межсемиотический). У Милоша это четырёхмерная модель.

1. Поэт выступает посредником между миром и человеком. Текст – инструмент **перевода мира на (вербальный) язык**: ... *uporządkować rzeczywistość i tłumaczyć na język* (Miłosz 2000).

2. **Межъязыковой перевод** – мост между культурами. Милош известен как переводчик Библии (на польский язык). В Беркли он считал своим долгом «представлять» польскую и русскую поэзию англоязычному читателю (издание антологии «Postwar Polish Poetry», переводы текстов И. Бродского и др.).

3. Неединичны для Милоша и опыты **интраязыкового перевода**. Речь идёт о жанре текстов, в структуру которых включаются авторские комментарии-метатексты («Niebo», «A Philosopher's home»).

4. Практика **межсемиотического перевода** (создания вербального метатекста о текстах живописи) реализована, например, в сборнике «То» (2000): «O! (Gustav Klimpt)», «O! (Salvator Rosa)».

Автоперевод (непосредственный предмет данной работы) можно рассматривать как вариант межъязыкового перевода, выполненного автором текста¹. Одновременно в автопереводѣ сильна интраязыковая составляющая. Ч. Милош, как и И. Бродский, считает, что поэт, даже в случае создания текста на другом языке, не выходит полностью из пространства родного языка:

Моё мышление очень тесно связано с коконом того языка, в котором я родился. Языковое мышление – это особенность моего личного билингвизма. Даже оставаясь в среде английского языка, я ощущаю влияние польского (Miłosz 2006).

¹ Понятие *автоперевод* не тождественно понятию «*авторизованный*» перевод (авторская стилистическая правка перевода, выполненного другим человеком).

Автоперевод меняет систему отношений между исходным текстом (оригиналом) и текстом вторичным (переводом). Текст автоперевода также является авторским текстом. Таким образом, в анализе транслингвистической практики устанавливаюся отношения между двумя текстами одного автора.

Милош стал переводчиком Милоша по ряду причин. Это недовольство качеством переводов, выполненных другими переводчиками. Начиная с 1970 г., Милош считал необходимым редактировать их тексты. Неизбежно приходило стремление общаться с англоязычной читательской аудиторией без посредников. Как оказалось, в большей степени Милоша удовлетворяли собственные переводы. Он хотел быть не просто известным, но *правильно* воспринимаемым в англоязычной среде как поэт и мыслитель. Так создавалась «стратегия самопрезентации» (Karwowska 1998).

В Беркли (с 1960 г.) Милош остро переживал, что для американской общестственности он известен как профессор славистики, переводчик, эссеист, но не поэт. Поэтическая карьера в Америке началась с выхода на английском языке сборников «Selected poems» (1978), «Bells in Winter» (1978), «Selected poems» (1983), «The Witness of Poetry» (1983). Качество переводов, сделанных Милошем самостоятельно или в соавторстве с его студентами (Ричардом Лоури) и друзьями-поэтами (Робертом Хассом, Леонардом Натаном, Робертом Пински), обеспечило рецепцию Милоша в среде его второго языка (Carpenter 2003).

Сопоставительный анализ польскоязычных оригиналов Милоша и автопереводов на английский язык проводится на примере текстов, посвященных проблеме философии языка: «Veni Creator», «Na trąbach i na cytrze» («With trumpets and zithers») и др.

Переводы Милоша опровергают известное положение Р. Фроста: *essential poetry is untranslatable; in other words, that poetry is better, the less translatable it is*. Ср.: в Нобелевской лекции Милош также упоминает о непереводаемости польской литературы и своих поэтических текстов, в частности.

Переводческую стратегию Милоша отличает установка на резистивный перевод: максимальное приближение к своему «оригиналу», нежелание использовать стилистические приёмы принимающего языка. По существу, он создаёт очень точные переводы, сохраняющие важнейшие особенности своей стилистики: форму, сопрягающую пространства поэзии и прозы (*forma bardziej pojejna*); текстовую полифоничность, многоязычие (*multivocal text*); ритм; принцип «дистанцированности» от объекта речи и говоримого и др. В переводах Милоша учтены «разрывы» (*gaps*) между текстовой памятью, системой концептов англо- и польскоязычного читателей. Например, увеличивается степень эксплицитности интертекстуальных отсылок и др. Подобная самопрезентация, как ни парадоксально, ближе не к переводу, а к созданию текста на английском языке.

В ходе работы над переводами своих текстов Милош осмыслял **возможности билингвального мышления**. Создание текста на другом языке позволяло

видеть родной язык в некотором «отдалении», обнаруживая в нем ранее не замеченные возможности. Одновременно происходило открытие новых возможностей выражения и на втором языке. В пространство американской культуры Милош (как и Бродский) вносил собственный способ употребления языка (английский язык с польским акцентом). В сопоставлении «характеров» двух языков (*językowy wumiar*), рождалось обострённое чувство Языка как такового. Автоперевод открывал не замеченные (автором!) смысловые оттенки собственного «оригинала».

Grosjean 2010 – *Grosjean F.* Bilingual: Life and Reality. Harvard: Univ. Press, 2010.

Czarnecka 1983 – *Czarnecka E.* Podróżny świata: rozmowy z Czesławem Miłoszem i komentarze. New York: Bicentennial Publishing Corporation, 1983. S. 365.

Miłosz 2000 – *Miłosz Cz.* Ziemia Ulro. Kraków: Znak, 2000. S. 72.

Miłosz 2006 – *Miłosz Cz.* Conversations. Mississippi: University Press of Mississippi, 2006. P. 4.

Karwowska 1998 – *Karwowska B.* Czesław Miłosz's Self-presentation in English-speaking Countries // *Canadian Slavonic Papers*. Volume: 40. Issue: 3/4. 1998. Pp. 273–278.

Carpenter 2003 – *Carpenter B.* The gift returned: Czesław Miłosz and American Poetry // *Living in Translation: polish writers in America* / Ed. by Halina Stephan. Amsterdam – New York, 2003. P. 48.

Г. М. Васильева (Новосибирск)

«Фауст» И. В. Гете в переводе А. Овчинникова как источник реконструкции славянской культуры

«Фаустъ. Полная немецкая трагедия Гёте, вольнопереданная по-русски А. Овчинниковым» (Рига, 1851 г.) представлена в единственном прижизненном издании.

Овчинников создает авторское художественное произведение, насыщенное экуменической дидактичностью («Человек ничего не может понять без образов»). Овчинников хорошо знает историю славянских древностей и мифологию, обычаи родной и чужой старины. В предисловии он пишет: ««Надобно было перебрать весь запас наших областных речений, общенародных поговорок и т. п. и при том, для большей выдержки знаменательности оригинала, надо было собраться со всем сказочным духом русского мудрословия», тем самым подчеркивая фольклорный характер своего перевода. В этой связи можно вспомнить не только авторские имитации фольклорных текстов, популярные в конце XVIII–первой трети XIX вв., но и многочисленные «народные песни», имеющие конкретного автора. По определению А. Овчинникова, «Фауст» Гёте – «притча» «с духом какой-то сказочности». Слово «притча» в Древней Руси обозначало вымысел, имевший благочестивое задание (в отличие от «баснословия» с устойчивыми отрицательными оттенками значения).

Стихи Овчинникова были созданы им вне жанровых рамок трагедии. Они представляют архаическую и былинно-песенную традицию. «Гей, птица воль-

ная ворь-Воронь! / Приказъ про вась: изъ этихъ сторонь / Лететь во все вороньи крылья / Чрезъ степь, бурьянь, черезъ ковылья. / За круть-крутизны, за высь-горы, / Въ те даль-далекя глубь-норы». Семантическая структура сюжета имеет глубокие корни и в фольклоре, и в нравственно-назидательной традиции. Это поистине огромный массив морализаторских сочинений – притч, «синодиков», «эмблемат» «лексиконов», снабженных лубочными иллюстрациями.

В переводе даны готовые риторические модели, издревле использовавшиеся искусством в качестве парадигмы для поэтических описаний и организации текста. Поэтика риторических фигур воспроизводит церковно-декоративный стиль: «Кто сбился въ трехъ заповедяхъ / Тот верно ходить въ доведяхъ». Знаменательно соотношение с церковнославянским и древнерусским языками («И такъ я есмь – и должень быть деловъ»), формы звательного падежа – «Мой старче!», и т. д. Стихи расположены на линии «словоизвития», идущей, через Епифания Премудрого, от русской агиографии Средневековья. Автор ведет поиск глубоких корней слов: «Основу «гриф» верней по корнеслову: / Графья, гребуля, грубый, грабля, гречь – / Ужь словотолку ты не поперець / Какъ въ-перекор толкуеть».

Морфологические аномалии в языке представлены устаревшими формами словоизменения либо их функционально-стилистическими эквивалентами. Корневая контаминация и аттракция словоформ порождают некий третий смысл («Требесить тамъ со знатными требесья»). Деривационные превращения корней создают новые метафорические ряды. Слово деформированное, с усеченной серединой или лексической частью бывшего целого все же обладает неким семантическим содержанием, пусть даже закодированным в глубинах внутренней формы. Поэт придает теме заостренную афористичность. Завершающая часть строф осознается им как эпиграмматический синкрисис. «Того-гляди, подымутся изъ тины / Все водяные...раскачаютъ море / И запируютъ снова – на просторе».

В силу лексической изощренности возникает «темный» текст. Этот стиль связан с образом имплицитного автора – народного философа-самоучки, читавшего ученые книги и стремящегося быть по-ученому убедительным. Происходит сплав таких элементов, как народное любомудрие (сопряженное с малограмотностью), «сциентизм» и лиризм. Подобное косноязычие чревато погружением в мучительное состояние «гомления по пониманию». А. Овчинников обладал лингвистической и литературоведческой эрудицией. Он увидел суть трагедии не в структуре действия, но в построении художественного мира Гёте. Образуются смысловые оппозиции: разумное – заговорная магия и музыкально-фонетическое словотворчество; рациональное – случайное, «наобумное». На этом пути возникает что-то вроде «неошишковизма», но не от неприязни к «чужесловам», а от желания расширить возможности языка.

А. А. Кожина (Минск)

Польские переводы Псалтири периода Реформации и проблема переводимости

Проблема переводимости всегда была одной из важнейших филологических проблем, она и до настоящего времени остается практически нерешенной. Экстремальное ее решение предполагает, что перевод является совершенно невозможным, поскольку, если язык определяет способ восприятия мира, формирования мыслей и концепций, а каждый язык является замкнутой культурной целостностью – невозможным является перенесение понятий и культур. Казалось бы, следующие польские переводы XVI–XVII вв. стиха Пс. 10:7 (9:28) полностью подтверждают это утверждение, поскольку для представления одного и того же понятия, названного в древнееврейском тексте лексемой *ʾāmāl*, они предлагают совершенно различные лексемы:

Wrób. – W ufciech ie^o pełno ielt gorzkości y zdradi Pod iezikiem iego fmutek y zalfc;

Leop. – Jego uftá pełné fą przekłéftwa / y gorzkości / y zdrady : á pod iezikiem iego praca y boleść;

Radz. – Uftá iego pełne fą złorzeczeńftwá / chytróci y zdrady / á podięzykiem iego uprzykrzenie y zlofc

Bud. – Przeklinánia uftá iego pełne / y chytróci y zdrady / pod ięzykiem ie^o boleść y nieprawość;

Koch. – Uftá iego przekłéftwa pełné / y zdrady: Język roztérki íeie / y krwáwe zwády;

Wuj. – Którego uftá pełné fą złorzeczeńftwá y gorzkości y zdrady: pod iezikiem iego praca y boleść;

Gdan. – Usta jego pełne są złorzeczeńftwa, i chytróci, i zdrady; pod językiem jego uprzykrzenie i nieprawość.

Существует, однако, и полностью противоположная точка зрения на заявленную выше проблему, согласно которой все переводимо, поскольку перевод осуществляется на поверхностном уровне – он представляет собой перекодирование неязыковых и универсальных глубинных структур, являющиеся общими для всех языков, невзирая на поверхностные различия.

Как представляется, приведенные выше примеры, скорее, являются иллюстрацией этого второго принципа, поскольку все имеющиеся разночтения уже были заложены древнееврейским текстом, даже несмотря на то, что в качестве оригинала, по крайней мере, половина авторов принимала латинский текст Вульгаты: *ʾāmāl* имеет значения ‘беспокойство, тревога, заботы, хлопоты, трудность, неприятности, болезнь, вред, повреждение, зло, ущерб’ и ‘тяжелый труд, работа’ (Gesenius 765). Кстати, и латинское *labor*, представляющее *ʾāmāl* в Вульгате, значит ‘напряжение, труд, работа’, но также и ‘трудность, бедствие, тяготы, мука, страдание, болезнь, боль’ (Дворецкий 2000, 435).

Подобная смысловая разбежка, безусловно, объясняется абстрактным характером переводимой лексической единицы. Еще Ч. Филмор отмечал, что изучение абстрактных понятий является весьма непростым занятием в силу того, что они относятся к числу наиболее неоднозначных, трудно постигаемых и интерпретируемых, так как представляют собой имена сложных ситуаций (Филмор 1983: 119). Однако именно этой ситуационность, как представляется, и является гарантом переводимости. Как отмечал Дж. К. Кэтфорд, «единицы языка-источника и принимающего языка редко имеют одинаковое значение в лингвистическом смысле; но они могут функционировать в одинаковой ситуации. Тексты в языке-источнике и принимающем языке или их элементы являются переводными эквивалентами, когда они взаимозаменяемы в данной ситуации. Вот почему Переводная Эквивалентность практически всегда может быть установлена на уровне предложения – предложение является единицей грамматики, наиболее непосредственно связанной с речевой функцией в данной ситуации» (Catford 1965: 45).

Действительно, именно наличие в ближайшем синтаксическом контексте трех существительных с абсолютно негативной семантикой (*'alah* 'напасть, бедствие' *mirmah* 'обман, ложь', *tok* 'мошенничество, обман', *'aven* 'беспокойство, тревога') позволило большинству переводчиков выбрать польскую лексему с соответствующим значением – *smutek* 'печаль, скорбь', *uprzykrzenie* 'отвращение', *rozterka* 'разлад, раздор'. Кроме того, в данном случае имело место влияние и более широкого ситуационного контекста, поскольку все приведенные переводческие версии создавались в устойчивой христианской традиции, и их авторы прекрасно представляли переносный смысл псалмов, о чем можно судить, в частности, из глоссы к рассматриваемому стиху в переводе Валентина Врубля (Wróblewski): *Nie dofyć I tak źle Antychryst będzie myślał ale też Złorzeczenia y bluźnienia bo on będzie Jefufa bluźnił To ięft, tylko smutek y załofc będzie on zadawał ludu świętemu*. Нельзя сказать, что католические переводы, автором (или редактором?) одного из которых был Ян Леополита Нич, а другого – Якуб Вуек, предлагали абсолютно неверное решение (лексему *praca*), поскольку связь труда и страдания в человеческом представлении и в семантике слова известна, см., например, (Толстая 1998). Кроме того, для потребителей последнего из переводов его текст был правильным априори: на несколько версий Вуека стала для поляков привилегированной; она сама стала критерием, навязывающим нормы всем последующим переводам.

Таким образом, можно предположить, что эквивалентность исходного и конечного текста в библейских переводах поддерживается ситуационным контекстом. При этом ситуационность должна пониматься широко и включать в себя также внелингвистическую ситуацию функционирования текста в церковной практике. В таком случае для потребителя текста правильным и адекватным будет любой знак такого текста, даже если он не совсем соответствует духу и букве первоисточника.

- Wróbl. – Zoltharz Dawidow, przez Mistrzá Wálántego Wroblá, niekiedy káznodzieję Poznán-skiego, na rzecz polską wyłożony. Kraków, 1567.
- Leop. – Leopolda. Faksimile der Ausgabe Krakau 1561. Paderborn etc., 1988.
- Radz. – Biblia Święta, to iest księgi Starego y Nowego Zakonu własnie z zydowskiego, grec-kiego i łacińskiego na polski język z pilnością i wiernie wyłożone. Brześć Litewski, 1563.
- Bud. – Biblia, to iest księgi Starego i Nowego przymierza z nowu z ięzyka ebrejskiego, grec-kiego, łacińskiego przełożona z predmową S. Budnego, jako tłumacza. Nieśwież, 1570; Zasław, 1570-72.
- Koch. – Psalterz Dawidów przekładnia Jana Kochanowskiego. Kraków, 1587/
- Wuj. – Biblia w przekładzie J. Wujka z 1599 r. Transkrypcja typu B. Warszawa, 2000.
- Gdan. – Biblia Święta, to iest księgi Starego y Nowego Przymierza z zydowskiego na polski przetłumaczone. Gdańsk, 1632.
- Дворецкий 2000 – *Дворецкий И. Х.* Латинско-русский словарь. Москва, 2000.
- Толстая 1998 – *Толстая С. М.* Труд и мука // Язык. Африка. Фультбе. - СПб.; М., 1998.
- Филлмор 1983 – *Филлмор Ч.* Основные проблемы лексической семантики // Новое в за-рубежной лингвистике. Вып. 12. М., 1983.
- Catford 1965 – *Catford J. C.* A linguistic Theory of Translation. Oxford: Oxford University Press. 1965.
- Gesenius – *Gesenius W.* Hebrew and English Lexicon of the Old Testament with an Appendix Containing the Biblical Aramaic. – Oxford, Clarendon Press w.y.

А. М. Носко (Бердянск)

Специфика перевода колоритной лексики произведений Михаила Коцюбинского

Имя известного украинского писателя-беллетриста конца 19 – начала 20 века Михаила Коцюбинского известно далеко за пределами Украины, благодаря тому, что еще при жизни автора ряд его произведений был переведен на многие языки, среди которых русский, шведский, немецкий, чешский. Именно высокий профессионализм переводчиков – М. Могилянського и А. Енсена – дал возможность читателям европейских стран не только познакомиться, но и полюбить самобытные произведения классика украинской литературы. Следует заметить, что и сам автор принимал активное участие в процессе перевода своих произведений на русский язык, помогая советами М. Могилянському и А. Енсену. Свидетельством тесного плодотворного сотрудничества в вопросах перевода, а именно сложных случаях поиска аналогов колоритной лексики, отражающей особенности украинского мироощущения, является эпистолярий Михаила Коцюбинского.

В письме к М. Могилянському от 19 декабря 1910 г. автор настоятельно рекомендует не переводить имена собственные, стремясь сохранить всю эффектность, красочность языка произведений: «*Імен у “Fata morgana” (та й взагалі у всіх оповіданнях) не варто перекладати. Нехай буде Гафіїка, Маланка і т. д., як в оригіналі. Це надає колорит*» (Коцюбинський 1985: 206). По той же причине, но уже в другом письме, писатель просит оставить в тексте лексику, при-

сущую только украинскому языку: *«Знаєте, я починаю думати, що ми мало дбаємо в оповіданнях з народного життя про український колорит, занадто “обрушаємо” оповідання. Так, мені здається, краще скрізь залишити в “F[ata] t[organa]” замість “барин, барчук, барський, господский, изба” – “пан, панич, панський, хата”»* (Коцюбинський 1985: 240).

Особый интерес вызывает письмо-комментарий, в котором Михаил Коцюбинский объясняет уместность резкого слова, употребленного им в одной из сцен произведения «В дороге». Так, он пишет: *«Тепер спеціально про “зади”. Як Ви пригадаєте собі, в оповіданні (“В дорозі”) я ніде не вживаю дуже грубих слів, а в останній сцені я зумисне ужив те грубе слово (однаково грубе як по-українському, так і по-російському). Мені хотілось цим грубим словом ударить читача, підчеркнути всю гидоту психічної реакції обивателя після хвильового підйому. Я так коротко описую останню сцену, що тільки різке, грубе слово викличе потрібний мені ефект. Слово “спини” усе стушує, зм’ягчить. Тому я гадав би, що, не вважаючи на неестетичність вислову, краще б залишити його у первородній грубості»* (Коцюбинський 1985: 225–226).

Однако и Михаилу Коцюбинскому не всегда удавалось найти полные либо близкие по смыслу соответствия для лексических единиц. В таких случаях писатель решался на радикальные изменения текста, о чем свидетельствует одно из писем А. Енсену: *«Охотно посылаю Вам объяснение непонятных слов из моего рассказа “На віру”. Некоторых фраз и предложений я не мог перевести на русский или другой какой-либо язык, так как они непереводемы. Их лучше совсем выбросить при переводе»* (Коцюбинський 1985: 231).

Как видим, преследуя цель качественного перевода, автор тесно сотрудничал с переводчиками своих произведений. При этом писатель допускал своеобразную миграцию, проникновение собственно украинской лексики в текст перевода, что предоставляло возможность русскому читателю насладиться спецификой украинской речи, ее поэтичностью, песенностью, образностью.

Коцюбинський 1985 – Коцюбинський М. Лист до Альфреда Єнсена від 5 серпня 1909 р., Чернівці // Коцюбинський М. М. Твори в 4-х т. Т. 4 / Упоряд. і прим. М. Грицюти. Київ: Дніпро, 1985.

В. А. Разумовская (Красноярск)

Русский художественный текст в славянских культурных решетках (на материале переводов романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»)

Выдвинув гипотезу существования текстовых и культурных решеток, А. Лефевр отмечал важность учета при переводе места оригинального художественного текста в решетке собственной культуры и вероятное место текста-продукта в решетке переводящей культуры. А. Лефевр утверждал, что существу-

ют культуры, текстовые решетки которых обнаруживают значительное совпадение, при котором оригинальный текст и переводной текст займут практически одинаковое место. Такие культуры в далеком прошлом имели общий культурный источник, что позволило им в дальнейшем сохранить определенное сходство. Примером могут служить французская, английская и немецкая культуры, основывающиеся на греко-римской античной традиции и обнаруживающие явное сходство культурных решеток. Значительное сходство можно обнаружить и у большинства славянских культур (Wierzbicka 1996). Некоторые культуры обладают уникальными текстовыми решетками, структура которых не имеет аналогов и характеризуется исконной гомогенностью (Bassnett, Lefevere 1998: 14). Яркими примерами гомогенных культур могут являться многие культуры Востока: китайская, японская, корейская. Естественно, данные культуры нельзя определить как культуры полностью изолированные, герметичные. Исторические пути развития данных восточных стран определили причины и формы их культурного взаимодействия. Примером может служить общеизвестное влияние китайской культуры на культуру Японии. Так, культурное своеобразие Японии нашло отражение и в своеобразии японской переводоведческой традиции. Данная традиция генерирована, прежде всего, потребностями культурных и экономических контекстов исключительно с Китаем и создала уже в IX веке методику аннотационного переложения китайских текстов (*kanbun kundoku*).

Таким образом, можно рассмотреть гипотезу, что специфика художественного перевода, обусловленная лингвистическим и культурными факторами, значительно усиливается при учете текстовых решеток, представленных в культурах, участвующих в процессе перевода. Рассматривая перевод как процесс коммуникации усложненного типа, существующий не только между двумя языковыми системами, а между двумя системами культур, необходимо учитывать и тот факт, что в данных культурах существуют синхронно фиксированные текстовые решетки. Учет данных решеток приобретает особую важность в процессе художественного перевода. Наряду с текстовыми решетками выделяются и решетки концептуальные (*conceptual grid*). Именно текстовые и концептуальные решетки регулируют когнитивные процессы в пределах родных культур. Успешность перевода ключевых текстов русской культуры на европейские языки определяется близостью культурных решеток языков перевода, литературной модой, а также престижностью культуры оригинала в культуре перевода. Одним из важных условий успешности перевода, несомненно, является и его качество.

Художественные тексты, включенные в текстовую решетку своей культуры, являются текстами ключевыми, неоднократно выступающими в качестве объекта перевода. Возможность существования нескольких переводов ключевых текстов конкретной культуры на один и более иностранный язык порождает явление переводной множественности (Чуковский, Федоров 1930; Ортега-и-Гассет 1991).

Категория переводной множественности является сравнительно новой категорией переводоведения. Данная категория выделяется, прежде всего, в художественном переводе, что обусловлено типом доминирующей информации художественного текста – информацией эстетической. Эстетическая информация, представленная в произведениях художественной литературы, воспринимается ее получателем в условиях информационной энтропии и неоднозначности, что порождает различные варианты ее декодирования как в условиях монологической, так и полилингвальной коммуникации. В теории перевода существуют различные точки зрения на сущность переводной множественности. Так, Ю. Д. Левин определяет переводную множественность как «возможность существования в данной национальной литературе несколько переводов одного иноязычного литературного произведения, которое в оригинале имеет, как правило, одно текстовое воплощение» (Левин 1993). Р. Р. Чайковский, полемизируя с Ю. Д. Левиным, не соглашается с возможностью существования переводов в «данной национальной литературе» и предлагает рассматривать явление переводной множественности в контексте переводной литературы как «третьей литературы», занимающей промежуточное место между иноязычной литературой и литературой языка перевода (Чайковский 1997). Различные точки зрения на явление переводной множественности не ставят под сомнение такие категориальные признаки данного явления как вторичность, синхронность и диахроничность, неисчерпаемость оригинала, что позволяет сформулировать постулаты переводной множественности (Чайковский, Лысенкова 2001).

Глубокий анализ явлений переводной множественности позволил Р. Р. Чайковскому прийти к выводу о том, что в каждом оригинале заложена возможность его перевода. Эстетическая неисчерпаемость оригинала обеспечивает потенциальную политекстуальность любого художественного произведения. По мнению исследователя, оригинал генерирует перевод, но индекс политекстуальности варьирует в зависимости от различных факторов.

Ряд художественных текстов национальных литератур (расположенных, вероятно, в узлах текстовых и культурных решеток) является центром переводческой аттракции и выступает регулярным объектом перевода как в синхронном, так и диахронном планах. Именно о таких художественных текстах исследователи явлений переводческой множественности и неисчерпаемости оригинала писали следующее: «С появлением оригинала возникает некое силовое поле, энергия которого может привести к появлению перевода» (Чайковский, Лысенкова 2001). У некоторых литературных произведений силовое поле оказывается настолько сильным, что оно сохраняет свой энергетический потенциал в течение многих десятков лет и даже веков. Так, переводчики из многих стран и живущие в различные исторические эпохи неоднократно обращались к античному поэтическому наследию («Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Энеида» Вергилия) и выбирали античные тексты материалом для переводческих турниров.

К национальному достоянию русской культуры, несомненно, относится роман в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Существование большого количества переводов на разные языки мира и наличие в ряде переводящих языков нескольких переводов свидетельствует о высоком индексе политекстуальности данного художественного произведения. Обширная историография переводов романа «Евгений Онегин» имеет синхронное и диахронное измерение и характеризуется высокой степенью полилингвальности. Каждый перевод романа имеет свои отличительные характеристики и особенности, получив определенную оценку читателей и специалистов. «Евгений Онегин» является одним из совершеннейших и своеобразнейших созданий Пушкина и, безусловно, одним из труднейших для передачи на любом иностранном языке (Алексеев 1964). Регулярное появление новых переводов романа отвечает устойчивой тенденции к межкультурному взаимодействию и сближению народов и позволяет внести определенный вклад в теорию поэтического перевода.

«Евгений Онегин» неоднократно переводился на языки славянских народов. Переводы романа в стихах А. С. Пушкина занимают особое место в культурном и литературном пространстве родственных славянских народов и являются объектом настоящего исследования.

В. И. Сидоренко (Санкт-Петербург)

К проблеме перевода «Петербургских повестей» Н. В. Гоголя на чешский язык

В начале января 1835 года выходит в свет сборник Н. В. Гоголя «Арабески», куда вошли «Петербургские повести». Наверное, самая необычная, самая фантастическая из них повесть «Нос». «Петербургские повести» можно истолковывать на четырех уровнях, принимая во внимание всю сложность и смысловую глубину повести «Нос», ее можно попытаться объяснить, вслед за С. А. Гончаровым, следующим образом. В буквальном смысле перед нами анекдот о пропавшем носе. В символическом плане – это потеря человеком самого себя как человека. В религиозно-философском плане эта история толкуется как притча о блудном сыне. В моральном плане – Ковалев потерял самого себя как божественную сущность.

Одним из способов донесения авторского подтекста до читателя являются реалии. Если говорить о непереводаемости, то именно реалии, как правило, и непереводаемы. Религиозно-смысловой подтекст повести бледнеет и теряется, потому что переводчики не обратили внимание на ряд исторических символов, включенных в религиозно-смысловую цепочку повествования. Главным образом, речь идет о двух понятиях – Воскресение (Воскресенский мост) и Вознесение (Вознесенский проспект). В повести эти реалии переведены методом транслитерации, из-за чего теряется скрытый в них глубинный смысл. Воз-

можно, следовало применить метод калькирования, несмотря на то, что название петербургских моста и проспекта звучали бы по-чешски немного тяжело-весно, или хотя бы снабдить перевод примечаниями.

Гончаров 1992 – *Гончаров С. А.* Творчество Н.В.Гоголя и традиция учительной культуры. СПб., 1992.

Г. П. Тыртова (Москва)

Типы буквализмов при переводе на сербский язык

Когда переводчик приступает к работе, он может в качестве стратегии своих действий выбрать текстуально точный перевод и выполнить его с соблюдением норм ПЯ, не изменив при этом план содержания (Бархударов 1975). Такой перевод будет считаться эквивалентным. Однако возможен и другой вариант: стремление к текстуальной точности перерастает в буквализм, при котором следы языка оригинала слишком заметны, т. е. полученный перевод «не дотрансформирован», осуществлён на более низком уровне, чем тот, который необходим и достаточен для эквивалентного перевода. Такой перевод называется буквальным, а все его проявления принято рассматривать в качестве недопустимых ошибок переводчика. Тем не менее случаи подобного перевода не редки и «...проистекают из недооценки тех или иных детерминантов перевода» (Швейцер 1988). Что может недооценить переводчик, с чем чаще всего связаны досадные огрехи? Анализ ряда переводов с русского и английского языков на сербский (Пипер 1985, Новаков 1989) показал, что существует несколько типов буквализмов.

Первый и самый простой из них, который Я. И. Рецкер называет «детской болезнью начинающих переводчиков», связан с межъязыковыми омонимами и паронимами:

Есть, слава богу, и сыр, и масло.

Ima, hvala bogu, i sira i masla.

Холицовая рубаха его была бедна.

Nosio je bijednu platnenu košulju.

В первом примере в сербском варианте должно быть употреблено существительное *maslac*, так как *maslo* обозначает «топлёное масло», а во втором случае уместно использование прилагательного *sirotašni*.

Второй, более сложный по сравнению с первым тип буквализмов состоит в использовании в переводе наиболее распространённого значения слова вместо контекстуального.

Раннее солнце играло в кустах за открытыми окнами.

Rano sunce igralo se u žbunju pred otvorenim prozorom

...начинал думать и бросал

Počinjao i odbacivao rešenja.

Переводчик дал словарные соответствия подчёркнутых русских слов, в то время как контекст подсказывает, что эквивалентами в первой фразе могут служить глаголы *prelívati se*, *titráti se*, а во второй – *napuštáti*.

Третий тип – пословный (покомпонентный) перевод фразеологизма оригинала. В этом случае на уровне слова переводится то, что должно быть передано с использованием единицы более высокого уровня (словосочетание).

Пламя появлялось на одну секунду, как будто кто-то пускал в толпу солнечных зайчиков.

Plamen bi suknuo za trenutak kao da je neko ogledalcem puštao u gomilu sunčeve zečeve.

Забрали у него всё до нитки.

Odnijeli mu sve do končića (эквивалентный перевод: *Pokupili su mi sve do zadnje krpe*).

Он опять было навострил ланты – поймали.

Он ponovo naoštri oranke – ponovo ga dočepaše (А. Н. Толстой использует в романе «Пётр I» не известный фразеологизм «навострил лыжи», а его вариант, для передачи которого в сербском языке более всего подошёл бы фразеологизм «*pritegnuti oranke*», имеющий в своей структуре общий с русским языком элемент).

Последний, **четвёртый** тип буквализмов можно назвать синтаксическим, так как он связан с полным копированием синтаксической структуры словосочетания или предложения оригинала.

Он ехал по широчайшим асфальтированным улицам.

Vozio se po najširim asfaltiranim ulicama

По их головам скакали гвардейцы.

Po njihovim glavama skakali su gardisti.

Высыпаются без них косы жёлтым песком.

Zasipaju se bez njih sprudovi žutim peskom.

Чтобы избавиться от этого рода буквализмов, в первом примере нужно употребить беспредложный творительный падеж, а во втором – другой предлог: *Preko njihovih glava jurili su gardisti na konjima*. Перевод последнего предложения станет, по мнению Б. Човича, эквивалентным, если заменить страдательный залог действительным, что более свойственно сербскому языку: *Zasipa bez njih žuti pesak sprudove* (Човић 1994).

Среди буквализмов последнего типа особый интерес представляют выявленные П. Новаковым при переводе с английского конструкции *ego bitka*, *pesak boja*, *Mona Liza smešak*, *Klio Lejn fan*. Подобное построение словосочетаний исконно нехарактерно для сербского языка, но переводчики тем не менее не используют правильные конструкции с постпозиционным употреблением в родительном падеже первого из существительных: *bitka ega*, *boja peska*, *smešak Mone Lize*, *fan Klio Lejna*. Возможно, такого рода примеры показывают, что для носителей сербского языка всё более привычными становятся множасиися в

последние десятилетия словосочетания с несогласованным определением, стоящим перед определяемым существительным (случаи типа *luks sapun, kamilica čaj* и под.).

Бархударов 1975 – *Бархударов Л. С.* Язык и перевод. М., 1975.

Пипер 1985 – *Пипер П.* О переводима из руске књижевности. Преводилачка читанка. Нови Сад, 1985.

Рецкер 1974 – *Рецкер Я. И.* Теория перевода и переводческая практика. М., 1974.

Човић 1994 – *Човић Б.* Поетика књижевног превођења. Београд, 1994.

Швейцер 1988 – *Швейцер А. Д.* Теория перевода. М., 1988.

Novakov 1999 – *Novakov P.* U četiri časa pre podne.// Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду. Књига XXVII, 1999. С. 99–106.

К. В. Федорова (Казань)

Проблемы межславянской интерференции при переводе

Тесная связь теории языкознания с практикой перевода составляет основу современной теории транслатологии. В связи с этим особую значимость приобретает научное обоснование языковых явлений, связанных с трудными случаями переноса, проникновения элементов родного языка в неродную речь, получивших в лингвистике номинацию «интерференция».

Настоящее исследование ориентировано на практику перевода как с русского на славянские (украинский, белорусский, болгарский, сербский, македонский, польский, чешский, словацкий, словенский), так и со славянских на русский язык. Актуальность выбранной темы обусловлена в первую очередь тем, что в современном языкознании полностью отсутствуют работы, в которых указанное явление анализировалось бы последовательно в сравнительном аспекте на основе данных многочисленных славянских языков, а также практически отсутствуют полноценные труды по теории и практике перевода славянских языков.

Целью данного исследования является формирование навыков адекватного перевода посредством составления полной картины межславянских лексических параллелей – так называемых «ложных эквивалентов», «ложных друзей переводчика» или «обманчивых языковых средств». Следует отметить, что данные достаточно распространенные термины для определения разных типов лексической интерференции являются слишком неопределенными, расплывчатыми и объемными. Нам кажется более уместным говорить о двух подвидах приведенных отношений: межязыковых (межславянских) омонимах и энантиосемах, занимающих особое место в ряду близкозвучных слов в славянских языках. Речь идет о лексемах, выражающих противоположные значения, развившиеся в результате семантических трансформаций одного, общего, корня. Сравним: русское *вонь*, болгарское *воня* (неприятный запах) и польское *woń*,

чешское *vině*, словенское *vonj* (аромат); русское *еда*, украинское *іда*, белорусское *еда* (пища) и чешское *jed* (яд); русское *насмешка*, болгарское *насмешка* (обидная шутка, издевка) и македонское *насмевка* (улыбка); русское *вредный*, болгарское *вреден* (ненужный, неважный) и сербское *вредности*, словенское *vreden* (полезный); русское *попирать* (ущемлять) и польское *popierać* (поддерживать) и т. д. И если о плодах межъязыковой омонимии пишут довольно охотно, то явление энантиосемии до сих пор остается несколько за кадром и нуждается в особом исследовании, учитывающем и закономерности исторического развития лексического состава языков, и особенности грамматического строя, и различия синтаксического управления каждого из языков.

Проблемы межславянской интерференции применительно к переводческой практике в первую очередь влекут за собой нарушение коммуникативной ценности высказывания. Феномен требует всестороннего изучения и полноценного научного комментирования ввиду возможности таких случаев, когда применение «ложного эквивалента» в конкретном контексте не вызывает самоочевидных противоречий, обманчиво уживается в нем. Переводчик, которого ввел бы в заблуждение внешнее сходство слов, мог бы перевести, например, со словацкого на русский так: «*Конечно* (наконец) наступило утро», «Современная молодежь умеет *вкусно* (со вкусом) одеваться», «Поляки *поправили* (казнили) Ивана Сусанин», «С рождением ребенка у нас появилось много *страстей* (забот)» и т. д.

Количество межъязыковых омонимов и энантиосем в современных литературных языках, постоянно вступающих в контакты с другими языками, велико, и это вызвало в современной лексикографии необходимость создать новый вид словаря – «словарь ложных друзей переводчика». В российской лексикографии он представлен такими книгами как «Англо-русский и русско-английский словарь «ложных друзей переводчика» под ред. В. В. Акуленко, «Немецко-русский и русско-немецкий словарь «ложных друзей переводчика»», составленный К. Г. М. Готлибом, работой В. А. Муравьева «Sous-amis или «ложные друзья» переводчика». Каждая статья в этих словарях делится на две части – иноязычно-русскую и русско-иноязычную, в которых заглавные слова связаны взаимосоответствием графической, отчасти и фонетической формы, и этимологической общностью, но различаются по ряду значений и, особенно, по оттенкам употребления. Необходимостью современного переводоведения мы считаем работу над созданием подобных словарей в сфере славянских языков.

Случаями, описанными в статье несколько не исчерпывается огромное разнообразие указанных соотношений между языками. В нашей работе описаны лишь наиболее частые и, по-видимому, наиболее яркие примеры расхождений в лексическом строе каждой отдельной пары языков и возможностей нахождения соответствий при переводе. Методы же разрешения переводческих трудностей представляют обобщенный типический интерес. Тем самым подробное изучение данного вопроса может послужить лингвистической базой для мето-

дических рекомендаций по преодолению интерференции при переводе на русский с одного из славянских языков, а также с русского на славянские языки. Они могут быть сведены к следующему: 1) выявление разной сочетаемости межъязыковых омонимов и энантиосем; 2) показ специфики их контекстного употребления; 3) изучение различий в стилистической маркированности; 4) углубленное исследование семантики слова в родном и неродном языке.

С. А. Шерлаимова (Москва)

Трудности перевода по Милану Кундере

Милан Кундера относится к проблеме перевода как лично заинтересованный писатель-романист, чьи произведения переведены и продолжают переводиться на множество языков. Он внимательно отслеживает качество этих переводов, постоянно делает замечания и дает советы переводчикам, в частности, Н. М. Шульгиной, которой он доверил переводы своих произведений на русский язык. Но Кундера не только писатель, но и профессиональный историк литературы, много лет преподававший мировую литературу в Пражской академии искусств и французских университетах, ему принадлежит большое число литературоведческих работ, в том числе – пять книг, он создал оригинальную теорию романа. Существенное место в его научном творчестве занимают вопросы перевода не только его собственных художественных произведений, но и вопросы теории. Он много пишет о природе трудностей в переводческой деятельности и формулирует свое представление о принципах художественного перевода. Исходя из главной задачи – точно передать смысл и стиль автора, Кундера решительно отвергает стремление переводчика «улучшить», «приукрасить» авторский стиль. На примере детального разбора разных переводов на французский язык одного предложения Франца Кафки, он доказывает, что подбор синонимов, устранение повторов одного и того же слова искажает эстетический замысел автора. У одних писателей словарь очень обширный и это создает красоту их текста, но вот красота прозы Хемингуэя основывается на ограниченности его словаря, повторяемости слов, таков его эстетический замысел. Так же и опрощение словаря Кафки есть его эстетический замысел и характерный признак красоты его прозы. Поправлять автора недопустимо – этот основополагающий тезис Кундера подкрепляет словами Стравинского, обращенными к дирижеру, который хотел сделать сокращения в его балете: «Не распоряжайтесь здесь, как у себя дома, приятель!» Кундера, понимая все трудности, тем не менее считает возможным адекватный перевод прозы на другой язык, в отличие от перевода поэзии, где потери неизбежны.

Взгляд Кундера сопоставляются в докладе со взглядами известного чешского теоретика перевода Иржи Левы. С некоторыми утверждениями Кундеры можно спорить, но в целом его концепция интересна и плодотворна.

Л. А. Алексеева (Бердянск)

Обогащение речи учащихся изобразительно-выразительными единицами на уроках словесности

Перед современной школой с особой остротой встает задача развития всех способностей человека, в том числе и способности владеть языком, различными стилями и жанрами речи. И это закономерно, потому что развитая речь оказывает влияние на становление и совершенствование интеллекта, эмоциональной сферы. В связи с этим основная цель учителей-словесников состоит в создании условий для языкового развития школьников, которые могли бы содержательно, связно и стилистически грамотно высказывать свои мысли.

В последние годы проблеме развития связной речи учащихся, в частности, такому ее аспекту, как работа над выразительными языковыми средствами текстов разных стилей на уроках словесности, уделяется большое внимание (В. Бадер, А. Власенков, Л. Вознюк, Е. Голобородько, В. Иваненко, Т. Кудрявцева, Г. Михайловская, В. Москвин, Н. Пашковская, М. Пентилюк, А. Сковородников, Л. Федоренко и др.). Однако и сейчас вопрос об определении ее содержания, структуры, путей повышения уровня осознанности учащимися выразительных единиц языка недостаточно разработан. Цель данного исследования – обратить внимание на важность постановки проблемы определения приемов обучения подростков свободному и творческому использованию выразительных языковых средств в речи.

Наблюдения за процессом обучения подтвердили, что многие учащиеся неспособны в должной мере воспринимать и оценивать изобразительно-выразительный аспект речевого высказывания. Подростки испытывают затруднения при построении диалогов, монологов, при написании сочинений, изложения эмоционально-экспрессивного характера. Причиной этого является недостаточное понимание учителями содержания работы над выразительными единицами языка, недостаточное количество в учебниках упражнений на восприятие, анализ, а также воспроизведение выразительных средств и нечеткость в системе проведения таких занятий. «Обогатить, уточнить и оживить мысль – главная задача при работе над художественным словом на уроках словесности», – акцентирует М. Рыбникова (Рыбникова 1963: 130).

Специфика изучения выразительных языковых средств требует не только наблюдения и интуитивного целостного восприятия, но и вооружения учащегося научно правильным алгоритмом для понимания природы выразительности речи. Единство и двусторонняя связь в процессе взаимодействия мышления и речи, подход к процессу их формирования с лингвистической, психологической, методической позиции открывают возможность для продуманной и четкой системы в работе со словом как средством выразительности языка.

«Речь усваивается, – отмечает Л. Федоренко, – если приобретается способность чувствовать выразительные коннотации (оттенки) лексических, грамматических, фонетических языковых значений. Усваивая грамматические и лексические значения, учащиеся чувствуют, как отражается (моделируется) в языке внешний мир, а усваивая способы выразительности речи, они чувствуют, как выражается с помощью языка внутренний мир человека, как человек выражает свою оценку действительности» (Федоренко 1988: 57).

Выразительность речи может достигаться разными способами и средствами: фонетическими, морфологическими, словообразовательными, лексическими, синтаксическими. В создании выразительности речи эти средства выступают комплексно. Основой предложенной экспериментальной системы работы над выразительными средствами языка, соответственно с поставленной целью и заданиями эксперимента, является теория поэтапного формирования и развития умственных действий учеников, что благоприятствует активизации мыслительной деятельности учащихся, развитию познавательных способностей, повышению культуры речи, навыков логического, последовательного воспроизведения информации и т. д.

Совершенствование умений и навыков учащихся воспроизводить выразительные средства языка в текстах разных типов и стилей речи будет результативным при таких условиях: определение места и этапов подготовительной работы по изучению выразительных средств на уроках языковедческо-литературного цикла, внедрение функционально-стилистического и социокультурного подходов в обучении, внутрипредметных и межпредметных связей, эффективных методов и приемов обучения и т. д. Наиболее эффективными будут методы беседы, объяснения, наблюдения, проблемного изложения материала, стилистического и лингвистического анализов, эвристических вопросов, сопоставления, тестовых заданий и т. д.

Работа над текстами разных типов и стилей речи на уроках языковедческо-литературного цикла является средством развития связной речи; благоприятствует совершенствованию уровня речевых умений и навыков, которые включают восприятие, понимание и анализ текстов, разных по содержанию, смыслом, тематикой, количеством выразительных единиц, типом, стилем, жанром речи; воспроизведение текста с творческим заданием. Л. Щерба отмечал, что обращение к художественным текстам постепенно формирует и создаёт «твёрдый зрительный образ слова, предложения, и, главное, твёрдую лингвистическую подготовку учеников» (Щерба 1957: 119).

Выразительности речи способствуют особые синтаксические конструкции (стилистические фигуры поэтического синтаксиса). В художественных текстах, в разговорном языке, в некоторых жанрах публицистики они усиливают эмоционально-экспрессивные возможности лексических средств. К показателям выразительности текста в основной школе относим употребление слов и словосочетаний в метафорическом значении. Метафоризации речи способствуют тропы – эпитеты, сравнения, метафоры, метонимии, синекдохи и прочие.

Система упражнений (аналитических, репродуктивных, конструктивных, продуктивно-творческих, грамматических, стилистических, коммуникативных, дифференцированных, комплексных) должна быть построена на основных этапах становления умений и навыков: воспринимать и понимать связное высказывание с использованием выразительных средств языка в устной и письменной речи; анализировать текст (определять тему, цель, микротемы, главную мысль, выразительные средства языка, тип, стиль, жанр речи, лексические значения слов и словосочетаний и т. д.); воспроизводить докладно, выборочно выразительные единицы (на основе одного и нескольких текстов), кратко, а также с творческим заданием тексты разных типов и стилей речи, телевизионные программы. Выразительность речи может достигаться разными способами и средствами: фонетическими, морфологическими, словообразовательными, лексическими, синтаксическими. В создании выразительности речи эти средства выступают комплексно.

Продуктивность речевой деятельности учащихся зависит от репродуктивности, то есть, чем выше уровень умений и навыков воспринимать, понимать и анализировать выразительные средства языка в текстах, связных высказываниях разных типов и стилей речи, тем выше уровень умений воспроизводить выразительные единицы в устной и письменной форме.

Экспериментальное обучение подтвердило, что разработанная методика способствует усовершенствованию современного учебно-воспитательного процесса, развитию связной речи учеников, их коммуникативных способностей, повышению качества работы над изложениями, сочинениями, пересказами.

- Рыбникова 1963 – *Рыбникова М. А.* Очерки по методике литературного чтения. М., 1963.
 Федоренко 1988 – *Федоренко Л. П.* Закономерности усвоения родной речи : Учеб. пособие по спецкурсу для студентов пед. ин-тов. М., 1988.
 Щерба 1957 – *Щерба Л. В.* Избранные работы по русскому языку. М., 1957.

Изабела Беккер (Гданьск)

Почему польские студенты не тукают? О любимых словах изучающих русский язык

В 2004 году Британский совет провел опрос относительно самого красивого слова английского языка. Опрошенными являлись неносители этого языка. Несмотря на лексическое богатство английского языка, самым красивым словом они выбрали слово *mother*, т. е. мать.

Похожий по своему характеру опрос был проведен посетителями польского общественного портала *grono.net*. Опрос, а точнее говоря, разговор на форуме *rosyjski czyli русский язык:*, в отличие от вышеупомянутого опроса, касался русского языка и получил заглавие *Ulubione słówko (Любимое слово)*. Респондентами были двадцати- и тридцатилетние интернет-пользователи: поляки, ук-

раинцы и русские. Ввиду ограниченного объема нашего доклада, высказываний двух последних национальностей мы рассматривать не будем.

Поскольку ответы посетителей вышеуказанного форума были довольно разные, мы сосредоточимся лишь на тех, которые часто повторялись или представляли особый интерес для нас как для лингвистов, которые исследуют русский язык как иностранный.

Итак, весьма богатой группой любимых слов среди изучающих русский язык считается группа т. н. ложных друзей переводчика. Напомним, что данный термин указывает на слова, схожие по произношению (в случае сопоставления польский – русский языки уже не по написанию), но отличающиеся по значению. Соответственно самым популярным словом исследуемого нами форума оказалось слово *зажигалка*, которое появилось в ходе форума 20 раз. Данное слово напоминает польскому учащемуся родное слово *rzygac*, т. е. «рвать».

Интересно рассмотреть также слово *писать*, которое выступило в форуме 2 раза, а также слово *пукать* (1 раз). Несомненно, у первого слова наличествует два значения в зависимости от ударения. Поскольку в польском слове *pisać*, обозначающем *изображение каких-либо знаков на бумаге*, ударение ставится на первый слог, ученики русского языка при назывании вышеприведенного действия ошибочно ставят ударение также в русском слове *писать*. Тем временем омоним русского слова *пукать* — *рикац* обозначает *тукать, стучать*.

Следовательно, группа ложных друзей переводчика присутствует в сознании изучающего русский язык уже на начальном этапе обучения. Поэтому среди любимых слов поляков выступают также слова *носки* (поль. *noski* – маленькие носы), *диван* (поль. *dywan* – ковер), *ковер* (поль. *kawior* – икра), *люстра* (поль. зеркала) и др.

Кроме того, особую группу представляют слова, напоминающие ученику слова их родного языка. Это хорошо видно на примере слова *tata*, которое поляк, плохо знающий русские буквы, прочитает как *мама*.

Также обратим внимание на слова, обязанные своей успешностью своей длине. Приведем два примера. Во-первых, это слово *достопримечательность* (13 раз), выступающее на начальном этапе обучения русскому языку. Во-вторых, это слово *общеобразовательный* (11 раз), которое очень часто появлялось на нашем форуме в сочетании со словом *лицей*.

Нельзя не упомянуть слова: *защищать, ощущать, ощущение*, так как они считаются предметом многих фонетических упражнений в рамках процесса обучения русскому языку, а также слово *черепаха*, которое выступило в форуме 13 раз. Его популярность можно связать с его встречаемостью в стихах и сказках для детей.

Некоторые слова, которые нравятся полякам из-за своего смешного звучания, напр. *намордник, безделушка, вертолет, мясорубка, насморк* и др.

Кроме того, польские ученики любят слова, тесно связанные с реалиями их школьной жизни, напр. слово *шпаргалка*, которое фигурировало в высказыва-

ниях трех респондентов, и слово *каникулы*. Последнее же пользуется большой популярностью в любом языке, однако у польских учеников оно может ассоциироваться также с песней группы *Бум* под заглавием именно *Каникулы*.

В лингвистическом аспекте интересны также слова *принтер* и *бутерброды*, которые заимствованы из английского и немецкого языков. Причем, как показывают результаты опроса Британского совета, этот факт неудивителен.

Также распространены слова с несколько лирическим оттенком. Поскольку неотъемлемой частью русского национального сознания считается загадочная русская душа, польские ученики *оказывают симпатию* словам тесно связанными с данной сферой психической деятельности, а именно словам: *любовь* (4 раза), *красота* (1 раз) и *красотка* (1 раз). Кроме того, полякам нравятся слова *чебурашка* (2 раза) и *матрешка* (1 раз).

Наконец, приведем примеры сленговых слов, которые часто используются участниками исследуемого нами форума. Нашим респондентам особенно нравится слово *клевый* и слова: *тачка*, *адидас*, *дискать* и др.

Из вышеизложенного следует, что самыми любимыми словами изучающих русский язык считаются слова группы т. н. ложных друзей переводчика, слова сложные для произношения, а также слова со смешным, по мнению поляков, звучанием. Поскольку подобные слова часто запоминаются при изучении любого языка, такое состояние не вызывает удивления.

Mum's the word, says the word. [http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4039185.stm]

Писать — Словарь на Грамота.ру

rosyjski czyli русский язык :) [<http://grono.net/rosyjski/forum/>]

И. В. Платонова (Москва)

Невербальная коммуникация в лингводидактике. Язык жестов у русских и болгар

Со второй половины XX века особое внимание лингвистов при изучении языка было направлено на его коммуникативную сторону, предусматривающую, как известно, не только вербальную коммуникацию, но и невербальную, играющую важную роль в процессе человеческого общения. Согласно новейшим исследованиям так называемого «языка телодвижений», невербальные средства занимают при передаче информации не менее 55–65%» (Пиз 1992: 10).

Из болгарских лингвистов, занимавшихся характеристикой жестов и вопросами их использования, следует назвать М. Виденова (Виденов 1982), Кети Ничеву (Ничева 1987), Петранку Георгиеву (Георгиева 1989), Андреану Предоеву (Предоева 1996). Проблеме паралингвистики посвящена кандидатская диссертация и ряд статей Галины Молховой – о вариативности, многозначности, поверхностной и глубинной структуре невербального знака и др.

Выбор жеста в связи с его, с одной стороны, вариантностью, а с другой – многозначностью зависит от ситуации, точнее, ситуационного комплекса. Однако в определенном человеческом обществе, получая социальный статус, некоторые жесты становятся общепотребительными и однозначными. И можно говорить о национальной специфике невербального поведения. В иностранном языке та часть невербальной коммуникации, которая связана с эмоциями – плач, смех и пр. – универсальна и понятна, но этого нельзя сказать о другой части, культурно и социально обусловленной, определяемой этическими нормами данного социума. В подтверждение этого положения Г. Молхова провела анкетирование 40 иностранных студентов, носителей различных языков: греческого, немецкого, шведского, испанского, румынского, арабского, корейского, китайского, монгольского, узбекского, конголезского, хинди. Оно показало, что из 22 произвольно выбранных невербальных знаков, часто употребляемых в болгарском социуме в коммуникативной ситуации «глаза в глаза», совпадают по форме и значению лишь 13; совпадают по форме, но имеют иное значение – 5; отсутствуют – 7 знаков; имеют то же значение, но различаются по форме – 6 знаков.

Непонимание или ошибочное понимание жестов может привести к недоразумению. Поэтому д-р Молхова, преподаватель Департамента языкового обучения ИЧС Софийского университета, подняла вопрос о включении в обучение иностранным языкам невербального языка наряду с вербальным (Конференция «Чуждоезиково обучение за специални цели» 4–6 июня 1998 г., г. Варна). Но пока ни в одном учебнике болгарского языка для иностранцев, даже в видеокурсе, жесты не описываются и не акцентируются (за исключением, возможно, широкоизвестных движений головой при «да» и «нет»).

Не так страшно, если жест и/или мимика употребляются одновременно с вербальным актом (напр. при приветствии кивок головой и произнесение выражения «добрый вечер»). Можно не заострять внимания, если жесты в языках совпадают. А если они заменяют вербальный акт и при этом в языках различны?

Приведем примеры из жестов болгар, отличных от русских:

1. При отрицании болгары могут немного поднять и резко опустить голову, сказав при этом не только «не», но и «тц». Иногда просто произносят «тц». Это сочетание 2-х букв встречается уже и в литературных изданиях. Если студенты не были в Болгарии или им специально об этом не сказали преподаватели, то вряд ли они поймут, что это такое.

2. Болгарин может просто оттянуть пальцем нижнее веко. А может еще и сказать: «Тук корабчета плуват ли?». Не уверена, что студенты среднего уровня владения языком (B1–B2) поймут, что таким образом им возражают, не соглашаются с ними. (Близко русскому «Ну да! Совсем не так!»). Этот жест ясен всем болгарам, но пользуются им обычно или школьники, или близкие друг другу люди.

3. Показ среднего пальца. Жест считается вульгарным, свойственным мужчинам и подросткам. (Означает «Пошел вон!»; употребляется также тогда, когда русские показывают кукиш, добавляя: «Вот тебе!»)

Кроме таких невербальных знаков, мало понятных русским, можно отметить и другие, хотя и понятные, но все же отличающиеся от русских:

1. При приглашении сесть в машину или идти за ними, например, при переходе улицы, болгары делают кистью правой руки «загребаящее» движение справа налево (с внешней стороны – внутрь). Русские при приглашении в машину машут рукой внутрь салона, как бы заталкивая туда. При приглашении следовать за собой отводят руку назад и делают движение вперед.

2. Например, в болгарской семье все сидят за столом, завтракают, потом хозяйка дома начинает наливать в чашки чай. Сын, отказываясь от чая, может просто помахать указательным пальцем, держа руку на столе со сжатыми в кулак остальными пальцами. (У нас он бы или отрицательно замахал рукой, или прикрыл рукой чашку.)

Примеры можно продолжить. Но и так, полагаю, уже ясно, что в уроках учебников, как минимум, должен быть комментарий, где указывается, какие жесты используются в болгарском социуме в ситуациях учебных текстов.

Виденов 1982 – *Виденов М.* Към българската паралингвистика. София, 1982

Георгиева 1989 – *Георгиева П.* Фактори, обуславящи избора на жеста в показателната кинема. София, 1989.

Ничева 1987 – *Ничева К.* Наблюдения в областта на българската паралингвистика. София, 1987

Пиз 1992 – *Пиз А.* Язык телодвижений. Как читать мысли других людей по их жестам. Нижний Новгород, 1992.

Предоева 1996 – *Предоева А.* Паралингвистичен етикет в публицистични телевизионни предавания на български език в българска езикова среда. София, 1996.

О. А. Ржанникова (Москва)

О лингводидактическом подходе к так называемой «общей форме» имени в болгарском языке

Формирование навыка правильного употребления артикля является одной из наиболее трудных задач при обучении языку, характеризующемуся наличием формально выраженной категории определенности, в том случае, когда учаемыми являются носители так называемых «безартиклевых» языков.

Поскольку выбор конкретной формы (с определенным, неопределенным или нулевым артиклем) в высказывании предопределяется множеством факторов прагматического, лексико-семантического и синтаксического характера, систематизация языкового материала, предъявляемого как учебный, в данном случае представляет собой весьма сложную задачу. Именно сложностью названной проблемы можно объяснить тот факт, что одной из важнейших для болгарско-

го языка и труднейших в лингводидактическом аспекте категорий болгарского языка, а именно категории определенности имени, в существующих учебниках и учебных пособиях не уделяется должного внимания и каждый преподаватель болгарского языка, работая с определенностью, избирает свой подход и на его основе систематизирует учебный материал, отдавая себе отчет в том, что формирование чисто практических навыков в данном случае невозможно без ясного понимания сути самой категории. Бесспорно, роль систематизации при предъявлении данной категории особенно велика при обучении филологов.

Несомненно, что при учебной работе с категорией определенности, как и с любой другой категорией, лингводидактические и методические подходы должны опираться прежде всего на теоретические положения современной лингвистики.

Цель настоящего доклада – рассмотреть лингводидактический аспект характеристики так называемой «общей формы» имени (то есть формы без артикля) с опорой на современные теоретические концепции. Точнее говоря, объектом нашего интереса являются немаркированные именные группы.

В связи с данной формулировкой считаем необходимым прежде всего подчеркнуть, что в лингводидактике, так же, как и в современной лингвистической теории, основной единицей рассмотрения при анализе определенности, должно быть не имя, а именная группа, поскольку признак определенности/неопределенности реализуется в именной группе в целом.

Поскольку употребленные в высказывании немаркированные именные группы могут иметь различную природу (нереферентные или неопределенные референтные) и отличаются они друг от друга прежде всего по признаку референтности/нереферентности, важной задачей преподавателя мы считаем формирование у обучаемых прежде всего ясного представления о том, что именная группа может быть нереферентной.

В современной лингвистической литературе типы именных групп выделяют, описываются и классифицируются по-разному (см., напр., Падучева 2008: 81–101 и Ницолова 2008: 86–94). Однако, несмотря на расхождения в теоретических подходах к референтности/нереферентности, формирование в процессе обучения понимания сущности референции необходимо. Именно с позиций понимания того, что такое нереферентность, можно объяснить и классифицировать многие весьма разнородные на первый взгляд случаи употребления немаркированных именных групп.

Проведенное разграничение «референтные/нереферентные именные группы» обеспечивает возможности дальнейшей классификации языкового материала в пределах референтной зоны.

Падучева 2008 – Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 2008. С. 81–101.

Ницолова 2008 – Ницолова Р. Българска граматика. Морфология. София, 2008. С. 86–94.

Алфавитный указатель авторов

Адельгейм И. Е.	354	Гриценко П. Е.	57
Александрова А. А.	355	Гриценко А. И.	153
Алексеева Л. А.	412	Громко Т. В.	155
Ананьева Н. Е.	3	Дапчева Й.	158
Ананьева Н. Е.	47	Даскалова Б. Х.	265
Аникина Т. Е.	357	Дегтярев В. И.	207
Антропов Н. П.	198	Димитрова М. Т.	266
Астахина Л. Ю.	145	Donski A.,	
Бјелетић М.	199	Kukubajska M.	209
Багаутдинова С. Р.	358	Dudášová-Kriššáková J.	61
Баранкова Г. С.	255	Дыбо В. А.	22
Барань Е.	318	Дьяченко С. В.	64
Бекасова Е. Н.	20	Ефименко И. В.	161
Беккер И.	414	Ефимова В. С.	268
Березович Е. Л.	146	Журавлева С. С.	363
Билинская И.	148	Жураўлёва Н. Н. ,	
Бойко Н. А.	201	Патапова О. В.	322
Боронникова Н. В.	104	Запольская Н. Н.	270
Бояджиев Т.	48	Золтан А.	31
Бразговская Е. Е.	396	Зубов Н. И. ,	
Букринская И. А. ,		Ищенко Д. С.	209
Кармакова О. Е.	49	Ибрагимова В. Л. ,	
Валатоўская Н. А.	150	Калимуллина Л. А.	7
Варбот Ж. Ж.	202	Иваненко А. В.	211
Васильева В. Ф.	106	Иванова Д. П.	271
Васильева Г. М.	398	Иванова Е. Ю.	113
Велчева Б.	22	Иванова С. С.	365
Вендина Т. И.	51	Ивашина Н. В. ,	
Венедиктов Г. К.	257	Руденко Е. Н.	162
Вербич С. О.	203	Изотов А. И.	273
Верещагин Е. М.	260	Илиади А. И.	214
Верижникова Е. В.	108	Илиева Т. А.	275
Вернер И. В.	261	Ильина Г. Я.	366
Влајић-Поповић Ј.	205	Иорданиди С. И.	35
Вусик А. Л.	320	Исаев И. И.	68
Вылчев Б.	262	Ищенко О. С.	70
Галинская Е. А.	54	Каверина В. В.	279
Гатнар А.	110	Кайкы М. Ю.	165
Гашева Н. Д.	360	Калынь Л. Э.	72

Каретановић А.	167	Минлос Ф. Р.	40
Карпенко О. П.	74	Мирич Д.	124
Карцева З. И.	368	Младенова Д.	79
Кислова Е. И.	282	Младенова О.	295
Китанова-Маркова М.	168	Могила О. А.	82
Кобченко Н. В.	116	Муллонен И. И.	224
Кожина А. А.	400	Мызников С. А.	84
Козлова А. Ю.	285	Нечаевский В. О.	332
Козлова Р. М.	217	Нещименко Г. П.	334
Колева-Златева Ж. С.	219	Ниами Э.	340
Колесник В. В.	76	Николаев С. Л.	86
Колесникова Е. В.	77	Новик О. П.	383
Коннова В. Ф.	171	Норман Б. Ю.	10
Корина Н. Б.	174	Носко А. М.	402
Косюк О. М.	370	Ольшевская А. Г.	125
Кравецкий А. Г.	287	Паймина О. С.	297
Кресан Я. Ю.	372	Пентковская Т. В.	299
Крысько В. Б.	289	Петрова Д. О.	127
Кубишова Г.	324	Петровић С.	341
Kuzmíková J.	373	Петрович М. А.	129
Кульпина В. Г.	176	Пинхасик И. Е.	131
Купчинская З. О.	221	Писарек Л.	12
Лавринович Л. Б.	375	Платонова И. В.	416
Лапицкая К.	376	Плетнева А. А.	300
Леснова В. В.	78	Плотникова А. А.	88
Лешкова О. О.	178	Плотникова О. С.	342
Лифанов К. В.	289	Пожарицкая С. К.	90
Локтева М. Е.	180	Пономарева Н. Н.	384
Лома А.	223	Попова Т. В.	92
Лопухина А. А.	37	Пьянкова К. В.	226
Людоговский Ф. Б.	291	Разумовская В. А.	403
Ляшук В. М.	377	Райнхарт Й.	42
Макарцев М. М.	118	Ржанникова О. А.	418
Макеева И. И.	293	Ротарь В. В.	302
Маслова А. Ю.	121	Рылов С. А.	13
Мельникова Ю. В.	380	Саввина Ю. Ю.	94
Мечковская Н. Б.	329	Савова И.	183
Микина Е. Г.	331	Сапожникова Л. Я.	346
Милорадовић С.	123	Szelp A. Sz.	229

Сердюк А. М.	185	Усикова Р. П.	17
Сердюкова Е. В.	232	Устюгова Л. М.	137
Сидоренко В. И.	406	Федорова К. В.	409
Силина В. Б.	304	Федунова Т. В.	140
Смаль Е. Л.	234	Феоктистова Л. А.	239
Смирнова Ю. В.	96	Флягина М. В.	193
Соболев А. Н.	99	Форгач И.	348
Соломоновская А. Л.	306	Хазанова М. И.	350
Спасова М. А.	308	Харлан О. Д.	390
Спивак И. Э.	386	Чарский В. В.	313
Старикова Н. Н.	387	Червенко О. Б.	393
Стефанский Е. Е.	187	Черныш Т. А.	242
Стоянов И.	16	Чмыр Е. Р.	353
Суркова Е. С.	309	Шалаева Т. В.	243
Суровцева Е. В.	311	Шанова З. К.	143
Суслова Е. М.	189	Шапошников А. К.	244
Табаченко Л. В.	43	Шелкова И. А.	194
Taneski Z.	388	Шерлаимова С. А.	411
Тер-Аванесова А. В.	99	Šivic-Dular A.	46
Тихомирова Т. С.	133	Шимко Е. В.	315
Торкар С.	236	Шульгач В. П.	250
Трендович М.	192	Якубович М.	252
Турилова М. В.	237	Якушкина Е. И.	196
Тыргова Г. П.	407	Янышкова И.	253
Узенева Е. С.	102		

СОДЕРЖАНИЕ

История славистики

<i>Н. Е. Ананьева.</i> С. Б. Бернштейн – профессор Московского университета	3
<i>М. Ю. Досталь.</i> О значении трудов С. Б. Бернштейна в области истории славяноведения	5
<i>В. Л. Ибрагимова, Л. А. Калимуллина.</i> Славистика в Республике Башкортостан	7
<i>Б. Ю. Норман.</i> 50 лет белорусской лингвистической славистики (1960–2010).....	10
<i>Л. Писарек.</i> Славистика во Вроцлавском университете	12
<i>С. А. Рылов.</i> Славистическая подготовка филологов-русистов в Нижегородском госуниверситете им. Н. И. Лобачевского на современном этапе	13
<i>И. Стоянов.</i> Славянские комитеты и образовательного дело в България (1858–1878 гг.)	16
<i>Р. П. Усикова.</i> О развитии македонистики в России	17

Сравнительная и историческая фонетика и грамматика

<i>Е. Н. Бекасова.</i> О специфике чередований с генетически соотносительными рефлексами праславянских сочетаний в русском языке	20
<i>Б. Велчева.</i> Среднобългарското смесване на носовките	22
<i>В. А. Дыбо.</i> Классическая индоевропейская реконструкция и балто-славянская акцентология	22
<i>А. Золтан.</i> Вопрос о древнейшем пласте славянских заимствований в венгерском языке и хронология деназализации носовых в славянском	31
<i>С. И. Иорданиди.</i> К истории некоторых непродуктивных суффиксов в русском языке	35
<i>А. А. Лопухина.</i> О некоторых фонетических изоглоссах в одном из архангельских говоров конца XVI – XVII в.	37
<i>Ф. Р. Минлос.</i> Линейное положение притяжательных местоимений в славянских языках	40
<i>Й. Райнхарт.</i> Севернославянские местоименные формы <i>tobě, sobě</i> и предыстория славянских личных местоимений	42
<i>Л. В. Табаченко.</i> Приставочные позиционные глаголы в старославянском и русском языках: проблема происхождения	43
<i>A. Šivic-Dular.</i> On Consonant Palatalization in South Slavic Languages	46

Диалектология. Лингвогеография

<i>Н. Е. Ананьева.</i> Фрагмент диалектной морфонологии польского говора дер. Вершина под Иркутском	47
<i>Т. Бояджиев.</i> С. Б. Бернштейн за българските диалекти	48
<i>И. А. Букринская, О. Е. Кармакова.</i> Лексическая карта: структура и интерпретация (на материале ДАРЯ).....	49

<i>Т. И. Вендина.</i> С. Б. Бернштейн и Общеславянский лингвистический атлас	51
<i>Е. А. Галинская.</i> Диалектологический атлас русского языка как источник сведений об истории форм местоимения 3-го лица женского рода	54
<i>П. Е. Гриценко.</i> Лингвогеография и сравнительно-историческое славянское языкознание	57
<i>J. Dudášová-Kriššáková.</i> Atlas slovenského jazyka – významné dielo slovenskej a slovenskej jazykovedy.....	61
<i>С. В. Дьяченко.</i> Система ударных гласных в русских говорах запада Воронежской области.....	64
<i>И. И. Исаев.</i> Артикуляционное пространство и формантная характеристика гласных в русских говорах.....	68
<i>О. С. Луценко.</i> Формантна динаміка східнополіського дифтонга <i>ie</i> в українській мові.....	70
<i>Л. Э. Калнынь.</i> Аффрикатизация фрикативных согласных как компонент типологической характеристики славянских диалектов по вокальности/ консонантности	72
<i>О. П. Карпенко.</i> Из русской диалектной лексики	74
<i>В. В. Колесник.</i> Раритетні слов'янські лексеми в болгарських переселенських говірках	76
<i>Е. В. Колесникова.</i> Общерусские прилагательные со значением цвета в русских говорах	77
<i>В. В. Леснова.</i> Некоторые аспекты специфики выражения оценочности в украинском диалектном тексте	78
<i>Д. Младенова.</i> «Загорский клин» в болгарском диалектном ландшафте по данным лингвистической географии	79
<i>О. А. Могила.</i> Лексическая интерференция в украинских говорах карпатского ареала	82
<i>С. А. Мызников.</i> Лингвогеография и некоторые аспекты этимологических исследований	84
<i>С. Л. Николаев.</i> Заметки о правостороннем дрейфе праславянского ударения в карпато-балканском ареале	86
<i>А. А. Плотникова.</i> Карпатская культурно-языковая общность в балканской перспективе	88
<i>С. К. Пожарицкая.</i> Конструкции с <i>было</i> (<i>был, была, были</i>) в одной диалектной системе	90
<i>Т. В. Попова.</i> О лингвогеографическом изучении восточнославянских диалектов	92
<i>Ю. Ю. Саввина.</i> Наименования растения 'крапива' в русских говорах (лингвогеографический аспект)	94
<i>Ю. В. Смирнова.</i> Системы южнорусского предупредительного яканья на общевосточнославянском фоне	96
<i>А. Н. Соболев.</i> Балканский языковой союз и южнославянские языки	99
<i>А. В. Тер-Аванесова.</i> Подвижность ударения и счетная форма у существительных мужского рода в некоторых северо-восточных русских говорах	99
<i>Е. С. Узенева.</i> Идеи С. Б. Бернштейна о диалектном членении болгарского языка в свете современных полевых исследований	102

**Грамматика. Лингвистическая типология.
Сопоставительные исследования**

<i>Н. В. Боронникова.</i> Семантика показателей ближнего дейксиса в македонском языке	104
<i>В. Ф. Васильева.</i> Типологические аспекты сопоставительной лингвистики (на материале русского и западнославянских языков)	106
<i>Е. В. Верижникова.</i> Результативные будущие времена в македонском языке	108
<i>А. Гаттнар.</i> «Несколько раз посетил/посетила сестру в больнице». Конкуренция видов в повторяющихся контекстах с точки зрения когнитивной лингвистики	110
<i>Е. Ю. Иванова.</i> Синтаксис частицы <i>ЛИ</i> в русском и в южнославянских языках	113
<i>Н. В. Кобченко.</i> Заперечні речення з прономінативно-інфінітивним комплексом в українській та російській мовах	116
<i>М. М. Макарецв.</i> Маркеры эвиденциальности в албанском и македонском политическом дискурсе	118
<i>А. Ю. Маслова.</i> О косвенном выражении побуждения в утвердительной форме (на материале русского, сербского и болгарского языков)	121
<i>С. Милорадовић.</i> Савремено стање српског и руског музичког жаргона. Сличности и разлике	123
<i>Д. Мирич.</i> О прагматике истинности на материале сербского и русского языков	124
<i>А. Г. Ольшевская.</i> Особенности выражения функционально-семантической категории каузативности в русском и белорусском языках	125
<i>Д. О. Петрова.</i> Предикаты мнения в русском, чешском и сербском языках	127
<i>М. А. Петрович.</i> Онтология сравнения (к проблеме описания предикатов, эксплицитирующих сходство вещей, в разножанровых текстах на македонском языке)	129
<i>И. Е. Пинхасик.</i> Глагольные деривационные словосочетания и их однословные корреляты в свете тенденций развития современного болгарского словообразования	131
<i>Т. С. Тихомирова.</i> Функциональный (формальный и семантический) потенциал слов, обозначающих эмоции, в польском и русском языках	133
<i>Л. М. Устюгова.</i> Чередования согласных как один из параметров типологии русского и украинского языков	137
<i>Т. В. Федунова.</i> Уровни семантической градации при сопоставлении русско-белорусской лексической пары (на примере лексики поведенческих реакций человека)	140
<i>З. К. Шанова.</i> Глагольная система болгарского языка и категории эвиденциальности и эпистемической модальности	143

**Лексика. Лексическая семантика.
Фразеология. Лексикография**

<i>Л. Ю. Астахина.</i> Материалы С. Б. Бернштейна в картотеке Словаря русского языка XI–XVII вв.	145
<i>Е. Л. Березович.</i> «Производственная» метафора речевой деятельности в славянских языках	146

<i>И. Билинская.</i> Значение анализа и лексикографического описания структуры «Словаря польского языка» С. Б. Линде для подготовки цифровой версии издания	148
<i>Н. А. Валатоўская.</i> Асаблівасці намінацыі страў з бульбы ў сістэме дыялектнай прадметнай лексікі беларускай і ўкраінскай моў	150
<i>А. И. Грищенко.</i> Клише <i>братья-славяне</i> в русской публицистике: современное употребление и проблема происхождения	153
<i>Т. В. Громко.</i> Особенности семантики географической лексики в украинских диалектах	155
<i>Й. Данчева.</i> Фразеология в современной болгарской публицистике	158
<i>И. В. Ефименко.</i> Из славянской судостроительной терминологии	161
<i>Н. В. Ивашина, Е. Н. Руденко.</i> Модели метонимии признаков слов в славянских языках	162
<i>М. Ю. Кайки.</i> Вербализация количественных оценочных значений в текстах современной русской детской литературы при помощи словообразовательных средств	165
<i>А. Каретановић.</i> Načela i problemi u izradbi rječnika starohrvatskoga jezika	167
<i>М. Китанова-Маркова.</i> Създаване на съпоставителен тематичен етнолингвистичен речник на славянските и балканските народи.....	168
<i>В. Ф. Коннова.</i> Семантика свидетельств иностранных источников в русских исторических словарях	171
<i>Н. Б. Корина.</i> Лингвокогнитивные оппозиции в параллельных явлениях словацкой и русской фразеологии	174
<i>В. Г. Кульпина.</i> Создание исторических словарей терминов цвета близкородственных языков как актуальная задача современной славистики.....	176
<i>О. О. Лешкова.</i> О современном состоянии и перспективах польской лексикографии	178
<i>М. Е. Локтева.</i> Древнерусские и старославянские женские наименования со значением ‘молящаяся’	180
<i>И. Савова.</i> За титлите и квазититлите: нови номинационни тенденции (върху материал от българския език)	183
<i>А. М. Сердюк.</i> Типология эмоций лексико-семантического поля «смях» (на материале романа Д. Димова «Осъдени души»).....	185
<i>Е. Е. Стефанский.</i> Эмоциональные концепты <i>żal/żał</i> в польской и чешской лингвокультурах	187
<i>Е. М. Сулова.</i> К вопросу о терминологии государственного устройства и управления в Конституции Княжества Болгарского 1879 года (Тырновской конституции)	189
<i>М. Трендович.</i> Лексемы <i>шпион</i> и <i>разведчик</i> в современном русском языке. Словарный анализ и проявленность в дискурсе	192
<i>М. В. Флягина.</i> Семантические изменения географических апеллятивов в донских говорах	193
<i>И. А. Шелкова.</i> Омогруппа <i>дель</i> в русских диалектах	194
<i>Е. И. Якушкина.</i> «Человечность» и «мужество» в современной сербской аксиологии	196

Этимология. Ономастика

<i>Н. П. Антропов.</i> Белорусский этимологический словарь в контексте современной славянской этимологии	198
<i>М. Бјелетић.</i> Допринос проучавању родбинске терминологије у српском језику (чукундед)	199
<i>Н. А. Бойко.</i> Дегидронимные ойконимы в славянском языковом пространстве	201
<i>Ж. Ж. Варбот.</i> Функциональные преобразования аффиксов в истории языка	202
<i>С. О. Вербич.</i> Прикарпатський топонімікон крізь призму іллірійської проблематики	203
<i>Ј. Влајић-Поповић.</i> Грецизми у српским народним говорима	205
<i>В. И. Дегтярев.</i> Словообразовательное гнездо с производящей основой <i>господ-</i> в славянских языках в историко-этимологическом освещении	207
<i>A. Donski, M. Kukubajska.</i> Slavic elements in the language of ancient Macedonians	209
<i>Н. И. Зубов, Д. С. Ищенко.</i> Антропонимия Слепченского помяника XVI–XVII ст.	209
<i>А. В. Иваненко.</i> Боги войны у древних индоевропейцев	211
<i>А. И. Илиади.</i> Лексика украинских говоров Буковины в этимологическом освещении (К перспективе создания этимологического словаря буковинских говоров)	214
<i>Р. М. Козлова.</i> Отражение аблаута в славянской ономастике	217
<i>Ж. С. Колева-Златева.</i> Редупликация в словах звуко-символического происхождения	219
<i>З. О. Купчинская.</i> Ареал архаической ойконимии Украины	221
<i>А. Лома.</i> К проблеме раннеславянских иранизмов	223
<i>И. И. Муллонен.</i> Историко-культурная интерпретация русских топонимных ареалов Карелии	224
<i>К. В. Пьянкова.</i> Обозначения кислого молока в русских диалектах: этимолого-мотивационный аспект	226
<i>A. Sz. Szelp.</i> On the Identification of Avar elements in Slavic. <i>*korguljъ</i> as an Avar word	229
<i>Е. В. Сердюкова.</i> Ономастиологический аспект праславянских названий растений	232
<i>Е. Л. Смаль.</i> Микропонимы г. Киева в славянском языковом контексте	234
<i>С. Торкар.</i> К вопросу выявления славянских антропонимов в словенской топонимии	236
<i>М. В. Турилова.</i> Семантика ‘поврежденный, нецелый, пустой’ в номинациях сумасшествия в русском языке (К проблеме антонимичности лексико-семантических полей)	237
<i>Л. А. Феоктистова.</i> Дериваты личного имени и его семантика (на материале русского и польского языков)	239
<i>Т. А. Черныш.</i> Множественная мотивация и деривационная многозначность в контексте семантической реконструкции	242
<i>Т. В. Шалаева.</i> К этимологии слав. <i>*plyтъkjъ</i>	243
<i>А. К. Шапошников.</i> Праславянское <i>*čedo</i> , <i>*čęť</i> и фракийское <i>κενθος</i>	244
<i>В. П. Шultzгач.</i> Архаизмы в говоре окрестностей оз. Селигер (этимологический комментарий)	250

<i>М. Якубович.</i> Реконструкция праславянского значения в лексикографической практике	252
<i>И. Янышкова.</i> К семантической мотивации названий деревьев в славянских языках: ‘Ulmus’	253

**Старославянский и церковнославянский язык.
Славянская книжность. История литературных языков**

<i>Г. С. Баранкова.</i> Церковнославянские и древнерусские языковые черты в Софийском сборнике XV в. и проблема книжной нормы	255
<i>Г. К. Венедиктов.</i> К изучению истории современного болгарского литературного языка	257
<i>Е. М. Верецагин.</i> Еще одна концепция изобретения глаголицы на фоне Кирилло-Методианы С. Б. Бернштейна	260
<i>И. В. Вернер.</i> Омонимия падежей как дидактический и эвристический принцип в церковнославянской грамматике XV–XVII вв.	261
<i>Б. Вылчев.</i> К вопросу об исторической типологии болгарского литературного языка	262
<i>Б. Х. Даскалова.</i> Българска историческа терминология във влашки грамоти от XIV–XV век	265
<i>М. Т. Димитрова.</i> Местоименное выражение одновременных посессивности и рефлексивности (установление норм литературного языка в эпоху Болгарского возрождения)	266
<i>В. С. Ефимова.</i> Суффикс <i>-tel’ь</i> в старославянском	268
<i>Н. Н. Запольская.</i> Церковнославянский язык: грамматика «ошибок»	270
<i>Д. П. Иванова.</i> В русле традиции Slavia Orthodoxa: Бухарестское евангелие (1582)	271
<i>А. И. Изотов.</i> Кирилло-мефодиевская проблематика: опасность мифотворчества	273
<i>Т. А. Илиева.</i> Глотометрична характеристика на лексиката в Йоан-Екзарховия превод на Богословието	275
<i>В. В. Каверина.</i> Церковнославянские традиции в орфографии «Ведомостей» эпохи Петра I (адъективные флексии Р.–В. п. м. и ср. р.)	279
<i>Е. И. Кислова.</i> Редакторская правка при переиздании первого тома собрания сочинений М. В. Ломоносова в 1768 году	282
<i>А. Ю. Козлова.</i> Функционирование имен существительных, восходящих к древним основам на согласный * <i>n</i> , в старших списках Толковой Палеи	285
<i>А. Г. Кравецкий.</i> Современный церковнославянский язык: на границе синхронии и диахронии	287
<i>В. Б. Крысько.</i> Древнеславянский канон Кириллу Философу: песнь седьмая	289
<i>К. В. Лифанов.</i> Словацкие диалекты и бернолаковщина	289
<i>Ф. Б. Людоговский.</i> Современные переводы православной гимнографии с церковнославянского и на церковнославянский	291
<i>И. И. Макеева.</i> Юго-западнорусские сказания о чудесах Николая Чудотворца	293
<i>О. Младенова.</i> Новые данные о болгарско-румынских культурных связях XVII столетия: «Слово о Св. Николае» Дамаскина Студита	295
<i>О. С. Паймина.</i> Церковнославянские и собственно древнерусские языковые черты в Троицком сборнике XII–XIII вв. (РГБ, Тр. 12, 202 л.)	297

<i>Т. В. Пентковская.</i> Древнейший перевод Толкового Евангелия и Толкового Апостола: к сопоставительной характеристике	299
<i>А. А. Плетнева.</i> Церковнославянский синтаксис в русских лубочных текстах XVIII–XIX вв.	300
<i>В. В. Ротарь.</i> Лексема <i>ангел</i> как единица старославянского языка и ее использование в путевых записках рубежа XVII–XVIII вв.	302
<i>В. Б. Силина.</i> Отражение норм старославянского и церковнославянского языка в новгородских берестяных грамотах	304
<i>А. Л. Соломоновская.</i> К вопросу о вероятном переводчике отрывка Корпуса Ареопажитик в Послании Евфимия Тырновского к Никодиму Тисманскому	306
<i>М. А. Спасова.</i> Тырновската редакция на Стишния пролог и езиковите среднобългарски иновации на граматично и лексикално равнище	308
<i>Е. С. Суркова.</i> Разумъ и дѣтѣль как основания метаязыковой теории в Кирилло-Мефодиевской школе IX–X вв.	309
<i>Е. В. Суровцева.</i> «Житие» Епифания и «Житие и страдания грешного Софрония» Софрония Врачанского: опыт сопоставительного анализа	311
<i>В. В. Чарский.</i> Характер карпаторусинских элементов в структуре южнорусинского литературного языка	313
<i>Е. В. Шимко.</i> Роль юго-западных источников в формировании нового русского литературного языка	315

Социолингвистика.

Современные языковые ситуации в славянских странах.

Межъязыковые контакты

<i>Е. Барань.</i> Данные к украинско-венгерским языковым контактам	318
<i>А. Л. Вусик.</i> Современная языковая ситуация в бывших союзных республиках	320
<i>Н. Н. Жураўлёва, О. В. Патапова.</i> Ці захваецца беларуская мова ў Мінску?	322
<i>Г. Кубишова.</i> Podoby slovenskeho rusofilstva na ziaciatku 20. a 21. storočia	324
<i>Н. Б. Мечковская.</i> Белорусская трясанка и украинский суржик в аспекте ареальной лингвистики и социальной типологии	329
<i>Е. Г. Микина.</i> Судьба славянских заимствований в румынском языке (семантический аспект)	331
<i>В. О. Нечаевский.</i> Влияние советской армейской субкультуры на формирование польского военного жаргона (вариационный подход)	332
<i>Г. П. Нецименко.</i> Функционирование русизмов в узусе современного чешского языка	334
<i>Э. Ниами.</i> Что пишут о македонском языке в рунете	340
<i>С. Петровић.</i> Проучавање турцизма у јужнословенским језицима – 25 година после Бернштејна	341
<i>О. С. Плотникова.</i> О словенско-карпатских лексико-семантических схождениях	342
<i>Л. Я. Сапожникова.</i> Чай и кофе в украинской лингвокультуре: к вопросу о культурных контактах и специфических чертах близкородственных славянских языков	346
<i>И. Форгач.</i> Языковое представление иностранца (как говорящего на данном национальном языке) в кинофильмах Восточной Европы	348

<i>М. И. Хазанова.</i> Некоторые особенности украинского языка в Интернете: проблема вежливости	350
<i>Е. Р. Чмыр.</i> Болгарский язык в процессах коренизации 20–30-х гг. XX в. в Украине	353

Славянские литературы

<i>И. Е. Адельгейм.</i> «Сделано в Польше». Повседневность в молодой польской прозе начала XXI в.	354
<i>А. А. Александрова.</i> Историческая проза В. Будзыновского: временные измерения сюжета	355
<i>Т. Е. Аникина.</i> Язык и литература – кто ведущий и кто ведомый	357
<i>С. Р. Багаутдинова.</i> Взаимосвязи и типологические схождения в произведениях Я. Неруды и Н. В. Гоголя	358
<i>Н. Д. Гашева.</i> Диалог культур: Д. Фаулз и М. Кундера	360
<i>Ю. Ю. Дудинова.</i> Мир символов в поэме К. Г. Махи «Май»	361
<i>С. С. Журавлева.</i> Агиографическое стихотворение как жанрово-тематическая разновидность украинской поэзии эпохи барокко	363
<i>С. С. Иванова.</i> Конструирование метафизических объектов в текстах Чеслава Милоша	365
<i>Г. Я. Ильина.</i> Научные задачи «Лексикона южнославянских литератур»	366
<i>З. И. Карцева.</i> Парадоксы жанра: роман эпохи конца литературоцентризма (на материале русской и болгарской прозы)	368
<i>О. М. Косюк.</i> Масове мистецтво та фольклор (компаративний аналіз явищ у контексті новітньої культури)	370
<i>Я. Ю. Кресан.</i> Семантика мотива разбойника (на примере романа Ладислава Тяжкого «Аменмария, одни хорошие солдаты»	372
<i>J. Kuzmíková.</i> Kognitívna literárna veda: úvodné poznámky	373
<i>Л. Б. Лавринович.</i> Мотив памяти в художественном произведении (на материале современной украинской прозы)	375
<i>К. Лапицкая.</i> Проблемы современной женской прозы. Tereza Boučková. <i>Indiánský běh</i>	376
<i>В. М. Ляшук.</i> Фольклорный фактор в типологии славянских литературных языков	377
<i>Ю. В. Мельникова.</i> «Quid est Veritas?» («Что есть истина?») Наталены Королевой как роман-легенда	380
<i>О. П. Новиц.</i> Пути внедрения традиций славянских литератур в творчество украинских романтиков	383
<i>Н. Н. Пономарева.</i> Социалистический реализм в болгарской литературе	384
<i>И. Э. Спивак.</i> Поэтика названия повести Б. Харчука «Вишневые ночи»	386
<i>Н. Н. Старикова.</i> Мировая поэзия в зеркале словенского художественного сознания (литературный проект «Песнь Орфея»)	387
<i>Z. Taneski.</i> Slovenská a macedónska literatúra vo vzájomných kontaktoch po roku 1945	388
<i>О. Д. Харлан.</i> Украинская и польская литературы межвоенного двадцатилетия: катастрофические ландшафты	390
<i>О. Б. Червенко.</i> Флористическая символика болгарских лазарских песен: сопоставительный аспект	393

Проблемы перевода

<i>Е. Е. Бразговская.</i> Милош — переводчик Милоша	396
<i>Г. М. Васильева.</i> «Фауст» И. В. Гете в переводе А. Овчинникова как источник реконструкции славянской культуры	398
<i>А. А. Кожина.</i> Польские переводы Псалтири периода Реформации и проблема переводимости	400
<i>А. М. Носко.</i> Специфика перевода колоритной лексики произведений Михаила Коцюбинского	402
<i>В. А. Разумовская.</i> Русский художественный текст в славянских культурных решетках (на материале переводов романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»).....	403
<i>В. И. Сидоренко.</i> К проблеме перевода «Петербургских повестей» Н. В. Гоголя на чешский язык	406
<i>Г. П. Тыртова.</i> Типы буквализмов при переводе на сербский язык	407
<i>К. В. Федорова.</i> Проблемы межславянской интерференции при переводе	409
<i>С. А. Шерлаимова.</i> Трудности перевода по Милану Кундере	411

Лингводидактика

<i>Л. А. Алексеева.</i> Обогащение речи учащихся изобразительно-выразительными единицами на уроках словесности	412
<i>И. Беккер.</i> Почему польские студенты не тукают? О любимых словах учащихся русскому языку	414
<i>И. В. Платонова.</i> Невербальная коммуникация в дидактике. Язык жестов у русских и болгар	416
<i>О. А. Ржанникова.</i> О лингводидактическом подходе к так называемой «общей форме» имени в болгарском языке.....	418
<i>Алфавитный указатель авторов.....</i>	420

Научное издание

Современная славистика и научное наследие С. Б. Бернштейна.

Сборник статей

М.: Институт славяноведения РАН, 2011. – 429 с.

Утверждено к печати Ученым советом
Института славяноведения РАН 17.03.2009

Отв. редакторы:

д. ф. н. А. Ф. Журавлев

д. ф. н. Н. Е. Ананьева

Компьютерная верстка:

М. Н. Толстая

Обложка:

М. И. Леньшина

Подписано в печать 30.07.2009 г. Усл. печ. л. 21,5.

Формат 60×90. Тираж 250 экз. Заказ № .

ООО «Пробел–2000»
121069 Москва, ул. Поварская, д.36